5.1971

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

Издательство «Известия» Москва

5 МАЙ 1971

СОДЕРЖАНИЕ

ВАСИЛИС ВАСИЛИКОС — Растение *(Повесть. Послесловие В. Лакшина)* 3

ЗИГФРИД ЛЕНЦ — Урок немецкого *(Роман)* 56

ЛИЛИАМ ХИМЕНЕС — Из книги «Сердце мечты» *(Стихи. Вступление Инны Чежеговой)* 121

ХАННА МИНА — Парус и буря *(Роман. Окончание)* 126

ДОЛГОРЫН НЯМАА — Стихи 158

КАМЕН КАЛЧЕВ — В поисках будущего 160

СТЕФАНОС ЗИМБУЛАКИС — Стихи 213

Критика

И. МЛЕЧИНА — Нова ли «новая литература»? 216
А. СТАРЦЕВ — Скотт Фицджеральд и «очень богатые люди» 225

Репортажи

Наша жизнь в зеркале *(Вступление Е. Бочарниковой)* . . . 234

Изобразительное искусство за рубежом

Н. ПРОКОФЬЕВА — Роже Сомвиль 257

Культура и современность

Заметки на полях зарубежных газет и журналов

С. Пархомовская — «Быть верным жизни». Р. Орлова — Трудное испытание Хемингуэя 259

Среди книг

Издано в СССР

Григорий Бакланов — Слово об однополчанине. ◇ В. Стеженский — Дружеские связи. ◇ А. Полищук — Нелегкое дело Обри Качингве 265

Издано за рубежом

Илья Константиновский — Сложный, разнообразный мир. ◇ М. Гордышевская — Гейши, солдаты и американская демократия 270

Из месяца в месяц (Хроника) 274

Авторы этого номера 287

На обложке: художник ЛЕ ЛАМ (Южный Вьетнам) «Остановитесь!» (акварель).

На вкладке — работы бельгийского художника РОЖЕ СОМВИЛЯ.

ВАСИЛИС ВАСИЛИКОС

Растение

ПОВЕСТЬ

Перевод с новогреческого Л. ЛИХАЧЕВОЙ

I

В начале был хаос. Иней, туман, дождь, снег и град. Пустое пространство и мрак, повисший над бездной. Столкновение ветров и коловращение вод. И среди всего этого птицы — вороны и ласточки. Пока однажды не появился Хозяин, серьезный господин с папкой и в темных очках. Он вынул из папки какие-то бумаги, рулеткой размерил пространство. И сказал Хозяин: «Сначала да придет экскаватор». Тут пришло железное чудовище с зубастой пастью и принялось грызть землю. Так работало оно много дней, остервенело заглатывая камень, песок и глину, а потом изрыгая их в подъезжающие грузовики. И сказал Хозяин: «Довольно. Пусть экскаватор уйдет, и пусть теперь придут рабочие заложить фундамент». И пришло великое множество рабочих: бетонщики стали готовить влажный раствор, арматурщики — гнуть железные прутья, опалубщики — сбивать опалубку из толстых досок. Неподалеку работала бетономешалка, которую питал генератор, и непрерывно перемалывала гравий, песок и цемент. Увидел Хозяин, что бетон затвердел и фундамент готов, и повелел: «Пусть уложат первую панель!» И строители уложили первую панель. А когда раствор высох и стал как камень, рабочие взобрались на нее и стали укладывать следующую. Так трудились они по восемь часов ежедневно и только в полдень ненадолго забегали перекусить в ближайшую таверну. Тяжкой была их работа, и, чем выше поднимались леса, тем она становилась опаснее. А Хозяин с удовлетворением смотрел, как быстро растет постройка, как одна за другой укладываются и устанавливаются панели. И сказал Хозяин: «Теперь да воздвигнутся стены». И пустые квадраты стали заполняться кирпичом, и дом, который до сих пор был всего лишь голым скелетом, отделился от хаоса. Только четырехугольные дыры, которые впоследствии должны были превратиться в окна и двери, еще зияли, соединяя постройку с мраком бездны. И увидел Хозяин, что бетономешалка внизу остановилась, подъемник перестал сновать вверх и вниз, леса разобраны, и многие строители уже ушли. И сказал тогда Хозяин: «Теперь да придут сюда плотники, штукатуры, водопроводчики и электрики». И через центральный вход в пустое нутро дома вошли другие люди, каждый со своим инструментом. Сменяя друг друга, они провели в дом нервы, пустили кровь и окрасили его безжизненное лицо. Плотники закрыли оконные и дверные проемы, навесили шкафчики и полки, а полы одели уложенным в елочку паркетом из каштана. Маляры, вооружившись широкими кистя-

ми, выкрасили стены клеевой краской, а масляной — плинтуса и панели. Водопроводчики провели воду и установили ванны, души, краны, трубы и коллекторы. Электрики оборудовали лифт, повесили внизу у входа счетчики, протянули кабели и провода, установили штепсельные розетки, выключатели и предохранители. Пришли и другие, которые специальной пастой до блеска отполировали лестничный мрамор. Увидел Хозяин, что новый дом совсем готов,— а с начала стройки прошло всего пять месяцев — и сказал: «Теперь пусть придут люди».

Он остановился внизу у входа и, прежде чем войти, прочел их имена, лесенкой подымавшиеся рядом со звонками:

ТУЛА и МЭРИ
портнихи
ГЕРАСИМОС АНАГНОСТАРАС
невропатолог-психиатр
ЭММАНУИЛ ЛАДОПУЛОС
торговля тканями
КОНСТАНТИНОС А. ПЛИТАС
государственный служащий
КЕВОРК ПОПОЛЯН
лесоторговец
КЛУБ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ
СИМЕОН ЭКСАДАКТИЛОС
бригадный генерал в отставке

Взгляд его перескочил на соседнюю колонку и спустился по ней

ЖАН-ЖАК ЛЕБЕЛЬ
КЛУБ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ
ПЕРИКЛИС Л. КАРМИРИАДИС
директор гимназии
АНТОНИОС АНТОНАКАКИС
быв. депутат парламента
МАЛЬВИНА ПЕРИВОЛАРИ
акушерка
ИОАННИС СУСАМИДИС
ХАРАЛАМБОС И. КАЛФОГЛУ
торговля скотом
ПРИВРАТНИК

Закружилась голова. Имена людей прыгали перед глазами, вылезали из своих тесных рамок и менялись местами, словно плавали в густой и прозрачной жидкости. Все спуталось, как в кинематографе, когда на экране нескончаемой чередой начинают сменять друг друга статисты и второстепенные персонажи, или как на кладбище, где земля слишком густо засеяна крестами. Он протер глаза, чтобы прогнать головокружение. И вошел в дом.

Их семья занимала правую квартиру на седьмом этаже нового дома. Его комната находилась несколько на отлете, и лишь одна ее стена была общей с квартирой отставного генерала. Родители занимали ком-

нату налево от входа, сразу за столовой и примыкавшей к ней маленькой гостиной. Еще одна комната оставалась незанятой. Уборная, ванная и кухня помещались сзади. В доме было много дверей и мало окон.

Они переехали зимой. В первый же вечер, когда все вокруг еще казалось ему совсем чужим, он попытался укрепить оконные створки, хлопавшие от сильного ветра. Но едва он до них дотронулся, как одна из петель тут же отвалилась, и окно пришлось запереть наглухо, чтобы отвисшая створка не мешала ему спать своим стуком.

Он никому не сказал об этом. Он так радовался, получив, наконец, свою собственную комнату, что совсем не хотел портить себе настроение воркотней. Но через несколько дней обнаружились и другие неприятные мелочи. Перестали поворачиваться дверные ручки. Краска на дверях потрескалась из-за слишком близко расположенных батарей. Выключатели сломались. Раковина в кухне то и дело засорялась. А в феврале пошли дожди, и на стенах появились большие пятна сырости. Тогда он вспомнил про петлю, отвалившуюся в первый же вечер, и рассказал об этом за столом во время обеда.

— Надо же, чтобы нам так не повезло с этим домом! — возмущенно сказал отец, осторожно прихлебывая горячий суп.—Он ведь построен из самых скверных материалов, какие только можно найти. Что вы хотите — скоростная стройка! Этот дом и половины тех денег не стоит, которые мы платим за квартиру. Только что теперь поделаешь, обманул нас Хозяин...

Потом он сказал, что и другие жильцы говорят то же самое. Все недовольны. Позавчера было собрание, и на нем председателем совета жильцов выбрали господина Кармириадиса, директора гимназии. И вот, как только выяснили разные общие вопросы, начались жалобы. Сделано, мол, все из бракованных материалов. Лифт барахлит, все время останавливается. И вообще, случись сейчас землетрясение, кто знает, не обрушится ли наш дом нам же на голову. И ведь даже выехать никто не может, потому что все связаны договором. Да, здорово нас надул подрядчик господин Пападопулос. Все говорят. Да только от этих разговоров никакого толку.

— Почему никакого толку? — спросила мать.— Разве нельзя кому-нибудь пожаловаться?

— Какие тут жалобы, если Хозяин исчез, как в воду канул,— ответил ей муж, который уже покончил с супом и теперь осторожно выбирал кости из вареной рыбы. Обычно он ел рыбу вместе с супом, но теперь, увлекшись разговором, забыл о своей привычке.— Бегаешь, ищешь, а все равно нарываешься на мошенников...

Поговорили и о другом. Перебрали домовые сплетни и разные разности. Например, как господин директор гимназии хотел выгнать из дома двух этих девок, Тулу и Мэри, у которых еще хватило наглости повесить табличку на входной двери. Господин Кармириадис так и сказал, что они марают самые основы нашего дома,— это потому, что их квартира в полуподвале. Он не слушал родителей. Смотрел, как уменьшается макрель на отцовской тарелке, и в душе, в самой ее глубине, радовался, что наконец-то у него есть своя собственная комната.

Неважно, что она была тесна, низка и скверно отделана, неважно, что все ее углы загромождала мебель — стол, шкафчик с книгами, кровать, два стула, кресло да еще буфет с материнским серебром и сервизами,— неважно, что она была похожа на все другие комнаты в мире. Его просто восхищало то, что ему досталась девственная, нетронутая, незапятнанная комната. Подумать только — ведь в ней никто до него не жил, никакие воспоминания не отягощают ее углов, и ни одна из

стен, еще пахнущих известкой, не пробита чужим гвоздем. И ей, этой комнате, не с кем сравнить своего хозяина. Она отдавалась ему, как девушка, и в его власти было испоганить ее или сделать прекрасной. Его жизнь, его история — первое, что ей суждено узнать на своем веку. За все это он полюбил ее, надеялся на нее, и к тому же с ее балкона открывался такой вид, который он не променял бы на самую шикарную кинематографическую панораму на свете.

«С этого балкона,— писал он своему другу Костасу, который учился в Мюнхене на кинорежиссера,— виден весь Верхний город вдаль и вширь, крепость, башня Яди-Куле (помнишь песню?), Ротонда, минарет. А монастырь Влатадон отсюда кажется таким близким, что можно подумать: стоит протянуть руку — и схватишь за хвост одного из павлинов на монастырском дворе. Ты себе не представляешь, какая это радость для моих глаз, измученных книгами по агрономии, какое облегчение для моей закупоренной души смотреть на это трепещущее, неспокойное море черепицы с куполами церквей, поднимающимися над ним, словно спины китов. Смотреть, как это море волнами спускается вниз к семибашенной стене, которая, кажется, грызет небо своей беззубой челюстью. Смотреть на турецкие дома с их двориками, на окутанные дымкой красные мечети, на их деревянные балки и винтовые лестницы, иметь возможность видеть все это, дорогой мой Костас... Когда опускается туман и разглядеть ничего нельзя, мне кажется, что я повисаю в пустоте и гибну без всякой надежды на спасение. Вечерами я ухожу в Верхний город, брожу по его улочкам и все увиденное из моей кельи поглощаю вблизи, пробую, трогаю, переживаю в мельчайших подробностях. Жаль только, что из моего окна виден и этот крематорий, университет,— можно сказать, единственное, что мне неприятно во всей панораме, так как непрестанно напоминает, что нужно заниматься. А как у тебя дела с науками? Ты уже отснял свою двенадцатиминутную ленту, о которой, помнишь, писал мне раньше?

Однако, как бы это тебе сказать... Интересно, страшно интересно жить на острие бритвы, на грани двух миров. Потому что в нашем доме (представляешь себе его расположение? — с одной стороны — улица Эгнати́я, а с другой — Арка Гале́рия и толпа домишек с потрескавшимися и полуразрушенными фасадами), в нашем доме я испытываю такое чувство, будто действительно нахожусь на рубеже, на границе между новым городом с его квадратными чудовищами и старым — с его скромными бедными домиками. В мире, к которому я принадлежу, есть комфорт, но нет никакой радости. В том, другом мире, вероятно, существуют бедность, нищета, горе, но все-таки по ночам там царит хорошее настроение, и люди там поют беззаботнее, и дышится легче, потому что там меньше нагорожено камней, а во дворах еще остались деревья и цветы. Трамвайная линия — это граница, киоски на остановках — пограничные посты. Потому-то я и говорю, что нелегко жить на границе. Все время хочется удрать, чтобы пожить немного в том, чужом мире и оставить мир, в котором, хоть он и твой, для тебя нет никакой жизни. И единственное, чего тут можно добиться, это вообще потерять всякое представление о том, где ты находишься, и уверенность, которую нам дают всяческие границы.

Вот так приблизительно чувствую я себя в нашем новом доме. Делать прогнозы пока еще рано. Знаю только, что в моей комнате мне хочется создать свой собственный мир. Прости за болтовню и до свиданья. Жду письма со всеми твоими новостями.

Лазос.

P. S. Подожди. Не могу не описать в двух словах картину, которую я увидел, подняв от письма голову. За горами Вермиона садится солнце,

и лучи его зажгли пожаром окна и крыши Верхнего города. Это самый ласковый и тихий час суток, когда все городские шумы тонут в сиреневых сумерках. Окна домов красны, как глаза при разлуке, и солнце дробится в них на тысячи осколков. Жаль только, что после всего этого сверканья быстро — боже мой, как быстро! — опускается ночь!..»

II

Итак, не было ни случайностью, ни совпадением то, что как-то под вечер, блуждая по узким улочкам Верхнего города, он встретил ее. Просто внутренне он был уже готов для такой встречи: последнее время ему все чаще казалось, что во время своих одиноких прогулок он ищет именно ее. Стоял апрель, погода в тот день была чудесная, он бродил по городу, стремясь освежить свою одурманенную чтением голову, как вдруг...

Она вышла внезапно из переулка возле улицы Св. Димитрия. И тут же снова скрылась за углом, так что ему даже не удалось разглядеть ее лицо. Он никогда не встречался с нею раньше, и облик ее не напомнил ему ни о чем. И все же, будто притягиваемый магнитом, он невольно пошел следом, сдерживая шаг, чтобы не обогнать ее. Прежде всего ему бросились в глаза белые стройные ноги в красных носочках, по форме напоминавшие пестик цветка. Туфли на ней были без каблуков, и это делало ее походку еще более легкой. Потом он заметил коричневый плащ, стянутый в талии поясом. Но больше всего его взгляд притягивали волосы — белокурый «конский хвост», высоко на затылке схваченный костяной пряжкой и спадавший вниз как-то совершенно независимо от спины. Волосы танцевали, раскачивались, подпрыгивали, свободные и необузданные, как грива дикого жеребца, и бесшумные, как дальний водопад, грохот которого до нас не доходит. Стоял самый глубокий и спокойный час дня. Отраженный небом звон вечерних колоколов рассыпался среди домов. И солнце, клонясь к закату, золотило колосья ее волос и делало еще более насыщенным темный, земляной цвет плаща.

Она шла вперед и была такой светлой среди этих уже покрытых тенью домов, такой богатой среди окружающей нищеты, такой будущей среди прошлого, которое здесь тяготело над всем, что он подумал: «Разве можно удержаться и не пойти за ней? Я не делаю ничего дурного,— была его следующая мысль.— Это ее ритм влечет меня, словно стихи».

Она шла вперед и, должно быть, знала куда, потому что ни разу не заколебалась среди всех этих извилистых переулков. Поднялась по улице Юлиана. Свернула направо на улицу Кассандры. Затем опять налево и вверх. Она неслась, как горная куропатка — красные носочки словно птичьи лапки,— которая, чувствуя погоню, все убыстряет и убыстряет свой бег. Он обратил внимание, что ноги ее не спотыкаются о камни, как у него, и будто сами выбирают путь поудобнее. «Значит,— сообразил он,— она живет где-то здесь. Где-нибудь неподалеку находится ее дом, и с минуты на минуту она может исчезнуть». Тогда его охватило желание увидеть ее лицо. Он не боялся разочароваться, не боялся, что все эти улочки внезапно перестанут быть следом, который уносящиеся мечты оставляют за собой, подобно кораблю на воде. Инстинкт говорил ему, что лицо у нее должно быть таким же живым, как ее волосы, таким же сияюще-золотистым. Но как его увидеть? Если обогнать, то девушка поймет, что он ее преследует, и побежит еще быстрее. «Должны же мы где-нибудь столкнуться,— повторял он про себя.— На каком-нибудь повороте, на перекрестке».

Тут он заметил, что руки у нее заняты. Девушка что-то несла. «Что бы это могло быть? — подумал он.— Какая-нибудь одежда? Или звезда? Или хлеб из булочной? Видно, тяжелое, раз она так устала».

Похоже, что из-за этих мыслей он и сбился с пути, потому что вдруг потерял ее из виду. Он кинулся к повороту. Перед ним открылась небольшая площадь с колодцем и платаном посредине. От площади отходили три улицы. По какой она пошла? Две старухи сидели у своих порогов, согнувшись над вязаньем. Вряд ли они скажут ему что-нибудь толковое. Несколько мальчишек азартно гоняли по площади тряпичный мяч. Может, спросить у них? Но пока он пересекал площадь, из-за угла появился священник, прямой и надменный, и ребятишки, оставив игру, кинулись к нему целовать руку.

Времени терять было нельзя. Расстояние между ним и девушкой увеличивалось с каждой секундой. К тому же приближалась ночь. Он наудачу свернул на среднюю улицу. Побежал. Уже без всякой надежды гнался он за исчезнувшим непокорным снопом волос. Вечерние колокола смолкли, и по небу разлилась тишина.

Переулки, по которым он бежал, запутывались все больше. «Лабиринт»,— подумал он. Теперь, потеряв солнечную нить, которая так уверенно вела его, он вообще не выберется отсюда. Ведь он совсем не знает этой части Верхнего города, он никогда не заходил так далеко на восток. «Лабиринт... Настоящий лабиринт». И он тут же окрестил Ариадной незнакомку, которая завела его сюда. «Ариадна... Ариадна...» Он все повторял и повторял это имя, приноравливая к бегу свое бормотанье.

Теперь каждая дверь казалась ему подозрительной. Он заглядывал в каждый двор. Девушка могла исчезнуть в любом из них. В спешке он налетел на бродячего торговца йогуртом, и если бы тот вовремя не убрал свои деревянные весы, непременно опрокинул бы все его чашки. «Куда же она делась? Куда исчезла так внезапно? Смолкла, словно песня. Погасла, как в сумерки гаснет сияние моря. И поп этот — дурной знак. А если она свернула на другую улицу? И вообще, куда это я бегу как ненормальный? Куда стремлюсь? Чего хочу? Хочу... Хочу увидеть лицо Ариадны...» Какой-то пес бросился за ним. А он, окруженный подозрительно поглядывающими на него людьми, среди всех своих волнений, ругани торговца, собачьего лая вдруг вспомнил летучих рыб. Как они, поднявшись на поверхность, бьют по волнам плавниками и рассыпают брызги, похожие на осколки серебра, а потом снова ныряют в море и погружаются глубоко, глубоко, глубоко — туда, куда не может спуститься ни один водолаз и куда не достают даже руки солнечных лучей.

Потом он очутился на широкой немощеной улице, застроенной только с одной стороны, и сразу же узнал это место. Где-то здесь должна находиться пастеровская станция. Еще студентом первого курса он приходил сюда делать уколы: его укусила бешеная кошка, которую он хотел спасти от собак. Да. Вот и станция. В этот час здание было пусто, лишь на фасаде высоко под крышей горел фонарь. Рядом подымалась древняя, поросшая травой крепостная стена, построенная еще венецианцами. Здесь он остановился. По другую сторону улицы уходило вниз еврейское кладбище с его памятниками и большое огороженное кладбище Евангелистрия. Он долго смотрел на этот клочок земли, густо усеянный могилами и крестами, на которых тихо светились лампадки. Темнели неподвижные кипарисы. По широкой немощеной дороге вдоль кладбищенской ограды медленно шла слившаяся в объятии парочка. А за нею безмятежно устремлялся в темнеющее небо минарет, тоже, словно кипарис, убежавший из-за ограды. Он стоял, прислонившись к древней стене венецианской крепости, и беспокойно оглядывал дорогу — а вдруг он, сам того не заметив, обогнал девушку, вдруг она внезапно возникнет откуда-нибудь. И тут взгляд его случайно упал на другую стену, новую, образованную жилыми домами, недавно выстроенными по ту сторону улицы Эгнатия. Эта серая крепость совсем скрыла из виду море, куда сейчас, должно быть, уже опустилось солнце. Он вздрогнул — настолько кош-

марной показалась ему эта твердыня, это бесконечно длинное укрепление с симметрично расположенными зубцами и темными бойницами. Но еще больше ужаснула его мысль, что его собственное место тоже там, в этой крепости, что дом, который он так недавно покинул, составляет ее неотъемлемую часть и что одна из бойниц — это его собственное окно. Он прикинул расстояние, подсчитал, взглядом отыскал висевшую под его балконом зеленую вывеску «Клуб железнодорожников» — вот оно. Да, это его окно смотрит на него как глаз, мрачный, укоряющий: что ему здесь нужно, что ищет он в этой юдоли нищеты? Его место в крепости. «Скорее назад,— как будто говорило окно,— скорее назад в свой загон, заблудшая овечка...» «Нет, оставь меня здесь еще немного. Я вернусь...» Он с отвращением повернул голову. И вдруг увидел ее. Она спускалась прямо к нему. И в руках у нее был цветочный горшок.

Сначала он растерялся. Не поверил своим глазам. Как получилось, что она спускается, если раньше она все время шла вверх? Значит, это он спустился вниз, сам того не заметив. В горшке покачивалось странное растение: большой продолговатый лист на длинном черенке, похожий на зеленое трепещущее пламя. Лица девушки издали не было видно. Только что-то бледное, как луна в начале ночи, белело над стройной шеей, сливавшейся со стеблем растения. Из-под полурасстегнутого плаща виднелась пышная блузка такого же кирпичного цвета, как горшок, который она крепко прижимала к груди.

Он резко отодвинулся от разрушенной стены. Он сам был готов превратиться в стену, чтобы преградить ей дорогу.

Дул ветерок. Издалека, из сплетения улочек, доносились крики детей, голос торговца, расхваливающего свой чудесный овечий йогурт, тявканье собаки, лающей на вечерние тени. А девушка все приближалась. И чем ближе она подходила, тем яснее становилось, что его ожиданиям не суждено сбыться: растение плавно колыхалось перед самым ее лицом, закрывая его своим зеленым пламенем. Так и не удалось ему ничего увидеть: ни губ ее, ни глаз, ни лба. Только когда девушка оступилась на неровной дороге, растение отклонилось от ее лица, но слишком ненадолго, и он все равно не успел ничего разглядеть — словно в дверь, приоткрывшуюся на мгновенье. А потом она выровняла шаг, и растение снова слилось с лицом, как видение сливается со своей тенью. Он начал нервничать. Эта игра ему совсем не нравилась. Но еще больше он расстроился, когда девушка подошла ближе и он увидел, что не только ее лицо и шея составляют одно целое с растением, но что ее кирпичную блузку тоже невозможно отличить от рыжеватого горшка. Так, преображенная, прошла она мимо, а он, окаменев, остался стоять у стены, не в силах постичь это чудо. Единственное, что ему удалось заметить, это что, когда она проходила мимо, растение чуть качнулось в его сторону.

Он пришел в себя, когда решающий момент, момент, когда он еще мог ее увидеть, был упущен. Поколебавшись, он все же снова пошел за ней. Снова смотрел на поблекшее в сумерках золото ее волос и белые ноги, светившиеся в зыбкой тьме. Она, казалось, поняла, что он идет за ней, и ускорила шаг. Все равно было уже слишком поздно. Он знал это. Так поздно, что на улицах уже зажглись огни.

Потом он увидел, как какая-то женщина поздоровалась с ней, высунувшись из окна чуть не по пояс. Что-то помешало ему идти дальше. Он знал, что здесь ее мир, ее соседи, подруги, и все замедлял и замедлял шаги, пока не остановился совсем. Немного спустя он увидел, что она тоже остановилась, отворила тяжелую железную калитку и скрылась во дворе. Подождав, он снова пошел за ней, угадывая дорогу по запаху ее шагов, и за железной калиткой увидел в глубине двора небольшой двухэтажный дом с оранжево светящимися окнами. Заметил номер: 17. «Улица Иериссу» было написано на выцветшей табличке.

Он пошел назад, вниз по улице Апостола Павла. И только тут почувствовал, какую боль причиняет ему гвоздь в ботинке. Вбежал в первую попавшуюся таверну и выпил подряд три рюмки узо. Голова закружилась, но на душе стало спокойнее. Выйдя из таверны, он повернул к Арке. Напротив, на холме, залитая светом, высилась его крепость. Он перешел «границу» — трамвайную линию — и, споткнувшись, чуть было не упал. «Опять в тюрьму»,— карабкаясь вверх, подумал он, маленькая лесная синица, живущая в каменном гнезде многоэтажного дома.

Но в ту ночь — не в силах заснуть, он до утра прислушивался к паровозным гудкам на Старом вокзале — в ту ночь впервые после переезда комната предала его и оставила без всякой защиты. Хаос снова ворвался к нему, и стало так, как было до начала строительства: пустое пространство и мрак, повисший над бездной. Иней, туман, дождь, снег и град. Столкновение ветров. Коловращение вод. И вороны, тяжело летающие во мраке в поисках самих себя.

III

Был четверг, 11 апреля, день святого мученика Геласия, ровно без десяти десять утра, когда в его комнату неожиданно проник шум.

С грохотом захлопнулась дверь лифта. И этот звук взорвался в его комнате, словно граната, уничтожив всякую возможность сосредоточиться на чтении. «Вот я и попался»,— тревожно подумал он, и первым его желанием было выбежать из квартиры и обругать служанок, истерически визжавших на лестнице. Но сдержался: что́ пользы выходить и устраивать скандал? Они, чего доброго, нарочно станут еще громче кричать и хлопать дверьми, поняв, что именно это ему мешает. Нет, не следует так рано обнаруживать себя, не в его интересах дать им возможность праздновать победу. Кровь его закипела. Борьба началась, и нужно сделать вид, что все это ему абсолютно безразлично.

Он слышал их уже не в первый раз. Каждое утро в одно и то же время служанки, оповещенные привратником, выносили к подъезду ведра с мусором. И он каждое утро слышал, как они стучат кулаками в двери и хохочут, и как через все этажи кричат вниз, чтобы там захлопнули лифт, и как снизу им отвечают, чтобы они не орали, и... Каждое утро. Но лишь сегодня, 11 апреля, в день святого мученика Геласия, он впервые убедился, что все эти шумы взрываются у него в комнате как шрапнель, вдребезги разбивают все, что он в ней создал, и разносят в клочья его покой. «Вот так,— подумал он.— Теперь они меня доконают».

Потом наступила небольшая пауза. Несколько минут ничего не было слышно. Он перевел дух, собрался с силами и уже произнес с радостью человека, избегнувшего опасности: «Еще поживем»,— как вдруг по его ушам ударила оглушительная пулеметная очередь. Пули вонзались в пол, стол, стены с частым стрекотом швейной машинки. Это внизу, на улице, словно боевой клич, заливался колокольчик мусорщика. Взбешенный, как был, в одних трусах, он выскочил на балкон, забыв о своем решении не показываться. Перегнулся через перила и увидел внизу городской фургон: мусорщики в брезентовых рукавицах одно за другим опрокидывали в него ведра с мусором. В сторонке, сбившись в кучку, хихикали служанки. Ему захотелось прыгнуть с седьмого этажа (он рассчитывал упасть прямо на мусор, в мягкое, чтобы не переломать себе ног), вырвать, к черту, из рук шофера проклятый колокольчик и разбить его о головы всех этих людей. Но тут же понял, что из этого ничего не выйдет, потому что под самым балконом тянулись электрические провода и он непременно свалился бы на них. Пришлось вернуться в комнату.

Наступила подозрительная тишина. Но как только фургон тронулся, снова, словно последний убийственный залп, раздался тот же пулеметный треск. И пули теперь вонзались прямо в его тело.

Обессиленный, он упал на стул. Грудью навалился на стол, лицо спрятал в ладонях. «Вот так,— снова повторил он про себя,— вот и я попался. Теперь они меня в покое не оставят. Они придут опять». Голова была как в тисках. Лоб горел. «Они придут опять».

Он лег животом на стол. Попытался представить себе, сколько их, этих врагов. «Нужно защищаться». Выдвинул ящик стола — конечно, какое уж у него оружие! Схватил металлический нож для разрезания книг, яростно вонзил его в стол. «Нужно защищаться. Вырою окопы, укреплю фланги...» Да, но где ее провести, эту линию обороны? Невидимый враг может ударить отовсюду. Стены комнаты оказались не толще бумаги: при первой же атаке они развалились, как карточный домик. «Нельзя было допускать, чтобы они меня нашли. А теперь...» Борьба будет неравной, помощи ждать неоткуда, и поражение неизбежно.

Оставалось только одно спасение: уйти из дому и отправиться в публичную библиотеку. Но он вспомнил, как кто-то из товарищей рассказывал ему, что по будням она набита битком, новых читателей не записывают, и с каждым днем студентам все труднее туда попадать. Так лопнула и эта, последняя надежда.

Его охватило отчаяние. Стало казаться, что куда бы он ни пошел, хоть на самый отдаленный край света, шумы повсюду найдут его, словно в нем сидит магнит, который их притягивает. «Они отыщут меня повсюду, отыщут и бросятся на меня, как голодные псы. Всюду и всегда. Днем и ночью». Потом он снова заупрямился. «Но я так легко не сдамся. Не позволю себя сожрать. Они еще увидят — у меня жесткое мясо, им не по зубам».

Так сидел он, окопавшись за столом. Ждал. Литографированный курс дендрологии давно уже лежал перед ним, открытый на главе о побегах. Так жить больше нельзя, невозможно. Сейчас, в любое мгновенье, они снова могут напасть на него. Вытянувшись, как муравей, замерший в ожидании опасности, он ждал.

На улице сверкал апрель. Весеннее солнце согревало все вокруг. Но для него слишком сильный свет был опасен. Свет мог его выдать. И он закрыл ставни.

Напряжение стало невыносимым. Задержка только била ему по нервам. Почему враг медлит, почему не врывается? Не зная, куда девать руки, он начал ковырять в носу, то и дело очищая палец о стол. Такая привычка водилась за ним издавна, и вся нижняя поверхность столешницы была покрыта этой гадостью, как днище корабля — ракушками. Почему они медлят? Чего ждут? В носу больше ничего не осталось, и он нашел себе другое занятие — стал по одному вырывать волоски, растущие на лобке, и сжигать их на спичке. Потом растирал пепел между пальцами и с наслаждением принюхивался. Пахло каштанами, вареными каштанами.

Похоже, что он так и задремал в этом положении, потому что спустя некоторое время, вздрогнув, проснулся от странного шороха. Вскинулся, словно часовой, которого патруль застал спящим: «Стой! Кто идет?» Молчание. Он назвал номер: одиннадцать. Потом пароль: великомученик Геласий. Молчание. Наконец голова его прояснилась, и он понял, что

странный шорох — это всего-навсего шаги за стеной, в столовой. «Пришли»,— подумал он. Но кроме знакомых шагов родителей слышались еще чьи-то, чужие. «Гости,— сообразил он.— Будут у нас обедать. Вот несчастье». Никакого желания видеться или говорить с кем-нибудь у него не было.

Пол в его комнате заскрипел. Паркет стонал, откликаясь на каждый шаг в столовой. «Дерево хорошо проводит шум,— подумал он тупо,— тогда как камень, бетон и железо — плохо». Ноги за стеной не переставали судачить. По тому, какая на них была обувь, он разделил их на три категории: скрипучие, на резине, на высоких каблучках. Потом шаги смолкли, и раздались голоса. Они беспрепятственно проникали сквозь стену, дырявили ее и достигали его ушей во всей своей первоначальной силе, словно люди разговаривали совсем рядом. Он затыкал уши, но голоса продолжали звучать. Враг обложил его со всех сторон. Объявил ему психическую войну. «Хотят меня принудить,— думал он,— хотят заставить добровольно выйти и сдаться».

— Стол накрыт. Прошу садиться.
— Какой у вас отсюда вид! Чудо...
— А Лазарос?
— Готовится к экзаменам.
— Молодец. Браво! Браво!
— Еда остынет. Садитесь же.
— Да, она вышла из опекунского совета...
— Взгляните, как прелестно выглядит отсюда Влатадон!
— Все остыло! Да садитесь же, наконец!
— А Лазарос?
— Сейчас я его позову.
— Браво. Браво...

Шаги приблизились к его двери. Он занял оборонительную позицию.

— Боже, что за темень! И зачем ты, скажи на милость, закрыл ставни! Глаза испортишь!

Он сдался и вышел в столовую.

За столом сидели две пожилые высохшие дамы, подруги его матери, обе из опекунского совета дома слепых. Мать случайно встретилась с ними на улице и зазвала к себе, чтобы продемонстрировать свои новые кулинарные изобретения. Одна из них была вдова, другая — старая дева. Отец, который и не думал скрывать, что гостьи ему в тягость, целиком отдался еде и теперь старательно пережевывал каждый кусок. А он вдруг ни к селу ни к городу заявил, что все служанки у них в доме — настоящие шлюхи. Да, шлюхи. Отец бросил на него яростный взгляд. Мать застыла с поднятой вилкой. Старая дева задохнулась, другая дама подавилась куском. А он со злостью продолжал выкрикивать это слово. И потом, где они, эти знаменитые изоляционные прокладки «Фелизол», которые подрядчик обещал поставить? В доме акустика, как в античном театре. И жить он тут больше не может! Высказал все, вскочил и убежал к себе в комнату — прятаться.

Так он и ждал, окопавшись у себя за столом, и уже не помнил, сколько часов, сколько дней, сколько недель. Прошла уже пасха? Он взглянул на висевший на стене календарь. На нем стояло все то же число — 11 апреля, день святого мученика Геласия, день, когда в его комнате, словно граната, взорвался первый шум. Он заставил себя вспомнить.

Да, пасха уже прошла. Сгорела, как свечка, которую он так тупо держал в руке во время пасхальной заутрени. Еще немного напряжения — и вспомнилось, какой шум производили все эти петарды, бенгальские огни, стрельба, фейерверк, колокола, хоругви, славящие Христово воскресение попы,— шумы, шумы, шумы... Больше он ничего не мог вспомнить.

Окопавшись за своим столом, он смотрел, как за дверью его балкона увеличиваются дни, зеленеют холмы, как ласточки купаются в солнечном свете, отблески которого, словно гной, скапливаются на ране его комнаты. Весна! Весна! А он...

Шумы между тем стали проникать к нему со всех сторон. Над головой играли дети мадам Лебель — Жак, Марилен и Пепо,— собиравшие у себя ребятишек со всего дома. Они бегали, падали, дрались, играли в ковбоев, в поезд, катали по полу шары. От всего этого на висках у него вздувались жилы. «Сталактиты» — называл он эти шумы, потому что они шли сверху. А когда они стихали, то снизу, сквозь пол, колючками пробивались другие: аплодисменты деятелей профсоюза железнодорожников, которые, собравшись у себя в клубе, восторженно приветствовали какого-нибудь своего пузатого лидера и громко двигали стульями. Их он называл — «сталагмиты», потому что они шли снизу. А рядом, из квартиры отставного генерала в его комнату вонзались «штыки» — деспинис[1] Эксадактилу каждый день, вернувшись из школы, заводила свои любимые пластинки: Элвис Пресли, Беллафонте, Билл Хейли, Пэт Бун,— он их воспринимал как удар кулаком в живот. А еще был лифт, который непрерывно ходил вверх и вниз. И хлопающие двери. И мяуканье кота. И телефон. И звонки в дверь. И радио. Все это были внутренние шумы. Но разве он меньше страдал от внешних? Каждый раз, когда по улице проезжал тяжелый грузовик, весь дом сотрясался снизу доверху, словно дерево, вытянувшее свои корни на дорогу. Затем — похоронные процессии с духовыми оркестрами, направлявшиеся к кладбищу Евангелистрия. Толпа, которая дважды в неделю, по средам и воскресеньям, устремлялась на стадионы «Паок» и «Геракл». Демонстрации. Жестянщик, живущий напротив. Парады. И колокола, бьющие каждый вечер.

Вот так его комната изменила свою сущность. Из его личного, его собственного пространства она стала Центром Сбора Внутренних Шумов, Клубом Встреч Внешних Шумов. Он даже завел журнал входящих, куда записывал каждый новый шум под все увеличивающимся порядковым номером.

Тогда он сел и написал своему единственному другу в Мюнхен. Написал, что больше уже не может создавать свой собственный мир у себя в комнате, потому что его мир, не успев возникнуть, стал добычей шумов. Он требовал от друга немедленного совета: как быть дальше? И Костас ему ответил: «К деревьям. Иди к деревьям. Только они одни могут дать людям желанный покой».

Но и это его не устраивало. «К деревьям? О каких деревьях ты говоришь? Спроси у лесной синицы, которая гнездится на больших деревьях в развилках ветвей, имеет ли она покой хотя бы ночью? Спроси — и ты узнаешь, сколько она слышит различных шумов. И дело тут не то-

[1] Барышня.

лько в хищных птицах, которые, вернувшись с охоты, дерутся за лучшее место на верхушке, или в беспокойной любви горлиц, или в пестрых сойках, которые никак не могут устроиться на ночлег и целую ночь будоражат все дерево, не в ссорах и драках мелких пичуг. Есть еще ветер, который ломает ветви и старается вырвать с корнем само дерево, листья, которые падают шурша, соки, с глухим шумом подымающиеся вверх по стволу. А если и случится ночь, когда все это стихнет, начинают звучать странные стоны земли, жаждущей нового удобрения из листьев, плодов и птиц. Кто это сказал, что деревья могут быть спокойными и особенно в апрельскую ночь?»

И подписался: «Лесная синица, живущая на каменном дереве».

Но как-то раз, когда он уже думал, что все кончено и приговор ему подписан богом, творцом всех видимых и невидимых шумов, он вдруг вспомнил белокурую копну волос, красные носочки, коричневый плащ, вспомнил особенно отчетливо блузку, слившуюся с прижатым к груди красноватым горшком, и лицо, спрятанное за зеленым листом и перенявшее его очертания и его свежесть.

IV

Стоял вечер. Чистый, девственный майский вечер. Он снова перешел «границу» и теперь торопливо взбирался вверх по улице Апостола Павла. В ноздри ему ударил аромат акаций, растущих в скверике вокруг Ротонды. Он остановился на минуту, вздохнул глубоко, ненасытно, словно хотел вобрать в себя всю свежесть вечера, всю сладость весны. Первый раз после стольких недель, проведенных без воздуха, он чувствовал, что снова живет. Подняв голову, он долго смотрел на минарет, острие которого словно щекотало звезды.

Это был час, когда весь Верхний город оживал. Пели девушки, прогуливаясь в обнимку по улицам. За ними ходили, заигрывая, парни. Кофейни были полны. Мальчишки стайками гонялись друг за другом, карабкались на ограды, воровали зеленые абрикосы и сливы. Соседи сходились посидеть за рюмочкой в бакалейных и сапожных лавочках, по вечерам превращавшихся в импровизированные таверны.

Там, где улица Апостола Павла пересекает улицу Св. Димитрия, он свернул и направился прямо к ее дому: улица Иериссу, 17. Ярко освещенный автобус обдал его бензиновым облаком. Автобус пробирался у самых домов, задевая стоящие на окнах цветы. Пришлось свернуть на другую улочку, тоже ведущую вверх. Нелегко было в этой темноте, так скупо разреженной огнями, найти ее дом. В здешних переулках не часто попадались таблички с названиями улиц. А на тех, которые каким-то чудом уцелели, совсем выцвели буквы. Второй раз заблудился он в этом лабиринте. Ариадна — вспомнил он имя, которым когда-то назвал девушку.

Похоже, что он действительно сбился с пути. Он понял это, когда очутился перед турецким консульством. Полицейские подозрительно его оглядели. Он снова торопливо спустился к улице Св. Димитрия, которая разделяет Верхний город на две части и где есть несколько ярких витрин и два кинотеатрика. Около одного из них он остановился, чтобы сообразить, куда ему теперь идти. Бросил беглый взгляд на рекламу: в кинотеатре, как всегда к концу сезона, шли сразу два фильма. В объявлении сообщалось, что скоро фильмы начнут показывать на воздухе. Пришло лето. «Вот и весна кончилась, а я даже не заметил»,— подумал он с горечью.

Эта небольшая остановка у местного кинотеатра была последним напоминанием о свете, потому что, свернув после этого налево, он сразу же затерялся в темных переулках. Он шел, обнюхивая дорогу, как заблудившийся пес, поворачивал налево и направо, и ему не раз уже казалось, что он нашел ее дом. Но, приглядевшись, он понимал, что это не более чем ловушка, расставленная ночью.

Так кружил он по улицам, словно рыбак среди прибрежных утесов, отыскивая расселину, куда, он видел, скрылась желанная рыба. Но подводные скалы так похожи друг на друга!

Наконец внезапно, так же внезапно, как она сама появилась тогда у старой стены, он оказался перед знакомой железной калиткой. Желая убедиться, взглянул на номер: 17. И сердце рванулось так сильно, будто поймало на крючок ту самую громадную рыбу.

Не любопытство и не ностальгия привели его сюда. Напротив: сегодня у него была очень четкая цель. Он задумал и решил привести в исполнение дерзкий, поистине разбойничий план. И теперь только ждал, пока окончательно стемнеет, чтобы пробраться во двор и украсть горшок с тем растением.

Он огляделся. Выход из переулка был наглухо закрыт каким-то домом. Вокруг ни души. Он подошел поближе. Сквозь решетчатые ворота виднелся дом с оранжевым светом в окнах. Чья-то тень прошла за занавеской. Ему показалось, что это она. И тут, в последнюю минуту, он вдруг испугался. А что делать, если, пока он будет в саду, кто-нибудь войдет во двор или выйдет из дома? Ее брат? Ее отец? Станут его стыдить, назовут мелким воришкой, хулиганом. Выйдет и она, узнает его, скажет, что один раз он уже ее преследовал. «Но ведь нужно»,— уговаривал он себя, чтобы приободриться: все-таки это гадко — то, что он делает. «Но ведь нужно, нужно...» — повторял он про себя. В переулке послышались шаги. Потом затихли. «Но ведь нужно же как-то жить»,— проговорил он наконец. И чем дольше медлить, тем хуже. У соседей слишком много глаз.

Он сунул руку за решетку, отодвинул засов. Тяжелая железная калитка бесшумно открылась. Две кошки выскочили из темноты и ловко вспрыгнули на ограду. Теперь за каждым его движением внимательно следили две пары блестящих бусин.

На цыпочках, пригнувшись, он вошел во двор. Здесь был небольшой огород, два дерева, источник, на земле лежали какие-то инструменты и свернувшийся змеей поливальный шланг. Он подошел к самым оранжево светящимся окнам, услышал приглушенные голоса. Осторожно стал ощупывать горшки. Их было много. Целая коллекция. Видно, хозяева торговали цветами. В сторонке, отдельно от других, он нашел, наконец, свое растение. Ему показалось, что оно выросло. Раньше, он помнил, его лист имел форму большого яйца, а теперь стал круглым, как луна. Осторожно, стараясь не шуметь, он поднял горшок и крепко прижал его к груди. Горшок был тяжелым и влажным. Он губами коснулся свежей кожицы листа, и это мгновенное прикосновение наполнило его счастьем. Ощущение пустоты исчезло. Сладкая тяжесть давила ему на грудь, успокаивая сердце.

Так же, на цыпочках он выбрался со двора. К счастью, никто его не заметил. Он обернулся и в последний раз с благодарностью взглянул на оранжевое окно. Кошки по-прежнему смотрели на него с ограды своими стеклянными бусинами. Вот только никак нельзя было закрыть за собой железную калитку.

Домой он вернулся не сразу. Родители слишком бы удивились, заявись он к ним с горшком. Совсем другое дело, если поставить их пе-

ред свершившимся фактом. Поэтому лучше подождать, пока они уснут, и тогда уж внести в дом свою добычу.

Он спрятал растение в темном углу старой, до половины вросшей в землю церквушки, как раз напротив их дома. Здесь можно было не бояться, что его кто-нибудь увидит. Укрытие было абсолютно надежным. И, освободившись от ноши, он с победным чувством направился к центру города.

Он шагал беззаботный, веселый, легкий и окрыленный. Спустился вниз по правому тротуару улицы Эгнатия. Один за другим закрывались киоски. Только в аптеке да в двух-трех тавернах еще светились окна. В глаза ударили яркие огни реклам на другой стороне улицы. Похоронное бюро, залитое светом, тоже еще работало. Он пересек площадь Святой Софии. Пирожные в витрине кондитерской «Ахиллес» чуть было не соблазнили его, но уж слишком не хотелось ему сейчас смешиваться с толпой. Один он гораздо полнее переживал свою радость. Мысль его то и дело возвращалась в тот укромный уголок, где он спрятал растение, и согревала его, словно он протягивал руки к жаровне, полной горячих углей. Остались позади каменные нагромождения новых кварталов «Флока» и «Астория I», и, свернув возле здания митрополии сначала налево, а потом направо, он вышел к морю.

Здесь было пустынно — этого ему и хотелось. Море распростерлось перед ним загадочное, безликое и немое, окутанное мраком. Ночь опустила свои корни в его глубину и тихо высасывала из нее темноту. Он медленно шел по самому краю набережной, ожидая, когда наступит полночь. Незаметно добрался до Белой башни. Обогнул театр, электростанцию, которая еще работала, чуть не затерялся среди ее бетонных корпусов. Сейчас он был далеко от шума и огней города, один, лицом к лицу с двойной бездной моря и ночи. И зная, что здесь его никто не увидит и не услышит, он взобрался на прибрежный камень, наклонился к темной воде и доверил раковине моря самую дорогую тайну своего сердца. Он счастлив, сказал он морю, что сегодня вечером выкрал со двора Ариадны горшок с растением, который она однажды держала в объятиях. Маленькая волна выслушала его, откатилась и растаяла в бесконечности.

Он даже засвистел, почувствовав еще большее облегчение оттого, что сделал море и ночь соучастниками своей кражи. Около здания Общества по изучению Македонии ему встретились два однокурсника. В ответ на приветствия он, проклиная в душе час и миг этой встречи, буркнул, что очень спешит. Товарищи спросили, как он готовится к экзаменам. Он ответил, что не очень. А заявку подал? Нет еще. Да на каком он свете живет? Ведь завтра последний срок. Потом они сообщили, что, прогуливаясь, задают друг другу вопросы и таким образом проверяют свои знания. Вот только поспорили из-за воздушных корней. Может, он им объяснит? Он ответил, что правда очень спешит, и ушел. Настроение у него сразу испортилось. «Вот люди,— подумал он,— только и знают, что терроризировать других». Взглянул на часы. Без четверти двенадцать. Он повернул к дому.

Растение дожидалось его на том же месте в темном углу церкви. Он увидел его издалека — лист светился, словно громадный зеленый светляк.

Дверь подъезда заупрямилась, как будто не хотела впускать в дом нечто столь ему чуждое, неподходящее и враждебное. Напрасно он возился с ключом, пытаясь ее открыть. Руки у него дрожали от волнения. Что делать, если выйдет кто-нибудь из жильцов? Начнутся разговоры,

сплетни. «Видишь,— обратился он к растению, которое терпеливо стояло у его ног.— Видишь, сколько мне приходится выносить ради тебя!» Наконец бородка ключа совпала со скважиной, дверь отворилась, и он прошел внутрь вместе со своей добычей. Но подняться на лифте не решился, боясь, что машина выдаст его шумом. И не зажигая света — он уже достаточно хорошо знал лестницу — стал подыматься вверх по крутым ступенькам.

Из квартиры Калфоглу на первом этаже доносился густой храп. «*Торговля скотом* написано у входа,— шепотом пояснил он растению,— но на самом деле он просто мясник. У него, видишь ли, три дочки на выданье...» Когда он уже почти добрался до второго этажа, в полуподвале стукнула дверь, и кто-то, явно мужчина, направился к выходу. «Клиент,— прошептал он растению.— Тула и Мэри работают ночью и берут по пятьдесят драхм за визит, а господин Анагностарас работает днем и берет за визит двести пятьдесят драхм. Он ведь врач, невропатолог-психиатр. Специальность, на которую есть спрос в наше время». Теперь он уже был на втором этаже. Мрак и тишина. Слепые двери. Слабые отблески света, проникавшие с улицы, падали на две пустые молочные бутылки перед дверью Ладопулоса. «Этот тоже спит,— сказал он растению.— Торговец тканями. Богач и выскочка. А жена у него ждет второго ребенка». Такая же тишина и темень были на третьем этаже. «Здесь живет госпожа Мальвина, акушерка, а напротив — Сусамидисы. Господин Сусамидис — масон и, кажется, высокого ранга. Из пепла возрождается...» На четвертом этаже из-под двери бывшего депутата господина Антонакакиса сочился свет. «Играют в карты. В кумкан или канасту. Превратил свою квартиру в игорный дом. До следующих выборов... Теперь уже мы прошли половину. Здесь спит господин Плитас, важный государственный служащий... Он носит креп на рукаве, потому что недавно потерял жену после тринадцатого аборта. Кроме того, он страстный охотник, и на чердаке у него живет собака». Так он рассказывал растению обо всех обитателях дома, словно желая представить людей, с которыми тому теперь придется жить. Постепенно он начал уставать. С каждым новым пролетом горшок становился все тяжелее, неподъемнее. Вспомнился фильм, который он видел еще мальчишкой во время оккупации,— кажется, «Железное сокровище» или что-то в этом роде. Герой украл сокровище, большой драгоценный камень, и чем дальше он уносил его, тем камень становился тяжелее, хотя и не увеличивался в объеме. Понемногу краденая драгоценность истощила все силы героя и, когда тот наконец свалился, стала его надгробным камнем. «Держись, скоро придем,— сказал он растению.— Две трети уже позади». На пятом этаже темнота стала совсем непроглядной. Он поставил горшок на площадку — передохнуть. «Здесь живут армяне Пополяны,— объяснил он растению.— Во всем доме только у них в двери есть глазок. Натерпелись горя, вот теперь и боятся всего. И потому не слишком обходительны. Но люди они прекрасные, единственные, кто симпатичен мне во всем доме. Может, потому, что они здесь такие же чужаки, как и я... Рядом, в двенадцатой квартире — Кармириадис. Он богослов и директор гимназии. Страшно любит всех поучать. В гимназии он цербер, а в нашем доме — председатель». Пока он отдыхал, раздался шум поднимающегося лифта. Его охватило смятение. Попался. А вдруг лифт остановится как раз здесь, а вдруг это сам директор гимназии? Он со страхом прислушивался к движению машины. Каждый раз, когда кабина, не останавливаясь, проезжала очередной этаж, сердце его мучительно сжималось. Когда же кабина пронеслась мимо пятого этажа, на мгновение бросив на него свет из зарешеченного оконца, он почувствовал себя по-настоящему счастливым. На верхнем этаже открылась и захлопнулась дверь. Щелкнул замок, и опять все затихло в темном нутре каменного

чудовища. Он поднял горшок. Слегка дрожали ноги. Миновали шестой этаж — Клуб железнодорожников, пустой и безжизненный в этот час ночи. «Пришли,— прошептал он растению.— Сосед у нас — отставной бригадный генерал Симеон Эксадактилос. Он устроился в какой-то комитет при международной выставке и неплохо на этом зарабатывает. По ночам он всегда спит, рано встает и каждое утро делает гимнастику...» Дверь их квартиры была темна. «Спят»,— подумал он с удовлетворением. Тихонько повернул ключ, прошмыгнул, словно вор, в переднюю и осторожно запер дверь. В столовой он нечаянно налетел на стул. К счастью, никто не проснулся. Только спавший на нем кот Даис фыркнул, потянулся и снова уютно свернулся калачиком.

V

— Куда я теперь его дену, этот буфет? — ворчала мать за обедом два дня спустя.— Он нигде не помещается, остальные комнаты тоже забиты. Ума не приложу. Вот если бы ты выставил свой горшок на балкон...

— Но ведь мой опыт как раз и имеет целью изучить влияние закрытого помещения на развитие растений,— ответил он, давясь комками риса со шпинатом.— Как же я могу выставлять его на балкон?

Отец — тот поверил всему. Человек добрый и бесхитростный, он решил, что все это только лишний раз подтверждает, насколько его сын «охвачен страстью к науке»,— слова, которые он очень любил повторять. Поэтому отец сейчас был целиком на его стороне. Но мать оказалась отнюдь не столь легковерной.

Он понял это по ее глазам сразу же, как только она увидела растение у него в комнате. Это было вчера утром, во вторник. В понедельник вечером он выкрал растение со двора Ариадны, в полночь принес домой, а на следующее утро мать, пришедшая его будить, в изумлении остановилась на пороге.

«Кто принес сюда это?» — спросила она, и голос у нее был непривычно холодным. «Я»,— ответил он, жмурясь и притворяясь, будто никак не может подавить зевок. Но успел заметить, что в глазах матери светится не только недоумение — где-то в самой глубине ее зрачков потаенным пламенем вспыхивала непонятная враждебность, словно перед ней был не просто горшок с комнатным растением, а другая женщина, которую он, ее сын, подобрал на улице и привел в дом. Он ожидал, что мать спросит, зачем он принес этот горшок и где его взял; но она только повела глазами, в которых все сильнее разгоралось ревнивое пламя, и спросила. «Это надолго?» «Как пойдет опыт»,— ответил он, впервые воспользовавшись тут же придуманной небылицей о научном исследовании. Но все-таки от него не ускользнуло, что мать смотрела на него с подозрением и что, уходя, она громко хлопнула дверью. Однако сегодня за столом, в присутствии мужа, она ни словом не обмолвилась о растении. Только не переставала ворчать по поводу изгнанного буфета и жаловаться на трудности, которые доставляет ей вся эта история.

— В конце концов можешь убрать его на чердак, выставить под навес на галерею. Сожги его, продай. Не хватает еще, чтобы мы тут занимались этим довоенным буфетом.

— Дело не в буфете,— возразила мать.— Но куда мне деть сервизы, которые в нем хранятся? Столовое серебро, фарфор. Куда я уберу все это? Разве так ведут хозяйство?

— Можно подумать, что мы каждый день едим серебром и на фар-

форе. Сложи их в какой-нибудь баул, а если придут гости, вынешь. Конец света наступил, что ли? Мальчик учится, старается получить на экзаменах отметку получше, а мы что, мешать ему будем?

Это произошло так. Когда накануне утром, то есть во вторник, мать, хлопнув дверью, вышла из комнаты, перед ним встала серьезная проблема. Надо было найти для растения окончательное место. Ночью он его поставил посреди комнаты, и теперь, чтобы выйти из нее, приходилось пролезать под столом. Но главное было не в этом. Такие растения, он знал как ботаник, особенно нуждаются в достаточном количестве света и воздуха, а там, где стоял сейчас горшок, было и темно, и душно. Если же вынести его на балкон, то, во-первых, там его могут сглазить чужие люди — ведь не повесишь же ему в самом деле на стебель голубую бусинку, как младенцу на шею. А во-вторых, и это самое главное, для него важнее всего было жить вместе с растением, дышать с ним одним воздухом, иметь возможность в любую минуту протянуть руку и коснуться его зеленых листьев. Никакая преграда не должна была их разделять, даже прозрачное стекло. Следовательно, единственным местом, где растение могло обосноваться, была его комната, и именно здесь нужно было его устроить, найти ему уголок, который стал бы для него постоянным гнездышком. Но где? Будь его комната побольше да попросторней, и проблемы бы не было. А в таком маленьком, заставленном всевозможной мебелью помещении все оказалось очень сложным. Этот вопрос начал его волновать с самого утра, и чем дальше, тем казался неразрешимей. Выхода не было. Он двигал мебель из угла в угол, рисовал на бумаге планы, но на практике оказалось, что ни одна вещь не подходит к другой. Каждый предмет имел свое собственное лицо, нуждался в соответствующем пространстве, чтобы его проявить, и совсем не желал мириться с соседством кого бы то ни было. Вещи ссорились, толкались, рычали друг на друга. Он потерял всякую надежду. Все возможности были испробованы — и тщетно. Лишь к концу дня он понял, что корень зла и причина неуживчивости находившихся в комнате вещей кроются в этом длинном узком буфете красного дерева, заполненном материнскими сервизами и серебром. Тогда, никого не спросив, он не долго думая собственноручно вытолкал буфет из комнаты. И удовлетворенно вздохнул. Наконец-то. Стало намного свободнее. И сама комната, и другие вещи тоже словно почувствовали облегчение. Как только комната освободилась от этого проклятого буфета, этого твердолобого довоенного лавочника, все стало на свои места. Он чудеснейшим образом все устроил, положил на пол циновку, чтобы поливкой не испортить паркет, и поставил горшок там, где ему с самого начала хотелось его поставить: у окна и рядом со своей кроватью.

— Ладно, я поставлю буфет наверх, на чердак,— сказала мать, наконец сдавшись.— Но меня тревожит, что растение будет поглощать у него в комнате весь кислород. Мы и цветы на ночь выносим из спальни, а тут такое...

Хотя мать обращалась к мужу, ответил сын:

— Я буду каждый вечер открывать балконную дверь.

— И опять схватишь воспаление легких.

— Да ведь май на дворе. Какое воспаление легких! — ответил муж, выбирая из вазы вишни поспелее.

— Хорошо,— заявила тогда мать и нервно поднялась из-за стола.— Я вижу, что отец с сыном образовали единый фронт. Так вот, с этих пор я ни за что не отвечаю, и будь что будет...

И все-таки мать его оказалась права, говоря, что растение будет поглощать у него в комнате весь кислород. И вот почему. Когда, наконец, во вторник вечером он, утомленный радостями и волнениями этого первого прожитого вместе с растением дня, лег в постель, то долго ворочался и, не в силах заснуть, следил, как лунный луч медленно передвигается по растению, придавая ему медно-зеленый оттенок. Когда же луч соскользнул с него, лист слился с темнотой и, казалось, исчез — только тень его выделялась на поверхности ночи, как отпечаток. Убедившись, что растение спокойно спит, он повернулся на другой бок и тоже заснул. Но часа в три ночи его разбудил кошмар. Ему приснилось, что в комнату тихонько вошла мать и стала раздирать растение своими крашеными ногтями. А оно, бедное, терпеливо ожидало смерти, не издавая ни стона. Он вскочил. Но растение увидел не сразу. Долго шарил по комнате вслепую, пока не наткнулся на горшок. И лишь тогда успокоился. Слава богу, оно было здесь, дремало, доверчиво распахнув крылья. Он погладил его, и по пальцам разлилось ощущение нежное, как иней. Растение стояло на месте целое и невредимое. А проснувшись сегодня утром, в среду, он увидел, что лист прилип, распластавшись, к балконному стеклу. Он испугался. Солнце беспрепятственно проникало сквозь влажное тело листа, серебрило его тонкие, как волос, прожилки, его нежные нервы и заливало комнату зеленым светом. Лист как кружево вырисовывался на тонком стекле, напоминая громадное сердце. Осторожно, стараясь не разорвать, он отлепил его от стекла, на котором, словно капли дождя, застыли испарения. Стало ясно все, что произошло ночью,—и он поспешно, не теряя времени, открыл балконную дверь. И увидел, как растение рванулось наружу, словно крича каждой своей клеткой: «Воздуха! Воздуха!», как ненасытно стало глотать утреннюю прохладу. «А ведь могло случиться,— подумал он,— могло случиться, что растение погибло бы от удушья». Мать была права, когда говорила, что растение будет поглощать в комнате весь кислород. И он твердо решил, что каждый вечер, ложась спать, будет настежь раскрывать балконную дверь — не для того, чтобы не задохнуться самому, а чтобы ничего не случилось с его растением.

— А как оно называется, по-научному, разумеется? — спросил отец, выходя из-за стола и усаживаясь в кресло, чтобы покурить после обеда.

— Я пока еще не знаю, к какому виду его отнести,— ответил он как мог хладнокровнее.— Все станет ясно через несколько дней, когда растение, как говорим мы, ботаники, «себя проявит».

Отца, по-видимому, вполне удовлетворил этот ответ. В конце концов ему было достаточно знать, что сын его действительно «охвачен страстью к науке». И он развернул газету.

Однако сын был очень обеспокоен. Мысль о том, что получится из его растения, начала его мучить сразу же, как только оно водворилось в комнате. Два пути были одинаково возможны: растение могло развиться либо в монстеру делициозу, либо в филодендрон. Вопрос отца еще больше усилил его беспокойство. Пока все говорило о том, что растение разовьется в монстеру. Но можно было предположить также, что в будущем оно превратится в филодендрон, тем более что борьба за существование в условиях небольшой комнаты обещала стать жестокой и суровой. Ведь растению нужно было преодолевать не только недостаток света и воздуха, но и сопротивление всей находящейся в комнате мебели. Он сразу заметил, что мебель заняла по отношению к пришельцу враждебную позицию. Она окружила его со всех сторон и, словно штыки, на-

целила на него свои острые углы. И ведь нельзя было выбросить все это, как буфет. Полное жизни и тепла растение помогло ему понять, что представляли собой эти вещи на самом деле: бездушные, как кенотафы, жуткие, словно покрытые лаком гробы, и совершенно ненужные. Он даже задумался над тем, почему он до сих пор совершенно их не замечал. «Верно, только когда начнешь создавать свой собственный мир, можно как следует понять, что тебе в действительности нужно»,— решил он. Поэтому его очень волновало, каким путем пойдет развитие растения. Если оно останется монстерой, кожица у него будет нежной и прозрачной, мягкой и пушистой, а само оно будет очень чувствительно к свету и к температурным изменениям. И будет выгонять все новые и новые побеги и листья, ведь монстера — женская особь и должна размножаться. Все это сделает растение чрезвычайно беззащитным перед враждебностью мебели, и будет оно как девушка, чья красота несет в себе смерть. Если же растение станет филодендроном, кожа у него загрубеет, прожилки отвердеют, стебель будет сухим, как у кактуса, а если придется плохо, может даже пустить колючки. Филодендрон — растение мужское. И ему гораздо легче будет бороться с гардеробом, книжным шкафом, стульями... В общем, пока он и сам не знал, чего ему больше хочется. Иногда он мечтал, чтобы растение осталось монстерой, и тогда их чувства могли бы гармонически дополнять друг друга. Иногда ему хотелось, чтобы это был филодендрон, который мог бы устоять в жизненной борьбе. Сейчас, в эту смутную пору отрочества, любой исход казался возможным. Поэтому в глубине души он был очень обеспокоен. И, глядя, как отец гасит сигарету о край пепельницы, думал: «Время покажет. Ближайшие дни или недели дадут мне возможность определить, к какому же виду относится мое растение».

В следующую среду, неделю спустя — по какому-то совпадению в тот день тоже был шпинат с рисом,— отец спросил:

— Ну, как идет твой опыт?

— Хорошо,— ответил он безразлично.

— Я гляжу, ты просто с головой ушел в занятия. Кончаешь уже?

— К сожалению, опыт еще в самом начале,— ответил он.

Отец был прав: он действительно с головой ушел в занятия. Не выходя из дому, он читал, читал все, что имело хоть какое-то отношение к монстерам и филодендронам, но растение каждый день опровергало все его вычитанные из книг познания. Каждое утро оно выглядело по-другому и было совсем не похоже на то, каким он его оставил вечером. Растение, словно плод, созревало ночью во мраке и тишине, и каждое утро он, проснувшись, изумленно тер глаза, не в силах его узнать. Его радовало, что растение развивается такими прыжками и наглядно показывает, насколько беспомощны все эти ученые книги. В течение первой же недели черенок листа превратился в прочный стебель, настоящий ствол, похожий на древко знамени, а его пазуха — в укрытие, где ожидали своей очереди новые знамена. Сам лист тоже изменил свою форму: вначале он был круглым, как тарелка, затем стал похож на длинное узкое блюдо, а потом расширился в эллипсовидную пластину. Его нижняя поверхность вздулась и покрылась волосками, как листья малины, а верхняя заблестела, как море под солнцем. В конце центрального нерва листа, его позвоночника, вырос усик, как бывает у флагелларии индийской. И рос этот его лист безо всякого удержу. Тогда он забросил все свои книги, которые не могли ничего ему объяснить, потому что растение не укладывалось ни в какие рамки нормальной ботанической классифика-

ции. Так оно и осталось у него жить — безымянное, как девушка, у которой он его украл, и безликое, потому что каждый день выглядело по-иному.

— Теперь ты знаешь, как называется твое растение — разумеется, по-научному? — спросил отец, глядя на него поверх сигареты.

— Оно называется филомонстера,— ответил он, играя словами и объединяя в одном названии две возможности. И добавил, чтобы скрыть всю глубину своего незнания: — Оно относится к классу полифагов: можешь себе представить, ему не хватает двух кувшинов воды в день! Семейство высокоствольных — растет просто без удержу. Подвид левовращающихся: правда, позавчера я видел, что, когда ему помешал гардероб, оно повернулось и стало закручиваться в правую сторону.

Растение с каждым днем меняло внешний вид комнаты, оттесняя мебель и словно уменьшая ее объемы. Громадный лист все время поворачивался в разные стороны: то горизонтально распластывался над полом, то порывисто устремлялся к балконной двери, словно желая вырваться наружу — он, однако, зорко охранял его от людских глаз,— а то, словно занавеска, закрывал стекло. Правда, вскоре растение как будто устало, стебель, казалось, уже с трудом выдерживал тяжесть листа, и тогда пришлось привязать его голубым девчоночьим бантом к первой подпорке.

Это был желудок, который неустанно превращал соки перегноя в хлорофилл и крахмал, и это были легкие, которые дышали каждой своей клеткой, наполняя комнату влажными испарениями. А когда испарения рассеивались, отчетливые очертания листа напоминали грудную клетку человека на рентгеновском снимке; так же, как там, от центрального нерва листа, его позвоночника, ребрами расходились дуги. И так же, как на снимке, между ними лежала ночь. Все было чудесно — ни единого пятнышка или какого-либо другого признака, который мог бы вызвать у него беспокойство. Зеленая, просвечивающая на солнце ткань листа показывала, что растение полно жизни и здоровья. Эти жизнелюбие и жизнерадостность невольно передавались и ему. Он отходил подальше, чтобы увидеть свое растение все целиком. Он любовался им так же, как оно само любовалось своим отражением в зеркале гардероба,— гордое, широкогрудое и крепкоствольное, как филодендрон, и вместе с тем нежное и чувствительное, как монстера. Специально купленной метелочкой он смахивал с него пыль и паутину, для чего ему теперь приходилось взбираться на стул. Только вечерами растение немного пугало его, когда при электрическом свете лист выглядел невероятным и нереальным, как те травы, что медленно и безмолвно колышутся в глубинах моря.

Вот тогда, к концу второй недели, он сел и написал в Мюнхен своему другу Костасу о том, что шумы больше его не беспокоят, потому что «растение впитывает их в себя, словно промокашка». И о том, что разве может он своими ослабевшими от одиночества и лишений руками обласкать и отблагодарить его, разве может выразить свою признательность словами, стертыми от ежедневного употребления? «И оно распростерло вокруг меня,— писал он,— большую зеленую тень, и легкие у него, слава богу, без единого пятнышка, и оно окутывает меня зеленым молчанием, и, знаешь, какое оно прожорливое — двух кувшинов воды в день ему мало,—и оно открыло передо мной зеленую, зеленую долину с реками радости и лужайками свежести, среди которых гаснут и задыхаются шумы...»

Но это письмо, наверно, еще не успело дойти до адресата, когда однажды утром, проснувшись, он с изумлением и испугом увидел, что его растение разорвалось, разделилось на множество растений поменьше, которые в свою очередь тоже разделились на новые листья, отростки и похожие на пальцы побеги. И всю его комнату неожиданно заполонили ладони — ладони, растущие из одной кисти, словно рука какого-то чудовища, судорожно раскрытые, еще в морщинках, младенческие ладони, которым непременно нужно ухватиться за что-то, чтобы не умереть; тяжело дышащие, медленно шевелящиеся ладони, похожие на руки утопающих,— ладони, пальцы, ладони.

VI

— Что это за дерево?

Голос электрика заставил его очнуться. Он не слышал ни стука в дверь, ни слов «Извините за беспокойство», но вопрос, касавшийся растения, прозвучал у него в ушах совершенно отчетливо, ударив его, словно током. Он смотрел на вошедшего, пытаясь понять, что нужно в его комнате этому парню в клетчатой рубахе и синих джинсах. Почему он так упорно смотрит на его растение, подняв одну бровь, как это делают деревенские обольстители, когда желают поразить приглянувшуюся красотку? И при этом еще играет отверткой.

— Похоже на финиковую пальму,— сказал электрик, так и не опустив бровь.

— Нет, это монстера,— ответил он нервно, не отрывая взгляд от подозрительной маленькой стальной отвертки.

Парень объяснил, что пришел осмотреть провода и штепсельные розетки. Через несколько дней электростанция переходит на новое напряжение, и компания распорядилась повсюду проверить состояние электропроводки. Потому что новое напряжение — это опасная штука. Знаете, что будет, если дотронуться до выключателя влажными пальцами?

Он слушал, не вставая из-за стола, несколько успокоившись, но все еще с трудом воспринимая этот чужой, пробравшийся к нему в комнату голос, и настороженно следил за каждым движением пришельца.

Электрик вытащил из заднего кармана плоскогубцы и прежде всего осмотрел выключатель, находящийся слева от двери. Привернул разболтавшийся винт, зажег и погасил свет, потом взобрался на стул и стал осматривать провода, идущие вверх по стене. Затем спустился, присел на корточки, проверил находившийся внизу штепсель, подошел к столу, взял лампу, перевернул ее и велел как можно скорее отнести в мастерскую напротив, чтобы сменить шнур, который в одном месте совсем перетерся.

— Где вы ее включаете? — спросил он потом.

Теперь они стояли совсем рядом, друг против друга.

— Здесь,— ответил он и показал за горшок.— Только туда очень трудно добраться.

— Не бойтесь, я ничего не задену,— ответил парень.— Надо ведь и там посмотреть. Случается, розетки заменять приходится.

— Смотри, осторожнее, не повали подпорки,— попросил он и тоже поднялся для большей верности.

После того как растение разделилось, стебли новых побегов сразу же угрожающе провисли. Чтобы уберечь их, он заказал плотнику полдюжины тонких деревянных подпорок. Подставил под свисающие ветви и таким образом дал им возможность питаться и найти в себе силу под-

няться вверх. И вот теперь парень в клетчатой рубашке и синих джинсах гибко, словно кошка, проскользнул за эти подпорки, которые образовали перед горшком настоящую загородку. С глубоким волнением следил он за каждым движением электрика, словно наблюдал операцию на сердце. Видел, как тот, держась только на одной ноге, наклонился, что-то поискал на стене, снова встал на обе ноги и наконец ловко выбрался из леса подпорок, окружающего горшок.

— Все в порядке,— сказал он, подходя к двери и засовывая отвертку в задний карман.— Вот только лампу не забудьте снести в мастерскую. Всего хорошего.

И электрик вышел, бросив последний взгляд на растение и улыбаясь какой-то неопределенной улыбкой.

— Всего хорошего, до свиданья,— ответил он и с облегчением увидел, что дверь тихо закрывается. Присутствие чужого в комнате, его поднятая бровь, отвертка, подробное обследование его мира, произведенное незваным гостем,— он был крайне возмущен и встревожен всем этим. И прошло немало времени, пока нервы его успокоились и из памяти изгладилась эта неопределенная улыбка — что она означала: восхищение или зависть? — которая играла на лице парня перед уходом.

А на улице палило солнце. Лето. Дни, казалось, расширились от жары, небо пылало. Теперь он совсем не выходил из дому. С того дня как в университете закончилась последняя лекция, он прекратил все свои сношения с внешним миром. Экзамены он сдал с успехом, которого сам не ожидал, и родные больше не имели повода на него ворчать. Высокий балл заставил их умолкнуть. Теперь он мог жить как хотел.

И он жил, затворившись у себя в комнате, словно отшельник. Каждый раз, когда ему случалось выйти, он запирал ее на ключ под предлогом, что кот Даис пробирается туда и гадит в горшок. Он запретил входить к нему в комнату даже тетушке Катине, которая дважды в неделю убирала квартиру. А матери дал строгий наказ — всем, кто его спрашивает, отвечать, что его нет дома или что он отправился путешествовать.

Однако, когда уже прошло довольно много времени после посещения электрика,— он успел прийти в себя, и они снова были одни в своем мире, он и его растение,— ему вспомнилось, как тот спросил, стоя на пороге комнаты: «Что это за дерево?» Он вспомнил этот вопрос как-то совершенно независимо от внешности и голоса того парня и, в свою очередь, тоже спросил себя: в самом деле, что же это за дерево? Он взглянул на растение снизу, увидел, как оно заботливо прикрывает его своей зеленой кроной, и впервые его затуманенные экстазом глаза разглядели правду: растение уже не было тем давно знакомым цветком, который он однажды вечером выкрал из бедного дворика девушки. Оно стало чем-то совсем другим, чем-то, отягощенным опытом, соками и силой, и действительно было теперь очень похоже на дерево. Надо сказать, его ничуть не смущало то, что понадобился кто-то третий, совсем чужой и далекий человек, чтобы увидеть и понять все это. Он знал, что так сплошь и рядом бывает даже с близкими нам людьми, когда именно из-за близости мы последними узнаем о происшедших в них изменениях. «Ведь растение было совсем младенцем, когда я принял его из рук девушки. А теперь гляди, какой великан вымахал,— думал он с гордостью.— Интересно, стало ли бы оно таким у нее во дворе? Или трудности, с которыми ему пришлось столкнуться здесь, в комнате, заставили его вырасти раньше времени, вырасти, созреть и так мудро разделиться, обеспечив себе защиту со всех сторон». Он не сводил с растения глаз, любовался им, гор-

дился словно сыном. Только теперь они поменялись местами: сейчас растение не столько нуждалось в его защите, сколько само оказывало ему покровительство. Он засмеялся. Какое счастье!

Он ничуточки не сомневался, что это было настоящее дерево. Растение переросло всю находящуюся в комнате мебель, которая в панике попряталась по углам, и свободно завладело комнатой — дикое, внушительное, несколько неприступное, словно слон в клетке, и вместе с тем что-то пророчившее, хотя он и не понимал его языка. Вот только не было известно, как оно точно называется.

Он без колебаний назвал бы его филодендроном, потому что растение обладало всеми его признаками: сухое и твердое тело; толстые, как ветки, черенки листьев; похожий на мачту ствол, а листовые дуги — словно скелет гигантской рыбы, оканчивающийся хвостом-усиком, как у флагелларии индийской; он бы назвал свое растение филодендроном, если бы только оно не дало двух отростков: из них развились два новых растения, все признаки которых — он мог с уверенностью сказать это — были полностью характерны для монстеры. Теперь вопрос стоял гораздо острее, потому что растение уже переросло тот отроческий возраст, когда определить его род было, естественно, трудно,— теперь (он это ясно видел) растение возмужало и вступило в период зрелости. Так что же это такое? Монстера делициоза, филодендрон, или финиковая пальма, или еще что-нибудь, но, во всяком случае, очень на них на всех непохожее, потому, может быть, что, выросши в своем, особом мире, оно нигде не имеет себе подобных. «В конце концов это не имеет значения,— подумал он.— Достаточно, чтобы оно всегда было здоровым и крепким, красивым и стройным». Он встал, померился с растением. Ого, оно переросло даже его, и первый лист стал шире, чем его грудь! Щека к щеке погляделись они в зеркало. И тут он впервые заметил, что глаза у него из карих, какими были всегда, превратились в зеленые, зеленые, как маслины, как два маленьких листика.

«Что это за дерево?» Он снова вспомнил вопрос электрика, когда через несколько дней, проснувшись, увидел, что горшок, толстый глиняный горшок, разбитый, валяется на полу. Черная комковатая земля завалила циновку, просыпалась на паркет. Его охватила паника. Корни растения торчали в разные стороны, одни — вытянувшись как антенны, другие — скорчившись, словно застывшие на зиму змеи. А концы у них были покрыты волосками, и от этого казались еще страшнее. Вначале он решил, что у него кошмар. Готовое упасть, растение молило о помощи. Только подпорки еще удерживали его, но и те уже совсем прогнулись от тяжести. Потом ему пришло в голову, что горшок разбили какие-то люди, забравшиеся к нему в комнату. Но как они могли попасть сюда, если дверь заперта, а кровать перегораживала открытую балконную дверь? Горшок был разбит вдребезги. Повсюду валялись черепки, коричневые с оранжевым оттенком. Он поднял несколько штук, попытался их соединить, посмотрел, как выглядит изнутри их влажный кирпичный цвет, вспомнил кирпичного цвета блузку, которая была на девушке в тот вечер. «Вот и разбито последнее, что мне напоминало о ней»,— произнес он с горечью. Комната была полна испарений. А над улицей висело летнее марево.

Потом он долго мучился угрызениями совести. Как можно было не подумать об этом раньше? Как он не позаботился вовремя подыскать горшок побольше? Радовался, что цветок растет, и совсем забыл, что корни у него тоже растут, и страдают, и задыхаются, бедные, в своей

тесной тюрьме. Тело цветка имело в своем распоряжении целую комнату, целую комнату 4×4×4. А его ноги, а пальцы его ног? Что бы почувствовал он сам, если бы его обули в детские ботинки? Он как будто вдруг увидел это своими глазами: несчастные корни путались, сплетались, закручивались в клубок, пока наконец, не выдержав, сильным ударом не разнесли свою глиняную тюрьму. Теперь они вздохнули свободно и, потягиваясь, расправляли онемевшие члены. Растение покачивалось, готовое упасть. Сколько уже времени молило оно о помощи, а он...

Он оделся и как одержимый кинулся на улицу. Надо было немедленно найти новый горшок, побольше. Он обошел все цветочные магазины, был там, где продавали кувшины и вазы, ходил, спрашивал, но нигде не смог найти того, что ему было нужно. Только если сделать специальный заказ. «А когда будет готово?» — «Через два-три дня». Через два-три дня?! Да тут два-три часа и то слишком долго. «Тогда почему бы вам не взять бочонок? Может быть, он вам подойдет». Идея ему понравилась. И, не теряя времени, он купил небольшой бочонок, снял с него крышку, купил также кирпичной краски, чтобы его выкрасить, и достаточное количество перегноя, чтобы заполнить его до краев.

Когда он, вызывая своим бочонком всеобщее любопытство, весь в поту, вернулся наконец домой, то в подъезде наткнулся на нескольких электриков, которые, раскрыв счетчики, возились с какими-то странными проводами. Провода эти были похожи не то на выпущенные из живота кишки, не то на окоченевших змей — он тут же вспомнил о корнях, какими увидел их утром. И заторопился к лифту. Но тут с ним кто-то поздоровался. Он очнулся: перед ним стоял парень в клетчатой рубашке и синих джинсах. Как будто знакомый, вот только никак не вспомнить, где это они виделись. «Как поживает монстера?» — громко спросил парень. «Хорошо,— ответил он сухо и, чтобы скрыть волнение, добавил, с нетерпением ожидая, когда придет лифт: — Так когда же нас переведут на новое напряжение?!» — «Скоро, очень скоро»,— ответил электрик, стоявший на стремянке. «Скоро,— добавил третий,— скоро и здесь люди будут дохнуть, как мухи».— «Бочонок-то вы *для нее* несете?» — спросил парень с отверткой. «Нет»,— ответил он нервно. Этот разговор о его растении в присутствии чужих людей очень ему не нравился. И он добавил, чтобы переменить тему: «Завтра я отнесу свою лампу в мастерскую». Тут в подъезд вошла дочь отставного генерала. В руках у нее был проигрыватель. Лифт наконец спустился, и они вместе вошли в кабину — сначала девушка со своим проигрывателем, потом он с бочонком.

— Новый? — спросил он, чтобы хоть что-нибудь сказать.

— Да,— жеманно ответила девушка.— Старый не годится для нового напряжения, пришлось покупать новый.

Поднимаясь, он все время с беспокойством думал, слышал ли кто-нибудь об его монстере. Привратника он не боялся. Электриков тоже — что с них взять, чужие люди, завтра их здесь не будет. Страшны были соседи. А вдруг мясничиха уловила что-нибудь краем уха? Да и эта девушка, которая сейчас притворяется равнодушной, тоже могла услышать, а вдруг она потом расскажет о растении у себя дома? Ему даже захотелось спуститься и стукнуть хорошенько чертова парня-электрика, который его выдал. Нет, из этого, пожалуй, ничего путного не выйдет Лучше отозвать его в сторонку и спросить: «Сколько ты хочешь за то,

чтобы держать язык за зубами?» Купить его молчание и таким образом обеспечить инкогнито растения. Он заплатит этому парню, сколько тот запросит, лишь бы...

— Зачем вы нажали «стоп»? — спросила его дочь генерала.— Разве вы не на седьмой?

Зачем он нажал? А чего, собственно, он добьется, если спустится? Только вызовет еще больше подозрений.

— По ошибке,— ответил он, краснея.

Оба вышли на седьмом этаже. «Никто не знает, что такое монстера,— подумал он, стараясь себя утешить.— Даже если кто и услышал, все равно не поймет, что это значит».

— Приятного аппетита!

— Спасибо, вам также.

И каждый позвонил у своей двери.

Он нырнул к себе в комнату, охваченный жаждой свежести и покоя, измученный людьми, с которыми он сегодня встречался и о существовании которых почти забыл. Нырнул, как в детстве, когда он совсем еще маленьким мальчиком бросался к морю, словно собираясь его выпить, и ни за что не хотел покидать его влажного лона, несмотря на все крики и угрозы матери, которая, стоя на берегу, требовала, чтобы он не уплывал далеко.

Бочонок, по мнению матери, говорил уже о настоящем безумии. Она и раньше подумывала о том, что у ее сына не все в порядке с психикой, и часто собиралась тайком от мужа зайти на второй этаж к невропатологу господину Анагностарасу. Но всегда в последнюю минуту отменяла визит, надеясь, что все как-нибудь обойдется само собой.

Каждый день она жаловалась на зловоние, которое идет из его комнаты и распространяется по всей квартире. Говорила, что если оно ему не мешает, если он считает его вполне естественным, то остальные вовсе не обязаны терпеть это безобразие, а он не должен быть таким эгоистом и думать только о себе. Его право уединяться сколько ему хочется, но ведь он и ее заставляет прятаться от людей. Разве она может, как раньше, пригласить к себе приятельницу и угостить ее вишневым соком со льдом, когда весь дом пропах какой-то гадостью? И она вовсе не желает по его милости становиться посмешищем для всего света.

Сегодня бочонок вызвал у нее настоящий припадок. Увидев, что сын катит его по паркету к своей комнате, мать вспомнила, как он маленьким катал обруч и, набегавшись до бесчувствия, кидался к ней в объятия. Сейчас сын катил целый бочонок, и обручей на нем было уже четыре, и все это для того проклятого цветка. Только о нем и думал теперь ее любимый сынок, только о нем, а для нее — ничего.

Она попросила принести ей стакан воды, потому что с самого утра чувствовала себя немного нездоровой. Она сидела в столовой в одной ночной рубашке и перерисовывала из модного журнала, который дала ей француженка, мадам Лебель, узор для вышивания. Он ответил, что ему некогда. Немного спустя она увидела, как он несет для своего цветка полный кувшин воды. Все, все для него. А для нее — ничего.

Этого она уже не могла выдержать. Столько времени скрывала она свою боль. А сегодня слезы сами подступили к глазам. Она плакала тихо, не всхлипывая. Сказала, какой одинокой, какой никому не нужной чувствует она себя в последнее время. И да, она не скрывает, что ревнует его к этому растению, которое в ее же доме навсегда украло у нее сына. Нет у нее других детей, которые могли бы ее утешить. Только он, он один — единственная ее радость и гордость. А теперь! Она напомнила ему обо всем, что ей пришлось вынести, чтобы его вырастить.

Как она, несмотря на трудности и лишения оккупации, из кожи вон лезла, чтобы он ни в чем не нуждался, как добывала ему чуть ли не птичье молоко. А чем он ей отвечает? Влюбился в это чудовище, в это извращение естества, в этого урода, и она потеряла его навсегда. И добро бы во что-нибудь красивое, что сохранило бы его и для нее. Нежное объятие женщины, которая заботилась бы о нем так же, как она сама. Она тоже ревновала бы к ней, но по-другому. Можно было бы утешаться мыслью, что ее дитя, ее сын счастлив. А сейчас? Разве она не видит, как он мается с этим своим уродом, разве не видит, как это чудовище овладело им, как по-садистски его терзает... Она плакала все сильнее. Речь ее стала прерывистой. И почему он не позволяет ей входить к нему в комнату? Почему запирает дверь, когда уходит? Говорит, что из-за кота Даиса, но она знает, что Даис — это всего лишь предлог. Что она ему сделала? Ведь она только хотела сменить простыни, привести в порядок комнату, вытащить из-под кровати грязные носки, заштопать их. Почему он так внезапно лишил ее всех материнских радостей? А ее варенья? Он, сходивший раньше с ума по лакомствам, которые она ему готовила... Почему он теперь пренебрегает ими? Почему ничего не ест? И разве он сам не видит, как он похудел? Кожа да кости. Страшно смотреть. А друзья, приятельницы — все о нем спрашивают, все его ищут. Куда исчез, куда уехал Лазарос? И неужели он сам не видит, что так недолго и туберкулез заработать?.. Теперь уже все ее тело сотрясали рыдания.

Он смотрел на нее, слушал — сначала совсем равнодушно и цинично. Но потом кувшин дрогнул у него в руке, немного воды пролилось на пол. И постепенно, глядя на ее измученное лицо, которое без грима казалось еще старше, на ее крашеные, с седыми корнями волосы, на слезы, которые капали на узор и мочили журнал, он почувствовал, как колени у него подогнулись, окаменевшее сердце потеплело и что-то будто толкнуло его к матери. Ему захотелось кинуться к ее ногам, попросить у нее прощения за все, как он это делал маленьким в страстной четверг перед причастием, сказать, как, бывало, говорил во время болезни, когда мать просижила у его постели целые ночи: «Мамочка, завтра я поправлюсь, завтра я пойду в школу...» А теперь, чем может он теперь ее утешить? Не может он ей сказать, что все пройдет, что он просто болен, но когда-нибудь непременно поправится. Он не верит, что когда-нибудь будет опять здоров, он понимает это так же, как и она; слишком далеко зашла болезнь, он уже загнивает; да, она права, что из его комнаты несет зловонием, она во всем права, и он — никуда не годный сын. «Мама,— проговорил он про себя,— мамочка, не плачь». Но подойти к ней так и не смог.

Воспоминание о солнце, которое жгло его все утро, пока он бегал в поисках горшка, о потных людях, размякшем асфальте, мухах — вечером, когда с пересадкой растения и покраской бочонка было покончено, все это заставило его задуматься над тем, насколько он счастливее остальных людей, потому что его растение, словно платан над потоком, распространяет среди этого полдневного пекла зеленую свежесть и его мелкие листочки стали ловушками для мух, которые прилипают к ним и дохнут, и вообще благодаря растению его комната стала настоящим оазисом в этой июльской пустыне, и если бы только люди знали о его существовании, как бы они ему позавидовали. А он, чему он может у них позавидовать? Что потерял, перестав выходить из дому? Такой свежести и прохлады, как в тени его дерева, нет и у моря.

И тут он вспомнил о совете Костаса: «К деревьям. Иди к деревьям. Только они одни могут дать желанный покой». И лишь теперь, со-

здав свое собственное дерево, он понял, что тот хотел этим сказать. Вот только неизвестно, какое это, собственно, дерево. Но и это уже не беспокоило его так, как раньше. Он верил, что форма возникших между ними отношений значит гораздо меньше, чем их насыщенность. Форма — для других, насыщенность — для нас. Эту простую истину он не мог понять, живя среди людей, и только сейчас осознал ее до конца с помощью растения.

Но эта насыщенность отношений между ним и его деревом со временем ослабла. Молчание растения утомляло его, неподвижность заставляла цепенеть, не встречавшая отклика мысль превращалась в кошмар. Ведь, правда, у него хватило мужества признать, что он, по существу, совсем не знает своего растения. И приведись ему, например, сейчас его потерять, всю остальную жизнь он прожил бы с горьким сожалением, что они столько времени были вместе, а самого главного о растении он так и не узнал.

Раньше у растения была какая-то отдаленная связь с Ариадной. Но теперь, когда оно так преобразилось, так страшно выросло, так неузнаваемо изменилось в своем бочонке, теперь, когда оно стало настоящим деревом,— чем было оно теперь, кого представляло? Он не знал. И так как растение не могло превратиться в человека, с которым он мог бы сблизиться, то постепенно он сам начал перенимать образ жизни и способ существования растения. А сколько раз пытался он остановить этот процесс! Уходил из дому, словно по делу, словно ему и вправду хотелось поговорить с людьми, но в результате добивался только того, что его охватывало неудержимое желание поскорее вернуться в свою раковину, к растению, и вновь окунуться в эту атмосферу чудесного безмолвия и свежести, которая всегда успокаивала его, как зеленое масло — рану. А того, что его мучило, он никогда не замечал у других людей. Это было что-то гораздо более глубокое, необъяснимое, загадочное. «Растение — это я»,— сказал он однажды, но вскоре понял, что такой, слишком легкий ответ не может удовлетворить его, потому что это была неправда, и если он уходил, чтобы подумать на свободе, не стесняемый присутствием растения, то жил он только мечтой о возвращении.

Потом он нашел ответ и успокоился. Ошибкой, большой ошибкой с его стороны была попытка объяснить их отношения по законам человеческой логики. Растение перешагнуло через все ее убогие построения, и их связь надо было объяснять как-то иначе. Как именно, он не мог решить. Ясно было одно: ответ надо искать не на этой земле, зловонной, болтливой и вечно дрожащей за свою шкуру, а где-то выше, там, в звездной сети, где облако сливается с облаком.

Вот только оно перестало помещаться в комнате. С каждым днем комната, как раньше горшок, становилась для него все теснее. Он даже заметил, что растение пытается вырваться наружу. Что же оно теперь сделает с его комнатой? Разрушит стены? А потом что — балкон? А потом куда? Верно, в самое небо, в самое-самое небо. Лопасти его листьев начнут вращаться, и все дерево, словно вертолет, устремится ввысь. И ветер подымет его, как аэростат. И тогда он тоже влезет в бочонок, и они вместе улетят высоко, высоко, высоко, в самое небо.

Вот уже три дня небо было покрыто тучами. Солнце скрылось. Стало душно, тяжело, сумрачно. Он поливал свое растение, но вода не уходила к корням. Без солнца, без света растение начало чахнуть. Края листьев у него сморщились, а на их глубокой, как у моря, зелени проступили желтые пятна с черным ядрышком посередине. Три ночи он не мог сомкнуть глаз. Беспокойство за больное растение совершенно его измучило. Что означают эти желтые пятна? Неужели рак? Он видел, как страдает, как беспокойно покачивается его растение. Три дня стояла непогода, и все три дня оно болело. Когда, наконец, на четвертый день хлынул проливной дождь, он тоже заплакал — от радости. Вместе со светом к растению вернулось здоровье. Желтые, похожие на острова пятна утонули в зеленой, как море, глубине, по которой он снова мог плыть вместе со своими многолопастными пальчатораздельными и перисторассеченными грезами.

VII

Лето было в разгаре. Пришел к концу июль со своими абрикосами, и август уже начал развешивать по небу свои черные гроздья. Дни стали громадны, как волы, и дыхание вырывалось из их ноздрей знойным сирокко. Люди жались друг к другу, словно овцы, и каждый пытался укрыться в тени другого.

Родители уехали. Как всегда, на Аммульяни́, тихий, безвестный островок у Афонского перешейка. Долго упрашивали его поехать с ними. Напрасно. «Опыт, который я провожу,— заявил он,— как раз сейчас находится в решающей стадии. Не могу же я бросить его на середине». «Но тебе так нужны море, солнце». Переубедить его было невозможно. Уезжая, мать оставила ему ключи от шкафов, где у нее стояло варенье, а отец дал немного денег, чтобы он мог питаться вне дома.

Давно уже он не мог дождаться, когда родители уедут отдыхать. Раньше он не любил оставаться один — внезапное одиночество подавляло его, распластывало по опустевшим комнатам, делало разреженным, словно воздух в горах. Он нуждался в людях, чтобы иметь возможность еще глубже забиться в свою нору. Но в этом году все было по-другому В этом году он прямо-таки жаждал одиночества, чтобы без оглядки отдаться своему растению.

Поэтому, как только родители уехали, он, словно перед большим приемом, настежь распахнул все двери и окна, а ставни закрыл, кроме тех, разумеется, которые помешали бы доступу света к растению. Потом разделся и голый стал разгуливать по комнатам. Но не прошло и часа, как в передней затрещал телефон. Он заколебался. Снять трубку или подождать, пока тот сам замолчит? Телефон продолжал упрямо звонить. Наконец он взял трубку и сказал, изменив голос: «Слушаю». Попросили мать. «Только что уехала на Аммульяни».— «Это ты, Лазарос?» — спросил голос на другом конце провода. «Я. Кто говорит?» — «Крестный. Значит, они уже уехали? А я думал, завтра... Ну, ладно, ладно, неважно... А как прошла твоя поездка? Молодец. Послушай-ка, раз ты теперь один, приходи обедать. Крестная будет очень рада. Решено? Приходи обязательно... Так куда, ты сказал, они уехали?» — «На Аммульяни».

Крестного своего он видел два раза в год: в день святого Лазаря и под Новый год. Тот дарил ему немного денег, и все остальное время

он и не вспоминал, что у него есть крестный. Но сейчас, глядя в зеркало, висящее над телефоном, он вдруг почувствовал стыд, словно крестный на другом конце провода мог видеть его голым — таким, каким когда-то видел в купели. Только тогда он был кругленьким и розовым, а теперь у него ребра, как дуги листьев у его растения. «Здорово я похудел,— подумал он, рассматривая в зеркале свое белое, безволосое тело.— Половина осталась. Но если бы растение не питалось моей плотью, разве оно могло бы так вырасти?» Он положил трубку. Короткий щелчок долго еще отдавался в пустых комнатах, расходясь по ним, словно круги от брошенного в воду камня. Потом он выдернул из розетки шнур. «Отдохни и ты,— сказал он телефону.— Даю тебе месяц отпуска». И мизинцем прочистил уши, в которых, казалось, застрял голос крестного: «Крестная будет очень рада. Решено? Приходи обязательно...»

Он был очень обеспокоен. Как теперь будет вести себя растение? Ведь в его распоряжении вся квартира. Он подошел к растению, погладил его. «Хочу, чтобы ты распространилось повсюду. Другого такого случая нам не выдастся. И чем скорее мы им воспользуемся, тем лучше. Хочу, чтобы ты заполонило всю квартиру, стерло бы в ней всякую память о других людях, поглотило бы шумы, которые они производили, и чтобы повсюду стало так, как у меня в комнате...»

Однако растение целых два дня не делало ни одного движения. Оно стояло задумчивое, нерешительное и словно издевалось над его нетерпеливым желанием увидеть, как оно завоевывает квартиру. Эта неподвижность страшно изводила его. Потом он решил, что во всем виноваты два боковых побега. В глубине души он всегда боялся, что именно они пойдут в рост и, заполнив комнату, выживут из нее материнское растение. Нашел на кухне хлебный нож и отрезал их. И увидел, что растение мучительно содрогнулось. «Но ведь это нужно было сделать, нужно»,— точно потерянный шептал он, отбросив нож подальше. И обеими руками зажал рану, пытаясь остановить кровотечение. Ствол — там, где только что были побеги,— скорчился, как перебитая нога.

И опять он ждал, ждал без всякого результата. Потом, чтобы хоть немного отвлечься, ушел из дому под тем предлогом, что ему нужно кое-что купить. Внизу его остановил добродушный привратник. «Один остался? Холостяком?» — «Что делать»,— ответил он и открыл ящик для писем. Там оказалось приглашение. Ассоциация бывших учеников его гимназии устраивала морскую прогулку ночью при луне. Заявления об участии принимаются до среды, 6 августа. Цена 30 драхм. Тяжело нагруженный фруктами, помидорами, яйцами и хлебом он вошел в лифт и там с отвращением разорвал приглашение, присланное Ассоциацией бывших учеников его гимназии.

Но в ту ночь, когда он лежал в постели, глядел на полную луну, которая красным нулем подымалась из-за горы Хортиатис, и мучительно пытался объяснить себе странную неподвижность растения, в столовой вдруг послышалось какое-то таинственное потрескивание, как будто там на цыпочках расхаживали воры. Несколько дней назад он где-то прочел об ограблении, происшедшем в соседнем доме, и сейчас почувствовал, как у него стынет кровь. «Лучше не шевелиться,— подумал он.— Пусть берут что хотят, только бы сюда не входили». Потрескивание, временами затихая, продолжалось до самого утра. Как только рассвело, он пошел взглянуть на то, что осталось в доме. Тщательно обследовал квартиру: все вещи, нетронутые, стояли на своих местах. «Интересно,— подумал он,— если это не воры, то кто же?»

На следующий вечер он для верности пододвинул к двери кушетку

и прислонил к ней мусорный совок так, чтобы тот, упав, грохотом своим выдал каждого, кто войдет в дом. Потом лег и напряженно стал прислушиваться к темноте. Лунный луч медленно двигался по полу. Вскоре после полуночи треск раздался снова. На этот раз ему показалось, что он похож на сонное покряхтыванье младенца, сопровождаемое каким-то странным звуком, словно где-то передвигали мебель. Он испугался, не начинаются ли у него галлюцинации, и, не выдержав, вскочил. Вышел в столовую и, уже готовый принять на себя удар невидимой руки, зажег свет. Сначала он не увидел ничего, потому что зажмурил глаза — то ли от страха, то ли от резкого света. Но открыв их, обнаружил, что кушетка по-прежнему стоит у двери, а около нее совок — так, как он его оставил. Только большой черный таракан, вспугнутый светом, пробежал по полу, надеясь укрыться под креслом. «Не уйдешь!» — крикнул он со злостью и бросился за ним. Отодвинул громаду старого кресла и уже хотел было раздавить таракана, как вдруг так и застыл с поднятой ногой, словно на уроке гимнастики. Крохотное растеньице, одинокое и беззащитное, робко подымало перед ним свое нежное тельце, зажатое в щели паркета.

Он отступил, опустился на колени, подул на него, поцеловал. Это был круглый, как кофейное блюдечко, листок с углублением посередине. «Растение! Растение! — шептал он пораженный, охваченный необъяснимой радостью.— Откуда оно взялось здесь одно-одинешенько?» Тут он увидел, что большое растение робко, словно черепаха из панциря, просунуло одну из своих голов в открытую дверь его комнаты. «Как же это случилось? Ты не можешь объяснить мне, как это случилось?» — спросил он растение-мать. Но то по-прежнему смотрело на него в дверную щель, загадочное и безмолвное, как сфинкс. «Ты уронило эту зеленую слезу?» Но, присмотревшись повнимательнее, он увидел, что растеньице ниоткуда не упало, а наоборот, прочно укоренилось в паркете и что пол потрескался от его корней. Он опустился на четвереньки и пополз вдоль трещины, желая понять, куда она ведет. Полз, пока не уткнулся головой в бочонок.

Тут он успокоился. Все черные мысли, которые столько времени не давали ему покоя, рассеялись. Растение распространялось под полом, тогда как он думал, что оно будет разрастаться в воздухе. Вот оно. И никакие это не галлюцинации, не воры, не истощение после болезни... Счастливые слезы навернулись ему на глаза. Чтобы отпраздновать появление новорожденного, он налил себе рюмку коньяку, бросил туда взятый на кухне кусочек льда и залпом выпил. «Вот оно,— повторил он.— Началось. Теперь его уже не остановишь. Я, кажется, слышу еще треск. Началось. Завоевание времени. Завоевание пространства. Свершение. Вот он, этот крохотный кусочек вечности, к которому мы стремимся всю жизнь. Больше мне ничего не нужно. Теперь и умереть не страшно».

Едва держась на ногах, он убрал совок, поставил на место кушетку. Опять увидел черного таракана, сказал: «Завтра надо насыпать отравы». Погасил свет и снова улегся на кровать, плавающую в лунном море.

Последующие дни стали для него днями торжества. Счастью его не было пределов. Да и разве можно было не радоваться, глядя, как сквозь паркет пробиваются все новые и новые ярко-зеленые ростки. Они появлялись везде, куда падало хоть немного света, согревающего их продвижение. Однако многие рождались ночью, и по утрам он находил их под темными укрытиями мебели. Поэтому он, не раздумывая, как человек, уже имеющий опыт, сдвинул все столы, стулья, диваны и кресла, взгромоздил их друг на друга и освободил таким образом место для дальнейшего продвижения растений. Даже в спальне родителей он без

колебаний перевернул широкую супружескую кровать, оставив только пружинную сетку, потому что она не загораживала растениям свет и позднее даже послужила для них прекрасной решетчатой подпоркой с крупными проволочными ячейками. А растение-мать, по-прежнему неподвижное, задумчиво смотрело через открытую дверь на размножение молодого поколения.

Каждое утро он просыпался с чувством радости. Первое, что приходило ему в голову, как только он открывал глаза, была мысль: «Сколько еще их выросло с вечера?» И он нарочно не спешил вставать, желая немного оттянуть наслаждение, которое он получал при виде того, как разрастаются его питомцы. Пол превратился для него в штабную карту, где были свои горные цепи из нагроможденной мебели и глубокие деревянные долины, на которых он каждый день зелеными флажками отмечал продвижение дружественной армии. Разнообразие новых ростков было бесконечным: голосемянные, покрытосемянные, узколистные, широколистные, папоротникообразные, нитчатые, зубчатые, цельнолистные, пальчатораздельные и перисторассеченные. Он не мог на них налюбоваться. Потом поливал их из лейки, осторожно ступая, ибо каждый неверный шаг мог оказаться роковым для какого-нибудь нового ростка.

А корни материнского растения уже расползлись повсюду. Оно было похоже на осьминога, который, сидя в своем убежище, в бочонке, по очереди вытягивает свои извивающиеся среди подводных утесов щупальца. И сами корни были с такими же, как щупальца, вздутыми междоузлиями, такой же сердцевиной и напоминали провисшие уличные провода. А листья у новых ростков в темноте фосфоресцировали, и по ночам пол был похож на Верхний город с его вечерними огнями. Они светились так же, как растение-мать светилось в темном углу церкви в тот вечер, когда он выкрал его со двора Ариадны. «Все идет, как надо,— говорил он себе.— Другой на моем месте наверняка бы растерялся. Какое все-таки счастье, что я ботаник, а не инженер. Слава богу...» Он даже придумал свою собственную молитву, которую повторял каждый раз перед тем, как лечь спать: «Боже всевышний, боже всевидящий, подай, господи, и завтра солнышка моим растеньицам, пошли им здоровья и счастья, чтобы они росли, расцветали и славили имя твое ныне и присно и вовеки веков. Аминь».

А корни уже двинулись дальше — в темный, ведущий в кухню коридор и поползли по нему, разрушая симметрию черных и белых плиток. Плитки не трескались, как паркет, а отклеивались легко и бесшумно, словно пластинка, придерживающая вставленный в бутоньерку цветок. Часть корней свернула в сторону, проникла в уборную, оплела унитаз, вскарабкалась по стояку и, прильнув к колоколу бачка, начала жадно пить воду. Особенно неудержимо корни устремились к раковине умывальника, опутали краны, совсем закрыли биде, обвились вокруг труб, а в мраморной ванне сплели настоящую сеть и очень довольные плавали там, словно водяные змеи.

Однажды около полудня кто-то позвонил в дверь. «Не может быть, чтобы лед принесли в такое время,— подумал он.— Верно, кто-то другой — ждет, чтобы ему открыли». Голый, он лежал среди новорожденных растений и изучал их. Звонок зазвенел еще настойчивей. Потом опять, но уже отрывисто и резко. Потом еще. Он увидел, как за рифленым дверным стеклом шевелятся две тени. Может, это принесли счет за свет или воду? Но тогда почему их двое? Он на животе подполз поближе и прислушался.

— Не открывает. Но он дома, я знаю. Он никогда не выходит,— произнес голос, по которому он сразу узнал привратника.

— Может, спит? — проговорил другой голос, незнакомый.

— Посмотрим,— сказал первый,— позвоню еще раз.

И звонок снова настойчиво зазвенел. Теперь привратник уже стучал кулаками в дверь. Потом крикнул:

— Эй, сударь! Господин Лазос, телеграмма...

«Что за телеграмма,— подумал он.— От кого? Уж не хотят ли вернуться наши? Заболел внезапно отец и...»

— Распишитесь вы,— услышал он голос почтальона.

Тень за дверью зашевелилась: привратник доставал очки.

— Где расписаться?

— Здесь.

И так как он лежал ничком у самой двери, то подсунутая под нее телеграмма чуть не попала ему в рот. Он подождал, пока тени не скроются, отполз подальше и дрожащими руками разорвал целлофановую обертку. И замер. Телеграмма была из Аммульяни от родителей. Он долго не мог заставить себя прочесть ее. «Вот этого я и боялся больше всего. Надо же, чтоб это случилось именно сейчас, когда я так счастлив...» Наконец, как человек, готовый ко всем неприятностям, решился и развернул телеграмму.

«В день твоего рождения от всего сердца желаем всяческого счастья, жизни, увенчанной лаврами. Отец, мать».

Сердце стало на место. Чувствуя во всем теле несказанное облегчение, он посмотрел, в котором часу послана телеграмма. 9.30 утра. «Быстро дошла»,— подумал он. Потом осмотрел печати, подписи. Сосчитал слова: пятнадцать — в тексте и пять — адрес, итого, двадцать. Снова сунул телеграмму в целлофан. Закинул руки за голову и плашмя растянулся на полу, еще мокром после поливки. «Итак, сегодня у нас семнадцатое августа. В этот день, ровно двадцать два года назад, явился я на свет, в этот мир, разрывая ложе сна так же, как мои растеньица — доски, кругленький, беззащитный... Двадцать два года! — Он содрогнулся.— И до сих пор играю в цветочки, как маленький, как играл у нас во дворе до войны. Все то же самое. Так что же изменилось? Двадцать два. Мне двадцать два года, я вступил в двадцать третий год моей жизни...» Постичь это было невозможно. Тогда он начал петь старые довоенные песни: «Куда, мой кораблик, ты держишь путь? Море бушует, неужто не боишься, неужто не боишься утонуть? Жребий выпал нам такой, жребий выпа-а-л на-а-ам... Ах, Рири, Ририка, какая ты милашка. Пред тобой сама Марика, знаменитая артистка, просто замарашка... А ну-ка, плесните красненького мне, я выпью, а вы сидите в стороне... Бывало, дома девушки чулки вязали чинно, а теперь забыли стыд, купаются с мужчинами... Эни-мени-дундумени, тара-рам, тара-тара-тара-рам...» Он остановился. «Хорошо было до войны. А теперь мне двадцать два года, и у меня уже есть обязанности. Теперь мне уже нельзя быть таким беспечным».

Потом он опять потерял чувство времени. «Это вчера было семнадцатое. День моего рождения. Я получил телеграмму. Сегодня должно быть восемнадцатое». Время снова сомкнулось над ним, как волна, и еще раз доказало ему, что отмерять его он может только по фазам луны да по росту своего сада.

В столовой, которой тени придали совсем новую глубину и перспективу, у растений в основном были зубчатые, ланцетовидные листья и спиралевидные стебли. В соседней, гостиной, господствовали растения с

цельными мутовчатыми листьями, а те, у которых были крыловидные, супротивные листья, заняли, как меньшинство, отдельный угол.

В комнате, оставленной для родственников, все было совсем иначе. Корни здесь вышли на поверхность — в ботанике они называются «воздушными»,— и от них пошли не побеги-листья, а совсем новые растения. «Может быть,— подумал он,— это потому, что они находятся далеко от материнского растения и решили стать как можно более самостоятельными, чтобы не нуждаться в его непосредственной защите. Деревья знают лучше нас. Умолкаю». Здесь пышно разрослись сапиндусы, юлиании и даже мохнатые энартрокарпусы, которые шипели, словно кошки, стоило к ним прикоснуться. На месте шкафа, там, где пол был другого цвета, оттого что его никогда не натирали, вдруг появились плауновидные, которые странно, но очень красиво контрастировали с окружающими их многолепестковыми цветами гетерохламидных.

В спальне родителей, откуда еще не выветрился запах мочи и постельного белья, жили вперемежку самые разнообразные растения. Но его беспокоило, что среди них слишком много ужовниковых. Они, словно женщины со змеиными телами, изящные и веселые, имели обыкновение обвиваться вокруг других растений и душить их своей чересчур пылкой любовью. Поэтому он старался ограничивать их по мере возможности. В спальне было много зеркал, и среди растений вдруг началось бурное соревнование — кто поднимется выше. И стелющиеся, которые уже по самой своей природе не могли быть высокими, изо всех сил, словно вставшие на хвосты змеи, тянули вверх свои стебли, а крылолистные лианы, похожие на громадных американских пеликанов, не без презрения смотрели на них с высоты. Из-за этих зеркал растения в спальне доходили ему до самой груди, тогда как в других комнатах они были не выше колен. А одна из лиан даже закрыла своей ладонью висевшую на стене икону Косьмы и Дамиана.

Иногда ему приходилось быть жестоким: некоторые безумцы то и дело норовили вылезти на балкон и обвиться вокруг перил. Он подавлял каждую такую попытку и для острастки наказывал виновных, потому что они тем самым выдавали не только себя. За них могли жестоко поплатиться и другие, которые скромно и благопристойно старались благоденствовать внутри комнат.

Листья покрыли торшеры, стены и лампочки под потолком. Одетая зеленью мебель стала похожа на вытащенные со дна моря затонувшие корабли. Лишь смутно вырисовывались очертания предметов, да кое-где сквозь листву проглядывала красная или коричневая полоска.

В коридоре было слишком темно, чтобы там могло что-нибудь расти, в уборной и ванной — слишком влажно. Лишь в кухне расположились некоторые моховидные и спорофиты.

Однажды вечером у него погас свет. Он было решил, что это повсюду, но в городе по-прежнему горели огни. Он зажег свечку и внимательно осмотрел провода, ведущие к общему выключателю. Потом ему пришло в голову, что у него не уплачено за свет, но, сколько он помнил, счета еще не присылали. Тогда почему темно? Ответ принесло утро: все провода в квартире, не меняя ни места своего, ни устройства, превратились в корни. Корнями стали телефонный шнур, провод звонка, спиральная антенна радиоприемника и трубы в ванной. Потом перестала течь вода, и он, когда ему хотелось пить, засовывал в кран сохнущий язык.

Однажды он нашел под дверью конверт без марки. Не вскрывая, по почерку понял от кого. Прочел: «Давно уже я пытаюсь тебя найти. Теле-

фон твой не отвечает. Звонок не работает. А привратник говорит, что ты дома. Послезавтра я уезжаю на Афон с несколькими немцами. Обязательно позвони по телефону 89-64. Я хочу тебя видеть. Очень нужно. Костас».

Он услышал треск, он услышал грохот. В его комнате одна за другой попадали подпорки. Растение поднялось, словно вставший на ноги слон. Разбило лампу и изо всей силы ударило в потолок. Белыми хлопьями посыпалась штукатурка. Что это? Неужели оно хочет разнести весь верхний этаж? Но хватит ли ему сил для этого или оно, не выдержав напряжения, сломится и сдастся?

«Костас, друг мой Костас, в плохую минуту ты объявился,— проговорил он в смятении.— Не удастся нам с тобой увидеться. Не смогу я. Я нужен моему растению».

VIII

Первым человеком в доме, который на себе почувствовал эту агрессивность растения, была мадам Лебель, жившая на верхнем этаже. Муж у нее отсутствовал целыми неделями и возвращался домой только на субботу и воскресенье. Поэтому мадам Лебель, которой очень нравилось солнце Эллады, каждое утро вместе с тремя своими детьми отправлялась на пляж в Бакче-Чифлики; под вечер съедала где-нибудь во Флоке порцию мороженого и жила себе спокойно, пока однажды безлунной ночью не почувствовала, что кровать под ней качается, словно лодка. Перепуганная, она вскочила: вся комната дрожала так же, как ее коровьи груди под прозрачной рубашкой. «Землетрясение»,— подумала она и кинулась в детскую, боясь, как бы дети тоже не испугались, проснувшись. Но малыши — Жак, Марилен и Пепо — спокойно продолжали спать под своим пологом, прокаленные солнцем и морем, чернокожие, как чертенята. «Странно»,— сказала она. Прокричал петух. Мадам Лебель снова легла, но новый толчок сбил под ней простыни. Стоявшая рядом этажерка качнулась. Флаконы с духами и лосьонами, баночки с кремом и украшения посыпались на пол и разбились. Кроватные пружины скрипели. Бедная женщина до самого утра не сомкнула глаз. На следующий день, поднимаясь в лифте вместе с госпожой Сусамиду, мадам Лебель спросила соседку, не почувствовала ли та ночью каких-нибудь толчков. Нет, она ничего не заметила. И утренние газеты — а она их читает очень внимательно — ни словом не обмолвились о землетрясении. Но вообще-то она спит довольно крепко, пусть лучше мадам Лебель спросит кого-нибудь другого. Мадам Лебель поблагодарила и стала подниматься дальше... На следующую ночь было то же самое. Кровать под ней скрипела и раскачивалась сама собой. Чтобы заснуть, она даже стала принимать таблетки, чего до сих пор не делала никогда в жизни. Так продолжалось до самой субботы. Когда вернулся муж, она рассказала ему обо всем. Но тот не принял этого всерьез, а после его отъезда бедную женщину снова начала мучить кошмарная тряска, приходившаяся обычно на самую глухую пору ее одинокой ночи. Муж, вероятно, чтобы поддразнить ее, сказал, что это просто галлюцинация. И теперь она уже готова была поверить этому. Снотворные таблетки только еще больше возбуждали ее нервы. Невыносимая жара и одиночество — и как же долго не наступала эта суббота! — довершили дело. К тому же она получила на пляже небольшой солнечный удар. Все это, вместе с непрекращающейся боязнью землетрясения, окончательно лишило ее равновесия, и мадам Лебель, полная здоровья и сил женщина,

отправилась к невропатологу со второго этажа, господину Анагностарасу, чтобы тот ее осмотрел.

«Так что же все это значит? Что это ты собираешься сделать?» — думал он, глядя, как растение атакует потолок. Чего оно добьется, если даже ему и удастся разрушить крышу? Ведь улететь в небеса вертолетом или аэростатом, как он думал раньше, оно не сможет: слишком глубоко проникли в дом его корни. Напрягшись, как Атлант, растение, казалось, хотело поднять на своих плечах тяжесть всей земли. «Ничего у тебя не выйдет,— сказал он ему.— Напрасно стараешься. Ничего не получится. Ты вскормлено мною, моей человечьей плотью, и не для нас они, эти мечты богов...» Однако он давно уже привык ко всяким неожиданностям и теперь, по правде сказать, просто не знал, что еще замышляет его растение. Во всяком случае, он решил сначала как следует разобраться во всех особенностях этого нового броска и ни в коем случае не торопиться с выводами.

— Цикады. Ну неужели ты не слышишь, что цикады забрались к нам в открытые окна? — раздраженно спрашивала отставного генерала его жена. Она первая услышала этот назойливый треск и тут же разбудила супруга. Но тот, бывший артиллерист, как все, служившие в этом роде войск, был туговат на ухо и в жирной тишине августовской ночи не мог расслышать тонкого потрескиванья, которое его жена приписывала цикадам. Поэтому он равнодушно повернулся на другой бок. Однако госпожа Эксадактилу, которая и без того не могла спать от астмы, решила добиться своего.

— Встань и выгони цикад,— зашептала она ему прямо в ухо.— Вставай, ну, вставай же...

— Ох, жена, оставь ты меня в покое,— пробормотал генерал сквозь сон,— дай поспать...

В конце концов ей все же удалось его растолкать. Отставной генерал в бязевых кальсонах обследовал всю квартиру и, нигде не обнаружив врага, удовлетворенный, вернулся в постель. И вовсе дело не в том, что он плохо слышит, просто жене все это померещилось. Цикады! Хороши шуточки. Больно им нужен город, всем этим цикадам и кузнечикам!

Но на следующий вечер жена, несмотря на астму, закрыла все окна и включила вентилятор. Его лопасти перемешивали духоту, словно жидкую кашу. Сейчас они задохнутся оба, только и всего. Что же все-таки она могла услышать?

— Цикады, треск... Ах, Симеон... ну, неужели ты не слышишь? Крак... Крак. Встань и поищи опять... Крак... Крак...

Потрескиванья раздались совсем рядом, и генерал, наконец, услышал.

— Что это?

— Откуда я знаю,— ответила жена испуганно.— Какое счастье, что наша Деспинула уехала.— Дочь у них была в лагерях для гидов.— Совсем перепугалась бы девочка.

Тут уж ее муж счел для себя всю эту историю делом чести и решил к следующему вечеру подтянуть, как положено, резервы, окружить неведомого врага и захватить его на месте. И действительно, на следующий вечер он спрятался за креслом и, как только послышалось потрескиванье, неожиданно выскочил из засады, включил свет, грозно крикнул и — не нашел ничего. Весь его заряд пропал даром, потому что неведомый враг сумел сделаться еще и невидимым. Пристыженный, он вернулся к супруге.

— Нечисть завелась у нас в доме,— жалобно проговорила генеральша.— Нечисть. Спаси нас, господи!

Тогда и он понял, что происходит: ведь он слышал суматоху в генеральской квартире и видел, как корни выгибают спинки и подсовывают под доски свои остренькие головки. Все стало ясно. Растение рванулось вверх и уперлось в потолок только для того, чтобы корни его могли проникнуть как можно глубже. «Похоже, что мое дерево собирается продырявить весь дом,— подумал он с радостью и страхом.— Видно, хочет добраться до земли и впиться в нее корнями — разве может ему хватить перегноя в бочонке? Хочет сосать влагу из земли, а не из труб, которые давно уже не в силах утолить его жажду». Он видел, как сжимается его растение, как напряжены его нервы, как вздуваются жилы у него на шее. «Держись,— сказал он ему.— Держись, я с тобой и не оставлю тебя ни на минуту».

На шестом этаже, в Клубе железнодорожников, по ночам не было никого, и слышать треск было некому.

Директор гимназии господин Периклис Кармириадис жил один. Жена и дочери уехали на лето в горы в Орэока́стро, и он ездил к ним только на субботу и воскресенье. Жара всегда плохо действовала на его чувствительную нервную систему, и по вечерам он подолгу не мог заснуть. Однажды он редактировал свою новую статью «К вопросу об испорченности современной молодежи» и вдруг за спиной услышал как будто зубовный скрежет. Сначала он решил, что странные звуки доносятся с улицы, потом — что с верхнего этажа, но когда скрежет раздался в его кабинете, он в ужасе вскочил с кресла. Как безумный, заметался он из стороны в сторону, но жуткий треск издевательски, словно хлопушки, разбросанные по классу озорниками-мальчишками, то и дело взрывался у него под ногами. Не долго думая, он сорвал одну доску — ничего. Охваченный паникой, собрался было выбежать из комнаты, как вдруг дверь с грохотом захлопнулась перед ним. «Что за сатана не дает мне работать? Черт побери!» И тут же раскаявшись в нечаянно вырвавшемся ругательстве, стал умолять всевышнего рассеять нечисть, которая смущает почтенный покой его дома.

Он ничего не знал. Только пытался представить себе, как корни, следуя за электропроводкой, невидимые, ползут внутри стен, словно одинокий путник, который старается придерживаться железнодорожного полотна, чтобы не затеряться в ночной пустыне. И когда он видел, как растение у него в комнате потеет, сохнет, чернеет от напряжения, он понимал, что это значит: корни натолкнулись на очередное бетонное препятствие. А когда его листья облегченно расправлялись, он знал, что корни все-таки нашли себе лазейку среди кирпичей. «Смотри не попадись,— говорил он.— И не очень-то ломай стены, а то ведь нас и найти могут. Когда вступаешь в помещение, старайся спрятаться под перекрытием, а не прямо под паркетом». Теперь он заботился о растении больше, чем когда бы то ни было. «Хотелось бы мне родиться другим,— говорил он ему иногда,— чтобы я мог еще больше тебе помочь».

Дядюшка Рубен, зять Кеворка Пополяна, который вместе со своей женой Ермоне приехал навестить ее сестру Сурпуи, жену Кеворка, по-

армянски излагал свою собственную теорию о шумах, которые совсем напрасно так встревожили обитателей их дома. По его мнению, во всем были виноваты доски, которые расширились от жары и теперь трескались. Добрый толстяк, как и Кеворк, торговал деревом и хорошо знал все его свойства. Двое детей Пополяна — мальчик Гаро и девочка Алис,— по уши углубившись в изучение чрезвычайно разветвленного и запутанного родословного древа, пытались определить, в какой степени родства находятся они с известным богачом Гюльбекяном, недавно умершим в Лиссабоне, и на какую долю его громадного наследства они могут рассчитывать. Дети часто засиживались допоздна и накануне первыми услышали эти странные шумы. Дети ничуть не испугались и приняли их со всем своим традиционным гостеприимством. Если бы шумы могли есть, они непременно угостили бы их финиками и кожицей абрикосов. Но обе женщины, Ермоне и Сурпуи, чувствительные, пышные, добродушные и всегда готовые плакать, встревожились чрезвычайно. Тогда Кеворк вытащил из нафталина убранные на лето ковры и постелил их на пол. Потрескивания стихли. Однако женщины продолжали тревожиться и поэтому радостно согласились с теорией дядюшки Рубена о досках, трескающихся от жары. Но убрать с пола толстые персидские ковры так и не решились.

Он понятия не имел, что происходит. Только представлял себе, как корни, словно водолазы, вслепую отыскивая дорогу, спускаются все ниже среди армированного бетона и страдают от мрака и отсутствия свежего воздуха. Кирпичи, думал он, корни одолеют легко и проникнут во все их поры и трещины, не встретив сопротивления,— ведь дом построен из бракованных материалов. А может быть, провода ведут их по неверному пути и теперь они бесцельно блуждают во тьме, теряя силы и соки? Только на четвертом этаже, если им удалось туда добраться, в квартире Антонакакисов — бывший депутат и его жена уехали на курорт,— может быть, там им удастся запастись водой. И кто знает, ведь они могли пробраться в шахту лифта и, понимая, что там их никто не увидит, глотнуть немного воздуха. Но точно он не знал ничего. Все это было личное дело его растения. Однако он заметил, что оно уже не упирается в потолок с такой силой, и стало видно, что в том месте, куда оно ударило, совершенно осыпалась штукатурка.

— Молчать, Бокс, куш, Бокс! — сердился господин Плитас на своего пса, который по ночам вдруг стал поднимать отчаянный лай, вызывая возмущение остальных жильцов. Господин Плитас для компании забрал с чердака своего пса, и теперь, когда потрескивания добрались и до его квартиры, пес, услышав их, начинал беспокоиться и громко лаять, словно чуял воров. «Молчать, Бокс! Куш, Бокс! Да заткнись ты, наконец!» Напрасно. Угрызения совести наступали на господина Плитаса отовсюду. В ночной темноте ему слышались голоса: «Ты убил их, ты...» А в мареве невыносимого зноя чудились легкие шаги, словно это бродил по комнатам призрак жены, умершей после тринадцатого аборта, и спрашивал, где ее дети. «Я отправил их в Арсакли, Попи, милая, отправил к тете»,— отвечал он ей. Но значит, все это не просто плод его измученного воображения, раз и Бокс лает так яростно. Значит, это они, это их души приходят к нему... «Молчать, Бокс! Куш!» Собачий лай — это его собственный голос, и сам он с каждым днем все больше становится похож на своего пса — это видно даже в зеркале... Больше он не выдержит. Сойдет с ума. И господин Плитас решил завтра же подать в Главное управление Северной Греции заявление об отпуске.

Он вышел купить себе хлеба и увидел, что внизу, у дверей Калфоглу служанки с ведрами и кувшинами образовали целую очередь за водой. Значит, вода уже не доходит даже до второго этажа! Есть только на первом и, разумеется, в полуподвале. Но какая хозяйка разрешит своей служанке ходить за водой к проституткам? Так жена мясника стала в доме важной фигурой, и все, кто раньше смотрел на нее свысока, теперь не знают, как к ней подлизаться, чтобы получить лишнее ведро воды. Вот и сейчас она стоит перед дверью — рукава засучены, громадные груди сливаются с брюхом,— стоит и руководящим тоном дает советы и наставления.

— А твоя милость не будет брать воду? — завидев его, крикнула мясничиха.

— Нет,— ответил он нервно, с отвращением пробираясь мимо служанок.

На улице он обошел дом со всех сторон, высматривая, не пробили ли где-нибудь корни наружных стен. Но все было в порядке, и он успокоился. «Корни высасывают у них всю воду,— подумал он с удовлетворением.— Им ее уже сейчас не хватает, а скоро они у меня будут совсем погибать от жажды...» Издали, в мареве летнего полдня, дом казался неприступной крепостью, одетой в солнечный панцирь. «Только внутри эта ваша крепость вся источена и в один прекрасный день рухнет,— проговорил он самоуверенно.— А снаружи ничего не видно. Ни одна трещинка не выдает болезни, которая потихоньку подтачивает ваше каменное чудовище». Потом дом показался ему похожим на омара с его ложным панцирем — антенны на крыше, словно усики, балконы — колючие наросты,— на омара, который доживает последние минуты. «Ничто не выдает присутствия моего осьминога, который своими щупальцами потихоньку опутывает вашего омара и уже готовится его проглотить». И он в прекрасном настроении вернулся домой, держа под мышкой буханку хлеба, ощипанную по краям.

— Мы их ждали вчера, но ничего не случилось. Наверное, сегодня вечером начнутся,— говорила ему в лифте госпожа Ладопулу, через месяц ожидавшая еще одного ребенка.— Ах, Иисусе Христе! Я до самого утра глаз не сомкнула от страха. Говорят, что эти потрескивания продолжаются по три ночи подряд. И надо же, чтобы как раз теперь...— показала она на свой вздувшийся живот.— Ваши уже вернулись?

— Нет еще,— ответил он, вежливо открывая перед ней дверцу лифта.

— Счастливые! — сказала беременная выходя.

Дома он кинулся к растению, обнял его. «Все идет прекрасно! — крикнул от в восторге.— Твои корни добрались до второго этажа. Теперь держись. Вола мы уже съели. Остался хвост. А знаешь, какие они все перепуганные? И лица такие растерянные. Когда они меня терзали своими шумами, я молчал. Теперь моя очередь. В этом мире за все приходится расплачиваться. Вот она — справедливость!»

Но такая безудержная радость продолжалась у него недолго. Хотя по совсем другой причине, но он тоже принял участие в общих волнениях. Удастся ли его корням добраться до земли? Выдержит ли растение, которое уже теперь выглядело усталым и словно внезапно постаревшим? Что будет, если его вдруг обнаружат где-нибудь между этажами? Или если родители раньше времени вернутся с Аммульяни? Неу-

жели корни не успеют? Теперь они уже должны встретить первых земляных червей, как мореплаватели — первых птиц, возвещающих о близкой земле. И если они сбились с пути, то сейчас наверняка приободрились. Но успеют ли они? У него в комнате листья тихонько шелестели под теплым, идущим с залива ветром, проникавшим сквозь открытые окна. Они пахли мятой и ивой. Он снова взглянул на растение-мать, которое, словно сфинкс, таило в себе столько загадок. Неужели не успеют?

Госпожа Мальвина, акушерка, еще более суеверная, чем госпожа Эксадактилу, привела даже попа, чтобы освятить квартиру. Тот, не жалея святой воды, окропил базиликом все углы и, бормоча тонувшие в бороде молитвы, приказал «нечисти» рассыпаться. Потом сунул в карман деньги и сладости и удалился вместе со служкой. (Внизу, у входа, перепуганный привратник, которому угрожала потеря места, бросился целовать ему руку.) Но несмотря на освящение, странные шумы все-таки явились в квартирку госпожи акушерки и привели ее кота в чрезвычайно игривое настроение. Кот считал, что это царапаются мыши, и прыгал на пол, раздирая когтями паркет. Тогда госпожа Мальвина вспомнила, что она как-никак председатель Общества женщин-ученых; не теряя времени, она поднялась на пятый этаж к другому председателю, директору гимназии, и заявила ему, что просто стыд, если столько образованных людей и достойных граждан не могут обнаружить источник зла. Господин Кармириадис нашел протест акушерки обоснованным и созвал жильцов на общее собрание.

IX

Собрание состоялось в среду вечером после закрытия магазинов. Пришли все, кто остался на лето в городе, и даже те, кого шумы еще не начали беспокоить,— коммерсант Сусамидис, невропатолог Анагностарас и торговец скотом Калфоглу. Он тоже пришел, хотя и не получил приглашения,— пришел из садизма и любопытства. Сел в угол и за весь вечер не издал ни звука.

«Вначале было Слово». Первым, по двойному праву председателя и хозяина дома, держал речь директор гимназии. Жильцы полукругом расселись на стульях и креслах, стараясь держаться поближе к вентиляторам, а господин Кармириадис встал за письменный стол и оперся на него, словно на церковный амвон во время проповеди; на его иссохшем лице Христовым светом горели черные, как у галки, глаза.

— Уважаемые дамы! — произнес он, обернувшись к акушерке, единственной присутствующей здесь женщине. (Мадам Лебель на приглашение не откликнулась.)—Господа! Прежде всего прошу извинить меня за то, что я ничем не могу вас угостить. Моя супруга и дочери сейчас в Орэокастро, а сам я не умею сварить себе даже чашку кофе.

— Ничего, ничего, это не имеет значения,— раздалось два-три голоса.

—Мы сюда собрались не ради угощения,— заявил Ладопулос.

— Господа,— продолжал Кармириадис, глядя в потолок, подобно тому, как в церкви он не сводил глаз с изображения всевышнего на куполе.— Вот уже больше двух недель все мы пребываем в смятении. И причина паники не установлена до сих пор. Кто из нас не чувствует, что над домом нашим, в котором обитаем мы, почитающие законы граждане Греции и братья во Христе, нависла угроза очутиться в карантине, словно мы заражены проказой или чумой. Почему? Потому что утеряли

мы наше душевное спокойствие и нервы наши, подорванные этой адской жарой, окончательно расстроились. Но что значат эти потрескивания, которые, словно демоны, завладели нашим домом? Откуда они? О чем свидетельствуют? Спросили вы себя об этом? Лично я убежден, что не во внешнем мире нужно искать их источник. Внутри нас, господа, внутри нас живет бог и гнездится дьявол. И стоит нам забыть о боге, как дьявол поднимает свой голос. Да, все мы, все без исключения, забыли господа и свернули с его пути на девяносто градусов. Я говорю, как видите, господа, горьким языком правды, характер не позволяет мне прибегать ни к каким околичностям. Итак, мнение мое, если вам угодно его выслушать, состоит в следующем: вернемся на путь, указанный всевышним. И да станем все мы доброй землей, на коей слово его, будучи посеянным, приносит плод. «Кто теряет меня, теряет источник живой воды, текущей в жизнь вечную»,— сказано в Евангелии. Как же иначе можно объяснить нехватку воды? Взгляните окрест себя. Слово божие вытесняют всяческие раскрашенные книжонки. Вместо церкви — кинематограф. И все мы на краю бездны. Посему я и позаботился приготовить для вас несколько экземпляров Нового завета, которые и раздам вам сейчас безо всякой платы. И да станет свыше вдохновенное слово облегчением и бальзамом для измученных и несчастных душ наших.

И он начал раздавать Евангелия, словно причастие. Некоторые, взяв книгу, тут же начинали обмахиваться ею, словно веером, другие, небрежно полистав, совали ее в карман. Только Ладопулос отказался от подарка, заявив, что у него в доме и так слишком много Евангелий.

Потом, когда председатель закончил раздачу, слово взял господин Эксадактилос. На нем были темные очки, словно он и не покидал армии и сейчас выступал не перед соседями, а перед выстроенным полком.

— Прекрасно и свято все, что сказал наш дорогой председатель и выдающийся ученый,— начал генерал,— но это не поможет нам обнаружить врага и убежище, в котором тот засел. Я более чем убежден, что речь может идти только о явно антинациональных силах, которые действуют в подполье, по-партизански, нанося нам неожиданные удары. Не в первый и не в последний раз родина призывает меня стать на ее защиту. Я воевал в Албании, Эль-Аламейне и на Граммосе-Витси, я прошел его весь, очищая пядь за пядью. И полагаю, что опыт, который я там приобрел, поможет нам уничтожить невидимого и тем более опасного врага. Итак, мой приказ — простите, я хотел сказать: мой настоятельный совет — будет один: искать. Необходимо тщательнейшим образом прочесать весь дом. Обыщите хорошенько свои квартиры, шкафы, чердаки, кухни и чемоданы. Где-то у нас в доме спрятан передатчик. Дьявольская машина русского производства и происхождения, которая ведет против нас «холодную войну», разрушая нашу нервную систему. Точно так же, как это было во время гражданской войны, когда кровавые красные псы не давали передачам свободной Греции достичь ушей угнанных женщин и детей. Вот единственное, что я хотел вам сказать. Враг среди нас. Скрывается у нас в доме. И если мы его вовремя не обнаружим, могут произойти еще бóльшие беды. Итак, ищите и, когда найдете, позовите меня. Я его уничтожу. Я ножом проткну ему брюхо. Греция не погибнет! Да здравствует нация! Да здравствует король эллинов! Ура героям двадцать первого года!

Разгоряченный и дрожащий от возбуждения, он уселся на стул. И только тогда снял свои черные очки.

— По-моему, мы пришли сюда не для того, чтобы слушать проповеди и патриотические речи,— заявила акушерка, у которой это мужское пустословие вызвало только раздражение.

— А я говорю, это какой-то большущий змей забрался к нам в дом через трубу и теперь ползет все ниже и ниже,— сказал торговец скотом.

Плитас нервно стучал костяшками четок. Сусамидис и Ладопулос затеяли громкий разговор о ценах на кашемир. Стало еще жарче. Собравшиеся, по-видимому, устали.

— Прежде всего, не волнуйтесь,— вышел вперед невропатолог.— Все мы нуждаемся в покое. И в этом — единственная причина зла. Хотя я лично еще не слышал никаких потрескиваний, мне кажется, я вполне могу объяснить причины странного явления, которое тиранит наш дом последнее время. Я полагаю, что в данном случае речь может идти только о факте массового психоза. Что я под этим подразумеваю? А то, что все мы стали жертвой самовнушения. В результате телепатического излучения электронов из нашего мозга ожидаемый или воображаемый факт переносится во внешнюю среду и становится объектом нашего восприятия. Гюстав Лебон в своей книге «Психология толпы» говорит, что люди похожи на сообщающиеся сосуды: все мы зависим друг от друга, и каждый находится под влиянием остальных. Выражусь яснее: когда дней десять назад ко мне на прием пришла француженка с верхнего этажа и пожаловалась на какие-то странные толчки, которые якобы раскачивают ее кровать, я не придал этому серьезного значения. Мне показалось, что это просто единичный приступ неврастении. Но потом ко мне пришла госпожа Эксадактилу, которая, как известно, страдает от астмы, и попросила у меня снотворного. Волна бессонницы, как заразная болезнь, захлестнула наш дом. Потом распространился слух, что эти шумы возникают в полу каждую третью ночь, и с тех пор все со страхом ждут своей очереди. Но, господа, как я уже вам сказал, путем самовнушения совсем нетрудно вызвать у себя любое состояние. Повторяю, это всего лишь массовый психоз. Ничего другого. Поэтому я взял с собой и сейчас раздам вам бесплатно замечательнейшие таблетки «Беллергаль», которые всем вам обеспечат приятнейший сон. Принимайте их по одной после ужина.

И он стал раздавать таблетки, как только что директор гимназии раздавал Евангелия.

— Не буду я их принимать,— сказал Сусамидис, у которого было слабое сердце.

— А как по вашей теории можно объяснить общую недостачу воды? — съязвил отставной генерал, которого задели слова врача о его жене.— Неужели и вода тоже подвержена психозу?

И сардонически рассмеялся.

— Если вы читаете газеты...— начал невропатолог.

— Я читаю их все,— перебил его Эксадактилос.— Утренние и вечерние. Так что же?

— Разумеется, когда человек в отставке, у него достаточно времени для чтения,— сказал господин Анагностарас.— Но, по-видимому, вы не обратили внимания на сообщение о том, что сейчас во всем городе ощущается нехватка воды. Кроме того, ведь вы живете на седьмом этаже...

— Но воды нет даже на втором,— пробурчал генерал, кусая губы, чтобы нечаянно не выругаться.

— Это все змей ее выпивает,— подал голос и Калфоглу.

Но тут вмешался армянин, который до сих пор не вымолвил ни слова.

— Дождык пошла,— воскликнул он с детской радостью.— Глядыте!

И все повернули свои истомленные лица к окнам, по которым уже бежали толстые струи дождя.

Он очень хорошо рассмотрел их всех, когда они повернулись. Заметил, как тусклы их глаза, «глаза, в которых все уже погасло»,— подумал он; увидел, как тяжело склоняются на грудь головы, посмотрел на

их руки, на взмокшие подмышки, на белые, похожие на полицейские аксельбанты, разводы, оставленные высохшим пóтом. Увидел, как тупо смотрят они в окно, словно волы, уставившиеся на идущий мимо поезд. И вдруг они показались ему похожими на мух, попавших в каменную сеть города-паука, мух, которые не подозревают о своей судьбе и тщетно бьются, стараясь высвободиться. И он впервые как будто даже пожалел их.

X

На пятом этаже снова застрял лифт. Привратник вызвал монтеров и, сердитый, пошел вешать табличку: «Лифт не работает». Причин расстраиваться у него было более чем достаточно. Мало ему обычных забот и огорчений, мало того, что пришлось стать жандармом для всех этих служанок, которые вечно ссорятся, кому раньше брать воду, мало, что заболела жена и снова нужно тратиться на врачей,— мало всего этого, так еще ходят тут эти чужаки, железнодорожники, которые набиваются в лифт как скоты, хотя, кажется, ясно написано, что кабина поднимает только троих. Вот машина и портится. И сейчас тоже застряла как раз у ихнего клуба, на шестом этаже.

Голый лежал он в своем раю, держал в руке лист и думал о том, что жизнь слишком коротка, что годы проходят чересчур быстро и что все это ни к чему — и мы, и вся наша жизнь, только вот этот листочек вечен: упадет на землю и снова соком поднимется по стволу, а люди, упав, не могут больше подняться, люди уходят навсегда, а рай и ад — это сказки для маленьких детей, и единственный настоящий рай — вот он, здесь, создан им самим. Но сколько ему еще осталось радоваться, если все, если все висит на волоске. Так думал он, лежа нагишом в полумраке, держа в руках нежный листок, и не мог понять, почему это сегодня он проснулся в такой меланхолии, почему так пасмурно у него на душе.

Монтеры долго возились с проводами на крыше кабины, распутывали их, обрезали, соединяли и тихо переговаривались, не забывая посматривать, не идет ли мимо служанка, с которой можно полюбезничать. Вдруг один из них, который, стоя, разводным ключом завинчивал гайку, крикнул:

— Эй, Яннис, подойди-ка сюда!

— Что случилось?

— Ничего, иди посмотри.

— Брось, Яннис, надоело.

— Говорят тебе, иди сюда!

Второй ухватился за кабель, лениво поднялся.

— Чего тебе? Что там случилось?

— Взгляни-ка сюда. Это, по-твоему, провод? Ну-ка, возьмись за него.

— Конечно, провод. Что тут еще может быть? И ради этого ты меня поднял?

И он хотел было усесться снова, но второй удержал его за руку:

— Это не провод. Это похоже на дерево. На корень.

— Корень? Ты еще скажешь, тезка, что у нас тут огород?

Вдруг он увидел, что растение беспокойно покачивается, словно кто-то схватил его за ногу. «Что с тобой? — спросил он.— Почему ты дрожишь. Неужели ты догадалось о моем настроении и пожалело меня? Нет, нет, наш час еще не пробил. Когда-нибудь, когда я буду далеко, очень далеко от тебя, ты вспомнишь обо мне и скажешь... Но к чему сейчас думать об этом? Сейчас мы должны радоваться, ведь мы живы. Видишь: все тучи рассеялись. Солнышко... Но что с тобой, почему ты дрожишь? Да ты просто пожелтело от страха. Но ведь осень еще не скоро. Слышишь: осень еще не скоро. А мы молоды, мы совсем еще дети...»

— Вот еще, и еще один, и еще... целый клубок! — говорил монтер, ощупывая темный свод шахты, куда корни растения выбрались, чтобы глотнуть немного воздуха.

Другой Яннис теперь уже вполне убедился, что это в самом деле корни, и растерянно спрашивал товарища:

— Думаешь, от этого и испортилась машина?

— Не знаю. Оставь все, как есть, и пойдем скажем привратнику.

И рабочие, бросив инструменты на крыше кабины, побежали вниз.

— Что с тобой, мой цветок? Не могу я понять тебя, не могу постичь твое волнение. Почему так трепещут твои листья, твое сердце? Почему ты так внезапно похолодел, почему сжимаются твои ладони? Скажи мне. Ведь ты научил меня плавать по неведомым морям, познакомил со столькими солнцами, а теперь не можешь мне даже сказать, что тебя мучает. А, знаю. Просто я надоел тебе. Но посмотри на наших детей, которые растут во всех комнатах. Разве наша жизнь прошла напрасно? Посмотри на новое поколение, которое нам наследует... Подожди. Я что-то слышу. Какой-то шум. Голоса. Людские шаги. Все громче и громче. Думаешь, они обо всем догадались? Голоса. Шаги. Все громче, все ближе. Люди. Люди. Стучат.

Новость, словно молния, облетела весь дом. Первой об этом услышала в привратницкой одна из служанок. И сразу же бросилась к госпоже. Нашли, знаете, в лифте корни. С седьмого этажа. Прямо как водопад. Пробились сквозь стены. Госпожа позвонила соседке напротив. Потом новость понеслась по балконам — от кухни к кухне. Был полдень, и все жильцы как раз обедали. Некоторые не стали спешить, предпочитая сначала покончить с едой. Другие выбежали сразу, решив, что в доме пожар или что кто-то покончил с собой. Поскольку лифт не работал, все собрались на лестнице и теперь толпой поднимались наверх, торопясь выяснить, что же все-таки произошло. А вдруг, наконец, обнаружен корень зла, установлена причина нехватки воды, источник бессонницы и всеобщей паники? Даже обе проститутки из полуподвала, Тула и Мэри, тоже приняли участие в общей суматохе и теперь в своих пестрых платьях и косыночках, хихикая, взбирались по лестнице вместе со всеми.

— Кончено, все кончено, мой цветок. Мы открыты. Они обнаружили наше убежище, еще немного — и ворвутся в наше гнездышко. Но какой негодяй выдал нас? Какой подлец? Какая сволочь?.. Пусть себе стучат в двери. Не открою. Но кто? Кто этот шпион? Какой шлюхин сын предал нас?.. Лазароса больше нет. Лазарос умер. Пусть разбивают

дверь, пусть врываются. Я им не открою. Но кто, кто эта продажная тварь, кто этот варвар, это дерьмо, этот ублюдок?.. Значит, ты действительно дрожало не без причины, мое дерево? Ты почуяло беду раньше меня. Стучите сколько хотите. Я вам не открою. Не ждите, чтобы я сказал: «Добро пожаловать». Скоты! Ах, все кончено, дерево мое, цветок мой, жена моя, мой атлант.

— Лазарос, Лазарос, выйди.
— А, может, его там нет?
— Глухим притворяется.
— Да что случилось, чего вы от него хотите?
— А чего он не отворяет!
— Мы обязаны обыскать весь дом.
— Лазарос не похож на проходимца.
— Лазарос, мальчик мой, отвори.

Привратник пытался отпереть его дверь своим ключом, но от волнения это ему никак не удавалось. Между тем народу за его спиной становилось все больше. Люди теснились, толкались, торопясь поскорее увидеть и узнать, что случилось. На передних наседали все сильней, и они кричали, чтобы их перестали толкать. Беременная жена Ладопулоса упала в обморок, и ее отнесли к генералу, чтобы там привести в чувство. Проститутки истерически взвизгивали, как только к ним кто-нибудь прикасался. Привратник все пробовал один ключ за другим, их у него была целая связка, но ни один не желал подходить. А хвост на лестнице все рос и дошел до середины пятого этажа. И все эти люди выли, ревели, рычали, визжали вне себя от ярости.

— Мы хорошо с тобой жили, были счастливы, вместе провели это незабываемое лето. Это тоже немало. Не надо быть неблагодарным. Мы узнали свет, море, облака. Что еще? Может быть, мы захотели понять больше других и убедились, что не поняли ничего. Может быть, мы захотели сделать больше других и ничего не сумели? Но нет, лучше погибнуть вот так, в расцвете молодости, чем медленно разлагаться... Знаешь, я ведь еще помню весну. Твой первый горшок. Свет луны и твое тело, слитое с ночью. И мое желание, блеснувшее как взмах ножа. И море, это бездонное ложе, которому мы доверились. Теперь, дерево, прими на себя мое горе. И ты, море, поглоти мои слезы. Ты говоришь со мною, цветок мой, и слова твои будут вновь и вновь рождаться во мне, как чайки на пустынных островах. Вот только вода отныне будет для меня всегда отдавать железной трубой... Я не жалуюсь. Мы хорошо жили с тобой, были счастливы, мы провели с тобой это незабываемое лето, цветок мой, дерево мое, жена моя, мой атлант.

Наконец привратник открыл дверь, и в квартиру хлынула первая людская волна. Поместились все, включая служанок. Но то, что увидели вошедшие, заставило их притихнуть. Некоторые женщины даже скинули туфли, чтобы случайно не растоптать этот зеленый мир. Пораженные, люди смотрели на этот сад, эти растения, на необычайный вид всей квартиры и спрашивали себя, как в их бесплодном доме мог возникнуть такой рай, такие сказочные висячие сады Семирамиды. А какая здесь была свежесть! Два-три малыша закричали, что они тоже хотят посмотреть. Матери зашикали на них, как в церкви. Только те, кто находился

сзади, не могли понять, что случилось. Почему это все вдруг так внезапно смолкли, словно какая-то волшебница лишила их дара речи? А стоявшие впереди никак не могли решиться двинуться дальше. Их натянутые, как провода, нервы обмякли — словно корни, те корни, которые сейчас опутывали им ноги. Тула сорвала красный цветок и сунула его себе за ухо. «А где же он сам? Где?» — слышался робкий шепот.

Он, стыдясь своей наготы, заперся у себя в комнате. Влез в бочонок, дважды, словно простыней, обернул себя листьями. И стал ждать. Сквозь крохотную щелку он мог, оставаясь невидимым, видеть все, что происходит. И ему было хорошо под зеленым щитом растения.

Однако чары длились недолго. Как только прошло первое потрясение, людям стали приходить в голову и другие мысли... Возможно, сигналом к этому послужило то, что директор гимназии, запутавшись в корнях, вдруг во весь рост растянулся на полу. Во всяком случае, ослепление начало рассеиваться, и все сразу вспомнили о страшных потрескиваниях, которые не давали им спать столько ночей. Вот откуда все это было — от этих корней! Это из-за них они сейчас, словно дети, потеряли головы. А вдруг проклятые корни проникли слишком глубоко, и весь дом с минуты на минуту может рухнуть? Их надо немедленно обуздать. Чего же они ждут? Нельзя терять ни секунды. И, подогрев себя такими речами, мужчины выгнали не желавших уходить женщин и вытащили у кого что было — столовые и перочинные ножи, топоры, секачи,— все, что могло служить хоть каким-то оружием.

— Режут лианы, слышишь, как они кричат? — бормотал он, сидя в своем укрытии.— А сейчас принялись за сапиндусы. Теперь ужовниковые. С этими им так легко не справиться, слышишь, выскальзывают из рук. Теперь ваша очередь, юлиании. И вы, крылолистные, приготовьтесь. Ничего не слышно. Наверное, ушли в другую комнату. А, опять появились. Уничтожают вьющиеся, колючелистные. Убивают мои многолопастные, пальчатораздельные и перисторассеченные грезы. Ну, теперь наш черед. Готовься. Ах, как прохладны твои объятия, только об этом я и жалею, что теряю тебя, дерево мое, цветок мой, жена моя, мой атлант.

Дверь комнаты резко отворилась. В свою щелку он увидел знакомые физиономии соседей, какими они ему запомнились с позавчерашнего собрания. Генерал, оба торговца, директор гимназии, врач, государственный служащий. Карательную операцию возглавлял генерал собственной персоной. Все они выглядели усталыми, их взмокшие рубашки были перепачканы зеленью.

— Ого! Ну и чудовище!
— На буцефала похож.
— Господи Иисусе, пресвятая богородица!
— Смотрите, какое злобное, даже колючки выпустило. Как, дядюшка Бамби, сумеешь его одолеть?
— Да я с быками справляюсь, не то что с этим фиником.
— На вот тебе секач.
— Топор острее.

— Наконец-то мы обнаружили главные вражеские силы.
— Отойдите-ка все в сторонку, придавит.
— Куда же он спрятался, этот бездельник?
— А я вам говорю, господа, все дело в испорченности нынешней молодежи.
— Ну-ка, дядюшка Бамби, действуй, не задерживай.

Он видел, как Калфоглу поплевал на ладони и взялся за топор. Сначала мясник был виден ему до пояса, потом, когда тот приблизился, осталась только голова, потом — глаза, нос и рот. Под конец — одни только черные усы, накрывшие его, словно путы ночи. От первого удара топора растение качнулось, от второго — склонилось набок. Калфоглу ухватился за него обеими руками и стал пригибать его к земле, изо всех сил стараясь поставить на колени. Это была борьба, жестокая борьба гиганта с циклопом. Он потерял сознание.

Когда он пришел в себя, была уже ночь. Окрыв в темноте глаза, он в первый момент подумал, что ему снова застилают свет черные усы мясника. Из балконной двери тянуло ветерком, в разбитое окно струился неяркий свет луны. Кругом была вода. «Как это я очутился в озере?» Вспомнить он ничего не мог. Все тело до мозга костей пронизывала боль. Он попытался подняться, поскользнулся, попробовал еще раз, застонал. Потом, наконец, поднялся и увидел на полу неподвижный, вытянувшийся в предсмертном порыве, окостеневший, белый от лунного света, словно туша мамонта, скелет растения, обтянутый тонкой высохшей кожицей. Все остальное в этом теле, еще недавно таком могучем и полном жизни, превратилось в воду, заливавшую пол. «Вода же усиливалась и весьма умножалась на земле». На глаза ему попался бочонок, плавающий по воде, точно бакен. «И ковчег плавал по поверхности вод». Он снова взглянул на скелет растения: ствол-позвоночник разбит на куски, переломанные ребра провисли, словно лук без тетевы, куски кожи — обрывки растоптанного знамени, сорванного с далеко отброшенного древка. «И лишилась жизни всякая плоть, движущаяся по земле... Истребилось всякое существо, которое было на поверхности земли». Комната выглядела пустой и страшной без растения, которое раньше заполняло ее целиком. «Все, что имело дыхание духа жизни в ноздрях своих на суше, умерло». Комок застрял в горле. «И остался только Ной».

Он взглянул на часы. Стрелки показывали без двадцати три. Хотелось есть.

XI

На следующий день и в другие последующие дни он сам своими руками уничтожил все, что осталось после нашествия соседей. Родители вскоре должны были вернуться с Аммульяни, и ему не хотелось, чтобы они застали дом в таком беспорядке. Складным зазубренным ножом он выкорчевал корни, еще оставшиеся под плинтусами, в углах, в стенах и в оконных проемах. Выкорчевывал так, что отлетали куски мебели, отваливалась штукатурка, трескались панели. Пол выглядел так, будто его разворотили плугом. Он не жалел ничего. С яростью преследовал каждый уцелевший росток. Ничто в доме не должно было напоминать о случившемся. Всегда ненавидел он дешевую сентиментальность и слезливость. Горе не только не согнуло и не сломило его, но наоборот, увеличило его упрямство, катастрофа доставляла наслаждение. Он выбро-

сил остатки в мусорное ведро и теперь только не знал, как вытащить из комнаты скелет большого растения. В дверь оно не пролезало. Обозленный, он попытался его сломать. Безрезультатно. Тогда он взял и ночью сбросил его с балкона прямо на улицу. Но утром увидел, что мертвое растение повисло на проводах, словно остов бумажного змея. Затем он пригласил маляра побелить потолки и стены, потом плотников, которые починили и отлакировали мебель, и, наконец, женщину — вымыть и натереть полы. Расставил всю мебель по местам, и квартира опять стала как новая.

Он уже считал, что с растением покончено, когда однажды, наклонившись, чтобы взять туфли, увидел под книжным шкафом зеленый листок, крохотный и одинокий. Он остолбенел. Он не хотел на него смотреть. Но и не глядя, знал, что новый росток не оставит его в покое. Что с ним делать? Его охватила ярость. Ругательства рвались изо рта. Как он попал сюда, под шкаф? Как сумел пережить эту катастрофу, это изничтожение? Чего хочет? Что означает? Зачем притворяется невинным? Первым его желанием было схватить росток, раздавить его, уничтожить. Но он не решился. На это у него уже не было сил. Не поднимались руки. А оставить его расти — какой смысл? Опять надежда? Он не хотел больше надеяться. Он не отчаялся, но надеяться больше не хотел. Как же быть? Руки его нерешительно вздрагивали. Он застегнул одну пуговицу, расстегнул другую. «Нет у меня смелости начинать все сначала. Может, когда-нибудь в другой раз, в другой раз...» Руки его начали судорожно сжиматься от ненависти, от жажды, от любви. «Надо с ним покончить,— решил он наконец.— Нет для него здесь места. Никакого. Я должен его убить. Я задушу его в память о Большом Растении. Не хочу надежды. Когда-нибудь в другой раз, в другой раз...»

И он наклонился, вырвал росток и вытянул корень, как вытаскивают нерв из больного зуба. Но сердце все-таки не позволило его выбросить. И он с волнением спрятал росток в толстую книгу, чтобы навсегда сохранить для себя его очертания, его облик.

XII

Теперь он шел вверх. Шел вверх по улице Апостола Павла. Перешел «границу», трамвайную линию, и вступил в другой мир. Стоял сентябрь. Вечер был тих и ласков, словно весной. Но проходя мимо Ротонды, он уже не почувствовал аромата цветущих акаций. Он шел вверх. Спешил. Бежал.

Никакой определенной цели у него не было. Он просто удрал из своей крепости, чтобы немного рассеяться. Сегодня вечером у них опять должны были ужинать эти высохшие дамы из опекунского совета дома слепых. Вынести их он был не в силах. Родные требовали, чтобы он не уходил. Чтобы они все вместе поужинали дома, по-семейному. Родители были правы. Нужно было остаться. Но как им объяснить, что чем лучше он их понимает, тем невозможнее для него жить их правотой.

Вдруг уже на улице Святого Димитрия — веселая толпа, девушки, парни, разговоры, песни,— вдруг его осенила внезапная, как молния, мысль: пойти к дому девушки, найти ее, поговорить с ней. Поговорить с живым человеком, рассказать ей все, как оно началось, как кончилось. Как однажды майским вечером он украл у нее со двора горшок с растением — ведь он и назвал ее Ариадной только для того, чтобы она перестала быть такой нереальной,— как буйно потом разрослось это растение, как он провел с ним целое лето и как люди позавидовали его счастью и убили растение, вот теперь он снова одинок, гораздо более одинок, чем раньше. Знаешь, скажет он девушке, люди, что бы про

них ни говорили, думают прежде всего о своем. А растение ведь было твоим, и тебе, должно быть, интересно услышать его историю.

Он попытался представить себе, какое будет лицо у девушки, когда он расскажет ей обо всем этом,— засмеется она, заплачет, посочувствует,— и не смог. И вспомнил, что никогда не видел ее лица...

Значит, все неправда. Он просто обманывает себя. Не говорить ему хочется с девушкой, а взглянуть на нее, увидеть ее лицо. Но почему именно сейчас? Почему он за столько времени ни разу о ней не вспомнил? Как допустил, что прошло столько месяцев, а он ни разу даже не пожелал ее? И почему сегодня, почему именно сегодня ему вдруг до зарезу понадобилось придать облик, очертания, придать лицо призраку, который так его мучил в свое время?

Он торопливо поднимался, шагая в такт своим мыслям. Миновал улицу Кассандры. Свернул направо на улицу Юлиана. Вспомнились его юлиании. «Этому конец. Конец»,— проговорил он. И не почувствовал никакой горечи.

Потом он на минутку остановился перед кинотеатриком, где, как всегда перед концом сезона, шли сразу две картины. В объявлении сообщалось о скором открытии зимнего помещения. «Смена фильмов два раза в неделю». Потом он прошел мимо турецкого консульства, и полицейские подозрительно окинули его взглядом. Только бы опять не заблудиться с наступлением темноты. Он вышел на улицу Иоанна Златоуста. Здесь.

Но что это громоздится перед ним? Что это за квадратное чудовище, черное, словно кусок ночи? Где он — на улице Иериссу или опять заблудился? Он взглянул на табличку: да, улица Иериссу. Но дома номер 17 не было. Не было ни железной калитки, ни двора с его садом, ни двухэтажного домика с оранжевым светом в окнах. Что это за восьмиэтажное чудовище вздымается перед ним? Сбитые из досок леса, неподвижная лебедка, бетономешалка, замершая посреди улицы среди куч гальки, песка и цемента. На столбе прямо перед ним болталась табличка, похожая на нагрудный знак, который носили гестаповцы:

ПАПАДОПУЛОС
предприниматель

И еще одна:

ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПРОКЛАДКИ
«ФЕЛИЗОЛ»

И еще:

ЛИЦАМ, НЕ ЗАНЯТЫМ НА СТРОЙКЕ,
ВХОД ВОСПРЕЩЕН

Откуда-то издали доносился голос бродячего торговца, расхваливавшего свой овечий йогурт. Слышались крики детей, гонявшихся друг за другом в наступающих сумерках. Лай собак. Он ни о чем не спросил женщину напротив, которая высунулась из окна так, что груди у нее свисали наружу. Не стал узнавать, куда переехала семья его Ариадны. «Пошли,— сказал он себе.— С этим тоже покончено».

Теперь он очутился на широкой немощеной дороге возле пастеровской станции, прямо над кладбищем Евангелистрия и еврейскими памят-

никами, возле которых, притихнув, сидели парочки. Увидел далеко внизу здания выставки, волшебный город с разноцветными огнями реклам, Луна-парк. Ярко освещенное колесо с насаженными на спицы самолетиками медленно вращалось в темном небе. До его ушей долетал шум веселящейся толпы и голос, кричащий в громкоговоритель: «Деспинис на шестом номере, внимание!», «Господин на четырнадцатом номере, предъявите ваш билет!», «Пожалуйте, дамы и господа, пожалуйте взглянуть на Мориса-иллюзиониста, знаменитейшего фокусника в Европе!» Огненные фонтаны фейерверков вскидывались высоко вверх и осыпали блестками темные лужайки ночного неба. Но теперь до его слуха долетел другой голос, низкий и задумчивый. Он шел сверху медленно, словно нес на себе всю тяжесть этого мира.

Вечер опускается над Яди-Куле.

Голос звал его к себе. Он обернулся, обвел взглядом древнюю крепость, акрополь, семибашенную стену, монастырь Влатадон, ту самую Яди-Куле.

На воле люди радуются солнцу и весне.

Голос притягивал его. Он не сопротивлялся. Повернулся и невольно снова пошел вверх. Голос то и дело прерывался, был хрипл и надтреснут, но полон тепла и человечности. Он шел на голос. Шел вверх.

А я страдаю, слезы проливаю
в своей распроклятой тюрьме.

Словно лунатик, двигался он по самому краю широкой немощеной дороги. Голос проникал до самого его сердца.

Матушка милая, приди поскорей,
вымоли, выплачь пощаду у судей.

Он обернулся и бросил прощальный взгляд на мир, который оставлял за собой: увидел новые крепости многоэтажных домов, их темные бойницы и симметрично расположенные амбразуры, крепости, которые совсем скрыли из виду море, куда сейчас уже наверняка опустилось солнце.

Ах, разве вина моя так же тяжела...

Нет, он никогда не вернется назад, никогда. Он больше не хочет отвечать за преступления, которые не совершал. Он уйдет туда, где не будет этих каменных чудовищ, уйдет далеко, дальше башен электростанций, дальше Яди-Куле, дальше того холма, на котором каждое утро совершаются казни.

Как тяжелы оковы,
Как тяжела тюрьма...

Он уйдет туда, где восходит солнце, подымется на вершину горы, сбросит с себя одежду и нагой войдет прямо в солнце, в самую его сердцевину, в свою солнечную тюрьму...

Голос смолк. Он оглянулся и увидел, что стоит один среди древних развалин крепости.

Бунт в одиночестве

Повесть Василикоса написана в знакомом и уже отчасти приевшемся жанре притчи, но для притчи она слишком конкретна. Все в ней как будто тяготеет к символике, иносказанию, приоткрывает дверцу в гулкую глубину второго и третьего смысла, а вместе с тем автор почти всюду остается на достоверной почве житейской натуры.

Читая Василикоса, я вспоминаю Грецию, какой успел повидать ее в середине 60-х годов, незадолго до путча «черных полковников». Вспоминаю эти слепящие белизной коробки — знак домостроительного бума — и золотистые античные руины; старые дороги по берегу моря и широкие современные автострады, бегущие с юга на север через всю страну; размытые контуры гор, тянущихся синей цепью на горизонте, белое солнце на всегда безоблачном небе и желто-коричневую землю с просторно расставленными на ней, как на плоском блюде, светло-зелеными оливковыми деревьями; вижу крепость-тюрьму на скале, висящую над морем и отраженную в нежно-голубой воде Адриатики, вижу маленькие таверны на берегу и старую брошенную мечеть, превращенную в клуб бойскаутами и разрисованную ими на современный лад. И город, описанный Василикосом, хорошо узнаю, хоть он ни разу и не назван по имени. Его топография и характерные приметы переданы так точно, что я, еще не понимая, о чем речь, испытал мучительное и сладкое чувство узнавания, пока не догадался, что я снова, как пять лет назад, брожу по Салоникам, исстари ведомой нашим предкам Солуни, колыбели византийской культуры на севере Греции, длинно и торжественно именуемой ныне — Фессалоники.

Так вот отчего мне так знакомы эти улицы и перекрестки — зубчатая стена, монастырский дворик Влатадона, закоулки Верхнего города, мощенные булыжником с пробивающейся сквозь него травой, маленькие кофейни и старинная Белая башня у набережной! То, что мнилось романтической декорацией, специально сооруженной автором для притчи о Лазаросе и его растении, на деле оказалось почти документальным слепком родного писателю города.

Но не только пейзажи, дома и улицы напомнил мне Василикос. Он заставил вспомнить само настроение тех дней, до отказа набитых пестрыми впечатлениями и таивших смутную угрозу. Толпы туристов с киноаппаратами в руках перед мозаиками базилики святого Димитрия Солунского, рослые негры в бескозырках с военно-морской базы НАТО, прогуливающиеся по набережной, нарядные, яркие улицы центра Салоник, а по вечерам на площади Аристотеля, обтянутой канатом, сотни легких столиков и стульев — импровизированное кафе под открытым небом, где откровенные разговоры и дружеское веселье за стаканчиком рицины — дешевого смолистого вина — не смолкают далеко за полночь. Среди старых домов там и сям видны экономно огороженные строительные площадки — крупные черные буквы на белых щитах возвещают имена архитектора и владельцев. Ажиотаж строек в разгаре, и я живу на четвертом этаже самоновейшей гостиницы «Ротонда», где под неоновой рекламой стоит бетономешалка: два этажа еще не готовы, лифт не действует, на крыше кипит работа, но хозяин не хочет ждать, и отель уже принимает постояльцев. Еще выходит газета «Авги», и я вижу над городом светящуюся рекламу партии ЭДА, еще вся Греция поет песенки Теодоракиса, они звучат по радио, в кинотеатрах, в туристских автобусах, и в любой, самой захудалой таверне оркестрик из трех музыкантов выводит знакомые мелодии. Но внимательный глаз отметит, что около газетных киосков собираются кучки встревоженных, темпераментно жестикулирующих черноволосых мужчин, обсуждающих правительственную чехарду, маневры королевского двора и влиятельных военных, а старый греческий коммунист скажет за чашкой кофе неожиданные слова: «Не верьте этому благополучию и спокойствию. Мы — накануне фашизма». Помню, как странно прозвучали тогда эти слова, какими казались неправдоподобными... И как скоро сбылись.

«Накануне фашизма» — а нигде как будто не видно угрожающих его примет. Но кануны фашизма — это и общественный индифферентизм, и желание «пожить для себя», беззаботность и равнодушие толпы, легкое самовозбуждение и мгновенная усталость интеллигенции, тупость лавочников и самодовольство военщины. Василикос очень точно схватывает это общественное состояние, которое не однажды пришлось пережить за последние десятилетия его стране.

Бывает, что ход времени бросает на книгу добавочный свет, заставляя видеть в ней не одно отражение, но и прорицание. Повесть «Растение» появилась в 1961 году, то есть еще до крушения диктатуры Караманлиса. После нескольких лет сравнительно демократического и либерального развития свободной Греции снова заткнули рот, а Василикос попал в черные списки хунты и лишь случайно не разделил судьбу многих своих товарищей, брошенных за колючую проволоку лагерей на пустынных прибрежных островах. Автор яркого политического романа «Z», основанного на документах и посвященного убийству депутата Ламбракиса, погибшего на митинге в Салониках, а также трилогии из небольших повестей нравственно-философского содержания, куда входит и «Растение», Василикос оказался в парижской эмиграции, деля с другими свои-

ми товарищами по изгнанию острую ненависть к режиму, опасность которого он предчувствовал, но не смог предотвратить.

В повести «Растение» несколько планов, и самый внешний, сразу открывающийся взгляду, обманывает поначалу своей мелководностью: он сродни газетному фельетону. Новые дома строят поспешно, скверно — жильцы едва успели въехать, а оконные рамы уже слетают с петель, водопроводные краны текут, перегородки так тонки, что слышно всех соседей за стеной, на потолке выступают ржавые пятна. Если бы дело свелось, однако, к этой справедливой, но неглубокой критике, автор вряд ли мог рассчитывать сколько-нибудь длительно удержать внимание читателя. Однако библейские ритмы зачина, пародийно напоминающие о легендарных днях творения, способны с самого начала навести на более широкие сопоставления и мысли. Что и говорить, автору не по душе хозяин стройки — господин Пападопулос. В своих темных очках и с рулеткой в руках он возникает грозной тенью на первых страницах повести, чтобы подгонять строителей. Но похоже, что писатель имеет в виду и нечто большее: не поспешил ли сам создатель, закладывая фундамент подлунного мира? Слишком уж многое в человеческих отношениях и общественном устройстве сделано в нем наспех, кое-как, словно бы для рекламы, без серьезного и дальновидного расчета.

И вот второй, оказывающийся на виду, план повести, вторая сторона ее содержания. Даже то, что, казалось, должно приносить бесспорное благо людям, вроде современного комфортабельного жилья, чем-то обездоливает, не удовлетворяет человека. Студент Лазарос, мечтавший о своей комнате в отдельной квартире, еще не успев насладиться преимуществами нового для него самостоятельного положения, начинает отчего-то остро тосковать на седьмом этаже каменного дома-крепости. Он не выносит шума лифта, хлопанья дверей, колокольчика мусорщика во дворе, звуков радио за стеной. Его покой безжалостно штурмуют визг служанок на лестнице, звонки телефона, аплодисменты, долетающие с профсоюзного собрания. Приходится признать, что эта сверхчуткость к каждому голосу, шороху, скрипу, когда любой звонок — как удар по нервам, стоит на грани болезни. Конечно, ненависть Лазароса к городскому шуму легко объяснить с помощью простейшей прозаической мотивировки — уж слишком плоха звукоизоляция современных квартир,— но это снова материал для фельетона. Можно далее посмеяться и над чрезмерной чувствительностью и претензиями Лазароса. Но не стоит ли попробовать понять настроение этого не совсем заурядного юного героя, которого автор называет «лесной синицей»?

Он странен, конечно, этот молодой человек. Он воинствующе архаичен и несовременен. У него слишком тонкая кожа и беззащитно обнаженные нервы. Современная городская цивилизация не одного его угнетает своим громом, шумом, многолюдством, но обычно люди обороняются от этого защитными заслонами нашей сверхпластичной психики и живут-поживают, добра наживают,— а этот поздний руссоист, этот Гурон атомного века, только что не вопит от ужаса. Город наступает на природу, он не оставляет места траве, растению, дереву, многоэтажные дома заслоняют море и солнце. И герой не знает, как совместить мир, в котором есть комфорт, но нет радости, и другой мир, милый мир его детства, где во двориках ветхих домишек еще стоят деревья и растет трава.

От этого нельзя отмахнуться. Люди почти разучились созерцать природу, наслаждаться единством с нею. Не случайно и современная западная литература избегает описания пейзажей, они выглядят нестерпимо старомодными. Нынешний человек проносится мимо красивейших ландшафтов по новостроенной бетонке со скоростью сто миль в час, так что деревья с двух сторон шоссе сливаются в одну зеленую стену. Подробные и медленные описания природы в романах прошлого века, далекие, как камзол и пудреный парик, кажутся нам невообразимо прекрасными.

Лазароса мучает городской шум, и оттого героя в его прогулках по родному городу сопровождает безмолвие. Писатель чутко создает эти, будто подхваченные у поэтического кинематографа, совершенно н е м ы е сцены. Шум города исчезает куда-то — ни криков, ни голосов, и остается лишь музыка безмолвного движения, когда в спустившихся на землю сумерках герой неотвязно следует за крохотным язычком зеленого пламени в руках у незнакомой девушки. Все чуть размыто, условно, как во сне, и безусловно лишь чувство, юное желание любви к чему-то красивому, трепещущему и живому.

Лазарос тайком похищает свое растение и поселяет его у себя, в «каменном гнезде». Он хочет жить с ним одной жизнью, дышать одним воздухом, долго и пристально, как разучились люди, вглядываться в него. В наш век такая крайняя степень душевной сосредоточенности и любви к «зеленому другу» выглядит некой странностью и отклонением от нормы, но это та ненормальность, которая есть следствие социальной нехватки каких-то элементов жизни. Такого рода мания, как и всякая мания, развивается из невозможности осуществить здоровую, нормальную потребность. Не следует к тому же понимать поэтическую аллегорию слишком буквально: быть может, вовсе и не о растении рассказал нам автор, но об истории потаенной и вполне земной юношеской любви?

Без специального изучения я затруднился бы сказать, кому в греческой литературе наследует Василикос, чью традицию поддерживает и развивает. Знатоки западной

литературы не обойдут, вероятно, молчанием проблему «отчуждения», укажут на имена Ф. Кафки или Р. Музиля, влияние которых на нашего автора при общем кровообращении европейских литератур представляется вполне вероятным. С известным основанием можно припомнить по этому случаю также философскую сказку Экзюпери о маленьком принце и его цветке. Мне же, однако, при чтении повести неотступно вспоминалось имя писателя, которого Василикос скорее всего не знал и не читал ни разу в жизни. Литературное алиби, отсутствие малейшей улики в подражании, только ярче подчеркнет существенность сходных мотивов. Бывают неожиданные скрещения литературных дорог: на одной из них Василикос повстречался с далеким ему по эпохе и стране русским писателем Всеволодом Гаршиным. Гаршинская пальма Attalea princeps, в своем желании выйти на волю пробившая крышу оранжереи, так же как мотивы гипнотического «Красного цветка», словно бы предвосхищает историю растения у Василикоса. Но еще вернее и неотразимее сближает этих писателей образ человека с больной совестью, юноши, одаренного самым редким талантом — ч е л о в е ч е с к и м, талантом чуткости к чужой боли, как сказал о герое одного своего рассказа, посвященного Гаршину, Чехов. Случайное напоминание? Необязательная связь? Иные странные сближения в литературе куда важнее прямых влияний, и, может быть, разгадка этой встречи найдется в том факте, что сама эпоха 80-х годов прошлого века в России, эпоха победоносцевской реакции, по общественному климату и характеру атмосферного давления, что ли, сродни Греции наших дней.

Но в отличие от гаршинского героя герой Василикоса имеет дело с бесконечно усложнившимся социальным миром, и в его борьбе со злом нет былой романтической беззаветности. Отвращение Лазароса к быту и ко всему строю понятий «старших» стоит почти на грани тотальной мизантропии: ему тяжелы и неприятны гости, родители, соседи. Кажется, он задержался в том раннем возрасте юности, когда вдруг мучительно хочется побыть одному и всякая фальшь, всякое неловко сказанное слово даже близких людей кажутся оскорблением. Родители героя — обычные благоприятные люди, их быт — «нормальный» буржуазный быт, но какое страдание для Лазароса выйти к общему столу, слушать наставления матери, пустые разговоры гостей. Как хочется ему взорваться, надерзить, нагрубить без всякого повода, убежать к себе и запереться! Беззащитная перед привычной обиходной ложью нежнокожая юность не хочет жить в обычаях поколения «отцов». Лазарос не может понять ни их страсти к буфетам с сервизами, ни тяги к комфорту, размеренной буржуазной жизни — и внутренне кипит оттого, что все это надоело, надоело... Надоело!

Протест молодежи в современном западном мире, не находя себе выхода, приобретает причудливые, странные и порой уродливые формы: с одной стороны, это хиппи, населившие тротуары и набережные европейских и американских городов, с другой — студенческие бунты, прокатившиеся недавно волной по университетским городам Запада. Те же, в сущности, настроения питают и героя Василикоса. Он не выйдет на улицы, чтобы бить витрины, переворачивать и жечь «фиаты» и «шевроле», но, гонимый теми же чувствами, укроется наедине со своим растением, запрется на замок, зароется в подушки, чтобы ничего не видеть и не слышать. Любовь Лазароса к растению, одушевление его, нежная дружба человека и зеленого существа — это форма протеста против власти «отчуждения» в современном мире. Но и сама она есть как бы вид «отчуждения», и где-то на самом его краю. Антропоморфизм дополнен в повести неким плантоморфизмом, ибо Лазарос, очеловечивая растение, сам едва ли не переходит в разряд вьющихся и крылолистных. Однако несомненно одно: молодое поколение не хочет жить в обычаях старого буржуазного мира. Пусть их идеалы и надежды расплывчаты, а протест анархичен, молодые люди, подобные Лазаросу, говорят себе: только бы не так, как у «отцов», только бы не повторить их жизни.

Тут и прорисовывается с очевидностью третий смысловой план повести, выдвигающий вперед ее социальную конкретность и заставляющий ее звучать особенно злободневно. Растение — это не только символ роста, движения, непобедимой силы жизни вообще, это еще и олицетворение стихийного протеста, незаметно проникающего во все поры общественного здания и грозящего его сокрушить.

Лазарос испытывает тайное злорадство, слыша, как потрескивает паркет, ходят полы и потолки у соседей: растение пронизало своими корнями и побегами весь дом, наспех построенный господином Пападопулосом (странное совпадение, ведь именно так зовут нынешнего премьер-министра Греции!). Велика угроза зданию со стороны растения, проникшего во все его поры,— но и расправа с ним будет крута.

В жителях дома от подвала до чердака — как бы все греческое общество в вертикальном разрезе: за домом Лазароса виден и весь его город, вся страна. Зеленое существо, обладающее могучей и цепкой силой жизни, растет вопреки всему, и, когда оно уже готово развалить стены, на защиту дома, как на защиту всего общественного здания, поспешают главные его жильцы, и в первых рядах — директор гимназии, отставной генерал и торговец скотом. Не будет большим преувеличением, если мы скажем, что это основные фигуры недавнего греческого переворота.

Директор гимназии всюду видит опасные следы испорченности. Ненавистник молодежи, святоша, привыкший к своему амплуа наставника и неизвестно по какому

праву стремящийся всех поучать и воспитывать, он декламирует о зле, которое гнездится внутри нас. Отставной генерал, как водится, прямодушнее и проще — он ищет источник зла в антинациональных силах, действующих в подполье, требует обыскать дом, чтобы найти передатчик, «дьявольскую машину русского производства». Ни тот, ни другой не в силах понять: не выходки это теддибоизма и не рука Москвы, а просто растение растет, жизнь бьется и требует своего. Наконец, лавочник Калфоглу, не рассуждая лишнего, попросту хватает секач и с профессиональной ухваткой мясника губит отраду Лазароса.

Страшна эта озверевшая толпа маленьких собственников, кидающихся со всеми подручными режущими и колющими средствами на беззащитное растение. Неизвестно, спасут ли они этим свой дом, где растение успело проточить столько дыр и наделать столько трещин, но сам зеленый лист погубят безжалостно и наверняка.

Погибель мечты Лазароса, разгром его тихого сопротивления — полный. Последняя почва уходит у него из-под ног — у него нет больше друга, которого он понимал, которого любил, с которым говорил в тишине, на которого уповал. С ним случается самое страшное — гибель надежды. У него нет больше сил сопротивляться, и, как примерный сын, он белит и ремонтирует разрушенную квартиру к приезду родителей: он сдался.

Мы не видим слез на глазах Лазароса, но его душит холодное отчаяние. И какую точную подробность находит автор для обличения бессилия своего героя, когда, заметив слабенький зеленый росток, случайно оставшийся в щели паркета, он сам вырывает его с корнем. В одной этой детали — вся глубина поражения слабого духом и растерянного человека.

Такие люди часто бывают максималистами, но если Великая надежда однажды обманула их, они сами становятся преследователями живой жизни, отрекаются от того, что любили, с неистовством поруганной веры плюют в дорогие иконы, мстя себе за прежнее обольщение,— и разве что на память о своем бунтарском прошлом сентиментально засушивают зеленый росток в книге, как это сделал Лазарос.

Бунт в одиночестве неизбежно кончается либо циническим равнодушием, либо полным отчаянием. После такого слома юный Лазарос вряд ли станет чувствительной монстерой, скорее, он превратится в грубый, жесткий филодендрон — если вообще найдет в себе силу жить.

И, бросая прощальный взгляд на каменное чудовище города, на холм, где каждое утро совершаются казни, герой Василикоса в смятении спешит покинуть этот мир.

Нет, нет, не выходит, нельзя надеяться на перемену жизни, запершись в четырех стенах, дрожа от ненависти ко всему, что происходит за твоей дверью, и отдаваясь безмерной любви к «зеленому другу». Проявив всю силу симпатии к своему совестливому молодому герою, Василикос рассказал о безнадежности сопротивления в одиночку, о тщете попыток личного самоспасения. Его намеренный или невольный вывод — необходимость совместной и сознательной борьбы людей доброй воли против пороков современной цивилизации и фашистского морока.

В. ЛАКШИН

ЗИГФРИД ЛЕНЦ

Урок немецкого

РОМАН

Перевод с немецкого Ю. СЕМИКОЗА и А. КАРЕЛЬСКОГО
Под редакцией П. ГЛАЗОВОЙ

1. Наказание

Меня засадили писать штрафное сочинение. Йосвиг самолично препроводил меня в мою камеру, простукал оконные решетки, прощупал соломенный тюфяк; затем этот наш отец надзиратель обследовал мой металлический шкаф и старый тайничок за зеркалом. Молча, все время молча, с оскорбленным видом он проинспектировал стол, покрытую зарубками табуретку, удостоил вниманием раковину, требовательными костяшками пальцев задал два-три вопроса даже подоконнику, убедился в безобидности печки, а потом подошел ко мне и неторопливо ощупал меня от груди до колен, дабы удостовериться, что и в карманах у меня нет ничего опасного. Потом он с укоризненным выражением лица положил мне на стол тетрадку в серой обложке, на которой значилось: «Для классных сочинений Зигги Йепсена», и, не прощаясь, пошел к двери — разочарованный, оскорбленный в своей доброте, ибо наказания, которыми нас время от времени потчуют, наш отец надзиратель переживает куда острей, дольше и основательней, чем мы. Но скорбь свою он выразил не словами, а тем, с каким видом запирал дверь: неуверенно, почти грустно ковырялся он ключом в замке, словно не решаясь сделать первый поворот, потом все-таки повернул его, но снова заколебался, опять отнял руки и тут же, как бы одернув себя, дважды резко повернул ключ. Надо же, именно Карл Йосвиг, этот тихий тщедушный человечек, запер меня в моей одиночке для работы над штрафным сочинением.

И вот я сижу взаперти почти целый день, но так и не могу начать: гляжу в окно, а там сквозь бледное мое отражение течет Эльба; закрою глаза — она все течет, покрытая синеватым плавучим льдом. Я слежу за буксирами — их заросшие грязью носы чертят по воде серые узоры; гляжу на течение, которое в своей великой силище то и дело отваливает льдины, громоздит их друг на друга, с треском выталкивает на наш берег — наверх, к высохшей щетине срезанного камыша — и там забывает. Я с отвращением смотрю на ворон — похоже, у них сегодня назначен слет в Штаде: они прилетают поодиночке из Веделя, из Финкенвердера, из Ханэфер-Занда, соединяются над нашим островом в стаи, взмывают ввысь и кособоко кружат, дожидаясь, когда попутный ветер швырнет их в сторону Штаде. Меня отвлекают узловатые сучья ивняка, покрытые ледяной глазурью и припудренные сухим инеем; отвлекает побелевшая

проволочная сетка ограды, здание мастерских, щиты с предупредительными надписями на берегу, смерзшиеся комья земли на огороде, который мы сами обрабатываем весной под руководством надзирателей. Все отвлекает меня — даже потонувшее в матовом тумане солнце, такое низкое, что между его лучами тянутся по земле длинные клиновидные тени. А стоит мне, наперекор всему, все-таки приняться за дело, мой взгляд тут же натыкается на корявые доски закрепленной цепями плавучей пристани; к ней как раз в эту минуту причаливает приземистый, поблескивающий медными частями баркас из Гамбурга — тот самый, на котором прибывает к нам за неделю эдак тысячи полторы человек, снедаемых поистине болезненным интересом к трудновоспитуемым подросткам. Я, естественно, провожаю их взглядом; смотрю, как они тянутся вверх по извилистой дороге, просачиваются в голубое здание дирекции и после обычного обмена приветствиями (а вероятно, и после обычных директорских предупреждений об осторожности и необходимости проводить наблюдения незаметно) высыпают нетерпеливо наружу и вроде бы без всякой задней мысли разбредаются по острову, подбираясь к моим друзьям — к Пелле Кастнеру, например, или к Эдди Зиллусу, или к нервному Куртхену Никелю. Они, должно быть, потому так интересуются нами, что дирекция вычислила: в восьмидесяти случаях из ста подростки, исправившиеся на нашем острове, ничего преступного больше не вытворяют. Если бы Йосвиг не запер меня для работы над штрафным сочинением, психологи, наверно, набросились бы сейчас и на меня и навели бы свои ученые окуляры на мою биографию, силясь составить себе объективную картину.

Но мне надо наверстывать, выполнить урок немецкого, сдать сочинение, которого ожидают от меня сухопарый, дерганый доктор Корбьюн и наш директор Химпель. На Ханэфер-Занде, соседнем острове, расположенном вниз по Эльбе в направлении Твиленфлета и Вишхафена, где, как и у нас, находится исправительная колония для трудновоспитуемых подростков, этого бы никогда со мной не случилось; правда, оба острова очень похожи друг на друга — об них плещется такая же грязная от нефти река, мимо проплывают такие же суда, их облюбовали себе такие же чайки, но на Ханэфер-Занде нет никакого доктора Корбьюна, нет уроков немецкого и никаких вам сочинений, а ведь многим нашим ребятам от этих сочинений даже плохо делается, ей-богу. Так что наши, кое-кто во всяком случае, предпочли бы исправляться на Ханэфер-Занде: суда, идущие с моря, проплывают мимо него раньше, чем мимо нас, и еще издали их приветствует языкатое, трескучее пламя над нефтеочистительным заводом.

На соседнем острове, это уж точно, мне не задали бы штрафного сочинения, таких номеров там никогда не выкидывают. А у нас — пожалуйста: открывается дверь, и в классе появляется провонявшая притираниями жердина, Корбьюн,— появляется по-особому, по-корбьюновски, это надо видеть; входит, быстро оглядывает нас, эдак с издевочкой, чтоб не заметно было, как он нас боится, и, молча дождавшись нашего «Здрасьте — герр — доктор», начинает безо всякого предупреждения раздавать тетрадки для сочинений. И все без единого слова. Просто подошел к доске, взял мел, поднял жилистую руку и с явным наслаждением написал — рукав у него при этом сполз до локтя, обнажив сухую, желтоватую, по меньшей мере столетнюю кожу,— написал своим стелющимся, ханжески наклонным почерком название темы: «Радость исполненного долга». Я испуганно оглянулся вокруг, но увидал только согнутые спины и растерянные лица, от парты к парте пополз шепот, ребята зашаркали ногами, со вздохом пряча под крышками парт приготовленные шпаргалки. Мой сосед Оле Плёц, подвигав мясистыми губами, вполголоса прочел название темы и приготовился выдать свою обыч-

ную серию судорог. Чарли Фридлендер, наделенный способностью по желанию бледнеть и даже зеленеть — словом, прикидываться чуть ли не смертельно больным, так что все воспитатели запросто освобождают его от любой работы,— так вот, Чарли сразу пустил в ход свои фокусы с дыханием: цвет лица у него, правда, еще не изменился, но капельки пота на лбу и верхней губе уже выступили — результат фокуса с артериями. Я вытащил карманное зеркальце, повернул его к окну и, поймав капельку солнца, направил зайчик на доску. Доктор Корбьюн испуганно оглянулся, в два шага достиг своего убежища на кафедре и оттуда приказал нам начинать. Его сухая рука еще раз поднялась, указательный палец требовательно и неумолимо простерся к надписи на доске — «Радость исполненного долга», и, предупреждая все вопросы, Корбьюн объявил: каждый может писать о чем хочет, только чтобы речь шла о радости исполненного долга.

Я считаю это наказание — да еще с изоляцией и временным запретом свиданий — незаслуженным, ибо меня наказывают не за то, что мне отказала память или фантазия,— наоборот: изоляция мне предписана за то, что, послушно выискивая радости долга, я вдруг понял, что могу рассказать об этом чересчур много — так много, что я просто не мог начать, как ни подступался. Поскольку Корбьюну понадобилось, чтобы мы открыли, по косточкам разобрали или, на худой конец, абсолютно точно перечислили не какие тебе попало радости, а именно радости исполненного долга, то мне, понятно, вспомнился первым делом мой отец Йенс Оле Йепсен — его мундир, его служебный велосипед, бинокль, дождевая накидка, его силуэт, плывущий по гребню дамбы наперекор нестихающему западному ветру. Под гипнотизирующим взглядом доктора Корбьюна мне вспомнились ненастные ветреные дни, то ли весенние, то ли осенние, неважно, может быть, летние — словом, непогода — и отец, потому что в такие дни он, как всегда, выводил свой велосипед на узкую кирпичную дорожку, останавливался, как всегда, под табличкой «Полицейский участок Ругбюля», приподнимал заднее колесо, ставил педаль в исходное положение, дважды, как всегда, отталкивался от земли для разгону, перемахивал в седло и, сперва шатаясь и петляя под напором западного ветра, ехал в направлении Хузумского шоссе, ведущего к Хайде и Гамбургу, потом, свернув у торфяного болота, катил — теперь уже под боковым ветром — вдоль серых, точно кроты, канав, проезжал бескрылую мельницу, как всегда, слезал с велосипеда и тащил его в гору, на гребень массивной дамбы; там, наверху, на фоне пустынного горизонта он вдруг с неожиданной значительностью вписывался в окружающее пространство и, снова оседлав велосипед, плыл вдоль гребня дамбы, одинокий парусник, в тугой, надутой, готовой взорваться накидке,— плыл в Блекенварф, как всегда, в Блекенварф. Он ни разу не забыл о возложенной на него обязанности. Гнал ли ветер флотилии туч по осеннему небу Шлезвиг-Гольштейна — отец мой был в пути. В весеннюю ли слякоть, в дождь, в воскресные пасмурные дни, утром и вечером, в годы мира и войны, он, как всегда, седлал свой велосипед и крутил педали, вперед, вперед, в безвыходный тупик долга, призывавшего его в Блекенварф, неукоснительно в Блекенварф, ныне и присно и во веки веков, аминь.

Эта-то вот картина, как я уже сказал, и возникла прежде всего в моей памяти — картина вечного мотанья, без отдыха и срока, на которое обрек себя участковый инспектор Ругбюля, самого северного полицейского участка Германии; а затем, идя навстречу корбьюновской теме, я вгляделся в прошлое поближе, то есть взял и повязался шарфом, уселся на багажник отцовского велосипеда и, как это часто бывало, поехал с отцом в Блекенварф, держась окоченевшими пальцами за его ремень. Я сидел на жестких перекладинах багажника, выдавливавших на моем

заду красные пятна, и в то же время, будто со стороны, видел, как мы вдвоем, на фоне непременных в нашем краю, вечных облаков, едем вдоль дамбы; я ощущал на своем лице открытый и резкий ветер с пустынного берега — и, будто издали, видел, как велосипед петляет под порывами этого ветра, и слышал, как отец натужно кряхтит — не от усталости и не от злости на ветер, а так, для порядка и, как мне казалось, не без тайного удовлетворения. Вдоль прибрежной отмели, мимо черного зимнего моря мы ехали в Блекенварф, единственное место, которое я знал почти так же хорошо, как и полуразвалившуюся мельницу и наш собственный дом. Вот он, Блекенварф: он возник передо мной на неопрятном пригорке, окруженный ольшаником — его согнутые под углом ветви клонились к востоку,— и я сразу же очутился перед ветхой деревянной калиткой, открыл ее, быстро оглядел жилой дом, хлев, сарай и мастерскую и встретился глазами с Максом Людвигом Нансеном, который лукаво подмигнул мне и, как обычно, на всякий случай, для виду, грозно нахмурился.

К тому времени они уже запретили ему рисовать, и моему отцу, участковому инспектору Ругбюля, надлежало следить за тем, чтобы запрет не нарушался ни днем, ни ночью, ни весной, ни летом, ни зимой, ни осенью; больше того, отец обязан был пресекать в самом зародыше любую попытку художника даже взяться за кисть — чтобы никаких там этюдов или набросков, никакого баловства красками, всяких сомнительных цветовых эффектов,— словом, необходимо было по полицейской линии обеспечить, чтобы в Блекенварфе и не пахло живописью. Мой отец и Макс Людвиг Нансен были знакомы давно, по-моему, с самого детства, и поскольку оба они были родом из Глюзерупа, то хорошо знали, чего им ждать друг от друга, а может, уже и прикидывали, что им готовит судьба и как один из них в определенных обстоятельствах возьмет верх.

Немногое сохранилось в тайниках моей памяти столь свежо, как встречи отца с Максом Людвигом Нансеном, поэтому я уверенно раскрыл свою тетрадку, отложил карманное зеркальце и попытался описать отцовские вояжи в Блекенварф — и не только вояжи, а все трюки и ловушки, которые он изобретал, чтобы накрыть Нансена, все простые и сложные хитрости и планы, которые измышляла его тугодумная подозрительность, все финты, уловки и — поскольку этого желал доктор Корбьюн,— конечно же, радости, которые, видимо, перепадают таким людям при исполнении долга. Но у меня ничего не вышло. Зало — и все. Не успевал отец достигнуть Блекенварфа, как я терял его из виду, потому что меня отвлекали то мечущиеся над морем чайки, то накренившееся старое суденышко с торфом, то парашют, повисший над самой кромкой воды.

Но главное: по переднему плану моих воспоминаний ежесекундно пробегал жадный огонек и слизывал своим язычком едва успевшие возникнуть образы и события, они вспыхивали и улетучивались, а если пламя их и не достигало, они все равно корежились от его жара и обугливались до неузнаваемости или просто исчезали в этом неистовом пекле.

Тогда я решил взяться с другого конца и, мысленно перенесясь в Блекенварф, поискать начало там; сероглазый, лукавый Макс Людвиг Нансен сразу же согласился помочь мне заполнить провалы в моей памяти, он вышел ради меня из мастерской, и теперь я уже вижу только его: вот он бредет по дорожкам цветника к цинниям, своим любимым натурщицам, медленно поднимается на дамбу, стоит на фоне угрюмой, оскорбленно задернувшей все небо желтизны, сквозь которую лишь кое-где прорывается темная синева; он вскидывает бинокль, какую-то секунду смотрит в сторону Ругбюля, и этого оказывается достаточно, чтобы он вдруг бросился в дом и спрятался внутри. Я уж почти нашел начало,

но тут распахнулось окно, и Дитте, жена Макса Людвига Нансена, протянула мне, как это часто бывало, кусок сладкого пирога с корицей. И воспоминания захлестнули меня: я услышал пение школьников в Блекенварфе, но его слизнул язычок пламени; тогда я услышал осторожный шорох — это отец поднимался среди ночи, чтобы отправиться в очередную поездку в Блекенварф. С Юттой и Йобстом, приемными детьми художника, мы играли в прятки в зарослях камыша. Кто-то выплескивал краски в лужу, и вода в ней вспыхивала отчаянным оранжевым факелом. В Блекенварф приезжал министр. Отец отдавал честь. В Блекенварфе останавливались длинные машины с нездешними номерами. Отец отдавал честь. Я спал на старой мельнице в тайнике, где лежали картины; отец, ведя пламя на поводке, спускал его с ошейника и приказывал пламени: «Ищи!»

И все это перекрещивалось друг с другом, пересекалось, запутывалось, пока на меня не упал предостерегающий взгляд Корбьюна; тогда я, выстроив вдоль дамбы в парадный строй всех своих главных действующих лиц, уже хотел было велеть им продефилировать передо мной, как вдруг Оле Плёц, мой сосед, заорал и грохнулся со скамьи в весьма успешных конвульсиях. Этот вопль разом обрубил нить моих воспоминаний, начало бесследно угасло, я примирился с поражением, и, когда доктор Корбьюн стал собирать тетрадки, я сдал свою пустой.

Юлиус Корбьюн не сумел понять моих мук, не поверил, как трудно мне было начать, он просто не мог себе представить, что якорю моей памяти не удается ни за что зацепиться, что якорная цепь не натягивается, а с шумом и грохотом тащится по глубокому дну, загребая один лишь ил.

В результате наш преподаватель немецкого удивленно перелистал мою тетрадку, велел мне встать, оглядел меня — то ли с легким презрением, то ли с искренним недоверием — и, выслушав мои объяснения, не счел себя вправе ими удовлетвориться.

— На тебя это что-то непохоже, Зигги Йепсен,— заметил он сухо, показывая тем самым, что сомневается в прилежности как моей памяти, так и воображения и не согласен со мной, будто начало дается так трудно. Он несколько раз повторил, что пустые страницы он рассматривает просто как личное оскорбление. Он не только не поверил мне, но заподозрил непослушание, строптивость и все такое прочее; а поскольку разрешить такой конфликт мог только директор, то сразу же после злополучного урока, не принесшего мне ничего, кроме мучения из-за моих несуразных, расплывчатых и бессвязных воспоминаний, Корбьюн повел меня в голубое здание дирекции, на первый этаж, где прямо около лестницы находится кабинет самого.

Директор Химпель, как всегда в своей спортивной куртке и бриджах, сидел в окружении примерно тридцати психологов, которые, судя по всему, просто упивались проблемами преступности несовершеннолетних. На письменном столе директора стоял синий кофейник и лежали заляпанные, все в пятнах, листы нотной бумаги; на них были запечатлены его скороспелые композиции, вдохновленные, как всегда, красотами природы,— незамысловатые баллады с непременной Эльбой, влажным морским ветром, белокрылыми чайками, гибким, но несгибаемым камышом, взмахами милых девичьих косынок и голосом кораблей, зовущим сквозь туман. Путевку в жизнь этим опусам призван был дать хор наших островитян.

Увидев нас, психологи смолкли и навострили уши: о чем это доктор Корбьюн докладывает директору? Сообщение делалось шепотом, но я понял, что речь опять шла о неповиновении и строптивости, и в подтверждение этого Корбьюн передал директору мою пустую тетрадку; тот, многозначительно переглянувшись с психологами, подошел ко мне, свер-

нул тетрадь трубочкой, хлопнул ею себя по запястью, потом по бриджам и потребовал объяснений. Я смотрел в напряженные лица окружающих, слышал, как за спиной у меня что-то слабо хрустнуло — это Корбьюн распрямил пальцы,— и томился под тяжестью сконцентрированного на мне всеобщего ожидания. За широким угловым окном, перед которым стоял рояль, текла Эльба, две вороны дрались на лету за что-то дряблое, бескостное, болтавшееся в воздухе,— видимо, за кусок кишки; они попеременно вырывали добычу друг у друга из клюва, заглатывали ее и изрыгали, пока она не шмякнулась на льдину, где была подхвачена чайкой, зорко следившей за обеими соперницами. Но тут директор положил мне руку на плечо, кивнул почти по-товарищески и при всех психологах еще раз попросил меня объяснить, в чем дело. В ответ я рассказал о своих затруднениях: о том, как сперва я почти сразу вспомнил все самое существенное для предложенной темы и как оно тут же расплылось; о том, как я не нашел опоры, чтобы, держась за нее, спускаться в глубь своих воспоминаний. Я рассказал о невообразимой толчее лиц и событий, загромоздивших мою память, о том, какая чепуха, какая белиберда у меня выходили, стоило мне только начать, даже только подступиться к началу. Не забыл я упомянуть и про то, что радости исполненного долга у моего отца по-прежнему еще ничем не омрачены и, следовательно, я лишь в том случае смогу правильно осветить их, если не буду ничего сокращать и уж во всяком случае не позволю себе произвола в отборе фактов.

Директор слушал меня с изумлением, может быть, даже с пониманием, тогда как дипломированные психологи, подталкивая друг друга и перешептываясь, придвигались все ближе; я слышал их возбужденное бормотание: «Дефект восприятия по Вартенбургу», «Иллюзорная интерпретация действительности» и даже (вот гады!) «Заторможенность мыслительного процесса». Тут уж меня проняло — благодарим покорно! В общем, я отказался давать дальнейшие объяснения при этих типах, которым непременно надо было залезть мне в душу: время, проведенное на острове, меня кое-чему научило.

Директор задумчиво снял руку с моего плеча, испытующе осмотрел ее, видимо, проверяя, в целости ли она еще, а затем под неумолимыми выжидательными взглядами своих посетителей повернулся к окну и устремил взор на зимний пейзаж гамбургских окрестностей, как бы испрашивая у него советов и конструктивных идей, ибо потом он вдруг обратился ко мне и, опустив глаза, изрек свой приговор. Меня, заявил он, надлежит препроводить в мою камеру, в «благодетельное уединение», как он выразился, и это — не наказания ради, а для того, чтобы я мог осознать на досуге, что сочинения по немецкому писать надо. Таким образом он-де открывает передо мной поистине захватывающие перспективы.

Он разъяснил, что с сегодняшнего дня меня будут строго оберегать ото всех отвлекающих моментов: скажем, от посещений моей сестры Хильке; он освобождает меня от моих обязанностей в мастерской по изготовлению веников, а также и в нашей библиотеке — словом, он обещает оградить меня от всех помех, а посему ожидает, что я одолею работу даже без усиленного пайка.

— Пиши спокойно, не торопясь,— подытожил он,— сколько бы времени это ни заняло. Исследуя радости исполненного долга,— сказал он,— надлежит проявлять терпение и прилежание.

По-моему, он еще сказал, что все это должно вызревать постепенно, расти медленно, как сталактит, в общем, что-то в этом духе, ибо, пояснил он, память — рискованная штука, она может оказаться и ловушкой, тем более что время ничего ровным счетом не излечивает. Тут дипломированные психологи опять было навострили уши, но он почти по-товари-

щески пожал мне руку (на рукопожатия он у нас мастак!), вызвал Йосвига, нашего отца надзирателя, ознакомил его со своим решением и сказал примерно так:

— Уединение. Сейчас для Зигги нужнее всего уединение и время. Позаботьтесь, чтоб и того и другого у него было вдоволь.

Затем он передал Йосвигу мою пустую тетрадку, и нас отпустили. Мы плелись по вымерзшему двору, и Йосвиг был воплощением упрека, словно своим штрафным сочинением я доставил ему личную неприятность. Этот человек, не способный воодушевляться ничем, кроме своей коллекции обесцененных бумажных денег и пения нашего островного хора, обиженно ушел в себя на все время, пока мы шли к моей камере. Поэтому я взял его под руку и попросил по возможности относиться ко мне не столь осуждающе. Но его это не тронуло, и он сказал только:

— Вспомни,— сказал он,— Филиппа Неффа.— Этим он как бы предостерегал меня от подражания Филиппу Неффу, тому одноглазому малому, которого они тоже как-то засадили за сочинение по немецкому. Говорят, этот парень прокорпел над ним два дня и две ночи кряду, силясь подыскать начало, хоть какую-нибудь подходящую зацепку — насколько я знаю, Корбьюн предложил тогда тему «Человек, привлекший мое внимание»,— а на третий день одноглазый сбил с ног надзирателя, вырвался из здания, с незабываемым для всех нас шиком придушил директорскую собаку, успел добежать до берега и утонул, попытавшись в сентябре переплыть Эльбу. Единственное слово, которое Филипп Нефф, этот трагический памятник пагубной деятельности Корбьюна, успел записать в своей тетрадке, было «бородавка», что позволяло заключить: особенно привлек его внимание какой-то человек с бородавкой.

Во всяком случае, Филипп Нефф был моим предшественником по камере, отведенной мне после прибытия в колонию трудновоспитуемых подростков, и, когда Йосвиг напомнил о его судьбе, как бы предостерегая меня от подражания, мной овладела непонятная тоска, болезненное нетерпение: меня неодолимо потянуло к столу, и в то же время я испытывал страх перед ним, я рвался идти по старым следам и боялся, что не смогу вновь найти их, колебался и упрямо стремился к цели, мямлил и требовал, хотел и не хотел. А в результате безучастно смотрел, как Йосвиг обыскивает мою камеру — нет, собственно, не обыскивает, а подготовляет к штрафной работе.

И вот я сижу почти уже целый день и, вероятно, давно начал бы работу, если б меня не отвлекали суда, подымающиеся по зимней реке, сперва еще не видимые, а только слышимые: о них предупреждает слабое гудение машин, потом — шум и треск раскалывающихся о железные борта льдин, а потом, когда грохот становится резче и определенней, на оловянно-сером горизонте появляются и сами суда, окрашенные в размытые, влажные, переливчатые тона, они будто плывут по воздуху, а не по воде, и я обречен вбирать и провожать их взглядом, пока они не скроются из виду.

Над тем берегом, откуда ко мне доносится приглушенная стукотня, нависла узкая грязная полоса тумана, которая, на мой взгляд, похожа на застиранный бинт, развернутый, как знамя. Ближе ко мне, посреди реки, висит еще одно дымное знамя — над крохотным ледоколом «Эмми Гуспель», тем самым, что час назад вспахивал своим крепким носом отсвечивающие голубизной плавучие льдины; дым распластался над судном и не спускается, не расходится, потому что мороз вынудил природу объявить забастовку, парализовал ее активность, все замерло, даже выдыхаемый воздух не отлетает ото рта. «Эмми Гуспель» пропыхтела по реке уже дважды, в этом и заключается ее работа: разбивать лед, не давать льдинам застаиваться, не позволять им образовывать пробки в течении — ведь они могут вызвать застой в бизнесе.

Внизу на нашем заброшенном берегу косо висят щиты с грозными предупреждениями; столбы, к которым они прибиты, расшатались под натиском льдин, под ударами паводковых волн, под напором ветра, так что тем, кто занимается водным спортом — а их эти предупреждения касаются в первую очередь,— теперь пришлось бы задирать голову, если бы они захотели прочесть, что причаливать, высаживаться и разбивать палатки на нашем острове строго воспрещается. Конечно, к лету, уж будьте уверены, столбы будут вновь стоять как штык, поскольку для юных пленников нашей островной исправительной колонии самую большую опасность представляют, разумеется, лица, занимающиеся водным спортом. Таково мнение нашего директора, таково же, судя по всему, и мнение директорского пса.

Передо мной открыта тетрадка, она ждет моего штрафного сочинения. Я не могу больше позволить себе отвлекаться, я должен начать, я должен повернуть ключ, чтобы открыть наконец все, что заперто в хранилищах моей памяти, чтоб добыть из них все, что отвечало бы тезису Корбьюна: я должен подтвердить корбьюновское положение, что исполненный долг доставляет радость, и должен исследовать, каким образом радость исполненного долга непосредственно отразилась на моей жизни; все это я должен делать во искупление своей провинности, но не торопясь, без помех и за столько времени, сколько потребуется для доказательства вышеупомянутого тезиса. Я готов. Начнем — даже если ради этого придется разбудить прошлое.

Итак:

2. Запрет

В сорок третьем году — начнем с этого — в одну из пятниц апреля, утром или пополудни, мой отец Йенс Оле Йепсен, участковый инспектор Ругбюля, самого северного полицейского участка в Шлезвиг-Гольштейне, собирался в служебную поездку в Блекенварф, чтобы передать художнику Максу Людвигу Нансену, которого у нас называли просто «художник» и не называли иначе даже потом, полученный из Берлина запрет заниматься живописью. Отец не спеша собрал дождевую накидку, бинокль, портупею, карманный фонарь, с нарочитой медлительностью повозился у письменного стола, опять застегнул китель, уже во второй раз, а я, закутанный и недвижимый, все стоял и ждал; потом он стал глядеть в окно, досадуя на этот злополучный день, прислушиваясь к весеннему ветру. Ветер дул не простой, это был норд-вест, шумно атаковавший дворы и межевые шеренги кустов и деревьев; казалось, своим яростным буйством он испытывает силу их сопротивления, пытаясь создать какой-то новый, свой пейзаж, свое черное раздолье, где все перекошено, растерзано и недоступно пониманию. Я бы сказал, что под натиском нашего ветра крыши обретали чуткий слух, деревья уподоблялись громогласным пророкам, старая мельница вдруг становилась выше, вода в кюветах и канавах воображала себя расходившимся океаном, а неказистый груз на суденышках-торфовозах трепало так, что он превращался в пыль и прах.

Когда у нас ветер и все такое прочее, тут уж, хочешь не хочешь, клади себе в карманы балласт — пакеты с гвоздями, свинцовые трубы, утюги. С нашим ветром шутки плохи; Макс Людвиг Нансен, например, чтоб показать наглядно, какой он, этот наш знаменитый, на роду нам написанный норд-вест, выдавливал на свои полотна целые тюбики киновари вперемежку с бушующими лиловыми и холодными белыми тонами, и мы не спорили с ним — ветер был именно такой, каким изображал его

Нансен. К этому-то холодному северо-западному ветру и прислушивался сейчас с недобрым чувством мой отец.

В кухне столбом стоял дым. Пахнущая торфом, колеблющаяся дымовая завеса повисла в гостиной. Это все ветер — засел в печи и продымил весь дом, а отец тем временем ходил взад и вперед по комнатам, явно ища, чем бы еще задержать свой отъезд: здесь что-нибудь положит, там что-нибудь возьмет, в своем кабинете он надел гетры, в кухне открыл служебную книгу, лежавшую на обеденном столе; он выискивал самые разные мелочи, отдалявшие необходимость исполнения долга, пока наконец не обнаружил, сердясь и удивляясь, что в нем успело вызреть нечто новое и что он, незаметно для себя, превратился в образцового служаку, сельского полицейского, которому для выполнения задания нужен теперь только велосипед — его велосипед, который стоял прислоненный к козлам в сарае.

Вот я и думаю, что в тот день его погнал в дорогу сработавший лишь по привычке служебный рефлекс, а вовсе не усердие или любовь к профессии и уж во всяком случае не выпавшая ему задача; он и на этот раз, как обычно, отправился в путь просто потому, что оказался при полной амуниции и, следовательно, должен был ехать. Выходя из дому, он не изменил своего обычного прощального приветствия; как всегда, вступив в полутемную переднюю, он прислушался, крикнул в закрытую дверь: «Ну, пока!» — и, не получив ответа, не выказал ни смущения, ни обиды, наоборот: удовлетворенно мотнул головой, как если бы ему ответили, и потянул меня к выходу; на пороге он еще раз обернулся, еще раз, как-то неопределенно, кивнул на прощанье — и ветер выхватил нас из дверей.

Во дворе он повернулся к ветру плечом и опустил лицо — сухое, деревянное лицо, на котором и улыбка, и любое выражение недоверия или доброжелательства возникали необычайно медленно, приобретая тем самым совершенно невероятную, хотя и несколько запоздалую значительность и не оставляя никаких сомнений в том, что отец все отлично понимает, но только не сразу; нагнувшись вперед, он пошел через двор, где ветер юлой крутил мусор и драл газету, комкая, прижимая к проволочной сетке нашего сада, рвал в клочки очередную победу в Африке, очередную победу на Атлантическом океане и, можно сказать, решающую победу на фронте сбора металлолома... Отец выкатил велосипед из открытого сарая, крякнув, усадил меня на багажник, взял велосипед одной рукой за заднюю штангу, другой — за руль, повернул и повел вниз, к кирпичной дорожке, остановился под стреловидным указателем «Полицейский участок Ругбюля», нацеленным на наш кирпичный дом, поставил левую педаль в исходное положение, сел в седло и в туго надутой ветром накидке, скрепленной у пояса специальным зажимом, двинул в сторону Блекенварфа.

До мельницы или даже почти до Хольмсенварфа, с его гнущимися под ветром живыми изгородями, все шло хорошо: ветер подгонял нас, вздувая отцовскую накидку, и мы как бы плыли под парусом, но едва лишь отец свернул к дамбе и, весь согнувшись, стал въезжать наверх, он тотчас же стал похож на туриста с рекламного плаката «По Шлезвиг-Гольштейну на велосипеде» — я имею в виду отчаянного парня, любезно демонстрировавшего всем своим изнеможением, всем своим изогнутым туловищем и приподнятой над седлом задницей те трудности, которые у нас приходится преодолевать в поисках местных красот.

Поскольку описание этого плаката неизбежно возвращает меня к описанию моего отца, едущего по дамбе в Блекенварф, то мне хотелось бы, для полноты картины, упомянуть еще различные породы чаек, декоративно разбросанных над взмыленным велосипедистом; несколько смазанные из-за плохой печати, они казались белыми тряпками, развешанными в воздухе для просушки.

...Как бы со вздохом впустила нас деревянная калитка, которую отец открыл толчком велосипеда; он медленно проехал мимо давно пустовавшего ржаво-красного хлева, мимо пруда, мимо сарая — очень медленно, как будто хотел, чтобы его обнаружили заблаговременно; потом вплотную проехал под узкими окнами дома и, прежде чем слезть, мельком взглянул на пристройку, где находилась мастерская художника; меня он снял с багажника, как тюк, поставил на землю, а велосипед подвел ко входу.

В наших краях невозможно подойти к дому незамеченным, поэтому мне не придется рассказывать, как отец стучит в дверь или зовет кого-нибудь из полутемной прихожей; мне не надо описывать ни приближающихся хозяйских шагов, ни изумленных возгласов; достаточно сказать, что, толкнув дверь, отец протягивает из-под накидки руку и тотчас чувствует тепло чужих пальцев, дружеское прикосновение чужой ладони, и в ответ на крепкое рукопожатие ему остается только произнести: «Привет, Дитте», ибо жена художника, конечно, направилась к двери уже в тот момент, когда мы круто съехали с дамбы.

В своем длинном платье из грубой ткани, придававшем ее облику ту суровость, какой отличаются наши деревенские ясновидицы, она прошла в прихожую, нащупала в темноте ручку двери и, открыв ее, пригласила отца в гостиную.

В Блекенварфе у них была очень большая гостиная, прямо целая зала, не слишком, правда, высокая, зато со множеством окон, а уж просторная! — вот где свадьбы справлять, человек бы девятьсот свободно уместились, ну а если не девятьсот, так классов семь с учителями наверняка бы влезло, даже если мебель оставить, а она там громоздкая и такая вся важная, пузом вперед, словно места ей мало, побольше занять хочет; тяжеленные сундуки — не сдвинешь, и столы, и шкафы, на каждом год изготовления вырезан, вязью, вроде рунического письма, в общем, вид до того внушительный, даже грозный, что сразу понятно: поставлено на века. Такие же тяжеловесные были и стулья, такие же властные, они словно обязывали тебя: сиди, как истукан, даже мускулом лица не шевельни. У стены красовалась на полке грубая чайная посуда — они называли ее виттдюнским фарфором,— никто уже ею не пользовался, а у меня всякий раз чесались руки стрельнуть в нее из рогатки; но художник и его жена были люди терпимые, они ничего или почти ничего не изменили в Блекенварфе, когда купили его у дочери старого Фредериксена, который был таким скептиком, что, перед тем как повеситься на одном из своих огромных шкафов, на всякий случай еще вскрыл себе вены.

В меблировке комнат новые владельцы не произвели никаких перемен и очень мало что изменили на кухне: все сковородки, горшки, бочоночки и кружки стояли в своем прежнем строжайшем порядке; остались на своих местах и дряхлые шкафы для посуды с неуклюжими виттдюнскими тарелками, с исполинскими мисками и блюдами; остались на своих местах даже кровати, узкие, неуютные, вынуждающие поступиться ночным покоем.

Поскольку отец уже стоял в гостиной, ему пришлось в конце концов закрыть за собой дверь и поздороваться с доктором Теодором Бусбеком, который, как всегда, сидел в одиночестве на диване — жестком, метров тридцати в длину страшилище; он не читал и не писал, он ждал — уже многие годы покорно ждал, тщательно одетый и полный таинственной готовности, словно перемены или новости могли прийти в любую минуту. На его бледном лице не отражалось почти ничего, так тщательно и обдуманно с него было удалено, начисто смыто — предосторожности ради — все, что могло бы свидетельствовать о былых или нынешних переживаниях; тем не менее мы отлично знали, что он первым стал выставлять произведения художника, а в Блекенварфе поселился после того,

как власти закрыли — в принудительном порядке — его галерею. Он, улыбаясь, подошел к отцу, поздоровался с ним, осведомился, сильный ли на улице ветер, все с той же улыбкой кивнул и мне, а затем снова ушел на свой диван.

— Чего тебе, чаю или водки, Йенс? — спросила жена художника.— Я бы выпила водочки...

Отец отрицательно покачал головой.

— Не надо, Дитте,— сказал он,— сегодня не надо.— Против обыкновения, он не опустился на стул у окна и, против обыкновения, не выпил и не заговорил о болях в плече, мучавших его с тех пор, как он однажды упал с велосипеда. Не стал он распространяться и о последних событиях и происшествиях, случившихся на территории вверенного его заботам участка Ругбюль, где ему по долгу службы полагалось знать решительно про все: и про то, что кого-то лягнула кобыла, причинив тяжелое увечье, и про тайный убой скота, и про красного петуха, пущенного по злобе. Он не передал даже привета из Ругбюля и забыл спросить о приемных детях художника.— Не надо, Дитте,— повторил он.— Сегодня не надо.

Он так и не сел. Он водил кончиками пальцев по своему нагрудному карману. Поглядывал через окно в сторону мастерской. Молчал. Он ждал. Дитте и доктор Бусбек поняли, что ждет он художника, ждет угрюмо и даже беспокойно, насколько отец вообще был способен проявлять беспокойство, и что во всяком случае его привело сюда нечто крайне его заботившее. Глаза его бегали — как всегда, когда он бывал смущен, не уверен в себе или взволнован в той мере, в какой на это способен фрисландец; взгляд то устремлялся на собеседника в упор, то скользил куда-то мимо, то пронизывал его, то вновь избегал и оттого делался непроницаемым, не доступным ни для каких вопросов.

Да, сейчас, пряча глаза, которые явно боялись себя выдать, отец, потерявшийся в этой необъятной блекенварфской зале, одетый в свой безобразный, мешковато сидевший мундир, казался не очень-то уверенным в себе и, конечно, совсем нестрашным.

И жена художника спросила, отцу в спину:

— Что-нибудь насчет Макса?

Он утвердительно кивнул или, лучше сказать, боднул перед собой воздух. Доктор Бусбек поднялся, подошел к Дитте, взял ее за руку и опасливо проговорил:

— Распоряжение из Берлина?

Отец резко обернулся, озадаченно и как-то нерешительно уставился на маленького человечка, который словно бы извинялся за свой вопрос, извинялся, казалось, вообще за все на свете,— но отец ничего не сказал, да и незачем было говорить: жена художника и его старый друг, оба своим молчанием давали понять, что им все ясно и что они уже знают, какое именно распоряжение привез мой отец.

Конечно, Дитте могла бы теперь поинтересоваться у отца точным текстом приказа, и отец, надо думать, ответил бы охотно и даже с облегчением, но они не попросили у него никаких разъяснений. Они постояли с минуту рядом, потом Бусбек вполголоса произнес:

— Так, значит, и Макс. Меня удивляет только, почему это не произошло раньше, как с другими.

И не сговариваясь, они повернулись и направились к дивану, а жена художника сказала:

— Макс работает у канавы, за садом.

Она бросила эти слова через плечо, и, адресованные участковому инспектору, они одновременно означали справку и прощание; отцу не оставалось ничего другого, как покинуть комнату, но, ретируясь, он попытался выразить пожатием плеч, сколь прискорбна для него подобная

миссия и что сам он, собственно, не имеет к ней никакого отношения. Он снял с вешалки накидку, подтолкнул меня, и мы вышли.

Он медленно шагал вдоль голого фасада дома, было видно, что он всерьез огорчен, от самоуверенности не осталось и следа; выйдя за калитку и очутившись под прикрытием зеленой изгороди, он зашевелил губами, тщательно обсасывая слова и фразы, как это бывало с ним часто, вернее, всякий раз, когда он опасался, что предстоящая встреча потребует от него усилий, выходящих за рамки привычного. Потом он двинулся вперед между разрыхленных и опустевших грядок, мимо беседки с соломенной крышей — к камышам, окаймлявшим канавку, которая шла вокруг усадьбы и своей неподвижной водой как бы отрезала Блекенварф от остального мира.

Там стоял художник Макс Людвиг Нансен.

Он стоял на деревянном мостике без перил и, отгородившись от ветра щитом, работал, а так как я знаю его манеру работать, то мне не хочется отрывать его от дела, не хочется давать отцу возможность так вот вдруг, с бухты-барахты коснуться рукой его плеча; мне хочется оттянуть эту встречу, потому что она — не обычная; хочется, по крайней мере, упомянуть, что художник был на восемь лет старше отца, ниже ростом, подвижней, вспыльчивей; вероятно, и хитрости было у него больше, да и упрямства тоже, хотя оба они провели юность в Глюзерупе. Боже мой — Глюзеруп!

Свою фетровую шляпу художник надвинул низко на лоб, и серые глаза его как бы прятались в узкой, но довольно глубокой тени, падавшей от полей. Пальто на нем было старое, протертое на спине от бесчисленных чисток,— синее пальто с бездонными карманами, в которых, как он нас однажды припугнул, могут исчезать даже дети, если будут мешать ему работать. Это серо-синее пальто он носил в любое время года, на улице и дома, на солнце и в дождь; может быть, он и спал в нем, во всяком случае, друг от друга они были неотделимы. Впрочем, в иные летние вечера, когда над отмелью неповоротливой шеренгой выстраивались тучи, могло показаться, что не художник, а его пальто само по себе бредет вдоль дамбы, инспектируя морские дали.

Единственное, чего пальто не скрывало, это нижней части изжеванных штанин, да еще ботинок, старомодных, но дорогих, отороченных узкой полоской черной замши,— они были высокие, до лодыжек.

Мы привыкли к такому его виду, и таким он предстал перед моим отцом, когда тот стоял за кустами изгороди и, как мне кажется, был бы доволен, если б ему можно было не стоять там или, по крайней мере, стоять без приказа, без бумаги в нагрудном кармане, а главное — без воспоминаний. Отец глядел на художника. Он не сверлил его пристальным взглядом, полным служебной настороженности,— он просто на него глядел.

А художник работал. Он колдовал над мельницей, над полуразвалившейся мельницей, недвижимо и бескрыло вписывавшейся в этот апрельский день. Она легко держалась на своем круге, как громоздкая чашечка цветка на очень коротком стебле,— угрюмое растение, доживающее последние дни. Макс Людвиг Нансен преображал ее, перенося в другой день, в другие связи, в другие сумерки — в те, что царили на его полотне. И, как обычно во время работы, художник разговаривал — не с самим собой, нет: он обращался к Бальтазару, стоявшему рядом, к своему Бальтазару, которого видел и слышал один только он и с которым он болтал и переругивался, а иной раз и поддавал ему локтем в бок, да так, что мы, хотя никакого Бальтазара не видели, вдруг явственно слышали, как этот невидимый эксперт вскрикивал от боли,— ну, может, не вскрикивал, а чаще ругнется сквозь зубы — и все. Чем дольше мы стояли позади художника, тем сильней начинали верить в Бальтазара, да и как

было не поверить в него, слыша сердитое сопение и ворчливые возгласы недовольства и то, как художник беспрестанно с ним заговаривал, как поверял ему самое сокровенное, о чем тут же и жалел. Вот и сейчас Макс Людвиг Нансен, не замечая отцовского взгляда, опять схлестнулся с Бальтазаром. Иногда ему удавалось схватить Бальтазара и засадить в картину, и тут обнаруживалось, что эксперт косоглаз, одет во вздыбленную, с лиловым отливом, лисью шубу, а его сумасшедшая борода вскипает оранжевыми клоками и сыплет тебе в лицо брызгами огня.

Впрочем, художник почти никогда не удостаивал его взглядом; весь уйдя в работу, он не двигался с места, то есть не двигались его слегка расставленные ноги, зато корпус все время был в движении, поворачивался то вправо, то влево, подавался вперед, откидывался назад, голова склонялась то на грудь, то набок, то в сомнении покачивалась из стороны в сторону, шея то вытягивалась, то втягивалась в плечи, художник набычивался, словно вот-вот боднет свое полотно; зато его правая рука по сравнению с подвижным туловищем казалась скованной непонятным оцепенением, какой-то инертной, в ее движениях угадывалась скрытая напряженность, словно она действовала в некой упругой и вязкой, незримой среде, где надо было очень расчетливо и деликатно преодолевать каждый миллиметр пространства,— эта поразительная инертность творящей руки резко контрастировала с подвижностью остального, усердно работающего тела.

Движениями своего тела художник просто подтверждал и утверждал то, что изображал в данный момент, и если, к примеру, в наступившей тишине ему надо было показать ветер, он впускал его на голубое и зеленое поле картины, и тогда воздух наполнялся шумом фантастических флотилий, хлопаньем парусов, и даже полы его пальто начинали биться на ветру, а если в эту минуту он затягивался трубкой, то дым от нее подхватывало и уносило ветром,— сейчас, по крайней мере, мне кажется, что все это было именно так.

Словом, мой отец наблюдал за работой художника, удрученный, подавленный, не смея ни на что решиться. Не знаю, сколько времени он так простоял,— наверно, пока не почувствовал взглядов, направленных на нас из дома, из комнаты, которую мы только что покинули; тогда мы медленно двинулись вдоль живой изгороди, все еще чувствуя спиной эти взгляды, и, протиснувшись сквозь боковой лаз, очутились у края деревянного мостика без перил.

Отец заглянул в канаву и увидел там самого себя среди дрейфующих камышовых листьев и зыбкой ряски; там же обнаружил его и художник, когда, сделав шаг в сторону, взглянул в стоячую, слегка рифленную мягкой зыбью воду. Так они увидели и узнали друг друга в темном зеркале канавы, и, быть может, эта встреча мгновенно высветила воспоминание, которое связало их в прошлом и которому навеки суждено было их связать,— воспоминание, перенесшее их в маленькую убогую гавань Глюзерупа, где они рыбачили под прикрытием каменного мола, или подтягивались на приливных воротах морского шлюза, или жарились на выскобленной палубе краболовного бота. Но нет, когда они увидели друг друга в зеркале канавы, скорей всего, им пришло на память другое; скорее всего, в их памяти возникла глюзерупская гавань в субботний пасмурный день и те же регулирующие прилив осклизлые ворота, с которых мой отец — ему было тогда лет девять-десять — сорвался в воду, и сейчас художник, может быть, мысленно снова и снова нырял за ним в воду до тех пор, пока не схватил за рубашку и не вытащил наверх; и ему пришлось сломать отцу палец, чтоб высвободиться из его мертвой хватки.

Они подошли друг к другу — наверху и внизу, в канаве и на мостике,— подали друг другу руку,— в воде и перед мольбертом — и, как

всегда, поздоровались, назвав друг друга по имени с чуть вопросительной интонацией: «Йенс?» — «Макс?» — после чего Макс Людвиг Нансен вернулся к своей работе. Тогда отец сунул руку в нагрудный карман, вытащил оттуда бумагу, разгладил ее, пропустив между двумя вытянутыми пальцами и, стоя за спиной художника, видимо, пытался сообразить, с какими словами будет лучше вручить ее, но никак не мог собраться с духом. Наверно, он хотел передать это подписанное и заштемпелеванное запрещение молча или, в крайнем случае, буркнуть какие-либо ничего не значащие слова вроде: «Тут тебе что-то из Берлина». И, конечно, он надеялся, что ему не придется отвечать на ненужные вопросы, если художник сразу же прочтет бумагу сам. Охотней всего он, разумеется, сплавил бы это дело Окко Бродерсену, однорукому почтарю, но так как запрещение исходило от полиции, то передача его входила в обязанности отца, как входил в его обязанности — согласно полученному приказу — и надзор за соблюдением запрета, и это ему еще тоже предстояло разъяснить художнику.

Потому он и мялся, держа в руке распечатанное письмо. Он поглядел на мельницу, на полотно, потом опять на мельницу и опять на полотно. Не выдержал, подошел поближе, опять вперил взгляд в полотно, сравнил полотно с мельницей, снова перевел взгляд на полотно и снова на бескрылую мельницу и, видимо, не найдя, чего искал, обратился к художнику:

— Это что же такое должно получиться, Макс?

Художник отступил в сторону, показал на Верного друга мельницы, пояснил:

— Вот, Верный друг мельницы,— и продолжал накладывать на землисто-зеленый холм комковатые тени. Тут, должно быть, и отец разглядел Верного друга мельницы: Верный друг неслышно поднимался из-за горизонта, добродушный такой старикан, весь буро-коричневый, длиннобородый, волшебник, дружелюбный и, сразу видно, рассеянный; он рос на глазах, становился исполином, он расставил и напряг свои коричневые, отсвечивающие огнем пальцы, вот-вот щелкнет тихонько по крыльям мельницы, которые он же, должно быть, сам только что и приделал, и крылья завертятся, все быстрей, быстрей,— он вдохнет жизнь в эту развалину, он ее вырвет из мертвящих серых тонов, в которых она потонула, ее крылья вспорют непроглядную темень, и, белее муки, брызнет из-под жерновов светлый день, ясный и радостный, не такой, как теперь. И это чудо совершат мельничные крылья, совершат обязательно, ведь именно этому радовался заранее бурый старикан, вот почему его лицо выражало такое детски-простодушное удовольствие, но было в этом его простодушии и что-то лукавое: не так-то я прост, не так-то ленив и рассеян — часа своего не просплю. Правда, пруд возле мельницы скептически морщился, покрываясь фиолетовыми разводами сомнений. Но этот иссиня-фиолетовый скепсис был бессилен против бодрой решимости и доброты Верного друга мельницы.

— С этим покончено,— выдавил отец.— Крыльев у нее никогда больше не будет.

— Крылья будут завтра, Йенс,— ответил художник.— Дай срок. Завтра они так заработают — любо-дорого.— Он бросил кисти, запалил трубку и стал смотреть на полотно, качая головой. Потом, не оборачиваясь, протянул кисет отцу и почти сразу же сунул кисет обратно в бездонный карман пальто, не поинтересовавшись, успел ли отец набить свою трубку.— Еще чуть-чуть ярости, а, Йенс? — спросил он.— Темно-зеленого, да? Да. Ярости, вот чего не хватает нашей мельнице.

Отец держал письмо в руке, прижав его плотно к телу, как бы инстинктивно пряча до наступления подходящего момента, но только он никак не мог определить, наступил ли уже подходящий момент.

— Ее уже никакой ветер больше не завертит, Макс,— проговорил он,— и никакая ярость ей не поможет.

— Э-э, она еще нас с тобой перескрипит, Йенс, дай срок,— ответил художник.— Завтра эти крылья замашут так, что ты только рот откроешь.

Может быть, отец и дальше бы тянул, если бы не уверенно-утверждающий тон последней фразы, но сейчас он вдруг оторвал руку от груди и подал письмо художнику со словами:

— Вот, Макс, это тебе из Берлина. Прочти при мне.

Художник небрежно взял письмо, опустил в карман пальто и, повернувшись к отцу, хлопнул его легонько по плечу, потом довольно крепко ткнул в бок и подмигнул:

— Шабаш, Йенс, пошли домой. Мне прислали такой можжевеловки, что у тебя на обеих руках по шестому пальцу вырастет. Не из Голландии, а из Швейцарии, от одного музейщика. Бог ты мой, что за можжевеловка! Пошли в мастерскую.

Но отец не хотел идти, он коротко ткнул указательным пальцем в сторону кармана, куда художник положил письмо.

— Ты его...— проговорил отец,— ты прочти его сейчас.— И закончил, помолчав: — Оно из Берлина, Макс.

Но, видно, слов ему показалось недостаточно, он шагнул к художнику и загородил мостик, отрезая Максу дорогу домой. Художник пожал плечами, достал письмо, взглянул мельком на адрес отправителя, как бы желая только сделать одолжение полицейскому, потом кивнул, спокойно и презрительно:

— Ах, эти идиоты,— проговорил он,— вот идиоты! — И он быстро посмотрел на отца, но взгляд, с которым он встретился, поразил его. Он вынул письмо из конверта и стал читать, тут же, на этом деревянном мостике. Читал он долго; я хочу сказать — медленно, все медленней и медленней; потом он снова сунул письмо в карман и, сразу весь потемнев, посмотрел вдаль — через пологую равнину на свою мельницу, на ветер, как бы прося совета у лабиринта канав и каналов, у растрепанных ветром кустарников, у дамбы, у самодовольных крестьянских дворов,— ах, да что там! — просто он смотрел в сторону, чтоб не смотреть на моего отца.

— Это не я придумал,— сказал отец.

— Знаю,— ответил художник.

— Я ничего не могу поделать,— сказал отец.

— Я знаю,— ответил художник и, выколотив трубку о каблук, добавил: — Я все понял. Кроме подписи. Неразборчивая подпись.

— Им много чего приходится подписывать,— сказал отец.

— Но ведь они же в это не верят.— В голосе художника послышалось ожесточение.— Они в это сами не верят, идиоты! Запретить мне заниматься живописью! Запретить человеку иметь профессию! Может, они запретят мне еще есть и пить! Такую дичь разборчиво не подпишешь!

Склонив голову, он вглядывался в Верного друга мельницы, словно хотел увериться, что был прав, что этот буро-коричневый чудодей почти уже добился своего и крылья мельницы не сегодня так завтра придут в движение, завертятся с шумом и треском, но отец прервал это созерцание.

— Запрет вступает в силу немедленно с момента вручения,— сказал он, изъясняясь теперь в привычной ему манере,— так ведь написано, Макс?

— Да,— удивился художник,— написано так.

— Вот я и говорю,— добавил отец тихо, но достаточно недвусмысленно: — С момента вручения.

Тогда художник сложил свою работу, кисти, мольберт — сам, без помощи полицейского, да он, пожалуй, и не ждал, что тот ему поможет.

Протиснувшись один за другим сквозь живую изгородь, они зашагали по саду. Они шли к мастерской, пристроенной к жилому дому,— она была спроектирована самим художником: одноэтажная, с верхним светом, с пятьюдесятью пятью всевозможными нишами и закоулками, на которые ее разгораживали старые шкафы, до отказа набитые стеллажи и многочисленные раскладные столы. Эти столы часто представлялись мне чем-то вроде лежанок для спанья, на которых спали вповалку все забавные люди и все страшенные чудища, созданные кистью художника: его желтые пророки и менялы, его апостолы и домовые, его хитровато ухмылявшиеся зеленые рыночные торговцы. А с ними вперемежку спали, наверно, и плясуны на морском берегу, и сгорбленные непосильным трудом батраки — этим-то, уж конечно, не мешало отоспаться. Сколько их было там, этих столов-лежаков! Я и не считал. А скамеек, а парусиновых складных стульев! На них при случае могла бы рассесться вся эта фантасмагорическая, фосфоресцирующая братия, выпущенная на волю воображением художника, все привидевшиеся ему лица и образы, включая, разумеется, и томных, белокурых грешниц. Ящики тоже служили столами, а скромные банки и пузатые кувшины — цветочными вазами; ваз этих было так много, что, я думаю, пришлось бы опустошить целый сад, чтобы наполнить их цветами, и они действительно всегда были полны цветов — всякий раз, когда я бывал в мастерской, на каждом столе пламенели букеты, они так и притягивали к себе...

В углу у раковины, напротив двери, помещался длинный стол на козлах и рядом — гончарный круг; а над ними, на полке, сохли глиняные фигурки и удлиненные человеческие головы.

Итак, мы вошли в мастерскую; художник поставил на место мольберт с незаконченной работой и направился к деревянному ящику, где хранилась можжевеловка. Отец сел, потом поднялся, снял накидку и снова сел. Художник вынул бутылку, посмотрел сквозь нее на свет, вытер ее полой своего пальто, опять посмотрел на свет, и лицо его выразило удовлетворение. Он поставил бутылку на стол, движением руки выхватил с полки два длинноногих бокала из толстого зеленого стекла. Но наполнил он их как-то неловко, во всяком случае — неуверенней, чем обычно, и один из бокалов протянул отцу.

— Ну как, Йенс? — спросил художник, когда они выпили.

— Божий нектар,— подтвердил отец.— Божий нектар.

Художник налил по второму разу и убрал бутылку на высокую полку, откуда он лишь с трудом мог бы достать ее вновь. Некоторое время они молча сидели друг против друга, слушая, как буянит над домом ветер и носится вверх и вниз по каминному дымоходу. За окном, во дворе, вихрь, подбросив в воздух стайку воробьев, смешал их с горланившими скворцами. Не унимаясь, скрипели флюгера. В воздухе стоял странный запах гари; и отцу и художнику этот запах был знаком. «Голландцы жгут торф,— подумали они,— волноваться нечего».

Художник молча показал на бокал, они выпили снова, а потом отец встал. Разнеженный теплом можжевеловки, он прошелся взад-вперед, от стола к угловому стеллажу, и, подняв глаза, уставился на картину «Пьеро примеряет маску», поглядел на «Жеребят вечером», на «Женщину с лимонами», повернулся и пошел назад к столу; он понял наконец, что ему хотелось сказать. Махнув рукой в сторону картин, словно объединяя их все этим широким неопределенным жестом, он проговорил:

— И это они там, в Берлине, хотят запретить.

Художник пожал плечами.

— Есть другие города,— отозвался он.— Есть Копенгаген, Цюрих, Лондон, Нью-Йорк. Есть Париж.

— Берлин остается Берлином,— произнес отец, а потом добавил: — Зачем это, Макс, как ты думаешь? Зачем они от тебя этого требуют? Почему ты должен перестать писать?

Художник ответил не сразу.

— Может быть, я говорю слишком ясно,— сказал он.

— Говоришь? — переспросил отец.

— Да, красками,— сказал художник,— краски всегда о чем-то говорят. Иногда они даже что-то утверждают. Краски — это, знаешь, такая штука...

— В письме, там еще кое про что написано,— заметил отец.— Насчет какого-то яда.

— Знаю,— горько усмехнулся художник.— Яда они не любят,— добавил он, помолчав.— Но немножко яда необходимо. Для ясности.— Он притянул к себе стебель цветка — по-моему, это был тюльпан; щелкая указательным пальцем по лепесткам, как Верный друг мельницы по ее крыльям, он несколькими меткими щелчками, будто выстрелами, раздел цветок догола и отпустил стебель. Потом он поглядел вверх, на бутылку, но не достал ее с полки. Отец понял, наверно, что ему надо что-то сказать Максу Людвигу Нансену.

— Все это не я придумал, Макс,— проговорил он,— можешь мне поверить. Я тут ни при чем, мое дело только передать тебе запрещение...

— Знаю,— повторил художник.— Ну и психопаты,— добавил он после паузы.— Как будто они не понимают, что нельзя запретить художнику писать. Запретить писать! Не спорю, сила сейчас в их руках, они могут понаставить каких угодно препон и рогаток, охотно верю. Но чтоб человек перестал писать — нет, это не в их власти! Это уже пробовали — задолго до них. Историю пусть почитают! Против нежелательных полотен еще никогда ничего не помогало! Не то что ссылка — и глаза выкалывали: не помогало! А когда руки рубили — люди писали губами. Идиоты — будто им не известно, что бывают и невидимые картины!

Отец обошел вокруг стола, за которым сидел художник, но ничего больше не спросил, а лишь подытожил:

— Запрет наложен и утвержден, Макс, ничего не попишешь.

— Да,— сказал художник,— в Берлине.

И он с напряженным вниманием в упор посмотрел на отца — открыто и испытующе, он не сводил с него глаз, словно вынуждая его признаться в том, что он, Нансен, давно уже понял; и от него, наверно, не ускользнуло, как нелегко все-таки дались отцу слова:

— За выполнением запрета... за выполнением запрета, Макс, они поручили следить мне... Чтобы ты знал...

— Тебе? — переспросил художник.

— Да, мне,— подтвердил отец,— ближайший участковый инспектор здесь — я.

Они смотрели друг на друга — один сидя, другой стоя, словно оценивая, ворошили в памяти все, что друг о друге знали, и пытались себе представить, как они будут отныне общаться друг с другом — ну, и все такое прочее. Они буравили друг друга глазами, взвешивали, прикидывали, точь-в-точь как «Двое у забора» — так называлась картина Нансена всепоглощающий оливково-зеленый свет и вылепленные этим светом два старых лица, два старика, соседи по саду, они, наверно, знали друг друга всю жизнь, но вот только сейчас впервые вгляделись по-настоящему и, пораженные, смотрят один на другого с непреодолимой враждой. Как бы то ни было, я думаю, художник охотней спросил бы о

чем-нибудь еще, только не о том, о чем спросил на самом деле:

— И как же, Йенс, ты собираешься следить за выполнением запрета? А, Йенс?

Отец притворился, будто не расслышал прозвучавшей в вопросе доверительной нотки.

— Там будет видно, Макс,— ответил он,— дай время.

Тогда встал и художник; чуть склонив голову набок, он поглядел на отца, словно уже понял, на что тот способен; отец счел своевременным взять свою накидку, и художник сказал:

— Они еще нас не знают, глюзерупских, а?

И отец, не подымая головы, ответил:

— Но и нам, глюзерупским, из своей шкуры не выпрыгнуть.

— В таком случае не спускай с меня глаз,— посоветовал художник.

— Будь спокоен,— ответил отец и протянул руку Максу Людвигу Нансену, а тот, пожимая руку отца, задержал ее в своей, и так они дошли до двери. Перед дверью, выходившей в сад, они наконец разъединили руки. Отец стоял вплотную к двери, почти прижатый к ней художником, и никак не мог ее отворить, он шарил по филенке, отыскивая запор где-то на уровне своего бедра, но нащупать его не удавалось, наконец он наткнулся на задвижку и поспешно отодвинул ее, будто стремясь поскорей вырваться на улицу и стать недосягаемым для художника.

В дверях его схватил ветер. Повернувшись к норд-весту плечом, отец зашагал к велосипеду.

А художник, преодолевая сопротивление ветра, закрыл дверь. Он подошел к одному из окон, выходивших во двор. Вероятно, он хотел увидеть, как мы с отцом уезжаем навстречу ветру, может быть, он впервые почувствовал необходимость убедиться в том, что отец действительно покинул Блекенварф,— вот он и наблюдал за нашим тягостным отбытием.

Я догадываюсь, что Дитте с доктором Бусбеком тоже глядели нам вслед, пока мы не достигли автоматического красно-белого маяка. Тут Дитте, наверно, спросила: «Это правда?» — и художник, не оборачиваясь, ответил: «Да, это правда, а следить за выполнением приказа поручено Йенсу». «Йенсу?» — вероятно, переспросила Дитте, а художник ответил: «Да, Йенсу. Оле Йепсену из Глюзерупа, потому что ближайший участковый инспектор здесь — он».

3. Чайки

Кто-то прилип к дверному глазку. Я почувствовал это сразу же, как только по спине у меня забегали противные мурашки: ага, догадался я, чей-то испытующий взгляд изучает сквозь дверь мою спину, я тут пишу и пишу, а он присосался ко мне холодными щупальцами и наблюдает — исследует. Впервые мне почудилось, что за мной следят, в тот момент, когда мой отец и художник распивали можжевеловку; с этой минуты я все время ощущал на затылке чей-то упорный, свербящий взгляд, он шарил по мне, щекоча кожу, как мелкий, взвихренный ветром песок; кроме того, за дверью камеры слышалось шарканье ног, предостерегающий шепот и полусдавленные восторженные возгласы — не иначе как у моей двери в коридоре столпилось добрых две сотни психологов, не обращавших внимания на сквозняк,— так жгуче волновала их проблема: «Несовершеннолетний правонарушитель в момент написания штрафного сочинения».

Зрелище, которое я являл собой сквозь дверной глазок, по-видимому, до того возбудило их, что некоторые не могли удержаться от непроизвольных комментариев вслух, как то: «Симптом Бульцера», «Объективный симультанный порог», и — кто знает — возможно, очередь у глазка и сейчас бы еще не схлынула, если б я не принял самых решительных насильственных мер, настолько мне надоели болезненные молоточки в затылке и холодные мурашки на спине; я взял свое карманное зеркальце, сфокусировал в нем свет электрической лампочки и неожиданно направил яркий луч на дверной глазок. Глазок моментально очистился. Я услышал чей-то тихий сдавленный возглас, кто-то предостерегающе зашипел, потом послышался шум и топот: отряд драпал, уже не маскируясь, зато судорога отпустила мою спину и боль прошла.

Я удовлетворенно пригладил листы в тетрадке для сочинений и, не вставая из-за стола, сделал небольшую разминку. Тут я услышал, как в замок вставили ключ, дверь распахнулась, и в камеру молча вошел Йосвиг, все еще обиженный, но с требовательно протянутой рукой. Он явился за сочинением, он жаждал получить дань, причитавшуюся с меня за урок немецкого; такое приказание получил он от Химпеля или Корбьюна, нет, скорей всего, от Химпеля. Я изобразил на лице недоумение, я изобразил испуг, я вынужден был дать ему почувствовать всю неуместность его требования, но наш отец надзиратель обратил мое внимание на то, что над Эльбой уже занимается рассвет.

— Давай, что написал,— сказал он,— и можешь собираться.— Произнося эти слова, он схватил тетрадь, согнул ее, с шелестом пропустил края страниц под большим пальцем и убедился, что я не сидел сложа руки.— Вот видишь, Зигги,— изрек он, и в его голосе послышалась отеческая удовлетворенность,— раз надо, так сделаешь — кровь из носу, а сделаешь; сочинение надо написать — и напишешь.— И он одобрительно похлопал меня по плечу, улыбнулся и закивал. Не остался он равнодушен и к тому, что я писал всю ночь напролет. Он пообещал, что директор удостоит меня похвалы. С благодарностью заглядывая мне в лицо, он предложил отнести мою тетрадь директору и уже было двинулся к двери, когда я окликнул его и попросил вернуть мне тетрадь. Отец надзиратель уставился на меня недоуменно, с каким-то сомнением, сжал свернутую в трубку тетрадь, поднял ее над головой и провозгласил: — Но, Зигги, ты ведь уже расплатился за наказание.

Я отрицательно замотал головой.

— Наказание,— заявил я,— только еще началось. «Радость исполненного долга» только лишь в стадии подготовки. Еще все впереди.

Карл Йосвиг перелистал первую мою главу, сосчитал страницы и спросил недоверчиво:

— Ты писал целую ночь и не кончил?

— Это только завязка,— пояснил я,— только первое пробуждение радости долга.

— Неужели на это надо столько времени? — возразил он, уже опять слегка обиженный.

— Радости тоже занимали немало времени,— ответил я.

— Но ты же знаешь, чего я от тебя жду,— сказал он.

— Да,— отозвался я.

— Ты обязан написать хорошее сочинение. Поэтому ты останешься в камере до тех пор, пока не кончишь работу. Есть будешь один. Спать — тоже один. От тебя самого зависит, когда ты сможешь вернуться к нам.

Затем он напомнил мне обо всем, что сказал доктор Химпель, повторил, что срок выполнения штрафной работы не ограничен, и все та-

кое прочее; и под конец, отправляясь за моим завтраком, вернул мне тетрадь и с искренним участием спросил:

— Видно, это действительно поганая штука, раз тебя из-за нее так мучают?

— Радость исполненного долга,— ответил я.

— Бедняга,— пожалел он меня и чуть слышно добавил: — Бедняга ты, Зигги.— Рука его сама собой опустилась в карман, извлекла оттуда две помятые сигареты, пачку спичек тетрадочкой и быстро сунула эти сокровища под матрас.— Курить в камерах воспрещается,— произнес он бесстрастным тоном.

— Правильно,— отозвался я.

Вслед затем он отбыл, и вот я с самого завтрака стою у зарешеченного окна, смотрю на рассвет над Эльбой и на скованную льдом реку, по которой мощные буксиры и ледокол «Эмми Гуспель» расшивают свой недолговечный узор. Скособочась, стоят бакены, теснимые напирающим льдом. В той стороне, где Куксхафен, разостлалось по небу полотнище цвета охры — сейчас вокруг него сбиваются в кучу снежные облака. Рваное языкастое пламя над нефтеочистительным заводом мечется под порывами ветра, а ветер крепчает, ярится и уже доносит до меня грохот заклепочных молотов с верфи.

В наших мастерских да и в нашей островной библиотеке, где меня теперь замещает специалист по дамским сумкам Оле Плёц, уже давно кипит работа, но меня это не касается; я не скучаю по своим приятелям, даже по Чарли Фридлендеру, который так здорово изображает всех и все — голос, жесты, походку, малейшее движение, он все может: как разговаривает Корбьюн, как держится Химпель. Мне хочется побыть здесь, в этой камере, одному, совсем одному, подобно прыгуну на трамплине — для того ведь они меня здесь и оставили: приготовился, прыгнул, нырнул, раз, еще раз, еще, еще, пока не выужу из-под воды и не подниму наверх все костяшки до самой последней, чтобы затем выложить из них у себя на столе весь, так сказать, узор моих воспоминаний, без единого пропуска.

Воспоминания! Сейчас, когда надо мной не довлеет мысль о сроке сдачи работы, воспоминания осаждают меня, они нахлынули со всех сторон — и как ловко все укладывается и встает на свои места: под моим пером словно бы сам собой разворачивается простор плоской равнины, я прорезаю ее там и сям темными дренажными канавами, и каналами, и голландскими шлюзами; на искусственных, насыпных холмах возвожу пять мельниц, которые видны от нашего сарая,— и среди них мою любимую бескрылую мельницу, затем мельницу и крестьянские дворы, белые с ржаво-красным, обвожу защитной дамбой, выставленной вроде локтя — для отражения штормовых наскоков; потом на западе водружаю обряженный в алую шапку маяк и кидаю волны Северного моря биться о буны — в том самом месте, где набегающий горою, рушащийся в пене и откатывающийся прибой виден художнику из дощатого домика, где, укрывшись от ветра, он ведет свои наблюдения,— так что теперь мне лишь остается подняться по узкой кирпичной дорожке, и передо мной возникнет Ругбюль, мой дом, вернее, сначала покажется стрелка с надписью «Полицейский участок Ругбюля», под которой я столько раз стоял, дожидаясь чаще всего отца, иногда деда, изредка мою сестру Хильке.

Я как бы рассматриваю большую картину, где все неподвижно и где под резким светом четко просматривается каждая деталь: вот поля, вот кирпичная дорожка, там торфяники, а это стрелка указателя, прибитая к столбу, с которого давно облупилась краска,— как спокойно все это выплывает теперь из подводных глубин моей памяти; человеческие лица, искривленные ветром деревья, послеобеденные безветренные часы —

все, все ожило в памяти, и я вновь стою босиком под стрелкой указателя и смотрю издали на художника — собственно, я вижу над дамбой лишь его пальто, косой ветер треплет его, и оно вот-вот улетит в сторону мыса; а на дворе весна, у нас на севере она с холодным, соленым ветром, и я прячусь в облюбованном мной тайничке — ветхой повозке без колес, с задранным к небу дышлом,— поджидаю, когда моя сестра Хильке пойдет со своим женихом собирать яйца чаек.

Я ныл и клянчил, упрашивая их взять меня с собой, но Хильке не захотела, Хильке решила все просто. «Это не для тебя»,— сказала она, и вот я лежу, свернувшись на растрескавшемся днище повозки, и жду, скоро ли они пойдут, тогда я — следом за ними, осторожно, чтоб не заметили, уж это я постараюсь — чтоб не заметили. Отец сидит у себя, в своем тесном кабинете, куда мне входить запрещено,— сидит и размашистым почерком строчит донесения, а мать заперлась в спальне; она часто так запиралась в ту злополучную весну, когда Хильке впервые привела к нам в дом своего нареченного, своего «Адди», как она называла Адальбера Сковронека. Я услышал, как они вышли из дома, увидел сквозь щель, как они мимо сарая направились к дороге: впереди Хильке — она ведь привыкла командовать и не терпит возражений, а за ней, отставая на шаг,— он, на своих негнущихся ногах. То есть я хочу этим сказать, что они шли отдельно, даже не держались за руку, не то чтобы обнять друг друга за талию, как это водится у парней с девушками; по-моему, не привлекал их и немой разговор с помощью рукопожатий и других сигналов в этом роде — они просто топали в своих шуршащих плащах к кирпичной дорожке, а потом, не оглядываясь, свернули к дамбе. Они шагали так, будто знали, что за ними наблюдают: напряженно, с подчеркнутой размеренностью; и в этом угадывалось желание показать, что их сейчас волнуют только яйца чаек. Они ступали, словно аршин проглотив, через силу подымая ноги, точно были обуты в свинцовые башмаки, явно избегая касаться друг друга,— и все это, должно быть, лишь из-за того, что занавес на окне спальни беспокойно шевелился, вздувался, опадал, а под конец его на какой-то миг даже отдернули в сторону.

Я знал — это она. Стоит и смотрит оттуда, осуждает и мучается — по-своему, но мучается; губы у нее высокомерно поджаты, и суровое, до красноты обветренное лицо — неподвижно. «Цыган!» — только и смогла она выдавить из себя, растерянно глядя на моего отца, когда узнала, что Адди Сковронек музыкант и играет на аккордеоне в ресторане того отеля «Пацифик» в Гамбурге, где Хильке работала официанткой. «Цыган!» Произнеся этот приговор, она заперлась в спальне — Гудрун Йепсен, мать, вторая опора в моей жизни.

Я продолжал тихонько лежать в повозке, прижавшись виском к днищу и подтянув колени, не сводя глаз с занавески и прислушиваясь: голоса удалялись к дамбе, к морю; так я прождал до тех пор, пока занавеска не успокоилась и голоса вдали не затихли; тогда я вскочил, скатился с повозки и сиганул в придорожную канаву, которая тянулась вдоль всего склона; крадучись, я двинулся по ней вслед за сестрой и Адди.

Хильке несла лубяную корзину. Теперь она шла чуть согнувшись, словно хотела взять разбег для прыжка, словно хотела одним прыжком очутиться вне досягаемости домашних. Ее начищенные мелом брезентовые туфли так и сверкали на красном кирпиче дорожки. Длинные волосы, которые дома она распускала, были засунуты под воротник плаща, но, как видно, не очень плотно или недостаточно глубоко, потому что они выбивались наружу густыми прядями, и мне сзади чудилось, будто у Хильке нет шеи, а голова похожа на сплющенный шар. Ее близко поставленные ноги с крепкими, вывернутыми вовнутрь икрами,

казалось, вот-вот начнут спотыкаться: икры то и дело задевали друг за друга, сталкивались, но она этого не замечала, как никогда не замечала и раньше, может быть, потому, что в ее походке была та же слепая, ни с чем не считающаяся энергия, которой отличались все поступки, замыслы и планы моей сестры. «Муравей, точь-в-точь рыжий муравей»,— сказал бы я про нее. Она ни разу не обернулась, чтобы удостовериться в своей безопасности, тогда как он, Адди, аккордеонист, поминутно оглядывался, быстро и зорко, а в его походке чувствовалось какое-то сомнение, какая-то неуверенность, так что я даже подумал, уж не заметил ли он меня или, может, ему пришло на ум заняться другим делом, более интересным, чем собирать яйца чаек. Сунув руки в карманы, он курил, чтобы согреться, и ветер отбрасывал ему за плечо трепещущие облачка дыма. Время от времени он подпрыгивал, делал что-то вроде пируэта и несколько шагов шел к ветру спиной, весь съежившись под своим плащом; тогда я мог разглядеть его тусклое лицо, на котором проступила угрями лихорадка воздержания,— лицо, способное выражать, казалось, одну лишь самодовольную снисходительность, не покинувшую Адди ни в ту минуту, когда он представлялся моим родителям, ни даже тогда, когда он заметил, что моя мать не предложила ему сесть и что соседи, к которым потащила его Хильке, не обратились к нему ни с единым вопросом. Никто, глядя на него, не мог бы понять, от чего он страдает, никто не мог бы узнать от него самого, чему он радуется и чего боится,— он выставлял на обозрение лишь свою самодовольную снисходительность, с которой появился у нас,— таким он и врезался навсегда в нашу память.

Но я не позволю им скрыться от меня за дамбой, я не намерен спускать с них глаз, и вот я следую за ними, как тогда: пробираюсь, сгорбившись, вдоль канавы, припадаю к земле, потом, дойдя до шлюзов, распрямляюсь и под их прикрытием движусь во весь рост, правда, боком; достигнув камышовых зарослей, я смелею еще больше: камыш — защита надежная; наконец перед нами гребень дамбы — тут и вовсе просто: я пригибаюсь — теперь они не обнаружат меня, если даже оглянутся. Они пересекли дамбу в том месте, где отец во время своих бесчисленных поездок в Блекенварф обычно слезал с велосипеда и тащил его в гору; не остановившись ни на минутку, чтобы, как водится, полюбоваться видом на море, они сразу же ринулись вниз к тропинке, которая бежала вдоль бун параллельно изгибам дамбы, доходила до ресторанчика «Морские дали» и вилась до самого мыса.

У воды они остановились. Они стояли близко друг к другу. Хильке прислонилась плечом к его груди и показала рукой на море, хотя я, сколько ни вглядывался, не увидел там ничего интересного, но ее простертая вперед рука описала плавный полукруг, словно Хильке дарила Адди все Северное море вместе с ракушками, волнами, минами и обломками кораблей на мрачном морском дне. Адди положил руку сестре на плечо. Он поцеловал ее. Затем он взял у нее корзину и, освободив ей руки, дал возможность обнять себя, но Хильке не стала его обнимать, а что-то сказала, на что он, весь какой-то напряженный, тоже что-то сказал и махнул рукой в сторону светлой песчаной косы: теперь наступил его черед презентовать моей сестрице часть Северного моря, примерно около полутора квадратных километров.

Море билось о камни бун, и его брызги долетали до Хильке и ее кавалера; крутые пенистые языки вырывались из расщелин между камнями и тут же шлепались обратно, а вдали, из дождевых облаков, выплывало над морем темной кляксой, с надутыми марс-, брамс- и гроспарусами, такелажное судно; оно спешило нам навстречу, и это, видимо, побудило Адди снова что-то сказать, сестра тоже что-то ответила и, смеясь, откинулась назад, так что ему, пожалуй, не оставалось ничего

другого, как схватить ее за руку, шутливо изображая полицейского, и повести по тропинке, покрытой темными пятнами морской влаги.

Вдоль тропинки тянулась оставленная приливом полоска морских водорослей, засохшего стрелолиста и гальки, а параллельно ей лежали другие, старые полосы: каждый большой прилив оставлял такую метку, полоску воспоминаний о себе, говорившую о силе зимнего моря или о его зимней ярости. Каждый прилив припасал что-то свое: один вышвыривал на берег отстиранные добела корни деревьев, другой — куски пробки и покореженную кроличью клетку, третий — клубки водорослей и ракушки, разодранные сети и пахнущие йодом растения, похожие на какие-то фантастические шлейфы, и сестрица моя шла сейчас со своим аккордеонистом мимо всех этих сокровищ в сторону мыса. Они не поднялись к ресторану «Морские дали», а обогнули его со стороны моря; теперь они держались за руки, и лица их, возбужденные, мокрые от брызг прибоя, пылали. Дальше, где мыс плоской косой врезался в море, курчавились белые гребни волн, кативших из черно-черного далека; на отмели они вздымались горой и обрушивали на берег беглый огонь своей пены; зрелище это сопровождалось неумолчным монотонным шумом и глухим буханьем.

Мыс сползал в море, как острый корабельный нос, а в сторону суши полого подымался, переходя в складчатый дюнный холм без единого деревца, покрытый лишь упрямой осокой. Там-то и гнездились чайки. Там они каждой весной устраивали свои убогие гнезда — между избушкой орнитолога и прилепившимся у подножия дюны домиком художника, выходившим на море низким, но очень широким окном.

Теперь я шел по дамбе уже под прикрытием ресторана и не мог видеть ни Хильке, ни ее драгоценного аккордеониста, который, должно быть, по ее просьбе и приволок к нам в дом свой аккордеон и наверняка сыграл бы нам что-нибудь, если б каждый раз, как только он брался за инструмент, украшенный серебряными или посеребренными инициалами А. С., из комнаты с молчаливым неодобрением не выходила мать. Я знаю, отец был бы рад, если б ему сыграли его любимую песенку, я бы тоже не прочь был услышать что-нибудь по своему заказу, но так как матери это явно пришлось бы не по нутру, тяжелый аккордеон только зря стоял в комнате Хильке. Я уж даже подумывал, не утащить ли мне ночью заветный инструмент в мою видавшую виды повозку и не попробовать ли самому поиграть на нем.

На дощатой террасе перед рестораном я остановился и через одно из двух окон заглянул в зал: там не было ни души, если не считать какого-то типа, чья темная фигура возвышалась за пустым столом; он показал мне язык и сделал вид, будто хочет запустить в меня пепельницей, из которой торчал объеденный скелет макрели, но я метнулся прочь, проскочил мимо окон фасада, пустился к склону дамбы и там, наискосок от себя, опять увидел Хильке и ее нареченного. Они вышагивали друг за другом по камням бун к тому месту, где берег начинал понижаться и переходил в ровный светлый пляж мыса; тут они снова взялись за руки и пошли по пляжу между выброшенных на песок бревен и водорослей — два силуэта на фоне моря, точь-в-точь Тим и Тина, затерявшиеся среди пустынных дюн: я имею в виду героев романа Асмуса Асмуссена «Свечение моря».

Нет, пожалуй, не точь-в-точь, потому что Тим не стал бы в тревоге показывать на стену дождя, нависшую над морем, и уж конечно, он не дрожал бы от холода, как Адди, не струсил бы и не пригнулся к земле, когда на него, сложив крылья, ринулась свистящим снарядом сизокрылая морская чайка. Адди так испугался, что не только склонился к земле, но еще и в сторону отвернулся и потому не мог видеть, как чайка чуть ли не над самой его головой снова взмыла вверх и, под-

хваченная ветром, устремилась в безопасную высь, издавая резкие предостерегающие крики вперемежку с отрывистыми воинственными кликами и воплями. Так оно начиналось всегда. Сначала бросалась в бой одна какая-нибудь чайка, чайка-моевка, чайка-сизокрылка или черноголовка. Найдите-ка у нас на побережье чайку, которая бы так просто отдала свои яйца! Они отчаянно защищают свое будущее потомство. Они набрасываются на вас, красноглазые, желтоклювые, страшные. Пытаются отвлечь внимание ложными атаками.

Я сильно подозреваю, что аккордеонисту Адди еще не случалось переживать ничего подобного: над его головой вдруг с оглушительным криком взмыли в небо добрых два миллиона ошалевших чаек и зависли над мысом серебристо-серой, мятущейся в яростном безумии тучей — тучей, взлетающей вверх и падающей стремительно вниз и на лету маневрирующей, рассредоточивающейся, смыкающейся вновь в плеске и шуме крыльев и осыпающей землю белым дождем перьев или, точнее, пуховым снегом; он заполнил собой всю седловину между дюнами, этот мягкий и теплый снег, так что моя сестрица со своим женихом, будь у них желание, могли бы хоть сию минуту переспать на этом пуху. Только неловко писать про это — даже сердце заколотилось.

Как только чайки поднялись со своих жалких гнезд и надо мной зашумело и закричало их смятенное, крылатое небо, я кинулся по склону дамбы вниз, к берегу, и спрятался за разбитым ящиком из-под рыбы, недвижно затаился посреди бушевавшего окрест неистовства; я крепко сжимал в руке палку, на случай если бы пришлось отбиваться от какой-нибудь чересчур остервеневшей чайки; я бы размозжил ей голову, а может, только перебил крыло, тогда бы я принес ее домой и научил говорить.

Чайки меня заметили и всей своей крылатой тучей ринулись в атаку. Я вскочил, размахивая палкой, совсем как тот знаменитый герой — забыл его имя,— который до того ловко крутил над собой меч, что остался сухим под проливным дождем. Вот и я так покидал поле битвы: вертел палкой во все стороны, отбиваясь от пикировавших на меня врагов, и бежал вперед, стараясь не потерять следа — точнее, тех двух пар следов, что отпечатались на мокром песке.

Я успел запыхаться, пока пробежал это коротенькое расстояние между покинутых на разор птичьих гнезд, где лежали голубовато-зеленые, серые и коричневые яйца,— и снова увидел сестру и Адди.

Адди был мертв. Он лежал на спине. Его убил буревестник или, быть может, десяток чаек-клуш вместе с девятью десятками элегантнейших крачек. Они продырявили его своими клювами, проткнули насквозь. Сестра стояла перед ним на коленях и спокойно, деловито, в общем, без всякой паники возилась с его одеждой — она ведь всегда все знала и сама решала, что нужно, а что не нужно, и со всем могла справиться, потому что не терпела неопределенности и слюнтяйства; низко наклонив свое лицо к его лицу, она обняла Адди, прямо навалилась на него всем телом и добилась-таки своего, оживила Адди: ноги его дрыгнули раздругой, потом задергались, словно он во что-то ударял ими или что-то толкал, руки вскинулись кверху, по плечам пробежала судорога, корпус приподнялся.

Я забыл про все. Не переставая размахивать палкой, обороняясь от наскакивающих, орущих чаек, я рванулся к сестре, бросился на колени и увидел, как дрогнуло иссиня-багровое лицо Адди, челюсти сжались, он заскрежетал зубами. Пальцы у него были скрючены и конвульсивно втиснуты в ладони. Кожа блестела от пота. Когда он открыл рот, я заметил, что кончик языка у него весь искусан.

— Оставь,— сказала сестра,— не трогай его.— У нее не было времени удивиться, почему я вдруг очутился рядом. Она застегнула на

Адди рубашку, легонько погладила его по лицу, не взволнованно и не испуганно, а просто легонько, я бы даже сказал — робко, и от этой ласки Адди сразу стал успокаиваться — даже удивительно; он глубоко вздохнул и с какой-то растерянной усмешкой поднялся на ноги; увидав, что я палкой отгоняю от него чаек, он подмигнул мне.

Моя палка поспевала и тут и там, отгоняла наседавших чаек, заставляла их отступать. Я старался вовсю, делая вид, будто мне не до упреков, которые готовы были сорваться с языка сестры: я бился за Адди. Да! С этой своей палкой я, наверно, был похож на изображение розы ветров. Я наносил удары вкруговую и вверх, делал ловкие выпады, скачки, броски, вел настоящее сражение с птицами, а тем временем Хильке поспешно собирала в корзину яйца; Адди, смущенный, стоял рядом и потирал шею — потрясающе старую, как я успел обнаружить, покрытую морщинами и даже слегка задубевшую.

Вдруг чайки изменили тактику. Они, по-видимому, заметили, что ложными атаками ничего не добьются; теперь только немногие птицы-камикадзе да еще буревестники набрасывались на нас: они пикировали, изящно сложив перепончатые лапки, разинув кораллово-красные рты, раскинув крылья,— ни дать ни взять «юнкерсы-87»,— но это были уже последыши, ничему не научившиеся индивидуалисты; остальные же сплотились над нами в ровное, сплошное, шумящее крыльями облако, которое повисло в воздухе, раздирая криком наши барабанные перепонки. Раз не помогла пикирующая атака, нас должен был обратить в бегство этот неистовый крик, этот исступленно-пронзительный визг, этот скрежет, треск, скрип, завыванье, мяуканье, от которого резало в ушах, сверлило в голове, водило пилой по позвоночнику, а тело покрывалось гусиной кожей.

Адди стоял, заткнув уши, и ухмылялся. Хильке, наклонясь, собирала яйца в корзину, а на нее косым ливнем валил с неба чаячий помет. Стоило мне только поднять над головой палку, как воздух завьюживало от пуха и перьев, и я уже не видел своей палки в этом кишении птичьих тел и хлопающих крыльев, один раз я даже угодил в крупного поморника, по самому клюву ударил, но птица не рухнула наземь, не шмякнулась к моим ногам. Я был не в силах пробить брешь в этом обезумевшем, орущем небе. Я не мог ни запугать его, ни даже заставить замолчать. Небо вопило, но наперекор его душераздирающему воплю — мы держались.

Одной чайке удалось долбануть меня в ногу, и так как я не смог достать ее палкой, то запустил в нее яйцом; оно разбилось о спину птицы, изукрасив ее оперение почетными желтыми эмблемами, с которыми ей оставалось лишь улететь куда-нибудь в Бразилию.

Увидев такое меткое попадание, Адди одобряюще кивнул мне, подошел и спрятал меня под свой плащ, потому что как раз в эту минуту с моря резанул порыв шквального ветра, низко пригнувший к земле береговую осоку и взвихривший змейки песка, которые больно стеганули меня по ногам.

Он окликнул Хильке, все еще усердно собиравшую яйца, и показал на море, на совсем уже близкую стену дождя. Выпуклая линия морского горизонта укоротилась, потускнела, подернулась белесой пеленой, и пелена эта летела прямо на нас, хотя ближе к берегу вода еще сохранила свой блеск и светилась, а с гребней волн срывались шлейфы сверкающей пены.

— Кончай!— крикнул Адди, но сестра не расслышала, а может быть, и расслышала, но хотела набрать корзину доверху, и мы медленно двинулись за ней — верней, я прокладывал к ней путь, отбиваясь от чаек. Плащ Адди был отличным укрытием: наблюдение я вел сквозь щель между полами и через нее же орудовал своей палкой. Я чувствовал теп-

ло его тела, прислушивался к его учащенному от быстрой ходьбы дыханию, и мне было приятно, что его рука слегка опирается на мое плечо.— Кончай!— крикнул он снова, потому что ветер вдруг утих и хлынул дождь. Его частая, резко прочерченная штриховка заслонила от нас Хильке, согнувшаяся фигурка сестры вдруг уменьшилась и как бы отдалилась от нас. Хильке все еще продолжала бегать между покинутыми гнездами, когда над морем вспыхнула молния — нет, не вспыхнула, она распорола небо, распласталась на темнеющем горизонте, как суковатое корневище, и добродушный, я бы сказал, свойский гром покатился над Северным морем в нашу сторону; тут только сестра распрямилась, посмотрела на море, потом на нас, махнула рукой, показывая, куда нам идти, и пустилась бежать, так что нам ничего не оставалось, как броситься за ней вдогонку; впрочем, бежала она не очень быстро: ей мешали ее икры.

Если бы только шел дождь, то, я думаю, мы бы спокойно отправились вдоль берега домой, но гроза погнала нас напролом, через дюны; мы улепетывали от взрезавших море ослепительных молний, от раскатов грома, от шквального ветра. Однако от такой грозы не очень-то улепетнешь, ветер шатает тебя из стороны в сторону, ноги скользят и оступаются на мокром, отвердевшем песке — в общем, мы никак не могли догнать Хильке, которая почти уже добралась до домика художника; вот она добежала, рванула на себя дверь, но не закрыла ее за собой, а осталась стоять в темном, прочерченном штрихами дождя дверном проеме, нетерпеливо махая нам рукой: скорей, скорей! Она звала нас в домик и, когда мы наконец очутились рядом с ней, закрыла дверь и с облегчением вздохнула.

— Засов,— сказал художник,— ты забыла задвинуть засов.

Сестра стукнула кулаком по засову — и вот мы все трое стоим под кровлей дощатого домика, и с нашей одежды стекает на пол вода.

Я выскользнул из-под плаща Адди, обошел рабочий стол художника и, подойдя к широкому окну, принялся смотреть на море — как в тот раз; мне казалось, что я опять — как в тот раз — увижу в волнах мертвое человеческое тело, тело погибшего летчика, то подгоняемое прибоем к берегу, то затягиваемое течением обратно в морскую пучину, и художник, наверно, догадался, отчего я так пристально гляжу за окно, недаром он улыбнулся и сказал:

— Сегодня просто гроза, просто гроза.

Я довольно часто провожал его до домика и сиживал рядом с ним на его рабочем столе, когда он наблюдал, как зарождаются и умирают волны и облака, как играет над морем всевластный, всепроникающий свет; и в тот раз, когда мы вместе увидали мертвого летчика, тоже так было: он долго держал меня на столе, не в силах отвести глаз от беспомощно качавшегося на волнах тела, настолько послушного ритму зыби, что, казалось, этот ритм вошел в него, заставляя подыматься на гребень волны, безвольно переворачиваться, устремляться к берегу, откатываться назад,— да, мне тогда показалось, что мы бесконечно долго смотрели в окно; но потом мы вдруг сорвались с места, бросились наружу и побежали вытаскивать мертвого летчика на берег.

— Просто гроза,— повторил художник, и я в полутьме заметил, как он улыбнулся. Он вытащил из кармана огромный носовой платок и вытер мне лицо; а я все обыскивал глазами пенистый прибой и, по мнению художника, должно быть, стоял недостаточно спокойно, поэтому он то и дело приказывал мне: — Смирно, да постой же ты хоть минуту смирно, ах, Вит-Вит.— Только он звал меня так. Чем плохое имя? Так вскрикивают кулики-песочники, торопливо, тревожно: «Вит-Вит»,— на большее у них, видно, фантазии не хватает. Может, и художнику тоже не хватило фантазии, не знаю, но так он меня прозвал, и я уже привык к

этому зову, прибегал на него, оглядывался, а когда надо, притихал. Макс Людвиг Нансен вытер мне насухо еще и голову, и шею, и ноги, после чего протянул свой громаднющий платок Хильке, и она тоже принялась обтираться и отжимать свои мокрые длинные волосы, а потом пальцами их расчесывать. С моря налетал суровый, яростный ветер и бесновался за дверью. В воздухе больше не было видно ни одной чайки, даже сторожевые птицы и те попрятались. Море пенилось и сверкало, а я, весь изогнувшись, склонив голову на плечо, смотрел вдаль поверх пенившегося, сверкавшего моря, и море мне казалось небом, а темное небо морем, а когда я взглянул вверх и обернулся, то увидел ее.

На полу возле шкафа молча и неподвижно сидела Ютта, скрестив по-турецки ноги; руки она держала на коленях, и ее худенькие бедра так туго натянули юбку, что казалось, ткань сейчас лопнет. Ютта улыбалась — улыбалась в ответ на смущенную, растерянную улыбку Адди. Странно. Я смотрел то на него, то на нее, удивленно переводя взгляд с худощавой, заостренной, как у борзой собаки, насмешливой Юттиной мордочки на Адди, который стоял столб столбом, ей-богу, чурбан чурбаном и все такое прочее. Таращился на шестнадцатилетнюю девчонку с худой шеей и тощими бедрами, точно это невидаль какая-то! Или он в первый раз видит такие задиристые глаза? Нашел на что смотреть!

На Ютту, которая говорит вам одно, а думает совсем другое. Художник взял ее к себе в дом вместе с меньшим братом Йобстом, отчаянным озорником, взял потому, что они остались одни после смерти родителей, художников, как и сам Нансен, и Ютта всех их там прямо околдовала в Блекенварфе.

В общем, я хотел понять, что это за немая игра в симпатии происходит между Адди и Юттой, и собирался уже что-то сказать, но тут заговорила сестра:

— На, Адди, оботрись, дождь-то холодный.— Она сунула ему в руку платок и требовательно, как делала это всегда, ткнула его локтем: отойди, мол, в сторонку; а он уставился на нее, словно в первый раз видел, и начал послушно вытирать лицо и шею, не говоря ни слова. Как только он взялся за этот огромный носовой платок, Хильке сказала художнику:— Это мой жених Адди, он приехал к нам в гости.

— А это Ютта,— ответил художник, улыбаясь и показывая в угол.— Она живет у нас со своим братом.

Хильке подала Ютте руку, Адди протянул руку художнику, а я подал руку Ютте, потом ей, в свою очередь, подал руку Адди, я спохватился, что забыл подать руку Максу Людвигу Нансену, и поспешил исправить оплошность, а Хильке догадалась о своем упущении и тоже быстро подала руку художнику. Я уже готов был подать руку Хильке, но тут нам помешал Нансен: он прошел между нами, чтобы достать с книжной полки свою трубку.

— Я думаю, дождь скоро кончится,— заявила Хильке.

— Гроза — да, но не дождь,— ответил художник.

— Вот видишь,— обратилась она ко мне,— увязался за нами, теперь пеняй на себя.

— Подумаешь, весь намочился, ну и что,— возразил я и заметил, как мужчины вдруг обменялись над моей головой веселыми, чуть сообщническими взглядами.

Адди предложил художнику сигарету, но тот отказался, объяснив, что предпочитает трубку. Он разжег ее и подошел к окну, за которым бушевал ветер и над морем стояла мгла — вероятно, он опять сумел разглядеть там что-то такое, что было доступно лишь его серым внимательным глазам. Я уже научился определять, когда он погружается взглядом в незримое для меня и обнаруживает движение, которого я не вижу, или процессы и явления, которые мне недоступны, я уже знал

его позу в такие минуты и догадывался: это он совещается со своим Бальтазаром или бранится с ним. Мне было достаточно посмотреть на него, даже не следуя за его взглядом, и я уже понимал: сейчас все его внимание отдано фантастическим существам, которыми его воображение населяло мир: Повелителям дождей, Творцам облаков, Волногонам, Воздушным кормчим, Духам туманов, Верным друзьям мельниц, побережий, садов,— они вставали и являлись перед ним, стоило лишь ему вызвать их взглядом из их скрытой, таинственной жизни.

Попыхивая трубкой, стоял он у окна и упорно всматривался в прибой — сузив глаза, нагнув голову, словно приготовившись к тарану. В эту минуту из полутьмы бесшумно выступила вперед Ютта и, улыбнувшись, обнажила свои крепкие резцы, словно хотела нарочно озадачить Адди, чтобы он подольше смотрел на нее.

Хильке вдруг громко рассмеялась. Она вертела в руке какой-то лист бумаги. Незаметно для художника она вытащила этот лист из-под папки, лежавшей на рабочем столе.

— Что это?— спросил я.

— Иди сюда, покажу.

Она посмотрела на лист и опять рассмеялась.

— Что с тобой?— удивился я.

Она развернула лист на столе и разгладила его.

— Узнаешь? А?— обратилась она ко мне.

— Чайки,—разочарованно протянул я,—чайки, и больше ничего.— Потому что сначала я увидел на рисунке одних только птиц: чайку пикирующую, чайку, сидящую на яйцах, чайку, парящую в воздухе, чайку патрулирующую; но потом я обнаружил, что у каждой чайки на голове полицейская фуражка с эмблемой в виде орла над изогнутым козырьком, а главное: чайки походили на моего отца, они были не длинноклювые, а длиннолицые, с чуть сонным выражением, точь-в-точь участковый инспектор из Ругбюля, а их трехпалые лапки были обуты в крохотные сапоги с невысокими голенищами, совершенно такие, какие носил отец.

— Положи лист в папку,— приказал художник, правда, не очень уверенно, но Хильке не послушалась.

— Подари мне его, а?— принялась клянчить Хильке.— Ну подари, пожалуйста.

— Положи в папку, говорят тебе,— повторил художник.

А Хильке — ноль внимания: взяла и стала сворачивать лист трубочкой. Тогда он просто отнял у нее лист и сунул его в папку.

— Я не могу тебе его подарить, он мне еще нужен.— С этими словами он подтянул к себе папку и поставил на нее картонную коробку со старыми тюбиками из-под красок.

— А как называется этот рисунок?— спросила Хильке.

— Пока что еще не решил,— отозвался художник,— но может быть: «Чайка-узколобка обыкновенная, при исполнении служебных обязанностей», в общем, не знаю.

— Ну и бог с ним,— сказала вдруг Хильке,— а почему бы тебе не нарисовать меня? Ты ведь как-то обещал. Или нет — меня вместе с Адди. Иди сюда, Адди!— Сестра схватила своего нареченного за руку и энергично подтолкнула его к художнику, что, по всей вероятности, должно было означать: он будет позировать вам гораздо охотней, чем другие мужчины.

— Ничего не получится,— заявил художник.

— Почему?— спросила сестра.— Почему не получится?

— Я ошпарил руку,— пояснил Нансен.

— В самом деле ошпарил?

Художник кивнул головой:

— Да, ошпарил, и это надолго.

Гроза бушевала уже над самым мысом, и мне бы следовало теперь, как это заведено в школьных сочинениях, описать сверкание молний, шквальный ветер и все вариации грома; я мог бы дать читателю почувствовать, каким жалким и затерянным выглядел домик, притулившийся у подножия дюн, как стонали и кряхтели дощатые стены под натиском ветра, как дрожали половицы и вылетала замазка из окон, но гроза с моря — событие, у нас такое заурядное...

И не гроза делает погоду в моих воспоминаниях, а заявление сестры, что, мол, этот дом соскучился по метле и хозяйской руке; она разглядела это благодаря вспышкам молний, и ей удалось то, что не удалось бы никому другому: она мигом нашла запропастившуюся половую щетку с безнадежно изогнувшейся щетиной, от долгого праздного стояния на полу; не спросив ни у кого разрешения, она скинула плащ, сдвинула в сторону табуретки и принялась подметать. Оттеснив нас всех к рабочему столу, она перво-наперво замела в угол песок и уж тогда начала уборку от двери. Чтобы двигаться свободней, она поставила табуретки друг на дружку и взялась за стеллажи, привела в порядок все, что было на них разбросано. Потом вычистила заросшую грязью спиртовку. Она двигалась по комнате спокойная, деловито-усердная и не спешила расставить табуретки по местам — это означало бы конец работы; в общем, хозяйственным талантам сестры было явно тесно в стенах дощатой нансеновской хижины.

А Ютта? Ютта сидела, подобрав под себя ноги, на деревянном топчане для спанья, улыбалась, поблескивая крепкими резцами, и не спускала глаз с Адди, который смущенно переходил из угла в угол — куда приказывала Хильке. Он, вероятно, не прочь был бы огрызнуться, и я даже подозреваю, с удовольствием наступил бы на снующую взад-вперед щетку и растоптал ее, но он молчал и послушно исполнял все, чего требовала Хильке.

И еще мне запомнилось, как он вздрогнул, запомнился его испуг в ту минуту, когда снаружи кто-то неожиданно постучал в дверь,— несмотря на грохотание грома мы услышали этот стук и оцепенели. Никто из нас не двинулся с места, мы только переглядывались. Первым пришел в себя художник, он шагнул к двери и отодвинул засов, хотя было бы проще, если бы это сделал Адди, торчавший у самого порога. Едва только петля освободилась, как ветер рванул дверь и прижал ее к наружной стене.

За дверью на сером фоне песчаных дюн, в порывах ветра, трепавших его накидку, в сверкании молний, озарявших мигающим светом его лицо, стоял отец. «Тоже мне, демон дождя,— мелькнула у меня мысль,— истукан неповоротливый, вот и все, стоит, будто к месту прирос, а мы тут гадай, зачем он явился!» Незаметно было, чтобы он собирался войти, он застыл по ту сторону порога, важный, значительный, и, казалось, тешился нашим страхом.

— Зигги!— вдруг произнес он глухо.

— Иду, папа.— И не успел я к нему приблизиться, как он высунул из-под накидки руку, схватил меня за запястье и рванул к себе, за дверь, потом молча повернулся и под проливным дождем поволок меня к дамбе.

Ни слова в упрек. Никаких угроз. Я слышал только его легкое сопение и чувствовал сердитую хватку его руки на моем запястье — так, спотыкаясь, мы перевалили через дюны и двинулись вверх по дамбе, где отлеживался его служебный велосипед. Отец не произнес ни слова, я не осмеливался открыть рот: меня удерживал страх, а в глубине этого страха шевелилось предчувствие наказания, ожидавшего меня, и я знал, что словами тут не поможешь; я сидел, весь сжавшись, на раме, крепко

держась за руль, а он тронул велосипед с места, тяжело оседлал его и несмотря на шквальный боковой ветер, не обращая внимания на дождь и грозу, спустился с дамбы и даже ни разу не слез с седла. Я знал, каких сил и напряжения стоила ему эта дорога. Он пыхтел и кряхтел у меня над головой, с трудом переводя дыхание под буйными порывами ветра. И не произносил ни слова. Лучше бы уж он выругался! Или ударил меня, когда вытащил из домика! Все было бы легче, тогда бы я, может, и со страхом своим сладил. Но отец молчал всю дорогу, он наказывал меня молчанием, которое в свою очередь лишь предвещало ожидавшую меня кару. Так уж у него было заведено: одно предвещало другое, все было наперед расчерчено и предуказано, неожиданностей можно было не опасаться; даже когда ему надлежало принять должностное решение или какую-нибудь меру, он редко приступал к делу без предупреждения: «Внимание, сейчас начну».

Все так же молча спустились мы с дамбы и покатили по кирпичной дорожке к дому; у крыльца он дал мне спрыгнуть, движением указательного пальца велел поставить велосипед в сарай, а когда я вернулся, опять схватил меня за запястье и потащил в дом. На ходу он скинул накидку, по-прежнему не глядя на меня: он словно боялся, что накопившиеся в нем разочарование, гнев и досада могут прорваться преждевременно, затем приказал мне идти вперед и, следуя за мной, поднялся по лестнице в мою комнату. Там уже горел свет.

С тех пор как мой старший брат Клаас умышленно искалечил себя и его увезли, я жил в комнате один, теперь все здесь было мое — и стены и подоконник,— и я был полновластным хозяином раздвижного стола, почти целиком покрытого голубой морской картой, напечатанной на полотне, где я разыгрывал самые отчаянные морские сражения; кроме того, у меня был даже собственный ключ, и я мог запирать свою комнату. Но сейчас в ней горел свет. Он пробивался сквозь дверные щели, и я уже догадался, кто поджидает меня там, за этой закрытой дверью, я увидел сквозь нее свою мать — увидел, как она неподвижно стоит у шкафа, прямая, непреклонная, волосы стянуты на затылке в тугой, строгий узел, губы высокомерно поджаты. Так что когда отец открыл дверь, я хоть и остановился на злополучном пороге комнаты, но встреча с матерью для меня уже не была неожиданностью.

Отец втолкнул меня в комнату. Он выжидательно глядел на Гудрун Йепсен, но она стояла не шевелясь и смотрела на меня словно бы из какой-то дальней дали. Отец ждал долго, очень долго, потом произнес:

— Вот он,— как-то вкрадчиво-осторожно пересек комнату, вопрошающе посмотрел на мать, достал из-под моей кровати трость, снова вопрошающе взглянул на мать, вернулся ко мне и приказал: — Снимай штаны.

Я знал, что он это скажет, но не торопился предупредить его приказание; я скинул штаны, протянул их ему и стал смотреть, как старательно он разглаживает мокрые штанины, как складывает на стол, однако и нагибаться я тоже не торопился, а подождал, пока он прикажет:

— Нагнись!

Только тогда я нагнулся, уперся ладонями в дрожащие бедра и тотчас распрямился — еще прежде, чем последовал первый удар.

Раздосадованный, я бы даже сказал, неприятно пораженный, он все-таки рубанул по мне тростью и как-то просительно взглянул на мать, словно извиняясь за мою строптивость, но мать стояла как каменная. Трость снова взлетела вверх, я нагнулся, напряг свой голый зад, крепко сжал зубы, тоже искоса поглядел на мать и снова, прежде чем последовал удар, выпрямился. А когда отец ударил, я сделал два шага вперед — для разминки, потом слегка помассировал ягодицы, вернулся на прежнее место и наклонился под уже занесенной тростью. На этот раз

я решился принять удар, но не успела трость просвистеть за моей спиной, как гвозди из половиц вонзились мне в подошвы, в подколенки впились рачьи клешни, а по затылку рубанул стальным клювом альбатрос — я не выдержал: упал на колени и жалобно заскулил.

Такого подвоха мать, вероятно, никак от меня не ожидала: сбросив с себя оцепенение, уронив резким движением руки, она взглянула на меня так, словно устала презирать меня, и, уже ничего вокруг не замечая, не интересуясь больше моим наказанием, вышла из комнаты. Отец обескураженно посмотрел ей вслед, он, должно быть, хотел ее удержать и даже пробормотал ей что-то вдогонку, но мать была уже в коридоре, а минуту спустя щелкнул повернутый ею ключ спальни.

Отец пожал плечами и оглядел меня озадаченно и как-то уныло. Такого шанса нельзя было упускать! Продолжая скулить, я улыбнулся ему и даже попытался подмигнуть, как сообщнику после совместно пережитой опасности, но подмигивание у меня явно не получилось, вышла, наверно, жалкая гримаса, потому что отец взглянул на карманные часы, схватил меня — все с тем же скучливым выражением — за рубашку и поволок к столу. Он не кинул, а словно аккуратно припечатал меня к столу. Я попытался приподняться. Он надавил снова. Я опять сделал попытку приподняться. Он дал мне ладонью по шейным позвонкам. Я ударился об стол и опять попытался приподняться. Мой подбородок упирался в полотняную морскую карту с необозримыми синими океанами, где я владычествовал в своих мечтах, разыгрывая великие морские сражения, и побеждал при Лепанто и Трафальгаре, Скагерраке и Скапа-Флоу, и у Фолклендских островов; теперь среди этих вод пригрезившейся мне славы я шел ко дну, как корабль с изодранными парусами.

Я никак не ожидал, что первый же удар обожжет меня нестерпимой болью — ведь за мгновение до того у отца было такое унылое и даже обескураженное лицо,— и все же мне показалось, будто меня хлестнули по ягодицам раскаленным железным прутом, я рванулся всем телом, но отец намертво притиснул меня левой рукой к столу и утопил в море горящей смолы, дикой боли и позорного бессилия, а правая рука его тем временем со свистом подымала и опускала трость, весьма энергично, но, по правде говоря, не слишком размеренно. Теперь я после каждого удара пронзительно и надсадно взвизгивал — уже без слез, а отец ни на минуту не останавливался и прислушивался, не раздадутся ли в коридоре шаги: он ожидал мать — как-никак моим криком он как бы вознаграждал ее за испытанное разочарование.

«Хоть она и уединилась в нашей тихой и прохладной спальне,— размышлял, вероятно, отец,— но ведь не может же она не слышать, как я тут его отделываю, а значит, не может оставаться и равнодушной». И он не переставал вертеть головой, оглядываясь на дверь и прислушиваясь. Мой отец. Вечный исполнитель чужих приказов. Безотказное орудие в чужих руках. Но мать так и не появилась. Не появилась, даже когда у меня вырвался совсем уж иссякающий, сдавленный крик, который должен был бы, по крайней мере, удивить ее своей необычностью. Это, по-видимому, смутило отца: трость просвистела еще раза два-три, но удары были уже машинальные, я обернулся, посмотрел на него, и он тростью же показал мне на кровать.

Я повалился на нее ничком. Отец просунул конец трости мне под подбородок и силой заставил приподнять голову, взглянуть на него. Сквозь пелену слез он показался мне измученным и несчастным. Но словно стремясь опровергнуть это мое впечатление, он спросил, повысив голос:

— Ну, вспомнил, как ты должен вести себя в грозу?

— В грозу я должен сидеть дома,— торопливо ответил я, спеша избавить отца от необходимости повторять вопрос.

Он кивнул, удовлетворенный, и выдернул конец трости у меня из-под подбородка.

— Да, в грозу ты должен сидеть дома,— произнес он,— этого требует твоя мать, и этого же требую я: в грозу — дома!

Затем он вытащил из-под меня одеяло, накрыл меня им и уселся на стул перед моей картой, теперь он ничем не был занят, только напряженно вслушивался, и на его лице застыло выражение беспомощности, ибо сейчас у него не было никакого задания, а без задания он чувствовал себя человеком лишь наполовину. Нельзя сказать, чтобы он вовсе не умел спокойно, без всякого дела сидеть на месте, ему безусловно нравились длинные зимние вечера, когда за отсутствием происшествий он подолгу мог смотреть на огонь в печи, но безусловно ему было куда больше по душе расшибаться в лепешку ради выполнения какого-нибудь четко поставленного, конкретного задания, чтобы ему, например, пришлось по ходу дела придумывать разные вопросы, задавать их, ну и все такое прочее.

Я скулил со всей возможной убедительностью и, кося глазом из-под локтя, наблюдал за отцом. Следы ударов на моем теле горели, одеяло невыносимой тяжестью давило на вздувшуюся кожу, и мне хотелось, чтобы отец поскорее ушел, я не мог дождаться, когда же он оставит меня одного, а он сидел и сидел, мой плач не трогал его, ему это было нипочем. Он даже вдруг поднялся со стула, подошел ко мне и легонько тронул меня за плечо:

— Твой долг: выполнять не раздумывая то, что тебе говорят, вот и все. Понял?

— Да,— ответил я.— Да,— сказал я еще раз, лишь бы он отвязался.

— Чтобы из человека вышел толк, он должен уметь повиноваться,— продолжал отец.

— Да, да, конечно,— подтвердил я поспешно.

— Будь спокоен,— все так же монотонно и рассудительно внушал он мне,— мы добьемся, чтобы из тебя вышел толк. Вышколим.

И потом вдруг спросил:

— А художник, он там работал? — Я понял не сразу, и отец переспросил: — Там, в этом домишке, он там при вас работал? Художник-то?

Я удивленно посмотрел на него и догадался: для отца важно, что я отвечу; оказывается, моя осведомленность имела цену! Я сделал вид, будто силюсь припомнить, или нет, так, вероятно, будет точней: сделал вид, будто боль, которую я вытерпел и еще терплю, помрачила мою память.

— Чаек,— проговорил я наконец,— он показывал нам чаек, и каждая — вылитый ты.

Однако отцу захотелось узнать подробности. Никаких особых подробностей я ему сообщить не мог, но, видимо, оказалось достаточно и того, что он уже узнал. Он сразу преобразился, нерешительности как не бывало, он словно очнулся от сна — откуда что и взялось: он был теперь сама подвижность, само внимание, лицо ожило, и на нем появилось выражение ожесточенности и чего-то еще неприятного; я заметил, как он бросил за окно быстрый взгляд, в котором — так, по крайней мере, запомнилось мне — одновременно были угроза и досада, а затем — этого я не забуду никогда — сел ко мне на кровать и, не спуская с меня пристального, испытующего, цепкого взгляда, произнес раздельно:

— Мы будем работать вместе, Зигги. Ты мне нужен. Ты станешь мне помогать. Если нас будет двое, с нами никто не сможет тягаться — никто, даже он. Ты будешь работать на меня, и я сделаю из тебя человека. Это нужно нам обоим. А теперь вот что: довольно хныкать! Слышишь?

4. День рождения

Все выше, все быстрей, все круче. Все сильней размах. Все ближе к широкой, растрепанной кроне старой яблони, посаженной Фредериксеном, когда он был молод. Из зеленого сумрака листвы качели со свистом падали вниз, натянутые веревки дрожали, кольца скрипели, в лицо мне ударял ветерок, и по напрягшемуся, чтобы не потерять равновесия, телу Ютты проносились узорчатые тени ветвей. Она высоко взлетала, на мгновение застывала в воздухе и низвергалась к земле; я был начеку: подталкивал пролетавшую мимо перекладину, а иной раз Ютту — в бедро или в узенькую попку — вперед и ввысь, к верхушке яблони; Ютта взмывала к небесам, словно выстреленная из катапульты,— широко раздвинув ноги, вся облепленная трепещущим платьем; ветер закидывал назад ее волосы, и от этого ее маленькое насмешливое личико казалось еще худощавей и заостренней. Ей хотелось перевернуться вместе с качелями, мне тоже этого хотелось, я подталкивал качели изо всех сил, но у нас ничего не получалось; не получалось даже, когда она, широко расставив ноги, встала на перекладину: то ли сук был слишком кривой, то ли размах слишком слабый. Это было в саду у художника, в день шестидесятилетия доктора Бусбека. Увидев, что у меня ничего не выходит, Ютта снова села на перекладину и стала тихо раскачиваться взад и вперед, уже без всякого азарта, уставившись на меня насмешливыми глазами, с выражением, которому ее никто не учил, а потом вдруг поймала и зажала меня между своими худыми загорелыми коленями; тут уж я вообще потерял представление обо всем, кроме ее близости. Эту близость я чувствовал каждой своей жилкой, и она, я уверен, тоже почувствовала, что я это чувствовал; я взял себя в руки и замер не двигаясь: что будет дальше? Но дальше ничего не было: Ютта просто поцеловала меня, небрежно и сухо, выпустила из своих ног-клещей, соскользнула с качелей и побежала к дому, а он глядел на нас четырьмястами своих окошек; из одного выглядывала Дитте, держа на протянутой ладони три куска бледно-желтого пирога с корицей — словно собиралась кормить птиц.

Я схватил свою палку и кинулся за Юттой. Чтобы сократить путь, я перепрыгивал через клумбы и грядки, но мы спешили напрасно: не успели Ютта и я подбежать к окну, как из беседки под соломенной крышей выскочил Йобст — нет, даже не выскочил, а выкатился, как шар, и, разумеется, очутился у окна первым; он схватил с ладони у Дитте куски пирога, два засунул в карман, а третий заглотнул тут же, не сходя с места, и даже зажмурился от удовольствия. Видно было, что он не собирается делиться с нами своей добычей, мы уже знали: раз попало к нему в руки — пиши пропало; поэтому Дитте даже и не пробовала усовестить его, а кивком пригласила нас войти в опрятную и необозримую гостиную Блекенварфа.

Мне очень хотелось настигнуть Ютту в темной прихожей, но она прошла вперед и, не ответив на мой оклик, скрылась за дверью, а я искал ее, плутая на ощупь между кадками, вениками и сундуками. Дверь она оставила открытой, но даже не обернулась. Тишина насторожила меня, и к порогу я подкрался как можно бесшумней; мне показалось, что в гостиной никого нет, и я еще удивился: где же они тогда справляют день рождения.

Я нерешительно вошел в гостиную, окинул ее взглядом и испугался, как испугался бы на моем месте каждый: за узким, бесконечно длинным праздничным столом торжественно и степенно восседала седоголовая, самая разнообразная морская живность, молча пила кофе и в глубочайшем самосозерцании молча поглощала песочные пирожные, ореховые

торты и бледно-желтый пирог с корицей. В украшенных затейливой резьбой старинных креслах Блекенварфа восседали чопорные омары, крабы, маленькие рачки; их твердые, покрытые панцирями конечности то и дело сухо пощелкивали и поскрипывали; звякали чашки, опускаемые на стол окостенелой клешней омара; кое-кто оглядел меня выпученными глазами, право же, ни дать ни взять — монументальные, невозмутимо равнодушные доисторические божки! В то же время это молчаливое сборище морской фауны страшно напоминало знакомых мне людей: двое, например, смахивали на стариков Хольмсенов из Хольмсенварфа; мне показалось, что я узнал пастора Треплина и учителя Плённиса, потом — собственного отца и даже Хильке с ее Адди; а рядом с нежнейшей семгой, чрезвычайно похожей на доктора Бусбека, сидела в образе морского окуня, с отсутствующим лицом и стянутыми в тугой узел волосами, моя мать. И кто-то еще, верткий и проворный, мелькал то тут, то там в гостиной, как резвая рыба-фонарщик,— это был художник.

— Мелюзгу за маленький столик! — вскричал он при нашем появлении, но Дитте опередила его: она уже тащила меня к маленькому столу и мягко усадила на старомодный стул, на котором мне поневоле пришлось держаться неподвижно и прямо, потому что иначе я соскользнул бы с его покатого сиденья. Взяв у меня из рук утыканную кнопками палку, Дитте положила ее на подоконник. Она велела Ютте налить мне молока и поставила перед нами круглое блюдо с печеньями и кусками пирога.

— Ну-ка, давайте, ребятки,— ласково пригласила она и, потрепав меня по затылку, вернулась к фантастическому сборищу за большим столом, опустилась на стул — и сразу же превратилась в плоскую камбалу.

Но я не смотрел на печенья, не смотрел на молоко. Я неотрывно смотрел на сидевшую против меня Ютту — ее внимание стало мне вдруг так необходимо, что я мысленно приказал ей взглянуть на меня, однако она не послушалась; тогда я под столом ногой дотронулся до ее ноги, раз и еще раз, пока она не поджала обе ноги — без тени упрека, но с застывшим, ничего не выражающим лицом. Я не знал, о чем она думает, вспоминает, грезит, я лишь смотрел в ее темные, ничего не видевшие глаза, в которых блестели отсветы заходящего солнца, смотрел, как ее крепкие зубы вонзаются в печенье, как они откусывают кусок, а взгляд ее скользит мимо меня по гостиной, где сейчас словно бы сгустилась тишина многих лет, одиночество всех минувших зим.

Юттино платье в красно-белую клетку, ее худенькие руки, пряди волос, бледные губы, которым в любой момент ничего не стоило отречься от любого сказанного слова,— как живо встает все это в моей памяти, как мало усилий требуется мне, чтобы снова позвать ее за тот столик напротив меня, как мгновенно охватывает меня тогдашнее удивление: неужели она могла так быстро забыть и про качели, и про то, как я их раскачивал! Такая уж она уродилась, Ютта: еще секунду назад она была с тобой, думала о том же, что и ты, интересовалась тем же самым — и вдруг ушла в себя, и ты для нее больше не существуешь. Такая уж она уродилась — и все же я никак не ожидал, что она вдруг встанет и, жуя на ходу пирог с корицей, направится через всю гостиную к тому месту, где сидел за большим столом Адди Сковронек, и зашепчет ему что-то на ухо, а он тоже ответит ей шепотом, удивленно, хотя и без малейшего протеста, и потом она, пригнувшись, проскользнет к двери и даже не удостоит меня на прощание кивком головы.

Я смотрел на молчаливое сборище, которое по-прежнему продолжало набивать себе рот до отказа, глотать, чавкать, булькать и многозначительно прокашливаться за бесконечным столом, терявшимся где-то

далеко, в тумане — может быть, даже в тумане береговых отмелей и заливчиков. Я узнал среди гостей своего деда Пер-Арне Шесселя, ненасытного обжору и краеведа; неусыпного смотрителя дамбы Бульт-Иоганна; и еще Андерсена, девяностодвухлетнего капитана из Глюзерупа, которому пришлось изображать капитана, по крайней мере, в пятидесяти пяти научно-популярных фильмах, потому что у него была как раз такая, как надо, равномерно-серебристая борода, а водянистая пустота глаз легко сходила за тоску по дальним морям и странам. Но если бы я сейчас вздумал перечислять всех гостей, сидевших за столом, прошла бы зима и лед на Эльбе растаял бы; поэтому упомяну еще только Хильду Изенбюттель и бывшего птичьего караульщика, орнитолога Кольшмидта — они запомнились мне больше всех других чешуйчатых и круглогубых гостей; заметил я также, что какая-то фосфоресцирующая креветка с толстыми икрами беспрестанно делает мне знаки, которые могли означать лишь одно: если хочешь торта, иди сюда.

Я не хотел торта. Я ждал, когда начнется сам день рождения; но по обществу не видно было, чтоб оно собиралось когда-либо кончать с едой; никто не вздыхал, не стонал и не отказывался от беспрерывно подносимых пирожных и тортов, а меньше всех — мой дед-краевед: он возвышался за столом в облике мудрого пупырчатого омара и не спеша, методично набивал себе желудок целыми блюдами печенья, явно призывая этим кинокапитана следовать его примеру. У нас, когда едят, так уж едят — хотя бы потому, что, как говаривал мой дед, за едой время проходит незаметней; в этом они, казалось, были согласны все до единого. Даже треска в мундире, в которой нетрудно было распознать моего отца, и та поглощала огромные, размером с сапожную колодку, кусищи ореховых и медовых тортов явно лишь для того, чтобы убыстрить течение времени.

Но я не хочу больше обыгрывать эти частности, которые, того и гляди, разрастутся в самостоятельную историю, не собираюсь и давать объяснений царившему за столом молчанию; нет, я хочу — более того, мне не терпится, и это вполне естественно — поднять художника с его высокого резного кресла и подвести прямо к доктору Бусбеку, сидевшему во главе стола: как-никак, а доктору в тот день стукнуло шестьдесят лет.

По-моему, Бусбек, когда художник подошел к нему, страшно оробел и стушевался, спрятался в свою раковину, как улитка при внезапном прикосновении, он растерянно повернул голову и оглянулся, точно ища у себя за спиной другого Бусбека, в надежде, что тому будет легче перенести внимание, в центре которого он вдруг оказался. Художник по-дружески, доверительно склонился к нему и, ободряюще похлопав по спине, произнес:

— Дорогой Тео, дорогие друзья!

Под бременем этого обращения дорогой Тео весь сгорбился, а дорогие друзья, ухмыляясь, подняли глаза, смутив маленького человечка еще больше — если только это вообще было возможно.

— Я не большой охотник до слов,— заявил художник и, являя собой исключение из правил, доказал истинность своего утверждения, ибо ограничился тем, что напомнил Бусбеку всего лишь один вечер в Кёльне, тридцать лет тому назад. Если я верно понял, Дитте тогда была больна и лежала хоть и не в ледяной, но все-таки в убогой комнатушке убогого пансиона; может быть, там даже была натянута веревка, на которой висело белье, а лампочку собственноручно вывернула хозяйка. В дополнение картины — долг за комнату, не оплачивающуюся много месяцев. В общем, Дитте лежала в постели, и ей, судя по всему, было трудно дышать, а художник, безуспешно пытавшийся устроиться учителем в художественно-промышленную школу, как раз мыл взятую напрокат посуду, когда какой-то доктор Бусбек, с трудом взобравшийся

к ним наверх по неосвещенной деревянной лестнице, спросил — на удивление застенчиво,— не позволят ли ему что-нибудь посмотреть. Они не заставили себя упрашивать. Как я понял, его усадили в уголке у окна и дали для просмотра несколько папок; держался он настолько неприметно — тише воды, ниже травы,— что, как я понял, они почти уже забыли про своего гостя и даже растерялись, когда он вдруг подошел к покрытому клеенкой столу, держа в руке десять отобранных им листов. Не произнеся ни слова, он выложил на стол четыреста золотых марок и только спросил, можно ли ему будет прийти еще. Вопрос высказан был в форме просьбы, и художник не посмел, как он выразился, отказать посетителю.

Значит, выходит, что такое тоже бывает — да, да! И чтобы доставить удовольствие себе и Бусбеку, художник весело вспоминал тот мартовский день в Кёльне — он даже не забыл числа; торжественно уснащая речь причастиями, он поблагодарил доктора за тридцатилетнюю дружбу, на протяжении которой Бусбек, случалось, по словам художника, бывал даже чересчур снисходителен к своему другу.

— И вот сейчас ты здесь у нас, в Блекенварфе, Тео. Мы никогда не забудем, что ты для нас... в Кёльне, и в Люцерне, и в Амстердаме... Вспоминая нашу совместную борьбу против великого Шальберга... Поэтому мы сегодня, в день твоего шестидесятилетия... Здесь, в этом кругу, выражая наше единодушное... Да, Тео.

Кошка, нежившаяся у меня на коленях, испуганно вскочила и спрыгнула на пол, потому что все, кто сидел за необозримым праздничным столом, разом вдруг поднялись и выпили за здоровье доктора Бусбека, трепетно поднося к губам рюмки с прозрачной водкой и опрокидывая их так, словно им приходилось преодолевать отвращение к этому мерзкому напитку. Затем они шумно поставили рюмки на стол и задвигали стульями, церемонно водворяясь на свои места, а доктор Бусбек остался стоять — трогательно беспомощный в своем смущении, он как бы извинялся за то, что по его вине обществу пришлось подняться с мест. Он встал позади своего стула. Взглянул на свои руки, машинально гладившие резную спинку. И высказал все, о чем, наверно, часто думал,— свою благодарность художнику и Дитте, а также всем остальным. Высказал он и сожаление, что ему приходится так долго быть им в тягость. Он дал понять, что рассматривает свою нынешнюю жизнь лишь как нечто преходящее и что благородство совершенного в прошлом, на его взгляд, ничуть не выше благородства совершаемого в настоящем. По-моему, он даже отважился сказать что-то такое о своих надеждах на то, что настанет день, когда ему будет позволено заняться вновь своим делом, вернуться туда, где он сможет быть полезен. Во время своей речи он ни разу не взглянул на собрание — лишь иногда, повернув шею и склонив набок голову, робко взглядывал на Дитте, и каждый раз встречал на ее лице уже готовую для него улыбку. Затем он снова выразил свою благодарность. Благодарность за кров, за приют, за домашний очаг, за то наконец, что он удостоился, да, удостоился дружбы человека, который там, за стенами этого дома (он произнес это очень просто: «там, за стенами этого дома», и, может быть, ему самому даже в голову не пришло иносказательное значение его слов), считается одним из величайших художников, умеющих извлекать драматизм из световых эффектов, и все такое прочее.

Под конец он отвесил глубокий поклон Дитте и всему фантастическому сборищу и, схватив рюмку, которую пододвинул ему художник, залпом ее опрокинул. После этого он, как видно, почувствовал облегчение, потому что стал оживленно кивать то одному, то другому из сидевших за столом и без всякого раздражения засовывал обратно свои накрахмаленные манжеты, то и дело вылезавшие из рукавов пиджака. Он

попросил, чтобы ему налили еще водки. Раза два-три отер платком вспотевший лоб. И, в общем, пришел в хорошее настроение.

А почему бы и нет? Он убедился, как мы к нему привязаны. Но когда Макс Людвиг Нансен объявил: «А теперь пошли смотреть подарки!» — доктор Бусбек поднял свое бледное, невзрачное лицо и не тронулся с места, тогда двое гостей не долго думая подняли его со стула и повели впереди всех в мастерскую, где художник или Дитте (а скорей всего — оба вместе) выделили ему стол для подарков. Не успели взрослые подняться с мест, как я соскользнул со стула, первым выскочил в темную прихожую и первым подбежал к двери мастерской, но тут меня осадил сердитый взгляд отца, и у стола я — увы! — оказался уже не первым, а всего лишь четвертым. Что лежало на столе? Что могли подарить обыватели, проживающие между Ругбюлем и Глюзерупом, человеку, к их среде не принадлежавшему, но заброшенному к ним событиями, в которых глюзерупцы мало что смыслили? Помню булавку для галстука, помню бутылку водки, фруктовый торт, колпак для кофейника, носки, книгу (Пер-Арне Шессель. В авторском издании), коробку сальных свеч.. Помню кисет с табаком. Еще помню шарф и, конечно,— бутылку русской водки, потому что она была от нас. Но прежде всего я помню картину «Паруса, тающие на свету».

Взглянув на доктора Бусбека, я увидел, как его озарил свет этой картины, как он к ней подошел — вытянув вперед руку, нерешительно, по-моему, даже недоверчиво; я увидел, как он слегка дотронулся до полотна кончиками пальцев, отпрянул, зажмурился и резко поднял плечи, словно его вдруг охватил озноб. На полотне было небо, слившееся с морем. Бледно-лимонная желтизна будто убеждала светлую синеву уступить, сдаться. Парящие паруса создавали ощущение дали, ощущение только что разыгравшегося и канувшего в прошлое события, они жертвовали даже частью своей белизны, чтобы тем вернее влиться в задуманное художником цветовое единство. Паруса растворялись, таяли, так что ничего, кроме света, уже не оставалось; этот свет лился с полотна, словно ликующий гимн. Доктор Бусбек опять протянул руку вперед и приблизился к картине.

— Как видишь, Тео,— сказал художник,— тут кое-что надо еще доделать.

— Нет,— сказал Бусбек,— здесь все закончено.

— Белый, по-моему, резковат,— возразил художник.

И тогда Тео Бусбек произнес:

— Это слишком ценный подарок, Макс, я не могу его принять.

Но художник только подмигнул:

— Ничего, когда будет готово — примешь!

Все стояли вокруг стола с подарками, оценивая, сравнивая, обсуждая, подсчитывая стоимость вещей в марках и пфеннигах, стараясь определить, кто что принес. чтобы было о чем потолковать на обратном пути. Прищелкивая языком, они брали в руки бутылки, засовывали шутки ради кулаки в колпак-грелку, примеряли булавку для галстука, а Пер-Арне Шессель раскрыл свою книгу и подносил ее каждому под нос, сопровождая это давно осточертевшими нам краеведческими пояснениями. Все ахали, делали вид, что восхищаются, и рассыпались в похвалах. Все кивали с притворным восторгом, присвистывали сквозь зубы. Все щупали и разглядывали, а кинокапитан Андерсен, нацелившись своей коричневой узловатой палкой в полотно, спросил:

— Это в Ламанше, что ли? В Ламанше оно всегда так вот.

— Нет, это у нас, в Глюзерупе,— заявил Бульт-Иоганн,— на моем участке.

И художник молча похлопал их по плечу, как бы подтверждая правоту обоих.

Положив подарки на место и продолжая разговаривать, гости столпились вокруг картины, но я уже их не слушал, потому что по деревянному мостику без перил, мимо живой изгороди пробежала Ютта — босиком; она несла в руках что-то черное; а в следующую минуту я увидел в окно, как она прошмыгнула со своей черной ношей в беседку. Я выбрался из круга зрителей, глубокомысленно кивавших головами перед картиной, и, захватив в гостиной свою палку, выпрыгнул через окно в сад. За мной последовал Адди — он тоже выпрыгнул из окна и прямо по грядкам побежал к беседке; вероятно, и он заметил Ютту, а может быть, она ему даже подала какой-нибудь знак; как бы то ни было, он промчался мимо и, обгоняя, пихнул меня в бок.

На темном, неровном земляном полу беседки лежал аккордеон Адди. За ним, широко расставив ноги, стояла, с выражением насмешливого ожидания, Ютта, готовая к любым объяснениям и отпору. Но Адди не произнес ни слова, не возмутился, он только растерянно смотрел на нее и качал головой.

— Сыграй,— сказала она.

Адди не двинулся с места.

— Ну, сыграй же,— повторила она,— сегодня праздник.

Адди пожал плечами.

— Тихонечко,— попросила Ютта.

— Совсем тихонько,— поддержал я,— только для нас.

Но Адди отрицательно покачал головой.

— Раньше у меня тоже был аккордеон,— сообщила Ютта,— даже два, и я тоже умела играть.

— Тогда сыграй ты,— попросил я.

Но она кивком указала на Адди и ответила:

— Его инструмент, пусть он и играет.

— Твоя мать рассердится,— обратился ко мне Адди,— она не хочет, чтоб я играл.

— Зато другие хотят,— возразил я.

И тут мы оба разом обернулись ко входу: оттуда на нас внезапно упала чья-то тень; на пороге стоял Йобст, толстый, ухмыляющийся, словно он нас в чем-то уличил. Он поглядел на аккордеон, на нас, снова на аккордеон, потом вошел своей слоновьей походкой в беседку, вынул аккордеон из футляра, расправил ремни; и Адди не выдержал — всунул обе руки в кожаные петли, а мы, положив друг другу руки на пояс, гуськом, с бойкими плясовыми выкриками вышли за ним из-под соломенной крыши беседки.

Ютта упиралась ладонями в бедра Адди, я — в узкие, костлявые бедра Ютты, а на мои бедра тепло надавливали мясистые пальцы Йобста. Так, покачиваясь, пританцовывая, изгибаясь, мы промаршировали по садовой дорожке до мастерской; ветер обвевал нам лица, Адди играл, и аккордеон пел Блекенварфу самые прекрасные песни далеких и безоблачных Гавайских островов.

Изнутри дома нам застучали по стеклам, закивали, и мы коротко-хвостой танцующей змейкой ритмично произвивались мимо мастерской, потом — мимо многочисленных окон гостиной; мы подымались и спускались по почернелым дорожкам сада, приглашая, призывая гостей присоединиться к нам; и я помню, что первой включилась в нашу извивающуюся цепочку Хильке, а вслед за ней не удержались и пастор Треплин, и Хольмсен, и птичий караульщик Кольшмидт, и Дитте; и именно Дитте, проходя мимо, схватила моего отца за руку и положила ее себе на пояс. И неожиданно в этой приплясывавшей веренице родился свой внутренний ритм, какая-то неодолимая сила, захватывавшая и увлекавшая всех, кто оказывался на пути, цепочка разом выросла, образовала несколько извивов. Теперь уже с нами были и художник, и смот-

ритель дамбы Бульт-Йоганн, и Хильда Изенбюттель; недоставало лишь моей матери, но я знал, что она ни за что не присоединится к нам: ее суровая тень в глубине мастерской всем своим видом выражала высокомерный отказ — отказ Гудрун Йепсен, урожденной Шессель. А ведь она могла взять пример хотя бы с капитана Андерсена, который в свои девяносто два года, по крайней мере, попытался пройтись в хвосте нашего извивавшегося дракона по люнебургскому полю, по этому сказочно-красивому песку! Фотогеничный старец втиснулся между Адди и Юттой, кряхтя наклонился вперед, и мне почудилось, будто я слышу треск лопающихся, пересохших коробочек мака, а из штанин старика сыплется наземь маковый дождь.

Помню еще, что, когда мы подошли к хлопавшей на ветру калитке, мы увидели Окко Бродерсена, однорукого почтаря. Его велосипед был прислонен снаружи, к столбу. Он держал в руке какую-то бумагу и размахивал ею над головой в знак того, что находится тут по праву.

— Давай с нами! — крикнула ему Ютта.

— Давай с нами! — поддержал я.

Мы окружили его со всех сторон и потащили за собой вместе с его набитой до отказа почтовой сумкой. Мимо ржаво-красного хлева, мимо пруда, мимо сарая, но обогнув мастерскую, я оглянулся и увидел, что наша танцующая цепочка распалась, верней, распадается, потому что все устали, хотя и развеселились—да, все-таки развеселились; это была бы вынуждена признать даже моя мать. Впрочем, и расстроившись, наша цепочка следовала за Адди, а он вошел в сад и стал там наяривать на берлинский манер. Ах, какой он нам выдал Берлин, какой Берлин, какой Берлин! Кое-кто из гостей, покосившись на ненадежное небо над Северным морем, не выдержал и кинулся вытаскивать из дома столы и стулья. Но сиявшие в хмурых тучах просветы и синие разводы между белыми лоскутьями быстрых облаков успокоили нас. Мы перенесли празднество в сад.

А теперь попробуйте сами вообразить эту — с бухты-барахты — переноску мебели: как ее подымают и через открытые окна боком, наискось пропихивают наружу,— вообще всю эту веселую суматоху переселения на свежий воздух под звуки аккордеона Адди, подбадривавшего компанию переливами «La paloma» и «Rolling Home»[1]. В общем, займитесь-ка этим сами, а я пойду отыскивать свою палку, утыканную канцелярскими кнопками. Черт, где же я ее бросил? Помню, что это было еще до того, как мы пустились в пляс. Но где? В гостиной? В мастерской? Я исходил все дорожки, осмотрел каждый кустик. Я искал во дворе и возле сарая. Палки не было ни на одном из подоконников. Не плавала она и в пруду.

— Вы не видали моей палки? — спросил я двоих взрослых, стоявших у пруда.

Однако отец и Макс Людвиг Нансен промолчали. Они ничего не ответили, даже не покачали головой, но в молчании их было что-то тревожное, и, хотя я продолжал поиски, меня вдруг охватило подозрение; я двинулся обратно к пруду, где почтенная чета белых уток обучала четырех утят плавать в строю. Укрывшись за несколькими наваленными друг на друга тополиными стволами, я подобрался к двум друзьям из Глюзерупа, вполз через лазейку в пустое пространство между бревнами и, выглянув в почти прямую, горизонтальную щелочку, увидел художника и отца — верней, их отрезанные примерно до бедер нижние половины; увидел настолько близко, что мог бы при желании даже угадать, что у них в карманах. Подымая и опуская глаза, я делал доступную моему обозрению часть их тела то длинней, то короче, но лиц, к со-

[1] Мексиканская песенка «Голубка» и американская «Спеша домой».

жалению, видеть не мог — лица их оставались недосягаемы для моего взгляда.

Прежде всего я заметил, что художник держит в руке письмо, судя по красным полоскам — срочное; он, очевидно, уже прочел его; повелительно и негодующе, коротким энергичным движением он протянул письмо отцу, и я понял, что тот, оказавшись минуту тому назад перед выбором — то ли пересказать содержание письма художнику, то ли попросить самого художника прочесть его вслух,— решился, как всегда, на то, что было спокойней для него лично. Он попросил Нансена прочитать письмо, а теперь невозмутимо взял листок обратно в свои покрытые рыжими волосками руки и тщательно сложил.

— Вы все там сошли с ума, Йенс,— воскликнул художник,— на это вы не осмелитесь.

От меня не ускользнуло, что художник говорит о некоем множестве лиц, уже без обиняков причисляя к ним и отца.

— Вы не имеете на это права,— заявил художник.

— Это не я писал, Макс,— ответил отец,— и я ни на что не собираюсь осмеливаться.— Он как-то неопределенно и беспомощно развел руками, и было видно, что жест этот непроизволен.

— Разумеется,— сказал художник,— ты не собираешься осмеливаться, твое дело лишь обеспечить им возможность осмелиться!

— А что мне остается? — сухо спросил отец.

— Я работал над этими картинами два года. Два года! — вскричал художник.— Да ты понимаешь, что это значит? Вы запретили мне писать на продажу. Но этого вам показалось мало. Что вы еще придумали? Не станете же вы конфисковать вещи, которых не видала ни одна живая душа, картины, которые видела только Дитте, ну, может быть, еще Тео.

— Но ты же прочел письмо,— возразил отец.

— Да,— ответил художник,— прочел.

— Значит, тебе известно,— продолжал отец,— что приказано конфисковать все картины, написанные тобой за последние два года. Завтра я должен сдать их запакованными в отделение в Хузуме.

Они замолчали; сквозь свою наблюдательную щелочку я увидел, как из двери дома вышли две штанины, точь-в-точь две печные трубы, и услышал чей-то голос:

— Мы вас ищем, где вы?

— Сейчас, сейчас вернемся,— отозвались художник и отец.

Это удовлетворило печные трубы, и они циркулем прошествовали в дом, а через некоторое время я услыхал голос отца:

— Может быть, Макс, они возвратят тебе эти картины? Палата их просмотрит и вернет тебе.

Когда мой отец, участковый инспектор из Ругбюля, задавал подобный вопрос или высказывал предположение о возможности чего-либо подобного, это звучало даже естественно и походило на правду, ни у кого и сомнения не возникало в искренности его слов. Но художник все еще не мог прийти в себя и ответил не сразу.

— Йенс,— заговорил он наконец после паузы, и в тоне его были горечь и снисходительность,— боже мой, Йенс, когда ты поймешь, что они просто боятся, что именно страх внушает им всю эту дичь: запрещение писать, конфискацию картин? Пришлют назад? Должно быть, в погребальной урне. Нынче художественная критика взяла себе на службу коробок со спичками, вот до чего мы дожили, Йенс!

Отец выдержал атаку художника не смущаясь, больше того, своей манерой держаться он дал Максу почувствовать всю неуместность промедления в данном случае, и потому я не удивился, услышав, как отец произнес:

— Распоряжение пришло из Берлина, этого достаточно, Макс. И ты сам прочел письмо. Я бы только попросил тебя присутствовать при конфискации картин.

— Ты собираешься наложить на них арест? — спросил художник.

— Мы увидим, какие картины должны быть сданы,— ответил отец сухо и официально.— Я все перепишу, так что их можно будет отправить завтра же.

— Вы сами не ведаете, что творите! — воскликнул художник.

— Я только выполняю свой долг,— вырвалось у отца.

Я вдруг увидел руки художника, его умелые, сильные руки, они медленно согнулись в локтях перед его животом и неожиданно рванулись вперед, я увидел, как пальцы сначала растопырились, а потом сжались в кулаки, словно он на что-то решился. Отец, наоборот, держал руки по швам, точней, они просто висели у него по швам, покорно и вяло, во всяком случае, не бросались в глаза — всего-навсего два послушных, исполнительных инструмента.

— Пошли, Макс? — спросил отец. Художник не двинулся с места.— Надо же показать им, что я выполнил свой долг,— проговорил отец.

— Это вам не поможет,— взорвался художник.— Это еще никому не помогало. Забирайте все, чего вы боитесь. Конфискуйте, режьте, жгите — то, что уже достигнуто, останется.

— Ты не имеешь права говорить так со мной,— заявил отец.

— С тобой,— возразил художник,— с тобой я имею право говорить еще и не так. Если б я тебя тогда не вытащил, тебя бы сожрали рыбы.

— Что ж, мне всю жизнь быть перед тобой в долгу? — спросил отец.

— Слушай, Йенс,— сказал художник,— бывают случаи, когда нельзя прятаться в кусты. Я тогда не прятался, я тебя вытащил. И сейчас я тоже не собираюсь прятаться в кустах. Предупреждаю тебя заранее: я буду писать дальше. Я буду писать невидимые картины. И в них будет столько света, что вы ничего не разглядите. Да, невидимые.

Отец поднял руку к поясу, как будто хотел что-то срезать с ремня.

— Тебе известно, Макс,— произнес он предостерегающе,— в чем состоит мой служебный долг?

— О, да,— ответил художник,— еще бы, конечно, известно. Так вот, чтоб ты знал: меня тошнит, когда вы заводите свою пластинку насчет долга. Когда вы заговариваете о долге, всем остальным надо остерегаться.

Отец шагнул к художнику, заложил оба больших пальца под поясной ремень и весь напружинился.

— Про рисунки с чайками я тебя не спрашиваю. Поставим точку — мы квиты. Но с сегодняшнего дня, Макс,— берегись! Единственное, что я тебе могу посоветовать,— берегись.

— А я другого и не ожидал,— ответил художник.

Отец помедлил.

— Ну так что же, Макс, пошли? — проговорил он наконец.

— Как хочешь,— отозвался художник,— пошли.— Но прежде чем уйти, он нерешительно добавил: — Только никому не показывай вида, Йенс, особенно Тео.

Участковый инспектор из Ругбюля промолчал, и я предположил, что просьба художника принята.

Один за другим прошли они мимо моей наблюдательной щелочки — по пустому двору, где полновластно хозяйничал ветер; я мог бы до них дотронуться, напугать или задеть их, но я этого не сделал, а, весь скрючившись, глядел, как они по мере удаления превращаются из половинок в целых людей. А когда они исчезли в доме, я как следует осмотрел, измерил и опробовал свой новый тайничок и нашел, что в нем хватило

бы места даже для двоих — скажем, для нас с Юттой. Потом через лаз между бревнами я выбрался наружу и пошел к пруду; тут я в два счета устроил уткам настоящий Скагеррак: впереди и позади птиц вставали пышные фонтаны воды; снаряды у меня были самых различных калибров. Все заколыхалось, закачалось, заволновалось, запрыгало, и уткам, чтобы избежать обстрела, все время приходилось менять свои строевые порядки, но прежде чем вернуться в сад, я преподал им еще понятие о заградительном огне, при этом один из двух утят-новобранцев, забыв, что такое выдержка в бою, выскочил из строя и, хлопая крыльями, понесся по воде как раз в тот квадрат, куда падали мои снаряды. Не рыпался бы — не стал бы и жертвой прямого попадания!

В общем, я поторопился вернуться в сад; Адди все еще играл на своем аккордеоне, он играл песню про девушку, которая наперекор всем штормам по всем морям доплывет до своего далекого возлюбленного, потому что она и он едины и неразделимы, как ветер и море, и все такое прочее. Под мелодию песни на просторной лужайке танцевали, то есть нет, не танцевали, а старательно молотили землю ногами, и Хильда Изенбюттель — усердней всех, а с ней учитель Плённис, и еще старики Хольмсены, все они топали, неуклюже кружа, упрямо и глубокомысленно толкаясь друг возле друга, нагуливая аппетит к предстоящему ужину. Я не стал задумываться над тем, кто из них больше заботится о пользе, которую движение принесет их здоровью; не возбудили у меня любопытства и те, что отдыхали на скамейках и стульях в беспокойной тени шумевших под ветром деревьев,— это была все та же окостенелая, хотя и настороженная морская живность; к тому же я сразу обнаружил в глубине мастерской тех двоих, а только они одни интересовали меня. Они стояли там, за окном, наискосок, друг за другом, у этого — подняты плечи, у того — голова опущена на грудь. Я приник к стеклу. В мастерской, кроме них, не было никого. Они стояли перед столом с подарками доктору Бусбеку. Я приложил ладони ребрами к стеклу по обе стороны лица, стекло перестало отсвечивать, и я разглядел, что они стоят перед картиной, на которой паруса растворялись в солнечном свете; у них шел какой-то спор из-за этой картины, и видно было, что никто не хочет уступать; указательный палец отца требовательно тыкал в полотно, а художник заслонял картину своим телом; один приказывал, другой не желал выполнять приказ, один угрожал, другой отвечал на угрозу негодованием; и все это — в напряженном молчании, беззвучно, будто в аквариуме; я видел: они сражались, пытаясь переубедить один другого; внезапно художник взял в руки тюбик с краской, выдавил из него червячка и, пригнувшись к картине, что-то в ней исправил, улучшил: сначала он размазал краску кончиком пальца, потом ребром и наконец, как он это часто делал,— бугром большого пальца. А отец в это время стоял у него за спиной неподвижно и угрожающе, точно бакен в опасном месте реки. Художник распрямился и вытер пальцы. В его лице я уловил выражение настороженного презрения. Он подмигнул отцу, и тот, поразмыслив, утвердительно кивнул в ответ; как видно, он не нашелся, что возразить, во всяком случае — пока. Воспользовавшись этим, художник оттеснил отца в дальний угол мастерской, скрытый от моих глаз. Чем у них кончился спор, я так и не узнал. Обернувшись, я поискал глазами доктора Бусбека и увидел, что он стоит под руку с Дитте под старой яблоней, которая заштриховала их тенями своих ветвей.

Я раздумывал, не влезть ли мне через открытое окно в гостиную, чтобы оттуда попытаться проникнуть в мастерскую, но тут Адди внезапно оборвал песню на середине и рухнул наземь, как это с ним уже случилось однажды; и как тогда, он опять сучил и дергал ногами, судорожно выгибал тело и скрипел зубами. Я бросился к нему, но Хильке меня

опередила и, как тогда, в дюнах, встала возле него на колени; прежде всего она освободила Адди от тяжести аккордеона, который, распустив свои меха, обхватил грудь Адди наподобие спасательного пояса.

— Идите отсюда,— просила она,— уходите.

Но гости уже устремились со всех сторон, протискивались поближе, толпились вокруг — ошарашенные, ничего не понимающие и, наверно, перепуганные, если судить по тому, что они ничего не говорили, даже не толкались, а только недоуменно таращились друг на друга поверх простертого на земле Адди,— лицо у него было бледно, а губы крепко сжаты.

Только один человек протиснулся внутрь круга — доктор Бусбек. Он не стал ждать. Ему не нужно было ни о чем спрашивать. Тихо, но настойчиво он попросил дать ему дорогу, опустился на колени напротив Хильке и, вынув свой платок, вытер покрытое потом лицо Адди; тут Адди разомкнул веки и дружелюбно, но — это было самое удивительное — бессмысленно огляделся вокруг.

— Дайте ему поесть,— посоветовал кинокапитан. Его никто не поддержал.

— Теперь уже лучше,— сказала Хильке,— сейчас все пройдет.

Адди с трудом оперся на локти, встал — с помощью доктора Бусбека — на ноги и растерянно оглядел окружавших его людей. Тут Хильке быстро сориентировалась: она взяла Адди за руку и, улыбаясь, подвела сначала к качелям, а затем по дорожке, огибавшей лужайку снаружи,— к беседке. Я увидел, как Адди поднял возле беседки мою палку и показал ее Хильке. «Это же палка Зигги»,— наверно, заметил он. Я вскочил, высоко взмахнул руками и заорал:

— Я здесь, я здесь!

И Адди, через весь сад, кинул палку к качелям, а я поспешил ее подобрать.

Усевшись под качелями и развернув свой голубой носовой платок, я кнопками прикрепил его к палке и с этим развевающимся голубым знаменем зашагал назад, к средоточию празднества — мимо скамеек, столов и стульев, где кучками сидели гости, куря, перешептываясь и глубокомысленно сопя. Я высоко нес свое знамя, и оно реяло надо мной, развеваемое ветром, но, к сожалению, в Ругбюле не было никого, кто мог бы понять, что это значит, и сделать выводы.

Тут я вынужден остановиться, ибо в тот момент, когда я дошел до этого места, то есть когда я поднял ввысь свое голубое знамя, в дверь моей камеры постучали, очень робко, очень осторожно, но все-таки постучали, причем достаточно явственно, чтобы этим стуком напрочь вырвать меня из моих воспоминаний. Я закрыл тетрадку и раздраженно повернулся к двери. За дверным глазком что-то шевелилось. Мелькнуло белое, потом коричневое. Я нехотя встал; дверь невыносимо медленно начала приотворяться; она открылась, как в детективном фильме,— ровно, с каким-то зловещим скрипом, во всяком случае, не сразу,— и это не предвещало ничего хорошего. Не хватало только развевающихся гардин и книги, в которой потоком воздуха стало бы переворачивать страницы! Но мне не хотелось надолго расставаться с днем рождения в Блекенварфе, и я вежливо пригласил:

— Входи, сквозняк ведь.

Он быстро вошел и отступил в сторону, и я увидел за его спиной, в коридоре, Карла Йосвига, которому он и предоставил запереть дверь снаружи. В нем чувствовалась какая-то неуверенность, уголки рта вздрагивали; сейчас, когда я вспоминаю, мне кажется, он был здорово похож на неопытного дрессировщика, впервые осмелившегося войти в клетку к тигру. Переминаясь с ноги на ногу, юный психолог улыбнулся мне — несмело, но с симпатией. Легкий поклон, который он со-

бирался сделать, у него не получился, бедняга стоял слишком близко к двери. Он был старше меня года на три, самое большее — лет на пять, тонкокостый, очень бледный. Мне понравилось, как он был одет,— спортивно и несколько небрежно. Я не мог понять, почему его левый кулак был судорожно сжат,— может, он держал в нем наготове, выражаясь фигурально, кусок сахара для меня, а может быть, и оружие. Поскольку я его не приглашал сюда, я молча смотрел на него, вложив во взгляд, которым я его смерил, все свое раздраженное удивление; этим взглядом я внушал ему: давай покороче.

— Господин Йепсен? — любезно спросил он, на что я, чуть поколебавшись, довольно официально ответил:

— Так точно.

Ответ этот, видимо, ничуть не ободрил его. Тогда, оторвав задницу от двери, он подал мне свою слабенькую руку.

— Макенрот,— представился он.— Вольфганг Макенрот, рад с вами встретиться.— Он дружески улыбался, снял пальто и положил его на стол. Взяв меня — с ничем не оправданной фамильярностью — за локоть, он уверенно посмотрел мне в глаза и жестом попросил разрешения присесть на мой стул. Я с сожалением покачал головой: стула отдать не могу.

— К вашему сведению,— заявил я,— я работаю. Пишу штрафное сочинение.

Это ему было известно. Юный психолог знал уже о том, что мне пришло в голову, и не скупился на похвалы моей затее; он даже извинился, что помешал мне, но сослался на специальное разрешение, выданное ему в виде исключения директором Химпелем.

— Окажите мне услугу, господин Йепсен,— сказал он,— будьте так любезны. Вы можете мне помочь.

Я пожал плечами.

— Отваливай, друг,— буркнул я как можно вежливее,— мне же ведь никто не помогает.— И, чтоб показать, что рассиживаться мне с ним некогда, я опустился на единственный в камере стул и принялся играть карманным зеркальцем. По печке, по раковине, по окну забегали зайчики от электрической лампочки; я направил яркий луч на глазок, за которым дежурил Йосвиг, а в следующий миг изукрасил трепетными световыми гирляндами потолок и бесшумно разрезал на узкие полосы дверь камеры. Юный психолог не уходил. Тогда я отлакировал электрическим блеском луча свои башмаки — словом, вел себя так, как если бы был один. Не обращая внимания на гостя, я опять открыл свою тетрадку и перечитал последние страницы, чтоб возвратиться в сад Блекенварфа. Но Вольфганг Макенрот не уходил. Он рассматривал меня внимательно и любовно, словно свое только что приобретенное имущество или, точней, словно свое еще не обжитое имущество, к которому надо приглядеться. Я против воли чувствовал, что этот юный исследователь начинает вызывать во мне недопустимую симпатию,— наверно, из-за его манеры держаться: он не важничал, и поэтому на всякий случай я спросил, не ошибся ли он дверью.

— Вам,— сказал он,— вам, господин Йепсен, и мне, нам бы следовало заключить союз.— И он посвятил меня в свои дела. Юному психологу предстояло писать дипломную работу. Затея эта, которую он назвал своим добровольным штрафным сочинением, должна способствовать его научной карьере. Ловко свернув по сигарете для нас обоих и потерев рукой шею, он предложил мне стать объектом его дипломного сочинения. Я войду в его дипломный труд и, как он выразился, буду всесторонне исследован. Иначе говоря, меня собирались научно похоронить по первому разряду.

— Придется переворошить,— заявил он мне с симпатичной самоиронией,— всю вашу историю со всеми ее взлетами и падениями, ну и все такое прочее.— Название у него уже было заготовлено: «Искусство и преступность. На примере дела Зигги Й.» А чтоб дипломная работа не только удалась, но и нашла подобающий — он так и выразился: «Подобающий» — отклик в научном мире, необходимо мое содействие. За это он, подмигнув, предложил мне остроумное вознаграждение: он думает назвать «Йепсенофобией» тот специфический, весьма редко встречающийся вид страха, который, как он полагает, был подлинным мотивом моих единственных в своем роде поступков. а это сулит мне возможность в один прекрасный день появиться на страницах какой-нибудь психологической энциклопедии.

После того как юный ученый, с особого разрешения директора Химпеля, чистосердечно изложил мне, таким образом, все свои планы, он, продолжая стоять около стола, положил руку мне на плечо и, склонив ко мне лицо, изобразил на нем улыбку, может быть, и уместную между двумя сообщниками, но между психологом и заключенным подростком — едва ли. Улыбка эта сбила меня с толку, и я не смог его выставить — тем более что он говорил все так же шепотом и шепотом объяснял, как он представляет себе основную идею своей дипломной работы: он намеревался выступить в мою защиту, доказать мою невиновность и добиться оправдания — добиться несмотря на то, что я и в самом деле похищал картины и создал из них свою частную галерею на старой мельнице; он собирался представить мои поступки как действия, совершенные из положительных побуждений; он обещал изобразить мою историю как случай, где нет состава преступления в собственном смысле слова, и на этом основании потребовать пересмотра дела и моего освобождения. Тихий, благонамеренный фанатизм, с каким все это излагалось, придавал обещаниям моего гостя видимость правдоподобия. Вынужден признать, что из тысячи двухсот психологов, превращавших порой наш остров в какой-то научно-цирковой манеж, Вольфганг Макенрот был единственным, к кому я готов был отнестись пусть и с весьма осторожным, но все-таки — доверием.

Настораживало меня в нем чуточку лишь то, что он чересчур много обо мне знал. Он прочел все мое дело, он был в курсе. Сперва я решился было помочь ему в его штрафном сочинении и тем самым заручиться его поддержкой для написания своего, особенно если бы он согласился заботиться о моем куреве, но услыхав, что он поддерживает чуть ли не дружеские отношения с директором Химпелем, я от этой мысли отказался. Я присмотрелся к нему внимательней: бледное личико, тонкая шея, нежные руки; теперь я критически вслушивался в интонации его голоса; и хотя, несмотря на затянувшийся визит, гость не переставал мне нравиться, а напротив, вызывал все большую симпатию, я все-таки сказал ему, что его предложение для меня слишком неожиданно. Что я сожалею, но вынужден попросить времени на размышление.

— А посещать вас,— проговорил он,— посещать вас изредка вы мне позволите?

Я позволил. Чтобы наконец избавиться от него, я утвердительно кивнул головой и в ответ на его предложение, что он будет время от времени направлять мне сюда — он так и выразился: «Направлять сюда» — отдельные, избранные, в первую очередь, вероятно, критические разделы своей дипломной работы. Он весьма вежливо поблагодарил меня за согласие. Торопливо, как бы боясь, что я возьму свои слова назад, он надел пальто.

— Господин Йепсен,— сказал он,— вы не разочаруетесь во мне.— И, дружески пожав мне руку, он направился к двери, постучал в нее, и незримый для меня Карл Йосвиг отпер замок и выпустил юного психо-

лога на волю. Я прислушался к удалявшимся шагам: мой гость явно торопился уйти.

И вот я снова сижу за изрезанным столом и пытаюсь вернуться на празднование дня рождения; держась за цепь воспоминаний, я силюсь спуститься ощупью в глубь времен — силюсь, находясь здесь, в камере, одновременно быть и там, в Блекенварфе, в саду у художника, среди разряженной морской живности, дожидавшейся ужина. Я мог бы описать, как начался этот ужин, мог бы — пожалуй, в честь доктора Бусбека — набросать охвативший все небо закат, это патетическое единоборство кармина и охры, в конце концов можно было бы описать и борьбу воздушных потоков на высоте примерно восьми тысяч метров, занимавшую нас тогда в течение нескольких минут; но от этого ничего не изменится, факт остается фактом: я ушел с праздника первым. И ушел не по доброй воле.

Где это случилось? Где она поймала меня? У качелей, в беседке, на деревянном мостике? Помню только, что я держал голубое знамя в руках, и я чего-то искал; ветер несколько успокоился. Внезапно передо мною выросла моя мать. Суровая, явно сильно рассерженная, она хотела что-то сказать — и не могла, вместо слов у нее вырвался короткий стон, она оскалила свои желтоватые зубы, как это часто случалось с ней, когда она выходила из себя или чувствовала себя оскорбленной или разочарованной. Схватив меня за руку и крепко прижав ее к бедру, она резко повернулась, откинула голову назад — насколько это позволял тугой, скрепленный сеткой и шпильками узел волос, напоминавший вздувшийся на голове толстый блестящий желвак,— и потащила меня из сада, с праздника. В ее походке чувствовался страх, почти паника: плоская, высокая, она бежала впереди меня, таща меня по лужайке, по двору, мимо мастерской и все не говоря ни слова; не обратила она внимания и на кинокапитана Андерсена, не придумавшего ничего уместней, как крикнуть нам вдогонку:

— Скоро подадут ужинать!

Таща меня за собой, она распахнула незапертую, хлопавшую на ветру деревянную калитку и устремилась вдоль длинного, обсаженного ольхой въезда на дамбу; мы вскарабкались наверх, пригибаясь к земле, не оглядываясь на Блекенварф, а потом чуть не сломя голову, спотыкаясь, ринулись по другую сторону дамбы вниз, к морю.

Вероятно, издали Гудрун Йепсен походила на несчастную мать, решившуюся в порыве отчаяния утопиться вместе со своим сыном. Я уже стал подумывать, что мне делать, обязывает ли меня сыновний долг следовать за матерью, когда она кинется в волны прибоя, и должен ли я утонуть вместе с нею возле старого, разбитого буя, но тут она вдруг повернула, и мы помчались вдоль подножия дамбы, уже невидимые для тех, кто бы вздумал глядеть нам вслед из Блекенварфа. Она выпустила мою руку и велела идти вперед, а я, не оборачиваясь, спросил, почему мы так, ни с того ни с сего, убежали с праздника. Она не ответила. Тогда я спросил: а отец тоже ушел или остался; но она опять ничего не ответила, только хмыкнула. Так она мне ничего и не объяснила. Мы молча дошли до покрытого красной шапкой автоматического маяка; тут она наконец сказала:

— Живо, ну, живей, живей, мне надо принять успокоительное и лечь в постель.— С этими словами она обогнала меня и больше уже не смотрела, поспеваю я за ней или нет.

Но я не отставал, я все время бежал сзади, вприпрыжку поднялся вместе с нею на крыльцо и вместе с нею вошел в кухню, где она сразу потянулась к блестящему, аккуратному строю коробок с рисом, мукой, саго, манной и перловой крупой, наполненных чем угодно, только не тем, о чем оповещали надписи, обведенные золотыми рамочками. Перевернув

одну из коробок и вытряхнув на стол ее содержимое, она выудила из кучи стеклянных пузырьков, трубочек, металлических коробочек крохотный бумажный кулечек, высыпала находившийся в нем порошок в стакан с водой и, опустившись на стул, выпила с закрытыми глазами. Обеспокоенный, но покорный ее воле, я послушно стоял рядом и рассматривал ее, словно сейчас только впервые увидел: острый подбородок, светло-рыжие ресницы, ноздри и искривленный рот; обратиться к ней я не смел. Мать уперлась руками в края сиденья. Корпус ее напрягся, и она выпрямилась. На секунду задержала дыхание. Я спросил, помог ли ей порошок, и поспешил добавить: можно ли мне вернуться в Блекенварф, ведь все-таки день рождения, но она ничего не ответила, и я поинтересовался, зачем мы так быстро бежали под дамбой. Тогда, посмотрев на меня своими узкими глазами, она встала и велела мне следовать за ней.

Мы пошли наверх, мимо моей комнаты, поднялись на чердак и открыли дверь чердачной светелки, в которой жил Адди. Там стоял его картонный чемодан. На подоконнике блестели бритвенные принадлежности. Тут же лежал свитер. Под скамейкой, дожидаясь хорошей погоды, стояли новые парусиновые туфли. На комоде разместились фуражка с козырьком, шарф, стопка носовых платков, а на постельной подушке— книга «Мы брали Нарвик».

— Упакуй все это,— приказала мать и, так как я не двинулся с места, повторила: — Упакуй все в чемодан.— Ей пришлось приказать еще раз, чтобы я уложил вещи Адди в его картонный чемодан, и, когда под ее зорким взглядом я все это выполнил, она тихо произнесла: — Смотри не забудь чего-нибудь, пусть забирает все, все.— Она протянула мне дешевый, как видно, еще ни разу не опробованный фотоаппарат.— Положи его между носками,— сказала она. Галстук она сложила сама и сунула под верхние рубашки. Мы складывали, сгибали, утрамбовывали, запихивали, пока в светелке не осталось ничего, напоминавшего об Адди, если не считать чемодана. Тогда Гудрун Йепсен подняла этот чемодан и вынесла вон, и всякий, кто взглянул бы на нее в эту минуту, заметил бы, что руки у нее словно оцепенели от отвращения. О чем я тогда подумал? Первой моей мыслью было, что она хочет отвести Адди комнату получше, вообразил даже, что он станет жить вместе со мной. Но мы спустились вниз, в прихожую, и там, у двери в отцовский кабинет, она выпустила чемодан из рук, придвинула его ногой к стене и похлопала одной ладонью о другую, словно стряхивала с них грязь.

— Он уезжает? — полюбопытствовал я.

— Да, уезжает,— ответила она уже спокойно.— Здесь ему делать нечего. Я с ним говорила.

— Но почему,— недоумевал я,— почему он уезжает?

— Ты этого не поймешь,— отрезала мать и взглянула в окно на равнину, тянувшуюся к Блекенварфу.— Нам в семье больных не нужно,— добавила она вдруг, не двигаясь с места и не повышая тона.

— Хильке тоже уезжает? — спросил я.

— Там будет видно,— ответила мать.— Скоро мы узнаем, какие узы,— она буквально так и сказала: «Узы»,— окажутся сильней.

Я смотрел в ее суровое, красноватое лицо, понимая уже, что для меня праздник кончился, что вернуться в Блекенварф она мне ни в коем случае не разрешит; и потому, когда она дала мне ломтик копченой колбасы и велела идти спать, я покорно кивнул и отправился к себе. Я затемнил окно, разделся и уложил свою одежду на стуле так, как меня учили — сначала аккуратно расправленные брюки, потом свернутый конвертиком свитер, потом тщательно сложенную верхнюю рубашку, на нее — не менее тщательно сложенную нижнюю,— завтра утром я буду надевать это все в обратном порядке. Я прислушался: в доме стояла мертвая тишина.

5. Тайники

Когда я проснулся, уже светало. А проснулся я оттого, что в мое окно кто-то стучал: тук-тук, так-так, все настойчивей, все нетерпеливей. Сначала я просто лежал и прислушивался к дребезжанию стекла: наверно, крапивники. Но вдруг в окно ударило барабанной дробью дождя, нет, не дождя — песчаного вихря. Раз, другой. Песчинки бились о стекло изо всей силы. Я сел в постели и уставился на окно: стекло не лопалось несмотря на всю ярость ударов; потом по нему что-то защелкало, что — я не видел, только услышал звук, а в следующий миг песок взвихрился столбом, и этот песчаный столб обрушился на стекло с шумом и треском, я выскочил из постели, подбежал к окну, но на улице было тихо, ни дождя, ни ветра. Брезжил рассвет. Ни вдали, ни около дома я никакого движения не заметил, зато на переднем плане, во дворе что-то быстро мелькнуло, в сарае, между козлами и щербатой деревянной колодой; над колодой чья-то рука взметнулась вверх, словно звала на помощь. Я не сразу сообразил, что ведь это Клаас, мой брат, я поначалу даже не узнал его: он стоял там, внизу — в форме, с рукой на белой перевязи. Вот так сюрприз! Кому пришло бы в голову, что он явится так нежданно-негаданно, да еще в эдакую рань. С тех пор как Клаас сам себя искалечил, мы знали только, что он находится на излечении в тюремном госпитале в Гамбурге, однако навещать его нам было запрещено. Дома имя его не упоминалось, и две открытки, полученные от него из госпиталя, остались, разумеется, без ответа.

Клаас вышел из сарая, поманил меня кивком головы и отступил назад, в сарай, а я метнулся к постели, потом к двери, прислушался, потом опять к постели, надел рубашку, брюки, но прежде чем выйти в коридор, я подал Клаасу знак из окна. В коридоре было тихо. Они еще спали. Спали в своих длинных шершавых рубахах. Спали под толстой периной, на серых жестких домотканых простынях, а над их сонными головами с двух противоположных стен глядели в упор друг на друга портреты Теодора Шторма и Леттов-Форбека, и оба — писатель из Хузума и генерал — казалось, боялись отвести в сторону исполненный пристального недоверия взгляд, которым они денно и нощно сверлили друг друга. Крадучись вдоль стены, я прошмыгнул мимо спальни родителей и боком спустился по лестнице. Каким холодным показался мне ключ от двери! Медленно поворачивая его, я преодолел сопротивление пружины; ключ мне удалось повернуть совсем беззвучно, но дверь отскочила со скрежетом, и я испугался: сейчас наверху появится отец и — начнется; однако в доме было тихо. Я выскользнул наружу. Осторожно прикрыв дверь, я помчался через двор к сараю; да, это и в самом деле был Клаас — светлоглазый, круглолицый, с короткими слипшимися светлыми волосами. Он сидел на корточках, а его перевязанная рука лежала на деревянной колоде, мундир был у горла расстегнут. Брат весь сжался от страха, и страх этот не только делал лишними все расспросы, он сам рассказывал обо всем: о побеге из тюремного госпиталя, о кружном пути в обход патрулей и контрольных пунктов, о ночных поездах и нелегкой дороге к родительскому дому, вместо Клааса говорил его страх.

Он не поздоровался, вообще не проронил ни слова, просто схватил меня за рубашку, сгреб и притянул к себе, вниз к колоде, откуда видно было окно спальни — точнее, он, не открывая глаз, глядел на дом, а я тем временем всматривался в его усталое, до отупения измученное лицо. Он, очевидно, боялся, что в доме услышали шум, обнаружили, что меня нет в постели, и теперь уже прилипли к окну, ища меня во дворе; но ни одна занавеска не шелохнулась, ни одна тень не легла на стекла; брат крепче надавил мне на плечи, заставляя сесть на землю, и сам, вздох-

нув, опустился рядом — широко раскинув ноги и опершись спиной о стену сарая. Его губы дрожали, он так устал, что все время поеживался от холода. На подбородке у него поблескивали рыжеватые волосинки щетины. «Где же его фуражка?» — подумал я и, не обнаружив ее, представил себе, как он ее потерял: спрыгнул, наверно, ночью с товарняка на полном ходу или перемахнул через канаву. Я осторожно, на коленках, подобрался к нему вплотную и стал глядеть на него, нос к носу, пока он не открыл глаза и не проговорил:

— Ты должен спрятать меня, малыш.

Я помог ему привстать, он крепко уцепился за меня, покачнулся, ноги его подкашивались, он чуть не упал, но превозмог себя.

— У тебя наверняка есть какое-нибудь укромное местечко.— Он попытался улыбнуться.— Надежный тайник, а?

— Да,— ответил я, и тут он стал слушаться меня, словно это я был старшим братом, согласился, чтобы я вышел из сарая удостовериться, все ли в порядке. Больше того: он смотрел на меня, стараясь угадать заранее каждую мою мысль, чтобы сделать или повторить все, что я приказывал ему или делал сам. Я, пригибаясь, побежал к моей ветхой повозке. Он тоже побежал, пригибаясь, к повозке. Я перескочил через кирпичную дорожку и скатился вниз по откосу; он тоже перескочил через кирпичную дорожку и скатился вниз по откосу. И так до самого шлюза. До самого шлюза.

— Давай через луг,— приказал я,— в камыши!

— В камыши,— повторил он,— хорошо, давай.

Он не спрашивал, куда мы идем и далеко ли, он следовал за мной, не проявляя ни любопытства, ни нетерпения, а я, соединив вытянутые руки, прокладывал, как бы носом корабля, путь в камышовом море, я держал курс на старый мельничный пруд и полуразвалившуюся бескрылую мельницу. Болотистая почва пружинила под нашими ногами. Иногда травянистый войлок не выдерживал, нога проваливалась и коричневая, настоянная на торфе вода булькала в ямках от наших следов. Мы вспугивали диких уток. Камыши глядели на нас тысячью живых глаз, и стебли с шумом распрямлялись, смыкаясь за нами. А дикие утки, немного попетляв, снова садились на свои гнезда где-то за нашей спиной. В этом зеленом сумраке у меня возникло чувство, будто мы движемся по дну моря, сквозь безвольное колыхание водорослей, вперед, сквозь обманчивое безмолвие, таящее в себе неведомые опасности. Но вот камышовые заросли поредели, перед нами блеснул мельничный пруд, а за ним, на ржавом поворотном круге, возникла мельница.

— Туда? — спросил брат.

Я кивнул, огляделся по сторонам и перелез через деревянную изгородь, а там — бегом по мощеной дорожке, вверх, вверх — к мельнице.

Клаасу — я так думаю — моя мельница, вероятно, показалась просто темной, внезапно выросшей на его пути громадиной — только и всего; но ведь ему и не нужно было видеть в ней что-то большее, он всецело доверился мне и лишь торопился поспеть за мной, задыхаясь, прижимая раненую руку к телу, глядя себе под ноги.

Я рывком отворил дверь, пропустил его вперед и закрыл дверь за собой. Мы молча стояли рядом, на лестнице, и от темных мельничных стен на нас веяло холодом. Мы вслушивались, не раздастся ли наверху шум, но ничего, кроме замирающей стрекотни катера за дамбой, не услышали; даже не скользнула, прошелестев крыльями, летучая мышь, хотя обычно, стоило только открыть дверь, как в воздухе уже раздавался шорох их крыльев. Брат тронул меня за руку и спросил:

— Здесь?

— Наверху,— ответил я,— там у меня каморка.— И я повел его по лестнице в помещение, где когда-то мололи зерно; там я поставил стре-

мянку, спрятанную за старыми ларями для муки, и мы полезли наверх, протиснувшись через люк, втащили стремянку за собой, поставили ее еще раз и очутились в каморке почти под самым куполом крыши; я буду называть эту каморку моим тайником.

Клаас оттеснил меня в сторону и вошел первым; он сразу же увидел мое ложе из камыша и мешков у окна, но он не опустился на него и даже не присел на ящик из-под апельсинов, хотя подъем выжал из него последние силы; вместо этого он с улыбкой удивления уставился на собранные мной картинки, провел рукой по своим слипшимся волосам и потер глаза, но количество картинок от этого не уменьшилось и жанр их не изменился. Тематика была в основном кавалерийская. Вскоре после шестидесятилетия доктора Бусбека я начал вырезать из календарей, журналов и книг изображения кавалеристов; сперва я заклеивал ими только щели, а позже облепил все стены тайника: с одной из них прямо на зрителя скакали наполеоновские кирасиры, на другой стене император Карл V гарцевал по полю битвы под Мюльбергом, тут на горячем арабском скакуне красовался в татарском одеянии князь Юсупов, там во весь опор на белой андалузской лошади мчалась в вечерних сумерках королева Изабелла Бурбонская. Кого только здесь не было: драгуны, цирковые наездники, охотники, рыцари, и у каждого — своя посадка, и каждый мог теперь основательно изучить наездническое искусство остальных, а кто хотел, мог бы услышать даже стук копыт и конское ржание.

— Что это у тебя тут такое? — спросил брат.

— Выставка,— объяснил я,— я открыл выставку.

Клаас понимающе кивнул и даже улыбнулся, но какой-то болезненной улыбкой; потом дотащился до подстилки и повалился на нее, а я сел у его изголовья и загляделся на свои картинки; наконец я посмотрел на Клааса: он лежал, закрыв глаза, и, казалось, прислушивался к чему-то такому, что продолжало преследовать его и здесь, не давая покоя. Я видел: все тело его напряжено, мускулы не расслабились, они не отдыхают; чувствовал: каждая жилка в нем настороже, ему наверняка хотелось бы превратиться в невидимку, затаиться, чтобы лучше приготовиться к решающему прыжку,— потому-то он и подогнул под себя руку в своей неуклюжей гипсовой повязке. Я положил ладонь ему на грудь. Он вздрогнул всем телом. Я вытер ему пот со лба. Он испуганно вскочил. Только когда я протянул ему раскуренную сигарету, он немного успокоился и улегся с ногами на мою подстилку из камыша и мешков, которая для него была чуть коротковата.

— Ну, как тебе мой тайник? — спросил я.

Он посмотрел на меня долгим взглядом и проговорил:

— Если ты проболтаешься — я погиб. Никто ничего не должен знать, особенно дома. А тайник неплохой. Ты молодчина, малыш.

— Про него ни одна живая душа не знает,— заверил я его.

— Это хорошо,— заметил брат,— ни одна живая душа не должна знать, что я здесь.

— А отец? — спросил я.— Отцу, по-моему, надо сказать, он тебе поможет.

И тогда брат произнес очень медленно, почти с угрозой:

— Если ты скажешь ему хоть слово, я тебя убью. Убью! Понимаешь?

Он посмотрел на меня своими светлыми узкими глазами, как бы ожидая чего-то, потом вдруг схватил меня, бросил на пол возле своего ложа и прижал так, что не вздохнуть, навалился всей тяжестью своего страха; я понял, чего он ждет от меня, и пообещал ему сделать так, как он хочет. Он успокоился и, отпустив меня, приказал вынуть кусок картона из выбитого окна.

А потом, сдвинув головы, почти касаясь друг друга щеками, мы всматривались в залитую утренним солнцем равнину, прочесывали и прощупывали ее взглядом до самого дальнего изгиба дамбы, вплоть до автоматического маяка, накрытого красной шапкой.

Автомобиль мы увидели одновременно. Он катил от Хузумского шоссе в нашу сторону, и тысяча солнц взрывалась на его ветровом стекле. Это была темно-зеленая машина, медленно двигавшаяся вдоль собственного отражения в канавах. Внезапно она свернула на кирпичную дорожку к Ругбюлю и еще медленней, чуть ли не останавливаясь, поползла за взъерошенные живые изгороди Хольмсенварфа, неожиданно для меня вынырнула из них снова и бесшумно покатила дальше к указателю «Полицейский участок Ругбюля». Тут она затормозила. Ветровое стекло приспустилось, наружу высунулись голова и плечо, обтянутое блестящей кожей.

В безотчетном смятении брат схватил меня за руку и крепко ее сжал, потому что дверцы машины распахнулись и оттуда вышло четверо в кожаных пальто. Не сговариваясь, словно отрепетировав все заранее, они двинулись с разных сторон к нашему дому — известные приемчики! — и проворно окружили его своим не очень-то густым войском, четверо мужчин в одинаковых пальто, в одинаковых шляпах, с одинаково засунутыми в карманы руками. По-моему, они здорово поднаторели в этом — развертываться цепью и незаметно, бесшумно маневрировать,— а один из них даже запросто перемахнул через садовую изгородь.

Теперь я понимаю, почему Клаас, не взглянув на меня, но не переставая сжимать мою руку, внезапно сказал:

— Сыпь отсюда, малыш, ну, в темпе, домой, домой, живо!

Теперь я понимаю, почему он не дал мне времени на расспросы, а только настойчиво и повелительно подтолкнул меня к люку:

— Живо! — Больше он не сказал ничего; лишь когда я уже был внизу, под лестницей, он прокричал вдогонку: — Поесть — когда вернешься, принеси чего-нибудь поесть!

Я всегда привык во всем слушаться Клааса и, скатившись со стремянки, спрятал ее, как он велел, за мучными ларями и, как он велел, полетел к пруду, пробрался через камышовый заслон, домчался до шлюза и дальше, пригнувшись, побежал вдоль откоса. У своей ветхой повозки я наконец выпрямился и принял беззаботный вид: теперь моя самовольная отлучка из дома стала недоказуемой. Неторопливым шагом — шалтай-болтай, руки в карманах — я направился к машине, все еще стоявшей под указателем, обошел ее кругом, сунул нос в кабину шофера, любопытствуя насчет максимальной скорости по спидометру, и нажал разик на клаксон. Это не осталось без внимания: из дома тут же выскочил невысокий коренастый парень в кожаном пальто и схватил меня за шиворот. Кто я такой, видите ли. И чего я тут потерял в эдакую рань — все ему нужно было знать. Я не стал тянуть резину, назвал себя, показал на окно моей спальни и заявил:

— Это наш дом.

Но такой ответ не удовлетворил его, он мне не поверил; держа меня за воротник рубашки, коренастый повел меня в отцовский кабинет.

Там сидели они все. Трое мужчин в кожаных пальто, а перед ними в брюках и нижней рубахе, с перекрученными на плечах подтяжками, еще не бритый, немытый и нечесаный, в общем: перед каменными силуэтами затянутых в кожу людей сидел растерянный, по-видимому, еще не вполне проснувшийся участковый инспектор Ругбюля, похожий на немощного девяностопятилетнего старца. Когда они спросили, правда ли, что я его сын и здесь ли я живу, он долго всматривался в меня: казалось, ему и в самом деле стоило большого труда меня опознать; однако на повторный вопрос он, слава богу, кивнул утвердительно, хоть

слабо, но все-таки утвердительно, так что держать за воротник меня перестали. Плотный коротышка отпустил меня, встал перед отцом, заложил руки за спину и начал раскачиваться, то приподнимаясь на носках своих ботинок с толстыми резиновыми подошвами, то опускаясь на каблуки: вверх-вниз, вверх-вниз. Его выпученные глаза прищурились и вперились в изречение, висевшее в рамочке над письменным столом отца: «Рано оседлаешь — везде побываешь». Никто меня не выпроваживал, и я с жадным любопытством оглядел отцовский кабинет — ведь мне было запрещено входить в это святилище,—однако ничего интересного я здесь не обнаружил. Отец сидел по-прежнему сонный, выражая всем своим видом преданную покорность и святое неведение: мол, ни сном ни духом; руки его покоились на коленях, ладонями вниз, спина приросла к стулу, подбородок был вздернут, рот полуоткрыт. В общем, по тому, как он сидел, я сразу догадался, что голова у него работает на полной скорости, хоть он вроде бы и не смотрит, а только так, косит уголком глаза на коренастого коротышку; а тот с оскорбительной неторопливостью разглядывал фотографии, облепившие всю стену над письменным столом.

О чем рассказывали фотографии? О Глюзерупе, о тесной и темной лавчонке, где некий Петер-Пауль Йепсен торговал свежей морской рыбой; они сообщали, что у рыбного торговца Йепсена было пятеро детей, из коих один — тощий парнишка, глядевший в фотообъектив всегда с одним и тем же выражением недоверия и оцепенелости,— был поразительно похож на участкового инспектора Ругбюля. В фотографиях развертывалась вся пеленочно-ползунково-погремушечная эпопея второго поколения Йепсенов; фигурировал здесь и глюзерупский детский хор в самый, так сказать, момент выпечки песни — с навеки разинутыми ртами; далее фотографии представляли Йенса Оле Йепсена в виде первоклассника, державшего в руках большой остроконечный пакет с подарками, затем его же в качестве конфирманта и левого защитника глюзерупской футбольной команды. Овальная фотография оповещала мир о военной карьере Йепсена — молодой артиллерист благоговейно, будто перед алтарем, преклонял колени перед легкой гаубицей; тот же артиллерист был запечатлен в Галиции у рождественской елки, на нем была шинель, и вместе с другими артиллеристами он пел песню о святой вифлеемской ночи. Тот же Йенс Оле Йепсен, слушатель полицейской школы, лежал на боку, опершись на локоть, перед усатой спорткомандой своих однокашников, а на заднем плане угрожающе высились кирпичные гамбургские дома-казармы. Затем на сцене появлялась некая Гудрун Шессель, чьи фотоизображения уведомляли о пристрастии оной девицы к белым платьям и белым чулкам и свидетельствовали об ужасающей длине ее светло-рыжих кос, ниспадавших ниже спины; кроме того, фотографии заверяли, что Гудрун Шессель умеет читать: на каждом снимке она держала в руке книгу. Потом в один прекрасный день судьба свела Йенса Оле Йепсена с Гудрун Шессель, и этот факт документально подтверждался снимком свадебной церемонии: вокруг молодых стояли с поднятыми бокалами гости, все навытяжку с вытаращенными глазами, в какой-то столбнячной одеревенелости — тост по команде, как водится. Далее фотографии информировали о свадебном путешествии новобрачных в Берлин, с поездке из Бингена в Кёльн на пароходе по Рейну, и, наконец, еще один снимок удостоверял, что у молодой пары родилось трое детей: Хильке и Клааса можно было узнать сразу, а безволосым монстром в высокой коляске, очевидно, был я.

Коренастый парень в кожаном пальто не спеша разглядывал фотографии одну за другой, а отец сидел, не меняя позы, все так же покорно и безучастно; он не шевельнулся, даже когда коренастый взял служебную книгу и забегал глазами по последним записям, внесенным туда

размашистым отцовским почерком. Остальные — три неподвижных темных силуэта — создавали фон для этой сцены. Они, наверно, уже заранее обо всем договорились. Один из них курил, не выпуская сигареты изо рта. Я забился в угол и ждал, что будет дальше, но тут вдруг в кабинете бесшумно возникла моя мать; коротко кивнув мне, она схватила меня и потащила в кухню, где на маленьком столике уже стоял завтрак: густая овсяная каша с сахаром и ломоть хлеба с повидлом из ревеня.

— Ешь,— произнесла она беззвучно; и я стал есть под ее взглядом, но заметил, что она внимательно прислушивается к тому, что происходит в кабинете.

— Они что-то ищут,— предположил я.

— Сиди спокойно и ешь,— ответила мать.

— Они из Хузума, это точно,— добавил я.

— Тебя не спрашивают,— отрезала она и, закрыв кухонную дверь, налила себе чашку чая и выпила его стоя.

— Они увезут отца с собой, в этой машине? — спросил я.

Она пожала плечами.

— Не знаю,— проговорила она медленно, поставила чашку на стол и вышла в коридор.

Я бросил взгляд в сторону мельницы — там, на камышовой подстилке, лежал Клаас и ждал меня; я потянул на себя разбухшую дверь в кладовку: банка маринованных огурцов, полбуханки хлеба, солонина, лук, кубик маргарина, кусок копченой колбасы, миска с несладким ревеневым повидлом, четыре сырых яйца, кулек муки и мешок овсяных хлопьев — вот и все запасы. Я слизал повидло со своего куска хлеба, разломил его пополам и сунул в карман. Голоса в кабинете зазвучали громче. Коренастый о чем-то там бубнил, другие тоже нет-нет да и вставляли словцо, только отец молчал и ничего не говорил; неожиданно дверь приоткрылась, и мать как-то бочком проскользнула ко мне в кухню, торопливо схватила свою чашку и поднесла ко рту; как раз в эту минуту мужчины вышли из кабинета в коридор; приезжие попрощались с участковым инспектором Ругбюля за руку, потом заглянули к нам с матерью, пожелали приятного аппетита, ну и все такое прочее, после чего покинули наконец наш дом, но сделали они это словно бы нехотя, и в машину тоже уселись не сразу, а сперва разошлись в разные стороны и принялись обшаривать глазами окрестности дома — канавы, поля и кусты живых изгородей, до самой дамбы; чувствовалось, что глаз у них натренированный, ничего не упустит. Однако все, что двигалось, стояло, лежало или затаилось тут, не могло возбудить у них ни малейшего подозрения. Один из приезжих безуспешно перерыл наш сарай, другой обследовал шлюз. Они учинили проверку даже моей видавшей виды повозке. Коренастый достал из машины бинокль и долго всматривался в торфяные болота. И все-таки, когда они направлялись к своей машине, они не производили впечатления людей, удовлетворенных проделанной работой. Они уехали разочарованные.

Отец стоял на крыльце и наблюдал за их отъездом. Он простоял так довольно долго — пока машина не выехала на Хузумское шоссе; тогда он вошел в дом, сел в чем был за кухонный стол и положил руки одна на другую. Не горбясь, прямой, сидел он в своей шершавой нижней рубахе с перекрученными подтяжками, глаза его слезились, а зубы выбивали мелкую дробь, и он не заметил чашки чая, пододвинутой ему матерью, не заметил и меня — однако не по рассеянности: я видел по его лицу, что он понимает не только причину этого раннего визита, но и то, каковы будут его последствия. Он думал, взвешивал, прикидывал, строил догадки, отбрасывал их, соображал, соображал, соображал. Его брови двигались. Он напряженно дышал. Внезапно правая рука его поднялась и бессильно опустилась на стол.

— Хорошенькое будет дело,— обратился отец к матери,— если он вдруг сюда заявится.

— А они что, его ищут? — спросила мать.

— Он лежал в тюремном госпитале,— объяснил отец,— и сбежал. Они его нигде не могут найти.

— Когда он исчез? — поинтересовалась мать.

— Вчера,— отозвался отец,— вчера вечером. Все себе изгадил, я уже разузнал. Не отколи он этого номера, отделался бы заключением или штрафным батальоном. а теперь — крышка.

— Зачем, зачем это ему понадобилось? — возмутилась мать.

— Спросишь его сама,— рассердился отец.— Вот постучит к нам в двери — здравствуйте, дорогие родители,— тогда у него и спросишь.

— Он к нам не придет,— заявила мать,— подложить нам такую свинью, а потом... Нет, он сюда не сунется, я уверена. Не посмеет.

— Посмеет,— возразил отец.— Придет как миленький. Раз тут началось, тут оно для него и кончится: угодит прямо к ним в руки.

— Не собираешься ли ты его предупредить? — спросила она.— Или, может, ты думаешь спрятать его, когда он к нам пожалует?

— Не знаю.— ответил отец,— сам не знаю, что и делать.

— Надеюсь, ты хотя бы знаешь, чего от тебя ждут,— ответила мать.

Она накрыла на стол, достала хлеб маргарин и коричневую миску с ревеневым повидлом и все это к нему пододвинула; на ее лице появилось выражение удовлетворенности, как будто она выполнила тяготивший ее долг. Сама она к столу не присела, а налила себе чашку чаю и прислонилась спиной к буфету.

— Что касается меня, то я не хотела бы иметь с ним ничего общего. Между нами все кончено. Если Клаас к нам явится, я не вступлюсь за него.

Отец разглядывал свой завтрак. ни к чему не притрагиваясь.

— Когда-то ты иначе о нем говорила,— заметил он,— к тому же Клаас ранен.

— Не ранен,— парировала мать,— не ранен, а искалечен. И искалечил себя он сам.

— Да,— подтвердил отец,— да-да, он сам себя искалечил, но ведь ни с того ни с сего на такое не пойдешь.

— Ни с того ни с сего не пойдешь, а вот из трусости — да! Он это из трусости сделал.

— Клаас был не такой, как мы,— вслух размышлял отец,— он был на голову выше нас всех, и ему впереди улыбалось больше, чем мне.

— Мы слишком много о нем заботились,— вздохнула мать,— мы думали всегда только о нем. А он? Если он был на голову выше всех нас, мог бы пораскинуть мозгами, чем она кончится, эта его выходка, прикинул бы, во что она ему обойдется. А теперь уж ничего не изменишь.

Отец так и не притронулся к еде. Он провел рукой по своим жидким волосам и вдруг схватился за левое плечо, словно старая боль вновь дала о себе знать.

— Но ведь пока что Клаас к нам не пришел,— рассудил он,— и вообще, неизвестно еще, удастся ли ему скрыться.

— А если удастся? — всполошилась мать.

— Я свой долг знаю.— В голосе отца прозвучал сдержанный упрек. Он повернул к матери небритое лицо, посмотрел на нее долгим, как бы оценивающим взглядом и добавил: — Что должно случиться, то и случится, можешь быть уверена.— Он встал и, протянув руку, шагнул к ней, но она, избегая его прикосновения, быстро поставила чашку, подалась назад, к двери, пятясь, обошла стол и, не говоря ни слова, исчезла в коридоре; я услышал, как она поднимается наверх, вероятно, чтобы запереться в спальне.

Отец пожал плечами.

— Ты слышал,— обратился он вдруг ко мне.— Клаас сбежал, и может случиться, что он объявится здесь.

Я заправлял овсяную кашу ревеневым повидлом и ничего не ответил.

— Он наверняка здесь объявится,— продолжал отец,— придет в один прекрасный день и станет просить: дайте мне то, дайте это, чтоб мы его кормили, прятали. Так вот: не смей ничего делать, не предупредив меня. Всякий, кто ему помогает, идет против закона, даже ты, хоть ты и маленький, ты тоже, если будешь ему помогать, пойдешь против закона.

— А что будет Клаасу, если его поймают? — спросил я.

— То, что он заслужил,— отрезал отец.

Про еду он, видно, совсем забыл. Побрившись, он поправил подтяжки — и как-то очень уж медленно, словно думая о чем-то постороннем, потом высморкался, после чего все так же сосредоточенно вперился в свой носовой платок, потом подошел к окну и устремил пристальный взгляд на Хузумское шоссе, но оно было пустынно, только плавился на солнце асфальт.

Он замешкался на кухне еще немного: наваксил сапоги, выбил трубку, завел будильник и наконец вышел—его каблуки быстро простучали по коридору, в кабинет; тогда я выпил его чай, отнес хлеб, маргарин, миску с повидлом в кладовку, поставил все это на место и прислушался; шагов не было слышно; я отрезал два-три ломтя хлеба, каждый толщиной в палец, и сунул их за пазуху, туда же отправил кусок копченой колбасы и два яйца. Рубашка на животе у меня оттопырилась, и я осторожно передвинул свою добычу назад, на спину, ощутив позвоночником прикосновение холодных яиц и шершавого хлеба. Колбасу я запихнул в карман. Я отрезал еще полосочку бледно-розовой солонины и препроводил ее туда же, за спину. Теперь рубашка отвисала у меня сзади над штанами, точь-в-точь как наполовину набитый вещевой мешок, но мне все еще было мало. Яблоки! Я вспомнил, что у меня в комнате лежат на шкафу вкусные яблоки, настоящий «гравенштейн», и решил тут же несколько штук прихватить с собой. Я вышел из кухни и, чувствуя при каждом шаге холодящее прикосновение яиц, шершавого хлеба и влажного мяса, поднялся по лестнице; крадучись вдоль стенки, я пробрался никем не замеченный наверх, миновал такую страшную для меня родительскую спальню, открыл дверь в свою комнату и обмер: в моей постели лежала с открытыми глазами мать. А я-то был уверен, что она у себя в спальне, я был уверен, что она стоит там за гардиной, высокомерно поджав губы, и смотрит на дамбу, на плоскую равнину, простершуюся до самого горизонта, на блеск воды под солнцем, ища в этом успокоения. Но нет, она лежала, поджав ноги, в моей постели, укрытая моим одеялом, которое доставало ей только до груди, и ее белые, усеянные веснушками и родимыми пятнами руки неподвижно покоились сверху. Позднее я бы даже, наверно, не вздрогнул — слишком привычными стали подобные неожиданности,— но в тот день я при виде матери застыл на месте. Я стоял и остолбенело смотрел на нее. Я даже не спросил себя, почему ей взбрело на ум улечься ко мне в кровать и все такое прочее. Ее волосы мягко лежали на подушке. Плоское тело под одеялом бугрилось какими-то нескладными выступами. Может, она надумала переселиться в мою комнату? Отнять ее у меня? Я стоял и смотрел, как она лежит, и она мне вдруг страшно напомнила мою сестру Хильке.

В ее открытых глазах я не мог вычитать никакого объяснения происшедшему, извинения она тоже у меня не просила. Сыроватое, холодное прикосновение к позвоночнику привело меня наконец в чувство. Я стал лихорадочно соображать, как бы мне улизнуть отсюда, и попя-

тился, как кошка, отступающая с поля брани, я уже было взялся за дверную ручку, почувствовал под ногами порог, но она опередила меня.

— Подойди-ка сюда,— приказала она,— ближе, еще ближе.

Я повиновался.

— Повернись,— приказала она снова.

Я повернулся, стараясь покрепче стиснуть ягодицы, надеясь, авось она не заметит, что рубашка моя похожа на обвисший рюкзак. Но нет.

— Выкладывай,— раздался ее голос, и я покорно переправил свои припасы из-за спины на живот, полез за пазуху и одно за другим достал и выложил на пол все: хлеб, яйца, розовый ломтик солонины. За это время я успел подготовиться к любому вопросу, я бы нашелся, как заговорить ей зубы, рассказал бы про тайник — не тот, что на мельнице, а про другой — тот, что на мысе, в сторожке птичьего караульщика,— объяснил бы, как это, по-моему, важно — обеспечить себя запасами на черный день. Но мать не проявила никакого любопытства, она лишь сказала: — Отнеси все назад в кладовую, ну, быстро.

В ее тоне не было ни угрозы, ни предостережения, ни даже обиды — нет, в ту минуту, когда она велела мне отнести на место припасы, приготовленные для брата, в голосе ее прозвучало страдание, я опешил и долго смотрел на нее, ожидая... ожидая само собой разумеющегося приговора о наказании, но страх мой оказался напрасным, больше того: мать неожиданно улыбнулась и, как бы подбадривая, кивнула мне; я вытащил подол рубашки из штанов, собрал в него всю еду и отнес вниз, в кладовую.

Что с ней случилось? Почему она не наказала меня? Почему не заперла? Я положил яйца к яйцам, мясо к мясу, колбасу к колбасе; только переломленный пополам кусок хлеба я оставил в кармане и несколько раз провел по нему ладонью, чтобы он поменьше выпирал.

Из кухонного окна я все время поглядывал на мельницу, высматривая, не мелькнет ли там что-нибудь в пустом проеме окошка, наверху; я ждал хоть какого-то знака, сигнала. А тем временем у меня за спиной, в кабинете, отец звонил кому-то по телефону; у отца была особая манера: прокричав в трубку короткую фразочку, он непременно повторял последнее слово раза по два, по три. Говорить по телефону тихо он просто не умел. Я уже думал, что сейчас сверху, как обычно в таких случаях, спустится мать и прикроет дверь в кабинет — это хоть и не заглушало отцовских слов, но делало его крик менее зычным. Однако наверху было тихо. Не заметил я никакого знака и в амбразуре мельничного окна, за которым лежал, дожидаясь меня, Клаас. «Бумаги из Хузума я получил»,— ревел отец. Мне представилось, как там, на мельнице, на подстилке из сухого камыша и мешков, спит Клаас, даже и во сне готовый к любой неожиданности, даже и во сне настороженный, согнувшийся, как для прыжка. «Никаких особых происшествий,— кричал отец,— про-ис-шест-вий!»

Я ломал себе голову, как мне теперь пробраться на мельницу незамеченным; я проделал мысленно путь вдоль канав, окинул испытующим взглядом дамбу и пожалел об отсутствии подземного хода. Обдумывая, как пройти в обход, я вдруг увидел Окко Бродерсена — почтальон ехал со стороны Хольмсенварфа, направляясь к нам. Велосипед под ним вихлял туда-сюда, похоже, что набитая до отказа потертая кожаная сумка мешала ему удерживать равновесие. «Донесение последует с обратной почтой!» — орал отец.

Окко Бродерсен свернул к нашему дому, его велосипед, дребезжа, покатился по бревенчатому мостику, и, недовольный тряской, почтальон, как видно, что-то сердито пробормотал себе под нос; теперь до нас было рукой подать, но Окко чуть было не врезался в столб с указателем. К счастью, велосипед, вильнув вбок, проскочил впритирку мимо столба,

и почтальон, описав на своей машине блистательную дугу, затормозил у нашего крыльца. Чертыхаясь, он слез. Пустой, заколотый булавкой рукав его форменной куртки прыгал и дергался, словно под электрическим током. Передвинув почтовую сумку на живот, Окко поднялся по ступеням и, не постучав, прямо вошел в кухню. Он ворчливо пожелал мне «Доброго утра», уселся за кухонный стол, вытащил свои карманные часы, положил их перед собой и принялся созерцать циферблат, не проявляя ни малейшего нетерпения. Созерцание часов, как видно, доставляло ему удовольствие, он даже кивнул им несколько раз, но когда и мне захотелось взглянуть на его часы, я не успел этого сделать: он, как будто нарочно, протянул мне видовую открытку из Гамбурга.

— Прочти-ка,— сказал он,— если умеешь читать. Ваша Хильке приезжает обратно домой, твоя сестра хочет остаться у вас насовсем.

«С обратной почтой!» — надрывался у себя в кабинете отец.

— В воскресенье можешь встречать ее на вокзале,— сообщил почтальон. Разговор со мной несколько взбудоражил его, но выражение довольства, вызванное разглядыванием часов, не сходило с его лица, и он вновь с любопытством углубился в изучение циферблата, чем всегда занимался, стоило ему только воцариться на стуле. Иногда мне даже думалось, что, наверно, часы Окко показывают время не так, как другие, делят время на какие-то иные отрезки, а почтальон силится постичь разницу между своими часами и всеми остальными.

Старый однорукий Окко Бродерсен не проявлял интереса к реву отца, доносившемуся из кабинета. Погрузившись в созерцание часов и от усердия сопя носом, он спокойно дожидался отца. Наконец тот положил трубку и вышел к нам в кухню. Почтальон поднялся, и они поздоровались за руку, называя друг друга по имени с вопросительной интонацией: «Йенс?» — «Окко?» Бродерсен взял у меня открытку, протянул ее вместе с газетой отцу и опять уселся за стол. Теперь он осмотрелся вокруг, словно чего-то искал в нашей кухне.

— Выпьешь чаю? — предложил отец.— Чашечку?

— Вот-вот,— обрадовался почтальон,— это как раз то, что мне нужно,— чашечку чаю.

Они сели пить чай, поочередно похваливая темную, сильно наслащенную жидкость, пили и все поглядывали друг на друга поверх края чашки. Только и всего, пили и поглядывали друг на друга, но тем не менее это было не так уж и мало, если учесть, что каждый хотел подступиться — и как можно незаметней — к тому, что им было нужно друг от друга; у нас, когда хотят поговорить о деле, долго кружат вокруг да около, а потом начинают как бы ненароком и не меняя голоса, чтобы случайно не выдать себя.

Поэтому я не могу заставить Окко Бродерсена начать с места в карьер; для того, чтобы он у меня был похож на самого себя, придется и мне, сидя за кухонным столом, тянуть резину, придется упомянуть о предварительном разговоре, который оба они вели с поразительной выдержкой и убийственно долгими паузами: они рассуждали о штурмовой авиации и велосипедных камерах, обстоятельно осведомлялись о здоровье всех родных и домочадцев; их жесты были медлительны и строго обдуманны. Бродерсен полировал пустым рукавом своей форменной куртки наш кухонный стол. Отец сгибал и разгибал газету. Рассказывая, как трудно теперь доставать велосипедные камеры, Бродерсен не сводил глаз со своих часов. А участковый инспектор время от времени приподнимал голову, будто ему слышались в доме подозрительные шорохи.

Они подбирали друг к другу ключи, один настраивал другого на нужную волну, долго, старательно, пока наконец старый почтарь не счел себя вправе яснее высказаться о причине своего затянувшегося визита.

— Не трогал бы ты его, Йенс,— проговорил он.

Других слов отец, должно быть, и не ожидал.

— Ну вот,— буркнул он,— теперь еще и ты заведешь эту песню, совсем как старик Хольмсен. Был тут у меня вчера вечером, вроде больше сказать ему нечего — заладил: «Не трогай его, Йенс, не трогай». А в чем, собственно говоря, дело? Что такого случилось? Запрет на занятие живописью пришел из Берлина, его не я выдумал, картины конфисковать приказал тоже Берлин. На все это у меня есть инструкция, и я ее не нарушал и власти своей не превысил.

— Говорят, ты устроил за ним слежку,— возразил почтальон.

— Слежку? — отозвался отец.— Что значит слежку? Кто-то же должен втолковать ему, что с такими приказами не шутят, а моя служба в этом как раз и состоит.

— Говорят,— продолжал почтальон,— что ты устраиваешь ему проверку утром и вечером и даже среди ночи.

— Мой долг — следить за выполнением приказа,— отрезал отец.

Но Окко Бродерсен был готов к такому ответу.

— Говорят,— не отступался он,— что ты делаешь больше, чем требует долг.

— А откуда вам знать, чего хотят от меня в Берлине? — оборонялся отец.

— Конечно,— согласился почтальон.— Здесь этого никто знать не может, но зато люди, как видно, догадываются, что сам ты лично знаешь, чего добиваешься. Говорят, ты предпринимаешь кое-что лично от себя.

Участковый инспектор Ругбюля пожал плечами; он невозмутимо смотрел на человека, который на многих фотографиях в кабинете был запечатлен рядом с ним — даже на овальном снимке, изображавшем коленопреклоненных артиллеристов перед гаубицей. Он закрыл глаза и долго о чем-то думал, потом сказал:

— У меня своя задача, у него — своя. Я объяснил ему, чего он делать не имеет права, а он мне объяснил, что он будет делать дальше. Я не могу допускать исключений, а он, видите ли, хочет быть исключением. Вот ты так и передай тем, кто слишком много говорит. Иди с богом и передай им, что каждый из нас делает свое дело: и он, и я. Мы с ним все сказали друг другу, что нужно было, и теперь каждый знает, каких можно ждать последствий.

Почтальон утвердительно кивнул: судя по всему, он не собирался возражать против того, что сейчас услышал, а какого мнения придерживается он лично — это он оставил про себя.

— Видишь ли,— начал он,— люди беспокоятся. Люди беспокоятся о тебе: они считают, что времена могут перемениться, а у него, сам знаешь, много друзей.

— Знаю,— ответил отец,— больше того: мне, например, известно, что за границей его очень ценят, им там восхищаются, и еще я знаю, что здесь у нас кое-кто им гордится — это мне подтвердил старик Хольмсен,— да, люди гордятся им, он, видите ли, открыл миру наш край, воспел в своих картинах нашу природу, перенес ее на свои картины. Я слыхал, что если где-нибудь на западе или на юге вспоминают про наши места, то прежде всего вспоминают его, то есть его картины... Можешь мне поверить, я знаю не так-то уж мало. А насчет того, что люди беспокоятся, я скажу так: кто выполняет свой долг, тому не о чем беспокоиться — даже если времена и переменятся.

— Говорят,— не унимался почтальон,— ты конфисковал все его картины последних лет.

— Я получил распоряжение из Берлина,— ответил отец,— но я позаботился о том, чтобы полотна были хорошо упакованы. Их отправили в Хузум, а уж что с ними сделают дальше — этого я, конечно, сказать не могу.

— Их переслали в Берлин,— сообщил Окко,— а там, по слухам, частью сожгли, частью распродали.

— Про это мне ничего не известно,— сухо возразил отец.— Я ничего такого не слышал, да и не отвечаю за это. Я отвечаю только за Ругбюль.

— Но почему они запретили ему заниматься живописью? — допытывался почтальон.— На что им понадобилось конфисковать его работы последних лет? Это-то ведь ты знаешь?

— В распоряжении было написано, что он в своих произведениях отошел от народа,— пояснил отец,— поэтому его творчество представляет опасность для государства, а сам он нежелательный элемент, попросту говоря — вырожденец, надеюсь, ты понимаешь, что я имею в виду.

— И все-таки,— настаивал почтальон,— люди за тебя беспокоятся. Особенно те двое, что не забыли, как он вытащил тебя из воды, тогда, в глюзерупской гавани.

— Неоплатных благодеяний на свете не бывает,— заявил отец.— Мы с ним квиты, да будет тебе известно. И другим это передай — тем, что все говорят да говорят. Мы с ним оба из Глюзерупа, и теперь мы в расчете, теперь только от него зависит, как повернется дело.

— Все равно,— не отступался Окко Бродерсен,— лучше бы ты оставил его в покое, Йенс.

Отец уставился на почтальона, словно пытаясь понять, что, собственно, Бродерсен имеет в виду. Но тот взял со стола свои часы, поднес их к уху, прислушался, торопливо завел и спрятал в карман, потом проглотил одним духом остатки холодного чая и бесшумно поднялся. Он вдруг страшно заспешил: должно быть, ему стало неудобно, что он так заболтался, и я помог ему приладить сумку. Бросив отцу короткое «Прощай» и даже не дождавшись ответа, он поспешно удалился, а участковый инспектор остался сидеть, как сидел; его душевное равновесие ни на миг не было поколеблено, он не огорчился, не обиделся, не рассердился, не вскочил, изрыгая угрозы, и даже тени тревоги не отразилось на его лице — он сидел и думал, медленно ворочая в голове чуждые всяких сантиментов, черствые мысли.

Когда он вот так задумывался, ничто не могло отвлечь его: вертись у него перед глазами, разговаривай, делай все что угодно — он ничего не заметит.

А я все глядел на мельницу, где меня ждал брат. Хлеб в моем кармане становился все тяжелей и тяжелей, во всяком случае, он напоминал о себе. На подоконнике лежал мой голубой самодельный флаг, я взял его в руки и помахал им у отца перед лицом. То ли от ветерка, то ли оттого, что я махал флагом слишком долго, но отец в конце концов поднял голову, и я сразу понял, что все-таки оказался вовлеченным в круг его мыслей.

Я хотел попросить разрешения выйти на улицу, но не решился, не посмел заговорить с ним, не посмел привлечь к себе его взгляд. Внезапно он схватил меня сзади за пояс, привлек к себе и сказал:

— Не забывай: теперь ты мой помощник. Как что заметишь, сразу дай знать.

— Флагом, что ли? — спросил я.

— Флагом или еще как, это твое дело. Главное, чтоб сообщить. Против нас двоих, Зигги, никто не выстоит.

Это я уже однажды от него слышал.

— Можно мне теперь идти? — поспешил я воспользоваться случаем.

— Иди,— отпустил он меня,— пожалуйста, хоть в Блекенварф, только, чур, глядеть в оба.— Он хотел сказать что-то еще, но тут в кабинете зазвонил телефон, отец вскочил, пригладил свои жидкие волосы, на ходу застегнул мундир. Я уже сбегал с крыльца, когда меня настиг его голос: — Участковый инспектор Ругбюля Йепсен слушает!

На этот раз я пошел с противоположной стороны: я прокрался в тени насыпного холма, потом довольно долго торчал у разрушенной платформы, пока не убедился, что двое мужчин на лугу перед кладбищем и в самом деле копают осушительную канаву; тогда я пролез под оградой, прошмыгнул ко входу и открыл дверь на лестницу.

Я заметил его не сразу. Я стоял затаясь в прохладном сумраке и прислушивался, что делается наверху. Я уже хотел было вытащить и приставить стремянку, как вдруг увидел Клааса. Он лежал возле мучных ларей, как раз под люком. В здоровой руке у него был зажат кусок каната, а сверху раскачивалась цепь от старого подъемного блока — раскачивалась тихо и беззвучно, словно сама по себе вздумала покачаться. Клаас, должно быть, хотел спуститься по этой цепи вниз, удлинив ее канатом. Он связал их вместе и полез, но канат подвел его. Я отставил стремянку, опустился возле него на колени, взял канат из руки Клааса и вытянул конец из-под него: это был тот самый канат, который лежал у меня под моей камышовой подстилкой, я берег его на всякий случай — а вдруг придется спускаться вниз без стремянки. Канат не лопнул — просто узел не выдержал. Но хотя я и понял, что случилось, это мне не помогло поставить брата на ноги: хотя я взял у него из руки канат, он продолжал лежать скорчившись, если глядеть сверху — в положении бегуна перед стартом,— и не шевелился, а когда я осторожно дотронулся до него и легонько потеребил, он ответил лишь слабым стоном.

Я вынул из кармана хлеб и протянул Клаасу. Поднеся вплотную к его лицу крошащиеся ломтики, я стал просить его поесть или хотя бы открыть глаза, но он только застонал и поднял руку в неуклюжей гипсовой повязке, а потом опять уронил ее. Я отломил от хлеба небольшой кусочек, поднес тихонько к его губам, надавил, сперва чуть-чуть, затем сильней, губы открылись, но плотно стиснутые зубы не разомкнулись: мне так и не удалось всунуть хлеб ему в рот. Сдвинуть его с места, дотащить до деревянного столба и прислонить к нему спиной я тоже не смог: он был слишком тяжел для меня. Убедившись в своей беспомощности, я уселся возле Клааса и стал рассказывать, что случилось дома.

Я говорил и говорил — терпеливо, наклонясь к нему, но слова мои словно отскакивали от его круглого лица, потому что ни одна черта в нем не дрогнула, и я не был уверен, доходит ли сказанное до брата, а если доходит, то какие чувства вызывает у него; мне не оставалось ничего другого, как время от времени выбегать из мельницы, взбираться на развалившуюся платформу и следить оттуда за тем, что делают рабочие, копавшие осушительную канаву, куда направляется повозка, едущая из Глюзерупа, и что происходит перед усадьбой и во дворе участкового инспектора Ругбюля.

Не знаю, сколько за всем этим прошло времени. Но когда я, в очередной раз не заметив ничего подозрительного, вернулся со своего наблюдательного поста, Клаас уже не лежал перед мучными ларями, а сидел, прислонясь к гладко отесанному столбу. Он умудрился сесть самостоятельно, но дышал шумно и тяжело и глядел на меня затравленным взглядом, подтверждая слабыми кивками головы, что я верно разгадал, что тут с ним без меня случилось. Когда он остался один, его внезапно обуял панический страх. Он вдруг почувствовал себя как в западне в этом убежище на мельнице и решил бежать, бежать во что бы то ни стало; он попытался удлинить с помощью каната цепь от старого подъемного блока и спуститься вниз на одной руке, но упал; он кивал мне, подтверждая: именно так все и было, и еще он ударился низом живота, а это очень больно, он положил здоровую руку на ушибленное место, откинул голову и закрыл глаза. Но есть он все равно не хотел. Я протянул ему на ладони хлеб, он к нему не притронулся.

— Болит,— простонал Клаас и через силу выговорил: — Надо уходить.

— Идем домой, Клаас,— сказал я.— Когда они тебя увидят, они помогут.

— Больно,— опять простонал он.— Здесь, внизу, ох, какая боль!

— Давай я отведу тебя домой,— настаивал я.

— Нет, нет,— испугался он,— только не домой. Они меня выдадут.

— Куда же, если не домой? — удивился я.— Куда мне тебя отвести?

Но Клаас, должно быть, уже все продумал.

— К художнику.

Я понял, что он тщательно взвесил свои слова.

— Но ведь ты же еще ничего не знаешь,— заторопился я.

— Нет, я знаю,— упорствовал брат.— Кроме него, меня тут никто не спрячет, только он.

— Да ты просто не знаешь, что случилось,— пытался я урезонить его.

— Он спрячет,— твердил Клаас и, крепко ухватясь за столб, с трудом поднялся с пола и поманил меня к себе. Поманил гипсовой рукой, и это было похоже скорей на угрозу, чем на просьбу.— К художнику, сказал он снова.— Надо было сразу к нему. Еще утром. Прямо к нему.

Клаас отпустил столб и оперся на меня, примеряясь, какую часть своего веса можно перенести на мои плечи; оказалось, что не очень-то большую, да к тому же уменьшающуюся с каждым шагом. Когда мы наконец очутились за дверью, под ослепительным солнцем, он снял руку с моего плеча, присел на корточки перед лужей и обмазал свою гипсовую повязку грязью. Он делал это очень старательно, а я помогал ему; мы облепили всю повязку мокрой торфяной землей, а потом раза три-четыре окунули повязку в лужу, пока она не стала похожа на какой-то нелепый, чересчур длинный торфяной брикет; и тогда мы бросились бежать, проскочили мимо мельничного пруда и, пригнувшись, понеслись дальше, к канавам; чем ближе мы подбегали к Блекенварфу, тем настойчивей я пытался переубедить брата, уговорить его повернуть домой. Он слушал безучастно и не отвечал. Берега разомлевших от летнего зноя канав были пустынны, но мы не доверяли ни тишине, не безлюдью: в наших местах стоит лишь выйти из дому, как тебя сразу заметят; мы оба хорошо это знали и не слишком-то обольщались, хотя и не видели нигде, до самого горизонта, ни одной живой души. Мы оба знали, что в наших местах непременно да найдется такой забор, калитка или окошко, откуда чье-нибудь недреманное око зорко следит за изрытой канавами равниной, так и впиваясь в каждый клочок земли, и оттого мы мчались к Блекенварфу быстрее ветра, словно нас уже обнаружили и гонятся за нами по пятам: мы в один прыжок огибали шлюзы, подминали — напролом, не боясь оставить следов,— высокую траву на островках, шлепали вброд через водопои, вязли в истоптанной сотнями копыт грязи на луговинах, куда сгоняют доить коров; я как сейчас слышу визгливый скрежет колючей проволоки, когда мы впопыхах раздвигали ее, прорываясь вперед, вперед; вижу, как мы испуганно лежим, вжимаясь в землю, и прислушиваемся. Я бежал с ним, потому что привык делать все, что он прикажет. Я покорно следовал за ним в этой гонке, хотя был уверен, что Макс Людвиг Нансен, скорей всего, отошлет нас обратно на мельницу, а то и домой.

Последний отрезок пути мы бежали, не пригибаясь. Нам служила укрытием изгородь Блекенварфа. Однако едва мы проскочили деревянный мостик без перил, Клаас упал и уже не смог подняться — он попытался встать на колени, но дальше этого дело не пошло. Он даже на коленях не устоял и повалился ничком наземь. Я метнулся к лазу, оглядел сад, окинул взглядом дом — людей не было видно; тогда я вернулся

и волоком оттащил брата в сторону. Я положил ему под голову охапку травы.

— Сбегать за ним? — спросил я Клааса. Но он посмотрел на меня невидящими глазами, и я настойчиво повторил: — Позвать художника?

— Да,— тихо произнес он,— да, позови.

Прежде чем уйти, я присел на корточки и постарался сколько мог привести в порядок одежду брата: смахнул с мундира травинки, оттер засохшую грязь, заботливо почистил сапоги, поправил воротник, застегнул пуговицы.

— Лежи спокойно,— велел я ему,— и дожидайся меня.— С этими словами я двинулся к дому.

Высунувшись из лаза и разведя руками ветки, налево и направо, и на всякий случай не отпуская их, я из этого удобного укрытия внимательно оглядел сад, дом и мастерскую: мне хотелось действовать наверняка, чтобы избежать случайной встречи с Юттой, а уж тем более с Йобстом, с этим толстым недоноском,— мне вовсе не хотелось посвящать их в наши дела. Среди клумб цветника копались куры — гамбургские золотисто-крапчатые несушки и бельгийские леггорны; они рылись среди цинний и люпина, склевывали насекомых с лилий, ну и все такое прочее. Однако ничего особенно подозрительного я не заметил. В беседке было пусто. И ни одно из многочисленных окошек дома не собиралось сообщать мне никаких сведений, хотя это было бы весьма кстати. Кто, к примеру, раскачал качели под яблоней? И отчего так странно подрагивали чашечки больших маков? «В мастерской,— подумал я,— наверно, он в мастерской». И я двинулся через сад, не спуская глаз с цветника и дома, пробрался вдоль изгороди и, свернув на ухоженную боковую дорожку, вышел к задней стене мастерской. Мне почудились голоса, я насторожился — нет, голос был один, он раздраженно о чем-то спрашивал и сам же язвительно отвечал себе. Дверь была не заперта. Бесшумно открыв ее, я прошмыгнул внутрь и услышал голос художника теперь уже совсем рядом; брань была, по-моему, в самом разгаре, и вполне возможно, что именно в тот раз художник сказал: «Не мели вздора, Бальтазар, в любой картине только один персонаж — свет». Босиком, ощущая подошвами твердость половиц, я подкрадывался к нему, ближе, ближе — даже сейчас мне видится, как я крадусь по тем половицам, босиком, на цыпочках; наконец я встал на какую-то подставку, потянул одеяло, повешенное вместо ширмы, и увидел его: он стоял передо мной в своем старом синем пальто и в шляпе. Он писал. И переругивался с Бальтазаром. Он писал свои «Пейзажи с неизвестными».

Холст был укреплен на внутренней стороне правой дверцы шкафа, слева в открытых ящичках лежали «средства выражения» — так он называл краски. Достаточно было захлопнуть обе дверцы шкафа — и холст с красками мгновенно исчезали.

Я смотрел на него, на полотно с «неизвестными» и опять на него; теперь он как бы вслушивался в немой язык своих персонажей, выражение его лица вторило выражению их лиц. Там, на полотне, между людьми и ландшафтом существовала несомненная связь: «неизвестные» не забрели случайно, не попали как-то ненароком в эти места — нет, их забросила сюда судьба, забросила вопреки их воле, насильно, и все вокруг было чуждо и враждебно им, может быть, даже угрожала смертельная опасность; вот чем, наверно, объяснялся ужас, написанный на их лицах. Меня поразили тогда — это ощущение живо во мне и сейчас — головные уборы «неизвестных»; это было нечто среднее между феской и чалмой и почему-то наводило на мысль о турецких войнах. Но главное было в том чувстве отчужденности, потерянности и страха, которое владело людьми и которое пейзаж внушал зрителю. Я осторожно опустил одеяло, служившее ширмой, отступил назад к двери, после чего решил

войти вторично, шумливо, так сказать, официально. Тихонько прокравшись на цыпочках к входной двери, я постучал, потом открыл и закрыл дверь.

— Дядя Нансен? — позвал я.— Ты здесь, дядя Нансен?

Он ответил не сразу — прежде запер шкаф и вынул ключ.

— Что случилось? — отозвался он наконец.— Кто там? — И он медленно вышел из невидимой глубины мастерской, спокойно шаркая туфлями; в его тоне не чувствовалось ни ворчливости, ни досады, как это бывало в других случаях, когда его внезапно отрывали от работы... Я дал ему дойти до дверей.— Ах, это ты, Вит-Вит,— проговорил он, увидев меня, но проговорил без облегчения и нисколько не удивленно.— Ну что, Вит-Вит? — спросил он, и я заметил, что он прислушивается, тихо ли там, у него за спиной, позади одеяла, словно Бальтазар мог воспользоваться уходом хозяина, раскрыть дверцы шкафа и переписать пейзаж по своему вкусу.— Случилось что-нибудь?

Я молча показал на изгородь.

— Клаас,— сказал я, и, так как он не сразу понял меня и его серые глаза смотрели мимо, поверх моей головы, я добавил: — Пришел Клаас. Ты должен ему помочь.

— Но ведь твой брат в Гамбурге,— недоуменно возразил художник,— он лежит в госпитале, раненый.

— Он лежит возле мостика,— ответил я.— Он хотел к тебе, только к тебе.

И тогда художник поспешно запахнул свое пальто, сунул непотушенную трубку в карман, еще раз прислушался, что там делает Бальтазар, повернулся и вышел из мастерской. Я закрыл дверь и побежал за ним.

— Ну и наломали вы дров,— бросил он на ходу, быстро шагая через сад.

— Они ищут его,— торопливо говорил я ему в спину, в его крупную, чуть сутулую спину.— Они уже были у нас дома.

— Хлопот с вами не оберешься,— проворчал он,— нет от вас покоя! — Его синее пальто было так длинно, что я не видел его шагающих ног, мне даже стало казаться, будто он уплывает от меня на неумолимых парусах своего гнева или что его уносит вперед неодолимая волна горечи.— Голова от вас кругом идет! — опять услышал я его укоризненный голос.

Стремясь сократить путь, мы побежали вдоль изгороди до самого лаза и выбрались из сада. Клаас лежал на земле, как я его оставил, голова его по-прежнему покоилась на охапке травы. Художник склонился над ним; полы его широкого пальто укрыли, заслонили от меня брата, простерлись над ним наподобие тенистого полога — в общем, должен признать, что эта группа из двух фигур: одной — лежавшей на земле и другой — склоненной над ней в позе воплощенного милосердия,— эта группа как две капли воды была похожа на любимую картину фюрера «После боя», с той только разницей, что здесь фигуру воплощенного милосердия можно было по ошибке принять за женскую. Впрочем, художник в этот момент меньше всего помышлял о милосердии, он просто хотел выяснить, что случилось с Клаасом и почему тот неподвижно лежит у изгороди и не поднимается, хотя лоб его и не украшен эффектной струйкой крови.

— Клаас,— проговорил художник.— Клаас, дружище, что с тобой?— Он приподнял искалеченную руку брата, которую тот дважды прострелил в упор, и снова опустил ее. Он ощупал его плечи, грудь, дошел до нижней части живота, но тут Клааса всего передернуло.

— Не трогайте! Больно! — вырвалось у него.

— Дойти сумеешь? — спросил художник.

— Да, конечно,— ответил Клаас,— теперь я поднимусь как-нибудь.— С помощью художника он сел.— Мне необходимо скрыться,— произнес он, вставая на ноги. Я видел, что он дрожит всем телом.

— Господи Иисусе! — воскликнул художник.— Ну и дел же вы натворили! Подведете, ох, подведете вы меня под монастырь.

— Домой мне нельзя,— прошептал брат,— домой нельзя. Они уже за мной приходили и еще придут.

— На это вы мастера,— пробормотал художник, подставляя брату плечо,— мастера устраивать людям хлопоты.

— Если они меня сцапают,— простонал Клаас,— мне крышка.

— Нет, от вас покоя не жди,— опять проворчал художник, крепко прижал брата к себе, сделал с ним первый шаг и, бранясь, потащил, поволок его к лазу, бранясь, сердито тряся головой, твердя свои жалобы и упреки, а потом дальше, через весь сад к беседке. Здесь, в полумраке, он усадил его на широкий стул из отшлифованного корневища. Он взял брата за подбородок и приподнял ему голову — не для разговора с глазу на глаз, а будто желая вновь уловить в его лице то выражение, которое в свое время побудило художника изобразить Клааса на нескольких полотнах: бывали минуты, когда Клаас смотрел на что-нибудь с таким наивным и вместе с тем неподдельно искренним, бессознательным восхищением или изумлением, весь захваченный представшим ему зрелищем, что Макс Людвиг Нансен изобразил его в своей «Тайной вечере», где Клаас, коренастый, ширококостый — само любопытство и ожидание — заглядывает в чашу; Клааса, похожего на забавную куклу-коротышку, можно увидеть в «Натюрморте с красным конем»; он же стоит наискось от Фомы Неверующего, будто замышляя какую-то озорную каверзу; а на картине «Берег моря с плясунами и отдыхающими» Клаас — светлоглазый, голуболицый — стоит и с жадной пытливостью смотрит на происходящее.

Эта редкая непосредственность переживания, которой отличался Клаас, была запечатлена по меньшей мере на дюжине картин, и когда там, в беседке, художник повернул голову Клааса к свету и заглянул ему в лицо, я решил, что он хочет опять увидеть то, особенное, выражение, но, возможно, это было не так, потому что он вдруг спросил:

— Понимаешь ли ты, понимаешь ты вообще, чего от меня требуешь?

Клаас безучастно смотрел на него.

— Ну что ж,— сказал художник,— вставай уж, пошли.

Он снова крепко обхватил брата руками, почти взвалил его на себя, и мы двинулись из беседки, прошли под прицелом всей шеренги окон, направляясь ко двору, и всю дорогу художник бранился, жаловался и осыпал нас — в том числе и меня — упреками за то, что мы натворили дел, а у него и своих забот предостаточно. Утих он только в коридоре. Он открыл дверь в восточное крыло дома, где вдоль окон тянулся коридор, а в коридор выходило сто десять дверей, ей-богу, не меньше — тяжелых, крашеных, серо-зеленых дверей, с торчавшими из замочных скважин ключами, судя по всему, самодельными.

Ту ли дверь открыл художник, какую надо было? Неужели он заранее знал, что поместит Клааса именно в эту комнату? В общем, он неожиданно остановился, отпер дверь, исчез, тотчас вернулся, пригласил нас кивком головы и осторожно повел Клааса внутрь. Это была ванная, то есть почти что ванная: кто-то — может быть, еще старый Фредериксен — отвел это помещение под ванную, распорядился устроить душ, поставить ванну — матово-белое страшилище на ножках в виде лап с когтями,— но ни душ, ни ванна так и не были подключены, не было ни крана, ни стока, ни водопроводных труб, оставалось предполагать, что затею с ванной забросили то ли по лености душевной, то ли просто-напросто забыли о ней, потому что старому Фредериксену трудно стало

отыскивать эту комнату среди множества других. Я еще и сейчас не пойму, зачем понадобилось превращать недоделанную огромную ванную в склад отслуживших свой век тюфяков, но тюфяков там действительно валялась целая груда, и художник стал выбрасывать их на пол один за другим, чтобы соорудить постель; после каждого такого броска в воздух подымались клубы пыли, пронизанные косыми, тонкими солнечными лучами. Когда постель была готова, художник велел Клаасу лечь на нее.

Брат опустился на четвереньки, но не удержался, повалился боком и вытянулся. Его била дрожь.

— Одеяло,— попросил он.— Найдется у вас одеяло?

— Найдем все, что нужно,— ответил художник и принялся наводить порядок под высоко расположенным от пола окном: сложил стремянку и унес ее в дальний угол, собрал свинцовые трубы, вентили, ножовки, прокладки и побросал все это в большую картонную коробку; сдвинул ногой в кучу куски засохшего цемента и известки, обрывки бумаги и окурки, снял с гвоздя поношенный пиджак в елочку, вытряхнул карманы, свернул и положил брату под голову вместо подушки.

Дышал Клаас прерывисто, с трудом. И смотрел на меня несчастными глазами. Сейчас, когда я сквозь дымку воспоминаний, сквозь клубы той давней пыли вижу, как он лежит на старых тюфяках, мне начинает казаться, что он вроде бы подавал мне какой-то знак, тайный сигнал, прося меня остаться. Пыль оседала на его лицо и веки. Я не понял того, о чем он просил. Художник, качая головой, прошелся по комнате, посмотрел, что еще нужно сделать, но, видимо, решил оставить все как было. Брат повернулся на бок и закрыл лицо локтем.

— Он сегодня еще ничего не ел,— сказал я и положил хлеб в изголовье тюфяка.

— Погоди, всему свое время,— остановил меня художник.— Раз вы откалываете такие номера, надо все делать по порядку. Мы ему тут дадим все, что ему понадобится. А теперь пошли, пусть он побудет один; это такое происшествие, что мне еще надо как следует поломать над ним голову.

(Продолжение следует)

ЛИЛИАМ ХИМЕНЕС

Из книги «Сердце мечты»

Перевод с испанского и вступление
ИННЫ ЧЕЖЕГОВОЙ

Я широко открытыми глазами на все
смотрела:
в сумраке густом
вечерние огни сверкали светляками,
вдали, как яростный язык огня,
флаг на ветру метался
на фоне серых туч,
над купами чернеющих деревьев...
В ночи сияла звезда
кремлевской башни.
О Москва! Москва!..—

так начинается «Песнь о знакомстве с Москвой». Автор этих искренних, наполненных радостным удивлением строк — Лилиам Хименес, сальвадорская поэтесса.

Не так давно она снова была в Москве, и мы встретились с ней. Лилиам Хименес — маленькая, худенькая, с очень темными огромными глазами, в скромном белом платье. Выразительный, богато интонированный голос. Живой, неподдельный интерес ко всему: к новому человеку, к предстоящей беседе. И у самой — нескрываемое желание рассказать, поделиться. И потому контакт с ней незамедлительный, как с давней и близкой знакомой, и разговор сразу обо всем — серьезный и радостный.

То немногое, что Лилиам Хименес успевает рассказать о себе и о своей жизни за время короткой встречи, а потом ее стихи, которые она дарит на прощанье, и новые, присланные позднее из Мексики, ее письма и статьи — все это складывается в единое впечатление о натуре незаурядной, талантливой, с не женской волей и нежным сердцем. И как подтверждение этого впечатления на редкость выразительный портрет поэтессы работы Давида Альфаро Сикейроса, сделанный художником для ее книги стихов «Сердце мечты». Эпиграфом к этой книге Лилиам Хименес взяла слова испанского поэта Висенте Алейксандре: «Поэт, любовь и скорбь — твои владенья», и сам сборник соответственно состоит из двух циклов: «Поэмы любви» и «Поэмы скорби». «Сердце мечты» — книга очень личная, глубоко выстраданная, но вошедшие в нее стихи отнюдь не камерная и еще менее того «женская» лирика. Стихи принадлежат женщине и говорят о любви, о ее ожидании, о неразлучных с нею счастье и горе. Но вся жизнь этой женщины — поэзия и борьба. Одно не существует без другого. Лилиам Химе-

нес — из тех, кто не может быть счастлив, пока несчастливы другие. Борьба вынуждает ее переезжать из страны в страну, подолгу жить в разлуке с мужем и детьми, вынуждает и сейчас жить в изгнании.

«Велика надежда человека добиться лучшей жизни для всех, и длинна дорога, которую нужно пройти, чтобы осуществить эту мечту... Каждый художник должен позволить действительности проникнуть внутрь себя, ведь подставляют же деревья свои ветви ветру, чтобы он сбил с них созревшие плоды»,— пишет Лилиам Хименес в своей статье «Положение писателя в обществе», опубликованной три года назад в «Иностранной литературе».

Как тонкое мужественное деревце стоит поэтесса на семи ветрах бурной латиноамериканской действительности, и на ветвях ее поэзии зреют все новые и новые прекрасные плоды.

Язык времен

Побудь со мной сегодня,
проживи со мной весь этот день и
эту ночь,
и ты узнаешь, в чем источник
вдохновенья.
Уолт Уитмен

Прошу, прислушайся к моим словам:
с посланьем тайным
к тебе я вестницей пришла
давно желанной.
К тебе пришла я, обойдя кругом всю землю,—
мне внятен нежный щебет птиц
и древний шум деревьев.
Переплывала я не раз крушений море,
захлебывалась голубой слезою горькой.
Прошла я тысячи дорог в лучах рассветных,
мне ведомы и свет костра, и тьма планеты...
Я переводчица мечты,
и жрицей верной
я днем и ночью сторожу
огонь священный.
И чтобы всех воспламенить мечты огнем,
перевожу язык людей я на язык времен.
Однажды я усну навек
в пыли дорожной,
и станут звездами глаза,
а грудь — зарею.

Постель песчаная меня
однажды примет,
но жаворонком тень моя
вспорхнет для жизни.
Ручьями, легкими, как вздох,
заплещут ноги,
листвой волос, ветвями рук
я птиц укрою.

И снова корни пустят жизнь
в моем уснувшем теле,
как пробивается трава
в скале среди расщелин.
Взойдет на сердце чудный мак,
и запоет молчанье:
из-под земли мое лицо
поднимется, как знамя.

Мелькают каждый день...

Мелькают каждый день столбцы газет —
застенки мыслей,— истину скрывая,
и пламенеющая новость ранит
расширенные ужасом зрачки,
и льются со страниц потоки фраз,
сенсаций, мнений, воплей и догадок:
клокочущим и мутным водопадом
они кипят в податливых мозгах,
рождая в людях темное смятенье,
лишая их радости и силы...
Еще слышны рыданья Хиросимы,
испепеленной дьявольским огнем,
но гонит дальше нас без передышки
лавина ежедневных новостей —
рога сенсаций с каждым днем острей.
И в суете газетной гибнет смерть
вне времени, без прошлого, без завтра,
и ноет жизнь, как тело от удара,
и мир округлой катится слезой,
спасаясь от калеки-милосердья.
Свет, появляясь, разгоняет тени,
но тени, встав, закрыть стремятся день,—
так человек живет, предвидя смерть,
в трагическом восторге перед жизнью.
И жизнь бежит, сливая воедино
волну смертей и волны ликованья:
агония — и рядом возрожденье,
там — ужас смерти, здесь — покой забвенья.
Но если с каждой смертью умирать,
то надо жить с обугленною кожей,
с больной душой, с кровоточащим нёбом,
жить на земле, надеяться и ждать.
А если жить бесцветно и убого,
с нехваткой денег, с беспокойным сном,
то умирать придется день за днем.
Рождаясь, первым криком человек
уже срывает почки с древа жизни,
живет он с каждым часом к смерти ближе
и лишь мечтой одолевает смерть.

Любовь

Я вхожу в кольцо твоих рук,
словно в сумерки — света луч.

И к тебе приближаюсь я,
словно утлое судно к неведомым островам.

И я брошу в конце пути
якорь в бухте твоей груди.

И в ее освежающей тени
мы с тобой как лианы в тесном сплетенье.

Я любила тебя еще раньше

Я любила тебя еще раньше, чем росы
выпадали на землю слезами,
еще раньше, чем розовый свет разливала
над полями заря,
я любила тебя раньше, чем в тишине мирозданья
пробудилась земля.

Я извечно любила тебя,
я искала тебя на спирали времен,
в каждой паузе, тени и в каждом паденье своем
я тебя заклинала дойти до меня
сквозь дожди и пески,
сквозь вершины и бездны,
сквозь мой крик и мою немоту.

Я в безмолвье ночей
все ждала твой корабль,
чтоб однажды он якорь
бросил в сердце моем...

Ты приплыл,
ты открыл мой пылающий остров,
океан одиночества избороздив,
и, приплыв победителем, нежен и прост был...
Все иные пути для меня перекрыв,
ты смирил лихорадку моих ожиданий,
тишину их смутив...
Закружившей мне голову
горной рекой
ты, разлившись, долины мои затопил,
косы ветру расплел,
птиц мечты разбудил...
Ты на звездном луче до меня долетел,
ты был мягок, как мох, ты был тверд, как металл,
только ты зазвенеть
смог заставить бокал
моего онемевшего тела.

Когда воскресенье приносит желанный досуг

Когда воскресенье приносит желанный досуг
и радость свободы
в проснувшийся город и спящее поле,
и хочется вновь говорить о надеждах,
ходить босиком
и волосы ветру подставить — пусть треплет их вволю.

Когда воскресенье приходит с веселым лицом,
нам рай обещая недолгий,
и хочется лечь на остывшие камни,
где чья-то слеза
не высохла за ночь,
и телом отдаться горячему солнцу.
И хочется детям успеть рассказать,
как цветы засыпают,
куда улетают от нас перелетные птицы,
как музыка в мире звучит, хоть ее мы не слышим,
как золотом время течет, хоть его мы не видим.

Увы, в воскресенье как раз
в доме нет ни гроша,
и не на что выполнить
глупые эти желанья:
с волной наигравшись,
на небо смотреть неотрывно, пока,
легко отделившись сама от себя,
ты, лежа на теплых камнях, не исчезнешь в пространстве.

Ну что ж...
Пусть вечер агонией долгой нам давит на мозг,
и смотрит звезда нелюбви с неприветного неба,
и несправедливость недобрым туманом встает,
и скорбь одиночества падает хлопьями снега.

ХАННА МИНА

Парус и буря

РОМАН

Перевод с арабского Л. МЕДВЕДКО и В. ШАГАЛЯ

ГЛАВА 8

Таруси не слушал, о чем говорили Абу Хамид и его друзья. Их голоса заглушались раскатами грома и грохотом бьющих о скалы волн. Такой шторм бывает не так уж часто. Ярко вспыхнула молния, будто по отсыревшему краю неба чиркнула гигантская спичка и тут же потухла, с оглушительным треском переломившись пополам. Забарабанил дождь. Завыл ветер. И вдруг снова, на этот раз над самой головой, небосвод вспыхнул, загорелся ослепительным блеском и словно обрушился на грешную землю. Щели двери загорелись желтым пламенем и сразу погасли. Заскрипели стены кофейни. Ветер сорвал тент и, подхватив его, поволок по земле к обрыву.

— Господи, пощади тех, кто в море! — невольно воскликнул Таруси.

Он не мог сидеть спокойно. Его нервы напряжены. Буря взбудоражила все его мысли и чувства. Он прильнул к затуманенному окну и весь подобрался, точно шторм застал его не в кофейне, а в открытом море.

Город тоже словно испуганно притих, прислушиваясь к шторму. Но жизнь в нем продолжала идти обычным чередом. Каждый на свой маневр и по своим возможностям старался укрыться от бури — за толстой стеной или под теплыми одеялами, с помощью едкого табачного дыма или ароматного кофе, учебников или экрана кинотеатра. В городе сделать это, конечно, легче, чем в открытом море или даже на берегу. Зимой берег, как оголенное дерево под дождем, кажется уныло-сиротливым и безжизненным. Не видно ни влюбленных, ни гуляк, ищущих на берегу приключений, ни накрашенных девиц, бросающих на прохожих недвусмысленные взгляды, ни городских кокеток, выходящих показать друг другу свои наряды, ни молодых матерей с детскими колясками, ни седеньких старичков под тентом кофейни, вспоминающих за чашкой кофе ушедшую молодость. Набережная сейчас пустынна и безлюдна. Только изредка по ней пройдет, согнувшись, рыбак или пробежит запоздавший матрос. Даже дома на набережной будто отвернулись от моря, наглухо закрыв окна и двери балконов. Да и многие моряки и рыбаки сами изменяют морю в зимнее время, предпочитая отсиживаться в комнатах, которые они снимают в тесных домах темных кварталов, подальше от берега. Лишь две скромные кофейни «Асафири» и «Шанта» сохраняют зимой верность берегу, хотя и лишаются многих постоянных посетителей. Жизнь зимой в них еле теплится, как тусклые огоньки в качающихся под потолком мутных лампах. И только в гостинице «Казино», словно крепость возвышающейся у самого моря, жизнь кипит ключом. Здесь зимними вечерами собирается избранная публика — городские богачи, помещики, отцы города и их подручные. Они играют в бридж, в покер, беседуют, заключают деловые сделки. Иногда в просторных залах гостиницы на первом этаже устраиваются балы, музыкальные вечера. Ну, а в номерах гостиницы, за спущенными шторами, происходит такое, о чем можно узнать, только когда все завершится очередным шумным скандалом.

Берег будто вымер. Грохот волн тревожной болью отзывался в сердцах матерей и жен моряков, которых шторм застиг в море. Ни одна из этих женщин не могла сомкнуть глаз, думая о сыне или муже, который сейчас неведомо где вступил в смертельную схватку с бурей. Ведь недаром люди говорят: «Моряк уходит в море умирать, ступил на берег — родился опять».

Окончание. Начало см. в № 4.

— Не бойтесь! — успокаивала жена Рахмуни собравшихся у нее матросских жен.— Раз Рахмуни с ними, бояться нечего. Он в море бывает больше, чем на суше. Уходил и в шторм, и в ураган и всегда возвращался невредимым. А вместе с ним живыми и здоровыми возвращались и все его матросы. Так и теперь будет. Помяните мое слово!

Женщины хотели ей верить и не могли. Их глаза, грустные и тревожные, смотрели на жену капитана с недоверием, как бы спрашивая: «Зачем Рахмуни ушел в такую погоду и к тому же так далеко? Почему он не вернулся вместе с другими, как только начался шторм? Сама, наверно, уже не веришь, что они вернутся. И говоришь так только, чтобы нас успокоить!»

— Вот увидите, они скоро вернутся! — продолжала жена Рахмуни.— Я знаю своего Рахмуни и совсем не тревожусь. Сердце мое спокойно.

Но она говорила неправду. Ее сердце тоже сжималось от страха. Где он? Что с ним? Удастся ли ему вернуться? Или это проклятое, безжалостное море, которое постоянно разлучало ее с мужем и заставляло проводить в ожидании не одну бессонную ночь, на этот раз не выпустит его из своих объятий?

А буря все не стихала. Ветер яростно хлопал ставнями, настойчиво стучался в двери, сотрясал стены. Гром то глухо рокотал вдалеке, то оглушительно взрывался над самой головой, вселяя еще больший ужас в души бедных женщин. Притихшие дети испуганно прижимались к матерям, в паузах между раскатами прислушиваясь к многоголосому оркестру бури.

Часы пробили одиннадцать. Потом двенадцать. С каждым новым ударом все сильнее натягивались струны нервов, готовые вот-вот лопнуть.

Не дождавшись последнего удара, одна из женщин вскочила и решительно направилась к дверям. Жена Рахмуни попыталась ее удержать, но та не стала ее слушать. Хлопнув дверью, она выбежала на улицу. Вслед за ней ушли и остальные. Жена Рахмуни попросила соседку присмотреть за детьми, а сама тоже поспешила в порт.

Моросил мелкий, как водяная пыль, дождь. Ветер сбивал с ног. Все было окутано непроницаемым мраком. Идти приходилось на ощупь. Только в кофейне «Шанта» еще горел свет. Поздние посетители, услышав голоса, вышли и присоединились к толпе женщин. По дороге несколько человек забежало в кофейню Таруси. Узнав, что Рахмуни до сих пор не вернулся, Таруси, а вслед за ним Абу Мухаммед, Халиль Арьян и еще несколько матросов, засидевшихся в кофейне, побежали в порт.

— Я же говорил вам, что сегодня не следовало уходить далеко в море,— еле поспевая за Таруси, назидательно говорил Абу Мухаммед, обращаясь к спутникам.— Таруси еще утром предупреждал, что к вечеру будет шторм. А вы не верили!

В порту собралось много народу — матросы, сторожа, грузчики, таможенники, полицейские, жены и дети моряков. Вскоре появился и начальник порта. Он назвал все суда, которые выходили сегодня в море. Не вернулось только судно Рахмуни.

— А может быть, они укрылись в какой-нибудь бухте, а то и на Кипре, или в Баниясе, или же в другом каком-либо порту? — вслух рассуждал он.

Из своего кабинета начальник порта позвонил по телефону в ближайшие порты. Но ничего утешительного не узнал — фелюга Рахмуни туда не заходила. Из Баниаса обещали выслать на розыски катер. В Тартусе и Арваде тоже обещали организовать поиски Рахмуни.

Сообщив об этом, начальник порта, оправдываясь, добавил:

— У нас тоже катер наготове. Но ведь наш порт совсем открыт, не то что другие. В бухте волны, как в открытом море.

Все сразу зашумели. Каждый высказывал свои предположения, что-то предлагал, спорил. Женщины причитали и плакали все громче.

— Зачем вы их хороните прежде времени? — успокаивал женщин Таруси.— Если с ними Рахмуни, они вернутся живые и невредимые. Уж поверьте. Рахмуни опытный моряк. Всю жизнь провел на море. Ну, а буря долго продолжаться не может. Скоро стихнет, и к утру они вернутся.

Таруси посмотрел вверх, словно стараясь убедиться в неизбежном и близком просветлении. Но небо по-прежнему было затянуто тучами. Нигде ни звездочки. А дождь все моросил и моросил, смешиваясь в воздухе с солеными брызгами разбивавшихся о пирс волн. Трудно было поверить, что совсем недавно ярко светило солнце и небо было голубым. Да, февраль, поистине, самый коварный месяц!

Тут на пирс с грохотом обрушилась огромная волна и окатила холодными брызгами стоявших на набережной людей. Таруси посоветовал женщинам и детям уйти с пирса.

Таруси подошел к морякам, окружившим начальника порта.

— Начальник, больше медлить нельзя! Если катер наготове, надо быстрее его отправлять! — сказал он.— Ветер западный и стихнет не скоро. Судно Рахмуни будет относить все дальше, а долго продержаться они не смогут.

— Верно,— ответил начальник.— Но ты разве не видишь, какие волны в бухте? Катер и отойти не сможет.

— Но ведь в море гибнут люди! Нельзя же их бросить! — горячился Таруси.

— Подождем еще немного... Аллах милостив!..

— Чего ждать? Потеряем драгоценное время! Его потом не нагонишь. Рахмуни, наверно, ушел за султанкой далеко в море. Ветер гонит его на восток все дальше. Сколько Рахмуни продержится — кто знает. Всему ведь есть предел.

— Правильно, Таруси! Надо быстрее послать катер! — наперебой поддержали Таруси моряки.

— Ладно, я согласен,— наконец уступил им начальник порта.— Но ведь сам катер не пойдет. Надо подобрать команду и капитана.

Сразу наступило неловкое молчание. Кто решится взять на себя такую ответственность? Одно дело — советовать, предлагать, другое дело — самому сейчас выйти в море. И других не спасешь, и сам можешь погибнуть.

— Я согласен повести катер, начальник! — нарушил тягостную тишину Таруси.

Моряки не успели опомниться, как в середину кружка пробился стоявший поодаль Ахмад.

— Я пойду с Таруси! — сказал он.

— И я!

— Я тоже иду с Таруси!

Потом нашелся и четвертый доброволец.

Жена Рахмуни, воздев руки к небу, начала молиться:

— Господи, великий и всемогущий, сохрани им всем жизнь! Помоги им в море! Не покидай их одних в беде! Будь милосерден!

— Господи, помоги! Будь милосерден! Не отвернись от них в беде! — подхватили молитву женщины, бросившиеся благословлять Таруси и его спутников.

Чтобы все еще колебавшийся начальник порта не успел передумать, Таруси тут же отдал команду своим добровольцам:

— А ну, ребята, поторапливайтесь. Нам сейчас дорога каждая минута. Давайте канаты, веревки, спасательные круги! Кладите цепь! Тащите якорь!

Но тут через пирс перекатилась огромная волна и, обдавая брызгами людей, невольно попятившихся назад, к стене управления порта, десятками ручьев растеклась по набережной и словно нехотя стала возвращаться назад, в море.

— На катер! — скомандовал Таруси.— Держитесь крепче! Упирайтесь в пирс шестами, чтобы не разбило!

— Где фонарь? — закричал Ахмад.— Ничего не видно! Надо посветить. В темноте и каната не нащупаешь.

— Эй, вы! Не забывайте, сейчас — война. Зажигать запрещено,— неуверенно напомнил начальник порта и тут же отскочил назад, заметив приближение очередной волны.

Наконец все было готово. Трое моряков вслед за Таруси прыгнули в катер. Взревел мотор. За кормой вскипела пена. Отдали швартовы. Бросили канат, и катер, словно застоявшийся конь, взлетел на одну волну, потом, ринувшись с ее гребня вниз, врезался носом в другую и на мгновение исчез. Затем снова вынырнул и вновь исчез. Казалось, он не двигается, а только пляшет на волнах, то немного удаляясь, то снова приближаясь к берегу.

— Задраить люк! — скомандовал Таруси.— Чтобы ни одна капля не просочилась в двигатель!

С берега им махали руками, выкрикивая последние напутствия:

— Счастливого плавания!

— Счастливого возвращения!

Но Таруси видел только машущие руки. Он продолжал отдавать одну команду за другой.

— Руль прямо! Так держать, пока не выйдем из порта!

Катер с трудом продвигался вперед, словно разрывая носом туннель среди вставших стеной на его пути волн. Взлетая на гребень волны, катер вдруг опасно кренился, и Таруси, подбадривая себя и своих матросов, выкрикивал:

— Держись, ребята!

А сам, впервые за многие годы почувствовав себя снова в родной стихии, уверенно вел катер в открытое море.

ГЛАВА 9

Люди на пирсе стали расходиться. Женщины медленно побрели домой. Кое-кто из постоянных завсегдатаев кофейни Таруси тоже решил вздремнуть часок-другой. В порту осталось только несколько моряков и начальник порта. Ветер неистовствовал. Он срывал черепицу с крыш. Дождь упорно и непрерывно барабанил по крышам и стеклам. По улицам неслись потоки воды, подмывая стены глинобитных лачуг. Город испуганно притих, затаился, пряча ужас перед взбесившейся стихией.

В кабинет начальника порта, запыхавшись, вбежал Халиль Арьян:

— Погиб наш Таруси! Зачем ты позволил ему в такую бурю выйти в море?

— Разве я ему позволил? Я ему говорил — не ходи. Да разве Таруси кого-нибудь послушается? — начал оправдываться начальник порта.— Что я мог сделать? Вызвать полицию? Если уж Таруси на что-нибудь решился, его не остановить. Сам очертя голову бросился в катер и других за собой потащил.

Начальник порта кричал, давая выход накопившейся злости. Нервы у него, как и у всех, были натянуты до предела. Упрек Халиля явился последней каплей, и он даже обрадовался случаю сорвать на ком-то свой гнев.

— Может быть, и так, начальник,— сказал сидевший на корточках у дверей Абу Мухаммед.— Но, по-моему, ты не запрещал Таруси выходить в море.

— Нет запрещал!

— А я что-то не слышал.

— Значит, ты оглох.

— Я, конечно, мог и оглохнуть. Но не все же сразу стали глухими. Таруси-то не глухой.

— Твой Таруси упрям, как осел.

— Нет, он просто верит в себя. И знает, что говорит. Он еще утром сказал, что будет шторм. Так и вышло. А кое-кто не верил! Еще смеялись надо мной: дескать, твой Таруси не пророк и знать волю аллаха ему не дано.

— Ладно, Абу Мухаммед! — примирительным тоном сказал начальник порта.— Верь себе на здоровье в своего пророка. Мы тебе не мешаем. Но не думай, будто умнее Таруси нет никого. Мы тоже кое-что понимаем. Клянусь аллахом, что знаю море не хуже твоего Таруси. А все равно такое случается, чего заранее никак не угадаешь!

— Конечно, все не предугадаешь. Только море понимать надо,— не сдавался Абу Мухаммед.— Таруси так понимает море, будто книгу читает.

— Как же он читает — по слогам или по буквам? — съязвил начальник порта.

— По звездам. А понимает и сердцем и умом.

— А ты сам чем понимаешь — головой или только затылком, когда стукнешься им о палубу? — попытался сострить начальник порта.

Моряки беззлобно засмеялись. Люди иногда и глупой шутке рады — все-таки помогает разрядить тягостную атмосферу. Абу Мухаммед насупился, но промолчал.

«Обождите, вот вернется Таруси, вам покажет!» — подумал он.

— И чего он так взъелся на Таруси? — спросил Халиль Абу Мухаммеда, когда они возвращались из порта.— А ты Таруси про это скажешь?

— Зачем? Чего доброго, Таруси его на тот свет отправит. И угодит из-за него в тюрьму!

— Да-а,— протянул Халиль.— А мне все-таки страшно за него, клянусь аллахом!

— За кого? — спросил Абу Мухаммед.

— За Таруси.

— Нечего за него бояться,— возразил Абу Мухаммед, прибавляя шагу.— Правда, сам я с ним ни разу в море не ходил, да только все говорят, что в море Таруси у себя дома. Никого и ничего не боится — ни черта, ни дьявола, ни бури, ни урагана.

ГЛАВА 10

Таруси в это время было совсем не до размышлений о том, что о нем говорили и думали на берегу. Все его внимание было сосредоточено только на штурвале. Он чувствовал под собой упругие волны и, будто отталкиваясь от них собственным телом, рвался вперед. Только вперед! Наконец-то у него снова в руках штурвал! Опять он вернулся в свою родную стихию. Он в море. Какое это счастье!

Насколько все-таки моторный катер не похож на парусник. Сейчас он это особенно почувствовал. И сразу оценил все достоинства катера. Ну, разве сравнится с ним парусное судно? Маневрируй, как хочешь! Конечно, Таруси прекрасно знал, как опасно выходить в море в такую погоду. Это был риск, и немалый. Даже выйти из бухты в открытое море было не так просто. Громады побелевших от злости волн бросались в атаку, готовые все сокрушить на своем пути. А нужно было не только устоять перед этим бешеным натиском, но и самим перейти в контратаку. Главное — мотор. Если он заглохнет, то придется туго.

— Мотор в порядке, капитан. Закрыт хорошо. Но волны захлестывают с бортов, и вода внизу все прибывает и прибывает.

— Ничего! — ответил Таруси.— Воду откачаем. Эй, Исмаил! — закричал он вдруг, стуча кулаком по кожуху машинного отделения.— Убавь обороты! Ветер, кажется, изменился. Будем держать, ребята, на северо-восток, чтобы обойти залив стороной.

Катер, изменив курс, стал поперек волны и накренился. Мотор жалобно затарахтел, будто застонав под ударами волн, которые били по катеру, обдавая моряков с головы до ног холодной соленой водой. Промокшая от морских брызг и дождя одежда облепила их тела. Выпрямившись, катер снова пошел в лобовую атаку на нескончаемые ряды волн.

Штурвал дрожит, будто кто упрямо вырывает его из рук Таруси. Еще усилие. Еще один поворот. Необходимо лавировать. Таруси все сильнее сжимал штурвал, то направляя катер прямо на волны, то резко его поворачивая. Соленая вода щиплет глаза, но он не может их протереть. Дождь льет не переставая. Небо все в тучах. От соли горько во рту. Но надо действовать. Действовать, не теряя ни минуты. Иначе конец. Конец и катеру, и людям. Смерть грозит не только Рахмуни, но и им тоже.

Буря поймала в свои силки и судно Рахмуни, и катер Таруси. Она уже разверзла бездну небытия, чтобы поглотить их навсегда. Они должны вырваться из этой западни. Уйти от беды. Обмануть ее.

Таруси наклонился вперед. Словно приподнялся в стременах, готовясь взять еще один барьер.

Катер взлетает вверх и тут же стремглав проваливается вниз. Мотор ревет где-то в воздухе, потом, захлебнувшись, начинает глухо бормотать.

— Много воды? — крикнул Таруси Ахмаду.

— Много! Почти до щиколотки. Хоть бы дождь, проклятый, перестал.

Последнюю фразу он произнес вполголоса, тем не менее Таруси услышал ее, уловил раздражение и мольбу, тайную надежду и упрек. Это был уже голос не портового сорванца, шатающегося по набережной в поисках приключений, а голос закаленного моряка, принявшего вызов моря и готового, стиснув зубы, преодолеть любые невзгоды.

— Ты устал? — спросил Таруси.

— Об этом не нужно спрашивать, капитан!

«Молодчина. Ответ достоин настоящего моряка»,— подумал про себя Таруси.

Мужество Ахмада придало силы и ему, укрепило решимость бороться до конца. «Если будем откачивать, вода выше щиколотки не поднимется,— подумал Таруси.— Главное, чтобы она не добралась до мотора».

— Исмаил, откуда протекает вода?

— Снизу, капитан,— Исмаил постучал при этом по двери, показывая на щель внизу.

— Дай-ка мне банку! Эй, Ахмад, держи руль все время прямо, чтобы волны не захлестывали через борт!

И Таруси с веселым азартом начал вычерпывать банкой воду. Он решил сделать это сам, чтобы дать передохнуть команде. Но разве они могли стоять сложа руки и смотреть, как работает капитан? Вода заметно убывала. Наконец Таруси разогнулся и, отбросив банку, сказал:

— Ну, пожалуй, сойдет.— Потом он сбросил с себя бушлат и скомандовал:— Исмаил, открой дверь, только быстро, чтобы воды не натекло!

Исмаил, не понимая, чего хочет капитан, с силой потянул на себя дверь, и Таруси мгновенно расстелил бушлат на пороге.

— Теперь закрывай! Посильней толкни! Захлопнется дверь, и все будет в порядке! Воды к тебе не просочится ни капли.

Дверь с трудом, но закрылась. Все это произошло так быстро, что Исмаил не успел даже опомниться. Он с восхищением посмотрел на Таруси. Усталый и улыбающийся, тот стоял в одной рубашке и шароварах.

— Тебе не холодно?

— Было холодно, теперь жарко,— ответил Таруси, вдохнув полной грудью и почувствовав новый прилив сил.

Откинув рукой упавшие на глаза волосы, Таруси натянул на голову мокрую шерстяную шапочку и вернулся к штурвалу.

— Пора менять курс,— сказал он.— Надо держать прямо на север. Ветер теперь будет дуть нам в корму, и мы быстро нагоним Рахмуни.

Катер, разрезая носом волны, упорно пробивался вперед. Таруси все так же крепко сжимал штурвал, внимательно вглядываясь в черную даль. Остальные, сменяя друг друга, продолжали вычерпывать воду.

В плотной пелене туч вдруг появилась светлая полоса. Вот показалась луна, и горизонт сразу раздвинулся. Наконец-то они смогли увидеть друг друга, а главное — увидеть море!

— Смотрите! — истошным голосом закричал вдруг кто-то, показывая пальцем на темный предмет в стороне от катера.

Таруси не успел ничего толком разглядеть, как луна снова скрылась. И снова небо и море растворились во мраке.

Таруси обеими руками сжал штурвал, направляя катер туда, где они заметили неизвестный предмет.

Прошла минута, вторая, третья... Все молчали, с тревогой и надеждой ожидая чуда. Черная пелена ночи, наброшенная на небосклон, начала постепенно рваться, расползаться на части, и вдруг забрезжил слабый свет занимающейся где-то там, за тучами, робкой утренней зари. Сразу посветлели лица матросов. Свет озарил не только усталые лица, но и проник в измученные души, вселяя новую надежду. Теперь они снова могли полагаться на свои глаза, они снова видели мир, и пенные горы волн, и серое пасмурное небо, и весь горизонт. Первым заметил деревяшку Таруси и крикнул:

— Смотрите, ребята, это, кажется, весло!

Наступило тягостное молчание. Никто не хотел первым его нарушать. Каждый думал про себя: «Весло... значит, они погибли». Найти весло в море — это все равно что подобрать винтовку на поле боя, поймать оседланную лошадь без всадника. Выловив весло, моряки долго передавали его из рук в руки, не решаясь разорвать гнетущее безмолвие. А со всех сторон, точно свора взбесившихся собак, брызжа пеной, набрасывались на катер волны и зловеще свистел ветер, будто злорадствуя, что им

уже не найти тех, кого они ищут и от кого не осталось никаких следов, кроме этого весла.

— Что ж, капитан, видно, мы опоздали? — произнес, наконец, ни на кого не глядя, пожилой моряк.

— Да, может быть, мы опоздали,— после продолжительной паузы негромко сказал Таруси.— Но мы сделали все, что было в наших силах. Мы исполнили свой долг, и теперь нам остается только идти по ветру. Обломки волны сами выбросят на берег.

Таруси говорил спокойно, почти бесстрастно, повернувшись к морякам спиной и все еще вглядываясь в морскую даль. Снова воцарилось гробовое молчание. Слышно было только, как стучит мотор. Люди, осмелившиеся бросить вызов самому морю, теперь не решались взглянуть друг другу в глаза. Всех сразу охватила смертельная усталость. Что они скажут женам и детям погибших моряков? Как их встретят на берегу?

— Смотрите,— крикнул кто-то.— Еще весло!

Недалеко от катера между волнами мелькнуло и скрылось весло. Еще одно напоминание о трагическом конце Рахмуни и его матросов.

— Нет, это еще не значит, что они все погибли. Может быть, нам удастся найти кого-нибудь. Почему вы молчите? Почему? Ведь на море всякое бывает! Вы же сами знаете, что такое море!

Таруси не мог больше сдерживаться. У него тоже, наконец, сдали нервы. Ему хотелось кричать, ругаться. Ему необходима была разрядка, но, дав выход своему раздражению, он успокоился так же внезапно, как и взорвался. Будто внутри захлопнулся какой-то клапан, выпустивший излишек накопившейся злости. Таруси попросил закурить. Ахмад протянул ему уже зажженную сигарету, но о катер снова ударилась волна, обрушив на них дождь соленых брызг. Таруси не успел даже затянуться, как намокшая сигарета потухла. Не вынимая ее изо рта, Таруси принялся жевать табак.

Хотя солнца не было видно, становилось все светлее; когда катер взлетал на волне, взгляд охватывал широкие просторы моря. Но они не видели ничего, что могло бы внушить надежду.

— Наверно, фелюгу Рахмуни разбили волны? — спросил Ахмад.

— Нет, она пошла на дно,— ответил Исмаил.— Иначе остались бы какие-нибудь следы.

Ахмад продолжал задавать один вопрос за другим. А не могли ли они спустить лодку? А долго ли можно продержаться на спасательном круге? А если человек утонул, то когда всплывет его труп? Куда унесет тело утопленника? Обязательно ли волны прибьют его к берегу? В конце концов его расспросы вывели Таруси из себя, и он крикнул:

— Да замолчи ты! Сколько можно приставать к людям?

Таруси отвернулся от Ахмада, уже раскаиваясь, что накричал на парня.

Шторм продолжал бушевать. Но он уже не казался таким страшным, как ночью. Даже в бледных отблесках рассвета можно было увидеть самую опасную волну, увернуться от нее или взобраться на гребень, чтобы лучше обозревать все вокруг. Таруси не сомневался, что скоро погода изменится. Ветер спадет, волнение поутихнет, и возвращаться обратно будет намного легче. Но и на обратном пути они продолжали поиски. Особенно внимательными нужно быть там, где они нашли весла. Но ветер гнал катер куда быстрее, чем этого хотелось. Исмаил сбавил обороты. Однако умерить напор ветра было не в их силах — им оставалось только плыть по воле волн и ветра.

Прошло полчаса. Утро вступило в свои права. Просветлели дали. И вдруг... Словно мираж в пустыне, перед ними возникла фелюга. Качаясь на волнах, как огромный поплавок, она то появлялась на гребне, то исчезала за водяной горой, тщетно ища спасения в этом круговороте стихии. У них не было ни бинокля, ни подзорной трубы. Но Раджаб без всякого колебания заявил, что это судно Рахмуни. Моряки радостно закричали и умолкли, ожидая, что скажет капитан.

«Да, скорей всего, это она»,— подумал Таруси и, приняв решение, круто повернул руль.

— А ну, ребята, за дело! — сразу повеселев, скомандовал он. Но остальные и без его приказа уже засуетились. Кто разворачивал тросы, кто готовил спасательные круги. Таруси, вцепившись обеими руками в штурвал, с трудом сдерживал волнение.

— Исмаил! — распорядился он.— Прибавь-ка обороты!

Катер рванулся вперед, но не смог повернуть навстречу ветру и, словно кто дернул его за узду, вильнул в сторону. Таруси волей-неволей поставил руль прямо.

— Ну-ка, ребята, попытаемся еще разок. Не в лоб возьмем, так сбоку.

Ахмад предложил запеть песню — может быть, на фелюге их услышат. Но его идею никто не поддержал. Тогда Ахмад закричал во всю мочь:

— Эй, ребята, держитесь! Мы пришли к вам на помощь! Не бойтесь — мы с вами!

Закричали и остальные, но ответа не услышали. Тогда Таруси вытащил из-за пояса пистолет. Он выстрелил, потом подождал и выстрелил еще раз. Опять никакого ответа. Таруси, сунув пистолет за пояс, тихо произнес:

— На фелюге, наверно, никого нет.

Как ни тихо произнес он эти слова, их услышали все. И словно вода хлынула на огонь. Все сразу поникли. Воскресшие было надежды уступили место новому разочарованию.

И тут голос Таруси властно произнес:

— Фелюгу не бросим! Не дадим ей погибнуть!

Этот приказ удивил моряков. Они недоуменно переглянулись. Ведь они вышли спасать Рахмуни и его команду, а не судно. Зачем его спасать, если оно разбито и там никого нет?

Но Таруси рассуждал по-другому: «Фелюгу надо спасти во что бы то ни стало! Если б тогда кто-нибудь помог спасти мое судно! Я бы не томился в кофейне. А вдруг Рахмуни все-таки жив?! Как он обрадуется, когда фелюга вернется в порт! Как мы вчера радовались, спуская на воду новое судно. Но еще больше будет радости и веселья, когда люди увидят фелюгу, которую все уже считали погибшей. Если бы мне отдали хотя бы частицу моей «Мансуры», я бы всю жизнь хранил ее как самую большую драгоценность».

Как ни любили и ни уважали моряки Таруси, они вовсе не обрадовались неожиданному решению, которое он хотел навязать им, не спрашивая даже их совета. У них есть дети, есть жены, да и собственная жизнь им дорога. Зачем же рисковать напрасно? Буксировать разбитое судно в такой шторм — это безумие. Ведь фелюга может в любой момент пойти на дно и увлечь за собою катер. Но вслух ничего не сказали. Во-первых, в глубине души каждый надеялся, что на фелюге все-таки кто-то остался и они спасут своих братьев-моряков, не оставят их на съедение рыбам. Во-вторых, они хорошо знали Таруси: уж если он что-то решил, переубеждать его или спорить с ним бесполезно — все откажутся, он сам сделает. Таруси, словно отгадав их мысли, начал вдруг медленно раздеваться. Он снял пояс, попросив Ахмада убрать пистолет в какой-нибудь уголок, где посуше, потом снял шаровары, оставшись в одних трусах. Шаровары он тоже отдал Ахмаду. Затем он круто повернул руль, направив катер к фелюге так, чтобы подойти к ней с кормы.

Катер медленно приближался к фелюге. Теперь они уже могли разглядеть ее как следует: мачта накренилась, паруса порваны, и на ветру болтается только несколько лоскутов. Лодки на корме не было, и через палубу перекатывались волны, нигде не было видно ни одной живой души. Катер подошел к фелюге почти вплотную, но тут между ними вырос гигантский вал, как будто сама смерть, увидевшая, что кто-то покушается на ее добычу, встала на их пути. Первая попытка подойти к фелюге оказалась тщетной. Вторая тоже не увенчалась успехом. Ветер отнес катер далеко в сторону от фелюги. К тому же гигантская волна захлестнула катер с кормы, и на некоторое время моряки потеряли из виду не только фелюгу, но и друг друга.

Таруси нахмурился. Его лицо посерело и осунулось. Губы нервно подергивались. Глаза еще больше покраснели. На лбу кровоточила ссадина. Его ноги были напряжены так, словно не катер, а он сам прыгал с волны на волну. Он застыл на корме, крепко держа обеими руками штурвал, и, наклонившись вперед, казалось, приготовился к решающему прыжку на врага, который уже поднял ружье и прицелился.

В душе у Таруси происходила борьба. Принять вызов, попытаться еще раз подойти к фелюге? Но разве он может быть уверен в успехе, когда встает перед ним сама смерть, грозя перевернуть и поглотить их катер? Выжидать — значит подставлять катер под новую волну. И чего не сделала первая, сделает вторая или третья. Медлить нельзя. А тут еще опять начал моросить мелкий дождь, застилая все серой пеленой. Подойти к фелюге вслепую еще труднее... Голос здравого смысла требовал: «Оставь эту затею. Судно Рахмуни нельзя спасти. Судьба его уже решена. Пока не поздно, возвращайся домой! Ты свой долг выполнил. Нельзя рисковать жизнью людей, которые доверились тебе. Не будь таким упрямым! Откажись от своей затеи! Оставь это судно!»

Но его совесть возражала: «Неужели ты испугался? Ведь ты решил спасти судно Рахмуни любой ценой! Какой же ты моряк, если не готов к самопожертвованию? Погибнешь — о тебе скажут: «Дурак — пошел на верную смерть». А вернешься с пустыми руками, скажут: «Трус — даже не попытался спасти судно, хотя бы немного утешить семью погибшего». Выбирай! Но смотри не ошибись!»

Эти мысли как молнии вспыхивали в его сознании, будто освещая путь к тому единственно правильному решению, которое он должен был принять. Он хотел подтвердить свое право называться моряком, доказать свою смелость и мужество. Но главным было желание испытать неповторимое чувство радости и счастья, когда он на глазах у изумленных людей в порту будет буксировать к берегу уже похороненное всеми судно.

Ветер относил катер все дальше и дальше от шхуны. И когда моряки уже не сомневались, что капитан внял голосу благоразумия и отказался от своего безумного плана, Таруси принял твердое решение продолжать начатое. Он только кое в чем изменил свой первоначальный план. Оставалось только его выполнить. Но прежде он должен прямо поговорить с матросами, объяснить им этот план.

Не выпуская из рук штурвала, Таруси подозвал остальных. С печалью и даже с каким-то состраданием он посмотрел каждому из них в глаза, будто прощаясь с ними навсегда, и с трудом, словно превозмогая боль, глухо произнес:

— Друзья...

Голос его дрогнул, и он замолчал. От этого молчания у моряков сразу сжались сердца. Они интуитивно почувствовали, что за этим словом, которое с таким трудом выговорил капитан, скрыт очень важный и, очевидно, опасный смысл. Это было ясно хотя бы уже потому, что Таруси слишком долго молчал, прежде чем его произнести.

— Друзья! — повторил Таруси уже совсем твердым голосом.— Я решил спасти это судно, и я его спасу!

У моряков отлегло от сердца. Они и так знали, что Таруси обязательно попробует добиться своего. Его упрямство всем известно. Но непонятно только, почему он так долго молчал. И вообще, зачем ему понадобилось говорить об этом?

— Вы вернетесь на катере в порт! — закончил Таруси твердым тоном.

— Как же так? А ты, капитан? — с недоумением воскликнул Исмаил.

— А я оставлю катер и доберусь до фелюги вплавь,— стараясь казаться спокойным, объяснил Таруси.

Вдруг раздался оглушительный раскат грома, и с неба хлынули потоки дождя. Но на него никто не обратил внимания. Казалось, он полил даже кстати, нарушив слишком тягостную тишину. Если бы дождь мог смыть и тот горький осадок, который остался от слов Таруси! Возражать ему бесполезно! И тем не менее они сказали капитану, что одного его никуда не отпустят.

Таруси ответил не сразу. Он молча повернул штурвал и направил катер к фелюге, ловко обогнув встречную волну, и только потом сухо сказал:

— Я с вами спорить не собираюсь. Я — капитан, и я отвечаю за катер. Поэтому и приказываю вам идти на катере в порт. А за меня можете не беспокоиться. Я плаваю хорошо. До фелюги доберусь и постараюсь привести ее в порт. А потонет, нам не в чем будет себя упрекнуть. Мы сделали все, чтобы ее спасти. Конечно, можно было бы попробовать взять фелюгу на буксир. Я думал об этом. Но риск слишком велик. И фелюга, и катер могут вместе пойти на дно. К тому же при таком волнении вряд ли выдержит трос. Если бросить фелюгу — она неизбежно потонет. Но продержаться на ней я смогу долго, особенно если нет течи. А вы доберетесь до берега и пришлете мне помощь.

— А если она пойдет ко дну раньше, чем мы сумеем обернуться?

— Ну что ж, как-нибудь доплыву до берега. Вы же знаете, что я хороший пловец.

Да, это они знали. Но Таруси напомнил им об этом, только чтобы их успокоить. На самом деле он думал другое: «Я пойду на дно вместе с ней». Но произнести эти страшные слова вслух не захотел.

— А почему бы нам не обождать тут с катером, пока ты будешь возиться с фелюгой?

— Что это даст? Если уж я поднимусь на фелюгу, то не брошу ее, пока она держится на воде. А у вас может кончиться горючее. Что тогда? Катер с заглохшим мотором сразу захлестнут волны. Пока не поздно, идите к берегу. И не теряйте времени!

Моряки переглянулись. Неужели Таруси хочет последовать за Рахмуни? Они попытались еще раз отговорить его. Тщетно.

— Не тратьте слов понапрасну,— сказал Таруси.— Я все продумал, все взвесил. Теперь надо действовать. Пожелаем друг другу удачи, и да хранит вас аллах!

— Капитан, может быть, ты все-таки выполнишь мою просьбу? — робко спросил Исмаил.

Таруси внимательно посмотрел на него и улыбнулся:

— Если хочешь поцеловаться на прощание — пожалуйста. Но ни о чем другом лучше не проси!

— Нет! Я хотел спросить тебя, кому встать к штурвалу?

— Кому? Пусть Раджаб встанет,— ответил, не задумываясь, Таруси, словно все обдумал заранее.— Раджаб! — позвал он.— Становись к штурвалу.

Уступив ему свое место, Таруси похлопал его по плечу:

— Держи по ветру! А когда увидишь берег, иди прямо к нему!

Передав штурвал Раджабу, Таруси подошел к борту. Ахмад все это время молча наблюдал за Таруси, не вмешиваясь в спор. Как будто это его не касалось.

Катер повернул. Все, сознавая важность наступившей минуты, молчали. И вдруг над бортом взлетел фонтан брызг, словно в воду бросили большой камень. Они не сразу поняли, что это прыгнул Таруси. Еще секунду назад они слышали его голос: «Раджаб, так держи!» И вот он уже за бортом, в море. Они увидели, как он вынырнул, тряхнул головой, чтобы отбросить с глаз длинную прядь, и ровно и сильно заработал руками.

Они следили за ним затаив дыхание. И вдруг услышали громкий всплеск. Никто не заметил, как Ахмад, выбросив сначала спасательный круг, прыгнул в море. Через некоторое время из воды показалась его голова. Помахав рукой своим товарищам, он поплыл за Таруси.

— Ахмад! Вернись! Ты утонешь! Вернись! — закричал Раджаб.

Он кричал изо всех сил, пока не сорвал голос. Но и тогда он еще долго беззвучно шевелил губами, упрашивая Ахмада вернуться, и наконец, отчаявшись, еще крепче сжал штурвал в руках, стиснув до боли зубы. Что-то кричали и его товарищи. Но он не слышал их голосов. И, конечно, их не слышал Ахмад, который все больше удалялся от катера.

Теперь на катере их осталось только трое: Раджаб, Исмаил и Рамадан. Они переглянулись и невольно посмотрели на то место, где только что стоял Ахмад. Каждый из них вдруг понял, что любил этого парнишку. Он оказался взрослее, чем они думали. Он тоже, как и Таруси, был нужен им. Он излучал невидимый огонь, который согревал их души и вселял в них уверенность. С надеждой и страхом они следили за двумя черными точками среди волн, пока те не исчезли из виду.

ГЛАВА 11

Непонятно как, но фелюга все еще держалась на воде. Руль болтался из стороны в сторону под ударами пляшущих вокруг судна волн. Мачта накренялась все ниже, будто выбирая, куда лучше упасть.

Таруси подплыл к корме. Собрав последние силы, он увернулся от большой волны, которая могла переломать ему кости, швырнув прямо на судно. Он то приближался к фелюге почти вплотную, то отплывал назад, опасаясь, что его затянет под днище. Несколько раз он пытался ухватиться за руль, но как назло именно в этот момент очередная волна поднимала корму. Тогда Таруси отталкивался ногами от днища и нырял, стараясь отплыть подальше. Такой маневр он повторил несколько раз, но в конце концов ударился обо что-то и почувствовал в плече острую боль, словно кто-то полоснул его ножом. Едва он вынырнул, как новая волна подхватила его и бросила на корму. Он больно ударился спиной и, наверно, поранился, потому что спину сразу защипало. Его силы были на исходе. Он напрягал всю волю, чтобы не потерять сознание. Сейчас он ни о чем уже не думал и просто боролся за жизнь. Ему неоткуда было ждать помощи. Он вцепился в корму, стараясь удержаться на ней, но волны все-таки одолели его. И это поражение принесло ему победу.

Огромный вал накренил фелюгу в сторону. Таруси, улучив момент, почти выпрыгнул из воды и цепко ухватился за поручень. Но у него уже не было сил подтянуться. Наконец фелюга выпрямилась и накренилась на другой борт, и тут Таруси перевалился на палубу и распластался на ней. Он пролежал так несколько минут, пока не прошло головокружение. Таруси проделал все это инстинктивно, подчиняясь внутреннему голосу, который подсказывал ему, что надо передохнуть. Голова перестала кружиться, и он почувствовал, что к нему постепенно возвращаются силы.

Наконец он медленно встал на четвереньки, потом поднялся на ноги и, держась одной рукой за поручень, а другой — за свисавший с мачты трос, медленно побрел к корме. Он внимательно глядел по сторонам в надежде увидеть хотя бы одного живого или мертвого человека.

И на корме Таруси его увидел. Был он жив или мертв, сказать было трудно. Он привалился к планширу, крепко стиснув в руках румпель. Таруси подошел поближе, склонился над ним и вдруг даже вскрикнул от неожиданности:

— Живой!

Казалось, недвижные, устремленные куда-то в пространство глаза замигали, посиневшие губы шевельнулись, но из полуоткрытого рта не вырвалось ни звука. Таруси расслышал только слабый хрип, голова несчастного бессильно упала на грудь. Казалось, он специально берег жалкий остаток сил, чтобы дождаться кого-нибудь и умереть не в одиночестве. Внезапно его ноги вытянулись, тело обмякло, и только руки по-прежнему в нервной судороге сжимали румпель.

Таруси осторожно приподнял склоненную голову. Рахмуни! Его веки были сомкнуты. Губы больше не шевелились. Казалось, он не дышал. Но приложив ладонь к его груди, Таруси убедился, что сердце бьется. Значит, жив. Прежде всего надо его перенести вниз, в каюту. Может быть, там найдется какая-либо одежда. Или хотя бы сухая сеть. Да, но кто станет у руля? Когда руки Рахмуни разожмутся, фелюга может опрокинуться. Впервые Таруси пожалел, что не задержал катер. Не хотел подвергать риску своих товарищей. Теперь за это должен расплачиваться человек, который сделал все, чтобы победить смерть. Ради его спасения Таруси готов был пожертвовать собственной жизнью. Значит, они напрасно перенесли столько страданий, преодолели столько трудностей! Какая непростительная ошибка. Ведь он так хотел спасти жизнь Рахмуни. Готов был на все, только бы жена и дети Рахмуни увидели его живым.

Как утопающий перед тем, как сделать последний вдох, он с отчаянной надеждой еще раз обвел взглядом все вокруг. На разбитой палубе, кроме них,— никого. Через палубу перекатываются волны, фелюга кренится то на один борт, то на другой, поднимается на гребень и проваливается в водную пропасть. А волны все бьют и бьют ее, словно утрамбовывая, прежде чем поглотить. В бескрайнем просторе моря не видно ни корабля, ни паруса, ни лодки. Только рев волн и свист ветра да дальние раскаты грома, зловеще возвещающие новый ливень.

Встав на колени, Таруси осторожно разжал пальцы Рахмуни, потом одной рукой взялся за румпель, другой бережно обнял почти безжизненное тело и прислонил голову к своей груди. Но что предпринять дальше, он не знал. Шторм не утихал. В небе неслись черные тучи, обгоняя друг друга, опускаясь все ниже и ниже, будто черным огромным саваном обволакивая море и затерявшуюся в нем фелюгу.

Таруси, широко расставив ноги, встал, придерживая одной рукой Рахмуни, а другой все еще держа румпель. Прежде чем сделать первый шаг, он мысленно смерил расстояние от кормы до двери каюты, прикидывая, сколько потребуется сил, чтобы преодолеть этот путь. Затем, волоча тяжелое тело Рахмуни, он двинулся вперед, выбирая место, осторожно нащупывая, куда поставить ногу. В каюте Таруси осторожно положил Рахмуни на пол, накрыл его куском парусины и быстро вернулся к румпелю. Он несколько раз повернул его, стараясь выпрямить фелюгу, чтобы потом закрепить румпель. Но руль не слушался и все время как-то странно дергался и прыгал, будто он был сломан.

Таруси подошел к борту, наклонился и вздрогнул от неожиданности. У кормы, выбиваясь из последних сил, плавал какой-то человек. Обогнав волну, он успевал дотронуться до руля, но очередная волна тут же отбрасывала его назад. Таруси окликнул его раз, потом второй, третий, но тот как будто не слышал. Таруси решил, что его голос теряется в свисте ветра и реве волн — что можно услышать в самом центре их бешеного хоровода? Недолго думая Таруси бросил неизвестно как очутившемуся за бортом человеку канат. Когда неизвестный чуть отплыл и поднял голову, Таруси узнал Ахмада и вскрикнул. Он начал ожесточенно размахивать руками, показывая Ахмаду, как ему лучше ухватиться за канат. Ахмад, энергично работая руками, поплыл наперерез судну. Он был сильным, крепким юношей — недаром же он отважился вступить в опасное единоборство с морем. Но у него не хватало опыта, умения и выдержки, которые под конец играют иной раз не меньшую роль, чем сила и смелость. Он поплыл наперерез, чтобы сократить расстояние, но в результате никак не мог ухватиться за канат, и его в любую секунду могло затянуть под днище фелюги. Он то отставал от нее, то нырял, чтобы не удариться о ее борт. Раза два он пытался что-то крикнуть Таруси, но в шуме волн даже сам не слышал своего собственного голоса. На минуту им овладело отчаяние, и он чуть было не поплыл назад. Но, оглянувшись, не увидел катера. Отступать было некуда. Оставался только один путь — взобраться на фелюгу. Ахмад еще раз нырнул и, приблизившись к корме, сумел все же ухватиться за конец каната, и Таруси стал тянуть его к себе. В конце концов, с большим трудом Ахмад взобрался на фелюгу. Почувствовав под ногами палубу, Ахмад пошатнулся, но его тут же крепко сжал в объятиях Таруси и расцеловал, потом похлопал по плечу, снова прижал к груди, а потом, отстранив, начал рассматривать его с любовью и благодарностью, будто сына, нежданно вернувшегося после долгой разлуки. А Ахмад влюбленно смотрел на Таруси и улыбался счастливо и смущенно, как и подобает матросу, которого заслуженно похвалили. У них был двойной повод для радости — во-первых, встреча, во-вторых, то, что Рахмуни жив. Значит, они рисковали не напрасно. Воодушевленные этой мыслью, они, забыв про усталость, сразу же принялись за дело. Поручив Ахмаду румпель, Таруси, не теряя времени, поспешил в каюту, к Рахмуни. Он приложил ухо к его груди: сердце еще билось. Он хотел перевернуть Рахмуни на живот, чтобы из его легких вылилась вода, но тут же спохватился: ведь Рахмуни не утопленник, он просто потерял сознание от нечеловеческого напряжения и холода. Прежде всего его нужно согреть. Таруси обшарил каюту, но никакой сухой одежды не нашел. Но в любом случае надо снять с него мокрую одежду и накрыть чем-нибудь сухим. Он так и сделал. А потом выскочил на палубу и начал приводить в порядок парус и мачту. Он кое-как связал порванные снасти, выправил реи.

— Теперь, Ахмад, поверни руль немного вправо! — скомандовал Таруси, придерживая руками выпрямленную мачту.

Ахмад, выполняя приказ, повернул румпель, и фелюга, переваливаясь на волнах, медленно двинулась вперед, словно человек, только что поправившийся после продолжительной, тяжелой болезни. Ветер наполнил парус, и фелюга, набирая скорость, пошла все увереннее. Таруси, сменив Ахмада у руля, с детской радостью воскликнул:

— Ну, Ахмад, теперь мы, кажется, спасены! Натяни веревки потуже! Эх, была бы мачта в порядке! Ну, ничего! И за это — хвала аллаху! Мы и так доберемся.

В это время катер с тремя моряками уже входил в порт. Не дожидаясь, пока они причалят, начальник порта вызвал машину «скорой помощи».

Все с нетерпением ожидали возвращения катера, но еще с большим нетерпением — новостей от вернувшихся моряков. Видели ли они фелюгу Рахмуни? Что сталось с ним самим и его командой? Куда делся Таруси? Почему их только трое?

Новостей ждал и Абу Рашид. Ему очень хотелось узнать их раньше других, чтобы верно оценить положение. Конечно, он, как и все другие, не мог не восхищаться смелостью Таруси. Ничего не скажешь — настоящий моряк. Но от того, жив он или погиб, зависит многое.

«Если он погиб,— размышлял Абу Рашид,— тогда больше думать не о чем. Но если Таруси жив, то он вернется героем и его влияние в порту сразу возрастет. Мо-

ряки будут верить каждому его слову и пойдут за ним куда угодно. А как себя вести мне? Пытаться преуменьшить его подвиг? Говорить, что ничего особенного он не совершил? Или же вместе с другими воздать ему должное? Даже хвалить громче других? Воспользоваться удобным случаем и выразить ему свое восхищение? Ведь Таруси может растаять от похвал и помириться со мной. Тогда все разрешится само собой. Симпатия моряков будет мне обеспечена, и я сумею извлечь из этого пользу. И вообще, не допустил ли я в самом начале ошибку, толкнув Таруси в лагерь своего противника Надима Мазхара? Ведь он и не собирался покупать себе лодку! Таруси как будто принадлежит к тем людям, которые ездить на лошадях любят, а обзавестись ими не умеют. Но может получиться и так, что я, приласкав Таруси, сам помогу ему пробраться в порт, согрею у себя на груди змею, которая потом меня же и укусит. Не этого ли и добивается Надим? Нет, правильнее всего будет предоставить развиваться событиям самим по себе. Выждать, выяснить, как сложится обстановка, а потом уже действовать сообразно с ней. А пока буду присматриваться. Для этого я сюда и пришел. Посижу в кофейне, покурю наргиле, послушаю, что люди говорят. Пусть сейчас покомандует Абу Амин — ведь как-никак он начальник порта!»

Пронзительно завыла сирена. На пирс вылетела машина «скорой помощи». Сидевшие в кофейне моряки высыпали на набережную. Женщины бросились к пирсу, думая, что машина приехала забрать утопленников, которых где-то выбросило море. Опять раздались причитания и плач. На пирсе собралась целая толпа.

Как-то само собой получилось, что начальник порта оказался в центре общего внимания. Все смотрели только на него. А он, чувствуя свою важность, громко командовал, размахивая руками, отдавая распоряжения, то и дело звонил в соседние порты и сам отвечал на многочисленные звонки. Правда, звонили главным образом владельцы судов и родственники Рахмуни и его матросов, которым не терпелось узнать последние новости. Но с ними Абу Амин говорил строго официальным тоном и был деловито краток. Когда начинал звонить телефон, он сначала подымал руку, требуя тишины, а потом с важным видом говорил в трубку: «Да... Нет... Пока ничего не могу сказать... Ведем поиски». В суматохе он даже не пошел завтракать.

Как только ему сообщили о приближении катера, он почувствовал такое облегчение, словно у него гора с плеч свалилась. Почему катер возвращается, с какими вестями, кто на его борту — все это его мало интересовало. Самым важным для него было другое.

«Главное, чтобы катер был цел, а остальное не столь важно,— подумал он.— В конце концов всегда кто-то умирает, кто-то рождается».

Услышав сирену «скорой помощи», начальник порта приказал всем немедленно очистить пирс. Но люди не расходились. Женщины с испуганными, заплаканными глазами обступили машину со всех сторон. Шофер «скорой помощи» не переставал сигналить. Но чем громче ревела сирена, тем больше пугались люди, толпившиеся на набережной.

С катера бросили на пирс конец. Его сразу подхватили и начали привязывать к ближайшей тумбе.

— Тяни, ребята! Накручивай быстрей! — кричали с катера.— Багор давайте! Не бойтесь! Даже если упадете, море не съест!

Несколько человек поочередно пробовали зацепить катер багром и подтянуть к пирсу. Но безуспешно. Волны никак не давали катеру пришвартоваться. Они то и дело вырывали его из крючковатой лапы багра и относили назад.

— Держите крепче! — прикрикнул начальник порта, опасаясь, как бы о нем в суматохе вообще не забыли.— Притяните и держите, пока я не прыгну на палубу. Это такой порядок: первым на судно вступает начальник порта.

Но, заметив подошедшего Абу Рашида, он сразу переменил тон:

— Здравствуйте, Абу Рашид! Вас мы пропустим первым. Только, пожалуйста, осторожнее!

За Абу Рашидом и начальником порта на катер прыгнуло еще несколько человек. Они обступили немногочисленную команду плотным кольцом и стали расспрашивать, где Таруси и Ахмад.

— Никаких расспросов! — поспешил распорядиться начальник порта.— «Скорая помощь» ждет вас на берегу. Она вас сейчас доставит в больницу. Там вы подробно ответите на все вопросы, которые задаст вам официальное лицо.

— Аллах, аллах! Неужели же Таруси погиб? — не выдержав, вскрикнул молодой парень.

— Я же сказал — никаких вопросов и возгласов! — прикрикнул начальник порта.

— Верьте, ребята, аллах милостив! Таруси жив! — громко, чтобы все слышали, объявил Исмаил.— Он на фелюге Рахмуни. И Ахмад поплыл к нему. Оба живы.

— А Рахмуни и его матросы?

— О них мы ничего не знаем. Видели только два весла в море.

— Как же вы бросили Таруси?

— Оставьте их в покое! — раздраженно прервал их начальник порта.— Поговорим потом, в больнице. А теперь помогите-ка им сойти на берег!

Все трое еле стояли на ногах. До машины самостоятельно дошел только Исмаил. Остальных пришлось поддерживать, чтобы они не упали.

Машина уже готова была тронуться, но тут через толпу пробилась жена Рахмуни.

— Все в порядке, не волнуйся,— попытался успокоить ее начальник порта.— Жив и здоров твой муж. Я сейчас вернусь обратно, только отвезу их в больницу.

— Если все в порядке, так где же он сам? Где его матросы? Где фелюга? — не сдержав слез, запричитала она.

Взвыв сиреной, машина рванулась с места. Жена Рахмуни, путаясь в черной длинной абайе, испуганно попятилась.

Абу Мухаммед, Халиль и капитан Кадри Джунди опоздали. Когда они, запыхавшись, прибежали в порт, машина уже ушла. Ничего не узнав о Таруси, они решили пойти в больницу.

Весть о странном исчезновении Таруси быстро распространилась по всему городу. Узнали об этом и в квартале Шейх Закир, и даже в том тупике около тюрьмы, где жила Умм Хасан. Со всех сторон к порту спешили люди. Надим Мазхар с трудом пробился сквозь толпу. Лица у всех были серьезные, мрачные, печальные. Со всех сторон слышались предположения и догадки.

Тишина установилась, лишь когда вернулся начальник порта. Он величественно прошествовал в контору, никого не замечая. Весь его вид говорил о том, как высок его пост, как важно то, что он сейчас делает. И его дородная фигура, и пышущее здоровьем лицо цвета старого красного вина тоже свидетельствовали о том, какая он важная персона.

Войдя к себе в кабинет, он сразу позвонил в больницу и распорядился, чтобы ему немедленно дали знать, когда туда придет следователь. Но на все вопросы он отвечал уклончиво:

— На все воля аллаха. Конечно, жертвы есть. Но сколько людей погибло и кто именно, точно я сказать не могу.

— Ну, а какие новости о Таруси? Что говорят матросы? — с нескрываемым беспокойством в голосе спросил Надим.

— Будем надеяться на милосердие аллаха,— ответил начальник порта, покачав головой, и отвел глаза в сторону, показывая, что ничего больше он сказать не вправе.

Порт по-прежнему был полон людей. Все друг друга спрашивали о чем-то, строили догадки, вглядывались в морскую даль. В общей суматохе почти никто не обратил внимания на сообщение с маяка, что на горизонте появилась какая-то фелюга с порванным парусом. Только начальник порта сразу понял важность этого известия. Схватив бинокль, он поспешил к маяку. За ним последовали Надим Мазхар, Кадри Джунди и еще несколько наиболее уважаемых моряков. Они поднялись на маяк. Начальник, приложив к глазам бинокль, всматривался, как капитан на мостике, в неизвестное судно на горизонте. Оно приближалось, чуть накренившись на правый борт, под каким-то странным парусом, неизвестно на чем державшемся, ибо мачты вообще не было видно. Начальник протер стекла бинокля, отрегулировал резкость и снова прижал окуляры к глазам, но узнать судно так и не смог.

— Дай-ка я посмотрю, Абу Амин! — сказал капитан Кадри.

Взяв бинокль, Кадри тут же через секунду радостно воскликнул:

— Рахмуни! Это фелюга Рахмуни!

Казалось бы, внизу его услышать не могли, но тем не менее радостная весть с быстротой молнии облетела весь порт. Многие, чтобы убедиться своими глазами, бросились туда, откуда было лучше видно море. Кто вскарабкался на ограду, кто залез на старую развалившуюся башню, кто — на крышу конторы.

Абу Рашид тоже вышел из кофейни. «Это, конечно, Таруси возвращается на шхуне Рахмуни,— размышлял он.— Как ни трудно поверить в это чудо, но это так. Надо его встретить».

— Надо встретить,— пробормотал он даже вслух.

«Да, таких моряков, как Таруси, мало. Им по праву может гордиться порт. Пусть он упрям и несговорчив, но герою можно простить тяжелый характер. Не сидеть же в кофейне, когда его будет встречать весь порт»,— продолжал размышлять Абу Рашид.

Когда он пришел на пирс, Надим Мазхар уже стоял на крайней тумбе и размахивал руками, приветствуя возвращавшуюся фелюгу. Настроение у Абу Рашида сразу испортилось. «Чего ему тут надо? Какое дело Мазхару до порта и того, что здесь происходит? Я отправляю отсюда все суда, и я должен их встречать. И эту фелюгу — в том числе. С Абу Амина хватит, он и так сегодня слишком много командует».

А начальник порта тем временем, готовясь выйти на катере встречать фелюгу, старался перекричать всех:

— Катер готов? Кто со мной? Если нет желающих, я один пойду!

— Мы все с тобой, Абу Амин! Все!

— Зачем мне все? — испуганно замахал он руками, боясь, что в самом деле все сейчас попрыгают в катер.— Я выполняю служебный долг. Это вам не свадьба! Ясно? Катер идет на помощь фелюге, а не на прогулку!

Услышав голос Абу Рашида, начальник порта бросился к нему.

— Слышал, Абу Рашид? Таруси спас шхуну Рахмуни.

— Ну, положим, главный спаситель не Таруси. На то, видно, была воля аллаха. Сейчас нужно помочь фелюге пришвартоваться. Готовьте быстрее катер! А ты, Абу Амин, свяжись быстренько с больницей и срочно вызови машину «скорой помощи».

Абу Амин стремглав бросился в контору. Он хотел как можно быстрее обернуться, чтобы занять свое место в катере. Но Абу Рашид и не думал ждать его. Не успел начальник порта добежать до конторы, как Абу Рашид скомандовал матросам:

— Отчаливай!

Он стоял на носу катера, который, разрезая волны, мчался навстречу шхуне. Ветер раздувал его шаровары. Волны подбрасывали катер, то поднимая Абу Рашида вверх, то швыряя вниз. Ветер, который дул ему в лицо, волны, которые он словно подминал под себя, пьянили и будоражили его. Кровь быстрее побежала по жилам. Сильнее забилось сердце. Он ощутил новый прилив энергии и сил. Он опять командует, опять действует, побеждает. Снова все повинуются ему. Он чувствует себя хозяином порта. Хозяином моря...

Таруси направлял шхуну не прямо к причалу, а вдоль берега, чтобы использовать попутный ветер и обойтись без помощи катера. Он видел толпу в порту. До него доносились отголоски приветственных возгласов. Все было как во сне. Внезапно его охватила безмерная усталость, и он на мгновение закрыл глаза. «Наконец-то я у цели!» — с облегчением подумал он.

Катер подошел к фелюге и начал кружить около нее. Матросы размахивали куфиями и носовыми платками и кричали.

— Эй, на фелюге! — крикнул кто-то в рупор.— Бросайте канат! Мы вас возьмем на буксир!

Усиленный рупором голос несколько раз повторил эти слова, но они остались без ответа. Таруси только кивнул, показывая, что он услышал. Когда катер совсем приблизился, Ахмад, подойдя к борту, громко крикнул:

— Рахмуни без сознания! Он в каюте! Вызывайте доктора!

Тотчас же катер сделал крутой поворот и понесся к причалу. Фелюга, словно прихрамывая, как изможденный солдат после боя, медленно двигалась к своему причалу возле электростанции. Таруси все так же крепко держал румпель. Ему казалось, что он упадет без сознания, стоит ему разжать руки. Он так обессилел, что почти ничего не воспринимал. Его чувства притупились. Он не мог бы сказать, холодно сейчас или тепло. Его не радовали ни море, ни долгожданный берег. Перед его глазами все расплывалось в туманные пятна.

Фелюга мягко коснулась пирса, и Таруси, наконец, решился отпустить румпель. Его качнуло, и он в самом деле упал бы, если бы его не поддержал Ахмад. Первыми на шхуну прыгнули моряки из катера. Они пропустили вперед Абу Рашида.

Он подошел к Таруси и протянул ему обе руки:

— Побольше бы таких моряков, как ты, Таруси! Да пошлет тебе аллах счастье!

С этими словами он трижды поцеловал Таруси и хотел было заключить его в объятия, но остальные словно только и ждали этого жеста. Дружно подхватив Таруси на руки, они высоко подняли его, громко скандируя:

— Слава Таруси! Да здравствует Таруси!

А Таруси не мог произнести ни слова. Он отдался этим рукам, которые любовно поддерживали, обнимали, подбрасывали и ловили его. Но что-то продолжало его тревожить. И только увидев белый халат врача, входящего в каюту, Таруси закрыл глаза, и ему показалось, что он плавно падает на землю. Падает, словно сраженный пулей, но земли под ним нет, и он проваливается куда-то в бездну.

Часть третья

ГЛАВА 1

Наступило лето.

Которое по счету — девятое или десятое — Таруси не помнил. Для него каждое из них было просто очередным летом, которое он вынужден был провести на суше. Одни были немного получше, другие — хуже, но это лето, бесспорно, оказалось самым запоминающимся. И, возможно, даже самым лучшим, самым радостным, самым счастливым за все эти годы. Он по праву мог назвать его летом своей победы, летом заслуженной славы, летом осуществления давнишней мечты.

После спасения шхуны Таруси почти неделю пролежал в больнице, Рахмуни же провел там месяц. Выздоровев, они вернулись к своим занятиям: Таруси — в кофейню, Рахмуни — в море. Казалось, жизнь вошла в старое русло. Но теперь люди смотрели на Таруси другими глазами. Конечно, когда он решился на этот отважный шаг, он меньше всего думал о славе. Выходил он в море вовсе не для того, чтобы бросить вызов буре, сразиться с ней и победить. Им руководило тогда только одно желание— спасти от гибели попавших в беду моряков. И люди оценили его благородный поступок по достоинству. Рахмуни в присутствии всей своей семьи объявил Таруси своим спасителем.

— Это мой брат! — сказал он детям, показывая на Таруси.— Не будь его, не было бы у вас сейчас отца. Он для вас теперь как родной дядя.

Дети, моргая глазами, смотрели на Таруси, не зная, что сказать. И сам Рахмуни,

сжимая Таруси в своих объятиях, признался:

— Брат мой, я навеки твой должник. Не знаю, как отблагодарить тебя, чем вознаградить!

К Таруси чуть ли не каждый день приходили моряки. Подарили ему модель фелюги, сделанную специально для него. Говорили трогательные, бесхитростные, душевные слова. Его посетили и Надим Мазхар, и Абу Рашид, и учитель Кямиль, и Исмаил Куса, и Абу Хамид, и начальник порта, и многие другие важные персоны и простые горожане.

Абу Мухаммед, Халиль, Ахмад и трое матросов, которые ходили с Таруси в море, были все время с ним. Принимали гостей, как хозяева, благодарили за добрые слова, угощали чаем и кофе.

В первый же месяц ему предложили место капитана на новом судне. Потом он начал получать такие же приглашения не только из Латакии, но и из Арвада и Бейрута. Чаще всего их передавали Таруси через начальника порта или же Кадри Джунди. Но иногда судовладельцы сами приезжали к нему, обходясь без посредников.

Посетителей в кофейне стало заметно больше. Теперь ее посещали даже те, кто раньше про нее и не слышал. Слава Таруси вышла далеко за пределы порта. Он стал чуть ли не самым популярным человеком в городе. Возможно, это кое-кому и не нравилось, но волей-неволей им приходилось с этим считаться. И первому — Абу Рашиду. Он присматривался, прислушивался, интересовался всеми новостями, касавшимися Таруси, и, оценивая положение, прикидывал, как ему лучше поступить. В конце концов он пришел к выводу, что единственно правильным решением будет выждать. Надо посмотреть, что сделает сам Таруси — останется здесь или куда-нибудь уедет?

ГЛАВА 2

В мае пришла долгожданная весть: вторая мировая война кончилась. Это было радостное событие для всех. Моряки радовались вдвойне. Жизнь в порту сразу оживилась. Хлеб из Джезиры [1] потоком устремился в Латакию. Его надо было перевозить, а пароходов не хватало. Сразу увеличился спрос и на фелюги, и на баркасы, и на любые парусники. Рыболовство стало невыгодным занятием.

Рахмуни продал свою старую фелюгу, предварительно как следует ее отремонтировав, и купил вместо нее новое судно. Он не скрывал, что намерен предложить Таруси стать его капитаном. Эта новость быстро распространилась в порту, но восприняли ее по-разному.

Надим Мазхар решил, что это — «искусный маневр» Абу Рашида, который, наверно, подговорил Рахмуни, чтобы таким способом избавиться от Таруси.

Абу Рашид был ближе к истине, так как считал, что этим шагом Рахмуни хочет как-то отблагодарить Таруси, а заодно приобрести надежного помощника.

И, действительно, Рахмуни руководствовался как благодарностью, так и трезвым расчетом. Он не сомневался, что судно с таким капитаном, как Таруси, не будет простаивать. А он сам, оставаясь на берегу, сумеет обеспечить хорошие грузы. Для этого у Рахмуни достаточно и опыта, и связей. Но зная характер Таруси, его равнодушие к наживе и обогащению, Рахмуни решил действовать наверняка — он поможет Таруси осуществить заветную мечту стать не просто капитаном, но и хозяином судна. И Рахмуни предложил Таруси стать его компаньоном. Он был уверен, что от такого предложения Таруси не откажется. Ну, а о деньгах они всегда договорятся.

И все же разговор с Таруси оказался нелегким. Рахмуни пришлось потратить немало усилий, пока Таруси убедился, что ему предлагают стать равноправным компаньоном и их сотрудничество принесет им взаимную выгоду. Щадя его самолюбие, Рахмуни спросил даже, какую сумму Таруси мог бы вложить в их общее дело. Подумав, Таруси ответил:

— Наличных у меня нет. Но есть кофейня. Она кое-что стоит. Кроме того, я мог бы и занять что-то. Остальные же деньги вносил бы постепенно. Из своей доли прибылей.

Рахмуни это вполне устраивало. Оставалось только юридически оформить их соглашение.

Таруси поделился своей радостью с Умм Хасан. Услышав, что он хочет занять денег, чтобы внести свой пай, Умм Хасан, ничего не говоря, высыпала на стол из шкатулки все свои сбережения и, показав на них Таруси, сказала:

— Вот возьми! Зачем залезать в долги?

Затем она сняла золотой браслет и кольца и тоже протянула их Таруси:

— И эти побрякушки возьми. Их можно продать или заложить. За них хорошо заплатят, не сомневайся. Вот и внесешь свой пай.

На следующее утро к Таруси пришел Надим Мазхар. Они сели за столик под навесом, чтобы за чашкой кофе обменяться последними новостями. Надим, достаточно хорошо знавший, что Таруси предпочитает всегда говорить прямо, сразу перешел к делу.

---

[1] Джезира — плодородный район Северной Сирии.

— Это правда, что ты согласился стать компаньоном Рахмуни?

Таруси откровенно рассказал все, как было, и попросил у него совета.

В глубине души Надиму не очень хотелось, чтобы Таруси опять ушел в море. В порту он был бы более полезен Надиму как противник Абу Рашида. Именно поэтому Надим не спешил с ответом. Он опасался обидеть или оттолкнуть Таруси неосторожным словом.

— Конечно, мне понятно твое желание опять уйти в море,— произнес, наконец, Надим после длительного раздумья.— Но хорошо ли ты все взвесил? Что тебе даст это компаньонство? Многого ли ты добьешься? Вообще, чего бы ты хотел? Какая твоя конечная цель? Твой ответ я знаю заранее: «Хочу плавать. Иметь свое судно и ни от кого не зависеть». Все это правильно. Твое желание мне хорошо понятно. Но ты избираешь не самый верный путь. Не лучше ли тебе было бы поработать сначала в порту, где ты смог бы заложить более солидный фундамент для своего будущего? Взяться за дело более доходное и перспективное. Я — твой друг. И желаю тебе только добра. Вот почему больше, чем кто-либо другой, имею право просить, чтобы ты стал моим компаньоном. Будешь распоряжаться баржами. Понадобятся деньги, получишь, сколько тебе надо. Можешь рассчитывать на мою поддержку. Встанешь крепко на ноги — и тогда сам решишь, что делать дальше. Я тебе мешать не буду. Ты сам себе хозяин. Вольная птица — лети куда хочешь. Я не требую от тебя ответа сейчас. Подумай.

И Таруси думал день, другой, третий. Раньше над подобным предложением он не стал бы столько размышлять. Сразу ответил бы «да» или «нет». А сейчас он колебался. Не знал, что выбрать. Искал предлога оттянуть окончательное решение. Боялся ошибиться. Трудно отказаться от того, о чем все время мечтал,— оставить берег, уйти в море. Но и предложение Надима тоже очень заманчиво. Надим, конечно, понимал, что поставил Таруси в затруднительное положение. Может быть, и не стоило бы подвергать друга столь мучительному испытанию. Но тогда Надиму пришлось бы лишиться самого сильного союзника в борьбе с Абу Рашидом.

«Надо быть полным дураком, чтобы отказаться от такого прибыльного дела,— рассуждал Надим.— Если Таруси откажется от моего предложения, то будет ясно, что настоящим деловым человеком он никогда не станет. Ради денег можно отказаться от прихоти».

В рассуждениях Надима была своя логика — логика трезвой житейской мудрости. И, конечно, любой благоразумный человек несказанно обрадовался бы и принял предложение Надима с глубокой признательностью.

Но всякое правило имеет исключение. Бесспорные истины могут признаваться всеми, кроме одного какого-нибудь чудака. Не всегда логика и веские аргументы седобородых мудрецов способны убедить влюбленного расстаться со своей любимой.

Надим был прав, рассуждая, как деловой человек. И Таруси был прав, глядя на все глазами моряка. Надим ошибался, считая, что Таруси не сможет отказаться от его предложения. Таруси, в свою очередь, ошибался, полагая, что Надим должен понять человека, для которого уходящее в море судно дороже всех барж и лодок, снующих в порту. Как они могли понять друг друга, если говорили на разных языках?

«Неужели,— думал Таруси,— мы разойдемся в разные стороны? Порвутся те нити, которые, казалось, так прочно связывали нас в течение многих лет?»

«Да,— отвечал он сам на свои сомнения,— нашей дружбе придет конец. И пусть! Зачем мне друг, который не может и не хочет меня понять?»

Таруси чувствовал, что не может убедительно доказать свою правоту. Но ему очень хотелось, чтобы человек, который называет себя его другом, сам понял, что для Таруси лучше плавать в море нищим, чем жить на суше миллионером. Никакими словами нельзя объяснить его слепую любовь к морю. Каждый раз, когда он пытался говорить на эту тему, ему казалось, что от беспомощных и бесцветных слов тускнеют его чувства. И сам разговор поэтому получался натянутым и холодным.

Таруси решил повременить с ответом Надиму. Не говорить пока ему ни «да», ни «нет» и попросить у него отсрочки для окончательного ответа.

Надим был удовлетворен. Значит, еще не все потеряно. Нить надежды не порвана. Семя, которое он бросил, еще не проросло, но уже пустило корешки. Теперь нужно только подождать. А через два-три месяца или даже раньше он возобновит атаку. А Таруси пусть наслаждается морем, плавает, гуляет на вольном просторе. Тем временем Надим придумает, как лучше его заарканить. Можно, например, заранее распустить в порту слухи, будто Таруси дал согласие заняться перевозкой грузов и подыскивает для этого баржи. Уже одних таких слухов будет достаточно, чтобы вывести из себя Абу Рашида, заставить его понервничать.

Пусть это небольшой шаг. Может быть, и не по самому прямому пути. Но он сделан в правильном направлении. В конце концов Надим добьется своего. Важно, что Таруси больше не будет сидеть в своей кофейне. Пусть он даже идет в море. Ведь из плавания он рано или поздно все равно вернется в порт.

Это, безусловно, победа Надима. Победа Народного блока![1]

---

[1] Народный блок и Национальный блок — две соперничавшие буржуазные партии в Сирии.

Народный блок все больше теснил своих противников, представителей Национального блока, и в Латакии, и в других городах страны. Но, поскольку оба блока были близнецами и только носили разные имена, они мало чем отличались друг от друга. Их породила одна и та же социальная среда. Они ориентировались на одни и те же силы. И в борьбе друг с другом прибегали к одним и тем же методам и приемам. Каждый из них старался привлечь на свою сторону как можно больше влиятельных людей в любой деревне, в любом городском квартале. Захватить ключевые позиции в самых важных сферах общественной и экономической жизни. Завоевать популярность и пробиться к власти, используя любые средства для достижения главной цели.

После окончания войны Народный блок, как оппозиционная партия, оказался в более выгодном положении. Используя растущее недовольство широких народных масс, возмущенных злоупотреблениями и бездеятельностью властей, которые достаточно уже дискредитировали себя перед народом, оппозиция развернула широкую кампанию против своих противников, не забывая подставлять, где нужно, лестницы, чтобы самим поскорее вскарабкаться наверх к вершине власти.

Люди смотрели на жизнь новыми глазами, сопоставляя все те жертвы и лишения, которые им пришлось перенести во время войны, и те заманчивые обещания, которыми так щедро кормил их все эти годы правительственный блок, с тем, как на самом деле складывалась мирная жизнь. Трудности нельзя уже было объяснить тяготами военного времени. Комендантский час и светомаскировка были отменены. Ушли в прошлое продовольственные карточки и талоны на бензин. Исчезли очереди у хлебопекарен и длинные хвосты подвод и машин около зернохранилищ и складов топлива. Теперь гораздо больше стало и продовольствия, и промышленных товаров. Во всяком случае, потребности в них были почти удовлетворены. Но по-прежнему оставались невыполненными главные требования народа — отмена устаревших законов, проведение в стране радикальных реформ, создание национальной промышленности, ликвидация системы коррупции и взяточничества, смена всего старого, разложившегося аппарата государственной власти. И самое главное — немедленный вывод иностранных войск из Сирии и создание национальной армии. Повсюду кипели политические страсти. Чтобы убедиться в этом, достаточно было бы заглянуть в любую кофейню, хотя бы вот в эту, в квартале Шейх Захир, которую особенно часто посещают сторонники Надима Мазхара.

— Объясни нам, когда же будут выведены иностранные войска? — настойчиво допрашивал Исмаила Кусу один из посетителей.— Война вроде кончилась, а они не спешат уходить. И твое правительство помалкивает. Почему оно не создает своей армии?

— Всякому овощу свое время,— уклончиво ответил Исмаил.

— Ну, а сейчас какому овощу время?

— Наверно, сразу всем овощам, какими только можно набить брюхо! — сострил кто-то, стараясь вызвать Исмаила на спор.

— Уж так устроен человек — всегда ему кажется, что другие все делают плохо. Неужели вы посмеете утверждать, что Национальный блок бездействует?

— Нет, почему же? Он действует, только не так, как надо! Сколько еще можно терпеть их власть? Когда Франция, наконец, выведет свои войска?

— Скоро...

— Мы уже давно слышим эти обещания. Два года назад нам тоже говорили «скоро».

— Тогда шла война!

— Ну, а теперь-то она кончилась!

— Да, кончилась. Но для вывода войск требуется время. Необходимы переговоры. А при переговорах нужны выдержка и терпение, чтобы добиться четких обязательств.

— Обещания дадут, но кто гарантирует нам их выполнение?

— Англичане.

— Не смеши людей! Нашли кому верить! А чем Англия лучше Франции? Те же колонизаторы, только еще коварней и хитрее.

— Вы меня не так поняли. Я говорю о том, что англичане дали официальные гарантии нашим лидерам.

— Кто же это такие «наши лидеры»? Уж не твой ли хозяин?

— Ну, вот всегда так! — обиделся Исмаил.— Мы говорим о серьезных вещах, а вы переходите на личности!

— Не забывай, Исмаил, что ты находишься в Шейх Захир, а не в порту,— словно в шутку сказал Надим Мазхар, появляясь в дверях кофейни.

Все головы сразу повернулись в сторону Надима, который, перестав улыбаться, уже серьезно продолжал:

— Здесь люди больше доверяют Народному блоку. И переубедить их тебе не удастся. Только головную боль наживешь!

Надим подошел к столику, где шел спор. Все встали, почтительно с ним здоро-

ваясь. Надим сел, и разговор снова пошел о вещах, которые сейчас волновали всех. Обменивались последними новостями и последними слухами. Всех интересовало, что нового может сообщить Надим.

— У меня вести не очень утешительные,— хмурясь, сказал он.

— Что случилось? Не пугай нас, Надим!

— Пугаться пока нечего. Но насторожиться стоит. Муршид опять начал мутить воду. Вчера его головорезы совершили нападение на полицейский участок в Джубе [1].

Да, это и правда невесело! Раз зашевелились люди Сулеймана Муршида, значит, могут снова наступить в Латакии смутные времена, как в тридцать шестом году. Неужто он опять задумал какую-нибудь авантюру? Во всяком случае, это ничего хорошего не предвещает.

ГЛАВА 4

Таруси протянул Рахмуни руку, и тот крепко ее пожал. Если мужчина дает слово, он его держит. Если моряк в присутствии своих товарищей вот так пожимает руку другого моряка, этого достаточно, чтобы навсегда скрепить их договор. Рукопожатие заменяет любую печать. Но Рахмуни сделал даже больше, чем этого требовал старый обычай: он крепко обнял Таруси, и они поцеловались. Моряки, присутствовавшие на этой церемонии в кабинете начальника порта, один за другим подходили к ним с пожеланиями счастья и успеха. Теперь их соглашение можно было считать официально оформленным. Отныне они стали компаньонами.

Взволнованный тем, что произошло за эти несколько минут, Таруси сидел притихший, не поднимая глаз. Чтобы справиться с нахлынувшим на него волнением и как-то успокоиться, он свернул сигарету и затянулся. Между затяжками он отвечал на поздравления, а сам с нетерпением ждал, когда же, наконец, кончится эта утомительная процедура и он сможет остаться наедине со своими мыслями.

Правильно ли он поступил, согласившись стать совладельцем нового судна? Не делает ли он ошибку, возвращаясь в море таким вот образом? Стоит ли сразу обрывать все нити, которые связали его за эти годы с берегом? Что делать с кофейней? Неужели расстаться с ней навсегда? Все произошло так неожиданно, что он даже не сумел разобраться в своих мыслях и сомнениях. Он снова разворачивает парус, который столько лет был свернут в ожидании своего часа. Море вновь становится его домом. Но почему то, чего долго ждешь, всегда приходит неожиданно? Неужели нельзя найти пути, которые привели бы тебя из твоего вчерашнего дня в завтрашний без тревог и душевных потрясений?

К полудню все стали расходиться. И Таруси тоже поднялся и медленно побрел по знакомой дороге в свою кофейню. Сколько раз он ходил по этой дороге! Она смертельно ему надоела. А сегодня он идет по ней с грустью, как по самой любимой тропинке. На все смотрит новыми глазами. Кофейня, которую он считал своей тюрьмой, кажется ему теперь чуть ли не райским уголком. Он спрашивал себя: счастлив ли он? И не мог ответить на этот вопрос. Он ставил вопрос по-другому: удручен ли он всем происшедшим? И тоже не находил ответа.

■

События развивались быстро. Таруси нельзя было отставать от них. Но он вдруг словно лишился обычной твердости, решительности и энергии, которые особенно были нужны именно сейчас. Вместо того чтобы действовать, он находил всяческие предлоги, чтобы оправдать свою нерешительность. Рахмуни он сказал, что не отказывается быть капитаном на новом судне, но какое-то время хотел бы еще остаться на берегу.

— Совсем недолго, Салим, пока я не устрою все свои дела,— объяснил Таруси.— Тогда я со спокойной душой смогу плыть куда угодно.

Рахмуни не возражал. Он предоставил ему полную свободу действий.

— Я тебя не тороплю,— сказал он.— Можешь спокойно улаживать все свои дела. Когда управишься, тогда сменишь меня.

Захватив с собой Ахмада, Рахмуни ушел в первое плавание в Александрию.

ГЛАВА 5

В кофейне Абу Заккура, как всегда, было людно — не сразу найдешь свободное место. Хозяин кофейни Абу Заккур, краснощекий великан с пышными, закрученными вверх усами, стоял за перегородкой. Пощипывая усы, он то и дело косил в сторону входной двери, явно кого-то поджидая.

В дальнем углу, на обычном месте, сидел со скучающим видом всеми забытый и брошенный Абу Хамид. Его группа давно распалась. Никто больше не расспрашивает его о последних новостях. После того как Германия капитулировала, он стал мишенью для насмешек.

---

[1] Джуба Бургаль — деревня в районе Латакии, которая была опорным пунктом сепаратистов во главе с Сулейманом Муршидом.

— Абу Хамид, а как поживает твой Юнис? — подтрунивали над ним знакомые.— Как же это ты его не раскусил? Распинался по радио, прославляя Германию, а сам, оказывается, работал на англичан! Вот тебе и Юнис!

Абу Хамид, после того как в кофейне Ибн Амина его совсем извели подобными шутками, перебрался из квартала Шейх Захир в Шахэддин, в кофейню Абу Заккура. Теперь он уже не бегал делиться новостями, а большую часть времени проводил в своей кузнице на рынке, которую было совсем запустил из-за этого проклятого Юниса.

Под навесом за столиком среди наиболее солидных и почтенных посетителей сидел Исмаил Куса, который, как обычно, рассуждал о политике и, конечно, защищал правительство. Все ловили каждое его слово. Он был здесь главным защитником правящего блока, к которому многие имели свои претензии. И ему приходилось защищать блок от нападок, объяснять его политику, отвечать на вопросы, часто довольно каверзные. Как правило, Исмаил ссылался на всякие трудности, на особые условия, на объективные обстоятельства, на соображения высшей политики и уверял, что Франция обязательно выведет свои войска. Но на вопрос, когда именно это произойдет, он не мог дать вразумительного ответа и только беспомощно разводил руками.

А людей не только в Латакии, но и во всей Сирии больше всего волновал и тревожил именно этот вопрос. В Дамаске и во многих других городах вспыхивали забастовки, проходили бурные демонстрации, закрывались школы, устраивались митинги. Несмотря ни на какие препоны и преграды, вести об этом докатывались до самых глухих уголков страны. Они обсуждались, о них говорили, спорили. Атмосфера в стране все более накалялась. Сгущались тучи, предвещая бурю.

Люди, которые придерживались разных взглядов, подчас диаметрально противоположных, забывали старые распри и находили общий язык, когда речь заходила о главном — об опасности, угрожавшей независимости страны. Призывы, которые бросал Дамаск, находили отклик и в Халебе, и в Хомсе, и в Хаме, и в Латакии. Столица не была одинокой. Люди, принадлежавшие к разным религиозным общинам, в час опасности сплачивались, объединялись в единый лагерь.

В Латакии по-прежнему враждовали между собой различные кварталы, ссорились соседи, конкурировали дельцы, учитель Кямиль с жаром отстаивал взгляды, которые другие считали крамолой, рабочие боролись с предпринимателями, крестьяне — с помещиками, но это не мешало представителям самых различных групп собираться вместе, чтобы обсуждать вопросы, касающиеся будущего страны.

Из разных концов города приходили люди в кофейню Абу Заккура. Одни оставались здесь, других хозяин направил в дом Заки Каабура. А сам он все ожидал кого-то, кто должен был обязательно прийти, но почему-то запаздывал. Абу Заккур отпускал официанту кофе для посетителей, рассеянно здоровался с входящими и все время нервно пощипывал усы, не сводя глаз с дверей, в которых должен был появиться нужный ему человек. Но тот так и не пришел. Абу Заккур сердито нахмурился. Он возлагал на него такие надежды! Этот человек вел переговоры о закупке оружия. Деньги они уже собрали. Каждый добровольно внес определенную сумму. Все это произошло почти что стихийно. Абу Заккур нашел посредника. Договорился с ним обо всем. И тот его подвел. Но больше ждать он не может. Ему тоже надо присутствовать на совещании в доме Заки Каабура.

Абу Заккур направился к двери, словно не замечая адресованных ему возгласов посетителей, требовавших кто — чаю, кто — кофе, кто — наргиле, кто — колоду карт. Выйдя на улицу, он перешел площадь и свернул в переулок. По дороге встретил учителя Кямиля и еще нескольких знакомых, которые тоже шли к Каабуру.

— Ну, что хорошего? — спросил он, поздоровавшись с Кямилем.

— Ничего хорошего,— ответил Кямиль.— Завтра студенты и школьники начнут демонстрации. Но они ничего не дадут, если их не поддержат массовые организованные выступления народа по всей стране. Только так можно подтолкнуть правительство к решительным действиям.

Когда они вошли в дом Каабура, он уже гудел, как улей. Большая гостиная была переполнена — тут были люди почти из всех кварталов города, представители самых различных партий и организаций. В дальнем углу сидели Надим Мазхар и Таруси, который даже сюда пришел со своей неизменной палкой. Спор был, очевидно, уже в самом разгаре. Многие были встревожены обстановкой, которая складывалась в Латакии в связи с возобновившейся активностью Муршида.

— Ну, до чего вы уже договорились? — спросил Абу Заккур, здороваясь со всеми.

— Да ни до чего пока. Топчемся на месте,— ответил хозяин дома.— Мы им про быка, они нам — про корову. А доить быка, чтобы их разубедить, бесполезно, да и рискованно к тому же. Никак не поймут, что Латакия — это не Дамаск. И опасность, что повторятся события тридцать шестого года, вовсе не исчезла, как они думают. Муршид уже поднимает голову. Угроза нашей независимости все еще существует.

— Ты прав,— поддержал его Кямиль.— Но главная угроза исходит не от Муршида. Наша независимость не может быть полной до тех пор, пока отсюда не уйдут французы и англичане. А судя по всему, они пока не собираются никуда уходить. Но если мы объединимся, противопоставим им единый народный фронт, они вынуждены будут уйти. Что же касается Латакии, то Муршид тут действительно опасен. Это

вполне реальная и серьезная угроза целости и независимости нашей страны. И чем раньше мы ликвидируем эту угрозу, тем лучше.

— Все, что поют нам сторонники правительственного блока, мы слышали уже много раз,— прервал Кямиля хмурый мужчина, который даже в годы войны выступал против какого-либо сотрудничества с англо-французскими военными властями.

— Ну, зачем сводить старые счеты? — воскликнул Надим.— Мы ведь собрались здесь не для того, чтобы ворошить прошлые обиды и ссориться, а, по-моему, для того, чтобы договориться о совместных действиях. Разве не так?

— Правильно!

— Нечего вспоминать старое! Поговорим лучше, как объединиться ради нашего будущего! — поддержали Надима со всех сторон.

— Да, получить независимость — это еще не значит обеспечить наше будущее,— вставил Кямиль.— Это только первый шаг на большом пути, который нам предстоит. И второй шаг может быть сделан только после вывода из страны всех иностранных войск.

— Ну, а потом — третий шаг? Опять будем повторять наши старые ошибки? — не унимался хмурый мужчина.

— Не надо вспоминать старое, но и не будем слишком забегать вперед! — попытался успокоить его Надим.— Давайте говорить о том, что нам предстоит делать сегодня, сейчас!

— К сожалению, история слишком часто повторяется,— философски заметил адвокат.— Все выглядит почти так же, как в тридцать шестом году. Тот же Сулейман Муршид, те же сепаратисты, те же споры, те же разговоры...

— Нет, вы ошибаетесь! — возразил Кямиль.— История никогда не повторяется, она движется вперед. Сегодняшняя Франция совсем не та, какой она была вчера. И Англия не та. Они стали намного слабее. Зато мы окрепли, стали сильнее. И общая расстановка сил в мире изменилась в нашу пользу. Да и вообще мир изменился.

— Мир-то изменился, а Сулейман Муршид остался! — заметил какой-то торговец.

— Ну чего вы заладили: Муршид, Муршид! — вспылил Исмаил Куса.— Плевали мы на этого Муршида. Неужто страшнее кошки зверя нет? Его можно больше и в расчет не принимать.

— Это как же так? Почему?

— Да потому, что его песенка уже спета.

— Нет, уважаемые, в том-то и дело, что еще нет! — возразил торговец.— За его спиной французы. Их опасность для Латакии не уменьшилась, а возросла. Зачем закрывать глаза на правду?

— Глаза никто не закрывает...

— Не закрываете! Вы видите только угрозу со стороны Франции. Так сказать, опасность в перспективе. Такая опасность действительно существует. Но Муршид представляет сейчас непосредственную и довольно близкую угрозу. Он может принести нам очень много бед. Джуба уже сейчас стала его вотчиной. Что хочет, то и творит там. А французский советник зачем там торчит? Отдыхает? Молится? Или охотится? Как бы не так! Плетет вместе с Муршидом новый заговор! Помяните мое слово: мы еще хлебнем горя! Перережут главную дорогу, перекроют все другие пути, прекратится подвоз — и останемся мы одни, отрезанные от всей страны. Тогда бандиты Муршида нас голыми руками возьмут.

— Правительство учитывает такую опасность, и оно начеку,— успокоил торговца Исмаил Куса.

— Это, конечно, хорошо, что оно начеку, но одно правительство мало что может сделать без поддержки народа. Для этого мы должны его поднимать и готовить к будущим битвам.

— Правильно! — послышалось сразу несколько голосов.— Правительство верит обещаниям, и полагается на переговоры, а мы должны полагаться на оружие.

— Пока правительство будет вести переговоры, мы должны вооружаться сами и вооружить народ,— заключил Надим.— Оружие нам в любом случае не помешает. Французы заупрямятся — подтолкнем их штыком, Муршид поднимет голову — тоже припугнем. Короче говоря, мы нуждаемся сейчас в оружии. Но чтобы достать его, нужны деньги. Где их раздобыть? По-моему, в первую очередь должны раскошелиться все наши толстосумы. Есть деньги, так не скупись! Я так полагаю!

— Я полностью согласен с Надимом,— первым нарушил паузу Кямиль.— Нам в любом случае предстоит бороться, а для борьбы нужно оружие. Одни могут сами его купить, а тем, у кого денег нет, оружие надо дать. Не с голыми же руками идти на врага?

— Почему с голыми? — усмехнулся Абу Заккур.— У меня, например, есть хороший нож.

— Уж не тот ли, которым ты когда-то пырнул полицейского?

Кто-то засмеялся. На других лицах тоже появились улыбки. Все знали, что Абу Заккур в молодости был мясником. Когда один полицейский, повадившийся ходить к нему в лавку за даровым мясом, однажды потребовал от Абу Заккура крупную взятку, тот ударил его ножом, которым резал мясо. После этого он бежал в Палестину

и вернулся в Латакию только через десять лет, когда объявили амнистию. Тогда-то он и открыл в Шахэддике свою кофейню.

— А чем такое оружие плохо? — огрызнулся Абу Заккур.— Пока не дадут лучшее, и этим можно кое-кому перерезать глотку.

— Вот что значит призвание! Так и тянет тебя к твоему старому ремеслу. А почему бы тебе, Абу Заккур, в самом деле не стать опять мясником?

Теперь засмеялись все, кроме Абу Заккура.

— Да сохранит меня аллах! — испуганно замахав руками, воскликнул он.— Из-за этого ремесла я чуть было на виселицу не угодил. Не хочу второй раз испытывать судьбу.

— Ну, что пристали к человеку? — возмутился хмурый мужчина.— Вернемся к нашим делам. Я тоже согласен с Надимом. А почему ты, Исмаил, молчишь?

— А что мне говорить? Я ни о чем не беспокоюсь.

— Это отчего же?

— Я верю, что правительство зря времени не теряет. Оно обо всем позаботится.

— На правительство надейся, а сам не плошай! Оно ничего не сделает, если мы не возьмемся за дело,— с горячностью возразил Надим.

— А что делается в Дамаске? Что там слышно? — спросил торговец.

— В Дамаске тоже вот-вот грянет гром. Готовится всеобщая забастовка.

— А англичане что?

— Как всегда, хотят остаться в тени. Вроде и нашим, и вашим. Ждут, когда мы выгоним французов, чтобы тут же занять их место.

— Да, против двоих сразу нам, наверно, не выстоять. Как тогда нам быть? Кто нам поможет?

— Народ справится и с двумя врагами и с тремя,— сказал Кямиль.— И помощь, когда потребуется, нам окажут. У нас есть верные друзья.

— Ты это о русских? Пустая болтовня! Зачем сейчас заниматься пропагандой? Нечего нас агитировать! — раздраженно сказал торговец.

— Русские ни в какой пропаганде не нуждаются,— отпарировал Кямиль.

— А это что — не пропаганда? Повторяешь, что говорят они, и...

— Ну и что же? — вступился за Кямиля Таруси.— Правда не перестанет быть правдой, если ее и повторяют. Почему ты затыкаешь ему рот? У тебя есть какие-нибудь возражения по существу? Разве он сказал глупость? Чем тебе не понравились его слова?

— Ничего страшного в том, что мы немного поспорим, нет,— опять вмешался Надим.— Но не надо отвлекаться от главного вопроса. Поговорим о покупке оружия.

— Надо создать специальный комитет по сбору денег и другой комитет, который займется его закупкой.

— Верно!

— Вот и готовое решение!

Все зашумели, начали выкрикивать имена, и каждый старался перекричать другого, настаивая на своей кандидатуре. Среди других назвали и Таруси.

— Нет, меня ни в какой комитет не включайте! — взмолился Таруси.— Собирайте деньги, покупайте оружие, а я берусь его доставить.

— Пожалуй, так и в самом деле будет лучше,— согласились с ним остальные.

— Мне кажется,— подал голос Абу Заккур,— что надо заранее предупредить народ о возможной опасности. А то французы или бандиты Муршида застанут нас врасплох. Помните, как было раньше?

— Народ и предупреждать не надо, он как порох — только спичку брось! — сказал Таруси.

— Это верно, но разъяснительную работу в народе все-таки вести надо. Нужно готовить его к будущей битве,— возразил Кямиль.

— Не мешало бы установить пост на дороге из Джубы,— предложил кто-то.— Надо следить, кто едет туда и кто оттуда.

— Правильно!

— Хорошая мысль!

— И вообще нужно знать, что происходит не только в городе, но и во всех окрестных деревнях. Об этом всегда можно собрать сведения у крестьян на базаре.

— Ну, лучше Абу Хамида никто не сумеет разнюхать, где что происходит!

— Оставьте вы его в покое! — засмеялся Исмаил Куса.— У него своих забот много. Никак не может успокоиться, что Германия потерпела поражение. Сидит в кофейне и мрачно молчит или же поносит правительственный блок на чем свет стоит.

— Нам нет дела, как он ругает правительственный блок,— сказал Кямиль.— А подумать о нем стоит. Разве Абу Хамид меньше нас любит родину? Или он не патриот? Он так же, как мы все, ненавидит французских и английских колонизаторов. И на Германию надеялся только из-за них. Если человек заблуждался, это еще не значит, что мы должны от него отворачиваться. Пусть Надим с ним поговорит. Тем более что Надим с ним связан деловыми отношениями.

— Что же, я готов! — отозвался Надим.— Но только вместе с тобой, Кямиль.

— Пожалуйста, я не отказываюсь.

— Желаем вам успеха!

— И вам тоже!

— До встречи!

— До встречи с победой!

— Пусть вам сопутствует успех и благословение аллаха,— промолвил служитель мечети Мустафа.

Это были первые и последние слова, которые он произнес на этом совещании.

ГЛАВА 6

Выйдя из дома Каабура, Таруси вместе с Кямилем направились в сторону моря, прошли мимо больницы и свернули к порту.

— Скажи, Абу Зухди, как ты очутился на этом собрании? — спросил Кямиль.

— Наверно, так же, как и ты,— ответил Таруси.

— Для меня это дело привычное. А ты ведь сейчас занят по горло перед уходом в море. К тому же я знаю, что ты терпеть не можешь всяких собраний.

— Это верно, я их не люблю. По-моему, дело всегда лучше слов. Но сейчас я понял, что прежде, чем приняться за дело, его надо хорошенько обсудить. За эти годы я кое-чему научился у вас. Если хочешь, я готов признать, что прежде ошибался.

— Тут виноват не ты, а те, кто видел в Гитлере нашего избавителя. Сами верили и других пытались обратить в свою веру.

— Ну, меня-то обратили в другую веру!

— Это кто же?

— Умные люди вроде тебя. Без вас я ходил бы слепым до сих пор. Вот Абу Хамид и сейчас все еще обвиняет бывших своих единомышленников в предательстве. И меня в том числе. Костит нас на чем свет стоит. Говорит, что мы изменники.

— Ну, а ты в свое оправдание что говоришь?

— А ничего. Гитлер мне никогда не нравился. Тем более я не мог в него верить. Ведь Гитлер и Муссолини — одного поля ягода. А кто убил Омара Мухтара[1]? Муссолини! Абу Хамида я слушал, пока не появился ты.

— Значит, Абу Хамид прав? Конечно, ты не изменник, но взгляды-то свои ты изменил?

— А сам Абу Хамид, думаешь, не изменился? Он больше не ругает русских и немцами не восхищается. Недавно в разговоре все хвалил тебя. Кямиль, говорит, светлая голова, раньше всех сказал, что Гитлера разобьют.

Кямиль улыбнулся.

— Таким, как Абу Хамид, нужно только вовремя открыть глаза. Он честный человек и просто заблуждался. Он рассуждал так: Франция и Англия наши враги. Раз Германия воюет с ними, значит, она наш союзник, а Гитлер — наш друг. Ведь из Берлина по радио все время твердили, что Гитлер — друг арабов. А на деле самый заклятый враг всех народов, в том числе и арабов. Тиран. А наш народ не любит тиранов. Их время прошло. Мир изменился. У людей теперь другие взгляды. Да и сами люди стали другими...

— Я вижу, куда ты клонишь,— прервал его Таруси.— Хочешь, чтобы я прозрел до конца. Но ведь я никогда, наверное, не стану философом,— усмехнулся Таруси.— Ты говоришь правильные вещи. Однако твои слова не столько остаются у меня в голове, сколько западают в сердце. Я люблю свою родину — вот и вся моя философия. Готов за нее бороться, не вдаваясь в рассуждения. И бороться самоотверженно, не жалея своих сил и жизни.

— За твою искренность я тебя и люблю.

— Я искренен, потому что и ты всегда со мной откровенен. Говоришь прямо, что думаешь. Этим ты и нравишься людям. Мне Касем Джаро сам рассказывал, как его подучили избить тебя. А ты пришел в кофейню, увидел Касема с приятелями и вместо того, чтобы скрыться, подошел к их столику. Поговорил с ними, и Касему стало вдруг стыдно. После этого он никому не разрешает сказать хоть слово против тебя.

Этот случай был хорошо памятен Кямилю, хотя с тех пор прошло уже много времени. Касема в самом деле кто-то тогда подкупил, чтобы он разделался с учителем. Кямиль узнал об этом. Конечно, он не искал встречи с Касемом. Но когда, войдя в кофейню, увидел его, то решил не отступать, а пойти навстречу противнику. Подсел к его столику, выпили вместе кофе и потолковали по душам.

— Меня всегда поражает твоя убежденность и выдержка,— признался Таруси.— Ты никогда не теряешь самообладания, даже когда тебе одному приходилось выдерживать бой с Абу Хамидом и его сторонниками. У тебя хватает терпения часами что-то объяснять неграмотным рыбакам и рабочим порта.

«Значит, тебя привлекают не идеи, которые я отстаиваю, а мои личные качества,— подумал про себя Кямиль,— мое отношение к людям... Впрочем, какая разница? Разве идеи существуют сами по себе? Они должны воплощаться в поступках человека. В отношениях между людьми».

[1] Омар Мухтар — руководитель освободительной борьбы ливийского народа против итальянских колонизаторов. Казнен 16 сентября 1931 г.

На перекрестке у губернаторского дворца попрощались. Учитель пошел в сторону крепости, а Таруси направился к морю, к себе в кофейню.

Хотя была уже полночь, в кофейне все еще сидел народ. В основном рыбаки, которые, по обыкновению, собрались в углу около Халиля Арьяна. Один из них рассказывал о своем сегодняшнем улове, утверждая, что нет лучше рыбы, чем морской окунь. Другие с ним не соглашались. Халиль, стараясь перекричать всех остальных, расхваливал султанку.

Таруси вышел на улицу.

«Вот их, наверно, не мучают сомнения,— думал он.— Они любят свое ремесло. Находят в нем счастье. Да и я сам не знал никаких мук и был счастлив, когда ходил в море, как они. Почему же у меня сейчас появились какие-то новые заботы? Ведь раньше меня нисколько не интересовало, что происходит в мире. Это меня не касалось. Почему бы мне опять не заняться своим старым делом? Что мне мешает бросить все и хоть завтра отправиться в море?»

Таруси подошел к обрыву. Сел на свой любимый камень и закурил. Его мысли невольно возвращались к тому, что он слышал сегодня вечером в доме Каабура. Вот-вот в городе могут начаться события. И неизвестно, как они будут развиваться.

С Рахмуни они договорились, что Таруси отправится в плавание сразу после его возвращения из Александрии. Но сейчас появились новые непредвиденные обстоятельства, связанные с возможным выступлением Муршида. Да и вообще со дня на день можно ожидать решительного столкновения с французами. Может ли он покинуть город в такое время? И как продать кофейню? Кому она сейчас понадобится? Но даже если ему удастся ее продать, он все равно не сможет уехать, пока не доставит в город оружие. Ведь он сам вызвался это сделать. Его никто не тянул за язык. А теперь, если он уйдет в море, его назовут болтуном.

«Нет! — твердо решил Таруси.— Сейчас мне уезжать нельзя. Я должен остаться хотя бы до тех пор, пока не прояснится обстановка. Закончу все свои дела. Выполню свой долг. Внесу свою лепту в общее дело и буду биться вместе со всеми до конца, сколько бы эта битва ни продолжалась».

Море дышало глубоко и ровно, точно во сне. Волны тихо роптали, будто жалуясь берегу на свою судьбу, и, не найдя у него сочувствия, со вздохом откатывались назад. Таруси казалось, что они звали и его с собой туда, в море.

«Зовут в море, а сами тянутся к берегу»,— грустно улыбнувшись, подумал Таруси.

Ночь спешила на свидание с утром, и от предчувствия радостной встречи сама становилась все светлее и прозрачнее. Рыбаки уже покинули кофейню, так, наверно, и не разрешив свой нескончаемый спор о том, какая рыба лучше. Да и зачем? Они вернутся еще к своему спору и завтра, и послезавтра. Много, много раз. Ведь они ловят рыбу каждый день. И каждый день случается что-то новое. Новый улов, новые приключения, новая удача, новые невзгоды. Рассказывая о них, они опять будут ругаться, спорить, что-то доказывать. Потом придет новый день. С новыми надеждами, с новой борьбой. И так до конца жизни. Таруси хорошо знает эту жизнь, которая, несмотря на все тяготы, горести, волнения и невзгоды, стоит того, чтобы ее ценить и любить.

ГЛАВА 7

Абу Хамид сосредоточенно бил молотом по раскаленному куску железа, будто наказывая его за излишнее упрямство. Брусок был красным, как угли, из которых его только что вытащили клещами. Абу Хамид, по пояс голый, вспотевший, настолько был увлечен работой, что не замечал ни жары, ни резкого запаха жарящегося где-то рядом мяса, ни беспорядка, царившего у него в кузнице, ни многоголосого шума базара, ни пронзительных выкриков Абу Самиры. И вошедших в кузницу гостей — Надима Мазхара с учителем Кямилем — он заметил не сразу. Но увидев, захлопотал, усадил их на лучшие места, какие только можно было найти в кузнице, а сам уселся перед ними на пол, поджав под себя ноги.

— Добро пожаловать! Добро пожаловать! — несколько раз повторил Абу Хамид.— Милости просим! Очень рад дорогим гостям. Чем обязан такому счастью! Не нужна ли вам моя помощь?

— Твоя помощь, Абу Хамид, нам всегда нужна,— ответил Надим.

— Сейчас нам тебя не хватает, как луны в темную ночь,— полушутя добавил Кямиль.

— К вашим услугам! Всегда ваш покорный слуга. Ваш визит для меня, как солнце в ненастный день. Один аллах знает, как я рад вашему приходу!

Абу Хамид вытер руки о фартук, достал из кармана табакерку и протянул ее Надиму. Взяв щепотку табаку, Надим передал ее учителю. Абу Хамид тем временем вышел на улицу и заказал кофе. Вернувшись, он опять сел, поджав под себя ноги, но вскоре вновь вскочил и, подбежав к двери, крикнул:

— Абу Самира! Нельзя ли потише — у меня гости!

— Будь спокоен, Абу Хамид. Ты больше моего голоса не услышишь!

Однако не успел Абу Хамид усесться поудобней, как за стеной опять послышались громкие заклинания Абу Самиры, урезонивавшего очередную покупательницу:

— Сестрица, я тебе уже сто раз говорил и еще раз повторяю: цены у меня твердые, установленные раз и навсегда. Понятно тебе?

— Нет, не понятно! — закричала женщина.— Где это видано, чтобы устанавливали такие цены? Совести у тебя нет!

В ответ Абу Самира разразился таким демоническим хохотом, что Абу Хамид, не выдержав, опять подскочил к двери:

— Я же тебя просил, Абу Самира, не шуметь. У меня гости. Дай нам поговорить спокойно.

— Ради бога, клянусь своими усами, Абу Хамид, и жизнью твоих дорогих гостей, что больше ты не услышишь моего голоса. И пусть отвалится мой язык, если он еще раз тебя побеспокоит.

— Да пусть кричит! — вмешался Надим.— Он ведь голосом зарабатывает себе на хлеб. А и замолчит он, шуму на базаре все равно не убавится.

Принесли кофе. И только после того, как чашки опустели, Надим наконец перешел к делу.

— Слышал, Абу Хамид, Муршид опять зашевелился? Того и гляди, не сегодня, так завтра придется давать ему бой.

— И ему, и французам,— вставил Кямиль.— Вот мы и решили для борьбы объединиться все вместе, чтобы действовать сообща, плечом к плечу. Каждый будет помогать чем сможет. Как ты на это смотришь?

Абу Хамид скромно опустил глаза, помолчал, потом с удивленным видом спросил:

— А чем я могу помочь? Кто я такой? Мое мнение никого теперь не интересует. Какой от меня вам будет толк?

— Не наговаривай на себя, Абу Хамид,— возразил Надим.— Все это вздор. Люди к тебе всегда прислушивались. И сейчас они помнят о тебе. Вчера все в один голос хвалили тебя, говорили о тебе только хорошее...

— Неужто даже Исмаил Куса?

Надим заговорщически подмигнул Кямилю — поторопись, не то хозяин оседлает своего любимого конька и уж тогда его не остановишь.

— А что Исмаил? — простодушно спросил Кямиль.— Разве он не такой же патриот, как ты? Родина ему тоже дорога. Нам всем очень скоро придется защищать ее от французов или Муршида. И для этого нам надо объединяться. Помогать друг другу. Иначе с нами расправятся поодиночке.

Кямиль рассказал Абу Хамиду о вчерашнем совещании. Объяснил ему, что люди разных политических взглядов могут и должны объединиться для борьбы против общего врага.

— Сейчас, как никогда, нужно объединяться,— говорил Кямиль.— Это понимают все. Тот, кто останется в стороне, станет предателем общенациональных интересов. Предстоящая битва — это лучший экзамен, где будет проверяться патриотизм.

— Ну, а что я должен буду делать? Какой помощи вы от меня ждете?

— Мы рассчитываем, что ты сумеешь кое-что разузнать о Муршиде. И чем больше — тем лучше. Нам очень важно разгадать его планы.

— Это я могу! Завтра же закрою кузницу и отправлюсь собирать сведения.

— Молодец, Абу Хамид! — воскликнул Надим.— Недаром мы в тебя верили. Прав Кямиль: ты золотой человек!

Абу Хамид с пламенным воодушевлением заговорил о том, что готов сделать гораздо больше, чем ему предлагают. Вынужденное бездействие совсем его измучило.

— Вы только скажите, что нужно! Бросить бомбу? Заложить взрывчатку? Поджечь французские казармы? Я на все готов. Можете на меня положиться. Готов даже жизнью пожертвовать!

— Обожди, обожди, Абу Хамид,— остановил его Кямиль.— Нам нужны не только взрывы и пожары. Для этого время еще не наступило. Мы должны сначала провести подготовку. А это можно делать и среди бела дня. В первую очередь необходимо выяснить намерения противника. Узнать все, что происходит в Джубе, в лагере Муршида. У тебя есть там клиенты?

— В Джубе нет, но есть в Хиффе, а это совсем рядом. Короче говоря, вы мне дали поручение, а уж как его выполнить — мое дело.

— Ладно, мы даем тебе это поручение, но с одним условием,— сказал Кямиль.

— С каким? — испуганно спросил Абу Хамид.

— Никому ни слова об этом. Нигде — ни в кофейне, ни дома, ни на улице.

— Можете быть спокойны! Я в кофейнях вообще теперь не бываю.

— Бывать там тебе никто не запрещает. Сиди там, сколько душе угодно. Только никому ничего не говори, а старайся больше слушать. Как говорят на базаре, покупай, а сам ничего не продавай.

Когда гости распрощались и ушли, Абу Хамид принялся снова стучать по остывшему за это время бруску. Потом сбросил его на пол. Свернул сигарету и, закурив, стал ходить взад-вперед по кузнице. Ему обязательно хотелось поделиться с кем-нибудь радостью, которая так и рвалась наружу.

ГЛАВА 8

Рахмуни, вернувшись из Александрии, был уверен, что Таруси уже закончил все свои дела и готов будет заменить его на судне. Но когда Рахмуни заговорил об этом с Таруси, тот ответил уклончиво:

— Понимаешь, я еще не все сделал... Видно, придется задержаться на какое-то время... И кофейню не продал, и другие всякие дела. Поверь, я и сам хотел бы побыстрее уйти в плаванье. Стосковался по морю... Но появились некоторые непредвиденные обстоятельства. Сам знаешь, какое сейчас в городе тревожное положение. Того и гляди, Муршид опять о себе напомнит.... Во многих городах идут демонстрации и забастовки. Со дня на день можно ожидать и других событий...

— Это я знаю,— ответил Рахмуни,— но ты ведь прежде всего моряк.

— Да, моряк. Ну и что? Мы ведь и по земле ходим.

— Да, конечно, мы ходим и по земле. Но я хотел сказать, что наше место — в море. Наши дела связаны прежде всего с морем. И нам нечего долго задерживаться на суше. Но ты не думай, что я тебя тороплю. Я тоже готов помочь, чем смогу. От тебя во всяком случае не отстану!

Таруси виновато улыбнулся, словно извинялся перед другом за излишнюю горячность.

— Ты прав, Салим. Нам нечего долго делать на суше. Наш дом — море. Я вовсе не предлагаю бросить наши дела и судно. Но мы должны чем-то помочь всем остальным. Внести свою лепту... Может, нужно будет что-нибудь конкретное сделать... А, может быть, потребуются деньги...

— Что ж, мы всегда готовы помочь! С радостью! Ты можешь от имени нашей компании дать столько денег, сколько сочтешь нужным.

— Но у меня есть еще одно поручение... Я должен буду сначала выполнить его и только после этого смогу отправиться в плаванье. Как ты на это посмотришь?

— О чем тут говорить? Разве тебе нужно мое разрешение?

Таруси крепко обнял и расцеловал Рахмуни.

— Я был уверен, что ты ответишь именно так!

Они распрощались. Уже вдогонку Рахмуни крикнул Таруси:

— Только береги себя. Обещаешь?

— Обещаю! — улыбнулся Таруси, растроганный заботой друга.— Уж не думаешь ли ты, что я отсюда отправляюсь прямо в бой?

■

Два дня спустя, рассказывая об этом разговоре Надиму, Таруси сказал шутя:

— Ну, теперь у нас есть и свой флот. Так что можем доставить все что угодно.

— Вот и хорошо! — обрадовался Надим.— Мы заранее были уверены, что ты с этим делом справишься. Поэтому и поручили его именно тебе.

Они подробно обсудили, что нужно сделать Таруси. При их разговоре присутствовал еще один человек, которого до этого Таруси видел только на совещании в доме Каабура. Но Таруси знал, что он в курсе всех последних событий, хотя и не здешний. За все время беседы он не проронил ни слова, предоставив Надиму договариваться с Таруси.

Как только гости ушли, Таруси послал Абу Мухаммеда за Ахмадом.

— Скажи, что я буду ждать его в назначенном месте.

Больше Таруси ничего не стал объяснять. Выйдя из кофейни, он поглядел по сторонам, потом спустился к морю. В заливчике стояла большая лодка. На ней можно было выходить в море и под парусом и на веслах. Внимательно он осмотрел ее и, убедившись, что все в полном порядке, пошел по берегу дальше.

За широкий черный пояс Таруси был заткнут заряженный пистолет. Поверх рубахи и пояса он надел бушлат. По его виду можно было догадаться, что он чем-то озабочен. И это было действительно так. Таруси сейчас думал только о том, как лучше выполнить порученное ему дело. Чтобы потом не стыдно было смотреть в глаза и Надиму, и другим людям, которые верили, что Таруси не подведет.

ГЛАВА 9

Перед отплытием Таруси строго предупредил своих товарищей:

— Пока не выйдем из порта, громко не разговаривать и не курить! Гребите тихо!

Две пары весел беззвучно погружались в воду, взлетали в воздух, как два огромных распластанных птичьих крыла, и снова исчезали под водой, и снова возникали над ней, рассыпая пунктиры брызг. Лодка быстро скользила по черной глади, держа курс на север. Увидев вдали свет, Таруси приказал поднять весла. Матросы не понимали причин такой осторожности. Уж не занялся ли Таруси контрабандой? Прошло несколько томительных минут, прежде чем раздалась команда:

— Гребите!

Потом, повернувшись к Ахмаду, Таруси приказал:

— Подними парус!

Под парусом лодка пошла еще быстрее. Таруси, чтобы не вызвать подозрения, решил изменить курс и пойти на северо-восток. Пусть думают, что они направляются в открытое море.

Ветер надул парус. Моряки подняли весла, но продолжали держать их на весу.

Таруси, открыв табакерку, протянул ее морякам:

— Курите!

Моряк, который сидел ближе к нему, взял щепотку и начал свертывать толстую цигарку. Табакерка капитана пошла по кругу. У каждого из них был и свой табак. Но такова уж старая морская традиция: первая цигарка в море — из табака капитана. Это один из неписаных законов моря, и Таруси, как старый морской волк, свято его выполнял. Пусть это всего лишь лодка, но он здесь старший и должен вести себя как настоящий капитан.

— Ты, Таруси, как будто и не моряк уже, а обычаи моря все соблюдаешь,— пошутил Абу Самид.

— Да, я теперь хозяин кофейни. Она меня кормит, и, значит, теперь это мое ремесло. А море...— Таруси помолчал, подыскивая нужное слово.— ...Море — это моя любовь.

— Потому-то мы и мечтаем пойти с тобой в море, когда ты опять станешь капитаном.

— Что ж, может быть, еще и поплаваем вместе,— уклончиво ответил Таруси.

— А моя мечта, слава аллаху, уже сбылась! — с гордостью сказал Ахмад.

— Могла и не сбыться...— задумчиво произнес Таруси.— Я до сих пор себя ругаю, что ты из-за меня прыгнул тогда в море и поплыл к фелюге Рахмуни. Просто чудо, что мы тогда остались живы. Но такое чудо случается только раз в жизни. Боже сохрани тебя, Ахмад, и вас, ребята, испытывать подобным образом судьбу! В детстве я, бывало, на спор с ребятами нырял под пароход. Теперь я стал умнее и не нырнул бы под пароход ни за какие деньги!

— А я бы нырнул! — задорно воскликнул Ахмад.— И вообще я готов сделать все что угодно, чтобы только плавать с тобой, Таруси, или с Рахмуни.

Они прошли уже больше половины пути. Пожалуй, настало время поговорить откровенно. Рассказать, куда и зачем они идут.

— Вы, очевидно, уже сами поняли, куда мы держим курс? — спросил Таруси и, не дожидаясь ответа, объяснил:— Нам предстоит одно дело, о котором никто, кроме нас, не знает и не должен никогда узнать. Дело простое, но очень важное и ответственное. Поэтому никому ни слова! Вам известно, что предстоит решающее сражение. Чтобы его выиграть, нашим братьям нужно оружие. Вот я от вашего имени и дал им слово, что мы доставим это оружие. Я на вас полагаюсь и думаю, что мы их не обманем.

— А откуда мы должны его доставить?

— Из Басита. Оружие уже куплено. Наша задача только его доставить.

— А почему решили именно морем?

— Да потому, что французы сейчас следят за всеми дорогами. Поэтому я и предложил такой план. Главное, не нарваться на таможенников. Они могут принять нас за контрабандистов и погнаться за нами. Тогда нам придется туго. Или надо будет принимать бой, или выбросить оружие за борт.

— Раз ты поручился от нашего имени, так и действуй с умом. А зачем сейчас соблюдать осторожность, когда у нас никакого оружия пока нет? — спросил матрос, который первым осведомился о цели их ночного похода.— Пока вот осторожничаем, бережемся, а потом сдуру полезем на рожон.

— А кто тебе сказал, что я решил лезть на рожон?

Наступило неловкое молчание. Вспышка Таруси объяснялась тем, что и раньше он слышал такие упреки в свой адрес: будто он «авантюрист», «сорвиголова», любит рисковать, когда не надо. Может быть, когда-то это и было отчасти верно. Но и в те дни он рисковал только своей жизнью, а не чужими. Ну, а если дело идет об общих интересах и нужно отвечать не только за себя, он всегда действует осмотрительно и осторожно. Особенно в последние годы. До того уж стал осторожным, что порой кажется себе трусом. Может быть, старость подошла?

— А правда, что ты вывозил политических ссыльных с острова Арвад? — первым нарушив тишину, спросил Ахмад.— Мне об этом рассказал Рахмуни, когда мы плавали в Александрию. А я и не знал ничего.

— А зачем тебе было знать? Не велик был подвиг. Обычное дело. И давнишнее. Люди, которых мы тогда вывезли, наверно, и сами уже об этом забыли. Они сейчас в Дамаске занимают большие посты. А тогда были простыми ссыльными.

— Ну, положим, не такое уж обычное дело! Мне Рахмуни говорил, что не каждый решился бы за него взяться. Поэтому о нем до сих пор и говорят.

Ахмад упорно хотел заставить Таруси самого рассказать про тот случай. Может быть, он хотел узнать подробности, потому что его интересовало все, что касалось Таруси, которым он восхищался, а может быть, просто хотел сделать ему приятное.

— О настоящих делах всегда будут говорить. В мире ничего не забывается,— заметил пожилой моряк.

«В мире ничего не забывается!» — повторил про себя Таруси. Как просто и в то же время удивительно точно моряк сформулировал мысль, которая его давно занимала, но которую он никак не мог облечь в слова. Ничто не забывается! Значит, не забудется и то, как он спас той ночью Рахмуни. Не забудется, возможно, и сегодняшняя ночь. Он может перечислить и еще много других дел, которые навсегда запечатлелись в его памяти и живут в сердце. Но обязательно ли должны о них помнить другие люди? Взять хотя бы вот эту поездку за оружием.

«Конечно, будут помнить! — сам себе ответил Таруси.— Ведь это я делаю не для себя, а для людей. Значит, люди и будут об этом помнить. Будут вспоминать прежде всего те, кто сам в этом участвовал. Они расскажут другим, те — третьим. Старики— молодым. Ведь и я сам рассказывал матросам о тех, кого давно нет в живых, но чья слава будет жить вечно. Я ставил их другим в пример и сам мечтал хоть наполовину быть таким, как они...»

Сам не желая того, Таруси вдруг нечаянно ответил на вопрос, о котором боялся даже задумываться,— зачем он живет?

Вдруг он понял свое назначение в жизни. Он — одно из маленьких звеньев бесконечно длинной цепи. Он рассказывает о делах тех, кто уже ушел. Люди, которые придут, будут рассказывать другим о его делах. Его научили ремеслу моряка. Он должен научить ему других. Он может есть хлеб, посеянный другими, но должен и сеять сам, чтобы ели другие. Как, оказывается, это все просто! Как мудро! Как прекрасно!

Таруси вспомнил Халиля Арьяна. И удивительные истории и легенды, которые тот всегда рассказывает и которые так любят слушать моряки.

«Его рассказы вовсе не небылицы, как думал я раньше! — решил Таруси.— Наверно, похожее с кем-то происходило. Поэтому-то люди и тянутся к Халилю и с таким интересом слушают его бесхитростные поучительные истории. А я-то удивлялся простодушию моряков, которые ими заслушивались. Но ведь и сам я слушал Халиля с открытым ртом, как ребенок. Смотрел на него восхищенными глазами. Халиль — необыкновенный человек, он морской волшебник, маг, чудотворец. Сказитель, певец моря, его летописец. Он уйдет, но его место займет другой. И того тоже будут слушать люди затаив дыхание. Рано или поздно уйдет Рахмуни, уйду и я. К старым историям прибавятся новые. Рассказывая о них, новый Халиль что-то добавит, что-то приукрасит, потому что младшие всегда приукрашивают жизнь старших. Вполне возможно, что и Синдбад-мореход был реальным человеком, таким же моряком и фантазером, как наш Халиль. И, наверно, не просто сам плавал и любил море, но и был искусным рассказчиком, умел красиво и складно поведать людям о том, что видел и слышал, а заодно и заразить их своей страстной любовью к морю. И выходит, что Синдбад в давние дни был тем же Халилем».

Таруси так углубился в размышления, что забыл о товарищах, которые, решив, очевидно, не мешать ему думать о чем-то своем, принялись рассказывать забавные истории и время от времени негромко смеялись.

Таруси стал всматриваться в черную полоску берега. Там вспыхнул огонек. Кажется, они у цели.

— Приготовиться! — тихо скомандовал Таруси.— Подходим!

Таруси наклонился и, повозившись под кормовым сиденьем, вытащил автомат.

— Эх, не взяли мы с собой никого, кто умел бы хорошо стрелять! — сказал Таруси, упрекая себя за этот промах.

— Ну-ка, покажи мне автомат,— протянул руку Абу Самид.— Невелика хитрость! Как-никак я недаром два года отбарабанил в армии.

— Это хорошо, что ты умеешь стрелять. Армия пошла тебе впрок. А с контрабандистами ты когда-нибудь имел дело?

— Нет, не приходилось.

— То-то и оно! Поэтому я не могу так просто доверить тебе автомат. Это тебе не на рынке торговаться!

Моряки засмеялись.

— Контрабандисты,— продолжал Таруси,— это особый народ. У них нет ни стыда, ни совести. Продадут тебе товар, получат деньги, а потом сами же тебя и ограбят. Не сумеешь отбиться — останешься и без денег, и без товара. Вот так!

Таруси повертел в руках автомат и потом после некоторого раздумья все-таки протянул его Абу Самиду:

— Ну, ладно! Так и быть, бери. А как ты им будешь пользоваться?

— Это уж моя забота. Не бойся. Мне приходилось стрелять из автомата много раз, больше, наверно, чем у меня осталось на голове волос. Если он сам не подведет, не промахнусь. Ну, давай!

И Абу Самид, боясь, что Таруси может раздумать, почти вырвал автомат из его рук и закинул за спину.

— Я тебя недаром предупредил, Абу Самид, что иметь дело с контрабандистами — это не с вражескими солдатами воевать. Так носят оружие в армии. А ты едешь за товаром. В гости. Так ты можешь и напугать хозяев, хотя они и контрабандисты. Что они подумают о нас, увидев у тебя на плече автомат? Нет уж! Спрячь его под бушлат. Приклад зажми под мышкой, разорви карман, просунь туда руку и держи

палец все время на спуске. Понятно? А сам иди немного в стороне — не отставай, но и вперед не забегай, а будь все время сбоку. В разговор ни с кем не вступай. Делай вид, что ты смотришь по сторонам, будто боишься, что кто-то подойдет. А уж когда начнем грузить оружие, смотри в оба, не спускай с них глаз, следи за каждым их движением! Если увидишь, что они вытаскивают пистолеты, сразу бери их на прицел. Под дулом автомата они живо сообразят, что нас голыми руками не возьмешь. Поймут, с кем имеют дело!

Моряк, сидевший рядом с Таруси, повеселел и даже ладони потер от предвкушения интересного дела.

— А ты,— обратился к нему Таруси,— на, возьми мой пистолет и оставайся в лодке! Будь все время начеку! Без особой надобности не стреляй, а то еще, не дай бог, промахнешься и в темноте в своих угодишь. Стреляй, только если кто-то попытается влезть в лодку. Как бы ни швыряло лодку, якоря не бросай! Привяжем ее канатом — и хватит. В случае чего сразу руби канат и отплывай! Вот, пожалуй, и все инструкции!

По команде Таруси моряки свернули парус. Ахмад шестом нащупывал дно, чтобы не наткнуться на риф. Таруси сел за руль, подводя лодку все ближе к берегу.

Вскоре между скалами вновь вспыхнул огонек. Таруси, как было условлено, замигал в ответ фонариком. Огонек на берегу опять загорелся и погас. Лодка пристала к берегу. Таруси спрыгнул первым. Снова посветил фонариком. Потом за канат подтянул лодку вплотную к скале. Будто из-под земли выросли людские фигуры. К лодке потащили мешки с оружием. И только после того, как его погрузили, Таруси отдал деньги и ловко прыгнул в лодку, перерубив одновременно канат. Матросы сразу дружно налегли на весла. Ахмад поднял парус. Лодка быстро удалялась от берега.

— Ну, слава богу, пронесло! — сказал облегченно Абу Самид. Но тут на берегу раздался выстрел и рядом с лодкой просвистела пуля.

— Это они нам салютуют на прощанье! — усмехнулся Таруси.

Лодка уходила в открытое море.

— Ахмад, возьми руль,— скомандовал Таруси.— Скоро поднимется попутный ветер. До рассвета надо пройти форт. Проскочим — считайте, что дело сделано!

ГЛАВА 10

Про груз, который Таруси доставил из Басита, знали немногие. Кроме Надима Мазхара в эту тайну был посвящен еще и учитель Кямиль. Возможно, Надим хотел приписать эту операцию себе и нажить на этом политический капитал для своей партии. Но Таруси то ли случайно, то ли намеренно спутал карты Надима, поддавшись подсознательному чувству симпатии и доверия, которые ему внушал Кямиль. Да и какое дело было ему до этой мышиной возни? Свой долг он выполнил, слово сдержал. А не поделиться своими мыслями, тем более сомнениями, с Кямилем он не мог. Он всегда хотел знать мнение своего друга обо всем, что его интересовало. Советуясь с ним, он разбирался в том, что до тех пор понимал не совсем отчетливо. И если Кямиль одобрял его поступок, Таруси еще больше укреплялся в своей уверенности и еще быстрее шел по намеченному пути.

Именно поэтому, встретившись через несколько дней с Кямилем, он попросил у него совета, уходить ли в дальнее плаванье или пока повременить.

— Видишь ли, тут советовать что-нибудь трудно,— ответил Кямиль.— Это твое личное дело. Могу только сказать, что никаких чрезвычайных обстоятельств, которые вынуждали бы тебя ломать свои планы, пока нет. По крайней мере, жертв от тебя не требуется.

Таруси задумался, низко опустив голову. Он знал, что все равно уйдет в плаванье. Но ему требовалась моральная поддержка. Именно ее он искал у своего друга. Он нуждался в одобрении. Пусть кто-нибудь перерубит канат, которым он привязан к берегу, к этим обжитым им самим скалам.

Они хорошо понимали друг друга. Кямиль знал, почему терзается Таруси. Ведь с берегом его связывает теперь не только кофейня. Таруси не хочет свернуть с того пути, по которому он медленно, но верно шел все эти годы. С пути, который помог ему избрать Кямиль. Это путь борьбы не только за свои интересы, но и за счастье других людей, за счастливое будущее своей родины. Он не должен и не имеет права оставаться в стороне от этой борьбы.

— Да, я не крестьянин, не рабочий, я — моряк,— рассуждал Таруси.— Но я тоже принадлежу народу. Я один из его верных сыновей. Патриот без философии. Помнишь, я это уже говорил? Однако так куда лучше, чем быть философом без патриотизма. Каждый человек должен быть прежде всего патриотом. Патриотизм — это особое святое чувство, которое возвышает душу человека, как и любовь. Но любовь бывает и долгая, и быстротечная. А это на всю жизнь. Философии же можно набраться и потом. Все другие ценности — второстепенные. Можно прожить и без них.

— Значит, ты твердо решил оставить кофейню? — спросил Кямиль.

— Да.

— Вернуться снова в море?..

— Конечно. Разве не этой мечтой я жил все эти годы?

Таруси старался казаться спокойным. Но взгляд, который он бросил на Кямиля, выражал и недоумение, и горький упрек: «Неужто ты меня не понимаешь? Или притворяешься? Или, может быть, сомневаешься в том, что я люблю море?»

Кямиль смутился. Он понял, что был нечуток и нетактичным вопросом разбередил самую больную рану своего друга. И он решил помочь Таруси. Да, он перерубит канат, пусть тот плывет туда, куда устремлены его помыслы, куда рвется его душа. Но ведь были и другие, не видимые, но прочные нити, которые навеки связали Таруси с борьбой за достижение их общей цели. И как ни трудно было Кямилю произнести это, он сказал:

— Раз так, дружище, плыви! Отдавай концы и отчаливай. Кофейня не для тебя. Ты рожден не для этого. Ты сам не раз говорил, что это не твое призвание. Если есть возможность, пусть твоя мечта сбудется. Ты ждал этого дня, так не упусти его. Плыви! Завтра же возвращайся в море. Ни о чем не беспокойся. Но и не забывай ничего, к чему приобщился и с чем сроднился на берегу. Ты можешь быть вместе с нами, находясь и вдали от нас. И вдали человек при желании всегда может внести свой вклад в общее дело, может быть полезен своему народу и родине.

Они расстались, и каждый пошел своей дорогой. Но оба чувствовали, что возле идет друг. Что нити, связавшие их, стали еще крепче и прочнее.

«Теперь все окончательно решено. Твердо и бесповоротно»,— говорил себе Таруси, ускоряя шаг. Ему не терпелось как можно скорее увидеть Умм Хасан и сообщить ей о своем решении.

Больше ему ничто не мешает. Все препятствия устранены. Прежде ему казалось, что бросить этот постылый берег и вернуться в море будет легко. Но теперь, когда у него появилась такая возможность, он мучается и терзается. Откладывает отплытие со дня на день. Берег и море при всем их различии слились в его душе воедино, и оказалось, что разделить их не так просто. Интересно, что скажет Умм Хасан? Их жизнь и судьба тоже переплелись. Его радость — это и ее радость. Но сможет ли она радоваться предстоящей разлуке? Да и он сам чувствует, как тяжело будет ему это расставание.

ГЛАВА 11

На следующее утро Таруси, придя в кофейню, пригласил Абу Мухаммеда вместе выпить кофе. Они сели за столик под навесом. Таруси предложил Абу Мухаммеду закурить и даже свернул ему цигарку.

«Старик не подозревает, какой я ему сюрприз приготовил,— улыбнулся про себя Таруси.— Погоди, услышишь, так от радости подпрыгнешь».

Кофе был выпит, а Абу Мухаммед по-прежнему ни о чем не догадывался. Таруси решил, что настал подходящий момент преподнести ему этот сюрприз. И он рассказал Абу Мухаммеду о своих давних планах — кофейню он продает, сам возвращается в море, а его, Абу Мухаммеда, берет с собой.

— Видишь, Абу Мухаммед,— кончил он.— Пришел наш долгожданный час! Можешь радоваться. Теперь тебе не нужно будет день и ночь хлопотать в кофейне, вертеться как белка в колесе, угождать каждому пьянице и выслушивать его оскорбления и брань. Отныне ты вольная птица. Посмотришь свет. Побываешь в дальних странах, о которых раньше и не слышал. Повидаешь новых людей. Узнаешь, как они живут, и забудешь про свою прошлую проклятую жизнь. Будешь плавать со мной. Все тебя будут уважать. Ты будешь мой первый помощник. Сначала, может, не все пойдет гладко. В первом плавании почти каждого и тошнит и мутит. Но это ничего. Я тебя научу, как избавиться и от головокружения, и от тошноты. Главное, никогда не надо оглядываться назад. Смотри всегда вперед или по сторонам. А лучше всего заняться какой-нибудь работой. Возьмем с собой рыболовную снасть. Будешь ловить рыбу. Или вообще заниматься чем хочешь. Что твоя душа пожелает, то и бери. Хочешь, мой правый глаз, хочешь — левый!

— Пусть лучше твои глаза остаются на месте, сын мой,— ответил Абу Мухаммед без всякого восторга и, как показалось Таруси, даже с раздражением.

«Вот тебе и раз! — подумал Таруси, глядя на помрачневшего вдруг Абу Мухаммеда.— Я думал, старик обрадуется, бросится меня поздравлять: «Дождались мы заветного дня! Сбылась не только твоя, но и моя мечта!» А он вместо этого сидит мрачнее тучи. Кажется, эта новость его только расстроила».

— Что же ты молчишь, Абу Мухаммед? — спросил, наконец, Таруси.— Или ты что-то сказал, а я не расслышал?

— Ты ведь знаешь, что ты для меня самый близкий человек. Нет у меня ни детей, ни семьи. Я с тобой буду всегда до самой смерти. И когда умру, ты, знаю, пойдешь за моим гробом и бросишь землю в мою могилу. Благодарю аллаха за то, что он связал мою судьбу с твоей...

— Э, ты что-то не ту песню запел, Абу Мухаммед. С чего это ты вдруг заговорил сейчас о смерти? Ты что, не хочешь идти со мной в море?

— Не знаю, что тебе ответить. Я, конечно, рад за тебя. Твоя мечта сбылась, и ты опять станешь капитаном, будешь плавать.

— Значит, ты не хочешь плыть со мной? Что ж, я тебя неволить не буду. Поступай как знаешь. Можешь оставаться на берегу.

— Да я не о себе думаю — о кофейне. Что будет с ней?

— А что мудрить? Продадим, и дело с концом. Мне сейчас как раз нужны деньги. Я должен внести свою долю за судно

Абу Мухаммед еще больше насупился. Он многое мог бы сказать Таруси! Спросить его, например: «А ты все обдумал как следует? Вдруг и это судно потонет, как случилось с «Мансурой»? Что тогда будет с нами? Где найдем приют? Неужели ты способен с легким сердцем отдать чужому человеку нашу кофейню, которую построил своими руками на голой скале и вложил в нее столько труда? Ну, хорошо, ты уплывешь! А я? Что прикажешь мне делать? Неужто на старости лет людям на смех стать моряком? Какой из меня моряк? Мое дело — кофейня. С утра до вечера тружусь в ней. В кофейне и работаю, и сплю. Другой жизни я себе не представляю. И ты лишаешь меня этой жизни? Зачем ты хочешь разрушить мой дом? Укоротить мою жизнь? Неужели ты на самом деле думаешь, что из меня может получиться моряк и я буду на старости лет скитаться по свету из одной страны в другую, из одного порта в другой?»

Абу Мухаммед был бы рад высказать Таруси все, что он думал. Он готов был грудью встать на защиту своего владения, своего маленького мира, который создал своими руками и который хотят сейчас у него отнять. Но как найти нужные слова? Он ведь не умеет красиво говорить. Да и кто способен переубедить Таруси?

Таруси, однако, понял его и без слов. В душе он признавал, что Абу Мухаммед по-своему прав. Но от этого ему не было легче. Наоборот, он тяжело переживал, что его надежды не сбылись и он ничем не сможет возместить старику утрату кофейни. То, что он хотел ему предложить вместо кофейни — новые впечатления, новый огромный мир, новые встречи,— все это ему не нужно, и на них он никогда по доброй воле не согласился бы. А не продать кофейню он не может. Обстоятельства сильнее его. Ну, что ж, он все сказал Абу Мухаммеду и менять решение не собирается. Продолжать разговор было бесполезно. Но прежде чем подняться, Таруси на всякий случай — уже просто из вежливости — еще раз спросил Абу Мухаммеда:

— Значит, ты отказываешься плыть со мной?

— Я? — удивился Абу Мухаммед.— Кто тебе это сказал? Я хочу век быть с тобой, никогда не разлучаться. Это мое самое большое желание. Но я думаю о кофейне. Если бы нам удалось ее сохранить!

Таруси начал неторопливо свертывать цигарку. Положил щепотку табака, разровнял его по всему листку бумаги, ссыпал лишний, потом тщательно скрутил бумажку, подержал цигарку на весу, прикидывая, достаточно ли положил табаку, и только затем, послюнив край, склеил и улыбнулся, довольный результатом своих усилий — на фабрике лучше не сделают.

— Умм Хасан что-то соскучилась по тебе,— сказал он Абу Мухаммеду, чтобы перевести разговор на другую тему,— просила, чтобы ты зашел к ней.

Абу Мухаммед, ничего не сказав, поднялся.

— Только ты смотри — ничего не говори ей о кофейне.

Абу Мухаммед кивнул и вышел.

По дороге он продолжал мысленно разговаривать с Таруси. Но дойдя до парка, вдруг остановился. И, в сердцах сплюнув, громко выругался. Какой же он дурак! Ни за что обидел человека. Зачем, в самом деле, Таруси кофейня? Он ведь все время только и мечтал, как развязаться с ней и вернуться в море. И вот теперь, когда его мечта сбылась, Абу Мухаммед вместо того, чтобы поздравить его, порадоваться вместе с ним, начал оплакивать кофейню. Конечно, он обидел Таруси. Сравнил кофейню с морем! Каждому свое. Для Абу Мухаммеда — кофейня, он ее любит и не хочет с ней расставаться. А для Таруси — море, его он любит больше всего на свете.

За гостиницей «Казино» Абу Мухаммед свернул вправо и начал медленно подниматься в гору. Отсюда до дома, где жил теперь Таруси с Умм Хасан, было уже рукой подать.

Таруси перевез сюда Умм Хасан и ее старую служанку из тюремного квартала вскоре после того, как вышел из больницы. И сам поселился с ними. После спасения Рахмуни Таруси вообще очень изменился. Он стал еще более внимательным к Умм Хасан. И всячески старался выразить ей свою любовь.

Чем ближе он узнавал Умм Хасан, тем больше он ее любил. Ему нравились ее скромность, аккуратность, веселый характер, ее беспредельная верность и преданность, ее готовность принести любые жертвы ради него. Она это доказала, предложив ему все свои сбережения и драгоценности, чтобы он мог внести свою долю за новое судно. Их любовь подкреплялась теперь и прочной дружбой, проверенной и доказанной на деле. Умм Хасан не чувствовала больше необходимости всякими женскими хитростями удерживать его около себя. Она стала более спокойной и уверенной. И только ее бездетность омрачала это счастье. Она так хотела иметь ребенка. Мальчика или девочку — все равно, только бы это был их ребенок. Ей сказали, что у нее не будет ребенка, но с затаенной надеждой она все же ждала, что вдруг свершится чудо — аллах услышит ее страстные мольбы и наконец пошлет ей ребенка. На чье имя она его запишет — это ее мало волновало. Она верила в Таруси, в его порядочность

и честность, потому что нельзя не верить человеку, которого любишь. Он не откажется от своей плоти и крови. Не откажется, значит, и от нее, от матери ребенка. А если и откажется, она будет жить с ребенком, благодаря ему и ради него. В любви, как в море, бывают свои бури. Можно обессилеть, пойти ко дну. Даже смерть может показаться избавлением. Но ребенок — это спасательный круг. Он не даст тебе утонуть. Держась за него, ты обязательно доберешься до берега.

Умм Хасан убедилась, что Таруси любит ее по-настоящему. Он нуждался в ней, как и она в нем. Не только он был для нее опорой, но и она давала ему новые силы.

Как раз когда Умм Хасан улыбалась своим счастливым мыслям, в комнату мрачно вошел Абу Мухаммед. Она даже не сразу его узнала, таким печальным было его лицо. Не дожидаясь расспросов, он сам, ничего не скрывая, рассказал о своем разговоре с Таруси и попросил у нее помощи — пусть она уговорит Таруси не продавать кофейню.

Умм Хасан, сидя на полу, сосредоточенно чистила картошку, а Абу Мухаммед, усевшись возле нее, все время сокрушенно вздыхал.

— Я понимаю, что Таруси создан для моря, а не для кофейни. Но ведь море коварное. От него всего можно ожидать. Все помнят, что случилось с Рахмуни. Сегодня есть судно, а завтра его нет. Кофейня же всегда обеспечит верный кусок хлеба. Зачем же захлопывать запасную дверь? Она еще может пригодиться. Случись что с судном, куда деваться? И потом,— заключил Абу Мухаммед, переходя на шепот,— пока есть кофейня, Таруси крепче привязан к берегу и к тебе.

Умм Хасан не могла остаться к словам Абу Мухаммеда равнодушной. Его рассказ не на шутку встревожил ее — и особенно весть о скором отплытии Таруси. Последний довод Абу Мухаммеда показался ей очень веским.

— Ты прав,— сказала она.— Бросив кофейню, он может бросить и нас. Надо помешать этому. Но как? Ты же знаешь Таруси. Его не так-то легко переубедить.

— А ты все же попытайся. Напомни ему, что он уже не юноша. Надо беречь свое здоровье. Сходил два-три раза в плавание и отдохни на берегу, займись кофейней.

— Это так. Ну, а если он заупрямится?

— На все воля аллаха. Но мы по крайней мере сделаем все, что было в наших силах. Да к тому же он тебя может и послушаться.

— Хорошо, я, пожалуй, попробую. Сегодня же вечером поговорю с ним.

На том они и порешили.

ГЛАВА 12

Наступила последняя ночь перед уходом в плавание. Все уже сделано — кофейня передана новому хозяину, вещи собраны, судно загружено. Остается только поднять якорь и отчалить.

В эту ночь они долго разговаривали с Умм Хасан. Вспоминали прошлое, обсуждали всякие хозяйственные дела, строили планы на будущее. Спать они легли уже далеко за полночь. Умм Хасан сразу же уснула, и Таруси тоже закрыл глаза. День предстоит трудный, и надо выспаться. Он повернулся на правый бок — так он привык всегда засыпать,— но сон не шел. Повернулся на левый, затем лег на спину, потом опять повернулся на правый. Полежал с открытыми глазами. Снова закрыл их. Но сон не шел. В голове беспорядочно проносились мысли, рисуя одну картину за другой, выхватывая из памяти события то далекого, почти уже забытого детства, то совсем недавние, связанные с портом, с самыми различными людьми: Абу Мухаммедом, Надимом Мазхаром, Абу Рашидом, Рахмуни и Умм Хасан. Вспоминая свои былые скитания, он пытался предугадать, что ждет его в будущем. Он так и не понял, удалось ли ему уснуть или он только ненадолго закрыл глаза. Но когда он их снова открыл, в окно из-за крыши дома напротив уже заглядывало солнце. На деревьях щебетали и пели птицы. В соседнем доме заплакал ребенок. Закричали уличные торговцы. Надрывно, словно опасаясь, не проспал ли он, в порту загудел пароход. Ему ответил другой. Все пробуждалось и говорило друг другу «доброе утро».

Очевидно почувствовав его взгляд, открыла глаза и Умм Хасан.

— Доброе утро! — нежно сказал Таруси.— Ну как, хорошо спала?

— Не знаю,— засмеялась она.— Мне показалось, будто я куда-то провалилась и сразу настало утро. Словно я и не спала. А тебе какой сон снился?

— Не помню. По-моему, я просто лежал с закрытыми глазами. Ну, пора вставать. Свари кофе, а я пока буду собираться.

Он быстро вскочил, побрился, умылся. Надел новые черные шаровары, шелковую рубаху, опоясался широким кушаком, натянул на голову шерстяную шапочку и посмотрел на себя в зеркало: капитан, совсем готовый выйти в море.

Таруси выпил кофе. Поцеловал на прощанье Умм Хасан, еще раз повторил, что скоро вернется — пусть она не тревожится. Потом перекинул через руку бушлат и вышел на улицу.

Воздух был по-утреннему свежим и бодрящим. Море дышало спокойно и ровно. На его поверхности, будто на полотне картины, недвижно застыли рыбачьи лодки.

Чайки, распластав белые крылья, грациозно парили над морем. На востоке плыли багряно-розовые хлопья облаков.

Море было таким миролюбивым и тихим, как будто оно, наконец, раздумало мстить Таруси за тот вызов, который он бросил ему в феврале, вырвав из лап бури фелюгу Рахмуни. Оно долго не могло забыть эту обиду, и до конца зимы волны день и ночь ревели у скал Батраны, вызывая его на бой за нанесенное морскому царю оскорбление. И вот он, как спешившийся рыцарь, сошел со скалы и спускается сейчас к морю, чтобы принять вызов. Он готов снова вступить с морем в поединок. Пусть оно не притворяется, что все забыто. Таруси знает его коварство. Он не боится померяться с ним силами и сам идет ему навстречу, спокойный и уверенный в своей победе.

Из всех улочек и переулков спускались в порт моряки, грузчики, рыбаки, которые шли зарабатывать себе хлеб нелегким трудом на море. Подходя к порту, он ощутил резкий запах водорослей, ракушек и соли — тот запах моря, который всегда будоражил и волновал его, пьянил больше, чем вино. В воде мелькнула голая спина пловца, на берегу рыбак очищал от водорослей днище лодки; в порту, размахивая длинными руками, делали утреннюю разминку краны; навстречу с покрасневшими глазами прошел, очевидно сменившийся с дежурства, стражник портовой таможни; по крутому откосу карабкался с мешком на спине какой-то старик, наверно, радуясь богатому улову. Выйдя к Батране, Таруси не мог не завернуть к своей скале и не бросить последний, прощальный взгляд на свое бывшее царство. Он вздохнул и печально улыбнулся. Да, здесь было его царство, которое он создал своими руками. Выровнял площадку, выдолбил грот в скале, сделал навес, оборудовал кофейню. Здесь он провел несколько лет, которые помогли ему по-новому постигнуть смысл жизни. Раньше ему казалось, что время стоит на месте, а если и движется, то очень медленно. Поэтому он всегда его поторапливал. А оно оказалось таким быстротечным! Близкое стало теперь далеким, настоящее превратилось в прошлое, а то, что смутно рисовалось в будущем, сбывается как настоящее. Какой меркой можно измерить ход времени? Что может быть его критерием? Какая полоса была черной, а какая светлой? Где грань между ними? В каждой черной полосе были и радостные просветы. Одни и те же дни в его жизни достойны были и проклятия и благословения. Они были наполнены и ненавистью и любовью. Он ничего не хочет зачеркивать в своей жизни. Ничего не отвергает, ничего не стыдится. Плохое само по себе отодвигалось все дальше и дальше, а хорошее, даже в давно промелькнувшем прошлом, все еще светит и согревает его душу. Трудности обернулись победами, и воспоминания о них наполняют его сердце гордостью, дают ему и теперь новые силы для борьбы. Эти воспоминания — одно из самых драгоценных приобретений его жизни. Таким же воспоминанием станет и кофейня, с которой он сейчас прощается.

Таруси спустился со склона, еще раз оглянулся и почти бегом преодолел ту невидимую границу, которая отделяла вчерашний день от сегодняшнего, прошлое — от настоящего. Выйдя к пирсу, он увидел свое новое судно. Он остановился как вкопанный, чтобы прийти в себя. Прежде он вспоминал о прошлом счастье и мечтал о будущем. Теперь же он чувствует себя счастливым в настоящем. Вот его судно. Он его хозяин и его капитан! Но чваниться он не должен. Прежде всего он моряк. И моряком останется. Моряком, знающим себе цену и умеющим за себя постоять.

Таруси, как подобает капитану, мысленно перечислил все, что ему оставалось сделать до отплытия: проверить груз, еще раз убедиться в исправности механизмов, просмотреть необходимые бумаги, зайти в контору порта, сделать нужные отметки, закончить все формальности и тогда — до свидания!

На набережной у складов он лицом к лицу столкнулся с Абу Рашидом. Вот уж действительно неожиданная встреча! Не человек, а джин. Всегда появляется внезапно там, где его не ждешь, словно из-под земли вырастает. Он враг, которым пренебрегать нельзя,— умный, расчетливый и коварный. О нем всегда надо помнить, как о подводных скалах.

Они поздоровались. Пожали друг другу руки. Таруси держался с достоинством. Ответил на его приветствия сдержанно, но вежливо и без малейшего заискивания. Абу Рашид, напротив, не скупился на комплименты и заверял Таруси в своей симпатии и уважении. Он говорил длинно и витиевато. Рядом с Таруси он казался маленьким, щупленьким старикашкой. Но это впечатление было обманчивым.

Абу Рашид пригласил Таруси и Рахмуни выпить кофе. К ним присоединился и начальник порта. Пока они пили кофе, Абу Рашид осыпал Таруси похвалами. Таруси без труда понял, чем они объяснялись. Раз он уходит в далекое плавание, Абу Рашид может сменить теперь гнев на милость, потому что Таруси теперь ему не опасен. Пусть плывет на все четыре стороны, а он, Абу Рашид, будет по-прежнему беспрепятственно хозяйничать в порту. Не трогайте его, и он вас не тронет. Более того, поможет и приласкает. Он словно говорил: «Видишь, какой я душа-человек! Мы вполне можем жить в мире и согласии. Но не забывай! Я могу быть и другим! Приставить кинжал к спине и в нужный момент вонзить его поглубже». Кто-кто, а Таруси это хорошо знал! Ведь давно ли Абу Рашид собирался убить его! А теперь вот пьет с ним кофе и распинается в похвалах. Но если ему понадобится, он всегда найдет нового Салиха

Барру — таких подлецов много, хоть пруд пруди! — и прикажет убрать с дороги еще кого-нибудь. Но всех ему не убрать! Рано или поздно власть Абу Рашида кончится!

Формальности были закончены, груз проверен, последние слова прощания сказаны, добрые напутствия выслушаны, и можно было, воспользовавшись приливом, отчалить. Таруси приготовился отдать команду, но его остановил Ахмад:

— Может быть, еще немного подождем, капитан? Авось Абу Мухаммед подойдет!..

Таруси посмотрел на него с виноватой улыбкой и отвернулся, чтобы скрыть свои чувства. Он не меньше, чем Ахмад, любил Абу Мухаммеда и был огорчен, что тот не пришел. Он хорошо понимал Ахмада, который страстно желал, чтобы Абу Мухаммед был с ними и они могли бы и в море жить одной дружной семьей, никогда и нигде не разлучаясь. Но этим мечтам, увы, не суждено было сбыться. Таруси покачал головой:

— Напрасно будем ждать, Абу Мухаммед не придет!

— Почему ты так уверен?

— Потому что знаю. Море для Абу Мухаммеда — это совсем новая жизнь. А он из тех людей, которые пугаются всего нового. Боятся неизвестности. Я заранее знал, что он побоится пойти с нами. Поэтому и попросил Надима, чтобы он о нем позаботился...

Конечно, Надим выполнит просьбу Таруси. Не даст старику умереть с голоду. Но ведь все равно человек не может жить чужими подачками. Он должен сам зарабатывать себе на жизнь. Без работы он не будет чувствовать себя настоящим человеком. А что способен делать Абу Мухаммед? Чем можно ему помочь? Да, предположим, Таруси сумеет чем-то помочь Абу Мухаммеду и тот не будет чувствовать себя одиноким и несчастным. Но в силах ли Таруси избавить от нищеты и голода тысячи таких стариков, как Абу Мухаммед? Нет! Очевидно, прав учитель Кямиль. Это трагедия не одного человека, а всего общества. И чтобы сделать человека счастливым, надо сделать другим само общество.

Таруси отдал команду. Судно стало медленно отходить от берега. Поднявшись на мостик, он помахал рукой всем, кто стоял на набережной, всем, кто оставался в порту и в городе. Ему вдруг стало жалко расставаться с этим знакомым берегом, который моряки называют сушей, со всеми этими людьми, среди которых у него было столько друзей,— как ему, наверно, будет не хватать их в море! Какими он найдет их, когда вернется? Изменятся ли они? Изменится ли их жизнь? «Изменится! Должна измениться! И обязательно — к лучшему!» — сказал себе Таруси.

— А ну, ребята, прибавьте оборотов! — скомандовал он и, крепко сжав в руках штурвал, направил судно в открытое море. Перед ним раскрывался бирюзово-зеленый простор, смыкавшийся на горизонте с огромной опрокинутой чашей голубого неба. И за кормой вскипела пенистая дорожка, над которой, провожая судно, с отчаянным криком кружили чайки, словно заклиная его не задерживаться долго в плавании и быстрее возвращаться домой.

Остался позади порт с его кранами, складами, с толчеей фелюг и барок, с дымящимися трубами пароходов и щетиной мачт. И чем дальше отходило судно, тем шире развертывалась панорама города: вот показался форт, затем башни полуразрушенной крепости, купола мечетей с предостерегающе устремленными в небо остроконечными перстами минаретов. А вот и знакомые скалы Батраны и сроднившаяся с ними кофейня. Сейчас она показалась ему очень большой, словно он смотрел на нее сквозь увеличительное стекло. Но постепенно и скалы, и дома, и минареты все более и более прижимались друг к другу, сливаясь в одно неясное пятно, которое долго еще темнело на горизонте, пока не растаяло в сизой дымке.

ДОЛГОРЫН НЯМАА

Стихи

Перевод с монгольского МАРКА СЕРГЕЕВА

* * *

Ходы сообщения, щели —
следы отошедшей войны.
Как дыры от пуль на шинели —
на зелени ямы видны.

Под натиском вражеской стали,
друг друга любя горячо,
земля с человеком стояли,
к плечу прижимая плечо.

Пусть были изранены оба,
но даже в беде огневой,
прикрыв человека собой,
от пуль человеком прикрыта,
земля оставалась живой.

В полуночной степи

Степь легендой древней распласталась,
нет конца и края синеве.
Чтоб согнать дорожную усталость,
путник засыпает на траве.

Коновязью в золоте, богатой —
Млечный Путь на сотни верст в длину.
Звезды — непоседы-жеребята —
падают в ночную тишину.

Что за ночь! Любуйся и завидуй!
Запах трав щемящ и нестерпим...
Словно среди звезд своих завидев,
кони ржут в полуночной степи.

Одно над нами небо

Сойдясь сюда со всех концов земли,
и те, кто здесь бывал, и те, кто не был,
мы на знаменах утреннее небо
на праздничную площадь принесли.
Рассветный город, солнечный Ташкент,
то не толчки подземных потрясений —
от песен дружбы в этот день весенний
трепещет неба синий тент.

Одно над нами небо,
одна у нас душа.

Веселой стаей птиц из кумача
знамена над толпою полетели.
Наполненная дружбой и весельем
душа, как будто солнце, горяча.
Весенний, солнечный Ташкент,
то не толчки подземных потрясений —
от песен дружбы в этот день весенний
трепещет неба синий тент.

Одно над нами небо,
одна у нас душа.

Ташкент, горит весны твоей звезда
и не погаснет за хребтами буден.
И разве мы друзей своих забудем,
тех, с кем впервые встретились тогда!
Счастливый город, праздничный Ташкент,
то не толчки подземных потрясений —
от песен дружбы в этот день весенний
трепещет неба синий тент.

Одно над нами небо,
одна у нас душа.

КАМЕН КАЛЧЕВ

В поисках будущего

Перевод с болгарского
Т. КАРПОВОЙ и Л. ХЛЫНОВОЙ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1

В те годы, а точнее — в конце туманного 1934 года, когда над софийскими улицами нависли осенние холода и разогнали по подвалам и мансардам бездомных и голодных студентов, я отпрзвился на поиски своего будущего. Мне только что исполнилось двадцать лет, и я полагал, что уже упустил все возможности. Я смотрел на товарищей, поступавших на работу или в университет, которым были ясны их планы, и смутная тревога о завтрашнем дне овладевала мной. Что предпринять? Куда деваться с «аттестатом зрелости», что лежал в моем кармане, но не мог дать мне ни хлеба, ни теплого угла? Куда идти в рваных ботинках, о которых позднее я напишу рассказ, и в костюме, сшитом еще весной в связи с предстоящим окончанием училища?

Доброжелатели — мои близкие и друзья — говорили, что такому, как я, без связей и знакомств, работы не найти и что учреждения просто ломятся от чиновников. Лучше всего попытать счастья в какой-нибудь адвокатской конторе — может, там я смогу пристроиться посыльным — или пойти на вокзал носильщиком... О последнем и речи быть не могло, потому что сам я весил не более сорока пяти — пятидесяти килограммов и «физическая работа» явно была не для меня.

Немного позднее по рекомендации одного друга я поступил в адвокатскую контору на улице Марии-Луизы. На этой торговой улице находилось много контор молодых преуспевающих адвокатишек, располневших, гладко выбритых, надушенных, розовощеких — мелких людишек с большой амбицией. В такой именно конторе я и начал служить: каждый день отправлялся я в суд, чтобы узнать, как продвигается то или иное дело, и почти всегда возвращался с грустным «без последствий», что доводило моего патрона до бешенства. У него, как и у его коллег, были огромные претензии, и он намеревался в один прекрасный день стать у кормила власти матери-Болгарии. Разве адвокаты и им подобные не сидели в те годы в министерских креслах?.. Так вот, не прошло и двух месяцев, как это «без последствий», которое я не без злорадства преподносил патрону, неожиданно подорвало, как говорится, мои экономические основы. Этому способствовал и вспыхнувший как-то в конторе спор на литературную тему между мной и одним эмигрантом-белогвардейцем. Белогвардеец утверждал, что Лев Толстой более великий писатель, чем Максим Горький, а моя милость, настроенная бунтарски, утверждала обратное. К тому же корявый болгарско-русский язык белогвардейца вызывал у меня почти ребячий восторг, я не мог удержаться, чтобы не делать замечаний, и поправлял его. Мой патрон в спор не вступал, потому что никакого интереса к литературным вопросам не испытывал, тем не менее он понял, что я «левый» и защищаю большевиков. Поэтому мое положение в конторе пошатнулось, а вскоре пришло и новое мое «без последствий». Патрон сказал, чтобы я убирался прочь с его глаз, так как, мол, приношу ему несчастье. Так окончилась моя первая чиновничья служба. Я ушел от адвоката и почти тут же забыл его.

Я был беспечен, доволен, меня радовала возможность свободно разгуливать по софийским улицам. И я собирался написать маме: «Не беспокойся обо мне. Все в порядке. Скоро победим!» Она неграмотна, но те, кто читает ей письма, все объяснят. А она мне пришлет посылку: вареного цыпленка, каравай крестьянского хлеба и чернослив.

Сын, получив посылку, отдаст цыпленка друзьям, потому что одному есть совестно, а над пшеничным хлебом тайком ото всех всплакнет, вспомнив зрелые нивы Райского дола и старую водяную мельницу на реке Янтре... Вспомнит он и звездные ночи, и волов на гумне, и запах сухой мякины, устилавшей сельские дороги. И еще неясно, словно в тумане, в его голове начнут бродить мысли о книге, которая во что бы то ни стало должна быть написана, пока мир не потрясли фатальные катаклизмы... Как будет написана эта книга, пока неизвестно и не может быть известно, но она должна быть написана!.. А до той поры молодой человек продолжает ходить по софийским улицам с трагической маской отмеченного судьбой.

Хорошо, что есть на свете книги, подобные «Мартину Идену», они поддерживают надежду и укрепляют веру молодых людей, вселяют в них мужество. Я сидел в городском саду, читал «Мартина Идена», и настроение мое поднималось. Портному Ивану Геневу, приютившему меня, я сказал, что стану писателем, выпущу большую книгу и получу много денег,— и он мне поверил. Он делился со мной куском хлеба и предоставлял ночлег в одноэтажном домишке на улице Софрония возле Владайской реки, по соседству с полицейской казармой. Генев недавно женился. С молодыми жила его мать, вдова еще со времен Балканской войны, давняя подруга моей мамы.

Одним словом, Иван Генев делился со мной, сиротой, чем только мог, а я, со своей стороны, с той наивной дерзостью, которая не всегда заслуживает осуждения, поддерживал в нем веру в наше светлое будущее.

Зимние вечера на улице Софрония в Ючбунаре — холодные и сырые, голодные и тревожные — оглашались звуками трубы и топотом полицейских сапог. Там, в домишке под провисшими черепицами, я написал свою первую книгу — «Всемогущий человек». Мне исполнился двадцать один год, я был совершеннолетним гражданином болгарского царства.

Портной и его супруга, досыта наслушавшись «легкой и танцевальной» музыки, звучавшей из пристроенного возле их кровати радиоприемника, давно спали в соседней комнате, а я, сидя в кухне, писал на белом листе бумаги: «...никто не знал, где начинается и где кончается дремучий лес. Люди, обитавшие в нем, были дикими. Они жили в дуплах вековых деревьев, в глубоких пещерах, среди скал... Давным-давно, тысячу лет назад, произошло это... Из леса вышел Юлла. На нем было легкое белое одеяние, он улыбался...»

Что-то случилось со мной. Приковало к столу девятью цепями и заставляло писать.

2

В те годы быть писателем, да еще левых убеждений, было делом весьма неразумным. Но в меня верил Иван Генев! И каждую ночь в тишине бедного квартала я писал, вслух перечитывал написанное и пьянел от собственных успехов. Это было какое-то тихое сумасшествие, называемое вдохновением и обреченностью. Да, в соседней комнате Генев со своими близкими похрапывал и не подозревал, что я жгу электричество и окончательно и навсегда заболеваю неизлечимой болезнью.

Но вот я написал книгу и отправился искать издательство, как поступают все писатели. Мне сказали, что есть один издатель, который помогает таким, как я. Звали его Добромир Чилингиров. Я поборол страх и пошел к нему на улицу Карла Шведского. Издатель принял меня любезно. Взял рукопись, полистал и сказал, что прежде всего ее надо прочесть и тогда уж он даст ответ. К нему ходило много начинающих писателей, и он, естественно, шел на риск, но никогда не отказывал, пока не прочитает рукопись и собственными глазами не убедится в ее негодности. Он попросил наведаться через одну-две недели. Я оставил рукопись — сто страниц, красиво исписанных черным карандашом,— и стал ждать ответа. Прошло две недели, и я снова, как привидение, появился на улице Карла Шведского. Позвонил — в дверях показался Чилингиров в рабочей блузе, выглядевшей, на мой взгляд, довольно странно — с бархатным воротником и почему-то с позументами. Лицо у него было белое, словно вымазанное мелом, волосы зачесаны назад, голос низкий и ровный. Стоя на пороге, он сказал, что прочел рукопись и она ему понравилась, но необходимо подождать, поскольку он испытывает кое-какие затруднения. Попросил наведаться месяца через два и протянул мне руку. Я ушел осчастливленный и окрыленный. Порой мне приходило на ум: а не решил ли он сделать мне сюрприз, как подчас поступали добрые издатели и большие писатели? И тогда я пристально разглядывал витрины книжных магазинов, надеясь увидеть шествие славы. Но на славу не было даже намека, и я только тяжело вздыхал...

Да, книга не вышла... Издатель признался, что не имел никакой возможности ее напечатать, да и не мог рисковать ради какого-то новичка. Поняв всю тщету своих упований, я забрал рукопись. Первая моя книга стала второй, потому что, пока я ждал выхода ее из печати (около двух лет), мною была написана повесть «Путник с гор», которую издал полный энтузиазма, незабвенный мой друг Эмил Шекерджийский. Эмил, будучи членом партии, руководил библиотекой «Жар» и уже выпустил книги Павла Вежинова, Андрея Гуляшки и других молодых авторов, с которыми я познакомился позднее. Обложку для «Путника с гор» сделал Борис Ангелушев.

Заключаю это в скобки, потому что до того, как я встречусь с Эмилом Шекерджийским и Борисом Ангелушевым, много воды утечет — и черной, и белой, и зеленой, и синей, и серебряной, и золотой... как в сказках. И только после этого я окажусь в писательском цветнике, где все идет немного иначе. Но где эти писатели? Где их цветник? Я начал кружить возле кафе «Царь-освободитель» в надежде познакомиться с кем-нибудь из них. Они сидели за круглыми столиками, пили кофе, смотрели на бульвар, наблюдали. Все мне казалось там ослепительным, недоступным, и я не смел переступить порог. Однажды кто-то посоветовал мне заглянуть в бар, расположенный на другой стороне улицы. Туда приходили иные писатели — пролетарские, неимущие вроде меня и более доступные. Повод был не очень подходящим: я собирал подписи в связи с движением за трезвость и должен был привлечь писателей к сотрудничеству в новом журнале «Трезвость и культура». Посетители бара, в большинстве своем собиравшиеся здесь поболтать, встретили нас (меня и еще двух трезвенников) насмешливо, но, увидев наши постные физиономии, обещали написать что-нибудь для «Трезвости и культуры». Так мы, трезвенники, все чаще и чаще начали появляться возле бара. Там впервые увидел я высокого, слегка сутулившегося Николая Хрелкова с его длинными артистическими пальцами, Христо Радевского в кепке и кожаной куртке, красивого и стройного Николу Ланкова, сухощавого с густыми бровями Георгия Караславова... Познакомился с молодым Челкашем и с писателем Иваном Вельовым, писавшим повесть «Пьяница», видел Ангела Тодорова — осторожного и загадочного, и лиричного Младена Исаева, уже воспевавшего березы и сосны Витоши...

И вот писатель Челкаш, молодой «старик» с облысевшей головой (он был на два года старше меня), отвел меня на улицу Графа Игнатьева. Там печаталась газета «Младежки преглед» и готовился к печати сборник «Сигналы», которому суждено было стать купелью нашего поколения. Челкаш в рукописи прочитал мои рассказы «Неродившаяся любовь» и «Собачья жизнь» и с улыбкой разглядывал меня. Он сказал, что в тот день открыл два молодых таланта — Христо Руменова и Камена Корали. И предложил нам вступить в кружок имени Христо Смирненского.

Литература создается в тиши и одиночестве, но питается и находит поддержку в непрерывном общении людей. Они определяют критерии и заставляют бодрствовать сознание. Они пробуждают дремлющие силы и стимулируют соревнование, стремление к совершенству. Они как бы ставят тебя на весы и сообщают, сколько ты весишь. Наконец, они обнимают тебя или отталкивают, указывают тебе твое место... С ними, с этими людьми я отправился в дальнее плавание. Они, молодые и неопытные, как и я, приняли меня, и мы вместе пошли навстречу революции. А революция, естественно, начиналась в нас самих, потому что новый мир должен иметь свои нравственные и эстетические критерии.

3

Самое главное... В чем главное?

Этот вопрос днем и ночью не давал нам покоя. И мы были беспощадны к себе, как побуждали к тому прочитанные нами книги и великий идеал, которому мы служили. Мы рано познакомились с критикой и самокритикой, как неотъемлемой принадлежностью времени, в котором жили, и нашей молодости. Как же иначе могли мы расти и становиться людьми?

Истина! Она во чтобы то ни стало должна быть нашим критерием и идеалом. Все было отчетливо и ясно. Не могло быть места смутным догадкам, потому что с беспощадной отчетливостью видели мы ощетинившиеся одна против другой две баррикады, две армии. И вопрос «Что есть истина?», оставшийся без ответа в Евангелии, нам был ясен, совершенно ясен. Мы отвечали: наша и другая баррикада, наша и другая армия, армия врагов, угнетателей, эксплуататоров, мракобесов! Сражение и победа — вот главное, первостепенное и безотлагательное! И с этой ясностью мы пошли вперед. С этой ясностью вступили в искусство. Но насколько все оказалось сложнее! Насколько труднее! И мы постепенно начали постигать это — медленно и мучительно, как всякую трудную и сложную науку!

С тех пор прошло много лет. На наших глазах, как говорится, дух и материя претерпели много превратностей. Свергались цари и диктаторы. Погибали царства и государства. Седина тронула наши виски, сердца наши устали, души постарели. Но наша надежда, наша вера, осталась непоколебимой, юной и готовой к новым битвам, к новым сражениям с теми — по ту сторону баррикад. И я думаю: могла ли бы сохраниться эта вера, если бы не существовало главного, если бы мы не впитали в себя это еще в начале пути?

В те далекие годы мы добрались до сердцевины великой науки, изучаемой нами на житейских дорогах каждодневно и ежечасно. Наши университеты были везде — и на улице Софрония в квартире портного Ивана Генева, и в редакции на улице Графа Игнатьева, где печатались «Младежки преглед» и наши «Сигналы», и в маленькой полуразрушенной библиотеке имени Христо Ботева, где собирался наш литературный кружок. Наши университеты были на улицах и в скверах Софии, где мы стайками бродили до поздней ночи, самозабвенно предаваясь спорам и вынашивая грандиоз-

ные проекты... И на Витоше, где мы проводили первые литературные чтения перед собраниями молодежи. Мы были всюду с нашей литературой, нашим идеалом, нашей революцией. И это было главным. Основным. Это было нитью, за которую мы ухватились и которая вела нас по лабиринтам того мира, где нам выпало жить и работать, расти и учиться. Сегодня, с высоты прошедших лет, я понимаю, что первоначальный толчок нашему литературному движению был дан вовремя и точно.

Но наряду с тем, что дала нам жизнь в науке и искусстве, было еще и другое, очень значительное и важное. Это и мне и другим стало ясно не сразу, в те первые годы нашего литературного братства, когда мы с трудом, в муках начали расшифровывать сложный иероглиф — тема, сюжет, типизация, индивидуализация, композиция, язык, стиль... и еще... Еще! Что это? Талант? Магия? Дух и материя?.. Мы называли это атмосферой. Ухватились за это слово. Оно нам нравилось. Мы повторяли его, любовались им. Оно выражало все, чему мы не могли найти определение, что не умели конкретизировать. Оно устраивало нас своей таинственной абстрактностью. «В твоем рассказе есть атмосфера,— говорили мы,— а в твоем нет... Дай атмосферу... Еще немного... Ударь по клавишам, найди гамму...»

Атмосфера.

И пришло время открытий: Чехов, Мопассан... Достоевский, Толстой... Бальзак, Стендаль... Начались споры о Шолохове, Фадееве... Появилась мода: Голсуорси, Дюамель, Жюль Ромен... В каждом поколении есть свои консерваторы и модернисты... Гамсун стал воспоминанием, хотя его интонации продолжали нас преследовать. Мы были поражены финалом «Смерти чиновника», потому что в нем внешне были нарушены законы логики: вернулся человек домой, лег и умер... Что это? Откуда пришло? А старый Джолион в «Саге о Форсайтах» спит в саду в кресле, и вдруг пес, лежащий у его ног, начинает выть, потому что семечко одуванчика, случайно севшее под носом спящего, перестало шевелиться... потому что старый Джолион умер... Какой подход, какая тонкая манера рисунка — без пафоса, без лишних слов. Как достигнуто это? Что за пути и тайны у искусства?

И снова «Дом Телье», «Пышка», «Эта свинья Морен», «Палата № 6», «Мужики», «Степь»... Читаем, беседуем, спорим. И все нам сжимает горло, не дает дышать. Копаемся в словах, пытаемся читать между строк... Напоминаем того крестьянина, который заглядывает в граммофонный ящик, чтобы обнаружить спрятанного там певца. Как это происходит? В чем волшебство? Откуда оно? И опять рассуждаем, спорим. Каждый хочет ударить жезлом по библейской скале, чтобы забили источники... А они не бьют, они еще недостижимы, скрыты в нас глубоко... Откроем ли мы их? Это нас тревожит, мучает, отгоняет сон.

Чаще всего наш литературный кружок собирался на улице Царя Симеона — длинной, оживленной, заполненной повозками и детьми. Она вела к центральной тюрьме, и ее называли самой длинной, потому что многие из тех, кто попадал туда, не скоро возвращались... Я тоже проследовал по ней и пешком, и в полицейской машине, оглашавшей пронзительным воем весь квартал,— повозки отъезжали, уступая дорогу, дети отбегали в сторону, а взрослые долго и печально смотрели вслед. По этой улице брели арестанты в полосатой одежде, окруженные полицейскими в синих мундирах. Видел я однажды, как молча и медленно шли посередине мостовой арестант и полицейский с ружьем. И люди останавливались, долго смотрели на них, качая головами и сочувствуя арестанту. Вообще эта улица, на которой проходили занятия кружка нашего «маленького университета», была улицей полицейских и заключенных, детей и повозок, бедных и голодных людей, постоянно находившихся на пороге тюрьмы... Иными словами, улица Царя Симеона неумолимо напоминала нам о глубоком конфликте между народом и властью, между свободой и рабством, между истиной и ложью. И все наши симпатии, разумеется, были на стороне угнетенных, истины, свободы. Мы рано познакомились с любовью и ненавистью.

Заседания кружка проходили обычно вечером. Собирались мы в комнатке библиотекаря. Приходили на эти встречи Челкаш, который и руководил кружком, Павел Вежинов, Андрей Гуляшки, Иван Мартинов, Христо Руменов... Иногда приходили и другие — кружок растягивался, как дедушкина рукавица из сказки, всегда находилось место для званых и незваных, и все хотели стать писателями. Возвращаясь к тем временам, мы насчитываем сейчас около шестидесяти человек, в различное время прошедших через этот кружок. Тут бывал и Веселин Андреев, и Богомил Райнов, и Валерий Петров, и Эмил Манов, и Александр Геров... Бывали там Бурин и Стайков... И критики Пантелей Зарев и Борис Делчев... Время от времени появлялся среди нас хмурый и бледный, с голой своей головой критик Иван Руж, чтобы вселить в наши души страх, притушить в них пламень мании величия. Суждения его были безапелляционны, категоричны и строги. Он всегда оперировал бесчисленными цитатами и убедительными аргументами. Постоянно отсылал нас к «Литературной газете», «Литературному критику», «Правде», «Новому миру»... От него я впервые услышал имена Кирпотина, Лукача, Ермилова... В его присутствии я боялся читать свои рассказы, старался ему не противоречить или вообще молчал... Значительно позже я понял, что не так уж он был страшен. И что был он не только критиком, но и писал рассказы под псевдонимом «Катя, работница табачной фабрики». «Эх, голубчик,— подумал я,— и тебе свойственны слабости, но ты их скрываешь!..»

Иногда к нам приходил и Эмил Шекерджийский. Он был снисходительнее, обычно сидел молча, добродушно или чуть-чуть иронически улыбаясь. Эмил смотрел на нас как на фантазеров, которых время от времени нужно опускать на землю, чтобы напомнить о том, что не все, что летает, съедобно... «Вы думаете,— говорил он нам,— что вокруг ваших рассказов и стихотворений вертится весь мир и что вы — пуп земли... А мир-то еще надо внимательно изучить, познакомиться с ним, а тогда уже и описывать». Его упреки словно бы и были справедливы, но нам они приходились не по вкусу, потому что он хотел, чтобы мы вышли из четырех стен и проникли «в гущу жизни». А где она, жизнь, и где они, те люди, с которыми нужно познакомиться и которых нужно изучить,— этого мы не знали и нелегко нам было это узнать. Вообще словом «жизнь» мы очень злоупотребляли. Нужно или не нужно, все к этому слову прибегали, все им оправдывали или упрекали друг друга, когда не писалось.

Однажды Эмил решил дать нам наглядный урок. Он привел нас на окраину. Предложил писать на стенах лозунги и разбрасывать листовки на рынках и площадях. Он закалял нашу волю, приобщал к делу рабочего класса, освобождал наши души от «интеллигентщины» и ржавчины мещанства — другими словами, готовил к будущим боям.

4

Что приобрели мы в тридцатые годы?

Речь шла о г л а в н о м. О том, что заставило Эмила в 1943-м уйти в горы, стать партизаном и героически погибнуть: он подорвался на собственной гранате, чтобы не попасть живым в руки жандармов. О г л а в н о м, во имя чего после долгих и страшных пыток в преисподней Дирекции полиции был расстрелян в 1942-м на стрельбище Школы офицеров запаса Никола Вапцаров. О г л а в н о м, за что умерли как герои Цветан Спасов, Васил Воденичарски, Иван Нивянин и многие другие наши товарищи-писатели, сгоревшие в огне классовых столкновений, не дожившие до полного расцвета своих талантов, не пропевшие в полный голос... О г л а в н о м, что привело в конце концов к великой дате, которую мы называем водоразделом в нашей истории,— Девятому сентября 1944 года.

К этому стремились мы в ранние годы нашего литературного пробуждения. Это была атмосфера, в которой мы жили и росли. Это была альфа и омега нашей жизни. Это обогащало нашу литературную деятельность, облагораживало ее и наполняло гуманистическим содержанием. Все наши литературные споры об индивидуализации и типизации, о композиции и диалоге, о языке и стиле — все в конце концов сводилось к г л а в н о м у, к тому, что определяло тему и сюжет, идею и замысел, сердцевину произведения, стержень, вокруг которого все должно крутиться.

Факты оказывались сильнее мудрствований. Будни, борьба, голод и нищета, тревога о завтрашнем дне — все это заставляло нас мыслить точно и ясно, уводило от формализма, от того, что называют «искусством для искусства», от декадентщины и абстрактных спекуляций. Потому что, когда мы вечером выходили из покосившегося здания библиотеки имени Христо Ботева, все мы — или почти все — разбредались по своим домам голодные, охваченные тревогой о завтрашнем дне, который ничего нам не обещал. Г л а в н о е каждый день и каждый час напоминало нам о последней ступеньке, о жизни, с которой мы сталкивались и должны были считаться с нею, если хотели существовать.

Кем мы были?

Я был безработным. Павел Вежинов — безработным. Челкаш и Христо Руменов — мелкими чиновниками-статистиками. Иван Мартинов торговал с лотка, Арманд Барух был зубным техником, Младен Исаев — официантом, Веселин Андреев, Эмил Манов — бедными студентами... Могли ли мы придумать что-либо иное, отличное от окружавшей нас действительности? Павел Вежинов, живший в Дразмахле, где-то на бульваре Сливница, возле угольного склада, среди шума и треска повозок, написал свои первые рассказы — «Улица без мостовой», «Жареное мясо», «Дети» и другие,— в которых нас поразила яркая образность и точные художественные определения. До удивления обыкновенные вещи Вежинов преподнес с необыкновенным изяществом, в необычной манере. Мы полюбили его и немного ему завидовали. Он возвращал нас к большим конфликтам повседневной жизни, которые нас окружали, но которых мы не замечали или не придавали им особого значения.

Мы были частью большого процесса, несущего перемены, и сами менялись каждый день и каждый час, независимо от собственной воли и желания, в соответствии с законами и логикой того, что называется классовой борьбой.

Однажды мне поручили разбросать листовки в Софийском университете. Не скажу, чтобы мне не стало страшно, но я согласился, взял листовки и отправился в университет. Студенты шумели в коридорах и на лестницах — был, как мне помнится, день борьбы против войны. В такие дни, известные и полиции, тайные агенты занимали посты и поджидали свои жертвы. Бледный от страха, с листовками в кармане, я медленно поднялся по большой лестнице, словно шел на лекции. Поднялся наверх, и никто меня не остановил. Оглянувшись по сторонам, я увидел, что поблизости никого нет, и тотчас бросил листовки вниз. Они пролетели между перилами и стали

падать на толпу. Я услышал чей-то крик: «Держите его!» И еще какие-то выкрики. Эффект был поразительным! Листовки достигли места назначения! Попали в цель! И на этот раз полицию перехитрили! Коммунисты и сейчас смогли сказать свое слово, несмотря на полицейскую охрану и драконовские меры! Мы жили, мы дышали, мы боролись!.. Это было главным. И, разумеется, толпа внизу с радостью ловила летящие листочки, читала их, вопреки усилиям тайных агентов все собрать и уничтожить.

С деланным спокойствием, хотя и очень испуганный, я двинулся по пустому коридору, открыл тяжелую дверь, на которой было написано: «14-я аудитория», и вошел внутрь. Профессор Венелин Ганев читал лекцию по «Основам государственного права». Я бесшумно прошмыгнул среди скамей и сел рядом со студентами. В огромном зале продолжал звучать тонкий голос профессора. Я кротко смотрел перед собой и молчал. За дверью топали, шумели — искали меня. А может, это мне только казалось? Вдруг кто-то открыл дверь. Профессор умолк. Потом что-то сказал. Студенты встали. Встал и я. Профессор зачитывал какие-то имена, что-то проверял. Я подумал: мне конец, сейчас меня схватят и изобличат перед всеми. Но профессор дочитал список, в котором, разумеется, моего имени не было, и дал знак студентам сесть. Они сели, Сел и я. Слава богу, все кончилось благополучно. В это время прозвенел звонок, и все стали выходить. Смешавшись с толпой, двинулся и я. Спустился по той же лестнице, с которой бросал листовки, охваченный радостью и гордостью, чинно и спокойно вышел на двор. В университетском сквере ожидали взволнованные товарищи. Они меня окружили, принялись расспрашивать, как прошла «операция». Я сказал: «Все прошло благополучно».

Это ли было г л а в н о е?

— Пишите о том, что вы видели и пережили, что испытали и перечувствовали...

Мы часто слышали такие советы. Слышим их и сейчас. Но почему перо мое становится порой непослушным, когда речь идет о пережитом? Что нужно еще, чтобы истина была полной?

Я написал рассказ о студенте и листовках. Ввел в рассказ девушку, которая ждала студента в сквере и волновалась. И ничего не получилось. Тезис прогнал истину. Простота была заглушена предвзятостью темы и навязанной символикой. Двери истины остались закрытыми. Подлинные чувства притаились где-то глубоко, они прятались от громких фраз и вымысла.

Внимательно присматриваясь к самому себе, я понял, что есть темы, которые волнуют меня больше, чем только что пережитое и еще не усвоенное духовным миром крестьянского парня.

А события нарастали. Сельский паренек уже прижился в большом городе и любой ценой хотел стать частью той странной и удивительной жизни, что не имеет ничего общего с полями и лесами, родниками и меловыми горами, из-за которых поднималось и за которые садилось солнце. Городской быт был суров и неприветлив. Стол — бедняцкий и убогий. Квартира — чужая. Везде висели таблички: «Соблюдай чистоту», «Не ходи по газонам!» Другие картины, другие люди — незнакомые, чужие, молчаливые. При встрече не здороваются, и я не здороваюсь. Они проходят мимо, и я прохожу мимо, словно нас не существует, словно мы тени, холодные и враждебные привидения.

5

Жизнь моя менялась. Я уже переехал от портного Генева. Покинул дом на улице Софрония. Переселился в большой пятиэтажный дом на улице Владайской, 32. После «операции» с листовками ко мне стали относиться с большим доверием. Дали еще поручение, законспирировали. Я должен был встречать и провожать подпольщиков. Выдали мне и пишущую машинку, чтобы я печатал на восковке текст листовок, которые потом мой товарищ по нелегальной работе Чаракчиев куда-то относил для распространения на стеклографе. Рассказы отошли на задний план. Кружок имени Христо Смирненского — тоже. Мне было запрещено показываться в библиотеке и встречаться с друзьями. Я стал нелегальным «техническим лицом», как позднее, когда меня судили, было сформулировано в обвинительном акте. Хаджимитревы, у кого я жил на Владайской, были хорошие люди. Дед содержал небольшую бакалейную лавочку на той же улице, а бабушка Донка и две ее дочери вели домашнее хозяйство. Их сын и брат Димитр Хаджимитрев погиб давно, еще в 1924 году в Дирекции полиции,— его сбросили с лестницы, с пятого этажа, и сказали, будто он покончил жизнь самоубийством. Этих подробностей я тогда не знал, хотя чувствовал, что в семье постоянно присутствует тень погибшего героя. Бабушка ходила в черном, сестры, уже не молодые, были печальны и молчаливы, а если говорили, то говорили тихо, шепотом, словно боялись кого-то разбудить. После Девятого сентября бабушка Донка достала спрятанное у нее, оставшееся от сына красное боевое знамя и передала его в Музей революции. Прочитав об этом в газете «Работническо дело», я с гордостью вспомнил, что некогда жил в семье Хаджимитревых. И еще раз убедился в том, что героизм тих и скромен, ему чужды шумиха и поза. Они нужны только тем, кто хотел бы заглушить

голос страха и нечистой совести. Бабушка Донка передала боевое знамя так, как отдала борьбе своего сына.

Вот в какую среду я попал, и началась как бы другая жизнь. Ко мне приходили неизвестные люди, и у них ни о чем не полагалось спрашивать — ни кто они, ни как их зовут, ни откуда пришли, ни куда уходят. Таковы были законы конспирации. Такова была обстановка. И это наполняло меня гордостью. Такое было чувство, будто пишется не только моя биография, а сама история! Радости моей не было границ. Страх растворился в романтике того, что мы называли революцией и борьбой. Мы готовы были пойти на расстрел и плюнуть в лицо палачу!

После Девятого сентября я встретил некоторых из тех подпольщиков, с кем довелось иметь дело, и очень был рад увидеть их живыми и здоровыми. Потрясла меня смерть одного из них — я долго смотрел на его фотографию в газете «Работническо дело» и не мог поверить, что это он, мой знакомый, с которым мы часто встречались на квартире и беседовали на литературные темы. Это был высокий черноглазый брюнет. И всегда он у меня спрашивал: «Ты ел? Есть у тебя деньги? Почему молчишь? Не стесняйся!..» А потом расспрашивал о писателях, о людях искусства. Я не знал его имени. Не знал, откуда он родом. Чувствовал только его сердечное, дружеское расположение и любил его как брата. И вот теперь, глядя на портрет, я повторял его имя, которое мне суждено было узнать только после его смерти — Методи Шаторов! Он погиб накануне победы, на самом пороге Свободы. Методи Шаторов!..

Такие люди жили около меня. С такими людьми я встречался и на их примере постигал основы дисциплины, конспирации, преданности. Такими были и Эмил, и Сашо Димитров, и Васил Марков, с кем я познакомился позднее — в центральной тюрьме... Такими были и многие другие — известные и неизвестные,— которые прямо или косвенно, сознательно или неосознанно формировали наши характеры, помогали раскрыться нашим талантам. Подпольная борьба заряжала нас порохом и бронебойными патронами. Она учила нас выдержке.

На пользу ли было это?

Говорят, будто нравственные категории не относятся к таланту. Но мне кажется, что личность в своем противоречивом многообразии неделима. Иногда я спорю с некоторыми людьми. Они заявляют, что талант не имеет ничего общего с моралью человека, что он — категория особая, независимая, самостоятельная. И приводят примеры. Я не могу согласиться. Спорю с ними, возражаю. Подчас мне не хватает аргументов, но сердце мое не принимает их доводов, потому что талант — это нравственность. Это долг, воля и постоянство. Он сродни благородству и гуманизму. И с одним глазом живут люди. Но как же им трудно! Талант должен беречь оба глаза. Он должен видеть и любить. Потому что иначе он не может жить, дышать и радовать нас. Он — гармония, красота и добро. А в наш век добро — это революция, как ни странно это кое для кого звучит. Ей, революции, были подчинены и дух, и материя. И никто не мог заставить нас изменить ее принципам.

Я возвращался домой. Было это 14 августа, в среду. Помню, как сейчас. 14 августа, среда, 1935 год. Я был очень, очень молод, но не понимал этого и не радовался молодости. Я нес арбуз и кусок брынзы на ужин. Целый день я не был дома. За отвороты моих бумажных брюк набились сухие травинки и зерна спелой пшеницы. Зрели хлеба. Зрели арбузы и дыни. Скоро покраснеет виноград. Я тосковал о селе, лугах, реке, о большом ореховом дереве в саду. Каких только мыслей не пробуждает лето в сердце сельского паренька!

Переложив арбуз в левую руку, я попытался отпереть дверь. Мне это не удалось, потому что изнутри был вставлен ключ. Тогда я позвонил, и мне открыли. На пороге стоял полицейский, и на меня было направлено дуло его револьвера. Я услышал: «Руки вверх!» Мне стало смешно, потому что я еще не понимал, насколько это серьезно. Он опять крикнул: «Руки вверх!» — а я сказал: «Я ведь держу в руках арбуз и брынзу!» Он толкнул меня, арбуз и брынза выпали из моих рук. На цементном полу арбуз раскололся и потекла темная струя. Тогда, наконец, улыбка моя застыла, и я поднял руки вверх. Полицейский ухватил меня за воротник красной рубашки и втолкнул в прихожую. Все выходящие в нее двери были распахнуты настежь. В глубине моей комнаты маячило несколько полицейских в штатском и мундирах. В стороне стояла бабушка Донка. Меня ввели в комнату и начали обыскивать. Матрац перевернули. Деревянный ящик, где у меня лежала бумага, был раскрыт. Пишущая машинка в футляре стояла на столе. Обыскивали меня двое.

— Где ты был?

— На прогулке.

— Точнее!

— На прогулке,— повторил я.

— Знаем мы эти прогулки!.. Повернись!.. Не опускай руки! Никто тебе не позволял их опускать!..

Вывернули мои карманы. Достали оттуда карандаш, ключ от комнаты, мелкие монеты. Бритвой распороли отвороты брюк. Рассыпались пшеничные зерна.

— Где ты жал?

— Нигде.
— Еще и отвечает...
— Спрашиваете — отвечаю...
— Что это за пишущая машинка?
— «Эрика».
— Я не спрашиваю о марке. Чья она?
— Да, понимаю. Моя.
— Зачем она тебе?
— Писать.
— Что?
— Я писатель.
— Писатель?
Они с удивлением посмотрели на меня.
— Что же ты пишешь?
— Рассказы.
— А бумага? Зачем тебе эта бумага?
— Писать рассказы.
Они переглянулись.
— Какие еще рассказы?
— Рассказы.
Поодаль стояла бабушка Донка. Глаза ее были широко раскрыты. Выдержу ли?
Мне задали еще несколько вопросов — давно ли живу тут, один ли, не приходили ли ко мне другие люди, на какие средства живу... И опять: только ли рассказы пишу на этой вот машинке или еще что-нибудь?
— Рассказы,— повторил я,— проверьте по журналам и газетам.
Тогда один из полицейских, как видно не выдержав, ударил меня по голове и крикнул:
— Подойди, подпиши протокол!
Пока меня обыскивали и допрашивали, часы уже пробили одиннадцать, близилась полночь. А с улицы в эту летнюю ночь все еще доносился шум толпы, звучал девичий смех, где-то поливали цветы — по тротуару журчала вода, а издалека, из какого-то раскрытого окна, неслись звуки радио, пущенного на всю мощь. В эту прохладную августовскую ночь жизнь на софийских улицах продолжалась. Свобода существовала. Я слышал ее голос, но мне она была уже заказана. Я ее лишился. И я отправился на свою Голгофу с гордо поднятой головой, как меня учили книги, я писал историю своего времени...
Мне действительно дали подписать протокол. В нем было точно указано, что́ нашли в моей комнате: пишущую машинку, ящик с бумагой и роман Джека Лондона «Мартин Иден». Остальное не заслуживало упоминания.
— Я подписываю,— сказал я,— и еще раз заявляю, что невиновен.
— В Дирекции разберемся, кто виновен, а кто нет,— сказал один из штатских, который дал мне подписать протокол,— а сейчас собирайся, мы и так очень задержались.
— Воля ваша.
— Начальник — добрый и понимающий человек... Признаешься во всем — он тебя освободит...
— О чем, в сущности, идет речь, господа?
— Речь, в сущности, идет об одной маленькой справке, господин!
Он схватил меня за рукав рубахи, говоря другим:
— Посмотрите-ка, и красную рубашку купил.
— Коммунистическая,— добавил полицейский.
— Да ведь мы идейные,— продолжал штатский, толкая меня к двери,— должны быть последовательны.
Бабушка Донка ринулась вслед за мной:
— Возьми пиджачок, Петр, не то простудишься!
— Лето сейчас, бабка,— махнул рукой штатский.
— Лето, да у вас-то зима, холодно.
Полицейские оттолкнули ее. Да и сам я не проявил особого интереса к пиджаку, который действительно мог бы мне понадобиться в холодных тюремных камерах. Думал ли я тогда о таких мелочах? В тот момент мысли мои были заняты историей, подвигом, революцией. Я был арестантом, меня вели в Дирекцию полиции. Я шел, чтобы встретиться лицом к лицу с тем чудовищем, которое ежечасно мы называли «классовым врагом». Сейчас «классовый враг» вел меня по ночной Софии. Я шел с поднятой головой и никем не интересовался. Люди смотрели на меня и восхищались. И моя красная рубашка (из-за которой я столько натерпелся) говорила им о том, кто я!.. Чего же больше?
От Владайской реки веяло прохладой. Раскачивались на ветру гирлянды лампочек по обеим сторонам бульвара Сливница. Где-то справа проступал силуэт Львиного моста, вспыхивали синие молнии последних трамваев, спешащих в депо. Ночная София жила. Жил и я, «худощавый юноша», как назвал я себя в одном из своих рассказов. С сознанием собственного геройства шел я по гладкой мостовой и не хотел знать

ничего другого, кроме того, что нужно держаться мужественно, что нужно молчать, как молчали все до меня...

Справка? А может быть, действительно им нужна только «короткая справка»? Почему бы мне им не верить? Иногда случается и такое.

Двое в штатском молчали. Полицейский шел передо мной и нес пишущую машинку. Ящик с бумагой увезли на мотоцикле.

Справка? О чем? Я еще не знал, что Асен Чаракчиев ранен и арестован... что за ним следили и видели, как он вошел в мою квартиру... что произошел, как говорили мы тогда, «провал»... И что я должен дать объяснения по поводу квартиры, пишущей машинки и бумаги в ящике. Если бы догадались — разбили двойное дно ящика, нашли там листовки и восковку, дело бы осложнилось... Но они не догадались и никогда не догадаются. Я был совершенно в этом убежден, хотя и без всяких к тому оснований. Я только верил в нашу силу и силу нашей конспирации. И мне стало смешно при мысли, что сейчас этот деревянный ящик с двойным дном и листовками в нем стоит где-то в коридоре Дирекции и полицейские двигают его туда-сюда, садятся на него, открывают и никому в голову не приходит, что между его досками таится революционный взрыв.

6

Меня заперли в камере на пятом этаже. На досках, накрывшись пестрым одеялом, спали двое арестованных. Несмотря на то, что зарешеченное окно было открыто, дышать было нечем. Пахло карболкой. Наверное, заботясь о здоровье арестантов, делали дезинфекцию.

Заключенные при моем появлении проснулись, спросили, кто я, за что попал, и, узнав, что — политический, тут же снова заснули. Я встал у открытого окна и, ухватившись за железные прутья, долго смотрел на притихшую площадь, на мост с четырьмя львами, о которых кто-то мне рассказывал, что у них нет языков — скульптор забыл их высечь... Я смотрел на реку, трамвайную линию и двух служителей, везущих тележку со шлангами для мытья мостовой. Было прохладно, тихо. Спать не хотелось. Лишь на рассвете (словно боясь расстаться с внешним миром) я, присев возле окна, задремал. Разбудил меня сильный шум — удары по железу и крики о том, что надо получать хлеб. Каждому бросали по куску черствого хлеба — порцию на весь день. Кто хотел, мог заказать чай. Но у меня и денег не было, да и чай их мне в горло не шел.

Наступил день. Жаркий и тяжелый. Вот тут-то я наконец осознал, что нахожусь в заключении, что лишен свободы. Я не мог выйти, когда захочу, не мог долго стоять у окна, не имел права кричать и протестовать. У меня забрали даже шнурки от ботинок (чтобы не повесился), унесли и пояс от брюк. Я чувствовал себя растерзанным и заброшенным. Мне было невыносимо находиться в этой грязной камере, пропахшей карболкой, меня раздражали арестанты, которые вновь стали проявлять ко мне интерес. Один из них, худой и мрачный, походил на убийцу. Другой был толстый и явно глуповатый. Он сидел по-турецки посередине камеры и беспрерывно пел: «Снизу идут сеймени, сеймени и еще сердари, несут они голову молодца...» К моему великому изумлению, как я позднее узнал, убийцей был не худой, которого я боялся, а этот толстый добряк и веселый певец, сидевший по-турецки посреди камеры и добродушно мне улыбавшийся всякий раз, как я на него взгляну... «Вот, поди, узнай человека,— думал я.— Вроде и поет, и улыбается, а руки его в крови. Раскуси вот его...» «Снизу идут сеймени, сеймени и еще сердари...»

День прошел. Наступила вторая ночь. Меня еще никуда не вызывали. Я начал нервничать. Толстяк меня успокаивал:

— Придут, парень, придут, не забудут...

И действительно, на рассвете, около трех часов, когда поют петухи, а вампиры прячутся в заброшенных мельницах, меня разбудили и повели из камеры. Толстяк и другой арестант высунули головы из-под одеяла и молча смотрели на меня. Они знали, куда и зачем меня вызывают в столь неурочный час.

Мы шли по узкому извилистому коридору. Вел меня низкий, кряжистый, широкоплечий полицейский. Тусклые электрические лампы светили желтым, рыжеватым, светом — лишь бы можно было в этом бесконечном лабиринте различать дорогу. Полицейский придерживал меня за плечо и отечески внушал, чтобы я не боялся, чтобы признался во всем, что начальник очень добрый человек, очень любит студентов и молодых людей. За эту ночь он очень устал, но как только ему доложили обо мне и сказали, что я здесь уже второй день и все еще не допрошен, он раскричался, закатил выговор полицейским и, несмотря на усталость и неурочный час, велел немедленно привести меня...

— Признайся,— говорил мне полицейский,— это главное.

Мы вышли к цементной площадке, обнесенной железными перилами. От нее вниз спускалась узкая винтовая лестница. Полицейский остановил меня и заставил посмотреть вниз. При этом он положил руку мне на грудь, возле сердца.

— Страшно?

— Нет,— сказал я.

— Отсюда в двадцать третьем и двадцать четвертом годах сбрасывали арестантов, убивали их... Только это должно остаться между нами, потому что это тайна.

Он снял руку с моей груди и добавил:

— Меня зовут Джон. Я люблю людей, отстаивающих свои идеи. Здесь прошло много честных и достойных коммунистов. Признавались во всем и умирали, если нужно было умирать. Ведь так?

Я не ответил. Он опять положил руку мне на сердце. К несчастью, на этот раз оно билось сильнее.

— Бьется.

— Да,— сказал я.

— А не должно биться, если ни в чем не виновато. Не так ли?

Я молчал. Мой доброжелатель продолжал:

— Внизу кабинет начальника. Он всю ночь не спал, но после моего доклада решил тебя принять. Мы с ним в добрых отношениях. Если послушаешься меня, я похлопочу, чтобы все поскорее закончилось, и тебя завтра же освободят. Ты славный парень. Слышал я, что ты писатель. Знаю многих писателей. И читаю литературу, художественную. Когда тебя освободят, может, дашь что-нибудь почитать? Машинка-то твоя?

— Да.

— Хорошая машинка... Где ты ее купил?

— По случаю.

— И я хотел купить, но не мог найти... Дорогая?..

— Нет.

— Сколько стоит?..

— Около двух тысяч... с половиной...

— Попадалась мне тут одна, но за три пятьсот... Дорого. И хуже твоей... На твоей можно заложить пять копий, а то и больше, а на этой нет... Иногда мне надо напечатать и на восковке, а как это можно сделать на такой плохой машинке — валик не выдерживает и клавиатура слабая, не пробивает. А на восковке надо печатать ровно — ни сильно, ни слабо. Так ведь? По опыту знаю.

Я молчал.

Благодетель подтолкнул меня, и мы стали спускаться по лестнице. Он шел за мной, ближе к перилам, крепко ухватив меня за шею, словно в тиски зажал,— рука его была заскорузлой, ногти впивались в кожу. Мы спускались медленно и молчали.

— Восковка,— вздохнул он, когда мы сошли вниз.— Восковка и пишущие машинки...

Он отпустил меня, заглянул мне в глаза. Тусклая электрическая лампочка едва светилась. Кругом было тихо, пусто. В полутемном коридоре — ни души.

— Меня зовут Джон,— повторил он, похлопав меня по плечу,— если потребуюсь тебе, позови... Я к твоим услугам. До свидания.

И неожиданно исчез в боковом темном коридоре. Я огляделся — никого, кроме меня, тут не было, а коридор словно бы проваливался куда-то вниз. Вдруг свет погас. Я хотел было крикнуть, но силы покинули меня, и я, продвигаясь шаг за шагом, вглядывался в темноту, пытаясь хоть за что-нибудь ухватиться. Но ухватиться было не за что. Неожиданно я очутился в комнате, где было много людей, письменный стол, за ним — какой-то начальник, а возле него — куча ивовых прутьев. И ведро с водой. Допрос начался.

Всю эту ночь, до утра, меня истязали по всем правилам искусства: подвешивали вниз головой, кололи иглами, жгли огнем... Все было пошлым, отвратительным, жестоким. Истязали и спрашивали, чья это машинка, что я писал на ней и кто ко мне приходил... Я придумывал разные истории, но мне не верили и продолжали, малость передохнув, бить, рвать волосы, пинать ногами, проверяя мою выносливость. В какой-то момент до меня донесся крик:

— Что вы делаете, убийцы! Позор! Забили юношу!

Я приоткрыл один глаз и увидел Джона. Он стоял надо мной.

— Дайте ведро!

Ему подали ведро с водой. Он поднял его и вылил мне на голову. Стало легче. Я смог открыть и другой глаз. Джон сказал:

— Оставьте нас одних.

Полицейские побросали прутья и палки и ушли. Мы остались вдвоем с Джоном. Он наклонился надо мной и положил мне руку на сердце.

— Болваны, болваны!.. Не могли прекратить сами... Словно звери... Поднимайся!

Я попытался подняться, но сильная боль не позволила мне это сделать. Джон поддержал меня и помог сесть на низенький стул. Потом взял другое ведро с водой и сказал, чтобы я опустил в него ноги. Я так и сделал и сразу почувствовал себя лучше. Джон закурил сигарету, вздохнул:

— Тяжела жизнь, юный мой друг!

Меня окутывал табачный дым. Им было приятно дышать. Я возвращался к жизни... и к Джону.

— Я был у начальника,— продолжал Джон,— он велел спросить только о машинке. Он точно знает, чья она, кто тебе ее дал... В конце концов это не так уж важно. И про листовки и восковку... Зачем все это отрицать? Ведь когда мы шли по лест-

нице, ты во всем признался. Что же в этом особенного? И не понимаю, зачем тебя били эти идиоты!.. Ведь признался... Зачем надо было бить?

— Я ни в чем не признавался.

— Разве?

Он вынул сигарету изо рта.

— Мне не в чем признаваться. Машинка моя, и я писал на ней рассказы.

— Ах, значит, мы ошиблись. Граф, здесь ли ты, граф?

Откуда-то появился похожий на орангутанга полицейский.

— Значит, мы ошиблись?

— Тогда исправим ошибку, Джон.

Меня снова окружила эта стая. Они повалили меня на пол, опрокинули ведро с водой. Первым в игру вступил добряк Джон, он показал им, как надо действовать дубинкой, чтобы не забить до смерти. С размаху он опускал дубинку и после каждого удара охал и переводил дух. Потом уступил место другим, предупредив, чтобы были внимательны.

«Получение справки» длилось сорок дней. Уже закончился август. Прошел и сентябрь. Меня перевели в другую камеру. В одиночку. Я не видел больше львов, моста, реки, трамваев. Не видел и почтового отделения, построенного на бульваре за время моего ареста. Жизнь продолжалась. Школьники ходили на занятия. Над рекой тянулся туман. Становилось холодно. Добрый Джон не появлялся. Кто знает, кого убеждал он сейчас в своих искренних чувствах!.. Ревели во дворе полицейские машины, щелкали затворы винтовок, пахло бензином, где-то играло радио... Я лежал на белых досках... Времена года менялись. А я оставался все тем же... Тем же?

Нет. Я изменился. Никогда — ни раньше, ни после — я не был так горд и так уверен в себе! Я выдержал физическую боль, поборол страх, не изменил людям, которые ждали меня и за меня волновались. Я получил от них свитер и продукты. В моем мире победила революция. Я расхаживал по тесной камере, декламировал стихи, чем беспокоил часового, глядевшего в глазок и уверенного в том, что я сошел с ума.

7

Я с трудом разбирался в людях. Чтоб было легче, разделил их на две группы: одни были хорошими нашими друзьями и товарищами, другие — злодеями и палачами, нашими врагами. Таким же образом я готов был разделить на два полушария всю планету. Другими словами, в моем уме и сердце отпечатались только два цвета времени. Паутина схемы начала опутывать меня. Как я уже сказал, так мне было легче воспринимать сложный мир человеческих взаимоотношений и в тюрьме и вне ее. Я делил людей на «наших» и «не наших». И если краски случайно смешивались, терзался людским несовершенством и спрашивал: «Почему, почему это так? Ведь мы товарищи?» Впрочем, сомнения вскоре исчезали, мир снова становился ясным и разделенным на две половины: одна находилась в тюремных камерах, другая — в караульных будках и прокурорских креслах. Все было распределено точно и ясно. До чего же мне было трудно избавиться позднее от этой иллюзорной ясности, которая никому не нужна — ни писателю, ни политику. А то, что происходило тогда — в 1935 году,— расшатывало это схематичное мышление, мешавшее нашему развитию и движению вперед. Понятие «Димитровский курс» было связано с именем Генерального секретаря Коминтерна, только что вырвавшегося из Лейпцига. И приобретало не только партийно-политическое, но и философское значение. Мы тогда в полной мере и не могли постичь исторических масштабов этого поворота в стратегии, тактике, этике и эмоциональном мире будущих поколений, но предчувствовали, что раскрыта новая страница, которая называется «Седьмой конгресс Коминтерна». Барьеры сектантского самоограничения падали один за другим, люди становились иными, сбросившими тогу аскетизма.

Годы уличных трибун и революционного фразерства ушли в прошлое. Мы вспоминали о них с шутливой горечью, потому что героизм был велик, а пользы — никакой. Мы только и знали, что кричать «Долой!..» и «Да здравствует!..», и придумывали «революционные ситуации», выходя безоружными против полицейских дубинок и солдатских ружей. Нет, мы не знали силы своей и, как дети, бросались на огонь, привлеченные его блеском. Наши ораторы, храбрые и смелые ребята, порой попадали в комичное положение. Иногда, окончив свою краткую речь, они спрашивали, где же полиция, почему ее нет, почему их не разгоняют. И только когда прибывала запоздавшая конница и разгоняла демонстрантов, операция считалась хорошо проведенной, успешной... Такие анекдотичные случаи свидетельствовали о пустословии и формализме в прошлом, а мы должны были теперь целиком отдаться борьбе — долгой, сложной и кровопролитной.

Когда меня перевели в центральную тюрьму, как раз начался этот пересмотр прошлого. В тюрьме была, разумеется, тайная партийная организация. Неведомыми путями, под обложками, вроде «20 тысяч лье под водой» или «Кошачье зеркало», документы Коминтерна уже попали в руки арестантов. Тюрьма шумела. Улей роился. Стражники подсматривали, подслушивали, пускались на провокации, однако карцеры опустели, потому что заключенные вели себя более осмотрительно, не ораторствовали, не устраивали голодных забастовок по любому поводу, как раньше. С прокуро-

рами и судьями, которые иногда посещали арестантов, или с директором тюрьмы вел переговоры теперь только один человек, а не все, и назывался он как-то странно — «полпред». Сами заключенные запретили самочинные расправы со стражниками. Действовала санитарная комиссия, в обязанности которой входило распределение передач, забота о чистоте и порядке в двух основных помещениях, где было набито более трехсот человек — молодых и старых, здоровых и больных. Никто не мог остаться без еды или без медицинской помощи, без теплой одежды на зиму. Все, что поступало в передачах от организации по оказанию помощи заключенным и от частных лиц, заботливо сохранялось и распределялось между заключенными. Был и завхоз, и разные вспомогательные службы. Эта внутренняя организация, созданная втайне от дирекции тюрьмы, поражала своей дисциплиной и порядком.

Встреча, устроенная мне политическими заключенными, полностью соответствовала моим романтическим представлениям.

Был туманный октябрьский вечер, холодный и дождливый. Прежде всего стражники меня обыскали (неизвестно зачем), осмотрели и деревянный сундучок, путешествующий со мной, отдали мне очки, пояс, шнурки от ботинок и из гигиенических соображений наголо остригли. Осмотрели и мою красную рубаху, уже достаточно грязную, но на этот раз ничего не сказали, потому что, измятая и потерявшая вид, она не могла произвести на них впечатления, да и страсти классовой ненависти словно бы стихли. Меня повели к камерам политических. Мы с охранником прошли через один двор, потом через второй и очутились перед запертой деревянной дверью. Неподалеку поднимались цементная стена и вышка часового. За стеной не было видно ничего, кроме неба, покрытого густыми облаками. Они почти касались стены и, как клубы дыма, подгоняемые ветром, неслись куда-то над тюрьмой и городом. Охранник, пожилой, сутулый человек с тонким крючковатым носом, будто нарочно подобранным для него, с прыщавым лицом и близко поставленными маленькими глазками (позднее я узнал, что у него было прозвище «Смерть»), достал связку ключей.

— Входи! — толкнув меня, сказал он.

От двери до площадки, разделявшей две большие камеры, мы прошли по цементной лестнице. В тот момент, когда открылась дверь и я сделал первый шаг, передо мной выросла живая стена из заключенных, над их остриженными головами высоко поднимались руки со сжатыми кулаками. Этот молчаливый «Рот Фронт» в те годы был известен всем нам. Я попал в другую республику. И радости моей не было границ. Я тоже поднял руку — «Рот Фронт» — и утонул в объятиях друзей, которые устроили мне такую встречу. Охранник остался где-то позади, он давно уже привык к тому, что политические так встречают вновь прибывших, и словно бы и не интересовался мною.

В тот вечер меня накормили медом и маслом из запасов санитарной комиссии. Два высоких и энергичных молодых человека — позднее я узнал, что они были членами комиссии,— все меня спрашивали:

— Наелся, товарищ?.. Еще хочешь?..

В ответ я улыбался, пожимал плечами — я был сыт одной их добротой,— говорил, что мне ничего больше не надо.

А они не успокаивались:

— Как у тебя со здоровьем?.. Жалуешься на что-нибудь?.. Остались раны от побоев в полиции?

— Все заросло... Прошло...

Меня привели в большую камеру. Подошло время сна. Двухэтажные деревянные нары были переполнены. Они тянулись по обеим сторонам длинного помещения, и между ними с трудом можно было пробраться.

Увидев лежащих людей и тех, кто еще собирался лечь при тусклом свете висящих на длинных проводах лампочек, я испугался. Меня испугали люди — их головы, одна подле другой, виднеющиеся из-под рваных одеял,— и этот мертвый свет над нарами. Я спросил, нет ли другой комнаты Мне ответили, что в другом помещении еще хуже — там буквально задыхаются, а параши стоят полными до утра.

Мне долго искали место. Люди здесь были набиты как сельди в бочке. С огромным трудом два старика, слабых и худых, вроде меня, потеснились и выделили мне место. Началась моя первая ночь в Софийской центральной тюрьме.

Какая бесконечно долгая ночь! Солома в тюфяке шуршала. Люди храпели. Развешанная по стенам одежда напоминала летучих мышей. Скрипели сапоги часового, шагавшего под окном. Электрические лампочки над головой светили мертвым светом. А утром раздался звонок и появился охранник с пистолетом у пояса. Подъем! Подъем! Подъем!..

8

Труднее всего мне было разобраться в сложных лабиринтах человеческих характеров. Я ошибался в людях. Спотыкался, сталкиваясь с несжиданными явлениями. Бросался из одной крайности в другую. Сильно любил и сильно ненавидел. Был чрезмерно доверчив. И порой не понимал, почему люди спорят... почему ссорятся, почему ополчаются один против другого, даже здесь, в тюрьме, брошенные сюда общим извечным врагом.

Прежде всего поссорились из-за моей бумаги. Кто-то ухитрился стащить для писем у меня из ящика несколько листов бумаги — еще до того, как ее взяли для нужд выпускавшейся тут газеты. Похитителя нашли, обвинили в частнособственнических интересах и заставили покаяться.

Другой причиной непрекращающихся волнений, чему я не мог найти объяснения, было пресловутое место для сна. Старики стонали и жаловались на теснотищу. Меня отвели в другое помещение, но там было то же самое. Бай Мартулков, возле которого меня поместили на первых порах, до поздней ночи играл в шахматы, а во сне громко вскрикивал: «Береги коня!» — и будил всех. Утром он долго кашлял, раздирая легкие, и сплевывал в темно-синюю баночку, которую держал под подушкой. Нам жилось тесно, тяжело, мучительно. Каждый защищал занимаемое им ничтожное пространство и не соглашался его отдавать.

Больше всего меня угнетали долгие и упорные дискуссии, которые иногда целыми днями и ночами велись между двумя группировками: сторонниками нового курса и левыми сектантами. И те и другие не уступали, оборонялись и нападали. Но к чему была такая непримиримость, словно сражались заклятые враги?

Удивляло меня стремление многих к литературе. Определение «начитанный» являлось очень высокой похвалой и вызывало уважение. Диапазон литературных интересов был огромен. Конечно, среди нас были серьезные читатели, спрашивавшие Достоевского, зачитывавшиеся Толстым, спорившие о Есенине и Маяковском. Я уж не говорю о Марксе и Энгельсе, о книгах Ленина, которые изучали в кружках по философии и политической экономии.

Меня раздражали книги «Дело Маурициуса» и «Этцель Андергаст». Я приходил в ужас при мысли, что могу разделить участь главных героев. Слушать и читать о каторге и тюрьмах я не любил. Даже «Записки из мертвого дома», пользовавшиеся здесь огромной популярностью, не могли меня соблазнить. К чему усугублять свои страдания литературой? И другие молодые люди придерживались того же мнения. Мы зачитывались Мопассаном, Чеховым. Портной Георгий Узунов из Плевена часами не мог оторваться от «Жизни» и говорил мне:

— Вот как тебе надо писать — просто, ясно, с улыбкой!.. Тогда из тебя получится писатель!

Я перечитал еще раз книгу Мопассана со знаменитым предисловием Льва Толстого к русскому изданию и долго думал о тайнах писательской магии. По каким законам пролагаются и пересекаются пути предпочтений и вкусов? Почему судьба обыкновенной француженки волнует одновременно и графа и портного? В чем заключена эта сила воздействия на всех нас, столь различных, и в различные времена?

Гуманизм проистекает, как свет и тепло, не из деклараций и эстетических формул, а из невидимых источников сердца, определяя наши вкусы и заставляя писать просто, ясно и с улыбкой. И это становилось нашей программой, манифестом нового искусства, нового реализма. Об этом размышляли мы в долгие дни заключения. Занятия нашего кружка проходили регулярно. Иван Мартинов (его настоящее имя Иван Цеков) несколько раз менял псевдонимы: он был Ванкой Шойлевым, Николаем Люлиным... Даже в хронике нашей тюремной газеты промелькнуло: «Сегодня в тюрьму доставлен писатель Николай Люлин». Я тоже мучился, придумывая себе псевдоним, потому что Корали (название габровского села, откуда родом были мои прадеды) меня не удовлетворяло, к тому же меня часто спрашивали, не итальянец ли я. Это было время псевдонимов. Мы оправдывались цензурой и полицией, на что в известной мере имели основания, и все-таки слишком усердствовали по части придумывания новых имен. Только Эмил не менял своего настоящего имени. Я также ничего не смог поделать с этим Корали и вернулся к своей фамилии. Молодое вино бродило и никак не могло устояться. Эмил точно схватил суетность наших волнений.

— Ну что, опять псевдонимы придумываете?

Мы сердились, а он продолжал:

— Что такое искусство?

Мы молча смотрели друг на друга.

— Прежде всего — собрание характеров,— продолжал он,— характеров, в которых отображается эпоха...

— Ясно, ты опять будешь говорить нам о Стендале и о зеркале, которое несут по дороге жизни...

— И о Стендале, и о Толстом, и о Ленине...

— И о зеркале русской революции...

— Именно... О том, что мы называем субъективным отражением объективной действительности...

— И объективным отражением субъективной действительности...

— Почему бы нет? Диалектика искусства значительно сложнее, чем мы думаем.

— Не спорим.

— А что же вы делаете?

— Придумываем псевдонимы.

— Бросьте шутить, самовлюбленность всегда мешала серьезной работе... Слишком много мечтаете, тоскуете и витаете в облаках. Спуститесь вниз, на землю, и оглянитесь вокруг.

Как-то он остановил меня:

— Ответь мне на следующий вопрос...

— Опять экзамен?

— Да, на этот раз по части писательской наблюдательности.

— Спрашивай.

— Скажи мне, кто, по-твоему, из присутствующих здесь заключенных — самый типичный представитель рабочего класса?

— Положительный герой?

— Да.

— Трудная задача.

— Не спеши. Ответь завтра утром.

Я согласился. На другой день, во время прогулки я показал на какого-то оборванца. Эмил долго хохотал.

— Видишь ли, я так и думал, что вы судите по внешнему виду, а не по внутреннему содержанию... Раз грубый, грязный, значит, подлинный представитель рабочего класса... А то, что нет культуры, нет воспитания, нет характера или, может быть, есть характер, но...

— Все-таки он рабочий! — возразил я.

— Какой рабочий? Лавочник, мясник...

— Металлист. Слесарь.

— Нет, он не металлист... И не слесарь... Он люмпен... Он был рабочим... Или, может быть, еще будет им... Рабочий класс — это не только сословная, но и нравственная, и политическая категория...

Мы долго спорили. Наконец, Эмил, почувствовав, что немного переборщил, дружески обнял меня:

— Твоя речь о Горьком была прекрасной, вдохновенной... Ты умеешь говорить... Но твоего рассказа о вшах не признаю... Натуралистичен, к тому же ты слишком драматизируешь жизнь... Чересчур!..

— А почему нельзя?

— Пиши с юмором, чтобы было убедительнее... Когда человек посмеивается над собой, ему люди верят... Понимаешь? А когда ты непрерывно хмуришься и вздыхаешь, люди начинают сомневаться в твоих страданиях... Смех присущ трагикам...

— А Горький смеялся?

— Да, хотя и по-своему... Ты, разумеется, не отметил этого в своей речи, но в целом говорил пламенно и с волнением...

В июне 1936 года пришла страшная весть о смерти Максима Горького. Мы были потрясены. Втайне от тюремного начальства в большом помещении мы провели траурный митинг. У дверей поставили дежурных. К моему удивлению, мне поручили выступить с речью. Кому пришло это в голову, до сих пор не знаю. Я смутился, хотя это мне польстило. Говорить о Горьком перед таким количеством людей, да еще политических заключенных, которые были воспитаны на искусстве великого писателя, трудно. Но я взялся за поручение и выполнил его с юношеским задором — вдохновенно, импровизируя,— и сумел овладеть вниманием слушателей. Начал я, пытаясь подражать речи Мирабо над прахом Вениамина Франклина: «Товарищи, умер Максим Горький!.. Гения, озарившего мир ярким светом своего таланта и покорившего миллионы людей своим великим искусством, уже нет среди живых...»

Меня слушали с волнением. Люди заполнили нары, стояли вдоль стен. Я не замечал, что делаю, как держусь. Но, по-видимому, держался прилично, потому что после того, как закончил, мне долго аплодировали и поздравляли. А для некоторых я был открытием, и они хотели теперь со мной познакомиться. Поздравил меня и Эмил, но тут же не забыл предупредить:

— В художественной литературе пафос не нужен... На один-два градуса надо тебе снижать свои восторги... Это как соль и перец в еде... Не переборщи, если хочешь, чтобы пища была вкусной.

Его ироническая улыбка и замечания раздражали меня, но все-таки я размышлял над тем, что он мне говорил, и не мог спокойно спать. Я пытался отличить настоящих рабочих от люмпенов, разобраться в сложном мире комического и трагического, но мне это не удавалось. Приятнее было думать о сельских нивах и лугах, о дожде и стрекозах, о дубравах и о мхе под деревьями... Я думал о тех словах, которые впитал с материнским молоком... Повторял фразы, усиливающие мою сельскую ностальгию. Что происходило со мной? Тайком я писал повесть о деревенском пареньке. Меня опять манили родники детства, звали голоса кукушек и иволг... Надо писать просто, ясно и с улыбкой, а получалось все хмурым, трагическим. Моими героями были страдальцы и мученики. И я не мог докопаться до их сути.

9

Зимой на свидание со мной пришла мама. Она была очень испуганная, бледная, в черном платке и длинной домотканой юбке. Крепко ухватившись за решетку в камере для свиданий, она жадно смотрела на меня — пыталась разглядеть, все ли у меня

в порядке, здоров ли я. Голова ее немного тряслась. Это было для меня новостью. Я понял, как постарела она с момента моего ареста, всего за несколько месяцев.

Ей сообщили о моем аресте, когда она пошла в лес за дровами. Она решила, что меня повесят, и целый день голосила — слишком неожиданным был обрушившийся на нее удар. В те годы в газетах уделялось много места описанию того, как была раскрыта та или иная подпольная организация. На первой странице печатались фотографии арестованных подпольщиков, снимки найденных стеклографов, пишущих машинок и тому подобное, и всячески расхваливался героизм и ловкость полицейских и жандармов. Давались и биографические сведения о каждом подпольщике: кто он и откуда, год рождения и так далее. И вот наряду с десятью подпольщиками, среди которых были депутаты от Рабочей партии Христо Калайджиев и Александр Мартулков, появилась и моя физиономия. Напечатали мою фотографию, сделанную в фотолаборатории общественной безопасности. Прочли у нас в селе члены общинного совета газету «Утро», и поднялся гвалт. Богачи и староста сразу же вынесли резолюцию: положение очень серьезно, его непременно повесят.

Что могла поделать мама, вдова, оставшаяся одна в лесной глуши? Ей оставалось только голосить и проклинать. Проклинать бога.

И вот сейчас, спустя несколько месяцев, успокоившаяся и притихшая, она пришла ко мне на первое свидание. Слезы уже давно высохли на ее глазах, сердце устало горевать, а голова начала трястись. Мне было тяжело смотреть на нее, стоявшую по другую сторону решетки, и я делал все, чтобы ее успокоить, прибавить ей сил. Я говорил о пустяках и все время улыбался. Она молчала. Сказала только: «Чего ты скалишься?» — и почти ничего больше. Но к концу свидания стала веселее и бодрее. За десять минут, положенных на свидание, моя агитация все-таки достигла желаемого. Мама убедилась: предсказания сельских богачей, что со мной все будет кончено, не сбылись. В ее сердце сквозь решетки и стены бастилии проникла частица моего энтузиазма. Мама была со мной. И она ушла явно успокоенная, хотя голова и руки ее тряслись и она была измучена.

«Чего ты скалишься?» Я и сейчас слышу этот материнский упрек, обращенный к нам, безудержным энтузиастам. Потому что далеко не все в жизни так уж смешно. Потому что есть много тяжелого, и его куда больше, чем веселого. Но «бодрячество» стало как бы нашим идейным долгом: не унывай, не вешай головы!.. Гони от себя пессимизм, скрывай тоску!.. Тоске не должно быть места...

В нашем тюремном литературном кружке мы уже спорили о положительном и отрицательном герое. Вокруг нас все были положительные: коммунисты, борцы, смельчаки, «готовые на смертный бой», как говорится. Иногда лодка эстетических норм разбивалась «о быт», но мы продолжали «скалиться», то есть улыбаться, и сочиняли для своих рассказов патетические концовки.

...Добродушный Коста Езикиев, агроном, только что закончивший учебу, где-то возле Подуяне с группой комсомольцев остановил поезд и, угрожая револьвером, заставил спуститься вниз машиниста. Машинистом оказался его отец... Коста задержал отца вместе с пассажирами, произнес перед ними пламенную речь о международном и внутреннем положении и отпустил. Операция была проведена! Но дня через два комсомольцев переловили, как цыплят, и сейчас они сидели в тюрьме с гордым сознанием выполненного долга, ждали приговора. За проведение подобных операций сюда попадали разные люди: парни из «Ножа», железнодорожники, печатники. Были и герои-одиночки («И один в поле воин!») — тот повесил красное знамя на тополь, этот выкрасил аиста красной краской и пустил его лететь над сельской общиной в день Первого мая... Большие и малые герои — им не было конца. Многие из них позднее погибли в партизанах — прославленные и измученные, удивленные быстрым и неожиданным концом своей жизни. Так погибли Эмил Шекерджийский, Христо Ников, Желю Демиревский, веселый Анешти — ему отрубили голову где-то в Родопском краю...

...Хотя мы изучали законы конспирации, а все же были доверчивы и нередко сталкивались с изменой. Христо Никова, например, предал Кутуза, самый близкий его друг, в тюрьме они спали на одних нарах... Разумеется, Кутуза получил по заслугам, его уничтожили наши пули — наш гнев, наша месть обрушились на его предательскую голову еще тогда, в трудные военные годы... Такая же участь постигла и Чолакова, который в самые тяжелые годы войны стал сотрудником гестапо...

Герои и предатели! Моральные нормы стонали в тисках времени. И мне все чаще вспоминались слова Монтеня: «Поистине изумительно суетное, непостоянное и вечно колеблющееся существо — человек. Нелегко составить о нем устойчивое и твердое представление».

10

Почему было так? В больших и малых масштабах отражено сложное лицо революции, ставшей бытием и сущностью нашего времени. Постигнем ли мы то, что таится в глубине человеческой души? Христо Ников, Анешти... Кутуза, Чолаков... И трагедия Трайчо Костова! Этого слишком много для сердца за время его краткой жизни.

А сердце, оказывается, может вынести еще и реактивную скорость, и состояние невесомости... Сердце, сердце! Ты бьешься и волнуешься из-за будничных тревог и не желаешь изменить старым привычкам — быть добрым и отзывчивым, служить революции, даже когда тебя обманывают. Разве не для этого пишутся стихи и романы? Разве не для этого пишутся рассказы и новеллы? Разве не для этого люди встречаются и разговаривают друг с другом?

Мы уже проникли в мир изящного, и пути назад не было. Мы должны служить истине и умом и сердцем. Революция в нашей литературе началась с детской доверчивости и огромного восторга...

Что делать? И как делать?

В нашем добром, в нашем благородном призвании никогда не было и не могло быть категорических формул. Категорична только истина. Но что такое истина? Она всегда была в центре наших дел, во имя нее мы боролись и побеждали, страдали и радовались. Во имя нее, во имя истины, мы начинали и совершали большие и малые дела. Она присутствовала в наших желаниях и помыслах. В поисках ее мы и заблуждались, и ошибались. Ее мы превращали в страдание и подвиг.

Легче всего было тем, кто все упрощал. Почти все мы прошли по гладкому желобу восторгов. По нему струились наши мысли и чувства и рождались книги, которые мы называли произведениями искусства, потому что они действительно были результатом наших благородных усилий обновить мир и литературу. В первые годы после Девятого сентября преобладала декларативная поэзия. Радио и газеты были полны восторженных возгласов. Прозы почти не существовало, если не считать очерков и репортажей. Потом стали появляться романы о Сопротивлении. А немного позднее, после небольшой паузы, «производственные романы». Где-то в этом водовороте вдохновения, блужданий и литературных теорий находился и я со своими непоколебимыми нормами истины. Эстетические критерии определяли всего лишь два цвета — белый и черный. Мы страдали от горьковатого вкуса того, что делали или собирались делать. Схемы пронизывали наши книги и торчали как памятники упрощенной нами истины.

История литературы того времени не написана и едва ли будет скоро написана, потому что мы еще находимся в ней, а она в нас. Страсти и предубеждения пока не развеяны и ждут ветра справедливости, который подует в один прекрасный день и разгонит их. Что-то уже сделано. Что-то еще прячется под пластами нашего человеческого несовершенства. Испытание временем неумолимо. Строгие судьи заседают и каждый день отделяют зерно от мякины. Много мякины накопилось. Но в амбарах нашей литературы лежит уже и зерно. Называют его «золотой фонд». Весьма вероятно, что он золотой, потому что не человеческие пристрастия, а время определило это. Но помните ли, как трудно было когда-то открыть и утвердить подлинные ценности?

За эти двадцать пять лет я вновь и вновь утвердился в том, что было нормой и направлением в наших юношеских литературных увлечениях — мыслить о главном! Потому что талант не может жить без великих истин. Он чахнет и умирает, когда его держат взаперти. Он как растение, которое в поисках света пробивает стены. Я снова слышу голоса тех, кто заботился о нас и о нашей литературе, о том, чтобы мы вошли в жизнь, узнали людей, воспели их дела и подвиги. Как золотоискатели, мы отправились на строительство Хаинбоаза, в Перник-Волуяк, Копринку... Эти названия не сходили со страниц наших очерков и стихотворений. Один из нас пытался даже написать роман «Туннель номер три»... Появилась новая, молодая смена «бригадирских поэтов». И опять старый вопрос: где рабочий класс в наших произведениях? Я вспомнил разговоры с Эмилом в тюрьме, его загадочную улыбку и справедливые упреки. Рабочий класс? Где он? Какой он?

Надо было освободиться от метафизики и фетишизации. Надо было мыслить предметно и без предрассудков. Надо было познать процессы огромных изменений — села переселялись в города, пустели большие селения и маленькие деревушки, прибежища и колыбели романтических видений и грез, и поднимались новые, большие города с фабричными трубами и заводскими корпусами. Под сводами этих заводских корпусов звучали диалекты сельской Болгарии. Мои крестьяне стали моими рабочими. Мой брат давно работал на вагоноремонтном заводе в Дряново. Его друзья работали там же или на габровских предприятиях. В нашем селе остались старики и старухи, да и те постепенно умирали. Когда, спустя годы, я поехал в Габрово, чтобы «собирать материал» для «Семьи ткачей», я как будто встретился снова со своим родным селом. Те же люди, та же речь, те же интонации... И в то же время другие!

Начался процесс смешения и обновления. И это представляло самую большую трудность в исследовательской работе писателя. Образ ускользал из рук, схемы подстерегали нас в тайниках нашего сознания. В Союзе писателей не прекращались собрания и заседания. Барабанный бой, призывавший к тому, чтобы мы писали о современности, не умолкал. И это для того момента, было, по-видимому, лучше всего, потому что история вцепилась в нас и не позволяла двинуться вперед. Нас сковывали воспоминания и сентименты прошлого. Самым невероятным образом сентиментальные вздохи переплетались с вульгаризацией и дешевым романтизмом. Мы не могли выбраться из своей крестьянской кожи, воплотить тип нового человека, нового героя,

строящего социализм и поднимающего целину нашей вековой отсталости. Надо было все это преодолеть и идти вперед.

Собрания и призывы успокаивали нашу нечистую совесть. Одно время мы придумали теорию «дистанции». Кое-кто скрестил руки и лениво ждал, пока события «выкристаллизуются». События «выкристаллизовывались» и превращались в громады каменных зданий, а мудрецы мудрили. Затем вдруг начали писать о «гайках» и «винтиках» и отчитываться перед временем. А время бежало вперед и знать не хотело о них. Процессы обновления были грандиозны. И опять мы вспоминали забытые слова о том, что литература — это человековедение.

Снова и снова мы возвращались к некоторым старым истинам, усвоенным еще в кружке имени Христо Смирненского. Я как-то зачитался рассказами Йовкова, который словно бы был забыт. Стояла, помню, мягкая, славная зима в Хисаря. Сияло солнце, а в комнате Дома творчества писателей шумела железная печурка. Я сидел у окна и читал: «...пели на дорогах повозки и рассказывали о том, как человек может быть очень богатым и очень несчастным. Зачем Сали Яшару это богатство?.. И бредут к чешме стада, бредут люди, и глаза их горят от зноя и жары. По обе стороны чешмы — белая дорога, и каждый, кто идет по ней в ту или в другую сторону, останавливается у чешмы испить воды. Может быть, редко кто и скажет вслух, но в душе каждый благодарит бога и того, кто построил эту чешму и чье имя вечно шепчут струи, льющиеся из трех кранов... Трепещут листья акаций, лунные лучи словно окутывают их, будто капли теплого дождя, льется звонкая песня колес... Тайна поющих повозок, которые делал Сали Яшар, заключалась в том, что изнутри, между колесом и основанием оси, он ставил стальной диск, а так как колесо держалось не очень крепко, то диск ударял то по нему, то по оси, и раздавались звуки, которые, переплетаясь со звуками других колес, создавали целую мелодию. Все это было очень просто, и если и существовала какая-то тайна, то она заключалась в сплаве, в размерах и форме дисков, а это знал только Сали Яшар...»

Я закрыл книгу и долго молчал. Задумавшись, смотрел на зимний день и не видел его. Перед моими глазами был Сали Яшар.

Я тогда вновь прочел всего Йовкова, вернулся к Елину Пелину, заглянул в Каравелова, с грустью полистал «Житие и страдания грешного Софрония» и снова (в который раз!) убедился, что нельзя забывать вскормившую нас землю, народ свой, писателей своих.

И я шел дальше. Зигзагов и трудностей много, я это знаю. Но направление, избранное нами,— верное. И наша великая цель благородна, я знаю это...

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

1

По дороге из Тырново какой-то внутренний голос заставил меня остановиться и взглянуть на долину, открывшуюся передо мной. Я послушался его и с некоторым хвастовством сказал себе, что все началось отсюда, что нет других дорог и других людей, которых я помнил бы лучше, чем эти дороги и этих людей,— с ними связано детство, и о них еще будет идти речь впереди. Отсюда полился и, может быть, здесь угаснет тот свет, что осветил все видимое и невидимое во мне самом и вокруг меня,— и я добавил еще, что тени добра и зла тоже пришли отсюда, из этих мест, покрытых дубовыми рощами, пестрыми полянами, садами, расцветающими каждой весной, еще в апреле, и вбирающими пчел своими белыми облаками соцветий.

Я говорил так, потому что как раз была весна, конец апреля, беспокойный месяц года. В апреле на припеках показывается щавель, на Вылкашине расцветает чемерица и петушиные гребешки. А вода холодная — уже черешня поспевает, но в Балканских горах все еще тает снег. Ничего больше здесь нет, сказал я, селение обыкновенное, заброшенное, хотя и в памяти и в снах моих оно никогда не было и не будет заброшенным, даже когда обвалятся крыши, покрытые лишайником и мхом и осыпанные цветами шелковицы.

И тем не менее прошлое — это прошлое. И мы уже не те. Сейчас на шоссе стоит другой человек, печальный и молчаливый, и протирает белым платком очки, чтобы лучше видеть тропинку, ведущую к станции Соколово. Новые поколения забыли об этой тропинке. Никто больше не ходит по ней. К железной дороге с другой стороны леса проложили асфальтированное шоссе. И шоссе и железнодорожный путь со шпалами пропахли маслом и угольным перегаром. А заброшенная тропинка полна других ароматов, она заросла травами, запахи которых мне теперь трудно различить, и я не могу сейчас ими насладиться, как бывало прежде, когда я шагал по ней с торбочкой за спиной, в которой лежал ломоть хлеба и кусок брынзы. Все миновало. Подснежники отцвели. Только черешни горят еще на припеках среди виноградников, словно зажженные свечи. В дубраве опала старая листва. Зазеленели боярышник и ива. Мохнатые их ресницы почти касаются моих плеч. Коза поднялась на задние ноги возле каменной стены, ее вымя торчит и качается — она пытается ухватить нежные листочки терновни-

ка. Солнце и облака то лучами, то тенью разрисовывают спину козы и засеянные поля. Скоро покажутся ростки кукурузы и подсолнечника. И повсюду замелькают фиалки. Я люблю лежать среди фиалок и слушать жужжание пчел. И петь, фальшивя: «Между небом и землей песня раздается...» Странно, дыхание земли и шепот фиалок сливаются со словами, которые я произношу, и с пением жаворонка. Я очень хорошо знаю, что гнездо жаворонка спрятано где-то на меже, среди терновника и сухой травы. И что там еще притаилась зеленая ящерица, готовая в любой момент юркнуть в кустарник.

Я научился любить природу еще тогда, когда на гумне уронил пшеничную лепешку и она откатилась, а меня заставили ее поднять. Я сделал шаг и знал, что с растопыренными руками упаду в пыль и солому, но не отчаялся. Я продолжал двигаться, впитывая в себя аромат хлебных зерен и солнца. Мне так и суждено всю жизнь идти с вытянутыми руками, широко раскрыв глаза, хотя я знаю, что далеко не все заключено в зернах и выпеченном хлебе. Что существует еще многое, о чем я узнаю позднее и что станет смыслом всей моей жизни.

Именно здесь, еще в детские годы, начались встречи с героями моих книг, хотя я их почти не замечал. Они существовали, как видно, подобно бабочке и подобно иве с ее пушистыми ресницами. Они существовали, как видно, подобно козе, жующей зеленые листочки, чтобы наполнить вымя молоком. И, разумеется, чтобы напоить им нас и чтобы мы выросли сильными и здоровыми. Это было так, потому что свои первые стихи я писал о земле, о снеге и подснежниках, пробивших снежную «пелену», как было написано в хрестоматии и в наших тетрадках. Слова «пелена», «покров», «ширь», «высь», «даль» я впервые услышал от своего учителя Пенчо... Почему ученые люди любят книжные слова? Разве они не видят, как жаворонок падает на пашню с высоты и умирает и возрождается снова? И я написал стихотворение о нем и о подснежнике, пробившем снежную «пелену». Учитель Пенчо расписался красным карандашом под моим стихотворением и сказал, чтобы я акварельными красками нарисовал подснежник. А потом предложил нарисовать возле него аиста, стоящего на одной ноге. На большом листе бумаги я нарисовал белый тюльпан, что сорвал в саду за нашим домом, написал: «Весенний гость», «Цветочек-дружочек». И почувствовал, как между мной и бабушкой, рассказывавшей мне нехитрые сказки о черной и золотой воде, встали хрестоматия и учитель Пенчо с его красным карандашом. Они меня влекли к искусству, противопоставляя его бабушкиным рогатым упырям и золотой воде. Я рисовал аистов, подснежники, учил наизусть стихотворения. В чем была истина? И существовала ли какая-нибудь истина?

Иногда я сижу и с горькой тоской думаю о людских надеждах. И никого не обвиняю. Потому что все измеряется силой бабушкиной сказки, первым восприятием неба со звездами и солнцем, сердцем под замызганной рубашонкой. Страницы хрестоматии шелестят в моих руках, но и гиацинт расцветает в саду, и горлица вьет гнездо в лесу на высоком дубе, а заяц, учуяв запах лисицы, убегает от нее... Все это, разумеется, описано и в хрестоматиях. Но там выглядит как-то иначе, вроде «Здравствуй, дрозд, весенний гость», и не может до конца раскрыть мне волшебство глубокой воды, в которую меня однажды ночью окунули и тут же вынули, чтобы я взглянул на месяц. Какая это была вода — черная или золотая? Не знаю. Лучше, если бы была она и черная и золотая, чтоб я еще тогда мог постичь истину и ее постоянную изменчивость.

В споре с бабушкой победил учитель Пенчо — педагог-энтузиаст, отдавший свою молодость тому, чтобы научить нас читать и писать. И мы сохраняем о нем самые прекрасные воспоминания, они в глубине наших сердец — вместе с подснежниками, фиалками и осенней паутиной, дрожащей от ветра над виноградником. Там они — воспоминания о первом учителе. Рядом с песнями о Кирилле и Мефодии. Рядом с листьями бука, цветами, распускающимися на Юрьев день, некошеными лугами и географической картой. Учитель Пенчо водит кизиловым прутиком по карте, очерчивает им границы Болгарии. Все у нас есть, говорит он нам: и море, и река Дунай, и гордый хребет Стара-Планина.

— А вот здесь, дети, Тырново, наша древняя столица... Кто наш последний царь?

— Патриарх Евтимий,— говорит кто-то.

— Так, сейчас разберемся. Ты, Петя, что скажешь?

— Царь Иван...

— Какой Иван?.. Их много...

— Пишман...

— Сам ты Пишман-Мишман, а он Шишман... Итак, дети, последний царь второго болгарского царства — царь Иван Шишман. Сейчас мы живем в третьем болгарском царстве. Кто его царь? Внимание... Царь?..

— Царь Асен.

— Третьего, сказал я!

— Царь Петр...

— Третьего, говорю! Последнего, в котором и мы с вами живем и учимся, как все подданные его величества... Ты, Петя?

— Царь Мурат Маре говорит...

— Царь Мурат и Мара — это песня... А я спрашиваю о царе... Садись! Значит, и сегодня вы не выучили урока... А кто наукой овладеет, тот?..

— И в жизни преуспеет!

— Да, тот и в жизни преуспеет... И владыкой станет, и чиновником в общине, старостой, сборщиком налогов... А может, и начальником железнодорожной станции Соколово, в красной фуражке... Потому что ученье — свет. С ученьем... Что с ученьем? Кто скажет поговорку? Позавчера я ее вам приводил и велел выучить наизусть... Так что с ученьем?

— Слепой слепнет...

— Садись, Сыбка, не знаешь.

— Глаза... Глаза...

— Ну, ладно... Закрой глаза... Ты что-нибудь видишь?

— Господин учитель, я скажу!

— Подожди, Косьо!.. Теперь все знают... Ну, что ты скажешь, Сыбка?

— Я слепая, господин учитель...

— Значит?

— Глаза не видят, господин учитель!

— Опять ты, Косьо, торопишься и ошибаешься... Значит, и на этот раз вы не знаете урока... Двойка и по истории, и по болгарскому языку... С ученьем и слепой прозревает... а не наоборот!.. Вот вам домашнее задание: напишите это десять раз! На следующем уроке я опять вас спрошу. Заучите как следует!

А мы тем временем пялимся в окно. Во дворе под шелковицей, в бурьяне, пищат мохнатые цыплята и возле них квохчет сердитая курица. Воробьи чирикают под школьной стрехой. Петух кукарекает на плетне. Кто-то гонит с соседнего огорода собаку. Учитель Пенчо велит мне прочитать стихотворение «Мило мне, мило и дорого, что весна наступила опять». Я читаю, а он похлопывает прутиком по моей остриженной голове и говорит, что с такими знаниями я стану начальником станции Соколово, если, конечно, буду и впредь прилежным, потому что...

— Ум царит и?..

— Ум владеет!..

— Хорошо, дети, это вы знаете! Очень это меня радует! Все же что-то вы учите! Вы умные дети, да только надо вам быть прилежными... Так ведь?

— Так, господин учитель!

Звенит звонок. Мы шумно и весело выбегаем из класса. Сунув книги под мышку, опрометью мчимся домой. Соседские гуси на улице вытягивают шеи и шипят вслед. Нет, я не буду их пасти, думаю я и в испуге убегаю, пока они не ухватились клювами за мое пальтишко. Не буду их пасти... Не буду!.. И я учу стихотворения наизусть. И декламирую их, забравшись на вершину ореха в саду или на покрытую мхом крышу нашего старого дома... Нет, не буду я их пасти!..

Говорят, что душа ребенка, как губка, все впитывает. Наверное, это так, потому что о первом учителе у меня сохранилось много воспоминаний. Когда позднее, спустя много лет и событий, я приступил к работе над романом «В конце лета», он сразу возник передо мной в соломенной шляпе, с цепочкой на жилетке, в белой манишке, в растоптанных красных башмаках на толстой резиновой подошве.

— Здравствуй, Петя, это ты?

— Я, господин учитель.

— Знаешь ли, кто последний болгарский царь?

— Какого царства, господин учитель, второго или третьего?

— Третьего, конечно.

Он раскрывает мою книгу и без стеснения располагается на ее страницах.

— Ведь эти страницы обо мне?

— О вас, господин учитель... Только я решил дать вам другое имя. Вы не будете возражать, если я назову вас Гологлавовым?

— Гологлавов? Но ведь мы решили больше ничего не выдумывать?

— Решить-то решили, но, взяв ручку и вспомнив, господин учитель, как вы нас учили рисовать подснежники и пестрых аистов на длинных ногах и сколько воды утекло...

— Да, да, ты прав. Время не обошло и меня, и моя шевелюра поредела... Пиши Гологлавов и не стесняйся.

Он подмаргивает мне со страниц романа и загадочно улыбается. Тихо звенит струна в моем сердце, заставляет к себе прислушиваться. Так я когда-то слушал бабушкины сказки о глубокой воде, черной и золотой, белой и синей... И я наделяю придуманное всеми цветами радуги, чтобы приукрасить героя, сделать его подлинным и в то же время вымышленным и сохранить присущее ему обаяние. Я вижу учителя, похлопывающего прутиком по нашим стриженым головам и пытающегося нам вдолбить, что ученье — свет и что оно делает слепых зрячими или наоборот, не помню, как и тогда не мог запомнить...

2

Мелодии детства звучат вокруг нас, а мы мужаем. Пробивается пушок на моем подбородке. «Бабушкин петушок» (так меня называют) кукарекает из-за каждого пустяка и часто нахохливается. Было это, как помню, в тот год, когда мы встречали Тырновского владыку, который приехал для рукоположения попа Косьо.

На краю села стоят школьники и крестьяне, а мне поручено приветствовать дедушку-владыку. Он был рослый, краснощекий, в длинной шелковой рясе и высокой камилавке. Увидев нас, склонившихся перед ним, он поднимает руку и благословляет. Мы еще ниже опускаем головы, бросаем ему под ноги цветы. Он улыбается и при этом что-то бормочет. Тогда учитель Пенчо подталкивает меня, чтобы я вышел вперед и сказал что положено. Я подхожу к животу владыки и пристально смотрю на расстегнувшуюся пуговицу. Но учитель Пенчо шепчет, чтобы я не глядел на пуговицу, а начинал. И я начинаю. Речь моя не слишком громогласна, потому что владыка перестает благословлять и наклоняется ко мне, чтобы лучше разобрать, чего же я хочу. Говорю я минуты две-три, чувствую, что владыка кладет мне на голову руки: «Во имя отца и сына и святаго духа, аминь», а потом кто-то тянет меня за пальтишко назад. Я вырываюсь и вижу, как живот и пуговица движутся вперед. Испуганно глотаю и перевожу дух. А тем временем владыка идет по пестрой ковровой дорожке к нашей старой церкви, где поп Косьо ждет рукоположения, колокола уже звонят к литургии, и звон разносится по всему селу.

— Чей это был мальчик? — после спросил обо мне владыка.— Здешний ли?

— Здешний, владыко, сирота.

— Успевает ли в науках?

— Весьма, владыко. Способный, только вот средств не имеет, чтобы продолжить учение, так что не знаем, как будет.

— Когда окончит учение, пришлите его ко мне с черешней.

— Благодарствуйте, владыко, обязательно.

И проводили его. Фаэтон владыки покатил по живописной Шемшовской дороге, обрамленной тенистыми лесами и зелеными полянами.

Слово владыки — божье слово. Пришло время — и меня отправили к нему с корзиной ранней черешни. А он уже забыл и обо мне, и о нашем селе. Даже о ковровой дорожке не вспомнил, которую постелили тогда, чтобы он своих башмаков не запылил. Он снова благословил меня и велел слугам вернуть мне пустую корзину. Я узнал позднее, спустя годы, что любил он светскую жизнь и не судил строго грехи простых смертных. До глубокой старости его щеки, как пасхальные яйца, блестели над белой бородой и глаза благосклонно улыбались. И вино, и богомолки, коленопреклоненно целовавшие ему руки,— все, как видно, было близко его сердцу. Такие владыки мне нравились. Позднее я его увидел в Преображенском монастыре изображенным в девятом или восьмом кругу ада, не помню точно, в огне и дыму. Но и там пламень не выжег его веселый дух. Так появилась в моей палитре новая краска. Я уже больше не рисовал аистов и подснежники, забросил альбом на чердак. Появились другие учителя. И другими стали ученики.

Шли годы. Меня приняли в Софийскую семинарию как «стипендиата фонда сирот», заставили молиться богу и вглядываться в самого себя: много ли грехов на моей душе? Я молился и конца края не видел своим грехам. Тогда я спросил преподавателя Ветхого завета:

— Почему Иегова такой жестокий? Он хочет, чтобы только его любили и только ему поклонялись?

— Что ты сказал?

— То, что написано, господин учитель... Нельзя иметь других богов, кроме него, потому что он ревнив и сердит и в твой трудный час отвернется от тебя...

— Да, написано, мой мальчик, и ты должен читать, а не рассуждать. Потому что все в этой книге рассмотрено и растолковано еще в те времена, когда она была написана и дана людям, чтобы ее читали, чтобы учились по ней... Что у нас сегодня по Священному писанию?

— Легенда об Иосифе и его братьях.

— Не легенда, а история Иосифа и его братьев... Читай и дай толкование писанию, сравнив его с греческим и церковнославянским текстом... И не печалься о древних божествах. Ты язычник?

— Язычник.

— Так я и думал. Читай!.. Иосиф же отведен был в Египет. По прошествии двух лет фараону снилось: вот он стоит у реки, и вот вышли из реки семь коров, хороших видом и тучных плотью... Но вот после них вышли из реки семь коров других, худых видом и тощих плотью... И истолковал Иосиф сон фараона, предсказал семь плодородных лет и семь лет голода... Ты что молчишь? Это символ, а не коровы. Видел ты откормленных и худосочных коров?

— Видел, господин учитель.

— Ну вот и хорошо, растолкуй... А потом читай о Моисее в корзинке и о слугах фараоновых... Нравится тебе?

— Река Нил...

— Да, река Нил, корзинка и в корзинке ребеночек, голый, плачет.

— Нет, не плачет. Он плывет в корзинке и молчит.

— В тексте не сказано, что он молчит.

— Да, но он молчит, потому что знает, что дочь фараонова увидит корзинку и велит достать ее из реки Нил. И река Нил не погубит мальчика. Поэтому он и молчит.

— Смотри в текст и не придумывай... Она увидела корзинку среди тростника и послала рабыню свою взять ее. Открыла и увидела младенца, и вот дитя плачет...

— Это очень хорошо!.. Хорошо, что братья Иосифа его не убили, эти дикие пастухи...

— Они не дикие пастухи, а патриархи и служители бога и веры в него, единственного и неповторимого.

— Кто знает...

— Это что такое? Опять сомнения и языческие бунты? Хорошо, хорошо.

Сам не замечая того, учитель раскрывал нам языческую сущность Священного писания и вел нас по пути безбожия. И вместе с искусством этой древней-предревней книги мы усваивали правила бунта и извечного непокорства. Позднее, когда мы провели в семинарии две забастовки и нас, забастовщиков, исключили, мы были самыми лучшими толкователями Ветхого завета... Многие из наших семинаристов стали партизанами, многие попали в тюрьму, как коммунисты-подпольщики, были и такие, что продолжали упорно трудиться на светском поприще. По иронии судьбы служителями культа стали некоторые из тех, кто родились безбожниками и играли в церкви в карты во время богослужения, прыгали через высокую ограду, чтобы купить сигарет и поглазеть на софийских улицах на девушек... Именно они носили трехцветные ленты и вступали в организацию легионеров, шпионили за левыми (по убеждению) и клеветали на них перед властями... Еще там, в том маленьком семинарском мирке, мы разделились на два лагеря, враждовавших между собой. И по мере того, как я рос и мужал, все невыносимее становилось мне пребывание в этих стенах.

Я с нетерпением ожидал каникул — летних, рождественских и пасхальных,— потому что меня звала к себе земля с ее полянами и деревьями. Солнце сияло мне, родники журчали в моих ушах и моем сердце. С первым же поездом я отправлялся в село. Дорогу я знал наизусть. В Горна-Оряховице пересаживался на другой поезд, проезжал Тырново, Дебелец и выходил на своей тихой станции Соколово, с ее липами, чешмой и вьющейся тропинкой, через холмы и поляны приводившей меня к родному, затерянному в лесу селению. С какой радостью встречали меня мама, бабушка, многочисленные мои братья и сестры. Я ведь приезжал из Софии. Привозил им конфеты, а то и рахат-лукум. Угощал их и каких только небылиц не рассказывал о чудесах на белом свете. Известие о моем прибытии моментально разносилось по всему селу. На улице люди приветливо здоровались со мной, спрашивали, что нового в «большой деревне». Я хвастался своей осведомленностью. Они слушали меня с любопытством и даже почтительно. Хитрили они или и сами были детьми вроде меня? А может, то и другое? Я и сейчас не могу объяснить себе их любопытство, их улыбки и внимание ко мне. В самом деле, так ли уж много я знал, чтобы заставить их расспрашивать и часами слушать меня. Их, наверное, забавляли и слова мои, и поза. Как бы то ни было, у меня уже были слушатели, и мы учились друг у друга.

Разумеется, первым на улице меня останавливает учитель Пенчо и спрашивает, верно ли, что этой весной позолотили купола храма Александра Невского. Отвечаю, что позолотили.

— Сколько килограммов золота пошло?

— Самое меньшее десять.

— Не хватит десяти...

— А сколько, по-твоему?

— Самое малое — тридцать пять.

— Это много.

— Совсем немного... Но интересно, где взяли столько золота... Может, в Народном банке?

— В Народном банке,— отвечаю.

— Да, там есть золото в слитках.

— Есть.

— И его расплавили.

— Да.

После этого он меня спрашивает о памятнике царю-освободителю. Прошел слух, будто его окрашивают в белый цвет. Верно ли это?

— Нет,— говорю,— выдумка.

— Так ведь напротив Народное собрание белое, поэтому...

— Оно не белое, а коричневое.

— Коричневое? А раньше вроде было совершенно белым.

— Никогда не было совершенно белым.

— Неужели?

Он задает мне и другие вопросы, говорит, что в 1927 году присутствовал на погребении Стояна Михайловского.

— Великий сатирик, правда ведь?

— Да.

Потом он берет меня за руку и ведет к себе домой, чтобы показать библиотеку, в том числе и сатирические произведения Михайловского, что купил в Софии, когда был на погребении. Я иду за ним и радуюсь, что мы теперь на равных.

В его библиотеке были романы Тургенева, описания путешествий, «Мертвые души» и «Тарас Бульба», пьеса «Иванку, убийца Асеня», «Хождение святой Богородицы по мукам», «Афродита» Пьера Луи и книги Пшибышевского, Тетмайера и Кнута Гамсуна... Я с любопытством листал пожелтевшие страницы, и хотелось мне разом все прочесть. Как старший, он пытался предостеречь меня от соблазнов литературы, но и сам был словно ребенок, недаром крестьяне в насмешку называли его «мальчишкой». Запало мне в память и это прозвище, и запах камфары, которой он часто растирался от простуды.

Его отличали точность, аккуратность. Дома у него все блестело чистотой. На крыше торчал флюгер. На стенах висели картинки: кенгуру, лев, антилопа, негр, чучело коршуна... Была у него и домашняя аптечка, он лечил крестьян йодом и аспирином. Держал он кроликов, кошек, белых кур, собирал минералы и окаменелости, ловил бабочек и жуков и прикалывал их булавками к стенам. Везде — и на дворе и в доме — развесил он стрелки и надписи, чтобы все было ясно: хлев, гумно, свинарник, курятник, крольчатник, кошара, черешня, тополь... В его мирке сосуществовали, не мешая друг другу, чудаковатость и канцелярская аккуратность.

Я любил бывать в этом доме, разглядывать все эти таблички, прислушиваться к голосам книг, беспорядочно собранных здесь.

— Сельский учитель должен знать все,— говорил он мне,— в противном случае плохи его дела. В свое время, когда меня назначали учителем, в попечительстве спросили: «На скрипке умеешь играть?» «Умею»,— говорю. «Тогда сыграй «Донкину». Я сыграл. «Теперь спой». Я спел. «А что-нибудь модное знаешь?» «А что, например,— спросил я,— если я сыграю вам серенаду Тозелли?» «Сыграй, послушаем, мы ее еще не слышали». Я вышел на сцену и поднял смычок. Слушали они, смотрели на мою руку и молчали. Наконец, сказали: «Не сломай смычок, учитель, очень уж усердствуешь». «Ничего,— говорю,— он смазан канифолью».

— И тебя назначили?

— Тозелли победил.

— А потом?

— Да что там рассказывать... Играй, учитель, то, играй, учитель, се... До тех пор пока не узнали однажды, что я голосовал за оппозицию,— ну, и отправили на два года в другое село... А потом, когда вернули, снова экзамен перед попечительством, опять играй да пой... Конца-края нет...

— А какая оппозиция? — спросил я.

— Их две: красная и оранжевая.

— Ты за какую был?

— За оранжевую... бывал и за красную, но реже.

— А я за одну и ту же всегда!

— Знаю тебя. Еще маленьким рисовал красные знамена.

— Да?

— Разве не помнишь?

— Смутно помню.

— А серп и молот на колокольне?

— Нет, это не я. Ты ошибаешься.

— А кто же тогда?

— Не знаю...

— А я думал, что ты, и гордился твоим подвигом, потому что очень трудно взобраться на колокольню... Удивительно, как это ты не упал. Веревкой тебя обвязывали?

— Веревкой.

— И я так думал... А двое тебя держали.

— Именно.

— Кто же?

— Э-э, об этом не спрашивай.

— Ты прав, конспирацию надо соблюдать.

Мы бродили с ним по скошенным лугам и беседовали без конца, будто не виделись годами.

3

Во время летних каникул мужали наши чувства и крепло желание бороться, хотя мы не знали точно, против кого и как это делается. Да и раздвоение наше между истиной и ложью еще не кончилось и, по-видимому, не могло скоро кончиться.

Вечером, когда загорались звезды и мы, усталые, укладывались спать на подметенном гумне, мы долго не могли сомкнуть глаз, потому что и ночи были полны голосов, шедших отовсюду — и из наших сердец тоже. Приходила на ум мысль Канта, которая и сейчас удивляет меня фантастической лаконичностью и необыкновенной силой воображения. Две великие противоположности поражали философа — звездное небо над ним и нравственный закон внутри него... Эти загадки он не мог разгадать. К ним он стремился всю свою жизнь, к ним направлял и наши удивленные взгляды. Вселенная, блещущая как церковный купол над сельским гумном, надолго приковывала к

себе мои мысли, не давала заснуть; меня обдувал и ласкал космический ветер золотых глубин. Приходя в отчаяние от бессилия охватить и понять все, я спрашивал себя — быть может, мир сердца важнее всех других миров, окружающих меня? Или и эти загадки, как отражение огромного космоса в нашем микрокосмосе, так же необъятны и непреодолимы?

Еще до того как взойдет луна и застрекочут в траве кузнечики, на гумне засыпают крестьяне, изнемогающие от усталости после целого дня молотьбы на стародедовских, усаженных кремнями диканях[1]. Какая-то девочка читает молитву: «Отче наш иже еси на небесех, да светится имя твое, да приидет царствие твое...» Почему это должно светиться его имя и прийти его царствие? И почему на земле и на небесах? Не говорится ли тут о тех, кто на гумне улегся на теплую землю и вдыхает в свои сны аромат пшеницы? Какое оно — их царство? Придет ли оно когда-нибудь, как было с другими царствами и государствами?

Девочка сбилась. Ее заставляют снова повторить молитву. Она повторяет, снова останавливается на словах «да приидет царствие твое» и, уставшая, в слезах засыпает.

Повсюду стрекочут кузнечики, мерцают светлячки, ночные жуки ползают по сухой земле, откуда-то, вроде бы с крыши школы, подает голос сова... Царствие божие еще не наступило, молитва еще не выучена до конца, учитель Пенчо еще не завершил свое дело должным образом, попечительство, судя по всему, вызовет его опять на экзамен, и он будет играть серенаду Тозелли...

Я не могу уснуть. В саду кто-то играет на кавале. Звучит мелодия — я ждал, когда же она раздастся, когда постучится в мое сердце. Теперь я знаю, кто в саду. И эта мелодия звучит для меня. В саду — мои друзья, мои сверстники, от которых в эти короткие летние ночи тоже бежит сон. Я иду к ним. Их трое: Цоню с кавалом, Иван Караиванов и еще кто-то, мне незнакомый,— он, согнувшись, сидит в траве. Как я потом узнаю, это слесарь, приехавший из Габрово. Меня приглашают присесть, послушать кавал. Хороша ведь песнь о Мануше-воеводе?

— Хороша.

— Печальная.

— Героическая,— замечает слесарь из Габрово и глуховатым голосом начинает нам объяснять, как надо писать призывы и в каких местах села: в первую очередь на зданиях общины и потребительской кооперации.

— Броско и красиво надо написать,— говорит слесарь,— и без всяких там выкрутасов. Долой войну! Да здравствует мир!

— Художественно изобразить! — добавляю я.

— Именно!

— Синей краской? — спрашивает Иван.

— Синей. Но по-умному, чтобы почерк не узнали.

— Попробуем печатными буквами.

— Обязательно. И еще, работаете ли вы над рефератом? Тема вам дана: «Религия — опиум для народа», остается только ее разработать. Что думает комсомол по этому поводу?

— Думает,— отвечает Цоню.

— Не слишком ли медлите? Не остались ли портные и сапожники вне сферы вашего влияния?

— Остались.

— И что же?

Мы составляем план. Даем обещания.

Потом долго, до рассвета гуляем, провожаем слесаря до дряновских виноградников и все говорим, говорим.

Для меня слесарь из Габрово был загадкой. Ничего больше о нем мне не было известно. Лишь спустя много лет, когда мы уже не боялись арестов и побоев, я узнал его имя. Его звали Никола Маринов, он был родом из села Враниловцы, Габровской околии, участвовал в гражданской войне в Испании, находился в концлагерях во Франции, вернулся в Болгарию, писал книги для детей, его приняли в Союз писателей. Я часто видел его, постаревшего, тихого, скромного, стоящего на трибуне и говорящего так, словно он читает инструкцию: «Потому что, видите ли, товарищи, мы не можем отказываться от своих обязанностей и просто отбрасывать их... Если партия сказала, значит, сказала, и нет пути назад, как полагают некоторые...» Голос его по-прежнему был глуховат, говорил он с достоинством, безапелляционно, как когда-то в нашем саду, когда учил нас писать первые антивоенные призывы.

Возвращаемся на рассвете. Со стороны Тырнова светлеет горизонт. Пока еще прохладно и не взошло солнце, крестьяне начинают работу. Уже шумят дикани. Лениво мелькают палки. Жаркий день наступает во всем своем великолепии. Наступают жаркие дни и для нас, и длятся они до сих пор, и будет так, как предсказывали нам звезды, до конца нашей жизни.

У нас в селе рабочий класс составляли портные и два сапожника. Они пролетарии, они же работодатели — у них были подмастерья и ученики, которых они учили

---

[1] Диканя — примитивное приспособление для молотьбы: сколоченные доски, усеянные острыми кремнями.

ремеслу. Не чурались они и иных путей заработать пару лишних левов. Летом, например, торговали в розницу арбузами и дынями. И вот вечерами, когда спадала жара, мы отправлялись в их мастерские поговорить и поесть арбузов. Мы следили за развитием событий в Испании, читали газеты и стихи Ботева. Сбрасывали министров и старост. Мечтали о библиотеке и потребительской кооперации... И рождалось то, что позднее нашло место в моем романе «Живые помнят».

Таким вот образом наша жизнь — полная добрых намерений, человечности, разнообразия и взыскательности друг к другу, требования быть верными, верными до гроба — становилась частицей жизни всего народа! Я постигал это каждый день и каждый час, встречаясь с крестьянами, сапожниками и портными, школьниками и студентами, проводившими летние каникулы в деревне. Такими были мы все до единого! И неудивительно, что такой была и наша судьба. Цоню Кавал стал партизаном и совершил много подвигов. Караиванов попал в Тырновскую тюрьму. Там он познакомился с поэтом Христо Козлевым из Долна-Оряховицы, писал стихи и читал заключенным «Гайдук Сидер и Черный Арап». В той же тюрьме ожидали приговора братья писателя Марко Марчевского, туда был заключен мой брат Кыню, после того как была раскрыта подпольная организация на вагоноремонтном заводе в Дряново. И многие другие парни нашего края, вскормленные вначале песней о Мануше-воеводе, потом стихами Ботева и Смирненского, других поэтов и писателей, ораторов, агитаторов и подпольщиков...

Я не пишу хронику тех лет. Не листаю страницы мемуаров. Да и не намеревался делать это. У меня другое желание — найти разрозненные звуки, заблудившиеся в хаосе прожитых лет, приблизить их к гармонии той мелодии, которая определяет смысл и содержание моей жизни, придает цвет и аромат моим мыслям и чувствам, определяет источники страданий и вкусов, учит любить и ненавидеть, чтобы жить во имя вечного обновления мира, который никогда не был совершенным, таким, каким мы его себе представляли.

Смогу ли я когда-нибудь забыть пробудившихся птиц в долине Янтры? В этом музыкальном хаосе я хочу найти мелодию воспоминаний и знаю, что буду счастлив, пока существуют восходы и закаты и птицы, поющие на рассвете.

Телега, полная зерна, тихонько скрипит. Волы тянут ее по проселку. На дворе старой мельницы мельники едят жареную рыбу и ждут нас. Но не только рыба и лепешки нужны человеку, он нуждается в общении с другими людьми. Им нужны и рассветы. Им нужна и утренняя звезда, что вместе с месяцем повисла над Синим омутом.

— Сумах уже расцвел.
— Расцвел.
— Полотно на реке отбелили.
— Надо его покрасить.
— Лучше всего красят ореховые листья.
— И сумах тоже.
— Давай подгони волов, а то уже поздно.
— Ты слышишь кузнечиков?
— Слышу.
— Где они прячутся?
— В траве.
— Поди найди.

Так в годы моей нетерпеливой молодости рождались лирические порывы и где-то вдали маячил замысел романа «Живые помнят», связывающий меня с этой землей и этими людьми.

4

И вот я опять бреду в поисках будущего по улицам Софии. В жизни моей произошли большие перемены. Я вышел из тюрьмы и женился, как-то даже неожиданно. Теперь я каждый день постигал науку домашней бухгалтерии — хватит ли денег до конца месяца. Моя жена мечтала об артистической карьере, но вынуждена была работать стенографисткой-машинисткой в министерстве железных дорог. Меня объявили «интеллигентом-безработным», и я, пытаясь где-нибудь устроиться, мотался по городу.

Любовь моя витала между тюрьмой и голодом, а книги отошли на задний план, потому что в двери уже стучалась война. Вслед за отцами мы должны были встретить ее во второй раз и ждали с известным безразличием.

Тем временем Гитлер произносил по радио речи, пугал мир угрозами о тысячелетнем рейхе. Было страшно заглядывать вперед и страшно оглядываться назад. Только и слышишь, бывало, трубы да марши... и речи о жизненном пространстве, словно бы не оставалось уже земли для людей. Мы все считали дни бедствия, надеясь на то, что скоро ему придет конец. Но когда он наступит? Иногда мы собирались в кафе «Средец», что возле Народного театра, и там, уставившись в пустые стаканы, комментировали события.

Кружок имени Христо Смирненского еще существовал, но для того момента это не представлялось самым важным. Я писал рассказы, вышедшие в 1941 году под многозначительным заголовком «Годы, которые уходят». Цензор у меня спросил:

— Не намекаешь ли ты на конец фашистского строя?

Я ответил:

— Нет. Большинство рассказов напечатано в «Газете для женщин». Следовательно, спокойно можете печатать.

— Хорошо. Я разрешу, но если последуют неприятности, ты будешь отвечать.

— Буду.

Почему бы не ответить? У меня, пролетария, давно уж не осталось ничего, кроме «цепей». Я взял дозволенные цензором гранки и отправился в «Средец» похвастаться, что скоро выйдет моя книга. А там было полно и агентов и подпольщиков. Мы отлично знали, кто что собой представляет. Там играли в карты и писали еретические стихи и рассказы мои друзья — Богомил Райнов, Павел Вежинов, Челкаш и Христо Руменов. Сюда приходил и молчаливый Никола Вапцаров с Антоном Поповым. Появлялся и крупный, красивый Атанас Романов, которого мы называли между собой Романом. Его позднее расстреляли — и его, и Вапцарова, и Попова в зловещем туннеле стрельбища Школы офицеров запаса. И когда их не стало, в нашей жизни что-то померкло. Тут бывали и писатели старшего поколения: златозубый Жак Натан, Марко Марчевский с его слуховым аппаратом... Приходили и Никола Ланков, Ангел Тодоров, Младен Исаев, Ламар. В раздумье сиживал здесь и Гьончо Белев, всегда за одним и тем же столиком, возле окна, с чашечкой кофе и пачкой сигарет, которые он то бросал, то снова принимался курить. Он с любопытством смотрел на нас сквозь толстые роговые очки и нетерпеливо ждал, не скажем ли мы что-нибудь об его только что вышедшем романе «Случаи из жизни Минко Минина». Гьончо не спеша пил свой кофе. Он был полон политических новостей, потому что поддерживал связи с разными бывшими государственными величинами и руководителями оппозиционных партий. Гьончо предрекал скорое низвержение фашизма. А фашизм, будь он неладен, не низвергался! Не исчезал! Не умирал! Наоборот, нам же преподносил новость за новостью — вот растоптал Судетскую область, вот оторвал Данцигский коридор, вот добился аншлюса в Австрии.

Я вспоминаю, что когда фашисты напали на Францию и задавили ее за 40 дней, мы спросили старого адвоката Стойно Стойнова, каково его мнение на этот счет. Был он небольшого роста, длиннобородый и шествовал по улицам Софии словно второразрядный патриарх. Обо всем у него было свое особое мнение. И никому он не давал спуску.

— Что я могу сказать... Немцы уже сказали.

— А пролетариат?.. Мировой пролетариат?

— Мировой пролетариат пока что на полях сражений, а что произойдет в дальнейшем, увидим, надо ждать...

Гьончо печально пил свой кофе. Молодежь играла в карты и вздыхала. Агенты прислушивались, наблюдали за нами. Бай Туше варил кофе и учтиво нас приветствовал. Мы постепенно стали исчезать с горизонта кафе «Средец». Куда-то исчез Вапцаров. Наша последняя встреча произошла на квартире, где собрался филиал литературного кружка и я должен был выступить с докладом о социалистическом реализме.

Редела клиентура кафе «Средец» — одних интернировали, другие ушли в подполье, третьих мобилизовали в армию для службы на границе. Получили повестки на сорокадневные военные сборы Павел Вежинов и Иван Мартинов. Я боялся, что и мне принесут повестку. В это время я познакомился с Эмилияном Станевым — гордым, с офицерской выправкой, резким в оценках писателей и политики. Он встретил меня как-то на Алабинской улице и сказал, что прочел мой рассказ в «Газете для женщин» — есть поэтическая жилка, самое главное ее не упустить!

— Гамма найдена. Мелодия правильная. Будь внимателен!

Смутившись, я даже поперхнулся от удовольствия. Не посмел произнести ни слова: а вдруг я его рассержу и услышу что-нибудь плохое, потому что он был весьма строптив. Но он продолжал:

— Ты из какого края?

— Из Тырновского.

— Оно и видно. Сразу можно узнать. Из какого села?

Я сказал. Он про такое не слышал, но припомнил нечто похожее и сразу стал называть меня «земляком».

— Хорошо, хорошо... Держи в руках нить и не выпускай... Наш край не был посрамлен... и не будет посрамлен!

Он смотрел на меня сквозь золотые очки и улыбался своей тонкой улыбкой, которая и до сих пор украшает одухотворенное лицо писателя, неповторимого в нашей литературе.

После разговора с Эмилияном, поощренный и обрадованный его добрыми словами, я начал еще внимательнее подходить к своим писаниям, вытягивать «поэтическую жилку», как только она начинала звучать в глубине моего сердца. У меня вошло в привычку не начинать работу над рассказом, пока не найду гамму, пока не услышу мелодию в первых словах, в первых фразах. Все стало получаться правдивее, жизненней. Хоть еще и не полностью уверенный в себе, я шел уже по путям искусства с открытыми глазами и не мог наглядеться на раскрывшийся передо мной мир, принадлежавший и мне, и другим — всем, кто стремился к «прекрасно сказанному слову».

Обыкновенный, случайный разговор на Алабинской улице имел в моей жизни большее значение, чем кипы университетских книг и учебников.

События тем временем развивались с головокружительной быстротой. Для поэзии не оставалось времени. В 1938 году я стал членом партии, меня включили в писательскую группу, где секретарем партийной организации был Никола Ланков. На меня возложили ответственность за работу кружка имени Христо Смирненского. Накануне войны наша партийная писательская группа была распущена и большинство из нас вошло в рабочие квартальные организации. Я попал в среду портных, сапожников и разнорабочих. Счастлив был, что меня зачислили в группу Славчо Радомирского, которого знал еще по тюрьме. Встречи наши проходили в портняжных мастерских и лавчонках в центре города или где-нибудь на окраине. В какой-нибудь кухне, чердачной комнатушке, холодном, полутемном подвале, называемом сутереном, или подземным этажом. Шли туда мы осторожно, в дождливые или ночные часы, называли пароли, обменивались знаками, подавали сигналы, которые были известны только нам, бесследно исчезали. Тайные заседания, призывы, лозунги на стенах, марки от организации по оказанию помощи, привлечение новых кадров...

5

Тем временем меня мобилизовали. Я получил повестку: явиться шестого февраля 1941 года в казарму 41-го пехотного полка. Я спросил у ответственных по партийной линии лиц, надо ли мне являться или нет, сказали — надо. Со стесненным сердцем я отправился в казарму. Я никогда не любил запаха сапог и пронафталиненной солдатской одежды. Снова пережил я унижение, испытанное когда-то в Тырновских казармах. Правда, сейчас нас называли старыми солдатами, запасниками, и обходились с нами с фельдфебельским снисхождением. О большинстве из нас располагали сведениями, знали, что мы за птицы, и держали под наблюдением. Нас одели в поношенную одежду, дали по ружью, снабдили холостыми патронами, сунули в руки по ранцу с алюминиевой кружкой и ложкой, положили туда и «боевые запасы» — портянки и белье, бинты, смазку и тряпки для чистки оружия... И труба затрубила — вперед, к турецкой границе!

Никто не говорил, сохраняя военную тайну, ни куда мы отправляемся, ни что нас ждет, хотя мы догадывались и вслух комментировали — «солдатский телеграф» работал в полную силу. В вагонах для скота мы двигались к южной границе. Быстро перезнакомились, и ехать нам было весело. Здесь, по дороге в Свиленград, я присутствовал при импровизированном «творческом процессе», понял, как создаются народные песни. Запасники, распив домашнюю ракию, с усердием принялись сочинять песню: «Ах, смотри на меня, ах, смотри на меня, моя первая любовь». Заводилой выступал цыган Рамадан, позднее ставший барабанщиком нашей роты. Нас обуял сентиментальный трагизм — мы были почти пьяны, и хорошо, что не было боевых патронов, не то бы палили из поезда. Наша песня огласила всю Фракийскую равнину!

В Свиленграде нас разместили в училище. Помню — было солнечно, тепло и цвел миндаль. Жужжали пчелы, из земли уже проглядывали тюльпаны и гиацинты. Аисты разгуливали по берегам Марицы и болотистым лугам. Где-то в синей глубине неба пролетали самолеты, нарушая весеннюю идиллию. Но времени для поэтических мечтаний не оставалось, как ни привлекательна была весна с солнцем и белыми аистами. Солдатские ранцы и подкованные сапоги, которые мы мазали каждый день вонючей ваксой, прижимали нас к земле, отравляли радость видеть солнце и слушать пение перелетных птиц, вивших уже гнезда на деревьях и под стрехами. Мы поднимались и ложились со звуками военной трубы. Пели и маршировали по команде. В определенные часы стирали одежду и пришивали пуговицы. А рано утром, позавтракав и подпоясавшись, с «полной боевой выкладкой», во главе с ротным командиром и барабанщиком Рамаданом отправлялись за город на учения. Ротный — растолстевший банковский чиновник, тоже из запаса — восседал на коне, а мы, построенные повзводно в колонну по три, шагали за ним и молча поправляли на спинах ранцы. Молодецки бил барабан, мы вышагивали широким, строевым шагом. Как только выходили из города, командир подавал команду «вольно». Рамадан переставал бить в барабан, мы расстегивали воротники. На широкой, ровной поляне начиналось обучение: «Боец, смирно!.. Боец, вольно!.. Удар вперед, удар назад, удар в сторону!.. Встать, присесть, лечь!.. Разобрать ружье... собрать ружье... Смирно!.. Вольно!..» И т. д., и т. д., и т. д.

В те дни 1941 года, когда ефрейторские речи Адольфа Гитлера и германские фанфары гремели от Атлантического побережья до Балкан, трудно было сохранить спокойствие и душевное равновесие. Мы спрашивали себя: как далеко зайдет все это, скоро ли загрохочут пушки и на нашей границе? Никто не говорил, на какое время мы призваны и сколько простоим в этом южном городке, известном своим шелком и тутовыми садами. Вечерами мы слышали доносившееся откуда-то уханье совы, и нас охватывали суеверные страхи. Кто-то из шопов [1] хотел убить ее камнем, но не нашел. Портной Табанджов, черный как цыган, с большими смеющимися глазами и громовым

[1] Шопы — крестьяне, жители Западной Болгарии.

голосом, самый большой оптимист среди нас (мы с ним сошлись еще в первые дни военной службы), пугал софийских шопов, имитируя по ночам крик совы и хлопанье крыльев. Он сразу сказал, что мы должны проститься с «цивилизацией» и не думать о возвращении.

— Все кончено,— говорил он.— Уляжемся в каком-нибудь рве среди камней Дервиш-холма...

— Самое позднее на пасху будем дома,— возражали ему.

— Когда рак на горе свистнет.

— Увидишь...

— Увидим... На днях я буду на аудиенции у его величества, так что решим вопрос о демобилизации... Только вот эта проклятая сова, что забралась в трубу и не вылезает...

Через несколько дней нас подняли по тревоге и перевели на новые позиции. С ружьями, ранцами, шанцевым инструментом и скатанными одеялами мы оказались в селе Пестрогор, возле самой границы. Мы смотрели с холмов на Фракийскую равнину, спускавшуюся к Эгейскому морю. Где-то во мгле таился Одрин со знаменитой мечетью Султана Селима, но мы, полные дурных предчувствий, не видели ни Одрина, ни мечети. Здесь, на этой равнине, некогда бились наши отцы и деды, мчались по болотистым лугам, бросались в бой за родину-мать, до хрипоты и кровавой пены в горле, до последнего дыхания кричали «ура». И слава их оружия гремела от Одрина и Люлебургаза до Силиврии и Чаталджи. Многие из них не вернулись, и осталась о них лишь добрая память, а сейчас мы шли, чтобы принять их муки, разделить их судьбу, известную нам еще из рассказов Йовкова и по воспоминаниям старых воинов, шутивших иногда:

— Держись, земля, шоп по тебе идет!

Сейчас шоп снова встал с ружьем на этой земле, напоенной кровью поколений, и спрашивал: зачем я здесь, что ищу на этих холмах?

Однажды, в дождливый день, только что сходив в атаку на «вражеские позиции», в касках и промокших от дождя куртках и бриджах, мы стояли на холме и слушали разбор учения, который делал наш ротный командир. Дождь не переставал, а ротный упрекал нас в том, что мы атаковали не так, как нужно, неумело использовали артиллерийскую подготовку. Фактически мы были полностью уничтожены «противником». Мы слушали упреки, едва держась на ногах. Ветер швырял нам в лицо дождевые струи, потом и снег повалил — стало совсем невыносимо. Тем временем на черном коне, в прорезиненном плаще, в очках и каске прибыл батальонный командир. Он оглядел нас с высоты своего коня, два раза объехал выстроенное каре, полюбовался нашим жалким видом и поздоровался:

— Здравствуйте, герои!

— Здравия желаем, господин майор!

— Отлично!

— Рады стараться, господин майор!

— Герои, с командного пункта я наблюдал за вашей атакой и остался очень доволен!.. Вы неслись, как драконы, вслед отступающему врагу, и ваши сверкающие штыки упирались ему в спину!.. Так и надо, герои, мчаться вперед, только вперед!.. Видите вы долину перед вами?..

Он протянул руку (настоящий Бонапарт!) к Тракийской равнине и взвизгнул:

— Эта равнина, герои, должна покрыться вражескими трупами и — ни шагу назад! Ни шагу! Наши союзники-немцы нам показывают пример, и мы должны ему следовать!.. И следуем!.. Так ведь, герои?

— Так точно, господин майор!

— Умрем все до одного, но не остановимся!

— Так точно, господин майор!..

— И с песней на устах, в дождь, в снег и бурю!.. Так? Запевай, герой!.. Споем «Все мы — храбрые вояки!».

— Рота-а, смирно!.. Запевай!.. Раз-два!.. «Все мы... Все мы...»

Все мы — храбрые вояки!..

И усталые, голодные, исхлестанные дождем, маршируя по грязи, мы вместе с майором и ротным командиром пели, разнося боевую славу болгарского солдата.

...Мы рыли окопы на холмах, ели фасолевую похлебку, морили вшей в паровой машине, напоминающей локомотив Стефенсона, вечерами валились от усталости на соломенные тюфяки, накрывшись ветхими одеялами. Кошмары не оставляли нас в покое ни на секунду. Меня угнетало все: и утренний подъем по сигналу трубы, и строевая подготовка, и всегда одна и та же похлебка. Я ненавидел обезличку, пренебрежение, тупость.

Единственное, что меня тогда успокаивало, были облака и небо. И земля подо мной. Облака плыли со стороны моря к Стара-Планине — похожие то на овечьи стада, белые и серые, то на разбросанные куски шелка и фантастические существа. Я любил синие, зеленые и лиловые краски закатов. Был конец февраля, начало марта. Я записывал в тетрадку весенние впечатления — краткие, точные. Хотел зафиксировать цвет

предметов, окружавших меня, и блеск Марицы, разлившейся по долине, полноводной и прекрасной, добиться физического ощущения слова и фразы. Но законы простоты не давались мне — слово опережало чувство и пыталось объяснить его не так, как бы следовало, звало себе на помощь примеры из литературы. А литература и природа постоянно сталкивались. Воображение и натура не уживались друг с другом. Вот я записываю в тетрадку: «Река блестит в долине и извивается»...

— А как извивается река?

И несчастный вспоминает:

— Как змея...

Другой добавляет:

— Как серебряная лента...

И оба этих несчастных пишут: «Река блестит и спешит к морю, потому что море огромно...»

...А не «море смеялось»! Точное слово рождается от точного чувства, как родились слова: хлеб, вода, солнце, дорога, трава, небо, облака. Я торчал в окопах, вдыхал запах земли и повторял любимые слова. Природа занимала меня постоянно — смогу ли я вместить ее в мир своего воображения или я еще далек от истины?

6

В один прекрасный день прибыл новый командир роты, из кадровых, и муки наши усилились. Он был молод, красив, строен, патриот. По глазам было видно, что старательный. Три раза заставил нас промаршировать, прежде чем скомандовал «вольно».

Я сразу его узнал: мы вместе учились в семинарии. Вспомнил, как он каждое утро делал на дворе гимнастику. Видно, уже тогда готовился в военное училище и поэтому так тщательно закалялся. Однажды он прочел реферат о Льве Толстом, чем вызвал мою симпатию, но я быстро разочаровался, увидав у него блестящий значок легионеров и трехцветный флажок на куртке. Я сказал себе: «Надо быть осторожнее, видно, и Льва Толстого ты послал ко всем чертям».

И вот теперь он офицер, поручик, командир роты! Какая неожиданность! И притом неприятная!

Несколько дней я старался не попадаться ему на глаза, но долго это не могло продолжаться — каждое утро он осматривал наш строй, проверяя «выправку», так что спасения не было. Однажды он все-таки заметил меня, от неожиданности даже остановился, но потом, не сказав ни слова, продолжал проверять построение роты. Закончив проверку, скомандовал «вольно» и позвал взводных командиров к себе на совещание. Некоторое время они совещались, затем снова раздалась команда «смирно», и нас погнали на очередное занятие. Вечером он послал за мной. Строевым шагом я вошел к нему в палатку и в соответствии с уставом попросил разрешения остаться. Он разрешил, заметив, что рапортовать надо громче, потом спросил:

— Ты не болен? Что-то у тебя с голосом, очень глухой.

— Нет,— ответил я,— у меня всегда такой голос.

— В армии надо кричать. Это имеет большое значение. Во-первых, свидетельствует о преданности солдата воинскому долгу и, во-вторых, показывает его готовность безропотно выполнить приказ, если потребуется — умереть.

— Да, конечно,— ответил я.

— Так не говорят. Надо ясно и отрывисто: «Так точно, господин поручик!» — и ничего больше. Садись.

Я сел и незаметно вздохнул. Он развернул список роты, спросил, умею ли я красиво писать.

— Никак нет, господин поручик, почерк у меня неразборчивый. Иногда сам не могу прочитать.

— Жаль. А не знаешь ли кого-нибудь из запаса, образованного, кто умеет красиво писать и, конечно, настоящий патриот?

— Здесь все патриоты, но образованных нет.

— Жаль.

— Так точно, господин поручик.

— Точно, да не так уж точно! — Он рассматривал список, читая про себя фамилии солдат, но они ничего ему не говорили. Потом он бросил список на стол, наступило неловкое молчание. Тогда я осмелился спросить, помнит ли он о своем реферате о Льве Толстом.

— Лев Толстой — жалкий пацифист. Я признаю только «Севастопольские рассказы» и больше ничего.

Я извинился, что задал такой неуместный вопрос, а он ответил с кислой миной:

— В армии говорят не «извините», а «виноват» и «буду стараться». Видно, вы с трудом привыкаете к новым порядкам.

— Вы правы.

— Не правы, а «так точно, господин поручик»!

Я встал по стойке «смирно», козырнул и отчеканил:

— Господин поручик, разрешите идти?

Он молча смотрел на меня. Я же стоял и не знал, что делать. Повторил: «Гстин поручик...» Он продолжал разглядывать меня. Я еще раз повторил, и только тогда он разрешил мне идти. Я повернулся кругом, споткнулся, а выходя, еще и толкнул стул. Один бог знает, каких только гадостей он про меня не подумал.

Писарем в роте стал сын попа Благосвет, окончивший столярное училище, большой патриот и хороший певец. Я все больше погружался в будничные дела и старался быть незамеченным. Бегал по холмам с криком «ура», разливал похлебку, мыл баки, пришивал оторванные пуговицы, вечером и утром начищал сапоги... И как мертвый засыпал до побудки.

1941 год был страшным. Таким он мне запомнился и таким остался в моем сознании — появились бронированные дивизии «голубоглазых рыцарей» и их воздушные эскадрильи. Сначала все походило на парад. Софийские дамы не находили слов для выражения восторга. Учили немецкий язык и приглашали немецких офицеров обедать. Знакомили их со своими дочерьми и проливали слезы умиления перед их молниеносными походами: разбили Францию, уничтожили Югославию, покорили Грецию, вышли на берег Адриатики! Таких молниеносных войн еще никто не знал.

Появились и первые тревожные сигналы: карточки на хлеб, мясо... исчезла колбаса и жиры. Возник черный рынок. Вскоре появятся и желтые еврейские звезды.

Я не видел парадного марша немцев на софийских улицах. Но здесь, на границе, я почувствовал слишком хорошо, что значит их прибытие в Болгарию. Мы еще стояли в Пестрогоре, рыли окопы. Небо было ясным, глубоким, синим. Вдруг со стороны старой границы появились эскадрильи, которые с треском и громом летели на юг, к Адриатике. Мы онемели от изумления. Они шли эшелонами. Потом нам сказали, что Греция пала — два мотоциклиста въехали в Афины и взяли город! Даже скептически настроенный шоп восхищенно цокал языком. Два мотоциклиста!

— Вот тебе на! А мы тут все роем! Двоих хватит на весь Царьград!

Побросав инструменты, мы уселись на бруствере и заговорили о политике. В этот день мы перекроили государства и фронты. Война наступала с методической точностью, как и предусмотрено в уставах, возврата не было. Каждый день по софийскому радио гремели фанфары. Каждый день Гитлер обещал тысячу лет немецкому рейху, к которому относились и болгары, поддерживающие немцев. Как мне хотелось разодрать их газеты, разбить их радиоприемники!

В этот «медовый месяц» все посходили с ума. Ротный закрутил роман с женой трактирщика. Перебрался к ним, и дело пошло на лад. Утром нас выстраивали на площадке перед домиком — самым красивым в селе, с виноградником и синими наличниками, покрашенными в честь ротного. Рамадан бил в барабан, мы маршировали на месте и пели «Все мы — храбрые вояки». А ротный в это время завтракал у себя в комнате свежим молоком и наслаждался нашим пением. Ему прислуживала молодая трактирщица «с развитым телосложением». А Рамадан бил в барабан. Мы отбивали такт, пели и поглядывали на окошко с синими наличниками. Занавески были задернуты. Ротный еще завтракал. Рамадан молодцевато покрикивал:

— Ну-ка поддай... Еще... В такт!

И мы «поддавали», нам было весело.

В конце концов поручик появляется, сытый и довольный. Проходит перед строем, проверяя «нашу выправку», здоровается:

— Здравствуйте, герои!

— Здравия желаем, господин поручик!

— Отлично!

— Рады стараться, господин поручик!

Никогда не отвечали мы ему так дружно. Он стоит перед нами и улыбается. Тогда Рамадан решается шепнуть ему:

— Господин поручик, вы забыли запереть трактир.

Он краснеет, но не теряет самообладание:

— Рота-а, смирно!

Мы цепенеем.

— Круго-ом!

Мы поворачиваемся к нему спиной. После того как он опять командует «кругом», все оказывается в полном порядке. А в это время командиры взводов один за другим рапортуют, что происшествий в роте нет. Потом поручик произносит краткую речь об Объединенной Болгарии. На днях фюрер выступит с большой речью по радио, мы ее будем внимательно слушать. Наша задача быть наготове! Крови от нас сейчас не требуют. Но нужно быть наготове. Потому что создается новая карта Болгарии.

После этого он садится на коня и ведет нас на занятия за околицу села. Из окошка с синими наличниками выглядывает красавица, улыбается ему, Рамадан изо всех сил лупит по барабану.

Было весело и забавно, пока в один прекрасный день труба не проиграла «тревогу» и мы не потащились за сто километров от Пестрогора в село Пять Холмов, кажется, Ямболской околии. Там у нас появился новый ротный, какой-то неврастеник, мы тут же прозвали его «маршалом». Наша жизнь запасников стала скучнее. Прихо-

дили письма от близких с квадратными печатями военной цензуры, и не было никакой надежды на демобилизацию. Шопы все спрашивали в своих письмах: посеяли ли кукурузу, учатся ли дети, отелилась ли корова, продали ли осла?

А иллюзии о фашистской Болгарии росли. Каких только планов не строили лавочники! С головоломной быстротой торговцы и мясники становились миллионерами и «вождями народа». Слова подешевели, а хлеб подорожал. С трудом можно было достать кусок брынзы или сахар, чашку оливкового масла. А мы все стояли на границе и ждали освобождения из солдатской неволи. Все спрашивали друг друга:

— Не конец ли?

И не подозревали, что это было только начало.

7

Подошло лето. В июне я получил отпуск. Весь я был пропитан запахом фракийского чернозема и обожжен солнцем. При встречах друзья не узнавали меня — так я был продублен ветром и худ, только зубы и глаза блестели. Штатский костюм висел на мне как на вешалке, приходилось туже затягивать пояс, чтоб не свалились брюки. Слава богу, были и другие запасники, вроде меня,— так что мое появление среди литературных собратьев не произвело особого впечатления. Раза два я заглянул в «Средец». Виделся с Павлом, Богомилом, Челкашем... И та, прошлая жизнь казалась мне далекой по сравнению с пережитым среди пестрогорских холмов и в солдатских палатках. Сожалений у меня не было. Пришли другие времена. Иные явления происходили и в литературе, вернее, в том, что от нее осталось. Выходила газета «Литературен критик». Из Варны доносился ломающийся голос поэта Божидара Божилова. Других интересных новостей не было, если не считать, что из-за отсутствия литературных газет (запрещенных цензурой) «Заря» стала прибежищем прогрессивных писателей. Там подвизались мои друзья из кружка имени Христо Смирненского. Некоторым из них Тодор Павлов уже посвятил положительные статьи: Арманду Баруху, Ивану Бурину, Венко Марковскому. Наша очередь еще не подошла, да мы и не лезли вперед, потому что в нашей жизни литература отступила на задний план.

Нас тревожили успехи немцев. Утешение мы находили только в шопской поговорке: «Нехорошо, когда чересчур хорошо». И ждали, что будет дальше, куда еще двинутся их мотоциклы. Ходили слухи, что с Адриатики они направляются к Дунаю.

— Что они потеряли на Дунае? — озадаченно вопрошал дуайен кафе «Средец» бай Гьончо Белев, вопросительно посматривая на нас.

— Перегруппировка сил, бай Гьончо.

— Куда ж тогда идут эти войска? Почему движутся на север? И что по этому поводу думает Советский Союз?..

Утром в воскресенье 22 июня 1941 года радио сообщило, что Германия напала на Советский Союз. Коммюнике было кратким и категоричным. Сомнений больше не было. Германия напала на Советский Союз!..

Начиналась новая страница нашей жизни. Действительно новая. Литература отошла еще дальше, хотя именно 22 июня в газете «Заря» появилась рецензия Веселина Андреева (тогда Георгиева) на мои рассказы «Годы, которые уходят». В то время это прозвучало очень хорошо, дерзко и в известном смысле вызывающе: «годы, которые уходят»! Вспомнились слова цензора:

— Уж не намекаешь ли ты на конец фашистского строя?

— Нет, господин начальник... Обычное заглавие. Взято из народной песни, которую пела моя мать, работая в поле.

— Так ли?

— Именно так. Если хотите, я вам ее спою.

— Нет, не нужно.

— Разрешите тогда продекламировать.

— Нет, не нужно.

— Прошу вас, послушайте:

Годы, годы, трудные годы!
Рядом вы шли или только ко мне?
Если шли рядом — милости просим!
Ко мне подобрались — сгорите в огне!

Конечно, такого разговора с цензором не было, да и быть не могло, ведь эти люди не терпели, чтоб с ними спорили. Они во всем усматривали попытку перехитрить себя, поскольку кое-что слышали об эзоповском языке и еще о кое-каких вещах. И все же бай Кристо Станчев, главный редактор «Зари», решился поместить на видном месте в своей газете это заглавие: «Годы, которые уходят» — неизвестного автора, из еще менее известной ему книги рассказов, которые вряд ли кого-нибудь интересовали.

Все это отшумело. Может быть, и Веселин Андреев не помнит о своей рецензии. И книга забыта. Только заглавие ее осталось в шумном, захватившем нас водовороте.

Война на Восточном фронте перевернула жизнь каждого из нас. И здесь, в Болгарии, начались первые операции, которые всколыхнули дремавшую совесть: подожженные склады, поднятые в воздух нефтяные предприятия, убитый генерал, расстрелянный директор полиции, подпольщики в Софии, раскрытый военный заговор... Ботушев осужден на смерть. Эмил Манов, наш товарищ по кружку имени Христо Смирненского, замешан в том же процессе, и ему угрожает смертный приговор... Леон Таджер, тоже из нашего кружка, подпалил нефтезавод в Русе и погиб так, как мечтал погибнуть,— с поднятой головой, презирая смерть и врагов.

Я жил на улице Дунай у родителей Виски. Это были скромные и тихие люди, но на них нацепили желтые еврейские звезды и выслали куда-то во Врачанский край. В 1942 году, в августе, у нас родилась дочь. Из любви к России мы назвали ее Лидией. Священник церкви святой Софии, где мы ее крестили, несколько раз спрашивал, почему именно Лидия. Я ответил:

— В календаре есть святая Лидия.

— Не припоминаю. Есть такая страна Лидия, о ней говорится в «Деяниях апостольских».

— Так точно.

— Тогда можно окрестить ее Лидией, хотя в списке Священного синода этого имени нет.

— Ничего, батюшка, добавьте его в список, и все будет в порядке.

— Воля ваша, хоть я и рискую.

— Покажите им «Деяния апостольские»...

Нет, нелегко было слушать крики онемечившегося радио, смотреть киножурнал об озверевших захватчиках в русских степях. Мы уходили в тень и с упорством делали свое дело.

Каждое утро, в пять и семь часов, я слушал передовицу «Правды» и сводку о положении на фронте. Потом встречался с Бенадовым в библиотеке на улице Леге и передавал ему новости. Это была настолько обычная вещь, что, казалось, опасаться нечего. Но однажды соседи попросили не будить их так рано:

— Не стоит. Ведь и у нас есть приемник!

Я еще раз убедился, что и у стен есть уши!.. Переставил радиоприемник в другое место и стал пускать его как можно тише.

В это время участились облавы. Обычно их устраивали по утрам. На опустевших улицах цокали конские копыта. Полицейские собирались группами на перекрестках. Агенты заглядывали во все углы. А какие-то специальные группы до зубов вооруженных людей ходили по домам, устраивали обыски, перевертывали вверх дном комнаты, подвалы, чердаки, что-то искали, кричали, ругались, грозили. Длилось это, как правило, весь день. Издалека доносились выстрелы. Патрульные возбужденно переглядывались. Лошади поводили ушами и ржали.

Во время одной такой облавы у меня отняли фотоаппарат и приказали через несколько дней прийти за ним в полицейский участок. Меня даже в пот бросило. Долго думал — идти или нет. Страшновато было переступить порог этого мрачного здания с трехцветной будкой у входа. Мне все казалось, что стоит только войти — и уже не вырвешься. Но страх пришлось преодолеть: фотоаппарат был чужой, мне его оставил перед высылкой артист М. Бениеш, или, как мы его называли,— Бенко. Как знать, что он обо мне подумает и вообще поверит ли, что полиция конфисковала его фотоаппарат. И потом моя неявка в полицию может быть дурно истолкована там. Поэтому в конце концов я решил идти. Был я очень взволнован, даже испуган, хотя и не показывал виду.

Меня встретил полицейский, правда, не тот, что конфисковал аппарат. Спросил, что надо, и послал в другую комнату. Оттуда препроводили в третью... Долго гоняли из комнаты в комнату, подозрительно разглядывая. Каждый спрашивал, зачем я пришел и что мне надо. Потом привели к какому-то чину в штатском. Был он очень полный, лысый, с сигаретой во рту. Сначала подозрительно и даже враждебно посмотрел на меня — ведь я нарушил его спокойствие. Услышав, что я ищу фотоаппарат, оживился.

— Какая марка? — спросил он.

А я забыл. Наугад назвал какую-то марку. Он еще больше сморщился. Подошел к полке, завешенной белой занавеской, вытащил оттуда футляр с кожаным ремешком.

— Этот? — спросил он.

— Нет,— ответил я.

Он вторично слазил за занавеску.

— Этот?

— Нет,— снова ответил я.

Тогда он разозлился, даже вынул сигарету изо рта.

— Что ты меня разыгрываешь... Этот?

— Да, этот.

Он сунул сигарету обратно, выпустил облако дыма и сказал, что я выбрал самый хороший.

— А как ты докажешь, что это твой? У тебя есть паспорт аппарата?

— Нет... Я не думал.

— А надо было думать! Я тоже могу сказать, что это мой. Чем докажешь обратное?

Я виновато молчал. Он принялся рассматривать фотоаппарат. Установил диафрагму, нацелился в мою сторону и щелкнул.

— Чем ты докажешь обратное? — повторил он и снова щелкнул.— Ничем.

— Докажу,— сказал я.— А снимки, что находятся внутри!

— Какие снимки?.. Разве были снимки?

Он нажал кнопку на письменном столе — в комнату вошел полицейский.

— Принеси снимки от этого аппарата... Вот его номер... И быстрее, у меня других дел полно.

Полицейский взглянул на номер и исчез. Наступило продолжительное молчание. Вдруг этот, в штатском, начал разбирать фотоаппарат, передвигая сигарету из одного угла рта в другой и бормоча:

— Всякие там бывают... аппараты... фотоаппараты...

Я испуганно смотрел на него. Но он оказался достаточно ловким — разобрал фотоаппарат и не моргнув глазом собрал. Под конец снова направил его на меня и щелкнул, нахмурив брови:

— Хорош... Очень хорош! Таких уже не купить... Продаешь?

Я сказал, что не продаю, потому что это память.

— Память?

— Да, со свадьбы.

— Ах, раз так, может... Память... Бывает...

В это время вошел полицейский с проявленной пленкой и снимками. И хорошо, что пришел, иначе я бы влип с этими свадебными воспоминаниями. Начальник взял снимки. Долго их рассматривал, потом спросил, глядя на фото ребенка в коляске:

— А как зовут твою дочь?

— Лидия.

— Почему Лидия? Что, болгарских имен нет?

— Лидия — славянское имя... Еще в древние времена...

— Да, да, Лидия Смирнова... Советская артистка, да?

— Нет, Лида Барова, чешская артистка, она и у нас известна.

— Так, так... А это кто у коляски?

— Моя жена.

— Как зовут?

— Виска.

— Виска?.. Тоже славянское имя... От весов, что ли, происходит?

— Не знаю.

— Это кто?

— Писатель.

— А что ему тут надо?.. Писатель...

— Мы с ним земляки. Случайно сфотографировались на улице.

— А что пишет этот писатель?

— Рассказы.

— В «Зоре» печатается?

— Не знаю. Вроде не печатается.

— Как это так, писатель, а не печатается! Уж не поссорился ли он с цензурой?

— Он мало пишет. Печатает книги.

— Книги. Тогда другое дело.

Долго молчал, вглядываясь в фотографию, и неожиданно спросил:

— Его фамилия Стаматов?

— Нет. Почему Стаматов?.. Эмилиян Станев.

— Ага, значит, сатирик... Земляки, говоришь?

— Земляки.

Неожиданно зазвонил телефон. Начался долгий и неторопливый разговор. В конце концов начальник забыл, зачем позвал меня, и пришлось напоминать, что я пришел за фотоаппаратом. Он вспомнил, взял какой-то бланк, заставил расписаться в получении фотоаппарата и поспешил от меня избавиться. Телефон, видимо, направил его мысли в другое русло. И слава богу, а то как знать, до чего дошел бы наш разговор.

8

1941 год был страшным. Я испытывал суеверный, мистический страх перед цифрой 41. А оказалось, что не только 41-й, но и 42-й и 43-й; к ним вполне подходили слова песни: «Годы, годы, трудные годы... будьте вы прокляты... сгорите в огне!»... Расстреляли Вапцарова, Атанаса Романова, Антона Попова, Петра Богданова... Ушел от нас Иван Владков, мой хороший друг, с которым мы часто встречались в Дряново, в доме поэта Атанаса Смирнова, когда в этот город выслали Бакалова. Погиб от взрыва бомбы Эмил Шекерджийский. Близкие. дорогие люди уходили внезапно, неожиданно. И нам больше никогда их не увидеть, не почувствовать тепла их рук. Мы сиротели, теряли друзей, но росла наша воля к победе.

Суровая действительность заставляла людей проявлять себя с самой неожиданной стороны. В акционерном обществе «Петрол», где я работал в бухгалтерии, служил некий Хренников, эмигрант-белогвардеец. Старый холостяк, он жил скромно и одиноко, почти ни с кем не общаясь. С начала войны на Восточном фронте он еще больше замкнулся, в отличие от другого белогвардейца, Громова, который каждый день передвигал флажки на географической карте, отмечая «героический путь германских победителей», вторгшихся на его родину. Оба они были русские, обломки давнишнего кораблекрушения, но воспринимали испытания, выпавшие на долю их родины, по-разному. Громов каждый день «громил» Красную Армию и все молил бога о «конце большевистского царства». Этот циник, ругатель и заядлый рассказчик непристойных анекдотов, снимал шапку и крестился, проходя мимо церкви. И в то же время восхищался расстрелами коммунистов. Он принадлежал к молодому поколению фашистов, воинственных и религиозных, давно уже нацепивших «виктории» — значки фашистских побед — на лацканы своих пиджаков. А старый Хренников молча рылся в бухгалтерских книгах и задумчиво поглядывал исподлобья на своего расходившегося соотечественника.

— Как отрежут Кавказ, Москва окажется в котле,— кипятился Громов.— Один фланг поворачивает на север, другой — на юг, растаптывают Турцию, направляются в Индию, связавшись прежде, разумеется, с армией генерала Роммеля в Африке, и — полный разгром.

— Блицкриг,— прибавлял кто-нибудь.

— Так же, как в Средней Европе.

— Средней Европы не существует,— возразил я, потому что не мог его переносить и хотел хоть чем-нибудь уязвить.

Он удивленно посмотрел на меня.

— Как это не существует?

— Не существует... Нет такого географического понятия.

— А Чехословакия, Венгрия, это что?..

— Это Европа.

— Европа, но именно Средняя.

— Ничего подобного,— продолжал я его злить,— ваши понятия достаточно устарели.

И чтобы досадить ему еще больше, вышел, хлопнув дверью. Мне после рассказывали, что он был изумлен моим поступком и не мог его объяснить иначе, как только тем, что я малость не в себе. Вот и поди объясни в то время, в себе ты или не в себе. И я решил больше с ним не разговаривать. Зато с Хренниковым мы часто приятельски переглядывались, когда встречались в коридорах. Однажды я остановил его и сказал:

— Вчера окружили 50-тысячную армию. Разгром ее — дело нескольких дней...

Он удивленно поднял седые брови и промолчал. В другой раз я ему сообщил:

— Продвигаемся к Харькову. Захвачено много самолетов, танков и орудий...

Он остановился и заговорил. Голос у него был низкий, густой — он пел в хоре храма Александра Невского, тем самым немного подрабатывая.

— Это точно?

— Сегодня утром я слушал сводку.

— А что происходит на Дону? Дон — это очень важно.

— Да, конечно.

Мы помолчали. Потом разошлись. После этого я стал чаще останавливать его и вкратце пересказывать военные сводки. Он внимательно слушал меня, но по некоторым вопросам был осведомлен лучше. Как-то раз, когда о положении на фронте у меня не было новостей, я спросил его:

— А у вас нет ничего общего с композитором Хренниковым?

Он удивленно взглянул на меня.

— Каким композитором?

— Советский композитор Хренников, он пишет популярные песни, весь Союз их поет.

— Нет, не знаю, не слышал.

— Может, это ваш родственник?

— Вряд ли. Откуда он?

— Не знаю.

— Я с Дона, из Донского края.

— Правда?

— Да. Из станицы Вешенской... Лично знаю отца Шолохова. И многие герои «Тихого Дона» — мои знакомые.

— Неужели?

Он загадочно улыбнулся.

— И вы до сих пор молчали?

— Да как-то ни к чему было.

— А самого Михаила Шолохова не знаете?

— Он был парнишкой, поэтому я его и не запомнил.

— Подумать только, такой человек среди нас,— ахал я,— а мы ничего не знали!

Он снисходительно улыбался моим мальчишеским восторгам и словно бы сожалел, что так разговорился.

После войны я потерял из виду старого Хренникова. Позднее узнал, что он вернулся на родину.

9

В уединении родного села, куда эвакуировались мои близкие и куда я отправился в один из своих солдатских отпусков, меня охватила тоска об ушедшем детстве и в то же время смутная радость ощущения приближающегося конца трагедии. Это было поздней весной 1944 года. Люди молча надеялись. Многое пришлось им испытать — побои, грабежи, тюрьмы, ссылку, пожары. В лесу были их сыновья. Недавно произошел Балванский бой, эхо которого еще не затихло в округе; дела погибших партизан и тех, кто прорвал огненный обруч и продолжал борьбу, становились легендой. Ночи стояли прохладные, луна светила как всегда, а сердце мое стискивал обруч, когда я смотрел на полусожженный дом Цоню. Мне все казалось, что откуда-то из темных и закопченных комнат я услышу звуки кавала старого друга, с кем мы по слогам разбирали азбуку коммунизма и писали антивоенные листовки. Но песни смолкли, и кавал затих до лучших времен. Двор зарос бурьяном, тощие ягнята паслись на заросшем гумне, в пустом сарае мычала корова. Хозяев выслали. Собаки перескакивали через заборы.

На деревянной скамейке сидели старики, грелись на солнце и лениво переговаривались, потому что все уже было сказано и пересказано по нескольку раз. Им тяжело было видеть сгоревший дом. И петуха среди мусора. И голодного поросенка в свинарнике.

— Чувствует запах помоев, вот и хрюкает.

— Дай ему, уже пора.

— Вот пообедаем, тогда плесну ему в корытце.

— Твоя правда. Если дашь сейчас, потом опять начнет верещать. Ведь свинья — ее никогда не накормишь, да и корма кончились.

— Все есть хотят.

— Да ведь душа просит.

— А моя не просит?

— Человеческая душа — совсем другое дело, чем у собаки, дольше выдерживает. И так ее и эдак, а она выдерживает, легко не сдается. Вот когда мы были на фронте...

— Хватит с этим фронтом... Сейчас что — разве не фронт? Вот опять подались от Тырново... И когда только эта пропасть кончится?

— Человеческая душа крепче собачьей. Сейчас вот на партизан облава. Только ищи ветра в поле. Тогда где они прятались?

— Тайник у них в сарае был.

— Так его же сожгли.

— Земля горит словно кирпич.

— Кирпич горит одним огнем, земля другим. Она как железо.

— Железо из земли же вышло.

— Не важно... Партизаны пошли нижней дорогой... Только бы добрались до Туркинча. А там вроде тайник есть...

— Где их теперь нет...

— Твоя правда... Эта балка, верно, упадет, смотри, как перекосилась.

— В Заешко балок сколько душе угодно... А верно, что золотую монету в золе нашли, когда раскапывали тайник?.. А?

— Верно... И ружье сгорело... Хрюкает. Слышишь, опять хрюкает! Говорю тебе — зарежь ты его, чтоб в селе покой был,— не хочешь. Как его прокормить до рождества?.. Тебя самого съест.

— Скорее я его съем... Какой студень выйдет!.. Смотри-ка, и воробьи прилетели, почуяли кормежку.

— Все, как кровопийцы, хотят на готовое.

— Вши у всех развелись, а помазать керосина нет.

— В тайнике вшей полно было, только передохли.

— Вошь что клоп, быстро не умрет. Заберется в швы рубахи и не сдыхает, гнида проклятая.

— Так тайник подожгли?

— Затопили, а не подожгли. Потому как огонь вшей берет, а вода нет. Нашли там и полицейскую фуражку с кокардой. На кокарде что-то написано... Что там было написано-то?

— Призыв.

— Не верится, чтоб на кокарде призыв писали.

— Чего только в тайнике в голову не придет... Стреляют... Слышишь?.. Наверное, те, на лошадях, стреляют...

— Да, стреляют. Так ведь это их работа.

— А чем стреляют-то?

— Пулями «дум-дум», на это они мастера.

— «Дум-дум» — другие. Из тайника стреляли другими. И фуражку пробили другими...

— Смотрю я на эту балку, видно, скоро упадет... Свалим ее, что ли?

— Запрещено. Дом государственный, раз его подожгли.

— А зачем государству сгоревший дом?

— Как вещественное доказательство. Хорошо, что из камня, так огонь потух. Ведь камень что земля, горит, а не дает пламени.

— Это зависит от огня и бензина.

— А сопровождал их капитанишка с жестянкой керосина, вовсе не генерал, как говорили.

— Генерал дивизией командует. А капитанишка с жестянкой из другой части... У них ведь как? Жандармерия — одно, армия — другое. А капитанишка из жандармерии.

— А балка-то вроде уже... Что скажешь? Взять бы мне ее для курятника, как раз надо.

— Не трогай государственную балку, ее уже описали... Хрюкает. Снова захрюкал. Пойду налью ему помоев, чтоб успокоился. Или прирезать, чтоб не орал? А то все село совсем оглушил.

— Напоследок стали и воробьев есть. Правда ли?

— В Германии нет, а в Италии — да. Там и черепах едят. Тушат их с укропом и мятой.

— Смотрю я на эту балку, уж очень она обгорела, надо будет острогать...

— Не трогай чужое. Скоро хозяева вернутся.

— Некоторые возвращаются, да только калеками.

— Почему же это калеками?

— Дороги взрывают, вот их и калечит.

— Кокарду взять можешь, а балку нет, потому — чужая.

— Раз уж на то пошло, так и кокарда чужая.

— Она государственная, как и пуля, и патронташ.

— Патронташа в тайнике не было.

— Был, только ты его взял и балку хочешь взять, и деревца, что вокруг, потому что чужие, огонь до них не добрался.

— А затопление... Кто это устроил?

— Тайник — дело другое. Там можешь брать что хочешь, только осторожно, там гранаты — взрыв может быть.

— Эта балка свалится на кого-нибудь. Давай, что ли, перетащим ее в другое место?

— Перетащим, как люди вернутся... Хрюкает! Вот пойду сейчас, возьму нож и зарежу...

— Пошли, раз сказал. Только эту балку я взял на заметку, потому государственная. Ведь ты сказал, что государственная, а теперь отказываешься!

— Такая же государственная, как ты.

— Вроде мы все государственные. Пойти плеснуть помоев поросенку, а то всех оглушил... Все есть хотят... Господи, куда бы деться — от этих балок, от черных мыслей...

Солнце заходит. Появляется луна. В сарае мычит корова. Петух и куры расселись на шелковице. Холодно. Дует ветер. С того берега доносится запах трупов и сгоревшего тряпья. Холодно, нечем дышать. Хочется повторить: «Годы, годы, трудные годы... сгорите в огне!..»

10

В конце лета, в сухие и жаркие дни августа я оказался в селе Долни Дыбник, Плевенского округа. Я очень похудел, осунулся и изголодался за свою долгую солдатскую жизнь. Ко всему прочему меня мучил кашель, из-за жары и деревенской пыли он особенно разыгрался. Жил я у околицы села, возле широкой дороги, которая вела к железнодорожной станции. Дом был новый, двухэтажный, из красного кирпича, еще не оштукатуренный, потому что денег у бай Выло, его хозяина, не хватило.

В таких домах жили почти все эвакуированные из Софии, которых прогнали бомбы англо-американской авиации, спокойно летавшей в болгарском небе, достигавшей Плоешти и возвращавшейся обратно, сбросив свой смертоносный груз на нефтеочистительные предприятия. Даже пострадав от этой авиации, мы с известной надеждой поглядывали на серебряных птиц, потому что все-таки они громили резервы гитлеровской армии. В Долни Дыбнике хорошо были видны очередные налеты этой авиации. И бай Выло иногда подшучивал:

— Сверил свои часы, учитель? — (Хотя я не был учителем). И добавлял: — Знаю я тебя, по другим часам работаешь... Красный петух будит тебя по утрам. Только его признаешь.

Я молча улыбался, а он присаживался рядом на деревянную скамейку и до звезд рассуждал о политике. Вечерняя прохлада немного успокаивала мой кашель, пыль, поднятая стадом, оседала на шелковицах, воздух становился чистым и прозрачным, с бахчи долетал запах зрелых дынь.

Всем было ясно, что конец близок. Только немногие знали, когда точно он настанет. Советские танки уже грохотали у Дуная. В горах шли бои с фашистской жандармерией. Села и города жили в напряжении. Каждый день налеты, митинги, перестрелки. Множились ряды партизанской армии. Люди встречали партизан хлебом-солью. А на сельских площадях горели костры, в которых жгли налоговые книги. Скоро должен вспыхнуть большой пожар, уничтожить весь ненавистный строй. Скоро должна быть провозглашена свобода. Но как это произойдет? Вот что больше всего волновало бай Выло и всех нас.

— Если русские не форсируют Дунай,— рассуждал бай Выло,— их могут опередить англичане... А если еще турки вмешаются, такая каша заварится, только расхлебывай... Так что наше спасение — дед Иван, но ему надо спешить... Во что бы то ни стало спешить!

Бай Выло говорил так нетерпеливо, словно я поддерживал лично телефонную связь с дедом Иваном и именно я не форсировал события. Даже старался попугать меня:

— Поймите, ведь вас могут обмануть. Ты слышал речь Багрянова? Слышал, что плетет?

— Слышал,— отвечал я,— пусть болтает, кто его слушает...

— Ну, не скажи... Обещал им полное прощение.

— Кому?

— Партизанам... Призывал добровольно спуститься с гор, обещал, что волос с их головы не упадет... Только бы не спускались! Ведь он их перережет. Слышишь! Пусть не спускаются!

Я молчал. Бай Выло все предупреждал. Потом отправлялся спать, а я сидел во дворе, смотрел на луну, звезды и отяжелевшие от летней пыли листья шелковицы и думал о завтрашнем дне, который приближался уверенным шагом.

Меня переполняли радостные предчувствия, потому что я знал немного больше, чем бай Выло. В село были эвакуированы и другие жители Софии, с которыми мы обменивались новостями и последними сводками Красной Армии. Здесь жил постоянно Валерий Петров, собиравшийся сдавать последние экзамены на медицинском факультете. Мы говорили с ним о литературе, политике, о наших друзьях и приятелях, часть из которых была в тюрьмах, а о других вообще ничего не было известно. Мы читали новые и старые стихи (Виска знала наизусть всего «Евгения Онегина»). Спорили о будущем, будущей литературе, о театре, искусстве... Несколько раз я встречался с доктором Петром Вутовым, молодым, энергичным, мы были знакомы еще со школьных лет. Здесь я установил контакты с членами партии, поддерживавшими связь с партизанами Второй оперативной зоны. Вообще источников у меня было больше, чем у бай Выло, поэтому он так упорно вертелся возле меня, исполненный намерений вытянуть что-нибудь, удовлетворить любопытство.

Общество «Петрол» заняло под канцелярии несколько домов вместе с лавчонками в центре села. На переход из одной канцелярии в другую требовалось немало времени. Поэтому работать было весело и легко — ведь следить за нами было непросто. Часто я оставался в канцелярии один. Это позволяло встречаться с теми, кто имел партийные поручения. Другими словами, такая свобода была мне по душе. Да и коллеги мои были людьми демократичными, каждый день слушали новости с фронтов и не скрывали радости по поводу продвижения Красной Армии, хотя и притворялись, что сочувствуют немцам. Помню, как один лицемерно вздыхал: «Эх, на Восточном фронте дела зашли в тупик, что делать!» На меня не обращали внимания, словно я и не существовал. А может, так оно и было. Я находился на самой нижней ступеньке служебной лестницы, ничем не блистал. И жизнь моя текла «тихо и мирно» до самого Девятого сентября 1944 года. Помню, как велико было их удивление, когда они увидали меня с пистолетом! Просто глазам не могли поверить. Как так, молчаливый юноша оказался революционером с громадным пистолетом на боку! И смотрели на меня, пораженные не столько страхом, сколько удивлением.

Мне тут же выдали все документы, необходимые для увольнения, даже не дожидаясь просьбы с моей стороны. Но если бы обо мне стало известно раньше! Тогда разговор был бы иной, тем более что напротив нашей канцелярии находился полицейский участок с трехцветной будкой.

За несколько дней до 9 сентября со мной произошла неожиданная и почти невероятная вещь. Я был, как говорится, на краю пропасти. Но тогда я воспринял это с юмором и не очень испугался. А может, сама атмосфера приближающейся свободы захватила почти всех и делала нас более спокойными, уверенными и несколько даже небрежными. А дело было так.

Однажды после обеда я сидел в пустой канцелярии, сонный и усталый. Неожиданно в дверь постучали, и в комнату вошла плотная, румяная девушка в туристских ботинках и белой блузке. Ее черные волосы небрежно спускались на лоб. В руках она неловко держала дамскую сумочку.

— Извините,— сказала девушка,— мне нужен господин Калчев... Где его можно найти?

— Я господин Калчев,— отозвался я, с удивлением глядя на нее.— Чем могу быть полезен?

— Господин Добрев велел вам сообщить,— продолжала она, покраснев и смущаясь,— что товар уже выслан и его можно получить.

— Что? — спросил я.

— Господин Добрев велел вам сообщить...— снова начала девушка, все так же четко и безошибочно, особенно подчеркивая «господин Добрев» и «товар».

Я удивленно слушал ее и молчал. Нетрудно было понять, что это пароль. Но отзыва на него я не знал. И лихорадочно думал, как выйти из этого затруднительного положения.

Девушка явно волновалась и с нетерпением ждала моего ответа. А я по-прежнему молчал, стараясь взглядом дать ей понять, что бояться нечего, что она попала к своим и ничего дурного с ней не случится.

— Извините,— сказал я,— это ведь пароль?

— Что вы,— подскочила девушка,— что вы говорите!

— Успокойтесь,— продолжал я,— это пароль... Жаль только, что я не знаю отзыва.

— Что вы,— отчаянно защищалась девушка, схватившись за ручку двери, готовая в любой момент выскочить из комнаты,— вы со мной шутите... Я вас не понимаю...

— А я понимаю... Это пароль, но я не знаю отзыва. И из-за этого происходит недоразумение. Прошу вас, успокойтесь и поверьте мне — я не сделаю вам ничего плохого... Вот так, а теперь делайте что хотите...

Девушка немного успокоилась. Я продолжал, не вставая со стула, чтобы снова не испугать ее:

— Произошло недоразумение. Если у вас есть, что мне сказать, скажите, если нет, то до свидания... идите спокойно. Уверяю вас, ничего с вами не случится. Вы пришли с гор, правда?

— Что вы! — закричала девушка.— Это глупости! За кого вы меня принимаете? Что вы болтаете?..

Тем временем в дверь громко и нетерпеливо постучали. Мы оба побледнели. Я успел только предупредить ее:

— В случае чего скажите, что вы моя двоюродная сестра.

Она отскочила от двери, а в комнату ворвался высокий стройный загорелый юноша с непокрытой головой, в клетчатой рубашке, хлопчатобумажных вылинявших и пыльных брюках, заколотых как у велосипедистов. Он устало дышал, на лбу у него блестели капельки пота.

— Извините,— начал он, не обращая внимания на девушку,— я ищу господина Калчева.

— Это я. Что вы хотите?

— Господин Добрев велел вам сообщить, что товар уже выслан и вы можете его получить...

Я рассмеялся. Смотрел на девушку и не мог удержаться от смеха. Юноша рассердился:

— Почему вы смеетесь? Что тут смешного? Я вам говорю серьезно, а вы смеетесь... Прошу вас...

— Ясно,— сказал я,— все ясно. Садитесь и давайте спокойно разберемся. Очевидно, произошло какое-то недоразумение. Только что эта девушка сказала мне тот же пароль.

— Я не имею ничего общего с ним,— возразила она.— Не впутывайте меня в эту историю.

— А я и не впутываю. Просто хочу вас успокоить и объяснить, что произошло недоразумение. Тот, кто вас послал с паролем, не успел сообщить мне отзыв. Вот и все. А вы решайте. Можете хоть сейчас уходить, а можете, если хотите, мне довериться. Ваша воля, как хотите...

Они переглянулись. Решать надо было немедленно. Я ждал, с опаской посматривая на дверь — еще чего доброго появится и третий посланец от «господина Добрева» и сообщит, что товар уже выслан и мне нужно его получить. А ведь может войти и незваный гость, тогда мы совсем запутаемся.

— Видите ли, товарищи,— начал я,— времени терять нельзя. Здесь канцелярия, и каждую минуту может войти кто-нибудь посторонний. Пожалуйста, скорее. Я вас не неволю. Что решите, так тому и быть.

Они помолчали, и первым заговорил юноша. Подошел ко мне, вытащил из кармана толстый пакет и подал.

— Это вам. Передайте его куда следует.

— Я не понимаю, кому передать?

— К вам придут.

Девушка тоже вытащила из-за пазухи пакет, поменьше, синий и подала его с улыбкой, но румянец все еще не сошел с ее смуглого лица.

— Под вашу ответственность,— сказала она.

— Под мою ответственность,— повторил я.

Мы сердечно пожали друг другу руки (ведь и рукопожатие о чем-то говорит) и расстались. Они быстро вышли друг за другом, и больше я их не видел. Впрочем, нет! Вскоре, уже после Девятого сентября, я увидел девушку перед кинотеатром «Славейков» в длинной очереди за билетами. Я стоял где-то в начале очереди. Увидав меня, девушка бросилась ко мне, протянула руку и поздоровалась так, словно мы с ней были старые знакомые.

— Как поживает господин Добрев? — спросил я.

— Хорошо. А вы получили товар?

— Получил,— улыбнулся я.— Все в порядке.

И она широко улыбнулась, потому что ничего нет лучше, как встретить человека, который оправдал доверие, особенно когда от этого доверия зависела ваша жизнь. Юношу я не видел. Он навсегда скрылся из поля моего зрения. А в памяти моей остался прежним — стройным и красивым, в клетчатой рубашке и хлопчатобумажных брюках с подколотыми отворотами, с велосипедом, на котором он носился с конспиративными поручениями по дорогам Болгарии. Когда-то курьеры революции мчались на конях, их воспевали в стихах и поэмах, теперь они ездили на велосипедах, но несмотря «на технику» были так же романтичны и загадочны. Где он теперь? Что делает? Как его зовут? Пусть будет он счастлив! Пусть будет умен и добр! И прозорливо доверчив, потому что нам нельзя без этого качества.

Проводив юношу и девушку, я тут же передал конверты местному партийному руководителю и попросил выяснить недоразумение. В одном конверте на нескольких страницах, исписанных карандашом, был дан подробный анализ операции партизанского отряда Второй оперативной зоны. В другом шифром давались указания, где и сколько комсомольцев должно быть мобилизовано для пополнения отряда. Шифр был со множеством цифр и знаков, в которых я ничего не понимал. Оба письма были подписаны командиром зоны Д. Овчаровым. Тогда мы не знали, что за этим партизанским псевдонимом скрывается известный деятель партии Петко Кунин.

Недоразумение же произошло по вине одного товарища, который послал курьеров, не сообщив мне отзыв, в надежде, что все как-нибудь уладится. Помню, это наделало много шума, но, поскольку все прошло благополучно, он отделался лишь порицанием. Тем более что через несколько дней пришло Девятое сентября и затмило собою все.

Этот день начался буднично, как и все другие дни. Но к вечеру прибыли партизаны, и все изменилось. Пришла новость о разгроме Плевенской тюрьмы. Красные знамена взвились над площадью. Мужчины, женщины, дети, старики — каждый хотел видеть партизан. Одни шли прямо с поля, запыленные и обожженные солнцем, другие выбегали из своих дворов, растрепанные, с засученными рукавами, что-то невнятно крича и задыхаясь от радости. В толпе я увидел и бай Выло. Он стоял без шапки, в расстегнутой рубахе, с рыжим петухом в руках, на которого повесил бусы из кукурузных зерен. Бай Выло поднимал его высоко над головой, словно собрался на свадьбу. Откуда-то появились сельские музыканты. Забил барабан, зазмеилось хоро, которое повел бай Выло.

— Учитель,— издали крикнул он, увидев меня,— я обещал петуха ребятам, пусть полакомятся, ведь все лето голодали!

Речь шла о партизанах.

— Ты не прав, бай Выло,— упрекнул его я,— разве затем пришла свобода, чтобы проливать невинную кровь?

Он остановился, задумался.

— Твоя правда, ведь мы по нему сверяли часы!

— Тем более.

Он улыбнулся, что-то крикнул, и рыжий петух полетел над головами людей, уселся на плетень, захлопал крыльями и закукарекал.

— Какая беда чуть не приключилась на святой праздник! — охал бай Выло, ведя хоро.

Петух был из басовитых, крик его привлек всеобщее внимание.

В этот день партизанам так и не пришлось поесть курятины.

На площади собралось все село. С балкона трехэтажного здания выступали ораторы: руководитель местной партийной группы, партизанские командиры, представитель политзаключенных, только что прибывший из разгромленной Плевенской тюрьмы. Другими словами, это была новая власть.

— Кончилось, учитель, кончилось! — повторял бай Выло, слушая ораторов.— Точно так все произошло, как мы предвидели... Ведь я тебе говорил, что так будет.

— Именно так, бай Выло.

— Я же знал. И о тебе знал, но молчал.

Всю ночь мы не спали.

Через столько веков история смилостивилась над нами! Сейчас мы держали в своих руках свободу. Мы кричали от радости.

— Как далека была и как была близка от нас свобода! Останься, навсегда останься с нами!..

На следующий день с пистолетом у пояса я отправился в Софию, куда меня вызвали телеграммой.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

1

Переход от одной эпохи к другой — никогда я не мог представить себе этого в образах. Как говорилось в учебниках истории: «перешагнуть порог Средневековья и вступить в эпоху Возрождения». Используя это выражение, мы перешагнули порог Рабства и с детской улыбкой вступили в мир Свободы. Фашизм с полицейскими мундирами и виселицами остался позади, у нас за спиной, и мы плакали от радости. Мы не знали, что будет дальше,— философы и социологи определят в долгих спорах и размышлениях характер революции. А мы переживали ее сегодня и знали, что зовут ее Свобода. С возгласом: «Смерть фашизму, свобода народу!» — мы прощались с прошлым и вступали в будущее, убежденные, что начинаем первый день новой истории, как это и было на самом деле.

Я сидел на ободранном чемодане в коридоре переполненного ночного софийского поезда и боролся со сном и с мыслями. Паровоз, пыхтя, останавливался на каждом полустанке, украшенном венками и портретами, победоносно гудел в тоннелях Искырской долины и мчал нас в Софию. Чем ближе подъезжали мы к столице, тем больше заполнялись вагоны — одни возвращались из эвакуации, другие просто спешили порадоваться свободе в большом городе. Все говорили, размахивали руками — словом, пользовались свободой в полную меру, и разговоры обычно кончались песней и криками «ура». Много песен было спето, много слов сказано за эти несколько часов до Софии.

К утру, кажется часам к трем, мы прибыли на софийский вокзал. Помню, было еще темно, мерцали электрические лампочки, придавая еще более таинственный вид притихшему вокзалу. В отличие от других станций, которые мы проезжали и где гремело «ура» и «Рот Фронт»,— здесь царила непривычная тишина, словно мы въезжали в осажденный город. Примолкли даже самые веселые пассажиры; взвалив на плечи чемоданы и мешки, они удивленно и испуганно глядели перед собой.

Мы шли по коридору мимо юношей с пистолетами в руках, бросавших на нас хмурые и строгие взгляды. Одеты они были самым различным образом — в рубашках с засученными рукавами, поношенных летних пиджачках, хлопчатобумажных брюках, мятых и грязноватых, в стоптанных ботинках и сандалиях на босу ногу. Так выглядела первая рабочая милиция. Такой представала передо мной наша новая власть, защищавшая столицу. Меня охватила радость. Хотелось остановиться и подольше смотреть на них, но времени для сантиментов не было.

Парни пришли из швейных, обувных, слесарных, деревообделочных мастерских, депо и вокзалов — безработные, голодные, отверженные в прошлом, сейчас они держали в руках оружие и защищали свою власть. Мне казалось, что многих из них я где-то встречал — на улицах и площадях, на чердаках и в подвалах, в тюрьмах и на нелегальных квартирах... Мы вместе читали газеты и листовки, напечатанные на стеклографе, говорили о боях на Восточном фронте. Они шили одежду, чинили обувь, отливали сталь, ковали железо. Не отходя от станков и печей, съедали свой хлеб и брынзу или немного колбасы в дни получки. А по ночам писали лозунги на стенах, разбрасывали листовки, выполняли трудные и рискованные поручения — поджечь склад, вынести оружие из казармы, взорвать мост, убить какого-нибудь генерала, помочь бежать в горы... Все это делалось скромно, незаметно. Они не спрашивали, кто их послал и кто встретит при проведении операции, вернутся ли они живыми или упадут на мостовую с окровавленной головой. Дети народа! Я смотрел на них и едва сдерживал радость, потому что знал: их пистолеты направлены не на меня. Я шел и улыбался — ведь меня охраняла наша народная власть.

На площади у вокзала бил фонтан, придававший более праздничный вид пробуждавшейся столице. Вспыхивали огоньки первых трамваев, глухо шумел старый город.

Я сел в первый же трамвай, подошедший к вокзалу, и очутился вскоре на улице Дунай, где увидел пустую и запущенную квартиру с разбитыми стеклами и распахнутыми дверями. Кто-то побывал здесь, рылся в ящиках, свалил на пол керамическую вазу с засохшими цветами, перевернул матрацы и подушки. Такими были мои первые радости и первые впечатления. Я вымел битое стекло, стер пыль с письменного стола, прибрал постель и пошел по редакциям искать тех, кто меня вызвал.

На улице 11 августа находились редакции и типографии газет «Работническо дело», «Отечествен фронт» и «Свобода». Там же всего несколько дней назад печаталась небезызвестная «Зора», ежедневно громившая и уничтожавшая Красную Армию и утешавшая своих читателей тем, что отступление германской армии вызвано стратегическими соображениями. Сейчас на типографских машинах печатали наше слово. И его уже никогда не перестанут печатать!

В несколько прыжков я миновал узкую лестницу и оказался на этаже, где разместились редакции. В одной из комнат висело объявление о первом заседании писательской группы. Там я встретил нескольких старых друзей, пришедших на заседание, радостных и нетерпеливых. Мы обнялись, поздравили друг друга со свободой. Нам не верилось, что мы живы и видимся опять. Каждый что-то рассказывал, каж-

дый спешил сообщить нечто важное, неизвестное другим. Камен Зидаров читал «Оду свободе» Разцветникова, новую, только что написанную. Никола Ланков просматривал список партийной организации. Орлин Василев намечал какие-то грандиозные планы перестройки культурного фронта, рассуждал, что легковая машина — это уже не проблема, призывал нас избавиться от бедняцких предрассудков и действовать с хозяйским размахом. Марко Марчевский прикладывал руку то к одному, то к другому уху, стараясь услышать ораторов. А их было много, и каждый что-то говорил, каждый хотел сообщить нечто чрезвычайное, неповторимое, от чего зависело будущее государства и революции.

Мы решили начать издание газеты «Литературен фронт» и юмористического еженедельника «Штурмовак», который позже получил название «Стершел». Наметили мы и издание детской газеты, которую назвали «Весело другарче». Почему именно так — мне до сих пор неясно. Может, чтобы звучало оптимистичнее. Марчевский стал редактором этой газеты, а я его помощником, техническим редактором.

Валерий Петров, Тодор Генов, Младен Исаев и Борис Делчев, прихватив оружие, отправились в Нови хан наладить работу эвакуированного туда софийского радио. Директором его был Константин Константинов, который сдался без боя, так что оружие в ход пускать не пришлось. В эфире зазвучали речи, стихи, музыкальные приветы...

Челкаш, Павел Вежинов, Богомил Райнов и некоторые другие заняли пустую квартиру Райко Алексиева на теперешнем Русском бульваре, недалеко от Орлова моста, и принялись редактировать юмористическую газету. Крум Кюлявков — организатор движения Сопротивления среди писателей — возглавил «Работническо дело». Христо Радевский заведовал культурной страницей этой газеты. Ангел Тодоров перешел на работу в ЦК. Ланков, будучи юристом, по горло ушел в работу в народном суде. Каждый чем-то занимался...

Больше всего дел было у поэтов. Ежедневно их стихи печатались в газетах, каждый день надо было набивать утробу радио и многочисленных агитбригад, как грибы выраставших по всей Софии.

Великие перемены происходили вокруг нас и в нас самих, но мы им не удивлялись. Рядом с героическим и великим иногда соседствовало смешное, но мы его не замечали, потому что были чересчур серьезными людьми. Почти четверть века спустя я почувствовал, как из воспоминаний о тех днях, полных любви и смеха, вырастают «Софийские рассказы», и понял, что великое и неповторимое превращается уже в историю...

2

Разрушенная София снова наполнилась людьми. Война для нас фактически закончилась, вернее, она вступила в другую фазу с иной миссией — освободительной. Наши дивизии отправились за Страцин, а немного позже в Венгрию, где в боях приняли участие и писатели. Меня включили в ВОС (Военно-осведомительная служба) под командованием писателя Здравко Среброва. Это не мешало мне выполнять свои гражданские обязанности в редакциях, тем более что мой начальник был довольно либеральным и демократичным.

Незадолго до мобилизации в ВОС я поехал в село за своей семьей. Кружок, или вернее артистическая агитбригада имени Николы Йочкова Вапцарова, куда входили Иванка Димитрова, Магда Колчакова, Сашо Стоянов, Бениеш, Йоско Розанов, Гриша Островски и некоторые другие, расспрашивали о Виске, ревниво держась за свои старые кадры из школы Георгия Стаматова и Бояна Дановского. «Песни мотора» Вапцарова с обложкой Ангелушева, недавно висевшие в витрине магазина «Нов свят», теперь уже гремели на улицах и площадях освобожденной Софии, неслись по всей стране на крыльях революции. Никогда еще поэзия не служила так прямо людям и истории, как поэзия Вапцарова в те дни. Сбылись слова погибшего поэта: «Но знай, народ, с тобой в отрядах первых пойдем вперед мы в буре необычной!»

В село я отправился с внушительным пистолетом у пояса, стараясь казаться очень серьезным и озабоченным судьбами революции. На меня смотрели с уважением и немного боязливо, не смея приблизиться ко мне — как бы чего не случилось. Я же, хотя и был недавно солдатом, никогда еще не стрелял и тоже испытывал страх перед оружием, которое носил.

Я нашел в селе нескольких старых друзей, но не было уже лунных вечеров, кавала и звезд над гумном. По улицам сновали люди. Грузовики и мотоциклы поднимали пыль по дороге на Дряново и Тырново, где рождалась и укреплялась новая власть, забывшая о романтике. Сельские парнишки, ставшие уже взрослыми и серьезными мужчинами, пришедшие из партизанских отрядов, тюрем и концлагерей, были там — в Тырново и Дряново, где фактически решалась судьба края. В селах оставались учителя и красные (теперь уже красные!) священники, чтобы установить отношения с властью, создавать Отечественный фронт, организовывать полевые работы и «проводить чистку». Не было Цоню Лафчиева, Ивана Караиванова, Стефана Цонева, Михо Кокова. Вместо них на сцену вышли учитель Пенчо, учитель Цоню,

бай Никола Вырбанов, преподаватель Свиштовского торгового училища, попавший сюда, в родное село, во время событий Девятого сентября. Был здесь и священник, которого я не знал, но мне сказали, что он помогал партизанам, а сейчас принимал активное участие в организации Отечественного фронта. Одним словом, я застал в селе не тех, кого ожидал и с кем работал в молодые годы. Но и эти люди так же, как и многие крестьяне, были мне близки и знакомы, мы слышали друг о друге и теперь встретились как братья по судьбе и оружию.

Первым пришел пожать мне руку учитель Пенчо. Он не забыл старой привычки, здороваясь, стискивать руку, пока не вскрикнешь от боли и не скажешь: «Ну, хватит, нельзя же так». За ним пришли и другие сельские власти. Они с улыбкой здоровались и спрашивали по привычке: «Ну, что нового в большой деревне?» Я им подробно рассказывал обо всем, но они знали не меньше меня, потому что регулярно слушали радио и читали газеты. На них произвел сильное впечатление мой пистолет, они украдкой поглядывали на него, не смея спросить, откуда он и зачем. Только учитель Пенчо осмелился задать вопрос, какой он марки и калибра, чем сконфузил меня, потому что я не смог ответить. Вообще с этим пистолетом была мука и одни неприятности, так что я решил в конце концов попробовать, как он стреляет и разобраться во всей этой чертовщине, чтобы, не дай бог, не осрамиться, если вдруг придется прибегнуть к нему в случае опасности. Поэтому как-то утром я отправился на наш виноградник у дороги в Соколово — провести там первую боевую стрельбу.

Было чудесное осеннее утро, тихое и спокойное. Виноград уже созрел, начали опадать пожелтевшие и увядшие листья. Пчелы вились вокруг крупных виноградных гроздьев, птицы перелетали с дерева на дерево, со стороны Стара-Планины, синевшей вдали, плыли белые облачка. Одним словом, настоящая тишь да гладь, даже людей не было видно в эти ранние часы. Лучшей поры для стрельбы трудно придумать. Я прошел по винограднику до заросшей бурьяном межи и выбрал черешню с высоким, блестящим и гладким стволом, который показался мне подходящей мишенью. Отмерил десяток шагов и встал перед деревом. Я знал, что есть несколько способов стрельбы — с упора, стоя, с колена и лежа. Я предпочитал стрелять стоя с упора, используя левую руку в качестве бруствера. Все было обдумано, рассчитано.

Я вытащил из кобуры кусок тяжелого железа, отбросил ее в сторону и прицелился. Знал, что не нужно долго целиться, чтобы не испытывать нервы, и дышать в момент спуска тоже не нужно. Момент этот наступил, но тут на соседний вяз уселась сорока и панически раскричалась. Это не смутило меня — я нажал на спуск, пистолет выстрелил. Я вздрогнул, но быстро пришел в себя. Вторично нажал на спуск, и снова пистолет выстрелил, правда, с каким-то треском. Теперь я уж не испугался, только удивился, что на стволе черешни не остается отметин. Выстрелив в третий раз, заметил, что на черешне задрожали листья, а один листок даже упал на землю. Значит, попал! Ободренный, я расстрелял все патроны. Из дула пистолета сочился дымок и пахло порохом. Успешно окончив стрельбу, я решил вернуться домой, чтобы не вызывать излишних тревог. Поднял с земли кобуру и попытался вложить в нее пистолет, но он не входил, потому что затвор никак не хотел возвращаться на свое место. Холодный пот выступил у меня на лбу. Но я не отчаивался. Потянул в одну сторону, потом в другую — проклятое железо не вставало на место. Я сел под виноградный куст и долго мучился с этим перепачканным смазкой холодным куском железа. Под конец, совсем отчаявшись, сунул пистолет в карман, прицепил к поясу пустую кобуру и пошел в село.

Тем и закончилась моя первая боевая стрельба из революционного оружия. Позднее я вернул его куда следует. А спустя двадцать лет описал этот случай в рассказе «Оружие». Так нашим радостям и тревогам сопутствовал смех, рождалась в них философия самопознания.

3

Вторым поучительным событием, которое я пережил в селе, было собрание членов Отечественного фронта. В библиотеке собралось почти все село, включая старушек и старичков, послушать, что мы им скажем о новой власти и о том, как пойдут дела дальше. Скамейки скрипели, лавки прогибались, пахло потом. У стола, где должны были выступать ораторы, коптила керосиновая лампа с круглым зеркальцем. Я и бай Никола Вырбанов (как специалист по экономическим вопросам) были ораторами. Мы сидели у колченогого стола и терпеливо ждали, когда крестьяне рассядутся и угомонятся. Кто-то сказал: «Начнем, товарищи, а то спозаранку нам надо в поле». И мы начали.

Первым взял слово бай Никола Вырбанов. Он говорил спокойно и вразумительно, без аффектации и лирических отступлений. Сказал, что новая власть улучшит жизнь крестьян и что будущее в их руках. Что посеют, то и пожнут. Кто не будет работать, тот не будет есть. На знамени новой власти большими буквами написано: «Кто не работает, тот не ест». Помещиков и батраков не будет. Мы сами и хозяева и пахари. Голодных не будет, но и пресыщенных тоже не будет... и т. д.

Говорил он гладко, спокойно и образно, как будто перед своими учениками в Свиштовском торговом училище. Его слушали внимательно и терпеливо, только мне не понравился ровный и убаюкивающий тон его речи. Никаких поэтических отступлений, которые расшевелили бы слушателей, захватили их души, как это умели делать некоторые ораторы на площадях и многолюдных собраниях. Поэтому я все время думал, как начать свою речь, чтобы сразу потрясти слушателей и овладеть их вниманием. Каких выражений я только ни перебрал, все казались мне бледными и недостаточно сильными. Поэтому я решил начать так — встал из-за стола, отбросил назад волосы и выкрикнул глухим голосом:

— Сыны и дочери великой эпохи! Товарищи и подруги! Мои дорогие земляки! Мученики земли!..

Я почувствовал, что в зале что-то происходит. В первый миг крестьяне зашевелились, потом, словно онемев, затихли, а кто-то сказал: «Давай, дружок, крой дальше!» Я продолжал. Продолжал еще воодушевленнее и отвлеченнее, больше заботясь о том, чтобы меня услышали, а не о том, чтобы поняли. По опыту, поскольку доводилось не раз присутствовать на деревенских собраниях, я знал, что крестьяне любят непонятных ораторов, вернее, любуются ими, только бы они говорили с воодушевлением и жестикуляцией. Это вот и есть настоящие ораторы: они кричат и размахивают руками. А другие — это ерунда. И я вроде бы относился к настоящим ораторам. Я им сказал, что пришла новая жизнь, новая эра (что было, конечно, верно). Я сказал также, что они не будут платить налогов и что трудная доля крестьянина навсегда будет уничтожена. Сказал еще, что нет таких крепостей, которых не взяли бы коммунисты. Сказал им: будет то, чего они пожелают. Захотят учиться — будут учиться. Пожелают быть богатыми — будут богатыми. Пожелают добиться плодородия — добьются плодородия. Пожелают дождь — будет дождь. Засуха побеждена навсегда! Водохранилища и оросительные системы покроют всю страну...

Ораторское мое увлечение дошло до того, что под конец я сказал, к всеобщему изумлению:

— Нашу землю будут поливать искусственные дожди. В Советском Союзе этот вопрос давно решен. Искусственные дождевые облака орошают целые области и спасают их от засухи.

Я почувствовал — что-то произошло, потому что снова все зашевелились, но, оглушенный собственным ораторским пылом, продолжал с еще большим увлечением. Говорил о тракторах, о кооперативах, которые вскоре будут созданы и у нас. О новых солнечных дворцах, в которых будут отдыхать трудящиеся. О будущих детских яслях в селе, о пекарне и бане, которые будут построены. О науке и искусстве. Говорил обо всем. И под конец мне долго аплодировали. Бай Никола Вырбанов обнял меня, мы расцеловались. Он назвал меня великим оратором с поэтической жилкой. А слушатели, по его словам, даже плакали.

— Правда? — с воодушевлением спрашивал я, вытирая пот со лба.— Очень интересно...

— Да, хорошо получилось... Очень хорошо. Только о дожде не следовало говорить, поскольку все это еще в области экспериментирования, понимаешь?

— Как это,— возмутился я,— в области экспериментирования? Это факт. Я читал.

— Да, но все же давай будем реалистами.

— Бóльшими реалистами и быть нельзя.

— Да, да, не возражаю. Можно это принять как поэтическую метафору. Конечно, было прекрасно. Просто прекрасно.

Старый учитель деликатно вышел из затруднительного положения; очевидно, ему не хотелось спорить со мной в «медовые дни» нашей победы, и поэтому он заговорил о чем-то другом, время от времени повторяя, что собрание прошло очень хорошо и меня слушали, затаив дыхание. Об искусственном дожде — гвозде моей сногсшибательной речи — больше не упоминал.

Но на следующий день я услышал первые комментарии. Принесла их моя сестра-болтушка.

А говорили вот что:

— Ну, теперь, Цона, все хорошо, раз есть искусственный дождь.

— Только вот с громом он будет или без?

— Что ж это за дождь без грома? Как у Синего вира загремит, тут же и дождь начнется.

— А молнии будут?

— И молнии тоже...

— Их мы будем получать со станции Станчо Хаджидимитрова.

— Так вроде там уж и воды нет, едва сочится. Янтра совсем обмелела, негде рыбу половить.

— Для этого, дядя, будут водохранилища... Водохранилища сейчас — это первое дело.

— Значит, из водохранилищ будем поливать бобы и подсолнечник?

— Насосами будем вверх качать, а потом опять вниз.

— А для хлебов?

— Для хлебов не хватит.

— Их мы этим, искусственным дождем поливать будем.
— Так много ж воды понадобится.
— Ну, это зависит от техники.
— Опять в электричество упремся...

Засыпали меня этими комментариями. Я искал способ связаться с их распространителями, пояснить, что хотел сказать, но они избегали говорить со мной на эти темы и только пускали невидимые стрелы, когда я их не ожидал. Мне снова хотелось созвать собрание и подробно объяснить им, что речь идет о технике, науке, прогрессе. Но они знай свое:

— Как будет — с громом или без грома?

И ничего не удавалось объяснить. Они не признавали науки, прогресса, тем более моих поэтических сравнений. Надо думать, когда говоришь. Слово не воробей: вылетит — не поймаешь. Вот почему моя сестрица, которая недалеко ушла от деревенских насмешников, долго еще меня подковыривала:

— Братец, а что стало с искусственным дождем? Наши все его вспоминают и спрашивают, скоро ли пойдет, уж очень нас измучила засуха, этим летом все выгорело... А небо просто остекленело — ни облачка на нем.

— Что вам, мало водохранилищ? — сердился я.— Или вы и этим не довольны?
— Водохранилище — это одно, а дождь — совсем другое.
— Вам, крестьянам, никак не угодишь: дождь идет — плохо, не идет — еще хуже.
— Такие уж мы... Уж все-то мы помним...
— Помните... и мы помним.
— Что поделать... Такие уж мы.

Жизнь менялась, а крестьяне все не забывали. Была у них уже пекарня, баня, большая школа, библиотека, кинозал, где дважды в неделю показывали новые фильмы. Образовали трудовое кооперативное земледельческое хозяйство, потом оно стало госхозом. Провели воду в каждый дом. На улицах зажглись электрические лампочки. Утром и вечером ходил рейсовый автобус в Тырново и Габрово. В домах появились радиоприемники и телевизоры. Детей учили в Софии и других крупных городах на инженеров, врачей, агрономов. Строили новые дома в Тырново, Габрово, Дряново — и себе, и своим детям. Некоторые перебрались в Софию. Другие отправились за границу учиться и работать. Одна девушка вышла замуж за негра, и наше горное село породнилось с далекой Африкой. Ломались старые нормы и предрассудки. Люди летали по воздуху, плавали по морям и океанам, забирались под землю — ничто их не останавливало, ничто не удивляло. Стали, так сказать, космополитами, в лучшем смысле этого слова. Расстояния и границы не мешали им думать о людях во всем мире. Все спрашивали: что происходит в Китае, что думает Фидель Кастро, почему закрыли Суэцкий канал? Не полетит ли вскоре на Луну и болгарин?

Но при всем при том в горячие летние дни, когда небо «остекленело» и нет надежды, что прольется дождь и напоит потрескавшуюся землю, обязательно отыщется кто-нибудь — с улыбкой спросит мою сестрицу:

— А как там с искусственным дождем, Цона? Мы его все ждем.

А она в ответ:

— Вам что, водохранилищ мало?
— Водохранилище — это одно, а дождь — совсем другое...

4

С легкостью, скорее эмоциональной, чем продиктованной разумом, начали мы работу в редакциях, на радио. Каждый день встречал нас своими неожиданностями и строгими требованиями, но наш восторг не знал границ; мы не замечали ничего плохого, хотя вместе с чистыми побегами энтузиазма проклюнулись и сорняки. Некоторые наши приятели не замедлили обзавестись квартирами из нескольких комнат в центре города. Помыслы других устремились на «стильную мебель» — старую и пошлую, во вкусе мещан. Иные бросали своих жен, увлекшись «интеллигентными девушками» из артистического мира. Вообще, спешили урвать от «прогресса», позабыв, откуда пришли и какой себе путь выбирали.

Вспоминается незначительный, на первый взгляд, случай, относящийся к начальной поре нашего освобождения, который меня поразил и долго смущал мои наивные представления о людях. Как я уже говорил, в квартире сбежавшего юмористического писателя Райко Алексиева, главного редактора известного «Штурца» и ярого антикоммуниста, помещалась редакция газеты «Стершел». Наши молодые восторженные юмористы во главе с Челкашем, вкладывавшим сердце и душу в это благородное дело, навострив перья, еженедельно выпускали пучки стрел в «буржуазию и буржуазные пережитки». В этой просторной квартире рождались таинственные рубрики и герои: «Черепа и простыни», «Киро Турка», «Гражданин Трепачов» и многие другие. Начинал печататься бесконечный роман о потерянной монете Челкаша и Чучурина, или, может, это было произведение более широкого коллектива авторов, сейчас не припомню. Показывали свои когти и «герои» оппозиции, которые позднее доставили нам много неприятностей и хлопот. В этой квартире собирались толпы талантов: одни только еще начинали

писать, зато другие уже имели имя и теперь рвались к вершинам славы, оставляя далеко позади себя юные дарования. Молодежь бурлила и кипела.

Все размещались в двух комнатах, остальные были, как говорится, непригодны для использования из-за того, что юморист Алексиев бросил, убегая от англо-американских бомб и страшась коммунистов, большую часть своего домашнего имущества: банки варенья, мешки муки, гардеробы с одеждой, шкафы с бельем и т. д. В комнатушке при кухне были собраны сотни пар новой обуви — дамской, мужской, детской: сандалии, полуботинки, сапоги. Невероятно много! Просто невозможно было подумать, что семья юмориста могла иметь так много обуви, и все новой, неодеванной. Зачем она была им нужна? Что он с ней делал? Торговал, что ли? Мне и до сих пор неясно, хотя я особенно и не задумывался над этим... Видимо, война, черный рынок, разные там спекуляции научили таких людей, как Алексиев, «мыслить с перспективой» и запасаться на всякий случай.

Как бы то ни было, наши ребята, к их чести, хладнокровно проходили мимо всех этих предметов. Даже банки с вареньем оставались целехонькими. Самое большее — распили бутылку коньяку, которую Алексиев почему-то забыл на кухне. А комната с обувью вообще не вызывала у них интереса. Некоторые даже и не знали о ее существовании. Не знал и я, постоянный посетитель этой «берлоги смеха и веселья», пока однажды вечером кто-то из пишущей братии, тоже приходивший сюда поболтать, не раскрыл мне глаза. В сущности, не глаза, а дверь комнатушки, где валялась куча обуви.

— Посмотри-ка,— сказал он таращась,— интересно. Правда, интересно?

— Не понимаю,— ответил я,— что тут интересного.

— Да обувь... кучи обуви... Выбирай.

— Уж не твоя ли она?

— А разве это имеет значение?

— А все-таки, может, твоя?

— Наша,— ответил он, наклонившись над кучей,— не прикидывайся наивным.

Пахло новой кожей. Искуситель вытащил пару детских сандалий и подал мне:

— У тебя ведь есть ребенок?

— Да,— сказал я,— но все же...

— Что «все же», бери и не рассуждай.

И он попытался всучить мне сандалии, но я отстранился, и они снова упали в кучу. Искуситель поморщился:

— Не бери, раз предпочитаешь, чтобы твой ребенок ходил в рваных ботинках... С этой твоей моралью далеко не уйдешь.

Я испуганно смотрел на него. Он что-то бормотал, поддавая ногой валявшиеся с края кучи ботинки. О какой морали шла речь?

— Смешные предрассудки,— ворчал он,— смешные предрассудки...

Я повернулся и вышел. И больше не заглядывал в комнатушку. Что стало с обувью, не хотел даже знать. Важнее было устоять перед искушением, и я устоял. Правда, с горьким осадком в душе, потому что в дни «экспроприации экспроприаторов» соблазны возникали очень часто и смущали мои добрые чувства.

С основанием или без, только некоторые «бывшие» страшно перепугались в те бурные дни. Однажды позвонили у входной двери. Я пошел открыть, и мне в ноги бухнулся сосед с верхнего этажа. Он умоляюще простирал ко мне руки и вопил:

— Простите, ради бога, я не виноват!

Я испуганно смотрел на него, недоумевая, что же происходит. Он был чиновником в итальянском посольстве, и мы с ним и его семьей никогда не имели ничего общего, кроме как «добрый день» и «добрый вечер».

А сейчас он обхватил мои ноги, что было очень некрасиво и унизительно для его возраста (кажется, ему было лет под пятьдесят), и все повторял:

— Простите, я не виноват!

— Что вы делаете,— воскликнул я,— зачем унижаетесь?

Я высвободил ноги, заставил его подняться. Он поднялся. Руки у него дрожали. Был он худощав, с поредевшими волосами. Насколько я знал, он не был важной персоной в посольстве — выдавал визы и паспорта или что-то там еще.

— Что вы делаете? — спросил я.— Почему плачете? Кто вам угрожает?

— Да ведь теперь... Арестовывают всех, кто...

— Идите!

— Да?.. Правда?

— Уходите! — закричал я.

Он попятился, продолжая кланяться и благодарить неизвестно за что. Мне стало стыдно, я долго не мог прийти в себя. Слава богу, что не было свидетелей этой сцены. Почему этот человек упал к моим ногам? Чего он хотел от меня? Может, его нарочно послали, чтобы подшутить над ним? Это мне неясно и до сих пор. Больше я его не видел; он, видимо, избегал попадаться мне на глаза. Позднее я слышал, что он уехал в Италию вместе с персоналом посольства и не вернулся на родину. Так что же заставило его упасть на колени и плакать — грехи Муссолини или сознание вины, что в годы войны он жил лучше меня? Вряд ли. Не верится, чтоб он был так деликатен и чувствителен. Скорее, животный страх бросил его на колени, как это случалось со многими такими людьми в нашей стране. А может, у него были какие-нибудь тайные грешки, кото-

рые тревожили его нечистую совесть? Не знаю. По-разному поступали в то смутное, сложное время. И доверчивые люди вроде меня легко попадались на удочку. Вот, например, какая комическая история разыгралась чуть ли не на следующий день.

Опять позвонили у входной двери. Выхожу и вижу перед собой крупного статного мужчину лет тридцати. Весь он светится радостью, восторгом, его черные глаза искрятся от любви и дружеских чувств. Смотрит на меня — не может нарадоваться.

— Рот Фронт, Камен! — кричит он, поднимая руку.

— Рот Фронт,— смущенно говорю я.

А он бросается мне на шею, обнимает, хлопает по плечу.

— Наконец-то мы встретились живые и здоровые! — всхлипывает он, на глазах у него слезы.— Попил этот фашизм нашей крови! Совсем нас довел!

Я недоумевающе смотрю на него.

— Ну как, хоть со здоровьем-то у тебя хорошо? — Он отошел в сторону, утирая слезы.— Нервы у меня от тюрьмы разошлись, все плачу... У тебя-то хоть все в порядке?

— В порядке... Но извините, не могу вспомнить, где мы познакомились... Где виделись?

Он перестал вытирать слезы и укоризненно, даже немного обиженно посмотрел на меня.

— Быстро же мы забываем друг друга, Камен!

— Простите, но не могу вспомнить, в тюрьме мы познакомились или еще где... Просто забыл.

— Как можно забыть, Камен!.. Разве можно!

— Не были ли вы арестованы в связи с провалом железнодорожников?

— А ну-ка вспомни! Не скажу, вспоминай сам!

— С Фердо... С Фердинандом Маноловым вы не были?

— Как же, с Фердо! — ухмыльнулся он.— Вспомни же ты наконец!

— Из Сливенской тюрьмы?

— Подумай еще!

— А с бай Дочо вы не были в Софийской тюрьме?

— Бай Дочо отвезли в Плевенскую.

— Разве так?

— Ты и это забыл? Вот это да! Бай Дочо сначала перевели в Сливенскую, потом в Пазарджикскую, а уж потом в Плевенскую... А жизнь в тюрьме!.. Таскали нас по тюрьмам, истрепали нервы, а я вот получил ревматизм и язву двенадцатиперстной кишки.

— Да, плохо было.

— А помнишь голодовку? Или подожди, это было в Варненской, а тебя там не было...

— Там был Гошкин.

— Да, Гошкин... Замечательный оратор.

— Скорее, философ.

— Диалектический материализм.

— Все-то ты помнишь,— усмехнулся я.

— Да как же не помнить? Такое всю жизнь помнится.

— А бай Замфир с вами был? — увлекся я.

— Какой Замфир?

— Тот, старый, лысый, участник восстания двадцать третьего года.

— А, да, бай Замфир Попов.

— Не Попов, ты его путаешь с расстрелянным... Бай Замфир, кажется, из Русе.

— Смотри-ка куда махнул... прямо в Сентябрьское восстание. Да как же мне не помнить бай Замфира из Русе.

— Он спал на походной кровати,— продолжал я,— каждое утро ее складывал, словно в поход собирался. Большой оригинал был. И все грел на солнышке живот...

— Ничего себе оригинал. У него язва была как у меня.

— Вроде бы, я слышал, он жаловался, диету соблюдал, не ел что попало.

— И я не ел... острого, кислого, соленого — ни в коем случае!

— Язва — это просто ужас, особенно в тюрьме. Трудно соблюдать диету, да и вообще...

— Мне-то уж можешь не говорить.

— Ты принимал участие в разгроме Плевенской тюрьмы? — продолжал я любопытствовать.

— А как же... Мы как взяли эти рычаги да бревна, охранники в мышиные норы попрятались. Я одного подлеца чуть не вздернул на виселицу, да только руки марать не хотелось в день свободы.

— А сопротивление оказывали?

— Чуть нас не пристукнули, хорошо братушки подоспели... Иначе много бы крови пролилось. Ничего, кончилось все. Кончилось. Теперь мы свободны.

— Да, кончилось,— сказал я,— теперь новую жизнь начинаем.

Он поднялся на цыпочки и через мою голову заглянул в отворенную дверь.

— А ты все такой же идеалист, вроде меня. Это твоя квартира?

— Нет, снимаю.

— А у меня и такой нет.

— Работаешь где-нибудь?

— Я в группе Стаматова. Едем на этих днях на фронт, бить фрицев. Борьба продолжается, как говорит Крум Кюлявков, а враг беспощаден...

— Ты артист?

— Да, участвую в агитбригаде «Бей врага!»... А ты не знаком со Стаматовым?

— Знаком, но немного.

— Большой оригинал. Срочно посылает меня в Плевен, а командировку не оформил. Поезд уходит через час, а денег не хватает. И все дело провалится. А я за него болею...

— Сколько тебе денег не хватает? Много?

— Немного, да не в том дело. Деньги я могу занять, разве в этом суть. Сейчас друзей много, сколько хочешь. У кого ни попроси, каждый даст.

— Ну, сколько же?

— Да немного.

— Пятьсот?

— Да, пятьсот пятьдесят. Я, когда вернусь, разумеется, тут же рассчитаюсь... Вообще-то я мог бы заскочить к Марко Марчевскому, мы с ним старые друзья, но он живет уж очень далеко, а у меня поезд на Плевен в 8,15... Понимаешь, в какое дурацкое положение поставил меня Стаматов?

— Говоришь, пятьсот пятьдесят?

— Да.

— Очень сожалею, но у меня только триста двадцать левов.

— Ну и влипли мы! — воскликнул он.— Только триста двадцать?

— К сожалению, да.

— И ни лева больше?

— Ни лева.

— Вот несчастье! — ударил он себя по лбу.— А я рассчитывал на тебя как на старого друга.

— Очень сожалею, но это все мои деньги.

— Да, понимаю, не всегда у человека есть деньги. Но поезд уходит в 8,15. Где же мне их раздобыть?

Он смотрит на часы.

— Влипли мы... И как я не подумал, что может такое произойти... Что же теперь делать?

Оба мы взволнованно смотрим друг на друга. Я чувствую себя виноватым. Из-за меня человек не попадет на поезд. Что делать? Как выйти из затруднительного положения?

— Может, мне попросить взаймы у соседей? — в конце концов предлагаю я.

— Нет, прошу тебя,— возражает он,— не нужно так унижаться.

— Почему унижаться? Это же просто услуга.

— Прошу тебя, Камен, ты меня обидишь. Давай эти триста двадцать левов, остальные я как-нибудь раздобуду.

— Хорошо. Раз сможешь раздобыть...

— А что делать... У вокзала живет один мой приятель. Я сейчас же поеду на трамвае. В другой раз не следует связываться с такими артистами, как Стаматов... Так меня подвел!

Я отсчитал триста двадцать левов и извинился, что больше нет. Он взял их, поспешно сунул в бумажник, даже не пересчитав, обнял меня на прощание и бросился к трамвайной остановке. На повороте, прежде чем скрыться из вида, поднял руку — «Рот Фронт» — и улыбнулся. Я вернулся в комнату, посмотрел на пустой бумажник и задумался: «В самом деле, откуда я знаю этого человека? Где его видел?» Я напрягал память, перебирал людей, с которыми сидел в тюрьме и делил радость и горе, но не мог вспомнить. В конце концов махнул на это рукой.

Прошло несколько лет. Я жил уже на другой улице, моя квартира находилась на пятом этаже. И как-то утром на площадке этажом ниже услышал знакомый голос. Даже не столько знакомый голос, сколько знакомые фразы.

— Быстро же мы забываем друг друга! Как же так, не помнишь меня!

— Извините, не могу вспомнить,— отвечал мой сосед.

— Неужели? А на вокзале, когда отправлялись на фронт?..

— Извините, но я не был на фронте.

— Ну и что, ты провожал, и я провожал.

— Не могу припомнить,— отчаянно защищался сосед.— Я не провожал никого на фронт.

— Так! Значит, забываем друг друга...

В тот же миг мне вспомнилась моя история, кровь у меня закипела, и я бросился вниз, где шел этот разговор. Я увидел того же здоровяка, правда немного постаревшего, ту же фальшивую улыбку, те же длинные руки, которыми он когда-то обнимал меня, и разозлился еще больше.

— Он мошенник! — закричал я.— Пять лет назад и меня уверял, что мы знакомы...

— Да? — Он обиженно обернулся ко мне.— Вы кто?

— Я тебе сейчас покажу, кто я! — гневно крикнул я и хотел схватить его. Но он отступил, повернулся и бросился вниз по лестнице, перепрыгивая через несколько ступенек.

— Мошенник! — крикнул я ему вслед.— Держи его!

Сосед, побледнев, смотрел на меня. Он выглядел так, будто только что вырвался из волчьей пасти. Он стал благодарить меня и рассказывать, в какую историю его пытался впутать мошенник.

Я поднялся к себе, но долго еще не мог успокоиться.

5.

Мир старого — «берлога зверя», как о том не умолкая твердили наши «агитбригады»,— поддавался не так уж легко, но мы продолжали упиваться триумфом, опьяненные победами, и это, быть может, было лучшим средством от раннего постарения и мещанского скепсиса. Мы были альтруистами. И те, кто намечал двухлетки и пятилетки «переходного периода», действовали с романтикой и размахом. Мне вспоминаются письма и телеграммы Димитрова из Москвы и его речи о моральном и политическом единстве нашей нации. Он обращался ко всем, и слова его звучали по всей стране. Предупреждал он и наш Союз писателей: у литературы нет других интересов, кроме интересов народа... Вспоминаются мне наши первые дела, когда мы собирали кирпичи разрушенных зданий, чтобы восстановить искореженное бомбами и фашизмом, разбивали скверы. Вспоминается и участие в первых бригадах по «сближению города и села». Тысячи людей отправлялись из Софии по окрестным селам брататься с сельскими тружениками, как будто нас разделяло уж такое большое расстояние. Портные, кузнецы, каменщики, парикмахеры сновали по сельским площадям, сопровождаемые собачьим лаем. Среди них мотались и мы, деятели культуры,— где песней, где стихотворением развлекали хитрых шопов, пока их брили или лудили им медную посуду, сваленную на площади, или же пока портные латали их разодранные штаны и безрукавки. Как завидовал я тем, кто делал какое-либо полезное дело!

На собраниях писателей мы постоянно говорили о явлениях нового, о новом человеке, снова и снова заявляли о своем намерении описать его в своих произведениях, но не знали, как это сделать, с чего начать. За что критики постоянно ругали нас в газетах и на собраниях, в общем «надирали уши».

В это время мало-помалу начали организовываться молодежные бригады, из которых вышло целое поколение болгарских поэтов. Как и все, я решил поехать на Хаинбоазский перевал и в один прекрасный день вместе с Челкашем и двумя художниками очутился с записной книжкой в руках на перевале Республики. У Челкаша, как и у меня, ничего с собой не было, кроме парусиновой куртки и записной книжки, а художники вооружились холстами, красками, мольбертами. В пути было очень весело, все много смеялись. Художники выпили в вагоне-ресторане, и, сойдя на станции Гурково — исходном пункте перевала Республики,— мы стали уже «приятелями и друзьями на всю жизнь».

В Гурково было очень оживленно. По всему селу разносился рев грузовиков, проезжавших по площади и тащившихся по горной дороге в облаках пыли. К вечеру грузовики возвращались с объектов, подбросить нас в горы было некому, и мы решили переночевать в селе. Нам отвели комнату над закусочной. Закусочная эта одновременно служила и магазином, где продавались самые разнообразные товары. Мы решили там перекусить и отдохнуть с дороги. За столиками было полно людей — пили, курили, громко разговаривали, спорили, ссорились. Я вытащил записную книжку — принялся записывать лозунги, что были на стенах, и доносившиеся разговоры. Челкаш ухмылялся над стаканом красного «питья»:

— Пиши, я потом проверю, правильно ли ты записал... Только смотри не пропусти чего-нибудь!

Старался не отстать от меня и художник-график. То и дело поглядывая на крестьян за столиком, он набрасывал в альбоме их небритые физиономии.

— Надо использовать натуру, пока есть время,— говорил он.— А потом в мастерской можно и воссоздать художественные образы. Налей-ка мне да не суй нос в рисунки.

— Ты бы уж прихватил фотоаппарат... для твоей натуры,— сказал Челкаш, наливая вина художнику.

Этот мимолетный спор о натуре и воплощении ее в художественные образы я пропустил мимо ушей, продолжая рьяно записывать первые впечатления, хотя они были хаотичными и неясными. К десяти часам закусочную закрыли, и мы перешли допивать вино в комнату на чердаке. Я не пил, что забавляло моих друзей. Время от времени они предлагали мне выпить, добавляя при этом:

— Да не трать ты на нас бумагу. Мы не новые люди. Новые люди наверху, на перевале.

Подвыпившие люди становятся откровенными.

— Не забывай,— продолжали они,— о переходном периоде, в который мы живем. Остальное — все романтика.

— Революционная романтика,— поправлял их я.— Мы продолжаем дело тех, кто боролся против фашизма и принес нам свободу.

— Ты прав,— отвечал Челкаш,— но никогда предубежденно не следует относиться к фактам. Люди сложнее, чем нам представляется. Синие береты и синие рубашки — только внешняя сторона бригадирского движения. Под ними бьются сердца новых людей. Если нам удастся проникнуть в их сердца, значит, мы поймем этих людей. А это сложное и трудное дело.

— И все же с чего-то надо начинать, хотя бы с синих рубашек и синих беретов.

— Грохот грузовиков и удары кирок и лопат — это только декорация,— продолжал Челкаш,— а истина в другом. Истина может быть и за декорацией, может быть перед ней, на самой сцене... Новый человек не упал с неба. Он родился и сформировался гораздо раньше, если хочешь, еще во время Сентябрьского восстания 1923 года. А может, и раньше.

— Да, но сейчас у нас другие факты, другие явления в быту, в жизни людей, и они непременно отражаются на их психологии. Ведь человек двадцать третьего года отличался от человека сорок четвертого. В его жизни произошли глубокие качественные изменения.

— Не отрицаю, но закваска нового человека — в революции и борьбе с угнетателями.

— Если так рассуждать, можно добраться до французской революции.

— До французской не доберемся, а до Октябрьской — обязательно.

— Другими словами, новый человек — историческая категория.

— Это решит бай Тодор Павлов,— улыбался Челкаш,— а нам нужно внимательнее и глубже приглядываться к людям.

Художники уже храпели, а мы продолжали говорить о новом человеке и новой тематике, исполненные радостей и надежд наших юношеских мечтаний.

На следующий день мы на грузовике поехали в горы, примостившись на мешках с цементом. Сразу за околицей села пошла трасса нового шоссе, которое вскоре пробьется сквозь горные кручи. Навстречу и обгоняя нас, двигались старые разбитые машины со строительным материалом. То тут, то там в их кузовах мелькали люди в синих беретах, ради которых мы приехали, привлеченные романтикой. Чем выше забирались мы к перевалу, тем труднее становился путь. Но грузовик, натужно ревя, героически преодолевал впадины и крутые склоны. Уже слышны стали первые взрывы. Появились и первые «массовые сцены» — юноши и девушки разравнивали трассу, везли тачки со щебенкой и землей, вонзались бурами в гранит, толкали вагонетки, нагруженные большими острыми камнями. Наш грузовик двигался теперь медленно и осторожно. Художники раскрыли свои альбомы, мы с удивлением смотрели на новых людей.

В штабе бригад, который располагался на живописной полянке, окруженной буковым лесом, нас встретили любезно и в то же время сдержанно. Там было известно, что мы писатели. Нас внимательно выслушали, показали палатки, столовую, красный уголок, площадку, где выстраивались на вечернюю перекличку бригады второго батальона. Все было организовано на полувоенных началах. Это меня несколько поразило, однако хозяева поспешили заверить, что после работы остается достаточно времени для отдыха и личной жизни. Вот, например, серна Горица, которую ребята приручили и постоянно о ней заботятся. Вот шахматный клуб. И «культурный центр» с библиотекой. Вот темы лектория, в которых рассматриваются вопросы любви, брака и семьи. А вот та девушка — мне показали ее издали — была наказана за то, что целовалась в лесу с парнем!.. Все любят и все ревнуют одновременно! Нужно быть начеку!..

Когда закончился рабочий день, окрестные склоны огласились звуками аккордеонов. На вечерней перекличке вспыхнуло пламя костра. Поэты декламировали стихи. Певцы пели песни. Языки пламени вздымались до вершины старого бука. Слышался звук трубы. И построившиеся бригадиры давали клятву верности перед памятью погибших комсомольцев: Йорданки, Сашо, Лиляны, Малчика, Свилена. Опускались на колени и пели: «Вы жертвою пали в борьбе роковой». Потом огонь угасал, аккордеоны замолкали, усталые девушки и парни расходились по своим палаткам. Над притихшей поляной, над буковыми лесами, над потоками и скалами, над тачками и лопатами, над кирками и синими, побелевшими от солнца и пота бригадирскими блузами всходила луна. Только цикады стрекотали, навевая сон. И юноши и девушки засыпали; они еще будут любить и разочаровываться, страдать и радоваться; становиться новыми людьми, строителями нашего социалистического общества, не заметив сложных путей этих перемен и духовного преобразования...

Это предоставляется нам, писателям, мы должны разобраться в лабиринтах великой и неясной тайны, имя которой человеческая душа.

6

Так мы подходили к большим темам — ощупью, не имея опыта. Завтра было для всех нас ранним рассветом, когда светотени еще не улавливаются взором. Мы пока не знали, что свет и тень рождаются вместе и вместе умирают в своем вечном противоречии.

Как-то один мой знакомый, с кем мы вместе сидели в тюрьме, напомнил мне о Горьком.

— Помнишь речь, которую ты произнес по случаю его смерти?

— Помню.

— А помнишь, что ты сказал?

— Не все.

— Пишите правду,— сказал ты, цитируя Горького,— и только правду!.. Помнишь?

— Помню.

— Ну, и что ты думаешь?

— Я и сейчас согласен с тем, что сказал тогда.

— Надеюсь!— проговорил он и пристально посмотрел мне в глаза.

Мне стало как-то не по себе. Неужели мой старый друг сомневается? Ведь все, что мы делали, делалось во имя правды. Разве можно сомневаться?

Он поднял рюмку:

— За правду... За правдивую поэзию!

— За правду,— отозвался я.— За правдивую поэзию!

И мы чокнулись. Наши рюмки зазвенели, словно подкрепляя эту своего рода клятву.

Шли годы. Порой я возвращался к ранее написанному. Читал и предавался размышлениям. И вновь мне слышалось:

— Пишите правду!

Фраза стала банальной, поскольку мы все ее повторяли, но для меня в ней сохранялась сущность — прозвучавшее тогда предостережение. И каждый раз я спрашивал себя: не изменил ли ты клятве, не попал ли в сеть лакировочных слов и обманчивых представлений?

Все эти годы я много ездил: Добруджа, Фракия, Родопы, Дунайская равнина... Я искал истину, а истина искала меня.

Однажды меня послали в село Брезово, Пловдивского округа, написать очерк о трудовом кооперативном земледельческом хозяйстве, которое вышло в округе на первое место. Было это весной. Цвели деревья, зеленели поля, аисты вышагивали на лугах. Очерк я озаглавил «Апрель в Брезово». Кооператоры, хотя дел у них было по горло, уделили мне много внимания. Повели по участкам, познакомили с лучшими звеньями, показали животноводческие фермы — все это делалось с гордостью. Все было великолепно. Именами и цифрами я исписал весь блокнот. Поговорил с агрономом, с лучшим бригадиром, с председателем хозяйства. Все разузнал. И на следующий день, чрезвычайно довольный, уехал в Софию. Сел за машинку и написал очерк. Много места уделил природе. Излил свои восторги по поводу достижений этого хозяйства. Привел немало цифр. Но к середине очерка почувствовал, что стал он скучным и неинтересным. Я сам его потом еле дочитал. Тем не менее очерк напечатали, жизнь пошла дальше своим чередом.

Через несколько лет я снова очутился в Брезово. Здесь за минувшие годы произошли глубокие перемены. Теперь я мог бы спокойно озаглавить свой очерк «Брезово после апрельского Пленума», но я приехал просто повидаться со старыми друзьями и приятелями, а не писать очерк. И вот за обедом речь зашла о тех временах. И заговорил об этом не кто иной, а сам председатель хозяйства, которого поддержал парторг. Я присутствовал при том, к чему можно было отнести слова Маркса: «Это нужно для того, чтобы человечество в е с е л о расставалось со своим прошлым». Было именно так. Брезовские руководители наперебой рассказывали о тех годах, и в их рассказе трудное и грустное перемежалось смешным.

— Работали с утра до вечера,— говорил председатель,— и все не могли свести концы с концами... Трудодень — гроши! Поля не обработаны. Подсолнечник не убран. Кукуруза сохнет. Государственные поставки не выполнены. А мы все в передовиках ходим! А сверху: давай, давай!.. И от яловых коров молока, и от облезлых овец шерсть, и из пустых амбаров жито... Созываю я однажды людей в сельсовет — для очередной проборки. Приехала наш депутат товарищ Рада Тодорова. И она, бедная, ума не приложит, что делать. Но план есть план. Надо его выполнять. Набились крестьяне в ямурлуках, без шапок, нечесаные, усталые. Полна комната народу. Товарищ Тодорова начала говорить. О партийном долге, о гражданских обязанностях, о патриотизме, о классовом сознании, о больших задачах, которые стоят сейчас перед нашей страной, о пятилетке... Молчат люди, слушают... Только вижу я, парень в ямурлуке до пят нацелился поймать залетевшую бабочку. Товарищ Тодорова говорит, а он следит за бабочкой. И вдруг в полной тишине раздается удар по стене. Докладчица остановилась, спрашивает:

— Товарищ, что ты там делаешь?

— Раздавил ее,— отвечает он.

— Разве мы для этого собрались?

И смотрит на меня строго:

— Зачем ты их сюда притащил? Дело делать или мух давить?

— Это не муха, товарищ Тодорова, а бабочка! — отозвался парень.

— Благодарю за уточнение,— отвечает она и смотрит на меня убийственным взглядом.

— Товарищ Тодорова, они очень устали, поэтому так ведут себя,— пытаюсь я объяснить.— Надо бы им отдохнуть, а уж потом...

— Нет,— говорит она,— они будут стоять здесь и слушать. Передовики не могут тащиться в хвосте... И мух ловить.

— Это была бабочка,— упорствовал парень, поправляя ямурлук. Другие пересмеивались. Так мы до конца и не поняли — муха ли то была или бабочка...

Мы очень смеялись в тот день за сытной трапезой, а потом разошлись, пожелав друг другу всего наилучшего. И я понял, что люди стали сильнее, потому что научились смеяться,— и те, в ямурлуках, и те, кто ими руководит. Все мужали, все росли. А это было гарантией нашего здоровья.

...Да, речь шла о «берлоге зверя». О тех, кто сбросил бомбу на Хиросиму; и о том, кто кинулся передо мной на колени, прося прощения; и о мошеннике, свободно разгуливавшем по софийским улицам... О старом. И о новом — мы еще не видели его как следует и не всегда могли добраться до истоков. Речь шла о тех, кто боролся в горах и гнил в тюрьмах; и о тех, кто отправился за Драву, Соболч и Харкани и там сложил свои головы; о тех, кто, надев бригадирские рубашки, с кирками и лопатами двинулся на Хаинбоаз и Перник-Волуяк... О тех, что отдали свои наделы и скот в общее хозяйство и хотя ловили бабочек на собраниях и заседаниях, все же были добрыми парнями, на которых всегда можно положиться...

Речь шла о парадном и скромном. О внешнем и внутреннем. О лживом и истинном. Как разобраться в человеческой душе? Как к ней подступиться, чтобы понять до конца и не изменить истине?

В водовороте первых лет у нас не было своей, личной жизни. С утра до вечера каждый где-то бегал, захваченный работой и заботами, собраниями и заседаниями, изо всех сил борясь с недостатками и трудностями «переходного периода». В магазинах было пусто. Еды не хватало. Одежда, которую мы носили, была однообразной, грубой, все еще цвета военного времени. Союз писателей как-то снабдил своих членов одинаковой тканью, по которой мы узнавали друг друга издалека, словно были в форме.

Но наш восторг и радость были так велики, что мы не замечали трудностей. Мы строили новую жизнь. Мы шли вперед.

7

Именно в это время, когда на улицах звенели песни и радость наша не стихала, судьба подстерегла меня и ударила по голове железной рукой. Я открыл глаза и не хотел верить. Произошло непоправимое. В июле 1947 года на пляже в Варне умерла Виска. Я тогда был в Софии, собирался в Чехословакию. Первым позвонил по телефону Камен Зидаров, сообщил эту страшную весть без околичностей, сразу. Я не мог перевести дыхание. В тот же вечер вместе с родителями Виски я выехал в Варну. Всю ночь в поезде мать ее проплакала. Я стоял у окна и молчал. Когда мы подъезжали к Варне, взошло солнце, и вот тогда-то, поняв, что она никогда его больше не увидит, я тоже заплакал.

Виска часто выступала по радио с чтением стихов. Была она известной артисткой. Работала в Молодежном театре. Еще до Девятого сентября застенографировала воспоминания бабушки Парашкевы о детстве Георгия Димитрова. Виска выполняла все, что поручал ей комсомол в трудные годы подпольной борьбы. А теперь все исчезало в непроглядном мраке небытия, и нам в утешение оставалась только эпитафия, написанная поэтом Божидаром Божиловым: «Жизнь твоя, претворенная тобою в слово, будет нам светить в дни героические и суровые». Больше ничего не было. И не могло быть. Философы не нашли лекарства успокоения. И не найдут.

Встреча со смертью многое переменила во мне. Я бунтовал, не мог примириться и согласиться с внезапным ударом судьбы, как не могли примириться и согласиться миллионы людей до меня. Зачем, спрашивал я себя, бессмысленно гибнет нерастраченная энергия, вырванный побег, смятый цветок, сломанный тростник? Молодость нужна миру. Ей нужно уступить годы и дни, чтобы она видела небо и леса, воду и солнце хотя бы столько, сколько видели мы, более зрелые.

Вспомнился мне один разговор. Еще до Девятого сентября, в разгар подпольной борьбы. Было это, кажется, на Витоше. Спор зашел о смысле жизни, о том, кто как хотел бы умереть. Одни говорили, что хотели бы сгореть в пламени борьбы, не ожидая никаких наград от жизни, потому что нет ничего более великого и прекрасного, чем гибель за свободу.

Другие отвечали: умереть за свободу — это нечто великое, несравнимое ни с каким иным подвигом, иной жертвой. Но какой смысл в борьбе, если не стремиться увидеть завоеванную свободу, вкусить ее плодов? Человеку присуще желать свободы и достичь ее.

Челкаш и Виска были за первый тезис. Они говорили:

— Лучше умереть в пожаре битв и классовых столкновений, чем уже сейчас рассчитывать на какое-то будущее благополучие. Это вопрос морали. Речь идет о героическом и великом. Оно определяет мораль и ценность нашей жизни.

Я же утверждал обратное.

— Хочу увидеть свободу,— говорил я,— и тогда умереть. Предпочитаю упереться мечом в труп поверженного врага и потом уж спокойно умереть, чем погибнуть с открытыми глазами, так и не увидев свободы. Ведь это же трагедия — умереть до победы.

Спор был долгий и горячий. Мы прощались со своей молодостью во имя Победы и Свободы. Мы спорили, чтобы в решающий момент наша рука не дрогнула. В этом смысле мои оппоненты были правы. И я уступил им. Но все-таки сказал:

— Я хочу увидеть развевающееся красное знамя на площади Софии и потом заснуть навсегда в своем кресле.

— Можно ли желать такой смерти, когда люди уже гибнут на баррикадах? Подумай, что ты говоришь!..

Действительно, в то время уже были казнены Александр Войков и Йордан Лютибродски. Их предсмертные письма мы читали и перечитывали, знали их наизусть. В тюрьме я написал стихотворение об Александре Войкове. Мне рассказали, как холодным утром он пошел на виселицу. Надел новый костюм, завязал галстук, начистил ботинки (прямо как в народной песне: «Чтоб рубашка моя белела, чтобы кудри развевались!»). А когда проходил по двору, осторожно обогнул лужу, чтобы не забрызгать ботинки, и молчал, сосредоточенно глядя перед собой. Это потрясло даже тюремщика, который у виселицы сказал ему:

— Ты что для этой невесты стараешься, парень, будь она проклята!

Войков молчал. Потом сказал:

— Стараюсь для товарищей, которые смотрят на меня из камер... Для них я оделся и начистил ботинки...

Легенда о его смерти долго волновала меня. Я был в той же тюрьме, что и он. Ходил по тому же двору. Мысленно представлял себе путь, по которому он шел к виселице, подтянутый, тщательно одетый, и не мог успокоиться. Почему у него отняли жизнь в то холодное туманное утро, прежде чем взошло солнце и пробудились люди?..

Наш спор о жизни и смерти затягивался, пока, наконец, не зашел в тупик. Челкаш, улыбаясь, поднял руки:

— Сдаюсь!

— А именно?

— Согласен умереть, но после того, как увижу, что пролетарские штаны сушатся на балконах улицы Царя-освободителя.

Мы рассмеялись. Юморист оставался юмористом даже во время самых серьезных споров. Но в жизни было именно так, как шутливо предрекал он.

После Девятого сентября, в первые годы нашей свободы, «пролетарские штаны» долгое время развевались на балконах улицы Царя-освободителя и на многих других балконах и бульварах, где поселился победивший класс, доживший до свободы.

Что бы мы ни делали в те годы, пройти мимо вопросов о жизни и смерти не могли, потому что они не оставляли нас, даже когда мы отмахивались от них с философским безразличием. Трагическое и радостное жило рядом друг с другом. Тени отчаяния подкарауливали нас и неожиданно отравляли наши радости. Я вспоминаю первую встречу с Сибилой, женой Эмила Шекерджийского, после Девятого сентября. Это было где-то около университета. Улица гремела от песен и криков. Вооруженные и невооруженные люди ехали на грузовиках, толпами валили по тротуарам, маршировали. И отовсюду: «Рот Фронт», «Ура», «Да здравствует», «Смерть фашизму — свободу народу»... Конца не было человеческому потоку и человеческой радости. София праздновала свою свободу, свое счастье.

Сибила увидела меня в толпе и бросилась навстречу. Она плакала:

— Нет Милчо! Нет его!.. Что делать?..

Я не знал, как ее утешить. Подняв руку, она приветствовала проходившие мимо партизанские колонны и плакала.

Время! Время!.. И слезы и радость принесло ты нам! А ведь сердце у нас одно. И мы не знали, как соединить их и как пережить. И сколько еще матерей и жен, в сердцах которых до сих пор живут вместе радость и слезы! Кто их утешит?..

8

Календарные годы шли друг за другом в общем-то незаметной чередой. Межи времени обозначались романами, которые я писал — хорошими или плохими,— и я не искал примирения со своей судьбой. Работать и жить во имя тех, кто ушел, и ради тех, кому еще суждено прийти,— это было самое простое и действенное лекарство. Я принимал его и шел вперед. Это «вперед» имело для меня совершенно реальное значение. Я вставал утром, садился за машинку и продолжал писать: «Чехословацкий дневник», «Сын рабочего класса», «Хаинбоазские мотивы», «Живые помнят». Иногда останавливался и спрашивал себя: не слишком ли я тороплюсь? Я никак не мог забыть, с ка-

ким высокомерием старый известный критик высказался о первом моем романе «В конце лета», не мог высвободиться из паутины колебаний. Спрашивал себя, прав я или нет. Чувствовал, что меня привлекают лирические интонации, тихая улыбка, цвета радуги, а критик говорил — нет!... Я пятился от занесенного им хлыста, которым он собирался меня ударить, виновато мигал, словно застигнутый на запрещенной территории. Он требовал от меня мотивов, доказательств, аргументации, реалистического подхода. Ругал за то, что пишу романы, а не рассказы, толковал мне о жизни, как будто сам был этой жизнью и у него нужно было учиться. И нигде ни слова о том, что называется искусством, интонацией, атмосферой.

...Струна звенела, и я шел за этим звуком с намерением раскрыть истину. Я попытался это сделать в романе «На границе», вкладывая при этом в его заглавие символический смысл: на границе двух миров, двух эпох — капитализма и социализма. Оба мира должны были, разумеется, присутствовать в моем повествовании. И я их, как полагается, и расположил.

Мне легко дался образ губернатора Цено Райкина. За годы, проведенные в армии, в селе и в канцеляриях, всюду, где были начальники и подчиненные, мне не раз встречались подобные люди. И сам язык этих полуинтеллигентов-тиранов был мне понятен, я слышал его много раз. «Ржавчина прошлого» отвечала моим представлениям о «буржуазных пережитках». И я писал с увлечением.

Однако, приступив к описанию Никулиной, нового человека, я вдруг почувствовал, что у меня появляется какая-то преднамеренность даже в обрисовке ее внешнего вида — она должна быть красивой, русой, привлекательной. Разумеется, немного взбалмошной и фанатичной, но не очень, в рамках приемлемого, в соответствии с предложенной дозой. К тому же я заставил ее написать письмо в Центральный Комитет, которое она бы сама, может, и не написала, потому что в сфере ее деятельности были только инструкторы околийского комитета. Я навесил на нее и другие украшения, которые не шли ей, и решил, что создал образ положительного героя. Оставалось только взять молот и ударить по колену Моисея:

— Говори!

Но он молчал.

Сейчас легко рассуждать о конфликтах тех лет. Трудно было писать о них. Все получалось, что разрубаем узел левой рукой. Но презрев иронию недоброжелателей и сторонних наблюдателей, я превращал свою му́ку в стимул и шел вперед.

Так появились зигзаги сложного и мучительного пути, который пролегал через заводы и рудники, водохранилища и каскады электростанций... Терялся на кооперативных полях, в пыли молотилок, был освещаем пламенем сталеплавильных печей. Я слушал рассказы о скорби и радости, о хороших и плохих людях, о счастливой и несчастливой любви, о драмах в семье и коллективе. И где-то в тумане воображения размывались контуры того, что я искал и должен был найти во что бы то ни стало в соответствии с указаниями и рекомендациями моих доброжелателей.

В то время тревог и волнений я случайно встретил на улице знакомого журналиста, который похвалился:

— Только что приехал из Габрово.

— Что нового там?

— Большие дела, братец!

— Какие, например?

— Скоро десять человек станут Героями Социалистического Труда.

— Чудесно. А кто они?

— Ткачи.

— Браво.

— Я решил было написать о них роман, но в их бригаде произошло такое, что меня смутило. Не в духе нашего нового времени, понимаешь?

— А что случилось в бригаде?

— Бригадир — в сущности, душа трудового почина — демонстративно ушел из бригады.

— Как же так?

— Да вот так. Сейчас это сенсация в Габрово. Все только об этом говорят: передовик уходит из бригады и становится разнорабочим на вокзале, грузчиком.

— Не может быть!

— Не может, но это факт. А факты — упрямая вещь.

— Да, ты прав. И все же каковы причины? Видимо, причины очень серьезны?

— Есть, конечно, но они частного характера.

— Что значит «частного характера»?

— Семейная история. Он разводится с женой и женится на другой. Бригада поднимается как один и говорит: «Нет». Начинаются споры, увещевания, уговоры, угрозы. Или возвращайся к жене, или уходи из бригады! Он, конечно, уходит из бригады.

— Из-за любви?

— Может, не столько из-за любви, сколько из самолюбия. Все же он передовик, гордый, обидчивый. К тому же и организатор этой бригады. Понимаешь, какая безобразная история?

— А что думает партия?

— Партия и общественность на стороне бригады.

— И что же теперь?

— А теперь он грузчик на вокзале вместо того, чтобы быть Героем Социалистического Труда. Правда, интересная тема? Напишу очерк, а то чересчур сложно. Ты бы поехал, познакомился с этим случаем, очень уж интересно. Мне кажется, ты из тех краев?

— Да, оттуда,— ответил я. А потом долго бродил по софийским улицам и спрашивал себя: «Почему? Почему он поступил так? Ведь передовик. И где граница между новым и старым? Или, может, мы преждевременно стареем?»

Так родился роман «Семья ткачей».

Я широкими шагами шел путями истины, дерзко отметая вмешательство «внутреннего редактора», основываясь на принципах, которые и тогда, и сейчас, и всегда, подтвержденные партийными документами исторических съездов, были и будут ориентирами нашего коммунистического кредо. Во имя их возвышал я голос. Ими оправдывал высказанное острое слово. Ими мотивировал поиски и раскрытие того, что мы называем конфликтами и противоречиями роста. И, кажется мне, не путался и не ошибался.

В моей жизни появился и еще один фактор (назовем это так), который в немалой степени облегчил продвижение по избранному пути. Появилась Мария.

Она мелькнула неожиданно в годы личной боли, а потом встала рядом, наделенная той простотой, которая присуща художникам. Это была худенькая девушка с черными круглыми глазами, словно взятыми из графики Чарушина. Она разъезжала по софийским улицам на велосипеде, взволнованно спорила и дискутировала со своими друзьями по Художественной академии о новых путях живописи, о современном смелом рисунке, присущем молодым людям и молодому миру.

Незаметно и я полюбил это искусство, поиски в котором мало отличались от поисков литературных. И с благодарностью ощущал взаимодействие и обновление, которое было мне необходимо в те годы, и сейчас, и в будущем.

Но это уже другая тема, другой рассказ, другое повествование, которое, может, суждено мне осуществить в оставшиеся годы нашего великого столетия...

СТЕФАНОС ЗИМБУЛАКИС

Перевод с греческого ЮННЫ МОРИЦ

■ ■ ■

Должны ли плакать мы о пламенном песке,
который поглощен морским набегом диким,
чтоб охладить уста у рыбок золотых?
Прислушайтесь к волне, к волне,
к волне, которая приходит к нам из моря.
Должны ли плакать мы о высохшей слезе,
о капле, добровольно подчиненной танцу
на карнавале, в зарослях веселья,
вблизи часовни, построенной для культа человека?
Должны ли плакать мы о младшем брате,
воюющем в святых писаниях веков
за право на горах опередить
архангелов с мечами и свечами?
Прислушайтесь к волне, к волне,
к волне, которая приходит к нам из моря.
Должны ли плакать мы о струнах мандолины,
чей трепетный изгиб изобразил
любовь среди одной жасминной ночи,
среди кофейных финиковых пальм,
среди речных кувшинок стекловидных?
Но между тем приходят кипарисы,
гуськом стоят и ждут, и ждут, и ждут...

Когда слышишь, как часы бьют полночь

Когда слышишь, как часы
бьют полночь
и земля поворачивается
от сегодня к завтра,
ты надеешься на то, что песню,
о земле какую-то песню
принесет дыхание человечества.

Когда слышишь, как часы
бьют полночь,
ты надеешься на то, что завтра,
на заре,
начнешь копать почву
для того, чтобы свой голос
положить, как зерно, в земную ось.

Когда слышишь, как часы
бьют полночь,
ты надеешься на то, что стрелки
зашагают быстро и крупно,
по великому кругу Истории,
приземляющей подробности мира.

Когда слышишь, как часы
бьют полночь,
ты надеешься на то, что завтра
грустные цветы
взойдут снова,
но не будет лучевой болезни
в нежных прожилках растений.

Когда слышишь, как часы
бьют полночь,
ты надеешься на то, что завтра
или, может быть, послезавтра
человечество выиграет
голубя.

Цикл поисков

Когда мысли мои разрезают летящие чайки,
в четырех измерениях,
в объеме четырех моих поисков
я вижу подлинник мира — все четыре его этажа.
Тогда в какой-то горячке решаю одновременно
стать мудрецом, поэтом, бродячим купцом и богом.
Я предлагаю стихи. Но ими пренебрегают.
Мудрость. Какая мудрость, если все — мудрецы.
Тогда, рассуждая трезво, мне надо уйти из мира.
И я отвергаю себя.
С трудом волочу перо, оно блуждает бесцельно:
дорогая, моя дорогая душа.
Я — улыбка поэта.
Я — старый корзинщик
и странник-цыган.
Я — ничто. Я — ничто.
Я — Смерть и Жизнь.
Не надо бояться, будь рядом со мной.
Перекладины призрачных очертаний,
обман сновидений.
Руки, руки и ноги, которые переломаны
и валяются в пепле,— это модно и современно
и зовется модерном.
Небо, земля и солнце —
для матери, для отца.
Я — Смерть и Жизнь.
Если слова — это старые, истрепанные фасады,
а не заглавия чувств, не имена поступков,—
значит, судьба и это подвергнет одушевлению.

Слова увядают временно, их бессловесность временна,
это пройдет и умрет
с первым потоком, который провалится в землю.
Дорогая, моя дорогая душа.
Я — Смерть и Жизнь.
Первый поиск — я сам.
Второй поиск — весь мир.
Третий поиск — все то, что со мной вернется.
На четвертой вершине — мой первый провал.
Если это случится, я честно дождусь
потока, который провалится в землю.

Образ

1

Шагая
под мостом чугунным,
когда часы необходимость бьют,
чтоб гасла колыбельная молчанья
и временно была усмирена,
и чтоб насытился полет
твоих занудливых желаний,
полет, который выбрал путь
по нежной ткани человечьей,
шагая с латунным котелком
и оловянной флягой,
солоноватой от питья надежд,—
не ты ли в образе находишь выраженье
своих порывов и своих страстей.

2

Эта ночь
так достойно
и так безупречно
королевой на сломанных каблуках
под хоральными звездами
плетет в ностальгической пластике,
в очаровании мыслей
неистребимо младенческий
образ цветов.

3

Полдень,
который движение
лодки
метит, согласно
песчаной метафоре,
уберегая гребца при ходьбе,
зернышко чувства, порыва, мотива
ежедневно у солнца берет.

Критика

И. МЛЕЧИНА

НОВА ЛИ «НОВАЯ ЛИТЕРАТУРА»?

В последние годы в Западной Германии чаще, чем прежде, говорят о кризисе «старой литературы». Что же касается романа, то его «гибель» рассматривается многими писателями молодого поколения, особенно принадлежащими к «новой левой», как аксиома. Дли них уже и Грасс, и Фриш, и Бёль — «классики», устаревшие, как «дедушкино кино».

Обязательной посылкой таких рассуждений является мысль о том, что традиционные жанры безнадежно изжили себя, обнаружили свою несостоятельность в современном мире. Аргументы строятся чаще всего по следующей схеме. Глобально расширившееся «индустриальное общество» с его крайне сложной структурой, недоступной пониманию отдельного индивида, уже не может быть изображено с помощью «конвенциональных» методов. «Шифры окружают сегодняшний день,— пишет профессор Вальтер Йенс.—...Только неполное, осколок, фрагмент еще символизируют расколотый, находящийся в изменении мир... Мир, который за пестрыми фасадами предстает как неясный, призрачный знак, может быть представлен... лишь в шифрах...»

Уже само по себе обращение к существующим жанрам считается подозрительным и ведет к отлучению от «настоящей» литературы. Генрих Формвег, исследователь и теоретик «новой литературы», заявляет: «Применение художественных средств, которые позволяют причислять (произведения.— *И. М.*) к определенным жанрам и их подчиненным формам, ведет к безжизненности текста. Если художник избежал этих средств, то текст достиг определенного контакта с живым опытом».

«Уходит», «прячется» от художника и внутренний мир личности. Проникновение в душевное состояние человека, которое было гордостью «старой» литературы, теперь якобы невозможно: у авторов уже нет ключей к сложному механизму умственной и душевной жизни индивида. Современный рассказчик, по словам Йенса, не считает себя вправе «вскрывать черепные коробки» своих героев, чтобы показывать их содержимое читающей публике.

Крайнее недоверие к литературе и ее возможностям неотделимо от глубочайшей подозрительности ко всем и всяким видам идеологии. В Западной Германии эта неприязнь имеет и свое особое, историческое объяснение. Известны слова Теодора Адорно о том, что после Освенцима нельзя писать стихи. Философ вкладывал в этот свой тезис мысль о невиданных масштабах фашистских преступлений против человечности, злодеяний, перед которыми бледнеют слова. Однако история позорного двенадцатилетия нацистского господства — лишь часть объяснения проблемы. Сомнение в возможностях литературы, как и неприятие всего «идеологического», объясняется не только реакцией на события мировой истории, связанные с нацизмом. Оно вызвано и другими причинами — в частности, тем, что манипуляция словом в пропагандистских и рекламных целях, осуществляемая в западном «обществе потребления» через средства массовой информации, изнашивает язык и делает его — для многих писателей — абсолютно непригодным как средство выражения.

Подозрительность к языковому материалу литературы, к языковым «компромиссам» заставляет обращаться к поискам принципиально новой «субстанции», вне «скомпрометировавшей себя» исторически конкретной реальности окружающего мира. В таком случае единственной сферой литературы становится сам язык, предварительно очищенный от своей коммуникативной функции. Поскольку же язык оказался «замешанным»

в истории и потому подозрительным, его необходимо полностью отделить от понятий, которые он выражает, перестать отождествлять с предметами и явлениями внешнего мира и превратить в независимую сферу, где властвует лишь импульсивная, не подчиненная никаким законам фантазия художника.

По словам литературоведа Генриха Формвега, «центральный импульс литературы последних полутора десятилетий» заключается в «перепроверке соотношения языка с реальностью». Он считает, что в связи с этим процессом в последние годы полностью обновился и роман. В чем заключается обновление? «Место обычных моделей событий и действий заняла разноликая масса монтируемых частиц, из которых каждая вполне самостоятельна, ни одна не претендует на значение и общую обязательность, характерные для буржуазного романа».

Воспроизведение разрозненных, второстепенных элементов реальности, отражение мгновенных импульсов и ощущений вне широкого социального и психологического контекста составляет — наряду с поисками принципиально иной языковой «субстанции» — важнейшую черту «новой» западногерманской литературы. И если при этом разрушение языковых форм становится главной приметой экспериментальных «текстов», то абсолютизация чувственных восприятий и деталей предметного мира наиболее заметно проявляется в творчестве писателей так называемой «кёльнской школы нового реализма».

Программу этой школы разрабатывала в шестидесятые годы группа молодых писателей (Рольф Дитер Бринкман, Гюнтер Хербургер, Гюнтер Зойрен и др.), объединившихся вокруг главного редактора кёльнского издательства «Кипенхойер унд Вич» Дитера Веллерсхофа. Некоторые из них в свое время занимались в семинаре западноберлинского «литературного коллоквиума» под руководством Хеллерера, критика и эссеиста, одного из издателей авангардистского журнала «Акценте», и их литературная практика выражает в немалой степени литературные установки их учителя.

Вслед за французским «новым романом» программа «кёльнской школы», которую западногерманские критики иногда не без злорадства именуют «кёльнским реализмом», делает основной упор на максимально точное описание деталей, на воспроизведение реальности «как она есть». «Вместо универсальных моделей бытия, всяких общих представлений... выступает чувственно конкретный отрезок реальности, современная повседневная жизнь в ограниченной сфере» — так формулирует принципы «кёльнской школы» ее теоретик Веллерсхоф. Литература должна точно воспроизводить все слышимое, видимое, осязаемое, обоняемое, все, что человек воспринимает с помощью своих пяти чувств. По словам Ганса Бендера, соратника Хеллерера по журналу «Акценте», выступавшего в Москве на встрече германистов в конце 1966 года, определяющим для «нового реализма» является познание мира через детали, наблюдаемые в замочную скважину или через небольшую дырку в газете.

Мгновенные вспышки магния — и возникают несфокусированные, смутные снимки; снимается не вся цепь событий и явлений, а ее разрозненные звенья. При всем нарочитом внимании к детали, всей педантичности описаний главное уходит, оставляя взамен второстепенное, частное. Мотивировка характеров и действий исключается: «новый реализм» тщательно избегает всяких обобщений, «идеологического» осмысления. Элементами «идеологизации» реальности объявляются все общественные и нравственные категории, такие понятия, как личность, общество и т. д. Политическая реальность, общественное устройство, экономика — все это почти полностью игнорируется.

Наиболее последовательно принципы «кёльнской школы» реализуются в произведениях Дитера Веллерсхофа, в частности, в его первом романе «Один прекрасный день» (1966).

В этом романе еще есть вполне различимый сюжет. Он разворачивается в мелкобуржуазной среде, на фоне будней современного большого города. Здесь действуют, точнее, существуют старик вдовец и двое взрослых детей: сын, неопределившийся молодой человек, без особых интересов и запросов, и дочь — учительница, с неустроенной личной судьбой, мечтающая избавиться от отца. События, которые происходят в этом романе, хотя и крайне незначительны, но все же создают какое-то ощущение динамики. Во время школьных каникул дочь бросает старика и едет вслед за братом в курортное местечко, где оба ведут «сладкую» жизнь провинциалов с весьма скудным достатком. Но вот каникулы проходят, «блудные дети» возвращаются в отчий дом, где все глухо ненавидят друг друга и тяготятся своей неустроенностью.

Первое, что обращает на себя внимание,— педантичная точность в описании деталей «вещного» мира. Веллерсхоф делает предметом регистрации все — и важное, и незначительное, искажая при этом пропорции и соотношения. Его взгляд подолгу задерживается на малом, второстепенном, и быстро скользит мимо существенного. Интонация нигде не меняется: идет ли речь об однообразном пейзаже (кстати, однообразие пейзажа — характерная и даже почти программная деталь «нового реализма», не случайно именно так — «Однообразный пейзаж»—называется книга другого представителя «кёльнской школы» Гюнтера Хербургера), о тяжелом приступе болезни, о вещах и предметах, загромождающих комнату, или о мгновенно возникающих ощущениях — брезгливости, тошноты, отвращения и т. д. В полном соответствии с этим однообразием авторских интонаций, призванных олицетворять «беспристрастность» и «объективность», монотонным и нарочито

упрощенным предстает и язык романа, максимально «приближенный» к элементам чувственно-предметного мира. Веллерсхоф избегает «художественных фигур», все подчиняя отражению действительности «как она есть»,— правда, чрезвычайно узко понимаемому. Точность описательных элементов здесь сочетается с туманностью целого.

Произведения, подобные «Одному прекрасному дню», еще раз подтверждают, что набор внешне реалистических приемов повествования вне общей реалистической идейно-эстетической концепции автора уводит литературу от подлинного познания и отображения мира. У Веллерсхофа и его соратников «не получается» реалистических произведений — вопреки прокламируемой верности жизни «как она есть» — именно потому, что их идейно-эстетическая концепция, видение мира, понимание личности, общественных процессов носит мистифицированный характер.

В этом отношении еще более характерен следующий роман Веллерсхофа — «Граница тени» (1969). На сей раз писатель создает имитацию психологического романа с элементами детектива. В центре — человек, совершивший преступление (или замешанный в нескольких преступлениях). На его след уже напали, он ищет спасения, пытаясь пробраться к границе. Сам характер преступления, его мотивы, обстоятельства остаются нераскрытыми. Роман представляет собой сухую инвентаризацию чувственных восприятий героя, которые трудно отделить от его же воспоминаний. Бегло упоминаются какие-то люди, по-видимому, соучастники преступления (или преследователи?), женщина, с которой связан герой, но все они возникают лишь в меркнущем сознании, в болезненной фантазии главного действующего лица. Его видение жизни, субъективистски искажающее реальность, полностью вытесняет объективный авторский взгляд. Криминальный элемент почти не реализуется. «Граница тени» — это серия призрачных, расплывающихся сцен. Герой — человек с расщепляющимся сознанием. Приближение его к заветной цели — географической границе — есть в то же время приближение к границе психологической и психической, за которой начинается помешательство. Автор следит за малейшими поворотами этого меркнущего сознания, почти упраздняя все связи с внешней реальностью. Если в первом романе еще ощущалась временная последовательность, то здесь автор отказывается и от хронологического, и от логического упорядочения текста. Совершая прыжки из одной временной плоскости в другую, он вырывается из логики эпизодов, часто прибегает к повторам и варьированию отдельных элементов. В бесконечном потоке «немотивированного мышления» героя мгновенные ощущения и воспоминания переплетены так тесно уже в самом синтаксическом строении фразы, что разделить, оторвать их друг от друга невозможно.

И здесь, как в «Одном прекрасном дне», начисто отброшены всякие социальные мотивировки. «Средние» герои обоих романов существуют как бы сами по себе, в стерильной сфере своих собственных ощущений, куда не проникают «микробы идеологизма».

Казалось бы, детальное описание чувственных восприятий персонажей должно выражать интерес автора к их внутренней жизни. На самом же деле душевный мир героев «Границы тени» остается за скобкой.

Во многом близок к этим двум произведениям роман молодого писателя Рольфа Дитера Бринкмана «Никто не знает больше» (1968). В центре — супружеский конфликт, кризис в молодой семье. Роман начинается в момент, когда этот кризис, судя по всему, достиг наивысшей точки. Жена с маленьким ребенком отправляется после ссоры в курортное местечко. Так и неизвестно, вернется ли она. Герой, которого автор называет просто Он, оставшись один, пытается разобраться в самом себе, в своем отношении к Ней, к окружающим, к друзьям, к миру. Рефлексии героя и составляют сюжетную основу романа. Здесь, в сущности, тоже ничего не происходит — реминисценции наслаиваются одна на другую, обрывки мыслей передаются сплошным потоком.

Прокламируемая школой «нового реализма» объективность в отражении вещей и явлений у Бринкмана оборачивается крайним субъективизмом, в котором тонут намеки на общественную критику.

Роман «вещей» соседствует здесь с романом экзистенциалистской «тошноты». Герой проникнут глубоким отвращением к своему бытию, к жене, ребенку, дому, комнате, предметам, ко всей окружающей реальности.

В своем восприятии внешнего мира он почти не отделяет людей от вещей; все слилось для него в неразделимое и отвратительное целое. Роман проникнут настроением истерии, отчаяния. Оно выражено столь же смутно, неотчетливо, в рассыпающихся длинных фразах, в которых воспоминания героя уживаются с сиюминутными ощущениями, в которых так же трудно отделить прошлое от настоящего, как и в романе Веллерсхофа «Граница тени».

Правда, у Бринкмана гораздо сильнее ощущается соотнесенность с внешним миром. Оставшийся анонимным герой вбирает в себя некоторые черты молодого поколения западных немцев шестидесятых годов, с его враждой к «истэблишменту» и «буржуазности» (понимаемой, разумеется, не столько в социально-классовом плане, сколько как выражение ненавистной добропорядочности, всякой — в том числе и бытовой — устойчивости, нормированности) — и в то же время с его крайней подверженностью тому давлению, которое оказывают на сознание реклама и средства массовой информации.

Герой романа Бринкмана воплощает эту подверженность его поколения обольстительным рекламным мифам, идеалам «общества потребления». Противоречие между реальностью и идеальными представлениями доводится до крайности, рекламные эталоны становятся причиной личной драмы.

Не отдавая себе в том отчета, герой испытывает неприязнь к своей жене прежде всего потому, что она не соответствует — или не полностью соответствует — тем представлениям о «красивом», «современном», «женском», которые со страниц иллюстрированных журналов, с глянцевых рекламных проспектов, с экранов кино и телевидения ежедневно внушает ему промышленность по обработке умов. Бесконечно перечисляемые вещи служат сигналами, символами этого призрачного мира моды. Для атмосферы романа первостепенное значение имеют все эти ажурные чулки и пуловеры с плетеным узором, ремни с пряжками и вельветовые брюки, кожаные куртки и предельно короткие юбки, лакированные сапожки и полосатые блузки. Предметы моды и есть в глазах героя и двух его приятелей воплощение притягательного мира телесного, физического совершенства. Они всюду видят себя окруженными этими бесконечными «дралон-мужчинами», «хеланка-девушками»: товарная марка известных фирм уже сама по себе принимает характер символа.

Однако весь этот внешний мир герой воспринимает как бесконечный и неиссякаемый датчик сексуальных импульсов. Отчуждение между супругами, которое определяет конфликт романа, и нарушенное отношение героя к внешнему миру интерпретируются как вытекающие из биологической природы человека. Характеристика отношений героя с другими людьми дается в одной, нигде не меняющейся плоскости сексуальных ощущений. С обоими друзьями, один из которых гомосексуалист, а другой помешан на классификации женщин по признаку их эротических пристрастий, он тоже ни разу не ведет бесед, хоть в чем-то выходящих за пределы этой темы. Навязанная извне эротическая утопия заставляет его ощущать неблагополучие собственных сексуальных отношений; пестрый мир вещей и рекламы втискивается между героем и его женой, героем и его чувствами, вызывая все усиливающийся и обостряющийся комплекс сексуальной агрессивности и жестокости.

Любопытно было бы сопоставить роман Бринкмана с повестью Кристиана Гейслера «Холодные времена» [1], где также описываются будни молодой супружеской пары. И здесь и там важное место занимает процесс манипуляции человеческим сознанием, превращающий индивида в послушного потребителя, лишающий его духовной сопротивляемости.

Однако именно здесь бросается в глаза принципиальное различие между романом Бринкмана и повестью Гейслера. В «Холодных временах» действуют люди с отчетливым социальным статусом, который почти не обозначен у Бринкмана. Гейслер делает своим героем рабочего, и процесс воздействия на духовный мир личности изображается в повести на широком общественном фоне, как элемент политической реальности. Писатель раскрывает характер и социальную значимость этого явления: рабочего пытаются превратить в покорное, неразмышляющее существо, чтобы в нужный момент использовать как «убойный скот». Гейслер выступает против оглупления, духовного порабощения масс в Западной Германии. У Бринкмана общественный контекст, как уже отмечалось, отсутствует, а индивидуальные мотивы поступков героев сведены в значительной мере к биологическому началу. Мы сталкиваемся здесь с двумя противоположными концепциями, которым подчинен весьма сходный материал. Описание деформации человеческого характера, разрушения личности под воздействием определенных общественных процессов у Гейслера — элемент реалистического воспроизведения действительности, гуманистический пафос повести рождает чувство боли за человека и сознание необходимости общественных перемен; у Бринкмана это описание — средство погружения в глубины подсознания, отрыва от общественной реальности, полного «демонтажа» гуманизма.

Разрушение гуманистического начала в литературе сопутствует той почти обязательной абсолютизации начала биологического, которая является характерной чертой «нового реализма» — даже в тех случаях, когда за описанием изощренной сексуальности и жестокости стоит попытка выразить протест против узаконенных норм буржуазного бытия, как в романе Гюнтера Зойрена «Праздник каннибалов» (1968). Писатель, который в романе «Лебек» [1] (1966) попытался выйти за узкие рамки «кёльнского реализма» и обратиться к важным проблемам национального самосознания, нравственного и общественного долга, в «Празднике каннибалов» возвращается к теме своего первого произведения, «Решетка», изображавшего капитуляцию молодого героя перед ненавистными ему буржуазными нормами, в том числе и перед институтом «немецкой семьи». Герой «Праздника каннибалов», 38-летний антиквар Максимилиан Хиль, спасаясь от однообразия и скуки семейной жизни, отправляется со своей приятельницей Рут в курортное местечко на побережье. Бесчисленные страницы отведены описанию «сексуальной практики»; эротические эксцессы героя и его любовницы изображаются с бесстрастной обстоятельностью «кёльнской школы». В монотонно-описательные сексуальные сцены вставляются реминисценции из времен войны, однако и исторический фон служит преимущественно оправой для эротики: в бывших бункерах разыгрываются любовные сцены. В конце романа одичавший от своего вегетативного существования герой возвращается в лоно семьи.

Все та же «обыденная описательность» в изображении бесконечных сексуальных сцен, к которым добавляются картины патологической жестокости героя, характеризует роман Гюнтера Хербургера «Ярмарка»

[1] Опубликована в «Иностранной литературе» № 10, 1967 г.

[1] См. рецензию на этот роман в «Иностранной литературе» № 3, 1970 г.

И. МЛЕЧИНА

НОВА ЛИ «НОВАЯ ЛИТЕРАТУРА»?

(1969). Автор, казалось бы, обращается к важной теме — «конфликту отцов и детей», который занимал многих западногерманских писателей. Герой «Ярмарки» Герман Брикс, выходец из благополучной мелкобуржуазной семьи, рвет со своим окружением, одержимый навязчивой идеей, что его отец — ветеринар — был надзирателем в концлагере и убивал заключенных. Однако вопрос о нравственной и тем более общественной сущности преступлений здесь не ставится вовсе. Конфликт полностью переводится в сферу фантазии и галлюцинаций героя, до краев заполненную садистской извращенностью его представлений. Создается ощущение, что герой испытывает наслаждение от всех этих мыслей: он возбужденно рисует себе картины зверских издевательств над людьми, и эти картины тесно сплетены в его воображении с сексуальностью. Сцены, изображающие разного рода проявления варварской жестокости, написаны неторопливо, подробно, со смакованием.

«Ярмарка» задумана как своего рода роман воспитания — герой проходит ряд «испытаний», рвет с семьей, мыкается, иногда находит случайную работу, иногда ворует, совершенствует свои познания в области все той же сексуальной практики, преимущественно гомосексуалистской, и в конечном итоге возвращается в «отчий дом». Однако Хербургер так же «взрывает» жанр романа воспитания, как Веллерсхоф — романа детективного. Обязательное для романа воспитания развитие героя в его взаимосвязях с обществом здесь оборачивается выпячиванием одной — сексуально-садистской — сферы.

Таким образом, передача мгновенных чувственных восприятий и ощущений в произведениях «кёльнской школы», абсолютизация разрозненных и чаще всего периферийных элементов действительности, монтируемых в «непроизвольном» речевом потоке, «не навязывающем» читателю никаких законченных представлений и идеологических моделей, призваны заменить целостное восприятие и целостную картину мира.

Еще дальше от реалистического отображения действительности, по пути разрушения структуры романа и вообще традиционных жанров литературы, уходят авторы так называемых «экспериментальных текстов», в которых характерные признаки «нового романа» и «театра абсурда» сочетаются с приемами «поп-арта» и методом коллажа.

В последние годы в ФРГ выпускается великое множество таких «текстов». Писать их модно и почетно, каждый уважающий себя литератор обязательно пробует силы в этом «жанре». По мнению некоторых критиков, например Г. Формвега, «тексты» гораздо лучше характеризуют современное состояние западногерманской литературы, нежели произведения известных авторов, хотя и «не выходят за пределы этюда, упражнения».

С «текстами» связано представление о высокой художественности, рядом с которой все прочие виды литературного творчества должны быть заподозрены в тривиальности.

Иногда «текст» — это короткие, отрывочные описания обыденных вещей и событий, прозаические бессюжетные этюды, в которых проглядывают осколки реальности; иногда — комбинации из разрозненных слов или букв, графические композиции, относящиеся к разряду авангардистских поэтических изысков. В этих опытах ощущается заметное влияние дадаизма, сюрреализма и других авангардистских школ минувших времен — новейшие изыски западногерманских литераторов оказываются не такими уж новыми.

Большое влияние на авторов «текстов» оказывал и оказывает Гельмут Хайсенбюттель, наиболее последовательно осуществляющий разрушение традиционных языковых форм. По мнению Хайсенбюттеля, именно «синтаксические рельсы» препятствуют развитию новых форм мышления, связывают писателя — и читателя — с конвенциональными и потому «реакционными» моделями сознания. Однако разрушение не ограничивается синтаксисом и переходит на слово, которое искажается, деформируется, перестает существовать как смысловая единица. Хайсенбюттель так формулирует главный принцип «новой литературы»: «Вместо отбора — случай, вместо синтаксической связи — синтаксическая неясность... И то и другое является уже сформулированными особенностями актуального искусства».

Для монтажа используются стихотворные фрагменты, прозаические отрывки, целые части радиоречей или публицистических статей из прессы, элементы разговорного языка; заимствуются и пародируются традиционные стили. Образно говоря, здания «текстов» возводятся не из обычных строительных материалов, а из обломков старых строений; в дело идет и труха, и мусор, и кирпичные глыбы, спаянные раствором, а иногда и целые куски стен, причем структурные элементы сознательно выставляются напоказ, «стыковка» элементов нарочито грубая, заметная. Нередко в «текстах» такого рода пародийное использование языковых «сюжетов» служит разоблачению нацистской фразеологии, которая «накладывается» на клишированные обороты современного языка. Однако, если исключить пародийный момент, «тексты», разрушая все логические связи между субъектом и объектом, все коммуникативные возможности языка, отрывают литературу от реальности. По мнению теоретиков «новой эстетики», они должны стать универсальным видом литературы, ибо воплощают подлинный реализм, освобождая его от традиционных моделей.

Все сказанное относится и к более монументальной форме «текстов», близкой — во всяком случае по объему — к роману. «Роман-текст», если воспользоваться таким условным термином, также освобожден от «заданности» существующих литературных жанров, тем самым от «идеологизации» реальности, препятствующей непосредственному отражению человеческого опыта «изнутри».

Характерные образцы такого рода лите-

ратуры создает Петер Хандке. Его шумная популярность началась в 1966 году на встрече «Группы-47» в Принстоне, когда 23-летний писатель подверг сокрушительному разносу западногерманскую литературу.

Сегодня Хандке принадлежит к числу самых ярких звезд авангардистской литературы. Фотографии длинноволосого молодого человека в темных очках с 1966 года не сходят с газетных полос: Хандке в моде. «Петер Хандке — не только один из самых популярных, он и один из самых прилежных среди молодых немецких авторов. Во всяком случае, он публикует каждый сезон одну книгу, одну пьесу или план пьесы или, на худой конец, издает вырезки из газет, им самолично отобранные,— короче, он держит в постоянном напряжении своих поклонников и любопытных»,— пишет критик Марианна Кестинг.

В его первом романе «Шершни» (1966), который может быть назван романом лишь условно, описательная техника, близкая французскому «новому роману», сочетается с коллажем, с разрушением реальности в самой ткани произведения. «Шершни» — это ряд незаконченных, вялых эпизодов, своего рода каталог парадоксов, демонстрирующих абсурдность бытия. Роман в целом настолько же недоступен расшифровке, насколько ясны и банальны его детали.

В предисловии к пьесе «Оскорбление публики» Хандке замечает, что последовательность, в какой актеры произносят свои реплики, может быть любая — они могут начинать с середины или с конца, это ничего не меняет. То же можно сказать и о «Шершнях» — смонтированные здесь эпизоды могли бы следовать в ином порядке, в них отражаются не живые процессы реальности и человеческие отношения, а некий призрачно-размытый мир ассоциаций и рефлексий. Здесь все необязательно, неточно, смутно. Приблизительный смысл фабулы таков: некий слепой вспоминает, как однажды, еще не будучи слепым, читал книгу, содержащую воспоминания другого слепого, ослепшего после смерти своего брата, который погиб, прыгая через ручей. Читатель не знает, когда происходит тот или иной эпизод — сейчас или раньше — и о ком из двух братьев идет речь: о первом или втором слепце. Оба действующих лица как бы сливаются в одно, их невозможно различить. Этот прием слияния персонажей, как и «множественности» одного лица, служит у Хандке средством «мифологизации», а точнее — мистифицирования реальности, сведения ее к абстрактным обесчеловеченным схемам.

Всюду — в так называемых «разговорных пьесах», «романах», прозаических или стихотворных «текстах» — Хандке воспроизводит монотонный поток сознания, воплощаемый в бесконечном, бессвязном речевом потоке. В романе «Разносчик» (1969) Хандке применяет свой метод речевого потока к детективному жанру. Разумеется, жанр этот у Хандке, как и у Веллерсхофа в «Границе тени», лишен своих главных атрибутов — прежде всего острого, напряженного сюжета. В одном издательском проспекте автор так комментирует свой роман: «Действие не разыгрывается ни в Лос-Анджелесе, ни в Западном Берлине, ни зимой, ни осенью, оно разыгрывается в читателе, когда он читает».

Роман представляет собой еще одно «описание описания», «роман вещей», причем объективный мир, описываемый здесь,— это сами «модели» детективного романа, которые автор исследует в комментариях к каждой главе. В чем-то «Разносчик» близок роману Роб-Грийе «Дом свиданий», где детективный сюжет также использован как параболическая модель, существующая на фоне вымышленного, призрачного мира, скомпонованного из лингвистических и стилистических «полуфабрикатов» (в частности, из обрывков фильмов и тривиальных романов).

Каждая глава «Разносчика» состоит из двух частей: комментария к детективному роману (так сказать, объяснения его механики) и самого детективного романа, если можно считать таковым вялые, лишенные внутренней динамики описательные пассажи. Здесь ощущается элемент пародии, предметом которой являются «истории об убийствах». Действие — если можно вообще говорить о действии — теряется в отдельных разрозненных наблюдениях, умозаключениях, пародийных сентенциях, лингвистических изысках, трюизмах. «Порядок перед первым беспорядком», «Порядок беспорядка», «Разоблачение поначалу показанного порядка» — так называются отдельные главы.

В романе как будто рассказывается история об убийстве, однако невозможно понять, что происходит, где, в какой среде, в какое время, кто такой человек, названный Разносчиком, что он делает, что за люди именуются Он, Она, Оно. Разносчик бледной тенью бродит по страницам — то ли убийца, то ли убитый, то ли свидетель, то ли агент уголовного розыска. Однажды упоминается выстрел, еще где-то мелькает фраза: «Смертельно раненный кашляет»—вот, собственно, и все признаки «криминальной» истории. Преступника преследуют, и опять-таки не ясно кто: то ли соучастники, то ли блюстители закона. Рецензент еженедельника «Крист унд вельт» В. Игнее замечает, что статью об этом романе любой критик должен был бы, не рискуя своей репутацией, начать с фразы: «Мы не поняли ни единого слова». Он называет этот роман «первой созданной с помощью беллетристических средств антикнигой».

На протяжении всего романа автор ни разу не выходит за пределы изолированной от внешнего мира лингвистической лаборатории, где вдали от забот и тревог времени занимается эзотерическими языковыми поисками. В этом «беспроблемном эстетическом вакууме» создается, по словам Игнее, «хо-

---

И. МЛЕЧИНА
НОВА ЛИ «НОВАЯ ЛИТЕРАТУРА»?

лодная, ледяная экспериментальная проза, которая драпируется в пестрые одежды прогресса».

Модель детективного романа Хандке использует и в последнем своем произведении — «Страх вратаря при одиннадцатиметровом» (1970), где также сочетаются элементы «нового романа», «театра абсурда» и «текста». Здесь воспроизводится состояние крайнего одиночества, отчужденности личности — духовное состояние человека, совершившего преступление. Мотивы преступления, естественно, не раскрываются — неясно, почему монтер Блох убил девушку, что происходит с ним после убийства. Блох, подобно герою романа Веллерсхофа «Граница тени», находится на грани помутнения рассудка, во всяком случае, он лишен способности как-то осмыслить свои поступки и происходящее вокруг него. Вся ситуация, связанная с растущим ощущением страха и изоляции человека, немотивированность ее, призрачность и иррациональность происходящего заставляют вспоминать образы Кафки, ситуации «Процесса» или «Превращения».

Крайнее одиночество и затерянность человека в хаотическом мире вещей в сочетании со смятой детективной фабулой, где мотивы поступков так и не раскрываются до самого конца, создают ощущение полной абсурдности и бессмысленности человеческого бытия, невозможности его рационального толкования.

Подобно Хандке, его молодой коллега и соотечественник (также австриец по происхождению) Г. Ф. Йонке в своем первом произведении «Геометрический местный роман» (1969) пытается заключить, словно в колбы, в разнородные «структуры» и пародийные схемы реальный мир, предварительно разложенный на крошечные составные части. Его произведение, которое также представляет собой пестрый коллаж и может быть названо романом лишь условно (хотя слово «роман» и есть в самом заглавии), состоит из разрозненных и смонтированных в одно формальное целое осколков реальности, крошечных ее фрагментов.

Речь в нем идет о некой окруженной условно геометрическим ландшафтом деревне — «Силуэт горной цепи на севере деревни имеет форму четырех кривых, которые переходят одна в другую: синусоидальная кривая, косинусоидальная кривая и синусоидальная кривая и косинусоидальная кривая, сдвинутые на одну и три четверти фазы».

Математическая точность и сухость языка приходят в полное противоречие с крайней хаотичностью и расплывчатостью изображаемого. Два так и не раскрывающие своей анонимности субъекта, у которых есть основания — не ясные читателю — оставаться неизвестными и незамеченными, ведут наблюдение. Скрытые от людей, они видят то, чего не видят другие. Однако сведения, которые они сообщают читателю, представляют собой нагромождение мелких, хотя и очень точно обозначенных деталей, разрозненные данные, чаще всего вторичного характера.

В романе вполне ощутимы — хотя и микроскопические — элементы социальной критики. В мире, изображенном Йонке, существует чисто внешнее, формальное соответствие с законами порядка и гармонии. Критика прорывается, к примеру, в мастерски построенной (и тоже заставляющей думать о Кафке) притче о мосте, охраняемом тупыми стражниками. Гротескно-бюрократическая, доведенная до абсурда система прохода по мосту практически исключает возможность пользования им. Или в передаче деревенских разговоров о бургомистре, который, судя по всему, «тронулся» еще в ранней молодости, что не мешает ему считаться высшим авторитетом. Или в трагикомической пародийной сцене выступления бродячих комедиантов, где гибель канатоходца изображается как сенсационное и великолепное зрелище.

Однако найденные Йонке средства отображения отдельных негативных сторон реальности тонут в хаосе формалистических приемов, в языковых арабесках и словесной клоунаде, в абсурдистских стилистических играх, которые полностью заслоняют собой общественно значимую реальность. Многочисленные темы и мотивы, сюжеты и эпизоды сплетаются в разностильный монтаж. Здесь объединены самые разнообразные элементы: диалог между анонимными фигурами и монологические вставки рефлективного характера (опять-таки от лица анонимного персонажа); пародийные жанровые сценки; пространные цитаты из прессы; обрывки штампованных речевых оборотов из обихода рекламы; набранные курсивом медитации неопределенного смысла; длинные бюрократизированные анкеты; чисто графические средства, характерные для «текстов»,— например, написание «сплошняком», без знаков препинания и больших букв; песенки с приложением нот и т. д.

Йонке, как и Хандке, охотно обращается к приему «вариантов и возможностей», который в современной немецкоязычной литературе наиболее последовательно разрабатывают Макс Фриш и Уве Йонсон — при всем принципиальном различии этих двух писателей в подходе к реальности и к целям литературы. Фриш — с его «эффектом Гантенбайна», с множеством историй, призванных заменить Историю, с вариантами человеческих судеб, примеряемых, «словно платья»; Йонсон—с нарочито нечетким изображением ситуаций, заставляющим предполагать наличие каких-то иных возможностей, одинаково правомерных и неправомерных, реальных и нереальных — оказали большое влияние на западногерманскую литературу шестидесятых годов. Правда, у Фриша авторы «текстов» заимствуют главным образом внешние атрибуты, оставляя в стороне характерную для швейцарского писателя идею ответственности человека за избранный «вариант» судьбы. Для них прием «вариантов и возможностей» притягателен прежде всего стоящей за ним идейно-эстетической концепцией сомнения в возможностях человеческого познания. Для литературы, отвергающей обобщение и типизацию,

то есть важнейшие принципы реалистического отображения действительности, этот прием «множественности», «вариабельности» становится одним из средств демонстрации утерянной «идентичности» личности. Если личность — всего лишь «поза», смутный намек, не подлежащий расшифровке, то, стало быть, литература вправе отказываться от самой попытки изобразить человеческий характер в его неповторимости и в его социальной обусловленности. Бесконечное проигрывание различных вариантов одной и той же ситуации служит здесь не стремлению максимально приблизить изображаемое к реальности, не пробуждению «критического разума» читателя, а становится средством нарочитого затуманивания реальности, демонстрации невозможности приблизиться к «модели».

Весьма характерен в этом плане эпизод из романа Йонке, который «мог бы» приключиться с путником, направляющимся в деревню. Эпизод состоит из двух частей. В первой описывается в повествовательной интонации, как вполне реальный факт, сцена убийства путником быка и деревенский праздник, на котором бык поджаривается на вертеле и съедается жителями деревни на центральной площади. Сцена ужина, в которой участвует и уже упоминавшийся бургомистр, полна сатирических намеков (хотя опять-таки весьма неопределенных). Во второй половине этого пассажа рисуется противоположная ситуация: путник не убил быка и жители деревни не устраивают коллективного ужина. То есть та же «лента» просматривается с конца, в обратном порядке, что полностью нарушает характер причинно-логических связей; демонстрируется сугубая необязательность отобранного художником материала — все может быть так, а может и иначе. «Возможно, что путнику не дают куска мяса, никто не получает куска жареного бычьего мяса, быка на деревенской площади не жарят и не натыкают на вертел, никто не притаскивает быка в деревню, никто не отправляется в указанное место, никакая группа мужчин не объединяется, путник не приходит в деревню и не сообщает, что по дороге убил быка, по той простой причине, что он, путник, не может сообщить этого в деревню, потому что он, путник, вовсе не убил быка, а, наоборот, бык убил его, путника».

Ни об одном из «проигрываемых вариантов» нельзя сказать, реальны ли они, ни об одном из действующих лиц — в чем их характерные черты, ни об одном из описываемых событий — происходили ли они действительно или являются плодом воображения того или иного персонажа.

Грань между реальностью и фантазией в этой литературе стерта в такой же степени, как и границы между персонажами. В романе молодого писателя Рора Вольфа «Пильцер и Пельцер» (1968) сорок коротких главок образуют своеобразное ревю ужасов и мистики, «серию приключений», разыгрывающихся не «на самом деле», а в фантазии анонимного рассказчика. Последний попадает в дом некой вдовы, которой ему надлежит выразить соболезнование. «Страшные» события, которые происходят то ли в доме вдовы, то ли в какой-то фантастической ирреальной местности, то ли в возбужденном сознании рассказчика, составляют предметно-сюжетную подоплеку этого произведения.

Метод Вольфа, как и метод Хандке, заметно опирается на опыт «нового романа» (особенно в той его форме, которая представлена Роб-Грийе), эксперимент Самюэля Беккета (нетрудно уловить перекличку между его известным романом «Как это» и романом «Пильцер и Пельцер»), гротескных притч Кафки, а также на языковые опыты Хайсенбюттеля и других западногерманских авангардистов, входящих в обойму «новой литературы».

Метод «коллажирования» Вольф применяет с целью разложения привычного содержания языка. «Уже не язык находится здесь на службе изображения событий, а, наоборот, события, «приключения» находятся на службе у языка»...— пишет критик еженедельника «Цейт». Сам Рор Вольф так комментирует свои произведения: «Поводом (для письма.— *И. М.*) являются мелкие и мельчайшие частички материи и языка, которые меня возбуждают и рождают импульсы... Это выдумки, которые приходят в голову, находки из окружающего меня мира, обрубки фраз и лоскуты из проспектов, журналов, каталогов, отрывки из бульварных романов и грошовых журналов, рецепты на кульках с суповыми концентратами, газетные заголовки, рекламные лозунги. Весь этот словесный поток общества, которое выступает перед моими глазами, поделив между собой роли».

Языковые наросты, игра в варианты, фантастические сюрреалистские сцены умерщвляют все признаки живого характера. Читатель на протяжении всех сорока глав так и не может отличить действующих лиц друг от друга — как в романе Хандке «Шершни» он не в состоянии «идентифицировать» двух братьев-слепцов или в «Разносчике» определить, кто такой Разносчик. Господа Пильцер и Пельцер — антиподы, однако установить, кто Пильцер, а кто Пельцер, невозможно. К тому же не исключено, что и рассказчик — та же самая фигура, которая иногда именуется Пильцером, иногда Пельцером. «Пильцера я редко видел в последнее время. Но, может быть, это я Пельцера долго не видел, Пильцера или Пельцера, одного из них двоих, мне кажется, того, кто выше ростом, но кто из них выше?» Так как все рассказанное происходит в голове автора, то возможно, объясняет он, что нет ни Пильцера, ни Пельцера, а есть, к примеру, Польцер, что также не имеет никакого значения.

В еще большей мере процесс обезличения личности представлен в романе Рольфа Роггенбука «Доказательство именности»

(1968). Роггенбук пытается найти «адекватные» формы для процессов, происходящих в мозгу современного человека, языковые цепи, которые соответствовали бы «потоку сознания». Его роман — это история полного расщепления сознания, запротоколированный процесс раздвоения и исчезновения индивидуальности. Главный персонаж романа, Роберт Леффлер, от лица которого ведется повествование, появляется одновременно в двух ипостасях и в двух географических точках — Альтоне и Нью-Йорке. То ли он воображает, что вернулся из Нью-Йорка в Альтону, то ли он ее никогда не покидал и только вообразил, что находится в Нью-Йорке. Все это путешествия вне времени, которые должны олицетворять отказ от «персонификации истории». Леффлер выбывает из одного времени, в котором он не был, как он выезжает из города, в который не приезжал. Все временные соотношения полностью нарушены. Прошлое понимается как настоящее и в то же время как будущее. Фантазии, видения, галлюцинации Леффлера «автономизируются» настолько, что вносят «коррективы» в реальность и даже полностью ее «перестраивают». Иной реальности, кроме той, что существует в замутненном мозгу героя, здесь нет. «Доказательство именности» — это парабола о растворении личности в обстоятельствах, пишет в послесловии к роману П. Хотьевиц.

Хотьевиц, один из апостолов «новой эстетики», который в романе «Остров»[1] сам во многом сближается с манерой Роггенбука, отмечает, что роман «Доказательство именности» едва ли доступен пониманию, ибо автор «создает мир из трудно понимаемых слов и предложений». Хотьевиц пишет: «Роггенбук сознательно работает с двусмысленностями, искажениями, псевдометафорами, недоговоренностями и преувеличениями, банальностями, неуместными переосмыслениями, постоянными путающими читателя сменами угла зрения, прыжками во времени и пространстве, сознательным отказом от простой доступности, пустышками, воздушными шарами и другими средствами».

Хотьевиц выражает свое в высшей степени позитивное отношение к таким произведениям, как роман Роггенбука, ибо они — и только они — способны прийти на смену «отжившему» роману и всей «буржуазной» литературе — то есть литературе, которая «рационально отбирает и организует материал» и упорядочивает его в соответствии с «рациональными схемами». Такая литература, по мнению Хотьевица, «соответствует сознанию общества» и потому является «потребительской».

Зато произведения, создаваемые Хотьевицем или Роггенбуком, начисто избавлены от всякого рационального начала — они лепятся из «модификаций сознания», и реальность, изображаемая в них, «заимствована только из сознания». Роггенбук, по словам Хотьевица, показывает, насколько непригодна и беспомощна сегодня литература. Произведения, подобные «Доказательству именности», демонстрируют тенденцию к растворению, исчезновению искусства и литературы; они подтверждают: то, что литература могла бы выразить, прячется от описания, реально лишь то, чего она не может выразить. Потому-то произведения, подобные роману Роггенбука,— единственный род литературы, за которым западногерманские теоретики авангардизма признают будущее.

В конечном итоге за этими теориями и рассуждениями стоит старое, но прикрытое ультрасовременными одеждами стремление к общественной нейтрализации искусства. Эксперимент не означает здесь поисков новых путей в искусстве. Антиидеологизм, которым прикрываются внешне безобидные авангардистские изыски, оказывается формой политизации литературы. «Эстетическое кредо «искусства для искусства»,— пишет критик Г. К. Бух,— нашло политическое дополнение в том аристократизме, который воображает, что находится над понятиями, в нирване «чистого искусства»; в болтовне о конце идеологий, которая сама является идеологической — на службе господствующей идеологии».

Мартин Вальзер считает одним из проявлений «нового настроения на Западе», что в последние десять лет многие писатели ФРГ порывают с общественной проблематикой. Они рассматривают «дезангажированность» как «последнюю еще возможную добродетель в индустриальной системе». Эта «дезангажированность», пишет Вальзер, «привела к отказу производить «мнения» и развила артистический метод редуцирования средств выражения до языковых заготовок, до монтажа и коллажа, обнажения языковых структур, с обязательным лишением их всякой социальной значимости. Достаточно часто эти языковые полуфабрикаты используются просто как материал для игры и щекотания нервов... Исторические и общественные условия при этом не раскрываются... Социальные нужды считаются устаревшими. ...Если можно жить продажей собственных авантюристических самонаблюдений или личных языковых ощущений, то уже не существует ощутимой общественной функции». Упиваясь своим одиночеством и непонятостью, своей «несвязанностью», отсутствием «обязательств», эти писатели полностью игнорируют тот факт, что «человек — общественное существо».

Художественное исследование взаимосвязей личности с общественной реальностью «новая литература» либо заменяет описанием смутных, меняющихся впечатлений и ощущений, либо растворяет в диссонансе ничего не значащих, деформированных слов и предложений, хитроумных стилистических фигур, оставляя за пределами своих интересов важнейшие сферы человеческой жизни. Концентрация на проблемах личности уже не нужна этой литературе, она активно противится «господству» человеческого характера, предельно мистифицируя человеческие отношения и тем самым доводя до крайних пределов главный симптом модернизма: дегуманизацию искусства.

[1] Рецензию на этот роман см. в «Иностранной литературе» № 2, 1970 г.

Критика

А. СТАРЦЕВ

СКОТТ ФИЦДЖЕРАЛЬД И «ОЧЕНЬ БОГАТЫЕ ЛЮДИ»

1

В своем известном рассказе «Снега Килиманджаро» Хемингуэй говорит от лица героя, американского писателя Гарри (в историю жизни которого вводит автобиографические мотивы).

«Он вспомнил беднягу Скотта Фицджеральда и его романтический восторг перед ними (богачами.— *А. С.*) и как он написал однажды рассказ, который начинался словами: «Очень богатые люди не похожи на нас с вами». И как кто-то сказал Скотту: «Без сомнения. У них больше денег». Но Фицджеральд не понял шутки. Он считал их особой расой, окутанной дымкой таинственности. И когда он убедился, что они совсем не такие, это согнуло его не менее, чем все остальное».

Трудно сказать, что побудило Хемингуэя к этому выпаду против Фицджеральда, который уже вступил в полосу своих неудач и бедствий. Дружба их была далеко позади. Хемингуэй был человеком резких личных пристрастий.

Разговор «кого-то» с Фицджеральдом не выдуман Хемингуэем. «Очень богатые люди не похожи на нас с вами» — это из рассказа Фицджеральда «Молодой богач». А в блокнотах Фицджеральда можно найти краткую запись: «У них больше денег. Острота Эрнеста». (Из чего, кстати, следует, что Фицджеральд вполне оценил остроумный ответ собеседника.)

Прочитав «Снега Килиманджаро», Фицджеральд заявил своему бывшему другу протест. Хемингуэй не принял протеста и ограничился тем, что в новом издании «Снегов» снял имя Фицджеральда; «бедняга Фицджеральд» стал называться «беднягой Джулианом».

Весь эпизод относится к истории личных взаимоотношений этих двух знаменитых американских писателей, и, казалось бы, можно было предоставить его их биографам. Но и сейчас находятся склонные к сенсации авторы, которые используют эти написанные в сердцах строки Хемингуэя, чтобы представить в превратном виде социальную и моральную позицию Скотта Фицджеральда.

На самом деле нельзя согласиться ни с тем, что Фицджеральд испытывал якобы «романтический восторг» перед американскими богачами, ни с оценкой дальнейшей судьбы Фицджеральда, какую Хемингуэй дает в приведенных строках.

Верно, что в ранние годы своей писательской деятельности молодой Фицджеральд зачастую глядит на «большие деньги» в США и на их обладателей пристальным, как бы «зачарованным» взглядом.

Но верно и то, что уже в самом начале его «зачарованность» богачами ограничена ощущением *чуждости* этих людей коренным интересам, чувствам и нуждам огромного большинства народа, от которого *писатель не отделял и себя.*

И чем дальше, тем более этот мотив становится «нервом», движущим противоречием всего развития Фицджеральда.

Вот то начало рассказа, на которое ссылается Хемингуэй:

«Позвольте мне рассказать вам об очень богатых людях. Они не похожи на нас с вами. Они владеют богатством и упиваются им с малых лет, и это в них что-то меняет. Они вялы, когда мы жестки, и циничны, когда мы доверчивы,— и все это, если

вы не рождены очень богатым, вам трудно будет понять. В глубине души они полагают, что они достойнее нас, потому что нам судьба предназначила защищаться от бедности и страдания. Даже когда они глубоко проникают в наш мир или падают так, что становятся ниже нас,— все равно они полагают, что достойнее нас. Они — другие, чем мы».

Если взять рассказ в целом — это серия зарисовок из жизни нью-йоркского миллионера,— то и в нем не найти следов «романтического восторга». Наряду с очевидным интересом к избранной теме четко улавливается настороженность и антипатия автора.

В автобиографических очерках 1936 года, известных под общим заглавием «Крах», Фицджеральд специально коснулся своего отношения к «очень богатым людям», причем с характерным для него обостренным желанием прояснить свою точку зрения, быть до конца откровенным.

«Я жил... не доверяя богатым,— пишет Фицджеральд,— но тем не менее, стремясь заработать достаточно денег, чтобы приобщиться к той несвязанности, к тому изяществу, которое иные из них вносили в свою жизнь...».

В той же статье «Краха», анализируя свои чувства к американскому имущему классу, он говорит о своем «стойком недоверии» к нему, о «враждебности», но при том добавляет, что эти чувства питались не «убежденностью революционера», а скорее «тлеющей ненавистью крестьянина».

Последние слова не случайны и довольно метки. «Тлеющая ненависть крестьянина» может включать на первых порах и ослепленность богатством, и горькую зависть (в какой-то мере и то, и другое присутствует у молодого Фицджеральда); но позже перерастает в тяжелый гнев и в начатки классового сознания.

Если бы Скотт Фицджеральд стоял на точке зрения, какую ему приписывает Хемингуэй, то полемическая шутка последнего, вероятно, имела бы некое демократическое острие. Действительно, если ваш оппонент фетишизирует богатство и богатых людей в капиталистическом обществе и окутывает их «дымкой таинственности», то возразить на это, что богачи те же люди, но только у них больше денег в кармане,— значит призвать к трезвому взгляду на вещи.

Но на самом деле в слова «богачи не похожи на нас с вами» Фицджеральд вкладывает гораздо больше реального содержания, чем это кажется Хемингуэю.

В «Молодом богаче» Фицджеральд, прежде чем приступить к рассказу, делает такое «методологическое» замечание: «Единственно верный способ показать вам Энсона Хантера (имя молодого миллионера.— *А. С.*) — это взглянуть на него, как если бы он был иностранцем, и держаться такого взгляда».

Значит, Фицджеральд не только не склонен здесь к взгляду, что американские миллионеры — это те же американцы, только богатые, но предлагает художнику, имея в виду максимальную верность изображения, рисовать их как иностранцев в своей стране.

Он считает их замкнутой группой внутри нации, настолько привилегированной, кастово солидарной и чуждой народу, что постоянно сравнивает их с феодальной верхушкой в средневековой Европе.

В том же «Молодом богаче» Фицджеральд пишет: «В восточных штатах деньги все еще в некотором смысле феодальная привилегия, способствующая образованию кланов». О чикагских миллионерах Уорренах в «Ночь нежна» он говорит как о «феодальной династии». И о себе самом в «Крахе», в свете личных своих отношений с «очень богатыми», он говорит, что его томил постоянный страх, как бы кто-то из богачей, с которыми он водился, вдруг не вздумал осуществить свое «право сеньора» и отнять у него жену.

Если даже считать эти сближения в известной мере метафорическими, то метафоры — одного и того же ряда.

Идя дальше, надо сказать, что Фицджеральд не только не соглашался, что богачи «такие же люди», но время от времени приходил к заключению, что они в некотором смысле *вовсе не люди.*

Здесь нельзя обойти вниманием социально-фантастический гротеск молодого Фицджеральда «Бриллиант величиной с отель «Ритц».

В этом рассказе Фицджеральд рисует американского миллионера как лишенного всех человеческих чувств изверга и злодея, опаснейшего врага, которого общество, защищая себя и не имея иного выбора, должно уничтожить.

Обращаясь от сатирических гипербол «Бриллианта» к более систематическому анализу современной американской жизни, Фицджеральд сохраняет в полной мере свой взгляд на «очень богатых». Том Бьюкенен и Дэзи в «Великом Гэтсби» бесчеловечны на грани преступности не из-за какой-либо аномалии в их личном характере, но прежде всего в силу своей «клановой» принадлежности к криминальному в социальном и экономическом смысле классу «очень богатых людей»; они губят других людей с равнодушием и легкостью, показывающими, как они чужды всем тем, кому «судьба предназначила защищаться от бедности и страдания».

В моей статье о Фицджеральде, опубликованной ранее в журнале «Иностранная литература» [1], был поставлен вопрос о критическом, антибуржуазном по своей сущности содержании моральной и эстетической проблематики «Великого Гэтсби» и подчеркивалась важная роль статей «Краха» в идейном развитии писателя. Но полностью оценить и понять антикапиталистический пафос и актуальность Фицджеральда нельзя без его второго знаменитого романа, пока еще неизвестного нашим читателям.

---

[1] «Иностранная литература» № 2, 1965 г.

2

Роман «Ночь нежна» не имел успеха при выходе, был сочтен неудачей писателя, и до сего дня американская критика относится к нему недоброжелательно и с сомнением. Между тем он имеет решающее значение для характеристики социальной позиции зрелого Скотта Фицджеральда.

Вкратце о фабуле и о структуре романа. В главном своем действии (если не считать экскурса в предысторию героев) «Ночь нежна» охватывает пять лет, с 1924 по 1929 год, и рассказывает о группе американцев — в основном богатых людей и художественной богемы,— живущих все эти годы в Европе. Центральные эпизоды романа развертываются во Франции, Швейцарии, Италии.

Структура романа несколько экспериментальна. Компонуя сюжет, автор черпает из поэтики кинематографа, применяет монтажные переходы и ретроспекции, «наплывы» прошлого в настоящее.

Озадаченный и огорченный неуспехом романа, Фицджеральд задумал перестроить его композицию, в частности,— хронологически «выпрямить» развитие сюжета. Уже после смерти писателя была однажды попытка издать «Ночь нежна» в этом новом виде. Выяснилось, однако, что Фицджеральд не довел свой пересмотр до конца. И предпочтительной остается прижизненная авторская редакция.

Юная американская киноактриса Розмэри Хойт, путешествуя по Европе, заезжает на несколько дней на Ривьеру и встречает соотечественников, завсегдатаев тамошних мест. Это тесный кружок удивительно интересных, на ее взгляд, и умеющих наслаждаться жизнью людей, в центре его — врач-психиатр Дик Дайвер и его жена, очаровательная Николь.

Получив приглашение на званый вечер на виллу «Диана» — поставленный на широкую ногу дом Дайверов на Ривьере, Розмэри ближе наблюдает участников их кружка. Это — нью-йоркский композитор Эйб Норт, его жена Мэри и Томми Барбан, красавец и забияка, поклонник Николь. Обаяние светскости и изящества Дайверов кружит голову девушке, и она со всем пылом юности влюбляется в Дика Дайвера, по мановению руки которого движется и сияет этот необыкновенно притягательный для нее мир.

В этих начальных главах первой книги романа мир Дайверов показан по преимуществу зачарованными глазами Розмэри Хойт.

Далее участники празднества на Ривьере переезжают в Париж, где развлечения их продолжаются, и Дик Дайвер по-прежнему выступает в качестве хозяина и устроителя общих веселий. Они кутят в дорогих ресторанах, совершают покупки в фешенебельных магазинах, бывают в светских домах и даже однажды ночью разъезжают по городу в инкрустированной серебром личной машине персидского шаха.

Но в этих парижских главах выходит на свет то, чего Розмэри не увидела на Ривьере,— сумрачная и трагическая подкладка беспечальной, по видимости, жизни этих людей.

Талантливый музыкант и умница Эйб Норт — алкоголик; он давно утопил в вине свой талант, потерял способность работать и понимает, что ему не вернуть прошлого. Его жена за веселой улыбкой прячет страх и отчаяние.

Николь душевно больна. Это скрываемая от света и тщательно охраняемая друзьями печальная тайна Дайверов.

И доктор Дайвер, на здравый смысл и добрую волю которого пока что в значительной мере опирается этот непрочный мирок, тоже не так устойчив, как может показаться при поверхностном взгляде. Он в преддверии кризиса, который может в любую минуту бросить его во власть тех же разрушительных сил, которые властвуют в жизни его близких.

Первая книга романа завершается кровавым финалом, убийством — одного за другим — двух посторонних людей, случайными нитями связанных с Дайверами и Нортами. Негр Петерсон попадает в ловушку прямо в отеле у Дайверов, и его окровавленный труп лежит на постели у Розмэри.

Тут действие временно приостанавливается, и вся первая часть новой книги романа целиком посвящена предыстории Дика Дайвера и Николь.

Талантливый медик-американец приезжает в Европу специализироваться по психиатрии и встречает в Швейцарии юную соотечественницу, пациентку местной лечебницы для душевнобольных. Николь принадлежит к вырождающейся семье чикагских миллионеров Уорренов, и начало ее болезни связано с тем, что ее почти еще девочкой растлил Девре Уоррен, ее отец. Сейчас Николь увлечена молодым доктором Дайвером, и эта привязанность постепенно становится целительным фактором для ее неустойчивой психики, путем к выходу из болезни. Дайвер, сам полюбивший девушку, стоит перед выбором — исчезнуть из ее жизни или жениться на ней. Выбор не может быть легким: он включает решение целого ряда личных и профессионально-медицинских проблем. Дайвер беседует со старшей сестрой и опекуншей Николь, Бэби Уоррен, которая с холодной расчетливостью богачки излагает ему «встречный» проект их семьи: выдать замуж больную Николь за врача, чтобы не тревожиться более о ее судьбе и здоровье. Доктор Дайвер с презрением относится к этому плану Уорренов «купить для Николь врача». Он женится на ней по любви и намерен продолжить свою блистательно начатую врачебную и научно-литературную деятельность.

Остальные главы второй книги романа продолжают развитие фабулы с тем, однако, важным различием, что теперь и Дик,

и Николь не являются более загадкой и драматизм их жизни предстает в обнаженном виде.

Дайверы — сперва на Ривьере, куда они возвращаются после описанных событий в Париже, а затем на швейцарском зимнем курорте. Две главы посвящены жизни Дайверов при швейцарской лечебнице для душевнобольных, в которой Дик — совладелец и лечащий врач.

Последние восемь глав отведены полностью доктору Дайверу, его внутренним трудностям и сомнениям, нисхождению его с «вершин» к моральному краху.

Как вестники катастрофы к нему приходят два печальных известия. В кафе в Мюнхене он узнает от заезжих американцев о гибели Эйба Норта, избитого до смерти в каком-то подпольном ночном кабаке в Нью-Йорке. Вслед за тем приходит депеша о смерти его отца, старика священника, с которым у доктора Дайвера с детства связаны представления о долге перед людьми, о порядочности. Дик едет в США на похороны отца, оттуда в Рим, гонимый надеждой увидеть Розмэри Хойт; встречается с ней, их любовь на мгновение вспыхивает и тотчас же гаснет, оставляя разочарование и горечь. Последние главы рисуют падение Ричарда Дайвера. Пьяный, он затевает ссору и драку с шоферами в Риме, преисполняется хмельной американской заносчивости и презрения к «итальяшкам», потом, жестоко избитый в итальянской полиции, попадает в тюрьму, откуда его вызволяет Бэби Уоррен, сестра его богатой жены.

В третьей книге романа Дик Дайвер, опустошенный и сломленный, обрывает все главные связи с миром, в котором жил эти годы.

Сперва в Швейцарии приходит к концу его врачебная деятельность. Он и сам считает, что утратил необходимую «профессиональную этику».

Затем он теряет вкус к людям того круга, в котором вращался все эти годы, и сам теряет привлекательность в их глазах.

Затем приходит конец его браку с Николь. «Поверженный», он больше ничем не может быть ей полезен; к тому же она и сама больше в нем не нуждается. Дик толкает ее к сближению с Томми Барбаном.

Он мобилизует свои душевные силы, чтобы с достоинством удалиться со сцены.

Последнее, что сообщается о блистательном Ричарде Дайвере: он — спившийся врач-неудачник, практикующий ради заработка в маленьких городишках где-то в штате Нью-Йорк.

3

Одной из главных претензий американских критиков к автору «Ночь нежна» была «необоснованность», как они утверждали, падения Ричарда Дайвера.

Между тем, поставленный в общий контекст развития социальной мысли Фицджеральда, замысел романа обнаруживает высокую убедительность.

И механизм гибели Ричарда Дайвера освещен в «Ночь нежна» с достаточной ясностью.

Молодой американский интеллигент из небогатой семьи, он мечтает об успехе в науке, хочет служить людям. Но, женившись на дочери чикагского миллионера, как бы сходит с рельсов своего жизненного пути. Он самоуверенно полагает, что сможет рядом с миллионами сохранить независимость, но миллионы «ассимилируют» его, приспособляют к себе, пока он полностью не утрачивает моральные стимулы своей жизни и деятельности и не идет к падению и краху.

Проходит семь или восемь лет, пока ему удается полностью осознать размеры понесенной утраты:

«Он себя потерял, кто знает когда, в какой именно час, день, неделю, месяц или год. Когда-то он умел проникать в суть вещей, решать самые сложные уравнения жизни, как простейшие случаи простейших болезней. Но за годы, прошедшие с того дня, как он впервые увидел Николь на Цюрихском озере, эта способность в нем притупилась».

Он уточняет неприглядную суть катастрофы:

«Его купили... И каким-то образом он допустил, что весь его арсенал оказался упрятанным в уорреновских сейфах».

И подводит предварительные итоги:

«Восемь лет я потратил зря, пытаясь научить богачей азбуке человеческой порядочности... Но отчаиваться рано. У меня еще много неразыгранных козырей на руках».

Доктор Дайвер, как явствует из дальнейшего, ошибается здесь по двум очень важным, в конечном счете решающим пунктам:

Во-первых, хотя он и считает, что до того, как породнился с Уорренами, он умел «проникать в суть вещей» и «решать самые сложные уравнения жизни», истинного места уорреновских миллионов в этой окружающей жизни и грядущей роли их в своей личной судьбе он распознать не смог. И симптомы поразившей его социальной болезни тоже остались для этого проницательного врача-психиатра неясными и неопознанными.

И, во-вторых, когда он полагает, что у него еще много козырей в руках и он отыграется, он опять допускает ошибку—козырей у него уже не осталось. Он может только выйти из игры, что он и делает. Слов нет, конечный бунт доктора Дайвера против миллионов, уход в моральное небытие предпочтительнее примирения с миллионами, но не имеет в себе никаких перспектив на победу даже в далеком будущем.

Автор дает возможность проследить на страницах романа происхождение иллюзий и слабостей Ричарда Дайвера.

Когда к концу мировой войны 1914—1918 годов «счастливчик Дик», у которого с юных лет все так славно складывалось, прибывает в Швейцарию, он имеет очень смутное представление о социальных реальностях окружающей жизни как в США, так и в Европе. «Когда Дик приехал в Цю-

рих,— пишет Фицджеральд, комментируя с грустной иронией путь своего героя,— у него было меньше ахиллесовых пят, чем понадобилось бы, чтобы снабдить ими сороконожку, но все же предостаточно». Автор возводит иллюзии Дика Дайвера к специфической форме американских иллюзий и американского оптимизма. «То были иллюзии вечной силы и вечного здоровья и преобладания в человеке вечного начала,— пишет Фицджеральд,— иллюзии целого народа, порожденные ложью прабабок на американском фронтире, под волчий вой убаюкивающих своих младенцев, напевая им, что волки далеко-далеко».

Молодой доктор Дайвер тоже считает, что волки «далеко-далеко». И уверенность эта предопределяет его поражение в моральном поединке с богатством Уорренов. Уоррены «покупают» врача для Николь, допуская ее брак с доктором Дайвером. Дик с высоты своего интеллекта и образованности презирает Бэби Уоррен и считает, что ему будет легко парировать ее замыслы. Спора нет, он умнее Уорренов, но деньги в капиталистическом обществе имеют свою «хитрость», победить которую можно, только отвергнув в самой основе господство их обладателей. Сильная только своими деньгами, Бэби Уоррен побеждает доктора Дайвера по всем пунктам, и жизнь его движется в орбите Уорренов и в целом по их программе. Даже те его действия, которые кажутся самостоятельными — литературно-научная деятельность или занятия практической медициной,— постепенно теряют значение жизненно важных поступков, лишаются своей социальной функции, перестают быть служением людям.

Кем же стал доктор Дайвер, сделавшись мужем наследницы чикагских миллионов?

Дик Дайвер пытается создать для себя, для Николь и своих друзей некий специально им конструируемый вариант привлекательной жизни. Это жизнь богатых людей, но освященная вкусом и внешним изяществом. Одни лишь «вершки» ее, как бы вовсе без «корешков», уходящих и в грязь, и в кровь. Артистизм и насмешливый ум доктора Дайвера позволяют ему при этом разыгрывать роль «чародея», украшателя жизни, устраняющего из дорогостоящих и редкостных развлечений ту грубость и «дурнотонность», которыми отмечена жизнь заурядного вульгарного богача и его прихлебателей.

Однако надолго он не может скрыть от себя, что двигатель этой жизни — миллионы Николь. «Заливавший его поток вещей и денег», «все растущая роскошь дайверского обихода» — это неоспоримые факты его повседневной жизни.

Расщепление социальной личности доктора Дайвера оказывается не менее опасным и разрушительным, чем расщепленность психики у его пациентов. Волшебство рушится, а с ним вместе и принятая им на себя роль всеобщего кумира и украшателя жизни. Наступает тот день, когда он вынужден сказать о себе: «Я как Черная смерть. Я теперь приношу людям только несчастье».

Душевная одаренность Ричарда Дайвера — вне сомнения. Она выделяет его и в профессиональной врачебной среде, и в созданном им светском кругу. Фицджеральд сочувствует своему герою, порой горячо жалеет его. Уже чувствуя свой закат, в гостях у Мингетти в бессонную ночь Дик вслушивается в доносящиеся до него заунывные песнопения молящихся мусульман. «...И ему в его тяжкой опустошенности и усталости захотелось, чтобы молящиеся помолились и за него, но о чем, он не знал, разве только о том, чтобы не затопила его с каждым днем нарастающая тоска».

Дайвер слишком опустошен, чтобы подняться над своим поражением, попытаться вернуть себе волю к борьбе.

И ему не на кого опереться. Сумрачный скептицизм Эйба Норта, нежелание признать ни за самим собой, ни за миром какие-либо достоинства, должен быть предпочтен фальсификации искусства и жизни, которой занимается модный писатель Маккиско. Но в той стадии морального безразличия, в какой пребывает Эйб Норт, его отрицание не может уже выполнять никакой положительной, очистительной роли в искусстве.

«Они стояли в неловком молчании, подавленные могучей личностью Эйба, который высился перед ними, как остов потерпевшего крушение корабля... Нельзя было... позабыть о его свершениях, пусть неполных и беспорядочных и уже превзойденных другими. Но пугала неослабная сила его воли, потому что прежде то была воля к жизни, а теперь — воля к смерти».

Каковы бы ни были первоначальные достоинства и достижения этих людей, сейчас они не только жертвы буржуазной цивилизации, но также продукты ее распада, зараженные ее ядами.

Если внимательно приглядеться, члены дайверовского кружка не так уже далеко ушли от столь презираемых ими «дурнотонных» прожигателей жизни и их паразитов, отличаясь, по сути, только воспитанностью и блеском. И плоды их изящной игры, снимания пенок, скольжения по жизни не так безобидны, как может показаться с первого взгляда. Умнейший Эйб Норт в пьяном угаре вовлекает желающего ему услужить человека в смертельно опасную ситуацию и не находит в себе ни охоты, ни воли, чтобы его спасти. А изящнейший доктор Дайвер направляет свои таланты на то, чтобы поскорее убрать труп убитого негра и не запутать своих друзей и себя в это неприятное дело. Смерть ни в чем не повинного человека проходит для них почти незамеченной.

И Розмэри Хойт не так идиллична, как может показаться на первых страницах ро-

мана, когда она предстает в ореоле наивной влюбленности. В моральные руководители ей дана ее мать, госпожа Спирс, образец американской «деловой женщины». Скудость духовного мира юной актрисы и мизерность ее артистического сознания должны послужить довольно пессимистическим гороскопом для ее будущего. При второй встрече с Дайвером в Риме повзрослевшая Розмэри наделена уже всеми задатками в меру стандартной восходящей звезды Голливуда.

Фицджеральд наделяет Николь большой женской прелестью и делает ее на первых порах чуждой или, во всяком случае, малоприкосновенной характерным чертам ее старшей сестры — расчетливости и агрессивной самоуверенности богачки. Обаяние Николь позволяет ей также стать подходящей партнершей для Ричарда Дайвера в затеянной им игре, в которой богатство и власть богатых людей как бы свободны от наиболее отталкивающих классовых атрибутов. Однако дальше автор показывает, что эти особенности Николь, отделяющие ее от прочих Уорренов, в огромной степени определялись ее болезнью, которая «приглушила» родовые черты ее личности и вынуждала ее, опираясь на мужа, заимствовать временно некоторые принадлежащие лично ему черты. Позднее все это меняется вместе с выздоровлением Николь и обретенной ею независимостью в поступках. Она обретает и жесткую волю к утверждению своих интересов, если надо — за счет других. Те характерные отношения, которые связывали ее десять лет с Диком и привели к восстановлению ее поколебленной личности (и краху его личности), один американский автор, пишущий о Фицджеральде, называет «духовным каннибализмом» или же «вампиризмом». Действительно, хоть мы и не знаем, как происходит перекачивание жизненных соков из Дика в Николь, есть какая-то зловещая симметричность в восхождении Николь от несчастья к расцвету личности и движении доктора Дайвера от расцвета к падению и краху.

Мы еще успеваем увидеть новый «холодный, немигающий взгляд Николь» и услышать, как ее голос становится «чеканным голосом ее деда». О дальнейшем Фицджеральд говорит так:

«Все устройство Николь было рассчитано на полет, на движение — с деньгами вместо крыльев и плавников. Грядущая перемена должна была лишь восстановить истинный порядок вещей...»

Эта новая Николь проявит себя под стать своей старшей сестре и станет достойной наследницей чикагского миллионера. И в этом смысле ее брак с Томми Барбаном, современным кондотьером имущих классов, почти символичен.

4

В 1932 году, приступая вплотную к работе над «Ночь нежна», Фицджеральд наметил в составленной для себя беглой записи основной замысел будущего романа.

«Задача романа следующая — показать природного идеалиста, так сказать, пренебрегшего саном священника, который по разным причинам поддается жизненным идеалам буржуазной верхушки; восходя по социальной лестнице, он теряет свой идеализм и свой талант, кончает беспутством и пьянством».

Образ Ричарда Дайвера, каким он дан в «Ночь нежна», в общих чертах отвечает этому предварительному наброску.

Однако в тех же заметках были намечены еще другие черты в интеллектуально-идейном облике будущего центрального персонажа романа.

В разработке его характера Фицджеральд пишет. «Фактически он коммунист-либерал-идеалист, моралист в состоянии бунта». А к концу этой предположительной записи, намечающей жизненный путь Дика, читаем, что, прежде чем возвратиться назад в США, Дик «отправляет сына в Советскую Россию», чтобы «воспитать его там»,— иными словами, хочет вырастить своего сына чуждым буржуазному миру.

Нет оснований толковать эти строки Фицджеральда так, что он хотел сделать доктора Дайвера коммунистом в собственном смысле слова. Это мало вязалось бы с первой из приведенных характеристик, да и последующая («коммунист-либерал-идеалист») тоже крайне противоречива. Речь идет, надо думать, все о том же «природном идеалисте», но соприкоснувшемся с коммунистической критикой буржуазного общества и признававшем в какой-то мере ее обоснованность и справедливость.

Так или иначе, можно считать установленным, что у Фицджеральда был план пойти в идейно-политической характеристике своего героя много дальше, чем он это сделал в окончательном тексте романа.

Тут надо отметить, что в лице Томми Барбана он выводит не просто опасного драчуна, считающего войну и убийство своей профессией, а воинствующего защитника капиталистического порядка. В первой книге романа, на вечеринке у Дайвера, Барбан так объясняет, почему он участвует в колониальных и контрреволюционных войнах: «Я дрался с рифами потому, что я европеец, и я дерусь с коммунистами потому, что они хотят отнять у меня мою собственность». Когда, после нескольких лет перерыва, Дайвер встречает Барбана в Мюнхене, то застает его с неким князем Чилищевым, русским белогвардейцем, только что нелегально вывезенным с помощью Барбана из Советской России. Оба хвастливо сообщают Дику, что при переходе границы убили трех красноармейцев. «Три молодые жизни — непомерно большая цена за этот мумифицированный пережиток прошлого»,— размышляет про себя Дик.

Если бы Фицджеральд провел до конца первоначально задуманный план и создал в лице доктора Дайвера политического антагониста Барбану, он открыто вывел бы книгу за пределы проблематики буржуазного общества. Трудно теперь сказать, в силу каких причин он от этого отказался. Быть может, при разработке характера Ри-

чарда Дайвера он убедился, что подобная идейная целеустремленность тому не по силам, превышает его возможности. В том же конспекте будущего романа он не раз говорит о недостаточной внутренней стойкости своего героя.

Однако, хотя Фицджеральд и отказался от мысли сделать доктора Дайвера носителем и идеологом отрицания буржуазного мира, не следует думать, что этот замысел бесследно прошел для романа. Основная мысль не ушла, и она присутствует в тех элементах анализа и оценки изображаемой жизни, которые время от времени освещают ход действия. Только этот анализ и эти оценки исходят уже не от Ричарда Дайвера, а от самого автора.

В самом начале романа, описывая восторг Розмэри Хойт, упивающейся «расточительными шалостями» и изяществом Дайверов, Фицджеральд пишет, что ей не дано было знать, что «все это далеко не так просто и не так невинно, как кажется... тщательно отобрано на ярмарке жизни... и составляет часть кабальной сделки с богами...» «Дайверы,— добавляет он,— в эту пору стояли на самой вершине эволюции целого класса... Но уже были налицо приметы качественных изменений, чего не замечала и не могла заметить Розмэри».

Дальше, описывая опьяняющие Розмэри закупки множества дорогих и красивых вещей, которые Николь производит в парижских фешенебельных магазинах, Фицджеральд переходит к анализу, в котором желание постичь до конца логику жизни этих людей соседствует с очевидным убеждением писателя, что выносимый им обвинительный приговор выражает объективное движение истории:

«Они покупали вещи не так, как это делает дорогая куртизанка, для которой белье или драгоценности — это, в сущности, орудия производства и помещение капитала,— нет, тут было нечто в корне иное...»

Далее Фицджеральд перечисляет работников разных сфер производства и всевозможных профессий, гнущих спину во всех странах мира, чтобы существовала такая Николь, «платящих Николь свою десятину».

«То была целая сложная система, работавшая бесперебойно, в тряске и в грохоте, и оттого, что Николь являлась частью этой системы, даже такие ее действия, как эти оптовые магазинные закупки, озарялись особым светом, подобным отблескам пламени на лице кочегара, стоящего перед открытой топкой. Она наглядно иллюстрировала очень простые истины, неся в самой себе свою неотвратимую гибель...»

Фицджеральд не касается в романе жизни и борьбы угнетенных и эксплуатируемых миллионов, подавляющего большинства человечества, платящего Николь «десятину», но этот суровый, прерывающий действие голос не оставляет сомнений, что автор пишет свою картину на видимом ему историческом фоне. И неожиданное уподобление социальной окраски действий Николь «ярким отблескам пламени на лице кочегара» сводит эту исполненную утонченности жизнь буржуазной элиты к некоторым «простым истинам», относящимся к ее экономической подоплеке, классовой сути и неотвратимой судьбе.

Вакханалия развлечений богатых людей и их окружения, ее пустота и никчемность, нервный предел, на котором находятся все эти люди, тоже свидетельствуют о глубине кризиса имущей верхушки, ее паразитическом загнивании и вырождении.

В каркас старинного дома на тихой парижской улице в сен-жерменском предместье встроен новейший модернистский чертог, и каждый вновь входящий чувствует себя так, «словно его ударило током или ему предложили на завтрак овсянку с гашишем». Хозяйка этого современного чуда — «еще одна стройная богатая американка, бесконечно пожинающая плоды национального просперити», а гости — «американцы и англичане, которые всю весну и все лето неумеренно прожигали жизнь и теперь в своих поступках следовали первому побуждению, часто непостижимому для них же самих... могли вдруг сорваться в ссору, истерику или неожиданный адюльтер». С ними соседствует другая группа гостей — приживал при этих богатых людях; и весь супермодный, на грани чудовищности салон уподоблен современному Франкенштейну.

На принадлежащей англичанину-богачу Голдингу белоснежной моторной яхте «Марджин», которую в последней книге романа посещают Дик и Николь, прожигают жизнь «ошалелые невропаты, притворяющиеся равнодушными», поднявшие знамя «распада и разрушения».

Эти и другие подобные эпизоды, сцены разгула и человеческого падения в романе Фицджеральда — Эйб Норт в баре «Ритца», пьяная драка Дика Дайвера в Риме, арест Мэри Мингетти и леди Каролейн Сибли-Бирс на Ривьере, богатые дегенераты в швейцарской психиатрической клинике — своей едкой горечью и в то же время проницательной силой заставляют новейших читателей романа Фицджеральда сопоставлять «Ночь нежна» с появившейся четверть века спустя «Сладкой жизнью» Федерико Феллини. Ощущение, что речь идет о чем-то более крупном и важном, чем судьбы героев романа, не оставляет читателя и заражает его глубокой тревогой. Феллини однажды уподобил свой фильм фреске, изображающей кораблекрушение. Сходное чувство вызывает и «Ночь нежна». Книга написана о моральном крушении буржуазного мира.

5

Если сравнить «Ночь нежна» с «Великим Гэтсби», станет видно, насколько сложный и трудный путь был пройден писателем. Радикально меняется сама атмосфера

романа. В «Ночь нежна» больше нет той цельности чувств, поэтичности красок, которые так восхищают в «Великом Гэтсби». Мир героев романа расколот иронией и рефлексией; ослаблена вера; нет накала страстей. Гэтсби, даже преданный и обманутый, сохраняет свой романтический пафос, умирает несдавшимся, непримиренным. Окончательный разрыв Дика Дайвера и Николь, их последнее объяснение, втроем с Барбаном, проходит на фоне остаточных всплесков той суеты, которая составляла их жизнь. Искусно контрапунктируя, автор вводит в эту прощальную сцену снижающие мотивы и интермедии. Фанфаронство Барбана, душевная вялость Дика, эгоизм Николь исключают всякую героику чувств.

В «Ночь нежна» мир сияет только снаружи. Внутри же он сумрачен, грустен, оставляет мало надежды. Заглавие романа — строка из Китса. В своей «Оде к соловью» английский поэт-романтик рисует волшебное царство ночи. Ночь — нежна, но в ее владениях нет света, там тьма и душное тление. То, что Фицджеральд избрал эту строку из Китса, не значит, что он прельщен красотой умирания. Скорее это прощание с романтикой. В «Ночь нежна» Фицджеральд трезвее и зорче, чем в первом романе. Социальный мотив выходит на авансцену.

В центре обоих романов Фицджеральда одна из важнейших социальных и моральных проблем буржуазной цивилизации — опасность для общества в целом самовластия в нем, командного положения «очень богатых людей», их бесконтрольного права навязывать обществу свои взгляды на справедливость, нравственность, красоту.

В некоторых отношениях эта проблема вдвойне и втройне актуальна для американской жизни, для буржуазной цивилизации в США, потому что буржуазное по преимуществу происхождение и развитие американского общества долгое время мешали созданию в интеллигентной среде и в широких народных массах социалистического противовеса идеалам буржуазии.

Проблема возможностей, связанных с материальным богатством, как уже говорилось, всегда занимала Фицджеральда, и он с неотрывным вниманием, подчас завороженным взором вглядывался в новейших Мидасов и Крезов, расшифровывая их поступки, пытаясь постичь их тайны.

Молодой Фицджеральд вырос и был воспитан в сфере действия американобуржуазного мифа, согласно которому богатство увенчивает человека или, во всяком случае, служит необходимейшим из компонентов идеального состояния личности.

В одной из названных статей «Краха», где Фицджеральд самокритически анализирует мир иллюзий и предрассудков, с которым был долго связан, он пишет с горькой иронией, что совершенная личность рисовалась ему, как сплав «Джона Пирпонта Моргана, Топема Боклерка (просвещенный английский аристократ, остроумец XVIII столетия.— *А. С.*) и Франциска Ассизского».

Нечто подобное, видимо, думал и герой «Ночь нежна» Ричард Дайвер.

Если Гэтсби был простаком, воспитанным в ходовых представлениях американского буржуазного общества, и не мыслил себе достижения жизненных целей вне богатства, то Ричард Дайвер — образованный человек, способный к самоанализу. Он стоит перед выбором. Ник Каррауэй из «Великого Гэтсби» — тоже интеллигент. Но он только наблюдатель. В «Ночь нежна» интеллигент, потерявший себя в лабиринте буржуазного общества и буржуазной морали, становится центральным участником драмы.

Особо надо сказать о личных в широком смысле мотивах, которые Фицджеральд ввел в «Ночь нежна».

Почти нет заметного эпизода во взаимоотношениях Ричарда Дайвера с окружающим миром, который не был бы окрашен личным опытом и личными воспоминаниями автора.

Психиатрический материал в романе — врачи, лечебница, пациенты — собран Фицджеральдом в годы, когда он сам, находясь близ душевнобольной жены, был захвачен этими мучительными для него впечатлениями.

Иногда целые отрезки сюжета выполнены Фицджеральдом по канве собственной биографии. Так, в 1930—1931 годах, когда Зельда — жена писателя — лечилась в Швейцарии, Фицджеральд был сперва вместе с ней в Монтре, потом в Гстааде и в Мюнхене, после чего ездил в США на похороны отца. Эти передвижения с большой точностью воспроизведены в «Ночь нежна» во второй книге романа.

При всем том Ричард Дайвер не автобиографический образ, и сближение его с автором допустимо лишь в очень ограниченных рамках.

Существенно важен другой личный момент — близость моральной проблемы героя и автора и общая связь ее с неотвратимо встающим перед Фицджеральдом в эти годы вопросом о положении художника в капиталистическом мире.

Главное, что волнует Фицджеральда — это проблема ответственности каждого человека, и идеолога в первую очередь, за невыполнение своего социального долга и те гибельные последствия, оскудение личности, разрушение таланта, которые ждут художника, отдавшего свое творчество на службу успеху.

Всего через два года после выхода в свет «Ночь нежна» Фицджеральд в статьях «Краха» уже ставит всю совокупность этих вопросов на материале собственной жизни и в форме публичной исповеди. В процессе создания романа он, конечно, не мог не «примеривать» трудности и испытания Ричарда Дайвера к себе самому.

В уже упомянутых беглых заметках Фицджеральда к «Ночь нежна» разбор недостатков Дайвера, его малой внутренней стойкости приобретает по временам характерный личный аспект.

«Не хватает суровой силы, прочности на разрыв, которая есть у Бранкузи, Леже, Пикассо»,— пишет Фицджеральд.

Все три названных «эталона» — люди искусства, известные тем, что твердо шли избранным ими путем, глухие к соблазну славы, богатства, успеха ценой компромиссов. Отметим, что двое из названных трех художников, Леже и Пикассо, уже связали к этому времени свое имя с борьбой трудящихся масс.

Таким образом, в идейно-художественном самопознании писателя его работа над «Ночь нежна» и самый роман — ступени, ведущие к самокритическим статьям «Краха» и к дальнейшим поискам *верной* позиции писателя в капиталистическом мире.

6

Фицджеральду была свойственна редкая сила критического суждения не только об окружающем мире, но и о самом себе. И потому не только его удачи, но также и кризисы — важные вехи в его творческой биографии и несут в себе стимулы для движения вперед.

К несчастью, ближайшие несколько лет после выхода «Ночь нежна» были годами болезни Фицджеральда и духовной апатии. А когда уже явно обозначились признаки нового творческого подъема, внезапная смерть оборвала его путь.

Надо сказать, что в своем конечном суждении о «Ночь нежна» Хемингуэй сумел пренебречь и личными антипатиями, и тем общим отказом отдать должное книге Фицджеральда, который характеризует современную американскую критику. Сперва объявив «Ночь нежна» неудачей (в письме к самому Фицджеральду сразу по выходе книги), Хемингуэй уже через год писал Максуэлу Перкинсу (общему другу его и Фицджеральда): «Странное дело, по прошествии времени «Ночь нежна» кажется мне все лучше и лучше». Позже, уже после смерти Фицджеральда, он написал (тоже в частном письме), что «Ночь нежна»— лучшая книга Фицджеральда, что он находит в ней и трагизм, и магию искусства.

Легенды, пристрастные суждения современников постепенно рассеиваются, и неуклонно крепнет слава Фицджеральда как одной из центральных фигур американского социального романа XX века.

Прогнозируя литературную ситуацию, нельзя не коснуться и тех имен и традиций пройденных лет, которые могут стать в той или иной степени актуальными, притягательными для нового поколения.

И надо высказать мнение, что среди этих имен будет и Скотт Фицджеральд — автор «Великого Гэтсби», «Краха» и «Ночь нежна». Не успевший развить до конца свою критику буржуазного мира, но остро почувствовавший его бесчеловечность и вместе с тем обреченность, выстрадавший сознание ответственности интеллектуала, человека искусства перед историей и своим поколением, этот писатель может стать по-особому близок тем молодым людям в США 70-х годов, которые захотят пойти дальше его в своем отрицании господства капитализма.

Репортажи

НАША ЖИЗНЬ В ЗЕРКАЛЕ

Перевод с венгерского и вступление Е. БОЧАРНИКОВОЙ

В 1970 году Венгрия отмечала двадцать пять лет освобождения от ига капитализма и фашистского террора. В ознаменование этой даты венгерские издательства выпустили большое количество книг: романы, сборники рассказов, мемуары, исторические и социологические труды.

Предлагаемые читателям журнала репортажи взяты из сборника «Наша жизнь в зеркале», куда вошли произведения двадцати пяти писателей — разных по творческим пристрастиям, возрасту, уровню мастерства. Среди них представители старшего поколения, такие, как Бела Иллеш, Пал Сабо, Дюла Ийеш, произведения которых, переведенные на многие языки, известны далеко за пределами Венгрии, и сравнительно молодые писатели, которым еще предстоит утвердить свой авторитет в венгерской литературе.

В предисловии к сборнику его составитель Дёрдь Немеш пишет: «Для знакомства с нашей жизнью, для анализа ее событий существует такой важный жанр, как репортаж... В Венгрии он стоит гораздо ближе к художественной литературе, чем в других странах. В этом жанре охотно работали очень многие венгерские писатели. Основоположниками литературного репортажа в Венгрии можно считать Миксата и Морица, крупнейших представителей реализма в венгерской литературе. Репортаж помог нам узнать многие черты этих двадцати пяти лет. Он быстрее реагировал на события, следил за изменениями, острее схватывал особенности нынешнего дня, чем это могли бы сделать многие другие жанры художественной литературы.

Для того чтобы содержание сборника более или менее соответствовало его названию — «Наша жизнь в зеркале», надо было постараться, чтобы в него не проникли лакировочные, схематичные, «лоснящиеся благополучием» репортажи. Большинство из них отражает двадцать пять лет нашей жизни, показывая ее в развитии, в родовых схватках, в борьбе с тянущими назад силами, со всеми имеющимися еще в венгерской действительности отрицательными явлениями. Картина далека от полноты, сборник не охватывает всего, но детали подмечены правильно. Главное, что эти двадцать пять репортажей показывают читателю, с чего мы начали и что сделали, чтобы из феодальной Венгрии родилась Венгрия социалистическая».

Первую страницу в истории этого рождения открывает очерк Белы Иллеша, основоположника социалистического реализма в венгерской литературе, «Ночь в «Нью-Йорке», взятый из серии его очерков «Картинки освобождения Венгрии».

Следующая веха — раздача земли крестьянам — тема очерка «Земельная реформа в Озоро» Дюлы Ийеша, поэта, прозаика и драматурга, знакомого советскому читателю по сборнику стихов «Рукопожатие».

Известный прозаик Дюла Фекете (его повесть «Старый доктор» была опубликована в «Иностранной литературе» [1]*) в своеобразной форме почти юмористической новеллы «Похищение невесты» рассказывает, с какой самоотдачей трудились молодые партийные организаторы и какая грандиозная перестройка происходила в стране в первый год после освобождения.*

О своеобразии перемен в жизни рабочего класса, о трудностях, возникающих одновременно с рождением нового в сознании людей, написан очерк Михая Гергея «Диошдьёрский дневник». До освобождения Венгрии сам писатель был рабочим на металлургическом заводе в Диошдьёре.

Прозаики Пал Сабо, Эрвин Лазар, Дюла Чак рассказывают о глубоких подспудных изменениях, происходящих в деревне.

[1] См. № 9 за 1965 г.

БЕЛА ИЛЛЕШ

Ночь в «Нью-Йорке»

Нам отвели дом, но он оказался разрушенным. Мы (я и двадцать один человек под моим командованием) нашли себе пристанище в домах по переулку, выходящему на улицу Дохань, хотя там и без нас хватало народу.

Часа через три-четыре пришел новый приказ — занять типографию «Атенеум». Задача была не из легких: между проспектом Ракоци и улицей Вешелени еще находились значительные немецкие силы.

За два дня мы приблизились на две улицы, но до типографии все еще было далеко — метров восемьдесят, а то и девяносто. В типографии нам предстояло печатать газету. При условии, конечно, что здание уцелеет.

В два часа ночи 16 января нам сообщили, что советские части заняли район между Большим кольцом и улицей Вешелени. В четыре часа, еще задолго до рассвета, мы захватили переулок позади «Атенеума». В том его конце, который выходит на проспект Ракоци, мы выставили пикет из четырех солдат. И такой же пикет послали в другой конец, а посредине, у гаража, расположился я с восемью солдатами. Я уже отдал приказ о наступлении, но тут произошло нечто совсем неожиданное.

Из ворот «Атенеума» вышла хорошенькая женщина с повязкой Красного Креста на рукаве.

Я поздоровался с ней по-венгерски, и она ответила мне улыбкой.

— В здании типографии есть немцы?

— Есть. Человек шесть.

— Уговорите их выйти и сдаться.

— Если я смогу им гарантировать, что их не застрелят, а возьмут в плен, то, наверное, они согласятся.

Мы так и договорились.

Я перевел наш разговор на русский язык, чтобы объяснить, на чем мы порешили. Тринадцать-четырнадцать солдат взяли ворота на прицел.

Потянулись ужасающе длинные минуты. Минут через пять Котов сказал:

— А если они нас обманут?

— Им же будет хуже,— ответил я, не испытывая никакой уверенности в том, что поступил правильно.

Через минуту на улицу вышли гуськом шесть немецких солдат. Первым шел унтер-офицер, за ним, по-видимому, ефрейтор, остальные были рядовыми. Проходя ворота, они бросали оружие на землю.

— Мы сдаемся! — крикнул унтер-офицер.

Очевидно, он также сомневался, верно ли они поступили, как я за минуту до этого...

— Есть ли в здании еще немцы? — спросил я по-немецки.

— Господин генерал...

— Я не генерал, а майор. Так что же?

— Господин майор, там раненые. Русский сержант, четыре немца и семь венгров. За ранеными ухаживают венгерские женщины.

— Хорошо. Мы, Советская Армия, точно выполняем конвенцию об обращении с военнопленными. Оружия ни у кого нет?

Все это время немцы стояли, подняв руки. Мои солдаты обыскали их, потом увели. За Восточным вокзалом был устроен временный лагерь для военнопленных.

На улицу снова вышла та же женщина (кстати, через семнадцать-восемнадцать лет я все еще продолжал встречать ее в «Атенеуме»).

— Немцев там не осталось, одни раненые. Почти все венгры, но есть один русский и немцы. Я не знаю точно, сколько их.

Мы пересекли двор, спустились в темный подвал и прошли в соседнее помещение. Там горели четыре свечи и карманный фонарик.

Прежде всего я подошел к раненому русскому. Он пожал мне и солдатам руки, и я спросил, куда он ранен.

— Две пули в ноге, и сломана пара ребер. Я лежу тут уже третьи сутки.

— Вас смотрел врач?

— Никакого врача здесь не было, но венгерки прекрасно за нами ухаживают.

— Есть хотите?

— Конечно... За два дня мне дали один ломтик хлеба. И венгры получили столько же.

Я вынул из вещмешка еду, но он не сразу за нее принялся.

— Советских солдат, которых взяли в плен четыре дня тому назад, застрелили на месте. Я попал к ним в руки два дня назад, и со мной они уже обходились, как с близким родственником.

— Об этом после. А теперь ешьте.

Венгерским солдатам мы тоже дали поесть. Вокруг собрались рабочие типографии.

С ранеными остались два солдата.

Я сказал рабочим по-венгерски:

— Типография занята Советской Армией. Печатники и все остальные рабочие будут получать такой же паек, как советские солдаты. О заработной плате поговорим позже. Выберите пять лучших печатников, чтобы они сообщили мне, что здесь потребуется. Через два часа затопим две полевые кухни — теперь вы будете получать еду три раза в день...

Впервые в жизни я увидел, как упоминание о полевой кухне вызвало у людей слезы. Конечно, плакали главным образом женщины, но и кое-кто из мужчин тер глаза.

Прошло три часа. Когда мы пошли в «Нью-Йорк», уже наступило утро. «Нью-Йорк» — это кафе, но так называли весь дом, в котором оно находилось. В этом кафе я единственный раз в жизни разговаривал с Эндре Ади.

Полная тишина. Швейцар, к моему великому изумлению, оказавшийся на своем месте, заговорил со мной невозмутимым тоном.

— Чем могу служить господам? — спросил он меня по-немецки.

— Мы занимаем это здание. Немецкие военные есть в нем?

— Человек семь-восемь на четвертом этаже. Пьют. И женщины с ними.

— Вы говорите по-немецки. Сообщите им, что мы заняли здание, и если они не сдадутся... Ладно, больше ничего им не говорите.

Через пять минут в коридоре четвертого этажа был вывешен грязный белый флаг. Восемь наших солдат быстро побежали туда. Мы с Котовым медленно пошли за ними. Остальные солдаты заняли нижний этаж, готовясь стрелять при первой необходимости.

На лестнице между третьим и четвертым этажом нас остановила старуха. Просила хлеба. Я пошел дальше, а Котов развязал свой вещмешок.

И тут раздались выстрелы. Котов был убит, старуха ранена.

Я подхватил Котова, не понимая, что он уже мертв, и спрятался с ним за колонну от пуль.

Через пять минут все восемь немецких солдат превратились в восемь трупов. Мы потеряли одного убитым, и четверо были ранены.

Через десять минут за Котовым и ранеными прислали машину. Я решил сразу же написать моему близкому другу, профессору Котову о героической гибели его сына.

Наши солдаты, осматривавшие все комнаты на этаже, обнаружили голую и мертвецки пьяную женщину.

— Нашел с кем связаться! — сказала она мне по-венгерски.— Я тебя изрежу на куски.

Я накинул на нее немецкую шинель и велел увести к пленным.

Хозяин комнаты, где мы находились, был старый полуслепой инженер. Он представился и спросил, что ему надо теперь делать.

— После...

За окном виднелся памятник Енё Ракоши, а дальше было безмолвие.

— Что там? — спросил я у старого инженера.

— Будапештское гетто,— ответил он и, как бы боясь, что я не понял, повторил: — Там гетто.

ДЮЛА ИЙЕШ

Земельная реформа в Озоро

— Эрчи! Остановись на минутку.

— Могу и на пять минут.

В двухэтажном школьном здании с разрушенным фасадом идет собрание. Те, для кого не хватило места внутри, толпятся на улице.

— Из Будапешта? Идите скорее! Скажете речь... Мы только начали.

— Нет, мы по другому делу.

Тем не менее Сёни, партийный уполномоченный, вылезает из машины.

Рядом с нами стоит высокий худой человек. Тонкая шея зябко торчит из крахмального воротничка, и вообще он выглядит словно вернувшийся с того света призрак.

— Как с разделом земли?

На вопрос он отвечает вопросом:

— Тем, у кого в девятнадцатом были чины или должности, их теперь вернут?

— Не знаю.

— Я был капитаном, командовал ротой...

Его глаза блестят, и видно, что все происходящее задевает его за живое.

Торопливо возвращается Сёни — надо ехать дальше.

Наш шофер Гараш передает кому-то из местных кипу газет.

Совсем недавно, в марте, немцы прорвались до самой окраины села... В толпе чуть в стороне от нас покуривают советские солдаты; они пересмеиваются с празднично разодетыми девушками, которые стоят маленькими группками.

А поля вокруг пусты. У дороги брошенные немецкие укрепления, покинутые дома. Среди зеленеющих озимых там и тут, словно допотопные чудовища, высятся гигантские остовы немецких танков — обгоревшие, разбитые, застывшие, будто разбитые параличом, с задранными к небу пушечными стволами. В канавах валяются вверх днищами и вверх ногами трупы машин и лошадей. И та небольшая уверенность, которая пришла ко мне вместе с весенними запахами фруктовых садов Эрда, вдруг меня покидает. Положив на колени руки с блокнотом и авторучкой, я думаю: строить новое общество здесь, когда от старого даже фундамента не осталось?

В Дунафёльдваре несколько человек развили лихорадочную деятельность, но выглядит это так, словно они пытаются бежать, увязая в трясине. Нет того, нет другого. Нет тягловой силы, нет кадастра, нет землемера. Даже рулетки нет.

В голосе Кардоша слышна еле сдерживаемая ярость:

— Измеряйте веревкой! Земля-то ведь есть?

Земля есть. Сорок тысяч хольдов аббатства в Зирце, поместья Элёсалаш, Барачка, Пазманд. Но вот желающих получить землю маловато. Кто-то мутит народ. Говорят:

«Что ж, Янош, бери себе пятнадцать хольдов, только уж потом пеняй на себя... Я что ж, я согласен, а вот тебе бы лучше в это дело не путаться».

Или более откровенно:

«В девятнадцатом те, кому очень земли захотелось, болтались на виселицах и теперь будут болтаться».

Слухи распространяются быстро, потому что бедняков здесь много.

— Что ж, товарищи, дайте-ка слухам новую пищу — пора начать размежевание.

Потом — огромное поместье Элёсалаш. И полное безлюдие, точно мы оказались на Луне. Дальше Алап, Цеце. Это мои родные места. От радости я даже становлюсь болтливым. Вот здесь было имение Ласло Араня [1]. А вон там кладбище, где похоронены родители моей матери.

Направо и налево развалины домов. Но мы уже к этому привыкли. У моста через Шарвиз машина медленно съезжает с насыпи и осторожно ползет по временному мостику над самой водой — старый мост взорван. В глубине аллеи виднеется мельница, где родился Иштван Чок [2]. С нее словно кожу содрали — кроваво краснеет обнажившийся кирпич. Чем дальше, тем хуже. От Шарэгрешпушты вообще ничего не осталось — ни домов, ни хозяйственных построек. Только кое-где торчат обломки стен, обугленные, без крыш. И везде остовы мертвых танков с поднятыми к небу или уткнувшимися в землю стволами орудий. Самые жаркие бои шли на равнине между станциями Шарэгреш и Шимонторня, у железнодорожного полотна, немцам удалось прорваться к самой железной дороге, но здесь их остановили. А в детстве я как раз здесь впервые увидел солдата... На лугу, где я когда-то играл школьником, стоит искореженный танк. Издали видно, что Шимонторня тоже лежит в развалинах, и мы сворачиваем на дорогу к Силашу.

У встречного прохожего спрашиваем:

— Цел ли мост в Озоро?

Если моста нет, то нам придется объезжать через Немеди и Пинцехей.

Прежнего-то моста нет, но на его месте саперы навели новый. Мы едем по нему уже в сумерках. Мне очень хочется поскорей попасть домой, но уполномоченные должны еще сегодня вечером обязательно побывать в комитете по разделу земли.

— Тут тоже неприятности? Не идет раздел?

— Как раз наоборот, даже слишком быстро идет.

Фары еле светят, и наша машина почти на ощупь пробирается берегом Цинцы к дому, где находится комитет. Знакомимся в темноте. Высокая тень крепко жмет мне руку, я называю себя. Множество рук хватает меня, хлопает по плечу.

— Наконец-то мы встретились! Я тебя знаю...

Он перечисляет названия моих книг — единственный человек в Озоро, который знает меня по моим произведениям, знает как писателя. Я тоже его знаю, хотя до сих пор он был для меня лишь легендарной личностью. А для батраков было вполне естественным, что его выдвинули в руководители, ведь он давно был у них вожаком.

---

[1] Ласло Арань (1844—1898) — фольклорист и этнограф.

[2] Известный венгерский художник, дважды лауреат премии Кошута.

— Значит, не забыл? — спрашивает он.— Мы с тобой познакомились на школьном дворе. Я учился в одном классе с покойным Фери. Надо было вам раньше приехать! Утром у нас был праздник, раздел земли. И какой праздник! Такого еще никогда не было в Озоро.

В этом мы не сомневались.

— Как все это прошло? Что было?

— Народа собралось уйма. Тысячи четыре, не меньше! И речи! Я тоже говорил.

— О чем?

— Немного о земле, немного о прибавочной стоимости, потом о Дьёрде Доже[1] и о том, что такое общество.

Я внезапно замечаю, что он говорит на местном диалекте, по-особому произносятся согласные и немного окая. Его голос поднимается к нам из столетних народных глубин, так говорили наши предки. Великан жмет мне руку. Я никогда не видел такой ладони — в ней умещаются оба моих кулака.

Это Иштван Миклош, крестьянин, майор Интернациональной бригады в Испании. Когда я приезжал домой, его тут не было, а когда он вернулся, то уже не застал меня.

— Три года я просидел в тюрьме, пять лет скрывался. И вот встретились!

Упорный, с пылкой душой. Уполномоченные спорят с ним, а он настаивает, что пришло время осуществить в Озоро все то, о чем он думал долгими ночами под Уэской и в сегедской тюрьме. Здешняя беднота поддерживает выношенные им в Уэске планы. Мигающий свет лампы отражается в их глазах, словно вырываются языки пламени, скрытого в недрах земли. Лампа, мигнув еще раз-другой, гаснет. У кого в деревне есть еще керосин? Разговор продолжим у Миклоша. А я пока на минутку загляну к своим.

Темно хоть глаз выколи, но двое вызываются меня проводить.

— Батраки работают на полях?

— Еще ни один не вышел,— отвечает кто-то из моих спутников.

— Ярма вытачивают,— объясняет другой.

И, перебивая друг друга, они рассказывают мне, что батрацкие коровенки не выдерживают тяжести ярма, сделанного по шеям могучих волов. Приходится делать ярма полегче.

— Значит, вот чем они заняты?

— Еще готовят сохи деревянные — полегче.

— А еще?

— Ну, лопаты, мотыги... Ведь совсем ничего не осталось. От помещичьего скота только ослик, на котором воду возили.

Иду через сад. Ровно год тому назад я совсем так же пробирался сюда, стараясь, чтобы меня никто не увидел. Дверь дома управляющего заколочена, окна зияют пустотой — в некоторых даже рам нет. В марте здесь шли упорные бои. Советские войска были за Шио, здесь стояли немцы.

Я нахожу своих в батрацкой хижине; они приютились там вместе с семьей кучера — на всех одна комната и кухня. Объятия, обычные расспросы.

Потом мы возвращаемся в деревню.

В крохотной комнатке батрацкой хижины головы склоняются над клочком бумаги величиной с ладонь. На тщательно разглаженном обрывке оберточной бумаги карандашом начерчен план.

— Здесь железная дорога, а тут будет новая деревня.

Обновление жизни. Жители деревни хотят получить землю у самого села, с тем чтобы батраки из имения взяли более дальние участки. Они уже и план составили.

— Им так лучше будет! — говорит хозяин дома, хлопая огромной ладонью по столу.

Но батраки тоже хотят получить землю возле деревни.

— Там будет железная дорога!

В Озоро железной дороги нет.

Кардош просматривает список желающих получить землю. Через его плечо я читаю имена: Йожеф Балипап, Михай Дёллеш, Янош Чибор, и на сердце у меня теплеет, а в последней графе: двенадцать хольдов, десять хольдов, пятнадцать хольдов.

На каждую семью полагается восемь хольдов, но площадь увеличивается в зависимости от числа детей, качества земли, расположения участка. В списке претендующих на землю семьсот человек.

— Вдова Яноша Мислаи... А ей почему двадцать пять хольдов?

— Мужа немцы убили.

Недолгое молчание.

— А волы есть?

— В четыре раза меньше, чем нужно, но все-таки есть.

— Где-нибудь раздел земли уже кончился?

---

[1] Предводитель крестьянского восстания в 1514 г.

— Здесь. А еще в Фюргеде, в Ньеке. Почти кончили в Кечеге, Шари, Тенгёде, Бедегкере.

— А среди тех,— спрашиваю я,— кто помогал делить землю, были образованные люди?

Переглядываются.

— Ни одного.

На крохотном очаге в огромном котле булькает суп из поджаренной муки.

— Завтра начинается раздел в Сакае, там тоже с праздника начнем. Вот там вы и посмотрите, как это у нас делается.

Посмотрим.

Потом возвращаемся на хутор. Кровати сожгли, и вся семья укладывается на земляном полу. Потеснившись, дают место и мне с женой.

ДЮЛА ФЕКЕТЕ

Похищение невесты

Эпоха вмешивается даже в самые интимные личные дела людей. В доказательство этого — а также в назидание другим молодым парам — расскажу вам историю женитьбы и свадебной ночи моего близкого знакомого.

Первый раз они вышли вечером пройтись вместе, когда ей исполнилось двенадцать, а ему шестнадцать. Светила луна, они шли по дороге, неловко пытаясь завязать разговор и тут же надолго умолкая, как это водилось тогда, при старом строе. Позже их пути разошлись, а встречаясь, они делились друг с другом очередными увлечениями. Так прошло шесть лет, а летом 1944 года они внезапно решили, что молодость быстротечна и им пора пожениться.

Весной — это было уже в 1945 году — она тоже переехала в город, чтобы закончить там школу.

Он был по горло занят всякими политическими и организационными мероприятиями, не говоря уж о собраниях. Свадьбу он тоже представлял себе как организацию большого собрания: надо договориться с такими-то официальными органами, обеспечить конкретные условия и т. д. (По правде говоря, устроить свадьбу казалось ему куда менее сложным, чем организовать митинг.)

Но «конкретные условия» отсутствовали.

О постоянном месте работы, хорошо оплачиваемой должности и речи быть не могло — все это тогда было очень неопределенно, и трезво мыслящий человек вообще не включал такие вещи в «конкретные условия». Квартиры, конечно, не было.

Он жил в вестибюле местного парткома. С мебелью дело обстояло благополучно — все, что находилось в этом вестибюле, вполне отвечало его цели. Старинная кровать по ширине почти равнялась длине, и было совершенно очевидно, что она предназначалась для супружеской пары, а спать на ней в одиночестве было просто непозволительной роскошью. Тумбочка и плетеное кресло вполне могли служить вместилищем для одежды, обуви и всяких мелких предметов. Все его вещи прекрасно умещались в тумбочке и на ручке кресла, и можно было надеяться, что места для приданого невесты вполне хватит.

Однако несмотря на все эти несомненные преимущества, вестибюль не казался им таким уж подходящим помещением для супружеского гнездышка. Весь день напролет по нему сновали посетители. С этим еще можно было бы примириться, но хуже было то, что в дверь начинали стучать через полчаса после прибытия первого утреннего поезда.

Потом он в том же учреждении перебрался из вестибюля в маленькую комнатку без окон, но со стеклянной дверью. Через комнатку никто не ходил, и при ней имелись все удобства — иначе говоря, дверь из нее открывалась прямо в ванную.

Но обставлена комнатка была ниже всякой критики — в ней не было ничего, кроме соломенного тюфяка, покрытого лошадиной попоной, а это не могло удовлетворить возросших требований молодой пары.

Миновала весна, и уже лето было в полном разгаре.

Наконец, благодаря заботам учреждения, которое ведало брошенными вещами, появилось и последнее «конкретное условие» — совсем еще крепкий диван-кровать. В тот же день счастливый жених произвел генеральную уборку и пригласил к себе невесту. Она не заставила себя долго просить, произвела осмотр новой квартиры и тут же принялась снова ее убирать.

Документы у них уже давно были в порядке, жених быстро получил нужное разрешение, и был назначен день свадьбы.

Оставался только один неразрешенный вопрос.

Из-за частых разъездов по стране, случайного характера исполнявшихся им поручений и неопределенных доходов старшее поколение, говоря откровенно, не считало жениха завидной партией. Невеста же после переезда в город жила в семье, отличавшейся строгими правилами, и за нравственностью молодой девушки следили с большой бдительностью — даже за столом она получала внушений больше, чем кусочков сахара в чай.

Обдумав создавшееся положение, жених с невестой очень скоро пришли к заключению, что сватовство — пережиток реакционного прошлого, устаревшая и ненужная церемония. К тому же она жила не у родителей.

Решение это они приняли без излишнего волнения, не как это бывает в романах и романтических пьесах. И последнее препятствие доставило молодой паре меньше всего забот.

Семья, отличавшаяся такой строгой нравственностью, жила на первом этаже, а окна квартиры выходили на улицу. В назначенный час жених подошел к окну, невеста передала ему чемодан со всем своим приданым, от альбомчика со стихами, написанными школьными подругами, до авторучки. Через пять минут дом покинула и сама хозяйка чемодана, объяснив, что ей нужно сбегать в магазин за чернилами.

Они встретились на углу, в двух кварталах от ее дома, встретились, смеясь, ужасно счастливые, готовые начать новую жизнь.

День свадьбы был назначен, все готово, позаботились и о приглашенных. Не учли они только одного — жизнь всегда чревата неожиданными препятствиями, которые мешают осуществлению самых продуманных планов.

Вечером жених улегся спать в кабинете на стульях. Он так привык спать где угодно, что это не помешало бы ему уснуть, если б не стеклянная дверь, за которой... Долгое ожидание подходило к концу, и его обуревали думы и чувства, не имевшие никакого отношения к «текущему историческому моменту». Когда ему удалось забыться тревожным сном, уже светало, и вскоре пришел первый утренний поезд.

День был базарный — как он это забыл! — и посетителей явилось особенно много. Они приходили и уходили, а некоторые устраивались по-домашнему, удобно усаживались и развязывали узелки с едой, считая, что именно помещение парткома самое подходящее для этого место. Комната наполнилась запахом чеснока, вареной кукурузы, палинки и крепчайшей махорки. И каждый рассказывал о своих делах и заботах.

Областной совет по разделу земли вернул сто хольдов бывшему хозяину, люди протестуют, требуют передела.

Где можно достать медный купорос?

Мелкие хозяева-середняки создали у себя в деревне буржуазную демократическую партию. Надо срочно организовать социал-демократов, чтобы сохранить в Национальном комитете левое большинство.

Почему правительство не заботится о соли? Зачем тогда правительство, если нет соли?

Пусть приедут из центра провести митинг, лучше всего, если бы Петер Вереш...

Правда ли, что каждая семья имеет право выращивать до двухсот кустов табака? Почему Крестьянская партия не позаботится об этом?

Нужны пропуска, плакаты, нужен организатор.

Нужны гвозди для подков, нужен мандат, разрешение на пользование мотором, нужен докладчик, нужна колесная мазь.

Время идет незаметно.

И вот появляется нарядная невеста — на ногах у нее красивые туфли (накануне жених укреплял на них каблуки), в руках черная лакированная сумочка близкой подруги.

— Ты скоро? Ведь уже почти половина одиннадцатого.

— Куда ты! — хватает его за рукав один из посетителей, старый знакомый, одновременно председатель и Земельного комитета, и Крестьянской партии.— Что ж ты меня не выслушаешь?

— Не могу, дядюшка Карой, вы уж не сердитесь. В десять сорок пять свадьба.

— А ты что, свидетель?

— Сам женюсь.

Почти всю дорогу они бежали бегом и не очень опоздали, всего на несколько минут. Правда, свидетели уже начали волноваться. Работник загса тоже ждал и сразу же велел повторять за ним что полагалось, и они повторяли, еле переводя дыхание.

Теперь настал черед свадебного обеда, который доставил им больше всего хлопот (во всяком случае, так они тогда думали). Они бы, конечно, охотно обошлись без обеда, но было неудобно перед свидетелями — близкими друзьями жениха. Жених отложил на этот обед тысячу пенгё, свою месячную зарплату. Обедать решили в темном маленьком трактире, сели за столик в углу, и официант быстро накрыл на четверых. Ели суп, потом жилистый гуляш с кашей. Узнав, что ни вина, ни пива в трактире нет, молодой муж облегченно вздохнул и заказал две бутылки сельтерской воды.

В трактире было прохладно и тихо. Кроме них, обедали еще за двумя столиками.

После обеда они засиделись за разговорами. Молодой муж попросил принести еще одну бутылку сельтерской воды и уныло принялся ждать минуты, когда подадут счет. Друзья — оба еще холостяки — поглядывали на него с завистью и были уверены, что он отвечает на их вопросы односложно только потому, что смущается. А он подсчитывал в уме, сколько придется платить, и гадал, какая здесь надбавка за обслуживание и что еще могут приписать к счету. Идиотское положение! Ведь у него нет ни кольца, ни часов, чтобы оставить в залог, если не хватит денег, даже хорошего перочинного ножа нет.

Мучился он напрасно. Обед вместе с чаевыми обошелся всего в девятьсот пенгё.

И вот наконец они идут домой, спокойные, радостные, полные чудесного чувства, что вот начинается их семейная жизнь — первый день первых пятидесяти лет их семейной жизни.

Дома молодую дожидалась подруга — надо было готовиться к завтрашнему экзамену. Молодого мужа тоже ждали обычные посетители и дела, и он тут же с головой ушел в заботы о земле, партийных организациях, лошадях и колесной мази. И еще его ждала одна радость, тут же обернувшаяся печалью: из типографии сообщали, что разрешение на печатанье газеты получено, но если к восьми часам утра все рукописи не будут сданы в типографию, то первый номер на этой неделе не выйдет.

Они ждали этого разрешения несколько недель, а пришло оно неожиданно и как раз в день его свадьбы... А в папке нет для номера почти никаких материалов.

Он еще никогда не выпускал газеты. Один из свидетелей, который мог бы помочь ему в этом деле, деликатно ушел, чтобы не мешать молодоженам, и теперь молодой муж представлял в своем лице всю редакцию.

Ему стало очень горько, но он быстро справился с этим и сказал, просунув голову в стеклянную дверь:

— Занимайтесь спокойно, не торопитесь. Свадебная церемония временно прерывается.

Он сам не знает, сколько статей, очерков и заметок написал в ту ночь и сколько отредактировал, пока совсем не изнемог. На рассвете он взял в руки ножницы и несколько будапештских газет — ничего не поделаешь, нужно было искать выход из положения.

Молодой муж осторожно открыл дверь, закрыл ее за собой и в изнеможении опустился на диван рядом с молодой женой, стараясь ее не разбудить.

МИХАЙ ГЕРГЕЙ

Диошдьёрский дневник

Брожу по заводскому поселку. Знакомые улицы, дома; сколько воспоминаний — и унизительных, горьких, и милых моему сердцу. Ведь прожито здесь пятнадцать лет! Вон там я спал в ту первую ночь, когда четырнадцатилетним парнишкой пришел на завод. А вот здесь как-то вечером я стоял, застыв от ужаса, и смотрел, как ссорятся муж с женой; под конец пьяный муж метнул в убегающую жену огромный нож, и он вонзился в дверную притолоку рядом со мной... На этой маленькой площади бывали проводы праздника святого Иштвана, и мы дразнили девчонок, держа в руках шарики и деревянные ложки. Во дворе этой школы мы, заводские ученики Дюси Р., Лаци В. и я, заключили союз для осуществления великолепного романтического плана. Мы хотели отправиться путешествовать по Африке и Азии, но потом передумали и решили побывать в Советском Союзе, но только идти туда через Балканы и Турцию, чтобы поглядеть мир... Смотрите-ка, тут наконец сделали тротуар! А на пустыре, где мы играли в футбол, разбивают парк. Как хорошо, что бесследно исчезли расшатанные дощатые заборы, что дома огорожены ровным штакетником, выкрашенным в зеленый цвет. И правильно, что в заводском поселке тоже установили красивые каменные урны для мусора, точно такие же, как в центре города. А тенистой аллеей, которая соединяет Новый Диошдьёр с заводскими воротами, мог бы гордиться любой из больших городов Венгрии! Настоящий проспект! А ведь чуть ли не четверть века мы тщетно добивались, чтобы эта единственная главная улица заводского поселка была заасфальтирована, и так и не добились, несмотря на обещания, которые давали нам перед выборами все кандидаты в депутаты! Бывшая квартира директора теперь превращена в детский сад, в парке есть площадка для детских игр, построен театр на открытом воздухе, разбиты цветники...

Нет, это уже не прежний заводской поселок. Хотя дома все те же, но атмосфера и настроение в этой части города стали совсем другими...

В одном из старых зданий на площади расположилась молочная столовая. Я захожу сюда позавтракать. Очень удобно для одиноких и приезжих вроде меня.

Я уже кончаю завтрак, когда ко мне с чашкой кофе в руке подходит женщина, и я тут же вспоминаю — Яношне В. Ее улыбка, ласковый голос, теплота не изменились за десять с лишним лет. Яношне В. была самой активной рабочей корреспонденткой газеты «Диошдьёри мункаш» («Диошдьёрский рабочий»), которую я прежде редактировал. Она умела подметить все самое важное, что надо было и, главное, можно было изменить. И она по мере сил за это боролась. А ведь тогда она еще нигде не работала, была просто домашней хозяйкой.

Теперь она секретарь партийной организации на большом хлебозаводе в Мишкольце. Работает на нем около пятисот человек, из них — сорок три члена партии.

Она рассказывает мне о проблемах своего предприятия, как когда-то говорила о том, что собиралась написать в газету.

— Знаете,— озабоченно говорит Яношне В.,— все еще приходится много бороться!

— С кем? За что?

— Всегда находится, с кем и за что... Вот, например, наш заведующий кадрами. Он очень груб. Случалось уже, что он заявлял рабочему: «Если тебе здесь не нравится, так уходи...» Можете себе представить, какое впечатление это производит на человека. А партийной организации приходится все улаживать!.. Или возьмем хотя бы соревнование. Ведь надо правильно оценить результаты, подсчитать, на сколько каждый перевыполнил норму, чтобы все видели, за что люди получают премию. Не тут-то было. Вдруг мы узнаем, что директор сам выделил семь рабочих и вручил им премию... Как объяснить это людям? Вот с чем нам и приходится бороться. Это все не так просто, как думают те, кто не видит ничего, кроме допущенных ошибок. Была совершена ошибка и с оценкой соревнования. Она не должна повториться. А что нам делать? Выгнать человека за его ошибки? Но ведь директор-то в общем хорошо руководит предприятием, хозяйственник он хороший. Вот и приходится бороться, убеждать его, что подобное самоуправство вредит и делу, и ему самому.

У первой проходной толпится человек пятнадцать мужчин. Спрашиваю у одного из них, чего они тут ждут.

— Пришли наниматься на работу.

Я разглядываю их: и деревенские и городские, даже трое цыган. Большинство молодых. Некоторые только что демобилизовались, другие после окончания полевых работ хотят зимой поработать на заводе, а несколько человек меняют место работы. Наверху в коридоре у двери в отдел кадров еще человек десять, но уже с направлением на работу в руках.

Иду в мартеновский цех. Каждый раз, когда мне случается бывать в Диошдьёре, я обязательно навещаю моих друзей, работающих здесь. Теперь я хочу передать Лайошу Иенеи номер газеты с репортажем, который я написал на основе нашего последнего с ним разговора. «Литературную газету» он ведь не читает.

Я знаю всех рабочих с шестого мартена, а не одного только их бригадира Иенеи, лауреата премии Кошута.

Лайош Иенеи принадлежит к династии сталеваров. Его отец проработал на заводе сорок шесть лет и ушел на пенсию в 1956 году. Младший брат, Имре,— литейщик. Сам Лайош сначала учился на плотника, но в 1934 году пошел на завод и попал в мартеновский цех.

— Полюбил я эту работу. Она ведь совсем не похожа на плотничье ремесло, да и на все остальные профессии. Здесь всегда что-то новое, интересное...

Я думаю о его простоте и скромности и о его улыбке. За эту неделю я увидел многих людей — и так называемых скромных тружеников, и тех, кто занимает руководящие посты. И теперь мне вспомнились кислые лица и важные, размеренные жесты некоторых из этих последних. Простота, не рассчитанная на эффект, естественная, внутренне присущая человеку,— именно такая простота необходима коммунисту-руководителю. Порождается же она умением с одинаковым уважением относиться ко всем трудящимся, ко всем товарищам, умением интересоваться радостями, заботами, размышлениями тех, кто тебя избрал, тех, для кого ты существуешь, каково бы ни было занимаемое тобой место. Ценить способности, знания, трудолюбие других людей, не считать себя выше их — от самомнения ничего, кроме вреда, не бывает. И еще надо уметь улыбаться и смеяться. Не для того, чтобы завоевать доверие окружающих, а потому, что это нужно тебе самому, потому что способность улыбаться и смеяться свойственна только здоровым человеческим характерам.

Если человек забывает обо всем этом, то очень скоро его простота и скромность превращаются в притворство и наигрыш.

Говоря о скромности, стоит вспомнить, как Эрнё Ошват[1] спросил однажды у начинающего писателя: «Скажите, молодой человек, отчего вы так скромны?» Иначе говоря, чем вы так гордитесь, хотя пока еще почти ничего не создали и только щеголяете своими намерениями.

[1] Эрнё Ошват (1878—1929) — литературный критик, редактор.

Другими словами, скромность — высшая степень простоты. Скромно простым может быть лишь тот, кто своим талантом, трудолюбием, благородным огнем страстей уже создал что-то для людей, для всего человечества. Пусть это будет живопись, поэзия, политика или музыка, или руководство большим предприятием. Творить можно везде, где мы обращаемся к людям, работаем для людей, имеем дело с людьми. Но при этом следует помнить, что ценность созданного всегда относительна. Достаточно сравнить стихи гордящегося ими автора с творчеством Петефи, считаемую шедевром картину с картинами Мункачи [1] и лишь на мгновение сопоставить возомнившего себя гением общественного деятеля с Лениным, как все сразу становится на свои места.

ПАЛ САБО

Надьдянте

...В нескольких строчках невозможно хотя бы в общих чертах описать пейзаж, рассказать об истории деревни, но эти несколько слов необходимы: ведь не зная прошлого, невозможно понять и настоящее деревни, края, народа.

В настоящее время в Дянте около пятисот жителей, есть школа с тремя учителями, почта, сельсовет. И улицы здесь — настоящие широкие красивые проспекты, а так называемые семейные дома крыты черепицей.

Что ж, теперь повсюду вместо разрушенных деревень возникают красивые селенья, где живет много народу — Фанчика, Бёлчи, Нярад, всех и не перечислишь; так почему же мне хочется написать мой репортаж именно о Дянте? А потому, что эта деревня нравится мне больше остальных, и еще потому, что роман «Клари Хайду» я написал именно о машинно-тракторной станции в Дянте.

В характере и обычаях здешних людей все еще сохраняются черты, сложившиеся во времена турецких нашествий, когда их предки обороняли пограничные крепости. Вот почему любовь здесь так горяча, а брачные узы так крепки. Я вовсе не хочу сказать, что мужья и жены тут никогда не ссорятся и жизнь их течет без волнений и бурь. Нет, бури тут тоже бывают — и какие! Но в этих бурях проявляются такие стороны человеческой натуры, что они волнуют сердца и просятся на страницы книги. В здешнем народе нет ни худосочия, ни неуклюжести. Но как много в нем здравого смысла и трудолюбия!

Я разговаривал с директором машинно-тракторной станции Лайошем Кишем о настоящем Дянте, а до этого об ее будущем, и говорил я с ним не просто так и не по праву автора «Клари Хайду», а потому, что здесь заметнее, чем где-либо в Венгрии, машинно-тракторная станция прочно вошла в жизнь села, стала ее неотъемлемой частью. Более того! Такая же связь существует и с лесным хозяйством. Совершенная гармония между техникой, лесом и земледелием. Край этот великолепен не только своими людьми, но и возможностями сельского хозяйства. А чем больше возрастает интенсивность хозяйства, тем нужнее самая современная механизация, потребности же в машинах и механизмах удовлетворяет машинно-тракторная станция. Однако дело не ограничивается тем, что самые различные культуры приносят богатый урожай на бедных почвах,— главное в другом: люди, работающие на машинно-тракторных станциях, служат примером остальным и в моральном, и в политическом, и в чисто личном плане.

Об этом мы и говорили в квартире директора, когда вдруг зазвонил телефон. Телефон в Дянте, где когда-то и турки и татары вырезали венгерское население, где около двух с половиной веков орали возчики, ругались хозяева, поднимая батраков на работу в два часа ночи! Да, теперь здесь звонит телефон. И горит электричество. И можно послушать передачу по радио. И есть восьмилетняя школа, в которой учится шестьдесят четыре ученика.

Школу построили в 1948 году — вернее, приспособили под нее один из помещичьих домов. Бригада каменщиков с табачной фабрики в Сегеде перестроила здание, а бригада плотников с той же фабрики изготовила двери, оконные рамы, столы и парты. Это было так чудесно, что дела этих двух заводских бригад живут в памяти людей, обрастая со временем легендами. Если для человека есть бессмертие, то оно в его труде, который хранит его имя. Люди, возведшие стены школы, обеспечившие школу партами, совершили большое, гуманное дело. И до тех пор, пока будет стоять эта школа, пока будут живы те, кто детьми учился в ней, память о людях из рабочих бригад будет жить в их сердцах.

Начальные школы имеются в разных местах, и в самой дальней в честь моего приезда собрались все учащиеся. Пионеры украшали класс зелеными ветками и ли-

[1] Михай Мункачи (1844—1900) — крупнейший венгерский художник.

стьями, отмечая день рождения или именины кого-то из учителей. Молодые учителя тоже словно дети среди детей, только постарше,— ведь и они принадлежат деревне, ведь их отцы, батраки и поденщики, начали отсюда свой путь в большой мир. А вот дети, пройдя много дорог, вернулись сюда.

У местных жителей есть и своя столица — большое селение Шаркад, которое когда-то, во времена турецких нашествий, было славной крепостью, прикрывавшей с одной стороны Дюлу, с другой — Салонту, но главным образом — Варад. Однако мы сейчас будем говорить лишь о Дянте и Шаркаде. Дети батраков, подчиняясь закону истории и ища спасение от нужды и нищеты, селились на окраинах шаркадских деревень, на тех самых окраинах, о которых в 30-х годах одна журналистка писала: «...бедность здесь такая, что мне стыдно чувствовать себя среди них человеком и хотелось бы сбросить мясо со своих костей».

Может быть, я цитирую неточно, но так сохранились ее слова в моей памяти. Эту журналистку звали Маргит Ижаки.

Если бы она ничего больше и не написала, то все равно мы должны быть благодарны Маргит Ижаки за ее коротенькую заметку,— этот крик в защиту народа вырвался из глубины ее сердца в очень тяжелые времена. Короче говоря, когда-то из Дянте в Шаркад отливался избыток рабочей силы, накапливавшийся в лачугах батраков. А теперь этот поток повернул вспять. Теперь молодые руки нужны здесь. Пять тысяч хольдов пахотной земли! Год назад были созданы сельскохозяйственные производственные кооперативы, и они еще долгое время будут нуждаться в людях, а при интенсификации хозяйства возможности станут почти безграничными.

Школьники здесь, как везде, с любопытством смотрят на приезжего, а мне хочется подойти к ним поближе, найти среди них кого-нибудь, кто обещает стать незаурядным человеком. Есть такой! Одиннадцатилетний Мишка Дурко пишет стихи.

Венгерский народ дал миру Ади, Петефи, и совершенно естественно, что в этой школе растет Мишка Дурко — поэт из Дянте. Ведь мы, венгры,— народ с поэтическими наклонностями.

Поэзия здесь—и в разливе вешних вод, и в зазеленевших полях, и в стрекоте кузнечиков, и в лесах, и в солнечном тепле,— так почему же не быть поэзии в слезах и радости ребенка? Сейчас эта ранняя весна таит столько поэзии, что она не может не вылиться на бумагу под карандашом маленького Дурко. Поэт Мишка — сын сапожника Матяша Дурко. У отца их десятеро: семь девочек и три мальчика.

Вот об этом и идет здесь речь, люди.

И еще о том, что старики, бывшие батраки и слуги, так вошли в жизнь нового поселка, словно хотят сказать: видите, мы еще на что-то годимся и не станем никому обузой. Стариков тут много, но мы пока навестим лишь одного — Иштвана Гаала, которому восемьдесят лет. Большую часть своей жизни он ходил за плугом. По праву своих восьмидесяти лет он даже от меня может требовать уважительного обращения «дядюшка». Когда я прихожу, он сидит на веранде и лущит кукурузу. Возле него в низком ящике копошится множество крохотных цыплят. Прислушиваюсь, но среди цыплячьего писка не слышно призывного квохтанья курицы. И снова словно что-то насовсем кануло в прошлое, и на весь край, а может быть, и на всю страну, как снег, так и сыплются цыплята из инкубаторов.

Мне это показалось чем-то новым именно здесь, в доме у Гаала, а вообще в степных деревнях меня ничто не удивляет — их стремительное развитие представляется совершенно естественным. Не удивляют и жалобы дядюшки Гаала, что в Дянте побывали «те, с радио», разговаривали и с ним, «записали его голос», а теперь ничего не слышно. Напрасно слушает он все радиопередачи — о Дянте в них ни слова не говорится.

Нехорошо, когда люди обманываются в своих ожиданиях, а уж дядюшка Гаал и Дянте этого никак не заслужили, и я обещаю, что, вернувшись в Будапешт, узнаю, в чем дело. Но кто же все-таки приезжал из столичного радио?

Вроде какой-то Фабиан...

А! Дюси Фабиан! Знаю-знаю.

Как только я вернулся в столицу, репортаж о Дянте был включен в программу — это был живой и яркий репортаж, впитавший в себя все краски, настроение и очарование Дянте. Очень хороший репортаж, достойный и тамошних жителей, и венгерского радио. Но репортаж попал в программу только потому, что дядюшка Гаал пожаловался мне на свою обиду, когда я зашел к нему. Мы поговорили с ним и о старых временах, об осенней пахоте, когда воздух уже пахнет снегом, а незаконченная вечером борозда заставляет вставать еще до зари. Потом мы поговорили о помещиках, о крупных арендаторах. Как о людях, всем известных, рассказал мне старый Гаал о каком-то бароне Конере, о докторе Сигети — он так и сыплет именами хозяев и арендаторов.

Среди новых, красивых домов Дянте не найдется, пожалуй, ни одного без молодой хозяйки. И в доме старого Гаала, в его семье тоже есть милая молодая женщина, красивая, как этот дом, как воспоминания старого Гаала, как весь поселок.

Мы идем дальше, и нас уже много — к нам присоединились учитель Шандор Надь и председатель сельсовета Тивадар Патер (сам он из Мехкерека, но когда-то батрачил здесь). Идем же мы к секретарю партийной организации Андрашу Диосеги.

Секретарь — такой же крестьянин, как и все остальные, уже довольно пожилой человек, лет под шестьдесят, но мне он кажется каким-то другим, не таким, какими раньше бывали в его возрасте крестьяне. Кажется, будто все годы его жизни гремели, как революционные песни и марши,— и осенью, и зимой, и летом, а больше всего веснами с их грозами и ветрами. Он словно воплотил в себе все то, что наши великие поэты писали о венгерском крестьянине.

Я сам не молод и не новичок в общественных боях, и с такими, как он, мы понимаем друг друга с полуслова. Речь заходит о молодежи, о том, как с ней работают в Дянте. В первую очередь — комсомол: вся молодежь здесь комсомольцы. Сейчас они готовят к постановке комедию, идут репетиции...

Вот так, идут репетиции.

И перед моим мысленным взором возникает еще не существующая афиша:

...КОМЕДИЯ В ТРЕХ ДЕЙСТВИЯХ.

Действующие лица...

Действующие лица — трактористы, работники лесного хозяйства, крестьянские девушки... нет, работницы сельского хозяйства. Крестьянки? Тут нет больше крестьянок. Песни еще, конечно, поют:

Два рукава у моего кожушка,
дайте мне два рукава и для рубахи...

Но они не носят ни кожушков, ни рубах... Парни разъезжают на велосипедах и мотоциклах, а девушки следят за последней модой, есть у них и брюки, и нейлоновые платья для танцев.

Я написал «комедия», и в памяти всплыло все, что связано с этим словом, с этим понятием для этого края.

Такими бесконечными и неизбывными были тут трагедии и страдания, что даже слез не хватало. Теперь нужно веселье, нужен смех. Радостное, чудесное настроение под стать новым домам, широким прямым улицам, настоящему и будущему. Ведь Дянте в конце двадцатилетнего перспективного плана станет не просто большой деревней, а чем-то совсем другим, быть может, городом или чем-то совершенно новым, но в любом случае она будет достойной такого начала. Да, здесь нужны веселые театральные представления, нужен смех, все радости и краски человеческого бытия.

ГАБОР МОЧАР

Нефтяная лихорадка

Когда я слышу или читаю где-нибудь слово «нефть», то вскидываю голову и прислушиваюсь: «Где нефть?» Есть что-то не совсем нормальное в том, как действует на меня это слово.

И это длится вот уже несколько недель. Началось с того, что мне захотелось написать о том, что скрыто под землей, о том, по чему мы ходим. А что там, под нами? Давно известно, что в земных недрах кипит вода, таится горячий газ, а теперь все уже знают, что можно отыскать и нефть. В сельскохозяйственном кооперативе «Тисавираг» стали бурить скважину, рассчитывая найти горячую воду, а из скважины забил нефтяной фонтан. И оказалось, что под нами — нефть! Все более естественными в нашем обиходном языке становятся слова, известные раньше лишь специалистам да любителям приключенческой литературы: нефтеносные пласты, нефтяной бассейн, нефтеналивное судно, нефтепровод.

Только теперь мы начинаем понимать все значение результатов геологической разведки, обнаружившей горячую воду и природный газ под Алфёлдом,— какие запасы энергии и какие возможности!

Однажды мне довелось наблюдать буйную мощь этих пока скрытых подземных сил. Года два назад за Тисой около Надьхедеша во время опытного бурения прорвался подземный газ. Его давление было так велико, что перекрыть ему путь оказалось невозможным. В таких случаях стоит в струе газа оказаться камешку, который выбьет искру, ударившись о стальную опору, как происходит взрыв. К небу взметывается пламя гигантского факела. Оно озаряет всю равнину за Тисой. В Дебрецене люди выходили на балконы, залезали на крыши, зачарованно глядели на это ужасающее зрелище. Я отважился подойти, насколько мог, ближе. За какие-нибудь два часа пламя поглотило бурильную установку, а на ее месте образовался огненный кратер. Он рос и ширился, подземные силы, которым наконец удалось вырваться наружу, с ревом выбрасывали тонны черной земли. В небе клубился черно-красный дым, а чуть ниже плясали желто-синие языки пламени. Это длилось несколько дней. В Хайдусобосло самые трусливые уже подумывали о бегстве, о переезде в другое место, опасаясь,

как бы под ними не провалилась земля. Но извержение утихло само собой, а на месте кратера возникло большое озеро. Таящиеся под землей силы просто показали, на что они способны.

Потом выяснилось, что запасы природного газа позволят осуществить самую широкую программу их эксплуатации. Впрочем, об этом много писалось в газетах. Месяца два тому назад я бродил по песчаным равнинам между Тисой и Дунаем и среди картофельных полей заметил серебристые резервуары, переплетение труб и некий совершенно мне неизвестный агрегат. Я с недоумением смотрел на него, а мой спутник показал мне на какое-то приспособление в нем и заметил: «Если повернуть эту штуку вправо, то в Сегед перестанет поступать газ». Я прикоснулся к этой «штуке» и почувствовал себя могучим и сильным. «Трепещи, Сегед!» Но решил помиловать город. Такой же агрегат мне показали и под Солноком среди поля люцерны. Через весь Алфёлд пролегли трубы газопровода — и к промышленному району Боршоду, и к химическим заводам, и к столице. Жизнь в захолустных городках Алфёлда станет куда удобнее, когда на их улицы и в дома протянутся газовые трубы. Придет газ и в деревни. На хуторе достаточно будет повернуть кран... но не будем забегать вперед!

Трудно привыкнуть к мысли, что здесь, в окрестностях Сегеда, прямо на глазах рождается среди хуторов новая промышленность, будоража жизнь этого края, нарушая привычный ритм существования, ломая и взрывая старые формы, стирая старые противоречия, внедряя новое в общественное сознание, в поведение, в образ мышления. И чего только здесь еще не произойдет!

Когда едешь по шоссе из Сегеда в Вашархей, глазам предстает необычное зрелище. Невольно из окна машины начинаешь быстро считать: один, два, три, четыре, пять, шесть... и еще, и еще, да разве их сосчитаешь, все эти бурильные вышки! А ведь с шоссе они видны далеко не все! В бассейне Алдё только за полгода бурильщики сдадут производственным предприятиям сорок четыре оборудованные и действующие нефтяные и газовые скважины, а тридцать уже готовы. Еще раз повторяю: с 1 января по 1 августа пробурены и введены в действие сорок четыре скважины. Полугодовой план бурения перевыполнен на десять тысяч метров. Как только бурильщики кончают работу, приходят производственники.

Трубы пролегают через засеянные пшеницей поля, над цистернами и баками дрожит горячий воздух, и вдруг убеждаешься, что учебники географии правы: Тиса действительно судоходная река. Нефтеналивные суда пристают к берегу, берут нефть, идут по Тисе до Титела и дальше по Дунаю. Занимаются этим делом упорные, настойчивые люди, пионеры нефтяных разработок в Венгрии.

— Наплевать им и на бога, и на черта, да и на людей тоже! Портят газом прекрасную пшеницу, загрязнили нефтью оросительные каналы кооператива.

— Немного нефти туда, правда, попало,— говорит инженер-нефтяник.— Но всего лишь капля, от которой никакого вреда не будет.

— Поезжайте-ка в Тапе,— говорит мне один мой знакомый из тех мест.— Спросите у членов кооператива, что они думают о нефтяниках, посмотрите, как они кулаками станут размахивать. Испортили им все дороги, напустили нефти в рыбные пруды, а сами залезают в сады, рвут фрукты... даже говорить об этом не хочется.

Недавно в жаркий летний день в небо над Тапе поднялось густое облако черного дыма. С воем сирен понеслись туда пожарные машины. Загорелся рыбный пруд! Всезнающие болтуны говорят, что поджег его человек из Тапе — думал выжечь нефть из ила. Пожар легко потушили, да он бы и сам потух. Не так легко выжечь нефть, как это думал человек из Тапе.

— Мне самому жаль превосходный чернозем, который мы здесь портим,— говорит инженер-нефтяник, сын малоземельного крестьянина из окрестностей Мезёкёвешда.— А что делать? Нефтяной фонтан забил совершенно неожиданно, надо же куда-то отводить нефть. А кооператив получил полмиллиона, вместо проселочных дорог мы ему строим асфальтовые, рыбный пруд, правда, уже не вычистишь, но вместо этого будет у них другой. Я спрашиваю у крестьян, сколько приносит им один хольд земли за год? Шестьдесят тысяч форинтов получают они с хольда? Отвечают, что не больше этого, а то и поменьше. А нам одна скважина дает шестьдесят тысяч прибыли в день. Ну, крестьяне, конечно, только ахают.

И еще мне рассказывают:

— В Алдё в пивной каждый день ссоры идут между нефтяниками и местными.

— А что тут удивительного? — отвечает другой.— Понимать надо. Наши рабочие все время кочуют, живут далеко от семьи. Деньги у них есть, а сами они молодые, здоровые, вот и бегают за юбками. И еще не следует забывать, что в Дорожме или в Алдё, куда бы ни явились нефтяники, с них за жилье дерут сколько могут — по пятьсот, шестьсот, семьсот форинтов запрашивают за деревенскую каморку. Наши рабочие съезжаются сюда со всей страны — шахтеры из Нограда, нефтяники из Залы,— а мы не можем им предоставить даже общежития, даже горячей еды... Они сами себе варят суп, поджаривают сало у самых нефтяных скважин, как это когда-то делали землекопы-поденщики.

— Я тут всю жизнь прожил, состарился на своем хуторе, а теперь должен уходить? Что, кроме моего хутора, другого места для дороги не нашлось? Они сюда будут за нефтью приезжать, а я убирайся?

Даже не слова, а горечь и дрожь в голосе, и этот отчаянный взмах рукой... Такое тоже бывает.

В тихое воскресное утро выглядываю из окна моей квартиры в Сегеде. Движение на улицах совсем не воскресное. По затененному липами проспекту, ведущему к вокзалу, снуют грузовики и самосвалы будапештских и сегедских транспортных обществ. Принимаюсь считать: за четверть часа к вокзалу проехало восемь машин, груженных камнем и шлаком, а обратно семь пустых. И так ежедневно уже несколько недель. В степных просторах, среди хуторов прокладывают новую дорогу к нефтяным скважинам, а спокойная городская улица просто стонет от грузовых машин.

— У этих на все деньги находятся. Провели по линейке черту — будет здесь дорога, и вот уже камни возят...

Когда едешь вечером по степным дорогам, просто дух захватывает. Газовые факелы полыхают среди зеленых полей, пламя взлетает на высоту в пятнадцать-двадцать метров, воет и свистит. Если подойти к нему ближе, так и чудится, что вот-вот оглохнешь. Это жгут «газовые отходы» нефтяных скважин. Название не изящное, а зрелище великолепное.

Вот уже несколько дней один из таких факелов горит вблизи старого хутора. Говорят, старуха, одиноко живущая на этом хуторе, уже оглохла от непрерывного воя. И супоросая свинья старухи тоже оглохла и не слышит, когда хозяйка зовет ее. Хозяйка подходит к свинье, тычет ее палкой в бок, ступай, мол, ешь помои. Поросята недели через две после появления на свет тоже оглохли. Мне что-то не верится, надо самому туда съездить.

— Вполне возможно,— говорит специалист-нефтяник.— А они не жалуются, когда мы им новые дома в деревне строим? Или им не хочется среди людей в деревне жить? И слух к этой бабушке снова вернется, как только переедет в деревню.

— Говорю вам, у них на все деньги есть. Придумают выстроить бараки на три тысячи рабочих — и построят. Придумают, что нужен им двадцатишестиэтажный жилой дом и еще дом под учреждения,— и построят.

Действительно построят. Уже и место намечено, где будет стоять двадцатишестиэтажная башня. Место для постройки такого красивого дома выбрано неудачно, говорю я одному из руководителей нефтяной промышленности. Как раз в центре Сегеда. Надо было на берегу Тисы строить, чтобы светящиеся окна отражались в воде,— и я показываю, где, по-моему, надо строить дом. Мой собеседник сдвигает брови, рассматривает предложенное мною место и говорит, что я прав. Ничего, там они еще один двадцатишестиэтажный дом построят.

Вот так все и идет. Новое это дело в Алфёлде. Чтобы дать стране большую энергию, нужны энергичные люди. Вряд ли найдется еще одна отрасль промышленности, где технические руководители так молоды. И те, кто работает у скважин, тоже молоды — крепкие люди нужны для борьбы с землей, с камнями, неизвестными подземными силами, с водой, с желтым дождем, со снегом. Они, эти люди, заслуживают, чтобы страна знала о них побольше.

ЭРВИН ЛАЗАР

Мариш Тюзугро

За Мариш Тюзугро муж заплатил шестьсот форинтов и конскую сбрую, почти совсем новую. Это еще не очень много — за некоторых девушек женихам и по нескольку тысяч приходится выкладывать. Отсюда, конечно, не следует, что Мариш Тюзугро не хороша собой. Она очень красива, но уже была замужем, а в таких случаях шестьсот форинтов и лошадиная сбруя — цена непомерно высокая.

Я сижу в доме Мариш Тюзугро и ее мужа. Крестьянская бревенчатая комната с маленькими окнами, но эти окна выходят на улицу. Нужна большая смелость, чтобы вот так не посчитаться с традициями крестьянской жизни. Комната с окнами на улицу «чистая», ее открывают лишь по большим праздникам или для приема важных гостей, поэтому воздух в ней нежилой и затхлый, а семья ютится в задней комнате рядом с кухней. Но Мариш, очевидно, не захотела с этим мириться.

Я представляю себе, как она, точно королева, вошла в новый дом, осмотрелась и тут же решила, что семья будет жить именно в этой комнате — она и больше и светлее. О том, чтобы занять обе комнаты, пока и речи быть не может. Мебели не хватает. Две деревянные небольшие кровати да плохонький шкаф. В комнате пахнет известью,— очевидно, хозяйка недавно ее белила. Посередине — колченогий стол, простая деревянная лавка и два стула. Вот и все.

И вся семья тут или, лучше сказать, все семьи, потому что и в соседнем доме живут недавно переехавшие сюда цыгане — они все между собой родственники, и все толкутся тут же. Хозяина дома я уже где-то видел, кажется, он работает в госхозе.

Среди детей у меня тоже есть знакомец — Питю. Собственно, из-за него я и пришел, он это знает и гордо сидит рядом со мной на стуле (как я сказал, стульев всего два, на одном сижу я, на другом — он). Питю улыбается, смотрит то на меня, то на всех остальных, словно хочет сказать: «Этот гость ко мне пришел! Посмотрите-ка, у него на руке часы!» Часы его очень интересуют, он тихонько трогает их кончиками пальцев, и не потому, что никогда не видел часов, а боится, что на него прикрикнут. Кто-то действительно делает ему замечание — не я, а кто-то из домашних, и это удивляет Питю. Он возмущенно смотрит в ту сторону, откуда раздался голос. Ведь это его гость, и в классе он сидел позади него, Питю.

Действительно, сегодня утром я был в школе и сидел позади него.

Я как сейчас вижу перед собой лицо заместителя директора, на котором радость сменяется сердитой гримасой. Мы с ним друзья, и он сердится, если я называю его «господин директор», когда он дружески обнимает меня за плечи. И он уже ждет моего обычного вопроса: «Когда наконец первый цыганенок пойдет учиться в среднюю школу?»

«Тебе-то, конечно, легко задавать такие вопросы, когда приезжаешь к нам раз в два месяца, побываешь у знакомых, выпьешь с председателем рюмку коньяку в кафе, поболтаешь со священником, а потом являешься в школу, разыгрываешь покровителя цыган и трагическим тоном задаешь всякие вопросы. На другой день тебя уже и след простыл. Нет, ты попробуй провести урок в классе, где много цыганских детей, а утром еще сбегай в цыганский поселок, собери тех, кто прогуливает, потом уж проповедуй! Что же касается средней школы, то и в ней будут учиться цыганята, и очень скоро».

С его разрешения я иду на урок в один из первых классов, в сказочное королевство больших и маленьких букв, где повелевает маленькая хрупкая волшебница.

Она, как белка, все время в движении. Большие карие глаза умеют метать молнии и тут же улыбаться, хвалить и порицать. Какая великолепная актерская игра! Я наслаждался ее уроком, как хорошим театральным спектаклем. Вот там-то я и познакомился с Питю. Он сидел передо мной, поджав одну ногу и весело болтая другой,—один из пяти цыганских детей в этом классе.

Перед уроком я попросил учительницу, чтобы она, если можно, вызывала к доске цыганят. Она так и сделала, все они отвечали хорошо, а Питю, шлепая босыми ногами, шел к доске весь сияющий — вот, мол, я вам сейчас покажу, как рисуют круг! Это произошло, когда учительница после нескольких неудачных попыток спросила: «Кто из вас сумеет нарисовать красивый круг?» Среди леса взметнувшихся вверх рук была и рука Питю. «Иди ты, Питю»,— сказала учительница, и через несколько мгновений на доске красовалась огромная картошка, а Питю победоносно смотрел на товарищей. Даже неодобрительный отзыв учительницы не стер с его лица улыбки, и когда она спросила, кто может нарисовать еще лучше, рука Питю снова взметнулась вверх вместе с другими.

Я сделал учительнице знак, чтобы она вызвала молчаливую лохматую девочку, которая весь урок сидела с отсутствующим видом, но учительница отрицательно покачала головой, показывая глазами, что объяснит свой отказ позже, на перемене.

Потом дети рисовали волнистые линии. Питю весь углубился в свое занятие, склонял голову то на правое, то на левое плечо Покончив с линиями, он повернулся, сунул мне под нос тетрадь и спросил: «Красиво?» По странице извивались два отвратительных червя. Но я, отбросив педагогические сомнения, ободряюще кивнул, и Питю тут же принялся изображать на бумаге третьего червя.

Перемена. Дети бегают по двору, только девочка-цыганка стоит у забора рядом с двумя своими товарищами, один из которых что-то живо ей объясняет.

— Почему вы ее не вызвали?

— Она еще не знает венгерского языка.

У меня сердце сжимается. Я вспоминаю свои школьные годы. Мы сидим за изрезанными, старыми партами, которые были когда-то выкрашены в зеленый цвет. Это лютеранская школа, и учатся в ней дети из лютеранских семей — все, кроме меня. Я почти ровесник этой маленькой цыганочки, всего неделя, как я хожу в эту школу. По знаку учительницы дети начинают петь. Я никогда не слышал такого протяжного пения — они поют псалмы. Я напрягаюсь, стараясь уловить мелодию, и чувствую себя страшно одиноким. Потом я пытаюсь вторить им, но у меня не получается. И все-таки мне хочется петь вместе с ними, я беззвучно открываю рот, делаю вид, что тоже пою. Учительница смотрит на меня, подходит, наклоняется, чуть не прижимаясь ухом к моему рту. Весь красный от стыда, я закрываю рот и молча сижу совсем чужой среди поющих детей.

— Когда они приходят в первый класс, почти никто из них не говорит по-венгерски,— объясняет учительница.— За один год они усваивают язык, а уж потом начинается настоящая учеба.

Словно они из другой части света. А ведь цыганский поселок отделен от деревни лишь небольшой речкой Шио. Состоит он из двух-трех десятков хижин и двух «настоящих домов». Дети из цыганского поселка то ходят в школу, то нет.

Мимо нас пробегает Питю.

— А его родители как относятся к школе?

— Они из самых примерных.

Вот тогда я и решил навестить семью Питю. «Наверное, в этих узких улочках, где бродят сворами свирепые псы, найти их будет не очень просто»,— думаю я.

— Как мне найти вас в поселке?

Рожица Питю засияла.

— Наши уже...

— Мы уже...— поправляет его учительница.

— Мы уже живем в доме,— отвечает Питю.

Я не понимаю и вопросительно смотрю на учительницу. Она кивает.

— Уже примерно двенадцать семей поселилось в деревне. Одна семья построила себе новый дом, другие купили старые.

«Трудное это было время,— рассказывает мне секретарь сельсовета.— Сначала они ни за что не соглашались переезжать в деревню, хотя деньги у них были. Некоторые просили разрешения строить на месте хижин новые дома. Разрешения им не дали. И теперь уже двенадцать семей перебрались в деревню, и многие другие просятся».

Питю с помощью учительницы объясняет мне, где они живут. За Гусиным прудом налево шестой дом... А может быть, седьмой? Ни Питю, ни учительница точно не знают.

— Найдете! — говорит мне учительница.

Но я не нашел и оказался в доме у Мариш Тюзугро, их соседки. В первую минуту я даже не понял, что ошибся, так как Питю тоже был там и вел себя совсем по-хозяйски.

— Самый старший Пишти, мой сын от первой жены,— говорит хозяин дома,— работает в Алшопеле, ему уже восемнадцать лет.

— А это Янчи! — вмешивается Мариш.— Ему восемь лет.

— Не восемь, а девять! — возражает муж.

— Ну я-то уж знаю! Восемь ему!

— На сто процентов девять! — категорически заявляет муж.

Слова «сто процентов» производят какое-то мистическое впечатление. Ребята, вытаращив глазенки, смотрят на того, кто пользуется такими удивительными и загадочными словами. Но Мариш не сдается.

— Восемь ему, потому что в школу берут с семи, а он начал учиться в прошлом году и ходит в школу второй год. Значит, ему восемь.

— В каком он классе?

— В первом. На второй год остался.

Постепенно в споре выясняется, кому сколько лет, а заодно и что Питю — сын соседки.

— Сколько вы заплатили за дом?

Трое взрослых, среди них и мать Питю, коротко совещаются между собой по-цыгански. Отвечает Мариш:

— Двадцать четыре тысячи.

— Черт побери,— сокрушенно добавляет муж.

— А что, уже приходили из налогового управления?

Теперь он не говорит «сто процентов» и только печально кивает головой.

Передо мной возникает картина сверкающего летнего дня. Муж мечет стога в госхозе. С высоты стога он замечает, что по дороге из деревни приближается красное пятнышко. Оно ему сразу показалось подозрительным, и он несколько раз оборачивается и смотрит в ту сторону. Так и есть — Мариш.

Она подходит к стогу и кричит:

— Я дом купила.

«Ах ты проклятая шлюха, кровопийца, бесовское отродье! Пусть бы дьявол свалил на тебя весь стог, задавил тебя, полоумную! Да пропади он пропадом и дом этот, и вся деревня!» — думает муж, но вслух ничего не говорит.

Хижину себе строил сам — месил глину, добавляя прутья и солому. И очаг сам сложил. Ему было весело смотреть, как в казане на трех ножках булькает еда. И приятен был ему запах дыма. А по вечерам жгли костры, пели и плясали. Деревня была далеко, по ту сторону Шио, и сами они были от всех далеко.

Такую уйму денег!

— Я чуть со стога не свалился,— говорит он теперь.

— Почему? Не хотели сюда переезжать?

— Конечно, не хотел! Но со мной не поспоришь! Я всю жизнь в доме жила. И в Дóроге и в Алшо. Мой отец был свинопасом в помещичьей усадьбе.

С какой гордостью заявила Мариш, что отец был свинопасом и что она всю жизнь в доме жила. Господи! Кто не видел покосившихся стен и крохотных подслеповатых окошек «домов» деревенских свинопасов?

Вдруг передо мной встало далекое прошлое, и я увидел летящую над пламенем красавицу Мариш.

— А ведь я вас давно знаю,— говорю я Мариш.

— Помню. Еще когда я в Алшо жила.

Алшорацэгреш. Хутор между двух холмов на самом краю света. Сырой осенний воздух. И дым, поднимающийся к небу,— жгут сухой бурьян. Белеют домики, где живут работники, краснеет крыша над желтым зданием помещичьего амбара. Согнутая старая цыганка с палкой на плече, на конце палки болтается узелок.

Свинопас хотел построить цыганскую хижину, но помещик не позволил. Живите в доме — вон в том, кирпичном. Только в нем нет окон, так сами пробьете. («Я всю жизнь в доме жила»,— говорит Мариш.) У цыгана девять человек детей. По вечерам перед домом зажигают костер, и когда пламя взметывается высоко вверх, дети прыгают через него. Первой прыгает старшая дочь, в рваном мужском пиджаке, длинной развевающейся юбке, босиком. Она визжит, озаренная жаркими красными отблесками. Мариш Тюзугро [1]. Она грязна и неряшлива, но пламя окружает ее блестящим ореолом.

Мариш пора готовить ужин для всей этой голодной саранчи. В сложенной из кирпича плите пылает огонь, сквозь щели железной дверцы отблески ложатся на лицо юной восточной красавицы. Я видел такое лицо на обложке иллюстрированного журнала. Восточная красавица. Вот она здесь, у плиты.

— Принеси кастрюлю, Мира!

«Восточная красавица» исчезает за дверью.

— Кто это?

— Мира? Моя дочь,— отвечает мать Питю.

«Восточная красавица» приносит черный железный казан. Хозяин подталкивает меня локтем.

— Смотрите!

— Неужели до сих пор грустишь? — смеется Мариш, наливая в казан воду.— До смерти мне, что ли, надо было его хранить? Отпилила, и все!

— Что вы отпилили?

— Ножки у казана,— жалуется муж.

Эпическая картина! Хоть я и смеюсь, но ведь это правда достойно эпоса! Цыганка с напильником в руках — визжит железо, падают на пол ножки казана.

— Я теперь только на плите готовлю!

Скоро к запаху известки в комнате примешивается аромат картошки с паприкой. Мариш поворачивается ко мне и неожиданно говорит:

— А нас тут в деревне боялись.

— Когда?

— Когда мы перебрались сюда. Говорили: воры к нам пришли! А среди нас не больше воров, чем среди всяких других людей! Вы как считаете?

Мне тепло и приятно. Я знаю, что не все цыгане такие, как Мариш Тюзугро. Но ее дети забудут, что когда-то у кастрюль были ножки. И Питю тоже это забудет, и еще многие другие.

В общем-то ничего особенного не случилось. Цыганка подошла к стогу и крикнула, что купила дом, а потом та же цыганка отпилила три железные ножки. И вот теперь она говорит:

— Мы и электричество сюда проведем.

А муж ворчит, что дорого будет стоить.

Долго прощаемся, и все идут проводить меня до ворот — Мариш, ее муж, Питю, его мать, Мира, Янчи, Эви, младшая Мариш...

Темно, хоть глаз выколи, но я слышу какой-то шорох в глубине двора.

— А пес меня не укусит? — боязливо спрашиваю я.

Взрыв хохота.

— Да это не собака, а свинья.

На этом краю деревни фонари стоят далеко друг от друга. Я осторожно иду по ухабистой дороге и бережно несу в себе образ Мариш Тюзугро, той самой, что так легко прыгала сквозь пламя.

ДЮЛА ЧАК

В Мезётуре ломают печи

В Мезётуре ломают печи!

Я стоял в комнате крестьянского дома и смотрел на то место, где недавно была печь, с таким изумлением, будто увидел дырку в небе или что-нибудь столь же невероятное.

На беленой стене, как чудовищный шрам, темнело пятно — печь словно отсекли от стены. Ее сменила небольшая кафельная печка.

В детстве я слышал, что один наш дальний родственник — он жил в Хайдусобосло — сломал в своем доме печь. Это казалось немыслимым. Как многие тамошние жители, он пополнял свои скудные доходы, сдавая чистую половину дома дачникам, и печь разобрал для того, чтобы освободить место еще для одного жильца. Ну, а если

[1] Буквальный перевод этой фамилии — прыгающая через огонь.

дачники будут мерзнуть, так пусть! Ведь всем известно, что господа любят спать в прохладе.

Он-то сломал печь потому, что ему нужны были деньги, но мы решили, что у него господские замашки. И нам он казался человеком, который сам себе отрезал путь в хороший и справедливый крестьянский мир.

Но теперь в Мезётуре дело обстоит иначе. Печь сломал не один крестьянин, их ломают повсюду. И не ради лишних денег. Но и господские замашки тут ни при чем — это что-то совсем иное...

Впервые я столкнулся с этим «явлением» в доме Калнаи, заведующего свинофермой сельскохозяйственного производственного кооператива «Кошут». Человек он известный, отличный работник. У него есть личная машина, что показывает, какого материального благополучия может достичь трудолюбивый человек в хорошем кооперативе. Машина меня не удивила, но я невольно улыбнулся, когда жена Калнаи поспешила объяснить, зачем нужна эта машина.

— Ревматизм у него, холодно ему, бедняжке, так далеко пешком ходить.

Она сказала это, словно купила больному ревматизмом мужу теплое белье.

Машина, как я уже говорил, удивить меня не могла; кому не известно, что в давно созданных и хорошо работающих кооперативах люди покупают радиоприемники, телевизоры, мотоциклы, хорошо одеваются, строят себе новые дома, ходят в кино, отдыхают в санаториях и т. д. Такие факты я воспринимаю как нечто вполне естественное. Все это облегчает и украшает крестьянскую жизнь, делает ее более полной и интересной. И все это вместе взятое показывает, какие изменения произошли в материальном положении крестьянства в целом.

Но разрушение печей свидетельствует, кроме того, об изменениях, которые произошли в человеческих душах.

Печь — и символически, и на деле — занимала центральное место в жизни крестьянской семьи. Она была как сердце, дающее тепло и жизнь всему телу. Холодным зимним вечером кто отказался бы выкурить трубочку на лавке возле печи, погреть спину, покалякать о всяких удивительных вещах или рассказать про свою беду. На лежанку зимой можно было положить больного ребенка, или самим устроиться на ней, если издалека приезжал гость и приходилось уступать ему постель. В печи пекли хлеб, тушили сладкую тыкву, жарили домашнюю колбасу. Сверху на печи сохла домашняя лапша, кисло, превращаясь в простоквашу, молоко... Словом, лет двадцать тому назад печь в крестьянской жизни была средоточием самых счастливых и приятных минут. И вот печи нет...

— Зачем вы ее разобрали? — спрашиваю я у хозяев.

— А для чего она? — бойко ответила молоденькая сноха.—Только пыль собирать.

— Ну, ну...— беззлобно заворчал на нее свекор.

— Эта ведь красивее,— неуверенно пробормотала хозяйка, показывая на кафельную печку.

Хозяин ничего не сказал, только вздохнул.

А я увидел в этом своеобразное проявление перемен, совершающихся в крестьянском мире.

Само по себе оно не слишком значительно, однако и изменения, происходящие в тайниках человеческой души, также можно увидеть лишь под микроскопом с большим увеличением.

Нетрудно набрать много куда более ярких и наглядных примеров того, как изменяется крестьянский мир. И невооруженным глазом видно изменение материальных условий жизни. А ведь материальные и психологические изменения неотделимы друг от друга, поскольку они в известной степени друг друга обусловливают.

Анализ повышения материального благополучия тем существеннее, что в сельскохозяйственных кооперативах городков люди живут почти в условиях социалистического общества, и обогащение стало качественно совсем иным явлением, чем для крестьян-единоличников.

Крестьянин-единоличник обычно работает, чтобы обогатиться, иначе говоря, он обращает большую часть своих доходов на приумножение своего состояния и делает это до самой своей смерти; если он и обогащается при этом, то условия его жизни изменяются очень мало. Известен анекдот о зажиточном крестьянине, который возвращался с ярмарки пьяным и потерял пиджак, в кармане которого лежали деньги, полученные за шесть пар волов. Через три дня, проезжая по той же дороге, он нашел свой пиджак вместе с деньгами, потому что пиджак был такой рваный, что никто на него не польстился. Конечно, среди единоличников бывают всякие люди, но описанный случай очень характерен.

Для членов же кооператива характерно то, что свои доходы они тратят и на культурные потребности. Делают они это пока довольно своеобразно, в целом это скорее желаемое, а не действительное, но все-таки шаг вперед.

Однажды я навестил своего хорошего знакомого, который по возрасту мне в отцы годится, но мы с ним дружим и называем друг друга на «ты». Наши добрые дружеские отношения позволили мне познакомиться с такими подробностями крестьянского быта, которых посторонний человек никак не мог бы заметить.

С первого взгляда было видно, что мой знакомый живет зажиточно. В большой

комнате стоял диван-кровать (он теперь в такой же моде, как когда-то были кушетки), и я тут же сел на него, сказав, что хочу попробовать, мягко ли спать на нем хозяину.

— Какие, наверное, чудесные сны тебе на нем снятся,— заметил я не без задней мысли.

— А я еще ни разу на нем не спал,— улыбнулся он.

— А кто же на нем спит?

— Никто.

— Так зачем он вам?

— Пусть стоит. Ведь есть он не просит.

Пользуясь правом старого друга, я заглянул в новый трехстворчатый шкаф, полный белья. На одной из полок лежала стопка новых, ни разу не стиранных рубашек.

— Ого! — одобрительно воскликнул я, и жена моего приятеля мне тут же объяснила, что рубашки куплены еще в 1956 году, когда ходили слухи, что будет повышение цен.

С тех пор и лежат эти рубашки в шкафу, а хозяин меняет свою один раз в неделю.

В другой раз я увидел в крестьянском доме стеклянную горку, уставленную всякими статуэтками, стаканами и рюмками.

— Очень красивая вещь,— похвалил я, и хозяйка дома с откровенной гордостью ответила:

— Теперь и крестьяне могут себе это позволить!

Мы продолжаем разговаривать, но тут мне в голову пришла озорная мысль, и я попросил кого-то из ребятишек:

— Дай-ка мне, милый, стакан воды.

— Я сама вам подам,— поспешно сказала хозяйка, вынула из горки стакан, вытерла его полотенцем и зачерпнула воду из ведра, погрузив в него пальцы. Дети, конечно, тоже захотели пить, но воду они зачерпнули жестяной кружкой, которая стояла рядом с ведром. Из нее пила вся семья.

Как-то я зашел в центральную столовую и, не найдя свободного столика, подсел к двум обедающим. Мои соседи оказались крестьянами, и между нами завязался дружеский разговор. Я заказал мясо с кабачковым соусом, но официант вернулся и сказал, что соус кончился. Овощные соусы тут едят мало, поэтому их и готовят в небольшом количестве.

— Мы такую дрянь не едим! — засмеялись мои соседи и рекомендовали мне заказать себе гуляш. Один из них, показывая мне пример, заказал сразу две порции и принялся поглощать их с таким аппетитом, что вымазал подбородок красным от паприки жиром.

— Прежде,— заметил мой второй сосед,— мы не замечали, что едим, лишь бы брюхо набить. А теперь и мы можем есть вкусно.

И действительно, в Мезётуре на еде не экономят, однако едят хоть и сытно, но однообразно.

Безусловно, большим достижением является то, что электричество почти повсюду заменило керосиновые лампы, почти в каждом доме читают газеты и имеется радиоприемник, а дети ходят в школу. Но важнее всего, что крестьяне в Мезётуре не должны теперь гнуть спину от зари до зари. Однако новое отношение к труду кое у кого искажается, появляется нерадивость.

Так, почти все сельскохозяйственные кооперативы имеют собственные грузовые и легковые машины, и почти везде людей отвозят к месту работы на машинах, где они сначала неторопливо завтракают и только потом приступают к работе. И по вечерам еще до урочного часа усаживаются на краю канавы и нетерпеливо ждут машину.

Словом, положительные явления перемешаны с другими, не вполне положительными. И лучше ко всему относиться с осторожностью, так как человек подвержен оптическим обманам. Иной раз на глаза попадает подряд три-четыре отрицательных явления или наоборот — одни положительные. Вот почему однобокий подход может исказить представление о жизни кооперативов.

Например, как-то в субботу убирали подсолнечники, вымолотили их и сложили семечки в кучу. На другой день надо было пересыпать семечки, чтобы не дать им слежаться, но в воскресенье никто не захотел этим заниматься. Правда, один из тех, кого назначили на эту работу, попытался созвать остальных и все утро бегал из дома в дом, уговаривал и ругался, но ему отвечали, что работа может подождать до понедельника. Пусть, мол, ворочают те, кто любит есть лепешки на постном масле, а они по воскресеньям едят курицу — вон она уже жарится, так неужто допустить, чтобы она остыла, пока они будут в поле? Кончилось тем, что единственный добросовестный член бригады, чуть не плача от сдерживаемой ярости и горечи, один пошел по грязи в поле — в воскресенье и машин не дали. Я как раз зашел к нему в гости, но он не остался ни ради меня, ни ради курицы, хотя она у него, как и у других, аппетитно попахивала в жаровенке.

Похожий случай был и в кооперативе, где председатель — старый Дебрецени. Там никто не хотел работать на скотном дворе — заработок, правда, хороший, но уж для себя минуты свободной не выберешь. Ведь за скотиной нужно ухаживать зимой и летом, и в будни и в праздники, и днем и ночью. Вот среди нескольких сотен членов кооператива и не находилось желающих браться за эту работу, так что старик предсе-

датель каждый день на заре ездил на велосипеде задавать корм скоту, а вечером возвращался домой позже всех.

Очень неприятное воспоминание оставила у меня сцена, когда бригадир чуть не подрался с членом своей бригады, заявившим, что на другой день бригада пусть без него обходится — у него другие дела есть! А пора стояла уборочная, когда работать надо не покладая рук. Я спросил у бригадира, чем он объясняет такую недисциплинированность. По его словам, в бригаде узнали, что по трудодням будут платить меньше, чем они рассчитывали, вот многие и начали подыскивать работу, за которую, по их расчетам, можно было получить побольше. Тот же вопрос я задал члену бригады, и он ответил мне то же самое.

— Но ведь если вы теперь уйдете в другое место, то заработки в кооперативе станут еще меньше,— попробовал я убедить его.

— Такими уж маленькими заработки не будут,— не без цинизма заметил мой собеседник,— уж государство как-нибудь позаботится, чтобы в кооперативах люди не положили зубы на полку.

Для контраста упомяну сельскохозяйственный кооператив «Победа», где в прошлом году на общем собрании было принято решение отказаться от государственной дотации.

Примеров, и хороших и плохих, можно набрать много. И соответственно жизнь в сельскохозяйственных кооперативах представляется то плохой, то безоблачно хорошей, и на самом деле в ней есть и плохое и хорошее, причем она постоянно изменяется, находится в непрерывном движении. Все это правильно, и тем не менее мы этим пока еще ничего не сказали. Одна из особенностей изменений в деревне заключается в том, что они происходят необыкновенно быстро, но если мы не успеем разобраться во всех их частностях, направленности и качественных признаках, то можем легко сбиться с верного пути, запутаться.

Если, располагая множеством фактов, статистических данных и личных впечатлений, вы захотите из моря противоречий выловить жемчужину истины и уложить в одну фразу запутанную действительность деревенской жизни, то скажите просто, что хозяйственная и организационная работа дает отличные результаты, но духовная и интеллектуальная жизнь пока никак не налаживается. Или проще: материально жизнь стала значительно лучше, но люди от этого не сделались намного счастливее.

Почему же это так? Откуда берется это странное противоречие?

Когда речь идет о крестьянах, совсем недавно вступивших в кооператив, то ответ на этот вопрос найти нетрудно: в них еще слишком жива привязанность к частной собственности, и они не до конца осознали преимущества коллективного труда.

Но ведь в Мезётуре это не так. Может быть, какие-то черты давно ушедшей в прошлое единоличной жизни, скрашенные расстоянием, и представляются им прекрасными, но такими они кажутся лишь в воспоминаниях, и вернуться к единоличному хозяйству никто не хочет. Таким образом, с единоличным хозяйством покончено навеки, и крестьяне отлично понимают, во всяком случае умом, что кооператив им нужен... Только им хотелось бы, чтобы все было как-то иначе.

Желание сделать «как-то иначе» вылилось в 1956 году в преобразование кооперативов. Однако коллективный метод ведения хозяйства и организация крупнохозяйственного предприятия — это наука, опирающаяся на экономические законы, и нельзя создать такое хозяйство, руководствуясь лишь благими пожеланиями. Ни к чему хорошему это не приведет — новые кооперативы в Мезётуре очень скоро узнали это на собственном опыте.

Имущество распавшихся крупных кооперативов никак не поддавалось справедливому разделу — у одних из заново возникших кооперативов, например, оказалось слишком много конюшен и других хозяйственных построек, другим не досталось даже самого необходимого. Начались бесконечные споры, которые могли привести бог знает к чему. Кооперативов стало больше, и понадобилось больше толковых председателей, агрономов, бухгалтеров, бригадиров и т. д., а откуда их было взять? Безответственность и неорганизованность порождали ряд других опасных последствий. И самое главное, даже если отбросить все остальное,— карликовые кооперативы, ограниченные в материальных и других возможностях, не были в состоянии по-настоящему использовать все преимущества крупного хозяйства.

Так продолжаться не могло. Дискуссий было много, но в конце концов маленькие кооперативы признали преимущества и необходимость крупных кооперативных объединений, и тогда в Мезётуре было организовано двенадцать крупных сельскохозяйственных кооперативов. Есть среди них хозяйства покрепче и послабее, но теперь каждое из них имеет неограниченные возможности для развития.

Однако все это может остаться и пустым звуком, поскольку причины, которые когда-то привели к распаду кооперативов, в некоторых местах еще существуют и мешают людям найти свое место в жизни коллектива.

Мы долго толковали об этом с моим пожилым деревенским другом, о котором я упоминал выше, и он довольно грустно пошутил:

— Мы как принцесса на горошине — у нас есть все, только горошина мешает.

— Не совсем так! — возразил я.— О бывших малоземельных крестьянах ведь не скажешь, что они слишком избалованы. Им не давали спать не горошины, а целые каменные глыбы...

— Так-то оно так, но и теперь что-то мешает людям, и надо бы от этого как-то избавиться.

Мы разговаривали с ним на базарной площади — гуляя по городу, ненароком забрели туда и присели отдохнуть на скамейке. Субботний день клонился к вечеру, и народу везде было много. Базарная площадь по старой привычке осталась местом встреч, но теперь сюда идут не в поисках работы, а так, чтобы посидеть с друзьями, поговорить о том о сем.

К нам тоже подходили знакомые, и один из них так настаивал, что мы наконец согласились заглянуть в трактир и выпить по стакану вина. Там мы опять столкнулись со знакомым человеком, и один из пришедших с нами сказал ему, не поздоровавшись:

— А! И ты тут?

Тот в одиночестве сидел у стойки и был здесь, по-видимому, уже давно. Нервно сдвинув шляпу на самые брови, он ответил задиристо:

— А тебе какое дело? Почему мне тут не быть? Что мне еще делать? — И добавил уже спокойнее: — Вино теперь дешевое!

Он поднял стакан и, глядя на нас, выпил его до дна.

Заметив, в каком он состоянии, мы больше не стали с ним разговаривать, но я не мог избавиться от воспоминания о нем, а главное, от горечи. «Что мне еще делать?»— в этих словах словно прозвучало субботнее настроение многих.

Но почему это так? Неужели у крестьян нет возможности провести субботний вечер как-то лучше? Конечно есть. Только раньше, если б у него спросили, что он тут делает, он ответил бы совсем иначе — рассказал бы о своих заботах и огорчениях, о множестве дел и добавил бы, что забежал только промочить горло и очень торопится. Словом, он был всегда чем-то занят, что-то соображал, над чем-то раздумывал. Жизнь вынуждала его не только работать, но еще и торговать, вертела им и так и сяк, не давала ни минуты покоя. Особенно доставалось от нее беднякам, но это заставляло их быть все время наготове, обостряло их умственные способности, пробуждало энергию.

А что происходит теперь? Выполнит человек порученную ему бригадиром работу — и все. Конечно, те крестьяне, которые занимают руководящие посты, имеют неограниченные возможности развития и усовершенствования, но большинству простых членов кооператива, не имеющих квалификации, не приходится что-то все время обдумывать и решать самим, как приходилось единоличникам, хотя их дела и заботы и были довольно примитивными. Безусловно, кооператив открывает широкие возможности для тех, кто хочет учиться,— они могут знакомиться с машинами, новыми способами ведения хозяйства и достижениями агрономии — словом, со всем, к чему у единоличника не было доступа. Но такие знания он получает, так сказать, из вторых рук, а его собственная творческая и духовная энергия остается в значительной части неиспользованной. У него теперь есть радиоприемник, он читает газеты, слушает лекции на политические и экономические темы, возможно даже, что зимой он посещает курсы, но все это лишь развивает его, не оставляя места творчеству.

Крестьянин не потому привязан к частной собственности, что она давала ему изобилие материальных благ, единоличные крестьяне в подавляющем большинстве жили гораздо хуже, чем теперь в кооперативах, а наиболее зажиточные (как об этом говорилось выше) все равно не пользовались своими деньгами. Зато каждый из них чувствовал свою значительность. Когда мой двоюродный брат женился и начал к каждому слову прибавлять «мой дом», «моя земля», «моя лошадь», «моя жена», это была не просто гордость молодого хозяина, но и сознание своей ответственности и обязанностей, необходимости обо всем этом заботиться. Добросовестное выполнение этих обязанностей приносило зримые результаты, которыми единоличник и гордился, зная, что соседи тоже видят результаты его деятельности и уважают его за них.

Вот о чем я думал, пока буфетчик наполнял стаканы вином. А когда мы отпили первые глотки и стали снова беседовать, то мои мысли тут же получили конкретное подтверждение.

Стоило бы написать особый труд о том, на какие темы ведутся теперь разговоры или — еще лучше — о чем теперь больше не говорят крестьяне. До сих пор в венгерском языке бытуют пословицы, уходящие корнями в глубокое прошлое: «Господин с политикой под руку ходит», «Этим пусть умные занимаются» и другие. Они отражают обездоленность крестьянина, невозможность принимать участие не только в высокой политике, но и в маленькой, в местной. Теперь крестьяне заседают в парламенте, участвуют в работе областных, районных и местных Советов, но тем, кто ни в чем не участвует, объяснить это очень трудно, и еще очень многие считают себя обойденными, приниженными по сравнению с прошлым, когда единоличник не имел доступа в большую политику, но зато на своем поле был полновластным хозяином.

— В семье-то у тебя как? — спросил мой старый друг у того, кто пригласил нас зайти в трактир выпить по стаканчику. Это тоже был человек не первой молодости.

Тот сердито мотнул головой и рассказал, что поссорился с сыном. Сын у него инженер и недавно женился, да только его жена не из тех, кто может понравиться свек-

ру. Вот и начался разлад. Сын настолько отдалился от них, что ни разу не пришел навестить отца, когда тот недавно тяжело болел.

— Вот как оно бывает! — огорченно добавил он, обращаясь уже прямо ко мне.— Дает человек сыну образование, а он в благодарность от отца отвернулся. Но дорога-то ему повсюду открыта потому, что отец у него был честным бедняком.

Я при этих словах чуть не поперхнулся вином. Такого мне еще слышать не приходилось! Он не сказал, что днем и ночью гнул спину, чтобы обеспечить сыну лучшее будущее, не сказал, что оставляет сыну хорошее наследство,— он хвастается, что был честным бедняком!

Ведь это прекрасный пример того, как изменилось мышление крестьянина и как противоречиво воспринимает он политику по отношению к кадрам. Он удовлетворен тем, что его бывшая бедность обернулась почетным рангом, но вот то, что он делает теперь, никакого особого почета ему не приносит. Да ведь это танталовы муки! Возможности у нас огромные, а вот превратить их в реальность для каждого человека мы не в состоянии.

В уставе сельскохозяйственных кооперативов сказано, что каждый член кооператива имеет право контролировать руководство и вносить свои предложения по планам, распределению средств, организации работы и так далее, но практически осуществить все это очень нелегко. С одной стороны, плодотворно вмешиваться в руководство хозяйством в несколько тысяч хольдов и давать полезные советы — вещь далеко не простая, а с другой стороны, те, кому есть что сказать, не всегда могут это сделать.

Члены кооператива имеют возможность заглянуть во все кооперативные дела только на отчетном собрании и при обсуждении годового плана. Мне как-то пришлось присутствовать на очень бурном общем собрании кооператива, когда люди пришли в такой раж, что швыряли шапки наземь. Атмосфера накалялась, уже начались обвинения личного характера, и казалось, вот-вот начнется потасовка. Меня очень удивило, когда после окончания споров представитель из центра и местные руководители заявили, что собрание прошло очень успешно. Представитель из центра довольно потирал руки, а заметив мое удивление, объяснил, что криков пугаться не надо: такой уж характер у крестьянина, и этим он показывает, что общественные дела ему далеко не безразличны.

Подобное объяснение меня даже испугало. И я, в свою очередь, попробовал объяснить представителю, что крестьяне умеют разговаривать спокойно, когда понимают, о чем идет речь, а сегодняшние споры показали, что они многого не поняли. А если мы будем измерять преданность крестьянина общему делу криком, то как оценить такое собрание, где отчет председателя был встречен гробовым молчанием? Люди смотрели себе под ноги, шаркали подметками. После собрания я спросил, почему никто не взял слова, и они удивились. Зачем?

— Чтобы сказать о том, что здесь услышали.

— Да ведь все в порядке. Правление сделает что надо. Им виднее...

Совершенно очевидно, что огромное количество фактов, над обработкой которых неделями трудились специалисты, не может быть воспринято и оценено присутствующими сейчас же после доклада, чаще всего прочитанного невнятно. А главное, времени обдумать дельные предложения по докладу ни у кого нет.

Может быть, стоит попробовать заранее раздавать членам кооператива материалы самых важных собраний, чтобы они могли изучить их, обсудить и обдумать, а потом выступить на собрании с мотивированным одобрением или контрпредложением. Это, конечно, несколько увеличит управленческие расходы, зато обеспечит более активное участие членов кооператива в общественных делах.

После такой подготовки собрание пройдет гораздо конструктивнее. Возможно даже, что дельных выступлений окажется столько, что собрание продлится несколько дней. Подобное собрание будет полезным не только для разрешения конкретных хозяйственных проблем, но и психологически: члены кооператива убедятся, что действительно имеют право голоса, что могут и даже обязаны заботиться обо всем, что происходит в кооперативе, совершенно так же, как о личном, своем хозяйстве. Тогда общие собрания утратили бы элемент формальности, и все почувствовали бы себя участниками делового разговора думающих, творческих и умных людей.

И наконец, такие рабочие совещания могли бы стать превосходным средством воспитания коллективизма, потому что на них люди научились бы больше уважать друг друга. Если члены кооператива начнут лучше разбираться в работе и трудностях руководства, поймут, какая тяжесть взвалена на плечи их же товарищей, которых они сами выдвинули на эту работу, то безусловно необоснованных обвинений и оговоров станет меньше, а конструктивной критики и помощи больше. Да и сами руководители будут давать меньше поводов для критики; чем крепче будет духовная и творческая связь с коллективом, тем реже станут случаи зазнайства, чванливого презрения к нижестоящим.

В свое время много говорилось о том, что творческая энергия крестьянства остается в кооперативе в какой-то мере неиспользованной. Есть люди, считающие, что

это можно компенсировать, пропагандируя среди крестьян литературу и музыку, удовлетворяя их культурные запросы на самом высоком уровне.

Конечно, эта работа чрезвычайно важна, и проникновение в деревню классической музыки, хороших книг, театра имеет огромное значение, но нельзя путать завтрашние результаты с реальными.

Один весьма компетентный в своей области человек воодушевленно показывал мне, как поднимается кривая прочитанных книг в Мезётуре, но он совершенно упустил из виду, что среди постоянных посетителей библиотек крестьяне составляют лишь три процента. Остальные читатели — кустари, учащиеся, интеллигенция и т. д. А ведь и для библиотечных работников гораздо важнее было бы пробудить тягу к книге именно среди крестьян.

Бесконечные статистические отчеты отражают посещаемость кинотеатров, театральных представлений, передвижных выставок, но ни один из них не показывает их влияние на население — настоящее, прошлое или будущее.

Я вовсе не против таких культурных мероприятий, мне лишь хочется подчеркнуть, что сами по себе они еще недостаточны. Другими словами, на неподготовленной почве не взойдет даже самое благородное растение. Пока мы не сумеем сдвинуть все крестьянство в целом, освободить его от консерватизма и тяжеловесности, мы не сможем по-настоящему влиять на него, хотя бы даже каждый вечер приобщая его к искусству.

Если мы до сих пор не смогли создать оптимальных условий для внедрения в жизнь элементарных правил личной гигиены — чтобы каждый пил из отдельного стакана, вытирался своим полотенцем, чтобы вся семья не мылась в одной лохани и т. д.,— то тем более трудно превратить стремление к высокой культуре во внутреннюю потребность. В детстве я как-то рассказал дома, что учитель велел и зимой как следует проветривать комнату, потому что это полезно для здоровья. Родители мне на это ответили, что после проветривания господин учитель, конечно, может снова протопить комнату, а у нас для этого нет лишней соломы. Теперь топливо — не проблема, во всяком случае в крестьянском доме в Мезётуре, где я сам наблюдал, как проветривали наволочки с подушек и перин, а комната оставалась непроветренной. Из любопытства я посмотрел на оконную раму и убедился, что она разбухла и, конечно, уже несколько месяцев не открывалась.

Для того чтобы понять, как живет деревня, приходится учитывать не только самое передовое, но и самое отсталое, не только хорошее, но и плохое.

Еще очень многое предстоит усовершенствовать в сфере так называемой культуры быта и культуры поведения. В круг этих понятий можно включить очень многое, чтобы, например, на стол перед едой стелилась скатерть, чтобы наседка не высиживала цыплят в комнате, а помои для поросенка не стояли под кроватью. Добиться всего этого не так уж и трудно, но не надо посмеиваться над теми, кто называет такие вещи эстетической и психологической необходимостью, и над тем, что в программе воспитательной работы в деревне одинаковое место занимает проблема организации театральных гастролей и чистая рубашка, которую каждый должен надеть, идя в театр.

Материально крестьянам теперь все это доступно, и нужно лишь терпеливо разъяснять им, что нет смысла жалеть денег для украшения собственной жизни.

...Однажды я сидел вдвоем с молодым заместителем председателя городского Совета в Мезётуре в маленьком трактире с щербатым полом и покосившимися оконными рамами.

— Как вы думаете,— спросил я его,— каким будет венгерский крестьянин через пятьдесят лет?

После недолгого раздумья он сказал:

— Таким же, как теперь.

Я посмотрел на него. Интеллигентное лицо, умные глаза, культурное развитие гораздо выше среднего. Он из крестьянской семьи, окончил университет в Советском Союзе, а теперь собирает материал для книги, в которой даст развернутый анализ экономических проблем сельскохозяйственных производственных кооперативов.

Я думал, что он засмеется, но он сохранял полную серьезность. Нет, он не шутил.

За соседним столом сидели трое, очевидно, с хутора. Я посмотрел на них. Один развязал узелок и стал закусывать. Хлеб, сало, лук. Все трое обросли щетиной, лица мятые, невыразительные. Мой спутник узнал их и сказал, что все трое члены кооператива, но живут на хуторе. Я посмотрел на них, потом снова перевел взгляд на своего соседа и покачал головой. Я все-таки не поверил его утверждению. Через некоторое время мы с ним заглянули в кондитерскую выпить чашечку черного кофе. Когда мы сели за столик, в кондитерскую зашли трое — молодые родители и с ними ребенок лет пяти. Они тоже сели за столик и заказали пирожные. Мать стала показывать ребенку, как следует держать вилку, как есть, а отец закурил сигарету и, улыбаясь сквозь дым, смотрел на жену.

— Они тоже члены кооператива,— сказал заместитель председателя рядом со мной, и я внезапно почувствовал... я не могу даже передать, что я почувствовал,— это никак не укладывается в холодный и размеренный тон моего повествования. Только я внезапно поверил в чудеса, которые произойдут в ближайшие пятьдесят лет.

Из работ

бельгийского художника Роже Сомвиля

Шахтеры шахты Фернан. Боринаж. 1954 г.

Симона в зеленом. 1957 г.

Испанский крестьянин. 1961 г.

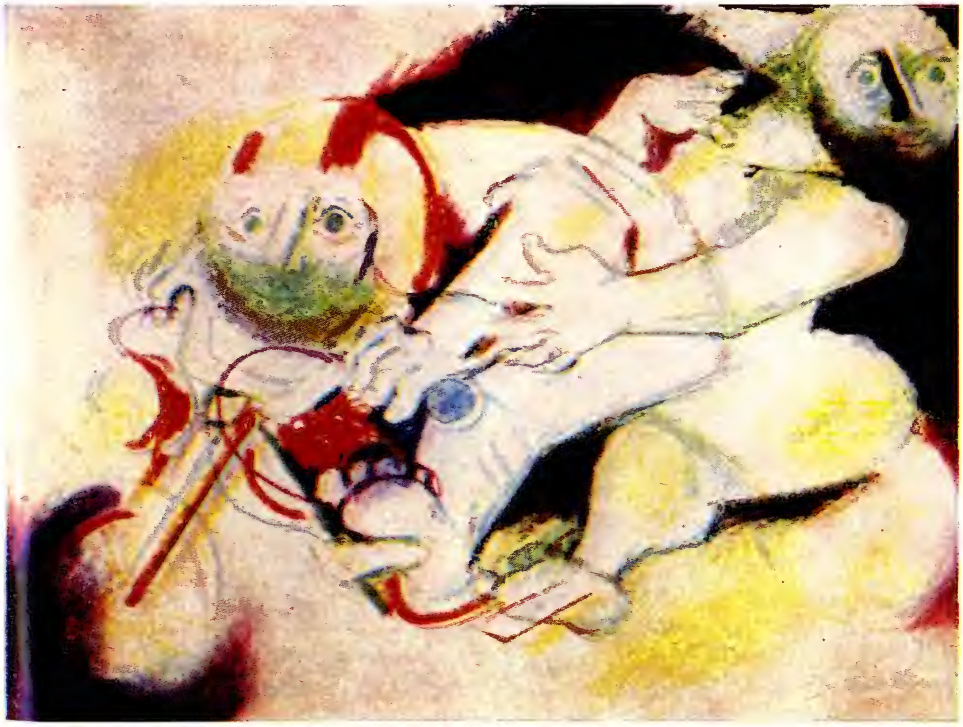
После полудня. 1962 г.

Крикуны, или художественные критики. 1963 г.

Арлекин. 1964 г.

Ночное кафе. 1966 г.

Мотоциклисты. 1970 г.



Гобелен «Триумф мира». Фрагмент. 1963 г.

Изобразительное искусство за рубежом

РОЖЕ СОМВИЛЬ

Наше знакомство с интересным бельгийским мастером произошло в выставочном зале Союза художников СССР.

Сомвиль прошел суровую школу жизни, был в рядах Сопротивления, активный участник борьбы за мир. Вне этой борьбы — борьбы против войн, насилия, социальных несправедливостей — он не мыслит позицию художника.

Самое страшное для художника — уйти от жизненных, насущных проблем в мир выдуманных, отвлеченных образов, считает он. Все искусство Сомвиля — яркий пример того, как четкая позиция художника, гражданина, коммуниста раскрывается в его деяниях. Он понимает свою миссию как долг — долг заставить человека взглянуть действительности в лицо, хотя эта действительность порой бывает отталкивающе страшна.

Центральная тема творчества Сомвиля — человек, к страданиям которого художник очень чуток. Честно, страстно и убежденно обращается Сомвиль к теме войны, гневно и горячо протестуя против нее. Порой Сомвиль прямо перекликается с Гойей и Пикассо — не только в образах, символах, но прежде всего их сближает беспощадность разоблачения.

Наиболее значительным своим произведением антивоенного характера Сомвиль считает огромный гобелен «Триумф мира», выполненный в 1963 году по заказу министерства культуры Бельгии. В этом ярком, красочном монументальном панно (размер его — 75 квадратных метров) выражена идея борьбы доброго начала с дикими, мрачными силами. Ладья с людьми все-таки вырывается к светлому и чистому миру, к звездам и солнцу, хотя силы войны, насилия теснят ее.

После создания этого гобелена Сомвиль не получил от официальных организаций ни одного заказа на выполнение монументальных произведений, хотя всю жизнь стремился именно к работе в области монументальной живописи. Он считает, что монументальное искусство имеет максимальные возможности контактов со зрителями и сила его воздействия несоизмеримо выше станковых работ.

Обостренным чувством сегодняшнего дня, сегодняшних страданий человека в мире отмечена картина «Америка, я пишу твое имя: «Вьетнам, 1968»!». Современная война убивает не только отдельного человека, она сокрушает, расплющивает все. И Сомвиль пытается найти наиболее общее выражение своей идеи. Женщины и дети, которых в упор расстреливает солдат в каске,— это не только вьетнамские патриоты. Это — жертвы фашизма, империализма. Художник изображает их обнаженными, и в памяти невольно встают узники гитлеровских лагерей смерти, умерщвленные в газовых камерах Освенцима, Треблинки, Маутхаузена. Полотно строго в цвете, почти монохромно, похоже на фреску; ритм, запутанный, нервный, ломкий, сообщает композиции подлинный трагизм.

В рамки станковой живописи не укладывается и полотно «Вопль греческого народа» — символ сегодняшней Греции. Фигуру, кричащую и рыдающую, Сомвиль пишет большими плоскостями и замыкает их в четкий широкий контур, который ощущается как переплет, сковывающий и ограничивающий стремительное, почти летящее движение. Мрачный черно-серый фон переливается множеством оттенков, то гаснет, то загорается, подчеркивая трагический пафос картины.

В своих экспрессионистических полотнах Сомвиль сознательно сталкивает современника с уродливыми проявлениями действительности, постоянно бередит в человеке то, о чем многие хотят забыть, не думать, что предпочли бы не видеть. Его работы задевают за живое, никого не оставляют равнодушными.

Одну идею художник варьирует во многих композициях. Целая серия работ посвящена безумию, охватившему сейчас капиталистическое общество,—курению наркотиков. Художник повествует о тех, кто прожигает

жизнь в ночных барах и ресторанах, о людях, отчаявшихся найти в этом мире свое место, счастье, покой. Живописные средства направлены здесь на создание драматического образа кошмарного, больного мира. Струящаяся, нервная, шевелящаяся фактура, активно вибрирующий мазок, нанесенный крупной, будто растрепанной кистью, которая движется быстро, свободно, словно единым взмахом. Линия прихотливая, льющаяся, экспрессивная. Резкие, даже едкие краски раздражают, будоражат, тревожат. Это — портрет современного больного общества, среды, обволакивающей человека, разъедающей его душу и плоть. И человек в этом мире—одинокое существо с глазами, полными самых противоречивых чувств: то пустыми, то растерянными, то тоскливыми, то недоумевающими, то задумчивыми, то безумными. Не меньше глаз «говорят» и руки — судорожно-напряженные или безвольные.

Чувство трагического одиночества, опустошенности пронизывает многие картины художника. Тема изолированности, разобщенности людей звучит у Сомвиля и в живописи, и в десятках рисунков тушью, изображающих ночные городские кафе. В этих рисунках драма несовместимости гармонического образа и современной жизни в капиталистическом мире проступает особенно отчетливо. Сомвиль доводит эту тему почти до символического звучания. Люди одиноки не только в этом городе, но и вообще в этом мире. Здесь не только нет счастья, но и сам этот мир кажется ненастоящим, искусственным: пространство скошено, сломано; феерический свет ламп, мерцающих и слепящих во мраке ночи, делает лица людей похожими на маски, отчего в изображение привносится элемент гротеска, подчеркивающего гримасы жизни. Сумрак, плотно сдвинувшийся вокруг посетителей кафе, наполняет листы беспокойным и гнетущим чувством. Так художник развенчивает легенду о красивой жизни в современном «свободном» обществе.

Среди работ Сомвиля немало сатирических листов. Злой и едкий сарказм отличает сдержанные, но выразительные листы, запечатлевшие образы самодовольных, разжиревших буржуа — посетителей вернисажей выставок нефигуративного искусства.

Но подлинно публицистической силы Сомвиль достигает в листах «Франко — убийца испанского народа у позорного столба истории», «Социализм — Испании», «Вьетнам» и особенно — в большом цикле рисунков под общим названием «Посвящается Бертольту Брехту». С подлинным гражданским мужеством Сомвиль показывает, как все чистое, человеческое подминается, подвергается разрушению, извращению. «Узнаете ли вы их?»—спрашивает художник, рисуя наглые, циничные, самодовольные физиономии «сильных мира сего». Конечно, их узнает всякий! «Отвратительные» — так называется лист, на котором изображены солдаты в касках: слепое орудие войны в руках интервентов и захватчиков.

Необычайно выразителен рисунок «Апокалипсис в Боринаже» — отклик на закрытие в 50-е годы угольных шахт в стране. Трагически оживает, вспучивается земля, проваливаются, рушатся строения, валятся в бездну шахтерские вышки на фоне терриконов, и надо всем этих хаосом — три фигуры, символизирующие королевскую власть, буржуазию и духовенство, которое поддерживает владельцев шахт. С высоты своего положения эта троица добивает погубленных — оставшихся без работы шахтеров, чьи огромные натруженные руки вскинуты в жесте отчаяния.

Однако искусство обязательно должно нести людям и радость. В творчестве Сомвиля есть другая линия, занимающая не менее значительное место. Это не только большие полотна, полные солнца, света, оптимизма, такие, как «Большой пляж», «После полудня», «Купальщицы». Это прежде всего образы шахтеров, рабочих, крестьян — близких художнику людей, в которых он видит силу, способную противостоять мраку и злу. И когда Сомвиль обращается к теме доброты, радости, значительности человеческой личности, манера его живописи иная, далекая от экспрессионистской.

Серия портретов шахтеров написана в 50-е годы. В этих полотнах художник в строгой, реалистической манере создает яркие, выразительные народные характеры, прямо заявляя о своих симпатиях. В групповом портрете «Шахтеры шахты Фернан» уже совсем иная концепция человека — светлая, мажорная. Герои этих произведений твердо знают свое место на земле, они исполнены сознания собственного достоинства и уверенности в своих силах. Живопись художника благородна, спокойна. Чувством жизненной правды и уважением к человеку труда полна и картина «Порт-Луиз».

Часто пишет Сомвиль свою жену Симону, изображая ее в виде простой крестьянской женщины, в домашней одежде, чуть огрубляя и вместе с тем поэтизируя реальный образ.

Поэтичны и графические листы. Образы молодых женщин и девушек, грустных и улыбающихся, нежных и задумчивых, погруженных в себя, внутренне сосредоточенных, привлекают особой лиричностью.

В начале 60-х годов Сомвиль создал поистине монументальный портрет испанского крестьянина — настоящий памятник труженику земли. Торжественно-строгая, фронтальная поза приподнимает образ над обыденностью, но хитроватый прищур глаз вносит жанровую, жизненно достоверную нотку. Четкий силуэт фигуры ясно читается на условном черном фоне. Две желтые кулисы по бокам как бы образуют сценическую площадку. Общий золотистый тон — цвет спелого хлеба — в контрасте с черным выразителен, энергичен и богат оттенками: он то сгущается до коричневого, то становится ослепительно-солнечным, горящим.

Роже Сомвилю сейчас 47 лет — возраст зрелости, пора творческого расцвета. Нам остается пожелать ему удач на благородном поприще художника-гражданина и ждать новых интересных встреч с его работами.

Н. ПРОКОФЬЕВА

Культура и современность

Заметки на полях зарубежных газет и журналов

«БЫТЬ ВЕРНЫМ ЖИЗНИ»

Еженедельник «Литературен фронт» опубликовал доклад Председателя Союза болгарских писателей Георгия Джагарова на Второй национальной конференции СБП «Проблемы жизни — проблемы литературы». На первое место в своем докладе Г. Джагаров поставил те проблемы и теоретические вопросы, которые, по его мнению, должны вооружить каждого писателя, прежде чем он сядет за письменный стол для создания литературного произведения. Он не преследовал цели анализировать и оценивать новые произведения болгарской литературы, «ставить плюсы и минусы авторам», а стремился увидеть состояние литературы в целом, отметить положительные и отрицательные тенденции литературного процесса и продумать некоторые предпосылки, которые могут, «если будут приняты и усвоены, если станут внутренним убеждением каждого из нас», помочь дальнейшему развитию болгарской литературы.

В качестве одной из важнейших предпосылок Джагаров называет единство писателей Болгарии, «единство убеждений, единство стремлений, единство воли, единство, которое мы привыкли называть единством вокруг линии партии». Корни такого единства он находит в истории Болгарии, в ее героической национально-освободительной борьбе. Как сегодня, так и в прошлом болгарская интеллигенция в подавляющем большинстве народна по происхождению и по духу. Она всегда стремилась к единению с народом в его революционной борьбе против османского рабства, против фашизма и капитализма.

Георгий Джагаров полемизирует с теми западными теоретиками, которые представляют единство писателей Болгарии как «ряд стриженых голов».

«Для нас единство — это процесс, а не состояние; движение, а не застывшая давность; шум крыльев, а не тишина и мертвечина... Это процесс все более полного приобщения творческой интеллигенции к народу, все более полного слияния с волнениями, с болями и радостями, с бедами и надеждами миллионов людей. Этот процесс сложен и противоречив. Каждый писатель движется от своей отправной точки сообразно своим возможностям, умственной зрелости, таланту, идейной подготовке, психике, нравственности. Мы движемся каждый в отдельности и как целое, кто быстрее, кто медленнее, то с ошибками и колебаниями, то с уверенностью и энтузиазмом, падаем и поднимаемся, но движемся, молодые и старые, начинающие и увенчанные славой, партийные и беспартийные, движемся к общей цели, в правильности которой мы все без исключения убеждены».

Подчеркивая, что вопрос о творческой свободе давно решен, Г. Джагаров все же поднимает его в своем докладе, потому что он сейчас поставлен на повестку дня теоретиками и пропагандистами империализма, считающими, что проблема творческой свободы — это та арена, на которой непременно разгорится сражение.

«Не они, а мы,— говорит Джагаров.— можем научить их тому, что такое творческая свобода, потому что болгарская интеллигенция заплатила за нее не долларами, а кровью из собственных жил. Я не знаю другой страны, которая в

знак признательности называла бы самые высокие вершины гор именами своих поэтов, погибших за свободу».

С точки зрения практических задач болгарской литературы Г. Джагаров рассматривает и вопрос о таланте, и вопрос о прекрасном, на которые давалось много различных ответов, по которым велись и ведутся ожесточенные споры. В своей практической работе писатели иногда впадают в заблуждение, упуская диалектику прекрасного, его противоречивость и конфликтность, забывая, что прекрасное не адекватно красивому, не является антиподом уродливого.

«Прекрасна наша борьба, но не так уж красиво мерзнуть и голодать в партизанских лесах, с заржавленной винтовкой и босиком бросаться на врага или терпеть, когда тебя, избитого и окровавленного, тащат по коридорам полицейских участков. Смерть сама по себе не красива, но прекрасно умереть за благородную идею, за свободу родины, за дело коммунизма».

Прекрасное находится в жизни, среди людей труда, в борьбе за коммунизм, говорит Г. Джагаров. Если писатель этого не понимает, если он смешивает понятия, то он так или иначе уходит от жизни и от людей и, будучи заранее убежден, что ничего прекрасного не создаст, перестает заниматься проблемами современности, обращается к другим сферам, к самому себе, к чистому духу, к чистым идеям, к абстракциям. В самом поиске прекрасного, в направлении работы писателя, в его выборе проявляется его классово-партийная позиция.

Писатель должен зорко отмечать новые психологические явления, новые черты характера, порожденные новыми условиями жизни общества. Это трудно, потому что «новая черта характера не так бросается в глаза, как новый дом». Современный болгарский писатель не может не заметить те новые черты, которые появились в сознании болгарского крестьянина и рабочего. Действительность ушла очень далеко вперед, и вместе с ней вперед ушли и люди. Болгарский крестьянин уже не тот, каким был до революции или даже во время коллективизации. Болгарский рабочий — это тоже уже рабочий с новым строем души. И если писатель этого не увидит, то он и крестьянина, и рабочего изобразит обедненно и приниженно. Что касается отражения в литературе дел и быта рабочего класса, то здесь необходимо иметь в виду большие достижения научно-технического прогресса, которые отразились и на рабочем классе. Литература не может не считаться с эпохальными научно-техническими процессами нашего времени,

«но по инерции, идущей от традиций критического реализма, многие писатели продолжают рисовать образ рабочего по книжным образцам, видеть его среди примитивных форм труда...»

Джагаров призывает также обратить более серьезное внимание на проблему отображения в литературе партийного работника, партийного руководителя. Если несколько лет назад в болгарской литературе существовал книжносхематичный образ партийного секретаря, то вина за создание этого «литературного героя» лежит не на партийных секретарях, а на тех авторах, которые высосали их из пальца.

«Где, когда и кто из нас попытался тем или иным способом в собирательном или документальном образе использовать тот чистый источник идей, мыслей, образцов самоотверженной деятельности, тот материал нового сознания и нового поведения, который нам предлагает партийная и трудовая биография десятков и сотен деятелей всех звеньев партийного руководства?» — спрашивает Джагаров.

Многие беды болгарской литературы, «кризисы, в которые она периодически впадает», происходят, по его утверждению, потому, что писатели все еще слабо знают жизнь, слабо представляют себе основные ее конфликты. На протяжении веков литература постоянно решала конфликт между личностью и обществом, который, как правило, кончался трагедией для личности. Вокруг этого конфликта были созданы все величайшие произведения мировой литературы. Существует ли этот конфликт сейчас?— ставит вопрос докладчик. И отвечает: да, существует. Только если в прошлом это был конфликт между отрицательным обществом и положительной личностью, то сейчас это конфликт между положительным обществом и отрицательной личностью, или конфликт между коллективизмом и индивидуализмом.

Примеров таких конфликтов в жизни болгарского народа множество, но они не всегда находят отражение в литературе. Г. Джагаров говорит о человеке,

«который еще юношей вступил в борьбу за коммунизм, отдал все свои силы для благоденствия народа, руководил сражениями в горах, гнил в фашистских тюрьмах, переустраивал действительность, возглавлял важнейшие участки революционной борьбы, воспитывал людей, побеждал и вот, побеждая, оказался побежденным, потому что вдруг выяснилось, что он, тот, что всегда был в передовых рядах, отстал от развития, которое сам направлял».

Положение такого человека трагично. Что происходит в его душе? Как он поступит? Джагаров намечает несколько вариантов этого конфликта. Если первый: восстать

против себя, влиться в новое дело, работая по-новому и с новыми людьми, с молодыми пойти в ногу с временем, то второй вариант: замкнуться в себе, в своем доме, на своей даче, на своем приусадебном участке, забыть людей и самому оказаться забытым ими. Есть еще крайний вариант: в озлоблении и непонимании того, что происходит, выступить против своих товарищей, против общества и партии, переродиться и из человека всеми любимого и уважаемого превратиться в самого ничтожного индивидуалиста и властолюбца.

Такие конфликты — благодатный материал для современного писателя. Их решение предоставляет писателю широчайшие возможности как отрицать, так и утверждать. Главное, говорит Джагаров, быть верным жизни, истине жизни, соблюдать соотношения между положительным и отрицательным, которые реально существуют в жизни.

«Мы реалисты,— продолжает он,— но реалисты не с гирями на ногах, а с крыльями за плечами. Регистрация событий, грубое, опротивевшее до досады описание фактов, ползание по поверхности, упорное пережевывание известного и распространенного — все это не наш метод. Такое понимание реализма не привлекательно для художника и не несет ничего нового читателю. Наш метод предполагает не только познание фактов, но и их осмысление, не только конкретное познание общества и человека, но и бурно развитую художественную фантазию, не делание литературы, а рождение художественных произведений. Только таким путем писатель может познать современность и проникнуть в глубины истории».

Важнейшую роль в литературной жизни, в литературном процессе Болгарии, подчеркивает Г. Джагаров, должна играть и играет болгарская литературная критика, являющаяся одной из форм партийного руководства художественным творчеством, одним из инструментов классовой борьбы за идейно-политическое руководство литературой и искусством. Перед критикой стоят большие и сложные задачи — силой аргументации, анализом творчества и тенденций литературного процесса открывать путь к читателю и для писателей, и для их произведений, помогать тому, что по-настоящему талантливо, давать отпор реакционным тенденциям и утверждать прогрессивные.

Критик должен быть голосом и совестью литературы, ему не менее, чем писателю, необходимо знание жизни, потому что иначе он не сможет сравнить истину жизни с истиной литературы. Наиболее опасным для болгарской литературной критики явлением Г. Джагаров считает групповшину и призывает беспощадно с ней бороться.

«Самая ужасная, самая безобразная и аморальная из всех видов критики — критика захваливающая. Неприлично в литературе, имеющей 1100-летнюю историю, при жизни курить фимиам авторам, как бы велики они ни были. Сочувствие и сожаление вызывают те, кто терпит этот кадильный дым и позволяет критикам петь гимны в форме рецензий и статей. Хуже того — некоторые авторы не только терпят, но и заказывают сами себе такие погребальные гимны в хоровом исполнении разных проходимцев и угодников.

Необходимо также обеспечить литературной критике независимость от авторов, о которых она пишет». Она «должна быть независима от постов, занимаемых авторами, от блеска их имен, она не должна бояться ни их голоса, ни их кулаков».

Только если критика сумеет избавиться от групповщины и изжить другие предрассудки, она сможет свободно, смело и наступательно бороться за принципы социалистического реализма. Подъем и расцвет критики, продолжает Джагаров, возможны только в том случае, если она сумеет быть по-настоящему партийной и принципиальной.

Подводя итоги, Г. Джагаров подчеркивает, что не претендует на создание какой-либо теоретической системы, однако пытается на основе своего опыта подойти к ряду вопросов с некоторым теоретическим уклоном, посмотреть на них под новым углом зрения, сделать из них практические выводы:

«Может быть, новое и полезное состоит в том, что единство среди писателей рассматривается как процесс, а не как состояние, что связи писателей с жизнью понимаются в свете идей прекрасного, которое не лишено противоречий, что коммунистическая партийность объясняется как закономерность, присущая самой природе современного искусства, что народность воспринимается как позиция против формализма и примитивизма, что объявляется независимость литературной критики от авторов художественных произведений, что болгарская литература выдвигается как часть мировой прогрессивной литературы, главную роль в которой играет советская литература».

Вторая национальная конференция СПБ получила высокую оценку болгарской общественности. В партийной и литературной печати было опубликовано много откликов, в которых выражалась уверенность, что конференция станет еще одним толчком для появления новых художественных произведений, отражающих современную жизнь социалистической Болгарии.

С. ПАРХОМОВСКАЯ

ТРУДНОЕ ИСПЫТАНИЕ ХЕМИНГУЭЯ

Недалеко от Кетчема, от последнего дома, где жил Эрнест Хемингуэй, есть деревня имени Сэндберга, здания, названные именами Фолкнера, Джеймса, Каммингса. Имя Хемингуэя в США значится пока лишь на его надгробии. Улица Хемингуэя есть в городе Памплоне в Испании, где происходит действие романа «Фиеста». Первый его музей открыт вблизи Гаваны на Кубе.

Но бессмертие писателей — не столько в музеях и памятниках, сколько в книгах. Через девять лет после смерти Хемингуэя в США (и почти одновременно у нас) опубликован его роман «Острова в океане». Рукопись пролежала в сейфе почти двадцать лет. И вышла на трудное испытание: примут ли ее читатели? Примет ли критика?

Влиятельные американские газеты и журналы еще до выхода книги начали печатать о ней статьи и рецензии.

«Хоть нам и хочется верить в чудо — Хемингуэй возвращается из царства мертвых с неповрежденной лирой и с рукописью под мышкой,— трудно все-таки ждать чего-либо серьезного от романа «Острова в океане»,— писал К. Леман-Хаупт в «Геральд трибюн».

Ему вторил Джон Олдридж:

«Зная, что это может оказаться последним новым романом Хемингуэя, который мы когда-либо прочтем, к нему подходишь со смешанными чувствами настороженности, благоговения и большой тревоги: надеясь, что по какой-то необъяснимой милости богов роман вдруг окажется очень хорошим, и в то же время сознавая, что шансов на это очень мало» («Сатердэй ревью»).

Диапазон оценок необыкновенно широк. На одном полюсе:

«В книге «Острова в океане» переходишь от удовлетворительного к плохому, от плохого — к худшему, от худшего — к отвратительному, эта книга не из числа тех, которые я бы рекомендовал читать немедленно». (Совету рецензента из «Геральд трибюн», видимо, не последовали: «Острова в океане» — на втором месте в списках бестселлеров.)

«...стилистические и драматические средства Хемингуэя в свое время были истинными открытиями, и, как это всегда бывает с открытиями, их введение было сопряжено с риском, они были оригинальны; источниками открытий были реальные столкновения с жизнью... А теперь все это превратилось лишь в позы, в автографы некогда славных, но уже умерших эмоций...» («Сатердэй ревью»).

На другом полюсе:

«...Хадсон удался великолепно: и как образ человека, и как образ художника. Блистательный изобразительный талант Хемингуэя создает—в воображении Хадсона — одну картину за другой, и возникает редкое в литературе явление—образ художника, в которого веришь... Одна из радостей при чтении Хемингуэя заключается в том, что знакомое изображается заново с такой яркостью и силой, как будто это никогда раньше не изображалось» («Нью-Йорк таймс бук ревью»).

По мнению Ирвина Хау, автора статьи в журнале «Харперс», уже само заглавие книги указывает: перед читателями—не роман, а отдельные сцены, независимые друг от друга, словно острова в океане.

Мы не знаем, каков был первый вариант четвертой части, той, которая еще в 1951—1952 гг. отделилась, зажила своей жизнью, стала книгой «Старик и море». Но сам этот факт подтверждает правоту критика. Нельзя же себе представить ни «Фиесты» без третьей части, то есть без самой фиесты, ни романа «Прощай, оружие!» без смерти в Швейцарии. Хемингуэй каждый раз искал конструкцию не менее напряженно, чем искал «le mot juste» — нужное слово на нужном месте. Потому лучшие его рассказы и романы обладают прочной формообразующей структурой.

Читатель, закрывший двенадцатый номер «Иностранной литературы» за прошлый год, может решить, что роман «Острова в океане» на этом и кончается. Ведь словно бы уже достигнута кульминация — что еще может произойти с человеком, у которого погибли все сыновья?

«Отдельные части не составляют никакого целого, именно поэтому Хемингуэй не мог не написать этой книги, именно поэтому он не хотел публиковать ее...» — пишет К. Рикс в «Нью-Йорк ревью оф букс», и, по-моему, он прав.

И. Хау начинает статью о романе анализом фильма Феллини «Восемь с половиной».

«Что придает значение отдельным воспоминаниям? Дисциплина, которая достигается в произведении искусства его структурой, а структура в свою очередь определяется силой идеи. Творческий кризис, таким образом, проявляется не

столько в утере мастерства (например, способности создать живую сцену), а в утере тех живых убеждений, которые и связывают произведение воедино».

Сходная мысль есть и у Джона Олдриджа: в романе «Острова в океане» нет твердой конструкции, нет жесткого сюжета.

В архиве писателя обнаружены две главы, которые он не включил в окончательный вариант романа «По ком звонит колокол»: партизан Андрес, вернувшись из штаба республиканских войск на место взрыва моста, ищет следы ушедших и погибших товарищей. Гольц и Карков едут в Мадрид и по дороге гадают о судьбе Роберта Джордана. Обе главы интересны, обе дополняют важные мотивы книги, но требовательный мастер отбросил их, ибо они нарушали классическую завершенность целого—книгу, построенную как система концентрических кругов с мостом в центре, где и расположение глав словно выверено по законам точных наук. Начало в сложном ритме соотносится с концом. Первая фраза: «Он лежал на устланной сосновыми иглами бурой земле, уткнув подбородок в скрещенные руки, а ветер шевелил над ним верхушки высоких сосен». Последняя: «Он чувствовал, как его сердце бьется об устланную сосновыми иглами землю». Плавность, закругленность композиции воплощает вечность человеческих стремлений к свободе и счастью.

Многие критики видят главный недостаток романа «Острова в океане» в том, что герой почти неотличим от автора. Но герои всех произведений Хемингуэя в той или иной мере автобиографичны. Недаром в рукописях и Ника Адамса и Джейка Барнса называют еще «Эрни» и «Хем».

Целостность хемингуэевских рассказов и романов определяется судьбой и характером героя и той особой, нерасторжимой связью между героем и автором, которая и сообщала такую достоверность каждому слову, каждому поступку. Хемингуэю часто говорили, что он не похож на писателя, это его радовало. Этот великий писатель был почти лишен дара фантазии. Он сначала ловил рыбу, охотился, любил, воевал и лишь потом писал о рыбной ловле, об охоте, о любви, о войне, магическим искусством слова возводил свой личный опыт в общезначимый.

«...там, где бываем мы, если только мы чего-нибудь стоим, там, вслед за нами, удается побывать и вам»,— говорил он. Обе части этой формулы — и «мы бываем», и «если мы чего-нибудь стоим», то есть умеем писать,—для него почти равно необходимы.

Сам его стиль, казалось бы, сметал различия между литературой и жизнью, а в действительности создавал новую литературу.

И. Хау пишет:

> «Культ мужественности, который преобладает в этой книге, хотя и выраженный с меньшей самоуверенностью, чем в прежних произведениях,—это в конце концов, мальчишеское представление. Стоит только сравнить Хадсона—Хемингуэя со взрослыми героями романов европейских мастеров, чтобы убедиться в том, насколько он незрел и как индивид — в той мере, в какой он индивид,— и как тип».

Я не склонна так высокомерно относиться к «мальчишеским представлениям». Думается, что мужество, в том числе и первичная его форма — мужество физическое,— нисколько не устарело и сегодня. И оно необходимо взрослым так же, как и мальчишкам. В утверждении мужества, в утверждении кодекса настоящего мужчины — не слабость, а сила Хемингуэя, его неподвластность колебаниям моды. Это относится и к новому роману.

Слабость — в отходе от кодекса, в измене ему. Хау прав, когда говорит о «спазмах жалости к себе» у Хадсона. Многим сверстникам Хадсона есть за что пожалеть себя. Двадцатый век — век жестокий. Однако вряд ли есть чувство более саморазрушительное, чем жалость к себе. И ведет эта жалость в книге к тому, что временами разрушается сам стиль Хемингуэя, прямо противоположный сентиментальности; жалость к себе вызывает прилагательные, которые он всегда так непримиримо изгонял из своей прозы.

Сила Хемингуэя и его героев и в том, что они умели подниматься над жалостью к себе. Подниматься в уверенности, что человек — не остров, что каждый в силах уменьшить чью-то ношу и, соответственно, чью-то жалость к себе. Что от каждого остается именно та часть души, которая застряла в чужих душах, в чужих судьбах.

Впрочем, и к жалости можно подойти по-иному. Одно из важнейших критических суждений высказал Фолкнер в рецензии на «Старика и море», тогда еще напечатанной в маленьком журнале «Шенандо»:

> «Время может показать, что это — лучшее произведение, написанное кем-либо из нас. Из его и моих современников... До сих пор его мужчины и женщины сами определяли свои жизни, лепили себя из собственной глины; их победы и поражения были в руках друг у друга, они просто доказывали себе и другим, какие они твердые. А на этот раз он написал о жалости: о том, что нечто где-то сотворило их всех; о старике, который должен был поймать рыбу, а потом потерять ее; о рыбе, которая должна была быть поймана, а затем утеряна; об акулах,

которые должны были ограбить старика, отобрать его рыбу; о том, что их всех сотворило, о том, кто всех любил и всех жалел...»

Приглушенные отзвуки этого мягко-сострадательного отношения к людям есть и в романе «Острова в океане», романе о человеке, который должен был быть счастлив и не был, о его сыновьях, которых он не должен был потерять, но потерял...

А ведь Хадсон владел чудодейственным средством общения с другими людьми — искусством. В становлении Хемингуэя-писателя живопись сыграла не меньшую роль, чем литература. Он сам рассказал об этом в книге «Праздник, который всегда с тобой». Об этом нельзя не вспомнить и читая новый роман. Хадсон-солдат неотделим от Хадсона-художника. С его неистребимой потребностью запечатлеть на полотнах все виденное, даже если это страшно и очень лично.

Картины Хадсона увидены глазами их создателя. И глазами других людей. Таких, кто умеет смотреть живопись, и вовсе не умеющих. Во втором случае появляются многообразные оттенки пародии: от невинной, доброй до очень злой (в издевательстве над богатыми туристами). В разговорах об искусстве, которые ведутся на страницах хемингуэевских книг, часто присутствует, так сказать, «обыденное сознание». Разговор Хадсона с хозяином бара о живописи — одна из лучших сцен романа «Острова в океане» — своеобразное продолжение диалогов в книгах «Смерть после полудня» и «Зеленые холмы Африки».

Дж. Олдридж, пространно сопоставляя «Острова в океане» и «По ком звонит колокол», повторяет банальные упреки в антиинтеллектуализме.

Если к интеллектуальной прозе относить только произведения, подобные романам Томаса Манна, то книги Хемингуэя, разумеется, надо определять как-то иначе. Но если рассматривать это понятие шире, если считать, что интеллект дан человеку и для того, чтобы размышлять о том, как нужно людям жить на свете, то лучшие произведения Хемингуэя — это тоже интеллектуальная проза.

«По ком звонит колокол» — вершина его творчества и один из самых замечательных романов XX века. «Острова в океане», конечно, слабее — писатель, вероятно, и поэтому не публиковал книги. Но и в ней ощутим нравственно-интеллектуальный императив — принять и на себя беды мира, понять их, подставить плечо. Об этом думает Хадсон; пусть его мысли — только эхо, но они — эхо настоящих, не выдуманных сегодняшних вопросов.

В журнале «Нью-Йоркер» помещена статья Эдмунда Уилсона «Попытка открыть самого себя»; в этой статье — наиболее высокая оценка нового романа Хемингуэя:

«...с самого начала не только подвиги его героев — спортивные или военные — способствовали сильному воздействию книг Хемингуэя; его книги передавали напряжение — напряжение человека, оказавшегося перед крахом, человека, который висит над пропастью, держится только зубами и все же сохраняет силу духа... Истинный героизм таких характеров проявляется в сопротивлении испытаниям, в достоинстве, с которым люди спасаются от унижения. Эта тема — главная и самая живая в творчестве Хемингуэя. Преодолеет ли герой эти испытания? Сколько времени он продержится?..»

По мнению Уилсона, этот внутренний конфликт в душе Хадсона — Хемингуэя передан с особой выразительностью.

Почти полвека тому назад молодой, но уже известный критик Эдмунд Уилсон одобрил первые шаги молодого и еще неизвестного писателя Эрнеста Хемингуэя. Сегодня Уилсон — старейшина американской литературы — благословляет книгу своего литературного «крестника», опубликованную посмертно.

...Бывает так: встретишься со старым другом после долгой разлуки. И прежде всего заметишь седины и морщины, хотя постарели оба. Но на себе не так видно. А между тем идет разговор, чередуются воспоминания, и вдруг понимаешь, что ничто уже не свяжет тебя с другими людьми так прочно, как с друзьями молодости. Пусть даже эти новые друзья лучше, умнее, талантливее.

Те уголки души, в которые проникает Хемингуэй, доступны только ему. И в этом его не заменят ни Фолкнер, ни Камю, ни Кафка. Что вовсе не означает, что кто-то лучше, кто-то хуже. Просто они — другие и пришли к нам в другое время.

Я принадлежу к тем читателям, которые читали Хемингуэя в юности, в зрелом возрасте и будут читать до самой смерти.

Встреча со старым другом состоялась. Грусть и радость в этой встрече слиты воедино.

Р. ОРЛОВА

Среди книг

Издано в СССР

СЛОВО ОБ ОДНОПОЛЧАНИНЕ

Младен Оляча. Козара. Перевод с сербскохорватского Т. Поповой и Е. Рябовой. Послесловие и примечания В. Зеленина. Редактор Н. Вагапова. Москва, «Молодая гвардия», 1970. 382 стр.

«Я шел и думал: если пуля тогда сразила не меня и не тебя, если на Козаре двадцать лет назад был убит кто-то другой, а не я и не ты, нам с тобой, мой друг, все равно никуда не уйти от мыслей о его смерти».

Это пишет Младен Оляча, один из рядовых той великой битвы. Мы были с ним разделены фронтом: он сражался в горах Югославии, мы — здесь, на полях России, на берегах ее рек. Но враг был общий, и общими были жертвы, и общей стала победа.

Я читал книгу Младена Олячи и мысленно разговаривал с ним. В его мыслях я читал свои мысли. Потому, наверное, что мы одного полка, где стольких уж нет. Но есть и останется сознание общего долга.

«Я бы предпочел писать романы о чем-нибудь более веселом, а не об убийствах. Но писатель не виноват в том, что ему приходится быть летописцем своего времени. В жестокие времена трудно писать книги, которые бы не говорили о жестокости.

И все-таки нас не покидает надежда. Человеческая надежда, этот трепетный огонек, может быть, единственный истинный источник искусства, не дает нам пасть духом. И мы, писатели, подобно звонарям, которые когда-то созывали народ на восстание, тянем колокол за веревку и бьем и бьем в набат, горячо веря, что люди нас услышат, ибо наперекор всему род человеческий продолжает жить...»

Надежда не покидает нас, и сегодня часть рода человеческого — это уже наши дети. Мы верим, они слышат нас. Им передадим мы труд, которому нет конца, которому из поколения в поколение посвящает себя человечество. И потому мы рассказываем им о тех, кто был с нами, кто жив теперь в нашей памяти. Пусть с ними вместе будет их дух, частица того бессмертного духа, что тысячи лет горит, не сгорая, на кострах всяческой инквизиции. И вновь оживает через века в сердцах людей, в сердцах народов. Ведь не только у плоти, у духа тоже есть свои наследники.

Что до этой книги было известно о Козаре?

«Козара — это горный массив в Югославии. Козара — это моя родина,— пишет Оляча,— Козара — это символ, это человеческая драма.

Козара — символ нашей стойкости в борьбе за свободу. Это одна из величайших трагедий минувшей войны.

Я пытался воспроизвести эту драму».

В те дни, когда по усопшим, по тем, кто сражался на Козаре и принял смерть в бою, по матерям, что с детьми на руках шли на казнь, звонил колокол, мир не слышал его. В мире столько тогда гибло людей, столько звонило колоколов! А еще больше безмолвствовало.

И вот когда, казалось, голос его смолк, человек потянул за веревку, и люди услышали голос того колокола, что безмолвно звонил над Козарой.

«Пять лет на Козаре смрад будет стоять от ваших трупов»,— сказал палач. «Пятьсот лет будет шириться слава Козары!» крикнула партизанка Анджелия, и ее, со связанными за спиной руками, столкнули в реку с моста.

Эта книга донесла до нас, сделала слышным и сегодня ее исчезнувший голос.

«Она долго летела с высоты, от которой у нее закружилась голова, и с всплеском вошла в воду». И с этим всплеском, с гордым криком своим последним войдет она в память, в сознание и в сердца людей.

«Козара — это моя родина». Но родина человека — родина человечества. Только немало пройдет времени и немало еще крови прольется, пока все осознают это.

И там, где сражается за свободу хотя бы один человек, там снова и снова сражается за свободу человечество.

Много страшных дел и много прекрасного совершено людьми на длинном пути, именуемом историей. В минуты бедствий не раз укрепляло людей сознание, что беда не вечна, время это минет. Но бывали редкие мгновения, которые хотелось остановить, потому что были они прекрасны. Счастье людей, что не нашлось, нет такой силы, которая смогла бы остановить жизнь, заранее погасить свет, который еще не зажегся в грядущих, безлюдных пока еще просторах.

Только искусству дана эта сила — остановить мгновение. Остановить, чтоб сделать бессмертным. Чтоб вновь ожили среди живущих те, кого нет. И мысли их стали бы в ряд с нашими мыслями, а опыт — нашим опытом, и страсть — нашей страстью. Чтоб неумирающим стало их мужество, пробуждая вновь и вновь в молодых сердцах готовность к подвигу, к самопожертвованию.

Вот так среди нас будут жить теперь те, кто сражался на Козаре, о ком рассказал в своей книге Младен Оляча. И пусть дети наши тоже знают и помнят о них,— ведь сегодня в мире могли бы жить их дети.

Шесть лет назад, в двадцатую годовщину Словацкого восстания, когда собрались вместе люди многих стран, воевавшие в годы войны на разных фронтах против общего врага — фашизма, Оляча говорил в своем выступлении:

«Моя личная жизнь — пятьдесят, шестьдесят лет — бесконечно мала по сравнению с миллионами лет моей личной смерти. И все же я рад, что живу эту маленькую жизнь».

Бойцу эту радость дает сознание исполненного долга. Младен Оляча уже в шестнадцать лет был бойцом партизанского отряда. Он был в том бою на Козаре, оставшись среди немногих, кого не сразила пуля.

Писателю эту радость дает сознание исполненного долга, долг писателя — книги, и в мирное время оружие его — слово. Через двадцать лет Оляча вернулся на Козару, чтоб рассказать о ней.

«Я хотел рассказать людям своей страны, что на протяжении многих веков их безжалостно разделяли знамена, униформы, гербы, предрассудки и что им достаточно сделать всего один шаг, чтобы стать братьями. Но они не хотят, или не могут сделать этот шаг, или делают его слишком поздно, когда уже все потеряно...»

Если настоящий писатель рассказывает о людях своей страны, он рассказывает о человечестве. И самые человечные книги, где бы они ни писались, со временем становятся общечеловеческими книгами.

Младен Оляча рассказал людям своей страны о том, о чем непрерывно, неустанно, вновь и вновь надо говорить людям всего мира. И может быть, нет сегодня важней, нужней тех слов, которые зовут людей сделать шаг навстречу друг другу. Сделать его, пока еще не «все потеряно».

ГРИГОРИЙ БАКЛАНОВ

ДРУЖЕСКИЕ СВЯЗИ

«Вопросы литературы» № 12, 1970.

«С того самого дня, когда Гёте, Шиллер и Гейне через Жуковского, Пушкина и Лермонтова включились в сердцебиение обеих наших литератур, оно не прерывалось... Наши писатели от Толстого и Достоевского до Чехова и Горького стали частью духовного мира немецкого читателя точно так же, как немецкие писатели от Гауптмана и Т. Манна до Брехта и Анны Зегерс прочно вошли в круг чтения советских читателей. Это тот род связей между народами, животворных и возвышающих, которым принадлежит будущее»,— так говорит К. Федин, чье вступление, вместе с вступлением А. Зегерс, открывает специальный номер журнала «Вопросы литературы», целиком посвященный литературе Германской Демократической Республики.

Дружеские связи между литературами наших стран имеют давние традиции. Особенно укрепились они за последние годы, когда регулярные встречи советских и немецких писателей для обсуждения творческих проблем, обмена художественным опытом, проведения товарищеских дискуссий стали привычным явлением культурной жизни ГДР и Советского Союза. Значение этих связей, их взаимообогащающий характер подчеркивают все участники литературного форума, организованного редакцией журнала.

Большой интерес представляют ответы немецких писателей ГДР на предложенную им анкету. Рассказывая о важнейших изменениях, происшедших в ГДР за двадцать лет социалистического строительства, писатели, представляющие разные поколения, разные литературные жанры, разные художественные манеры, единодушно отмечают «поразительные изменения», которые произошли в сознании людей. Пауль Винс и Фолькер Браун, Эрвин Штриттматтер и Гельмут Гауптман, Отто Готше и Криста Вольф, Гюнтер де Бройн и Герман Кант с понятной гордостью говорят о духовной зрелости сегодняшних героев своих книг — трудящихся Германской Демократической Республики.

Немецкие писатели с особым удовлетворением говорят о том, как изменилось отношение их сограждан к литературе, которая стала составной частью жизни общества. «У нас в ГДР,—отмечает Эрвин Штриттматтер,— так много читают, как никогда прежде, в первую очередь хорошие книги, классиков». «Более свободное общение людей в нашем обществе,— говорит Герман Кант,— рост того, что мы кратко именуем культурой, значительно расширившийся кругозор наших граждан, укоренившееся у них сознание того, что литература занимается общенародным делом, уверенность художника в том, что он наконец-то нашел контакт с широкими массами,— все вышеперечисленные факторы и еще многие другие безгранично расширяют горизонты литературы».

Знакомясь с новыми книгами писателей Германской Демократической Республики, мы видим горячую заинтересованность в проблемах современной жизни, в ее социальном и этическом аспекте, поиски новых художественных средств, стремление творчески обогатить метод социалистического реализма.

Как же оценивают свою литературу сами немецкие писатели, какие новые тенденции и особенности они в ней подмечают? «Тематически в нашей литературе произошел поворот к проблемам современности... — пишет Вольфганг Йохо.— Художественно — мы идем от иллюстративности, от плоскостного показа явлений, от дидактического зачастую описательства к углубленному анализу процесса перестройки человека; от схематических «типов» — к типическим образам, мысли, чувства и поведение которых хоть и являются типичными, но в то же время остаются глубоко индивидуальными, свойственными только данной личности, имеющей свой особый склад характера». Немецкие писатели отмечают возросшее значение радио- и теледраматургии, добившейся за последние годы бесспорных успехов и приобретшей широкую популярность. Правда, кое-кто сетует на чрезмерное увлечение телевидением, на то, что находятся критики, которые «относят к литературе только телепьесы». Вместе с тем трудно не согласиться с Германом Кантом, утверждающим, что «сердиться на телевидение за то, что оно обладает такой притягательной силой, было бы глупо... Если телевидение действительно будет отвлекать на себя часть того внимания, какое предназначалось раньше печатной литературной продукции, то это естественное следствие технического прогресса и, стало быть, всеобщего прогресса».

Надо сказать, что многие участники форума, справедливо отмечая несомненные достижения литературы ГДР, в то же время самокритично говорят и о еще нерешенных задачах: «ощущается явная нехватка масштабных произведений» (Ф. Зельбман), «поколение, к которому я принадлежу, не создало до сей поры монументальных классических произведений, какие имеют на своем счету наши старшие товарищи, первые немецкие социалистические писатели» (К. Вольф). Однако ни у кого из них не возникает сомнения в возможностях литературы, служащей народу, который строит социализм. Писателям ГДР глубоко чужды столь распространенные сейчас на Западе взгляды, согласно которым художественная литература бессильна, и если уже не умерла, то во всяком случае обречена на неминуемую гибель в самом скором времени.

Проблемы становления и развития литературы ГДР раскрываются в содержательной статье Аннелизе Гроссе «Пора зрелости». Автор подчеркивает, что эта литература по самой сущности своей глубоко человечна, обращена к людям, которым она несет правду об окружающем их мире. «Революционное развитие общества,— пишет А. Гроссе,— требовало от искусства новых форм, расчищало пути свободному выявлению художественной индивидуальности». Имена писателей, чье вступление в литературу произошло после рождения Германской Демократической Республики, приобрели широкую и заслуженную известность не только у себя на родине, но и за ее пределами.

Произведения писателей Германской Демократической Республики давно уже завоевали популярность и среди советских читателей. И все же приходится признать, что наши издательства еще в долгу перед немецкой социалистической литературой. Многие книги, как, например, «Пауза для Ванцки» А. Вельма, «Якоб-враль» Ю. Бекера, «Прощание с ангелами» В. Хайдушека, «Картины свидетеля Шаттмана» П. Эделя, «Альтернатива. Итог. Кредо» Ф. Зельбмана, получившие в ГДР высокую оценку читателей и литературной критики, у нас пока еще ждут своего опубликования.

В произведениях литературы ГДР, посвященных проблемам современности, произошло, как отмечает А. Гроссе, важное и принципиальное изменение воззрений героев, отразившее перемены, происшедшие в жизни страны. Для этих литературных героев уже не стоит вопрос: признавать или не признавать социализм; социалистический строй они воспринимают как естественную необходимость. Именно с этих позиций они решают свои проблемы и конфликты и «отвергают империализм со всей его системой социальных отношений».

Значительную работу проводят литературоведы и критики ГДР в области теории и истории литературы и марксистско-ленинской эстетики. Об этом рассказывается в обстоятельной статье проф. Ганса Коха «Новые вопросы требуют новых ответов». Автор статьи на ярких примерах раскрывает политику Социалистической единой партии Германии, способствовавшую развитию новой немецкой литературы. «В наше время,— пишет проф. Г. Кох,— происходит дальнейшее совершенствование специфических художественно-эстетических принципов, свойственных методу социалистического реализма. Творчество художника — со-

циалистического реалиста неизбежно требует динамичного обогащения эстетических идеалов, которые в диалектическом единстве определяют и изображение личности, и изображение общества,— с высоты этих идеалов и осуществляются художественное обобщение и оценка».

О том, как эти принципы преломляются в художественной практике, рассказывают, в частности, писатели Юрий Брезан, Макс Вальтер Шульц и Гельмут Заковский, публикуя в журнале отрывки из своих новых произведений.

Глубокими раздумьями проникнуты выступления участников советско-немецкого симпозиума в Берлине, авторов книг о второй мировой войне. А Салынский и Г. Хаузер, Л. Гинзбург и Г. Дайке, Ф. Фюман и К. Ваншенкин, Ю. Бондарев и В. Нойберт едины в том, что правдивые, написанные «с классовых, революционных позиций» произведения о минувшей войне помогают понять величайшую трагедию, пережитую в недавнем прошлом нашими народами, способствуют сегодняшней борьбе за утверждение мира. Вместе с тем наши немецкие друзья совершенно правильно подчеркивают принципиальное отличие советской литературы о войне, показывающей героику всего советского народа. Произведения же социалистической немецкой литературы о второй мировой войне говорят, как отмечает В. Нойберт, о том, «как человек понял, что совершается невероятное преступление, как вырвался из пут аморальности, как он снова обрел человечность». Именно эта проблема стоит в центре произведений Д. Нолля, Ф. Фюмана, М. В. Шульца, Г. де Бройна, К. Мундштока и других писателей ГДР.

В журнале приведены также материалы и другой советско-немецкой литературной встречи, которая происходила в Берлине в канун ленинского юбилейного года и была посвящена образу революционера в литературе обеих стран. В ней участвовали писатели разных поколений, среди них — С. Залыгин и О. Готше, Л. Якименко и А. Курелла, К. Ковальджи и Е. Книпович.

Богатый жизненный и литературно-теоретический материал содержится в переписке И. Р. Бехера с А. Дёблином, Л. Фейхтвангером и Г. Манном, а также в письмах А. Зегерс своим читателям, впервые публикуемых на русском языке.

Рецензируемый номер «Вопросов литературы» был с большим удовлетворением встречен в Германской Демократической Республике. Журнал раскрыл перед советским читателем, как писала газета «Нейес Дейчланд», «убедительную и многостороннюю картину современной литературы ГДР» и «тех перемен в сознании людей, которые были достигнуты в ГДР под руководством партии рабочего класса».

В заключение хотелось бы отметить удачный опыт редакции, которая сумела привлечь к подготовке этого номера, к переводу и комментированию немецких материалов широкий круг известных советских литераторов-германистов.

В. СТЕЖЕНСКИЙ

НЕЛЕГКОЕ ДЕЛО ОБРИ КАЧИНГВЕ

Обри Качингве. Нелегкое дело. Роман. Перевод с английского С. Клышко. Предисловие А. Давидсона и А. Симонова. Москва, «Художественная литература», 1970. 269 стр.

Рождение первого романа в африканской стране — заметное событие. Это событие произошло в Малави, где девять человек из десяти не умеют ни читать, ни писать, где больных лечат знахари, в стране, которая даже в Африке выделяется нищетой и застоем. Соседство южноафриканского и родезийского расистских режимов словно цементировало этот политический и экономический застой. Но в 1964 году, спустя несколько лет после того, как над большинством африканских столиц взмыли флаги независимости и по главным улицам продефилировали национальные войска в ярких мундирах, развалилась и созданная под эгидой британской короны расистская федерация Северной и Южной Родезии и Ньясаленда (так именовали англичане родину писателя). Страна, окаймляющая бесконечные берега озера Ньяса, стала называться Малави — по имени крупнейшего из племен.

Нехитрый уклад деревенской, да и городской жизни, скудные «пиршества» — сахар, хлеб, чай — в доме отца, простого и благочестивого деревенского священника, убогий быт — на этом фоне развертывается действие романа «Нелегкое дело». Страна автором не названа, но ошибиться невозможно — это его родина.

Герой повествования Джо Джозени окончил миссионерскую школу и мечтает о продолжении образования в Лондоне. Но Джо должен работать, чтобы прокормить себя и помогать старикам родителям. Случай посылает ему влиятельного покровителя — Дэна Дьюба, одного из немногих африканцев, назначенных британским губернатором членами Законодательного совета, ловкого дельца, готового служить колониальным властям. Дьюб устраивает молодого Джо-

зени стажером в столичную (и судя по всему, единственную в стране) газету «Кавача ньюс», хозяевами и редакторами которой являются белые.

Такова, собственно, экспозиция романа. Главное же его содержание — это политическая жизнь африканской страны в период борьбы за независимость. Став газетчиком, Джозени оказывается в гуще событий. И здесь немаловажную роль играет то, что его отец (достаточно неожиданно для читателя) становится лидером Движения (так неопределенно названа партия, ведущая борьбу за национальное освобождение). Ясного представления ни о Движении, ни о переменах в судьбе других героев (к примеру, отпетый политикан Дэн Дьюб с завидной легкостью из плохого становится хорошим) Качингве не дает. Но и недосказанность и сглаженность конфликтов определены не только тем, что роман — первенец, но и тем, что этот первенец родился в Малави.

Разумеется, не все черты Малави прямо отразились в романе Качингве, однако незримо они присутствуют. В книге, например, нет ни слова о национальном бедствии страны — отходничестве. Но именно отходничеством можно объяснить и патриархальность жизни, и отсутствие какого бы то ни было упоминания о рабочем классе, и оторванность лидеров Движения от рядовых участников.

Издавна самая энергичная часть населения — сотни тысяч молодых мужчин и женщин — уходят в соседние Южно-Африканскую Республику, Родезию и Замбию. Нищета заставляет людей бросать родные горы и равнины, детей, жен, матерей, нищета заставляет их пройти сотни миль по безлюдным, опаленным солнцем пространствам — и все это ради скудного заработка, оплаченного мытарствами и страданиями, либо на ферме, принадлежащей иностранцу, либо в душном мраке рудника, таящего в себе золото, алмазы или медь.

Экономическая жизнь Малави становится от этого еще более бескровной, политическая — еще более вялой.

Не случайно лидером молодого государства стал человек, который, вероятно, ни в какой другой стране континента не смог бы занять такого места. Сорок три года Хастингс Камузу Банда провел за границей. В 1958 году, вернувшись на родину, пятидесятишестилетний Банда стал главой единственной партии, а с провозглашением независимости и президентом Малави. Вполне понятно, что отсутствие влияния внутри страны ему всегда заменяли связи с определенными кругами за ее пределами. Пресса других африканских стран без обиняков именует его предателем и квислингом.

Судьба юного газетчика — вот удачная возможность отразить политические думы Африки. В этом для профессионального журналиста Качингве есть, так сказать, и автобиографический смысл, что немаловажно при написании первого романа.

Молодая литература Африки имеет уже свои «бродячие» сюжеты. Один из самых юных — судьба журналиста-африканца. Этой теме уже... за десять лет.

Мы помним первый роман выдающегося нигерийца Киприана Эквенси «Люди города», герой которого молодой журналист Амуса Санго, покинувший родную деревню, весьма напоминает Джо Джозени. Санго играет в ночном клубе в джазе. Ближайший друг Джо, его товарищ по редакции репортер Ал Качасо тоже подрабатывает на жизнь в джазе ночного клуба и привлекает к этому Джо. Как видим, совпадают даже кое-какие детали. Именно из ночного клуба лежит путь Джо к хозяйке притона, богатой старой африканке, любительнице мальчиков, по прозвищу Сонная Тетушка. Нечто похожее происходит и в книге Эквенси.

Герой первого романа другого известного нигерийца Опуоры Нзекву «Жезл благородного дерева» — тоже журналист и тоже в какой-то мере — автопортрет писателя.

Перечень первых романов о журналистах, написанных рукой журналиста, можно было бы и продолжить. Из журналистики пришли многие выдающиеся писатели современной Южной, Восточной и Западной Африки.

С Качингве их роднит, при всем разнообразии манер и различии талантов, актуальность, утверждение связи культуры с политикой, с национально-освободительным движением. Современный африканский роман — один из элементов национально-освободительной борьбы. Как-то в беседе, опубликованной несколько лет назад в журнале «Африк», Эквенси сказал: «Я думаю, что в Нигерии есть только социальные писатели. Впрочем, у нас нет выбора. Здесь у нас слишком много материала, много событий каждую неделю. И мы не можем не описывать это общество, которое видим, в котором живем».

Так мог бы сказать и Качингве. Проповедь самодовлеющей формы, теория «чистого искусства» непопулярны среди литераторов освободившихся стран — они не могут отделить себя от судьбы своих народов.

Роман Качингве, читающийся как современная историческая хроника,— это еще один отрицательный ответ на попытку установить для африканской литературы каноны, связанные с консервацией племенных и религиозных традиций. Африка призраков и колдовства, «вечные африканские нормы», экзотизм неподвижных предрассудков не интересуют писателя из Малави, одной из самых отсталых стран континента.

Ему присущ скорей, если можно так выразиться, антиэкзотизм. Старая община уходит в прошлое, о ней напоминают лишь второстепенные детали повествования. Если молодая литература нередко опирается на устное творчество, то роман «Нелегкое дело» никак не связан с фольклорной традицией. У Качингве начисто нет ни «туземного стиля», ни любования африканской стариной.

Он без колебаний посягает даже на довольно невинные и стереотипные представ-

ления европейского читателя и превращает их в прах — оказывается, есть африканцы, никогда не видавшие дикого зверя, и есть африканцы, никогда не исповедовавшие никакой веры. Жизнь разнообразнее и богаче предвзятых представлений о ней.

В то время как в 60-е годы в Европе кое-кто утверждал, что роман исчерпал себя, в Африке родилась новая плеяда романистов. Еще вчера мы говорили о появлении литературы в странах, развитие которых было жестоко остановлено мертвой хваткой колониализма. Сегодня мы уже говорим о становлении этой недавно возникшей литературы, которая шагнула так далеко, что роман—вероятно, сложнейший из жанров— стал обычным явлением в африканской культурной жизни.

Подтверждением тому — «Нелегкое дело» Обри Качингве.

А. ПОЛИЩУК

Издано за рубежом

СЛОЖНЫЙ, РАЗНООБРАЗНЫЙ МИР

Dumitru Radu Popescu. F. Roman. Bucureşti, Editura Tineretului, 1969.
Matei Călinescu. Viaţa şi opiniile lui Zacharias Lichter. Bucureşti. Editura Pentru Literatură, 1969.

Роман Думитру Раду Попеску «Ф» и повесть Матея Кэлинеску «Жизнь и воззрения Захариаса Лихтера», отмеченные премиями Союза румынских писателей, представляют интерес прежде всего потому, что обе эти книги, несмотря на всю разницу между ними, свидетельствуют о расширении границ современной румынской прозы, вводящей в литературу новые формы художественного творчества.

Задумываясь над моральными проблемами человеческого существования, Матей Кэлинеску, уже завоевавший себе имя как литературный критик, выпустивший недавно и книгу стихов, создал странный, но обаятельный образ Захариаса Лихтера — человека, надевшего маску клоуна и ведущего нищую, бродяжническую жизнь. Единственное реальное занятие Лихтера — это размышления о проблемах человеческого бытия. Книга написана вне определенной формы: в ней есть и публицистика, и философские рассуждения, и даже стихи; герой книги высказывает по-своему то, что он сильно чувствует, и то, о чем он непрестанно думает. И хотя его рассуждения касаются главным образом «вечных» проблем, в них содержится и критический взгляд на современное индустриальное, или, как говорят теперь на Западе, «постиндустриальное» общество. В сущности, вся книга Матея Кэлинеску состоит из рассуждений Лихтера о себе и обо всем, «что есть на свете»: о поэзии и математике, о мудрости и «империи глупости», о книге Иова, о женщинах и детях, о цивилизации и варварстве, о богатых и нищих, о любви и ненависти, о страданиях и скрытой сущности человека. Иногда эти рассуждения кажутся нам исключительно сильными и правдивыми, иногда привлекательными, но беспомощными. Герою Матея Кэлинеску присуща страстность, его проповеди по тону и силе чувств напоминают библейских пророков. К сожалению, герой Кэлинеску проявляет подчас глубокую наивность, его рецепты спасения от всех зол мира напоминают иногда инфантильные рассуждения той части современной молодежи, которая полагает, что можно уйти от проблем атомно-космического века, занимаясь любовью и музыкой.

«Жизнь и воззрения Захариаса Лихтера» при всей странности ее героя и спорности его сентенций все же интересное произведение, подобное которому трудно назвать в современной румынской прозе.

Д. Р. Попеску уже в некоторых своих предыдущих произведениях показал, что он обладает талантом искусного психолога, умением расчленять каждое чувство на отдельные импульсы, показывать неожиданные и парадоксальные изменения в психологии своих героев. В романе «Ф» эта страсть «заглядывать в мозг людей» достигает апогея. Действие книги протекает в одинаковой степени как в области реальных событий, так и в пределах духовной жизни людей. Автор вводит нас в самые сокровенные закоулки сознания и подсознания, в «лабиринт» человеческой души — последняя часть романа так и называется: «Семь окон лабиринта». Но, собственно, о чем повествует эта книга?

Роман «Ф» состоит из трех частей. Первая является как бы вступлением, не имеющим существенного значения для книги в целом. Роман, в сущности, начинается со второй части: «Бык и корова». Эта часть кажется мне и наиболее сильной, в ней автор предстает как холодный аналитик и как человек, преисполненный чувства самой горячей любви к людям, особенно ко всем страдающим.

Вслед за автором и одним из его героев — подростком Тикэ — мы подходим к раскрытым окнам деревенского дома, где умирает старая крестьянка Мария. Вот она лежит на кровати, окруженная детьми и родственниками. Мы слышим, о чем говорят люди, собравшиеся под окнами умирающей старухи, сцена раздвигается, и мы видим уже не только комнату Марии, но и все село, в котором прошла ее трудная жизнь.

Раздвигается и время действия, мы пере-

носимся в бурную эпоху начала 50-х годов: первых коллективных хозяйств и сложной борьбы за перестройку сельской жизни. Всматриваясь в черты односельчан Марии, вслушиваясь в их рассказы, мы начинаем понимать не только судьбу умирающей на наших глазах женщины, но и окружающую ее жизнь. Волнения и страсти, разбушевавшиеся в кризисные годы, все еще не улеглись, многое из того, что тогда случилось в селе, еще не всеми понятно, дурные поступки, совершенные в те времена людьми, использовавшими ломку старого уклада жизни в корыстных целях, все еще не искуплены.

Разные люди рассказывают о том времени по-разному. Смерть Марии пробуждает в каждом сложные ощущения и мучительные воспоминания. Одно и то же событие предстает перед нами в разных ракурсах, из кажущегося хаоса возникает сложная, странно дисгармоничная картина. Техника повествования напоминает здесь порой Фолкнера, его многоплановые и бесконечно повторяющиеся рассказы о событиях и людях Йокнапатофского округа.

В румынской литературе, на мой взгляд, редко встречалась такая напряженная, я бы сказал, взвинченная манера повествования, как в романе «Ф».

Старая крестьянка Мария умирает, как и жила: достойно, даже гордо, сохраняя до последней минуты все свои душевные качества. Она узнает собравшихся у ее постели, разговаривает с ними, рассказывает о своих первых радостях в жизни, призывает свою юность; к изумлению окружающих, охваченных священным трепетом, умирающая громко смеется и поет. «Идите посмотрите, как умирает человек»,— говорит один из персонажей романа. «Мария умирает так, как это ей нужно,— сказал другой,— то есть, если говорить точнее, ее плоть не умирает раньше мысли, биение сердца медленно утихает в полном соответствии и идеальном равновесии с мозговыми импульсами, с убыванием ее желаний. Она умрет в то мгновение, когда умрут все ее желания». Тот же персонаж, чудаковатый учитель рисования Дон Илиуца, признается: «Вот эту гармонию я хотел бы изобразить на полотне». Слова эти мог бы сказать автор и от себя, ведь именно он старается уловить смысл смерти старой крестьянки и, таким образом, еще с одной стороны уяснить себе смысл ее жизни.

Мария — это как бы синтез духовной мощи народа, даже ее смерть описана так, что мы чувствуем бессмертие народной души. Но задача взята автором шире: одновременно с изображением смерти Марии показать, почему так взволнованы оставшиеся в живых, все те, кто причастен к судьбе Марии, в чем причина их тревог и страха. Критики с недоумением разглядывают странные фигуры, населяющие книгу Д. Р. Попеску.

Их там целая галерея. Вот бывший вахтер, выйдя на пенсию, взобрался на высокое дерево, провел туда телефон и пытается жить, общаясь с миром только при помощи телефона и электрофонаря, которым он по ночам освещает близлежащие улицы и крестьянские дворы. Вот учитель, пренебрегший своей карьерой и поменявший город на село только для того, чтобы иметь возможность ходить босиком. Вот плотник и каменотес, заготовляющий заранее могильные кресты для всех своих знакомых и соорудивший у себя в сарае деревянный ковчег на случай нового потопа. Что все это значит? Пытался ли автор создать аллегорические образы? Или он хотел поразить читателя парадоксальными ситуациями и гротесковым поведением загадочных персонажей, действующих по необъяснимым, таинственным законам?

Как ни модны аллегории в современной румынской литературе и как ни привлекательны образы чудаков, есть нечто более существенное и привлекательное для Д. Р. Попеску: это исследование человеческой души в эпоху сильных общественных потрясений, попытка обнажить скрытые родники человеческих идей и устремлений, показать читателю то, чего он не знал; действие романа связано с социальными и историческими событиями, смысл и значение которых хорошо известны румынскому читателю. Именно поэтому мы можем говорить о реализме романа, несмотря на парадоксальность многих эпизодов и ситуаций и гротесковый характер некоторых его героев.

Третья часть книги «Семь окон лабиринта» переносит читателя в маленький городок, лежащий неподалеку от села, где умерла Мария. С тех пор прошло немало лет. Тикэ, который был мальчишкой, когда умерла Мария, теперь уже взрослый и работает прокурором в городе. К нему и приводят безвольного, спившегося инвалида Николае, вдруг признавшегося, что это он убил бывшего директора сельской школы Мойсе, которого обнаружили мертвым на железнодорожных путях неподалеку от города. И мы снова возвращаемся в уже знакомый драматический круг, и опять встречаемся с уже известными нам лицами.

И снова все события, все то, что случилось совсем недавно, в ночь гибели Мойсе, и то, что было давно, в конце 40-х и начале 50-х годов, переплетается в рассказах свидетелей и участников. И многое из того, что осталось для нас загадкой во второй части романа, теперь неожиданно проясняется. Кризис, потрясший село, давно прошел, социальное равновесие восстановлено, но остались воспоминания, осталось чувство вины и ответственности, не дающее покоя многим участникам давних событий. И вот мы снова спускаемся в тревожный мир человеческой совести, хотя по форме третья часть романа напоминает детектив — вся она построена как расследование на на тему: кто убил?

Убитый или случайно погибший Мойсе — сам убийца, а пьяница Николае был в течение длительного времени его слугой. Но именно Николае, оказывается, больше всех

ненавидел Мойсе Безвольный, уже больной человек, послушное орудие в руках преступника, о делах которого он знал лучше всех, в течение долгих лет вынашивал мысль об убийстве Мойсе; и когда тот наконец умер при невыясненных обстоятельствах, Николае изобретает версию, в которую почти уверовал сам: это он убил злодея. Он убил его, потому что не имел права не убить, тот давно заслужил смерть, и вот наконец-то он убит. Кто не верит рассказу Николае, становится его врагом. Первым ему не поверил прокурор, и Николае возненавидел прокурора.

В расследовании, которое ведет Тикэ, удивительным образом соединены чуткая восприимчивость следователя к объективным фактам и его собственные чувства; в этом деле прокурор одновременно является и жертвой: его собственного отца некогда погубил Мойсе. Поэтому главный смысл третьей части книги отнюдь не состоит только в том, чтобы вскрыть объективную правду о гибели Мойсе. Общий смысл таков же, как и во второй части, судебное дело началось, собственно, уже тогда, в день смерти Марии, теперь расследование прокурора должно лишь связать все нити, окончательно установить меру ответственности всех участников дела. Николае душевно сломился еще в те годы, когда безропотно выполнял приказания Мойсе, зная, что он преступник. С тех пор душа Николае извращена, все в ней убито, кроме мечты о возмездии. Но даже это чувство в нем исковеркано. Николае превратился в какой-то обломок человеческого существа. поэтому нас не очень-то удивляет неожиданный и горький конец всей этой истории: убедившись, что никто, и в первую очередь прокурор, не верит, что он убил Мойсе, Николае в припадке отчаяния убивает прокурора.

Так завершается этот необычный роман, содержание которого почти невозможно пересказать. За действиями, за положениями, за отношениями мы повсюду видим человеческую душу, ее волнения и страсти, ее падения и просветления, характерные для тех времен, когда жизнь не катится легко и привычно, а идет напряженная борьба за поиски новых общественных форм.

Думитру Раду Попеску один из тех румынских писателей, которые, как мне кажется, заговорили теперь по-новому об уже пройденном этапе в жизни румынского села. Пусть изображенный Д. Р. Попеску мир поражает своей необычностью, но разве не румынских крестьян из румынского придунайского села рисует автор? Разве в фигурах его героев, несмотря на их индивидуальность, не просвечивают и национальные черты? Неужели такого страстного и сострадающего писателя, так много думающего и так глубоко проникающего своим художественным чутьем в сущность описываемого им времени, можно поставить рядом с теми, кто занят лишь формальными исканиями и отражает в своих произведениях драмы благополучных обывателей, мучающихся невозможностью общаться друг с другом при помощи обезличенного стандартного языка?

Фолкнер, имя которого часто вспоминается при чтении книги Д. Р. Попеску, говорил, что то, что некоторые читатели называют непонятным и темным в его книгах — сложный стиль, бесконечные фразы,— лишь результат его попытки сказать *все* в одной фразе, между прописной буквой и конечной точкой. Фолкнер даже утверждал, что он пытается сказать все о мире, о мире, который прошел сквозь его восприятие, как сквозь фильтр, и ограничиться одной книгой. Такая задача невыполнима. Не осуществил ее, конечно, и Д. Р. Попеску. Но роман «Ф», несмотря на некоторые недочеты и слабые места, о которых можно было бы говорить отдельно,— большая удача писателя, читая его, мы начинаем лучше понимать румынскую историю последних десятилетий и весь сложный, разнообразный мир идей, характеров и положений, свойственных современной Румынии.

ИЛЬЯ КОНСТАНТИНОВСКИЙ

ГЕЙШИ, СОЛДАТЫ И АМЕРИКАНСКАЯ ДЕМОКРАТИЯ

Jack Kelly. The Unexpected Peace. Boston, Gambit, 1969.

Эту книгу лучше всего читать с конца: «На громадном красно-сине-белом полотнище, которое покрывало весь фасад железнодорожной станции, было написано: «Всего хорошего, американские солдаты! Граждане Обихиро благодарят вас за вашу доброту и желают счастливого возвращения домой». Это кажется невероятным: жители японского города благодарят солдат американской оккупационной армии. За что же? Заглянем в середину романа Джека Келли «Неожиданный мир». Японские заговорщики заявляют американскому офицеру, что они выступили бы с оружием в руках, если бы американцы попытались «отдать» Хоккайдо «советским варварам». Фантастическая ложь и реакционная демагогия — таково содержание книги Джека Келли.

Но начнем с начала. «Предисловие автора» — похвальное слово... гейшам, этим «Женщинам с большой буквы», которые смягчили сердца разъяренных, полных ненависти и жажды мести американских солдат. Ясно, что читателя ожидает более чем достаточная доза завлекательных приключений.

Затем следует «Первая часть», демонстрирующая сверхчеловеческий героизм американских солдат. Дело происходит на Филиппинах. Одна рота американцев сражается против целой японской дивизии. Здесь и кровь, и смерть, и грязь, и холод, и голод, и прочая «окопная правда». И вдруг наступает «неожиданный мир».

Оставшиеся на Филиппинах японские войска сдаются в плен американцам. Герои романа ведут философский спор о сравнительных достоинствах войны и мира. «А мне как-то жаль, что все кончилось,— заявляет один.— Только огнем проверяется настоящий мужчина»,— развивает он свою мысль. Другой возражает, что за это самопознание приходится платить очень дорогой ценой. Автор стремится убедить читателя, что «оба правы»: война, конечно, требует жертв, но зато закаляет характер...

«Часть вторая» переносит действие в Японию. Остатки «героической роты» вливаются в одну из частей оккупационной армии. Их привозят в отдаленный, разрушенный бомбежками город Обихиро. Как же ведут себя там американские солдаты? Ну конечно, «как джентльмены». Ведь их задача — «насаждать демократию».

Особенно эффективна пропаганда долларами. К тому же американские солдаты «осчастливили» многих японских женщин. Детей они угощают шоколадом — словом, идиллия.

Но все же не обходится без «эксцессов». Бывший уголовник Джим Бек, попавший в армию уже после окончания войны, выстрелом в спину убивает ничего не подозревавшего японского рабочего. Во избежание скандала «международного масштаба», американцы делают вид, что не могут обнаружить убийцу. В это же время приятель Бека Хопкинс по астрономическим ценам продает японцам под видом пенициллина порошок от мух!

Автор пытается представить преступления американских солдат в Японии как исключение, приписать их каким-то патологическим личностям. Но при этом у него нет-нет да и прорвется правда: преступления замалчиваются, военная полиция берет взятки, спекуляция процветает. Впрочем, эти проблески правды Келли тут же стремится нейтрализовать. Командир американцев капитан Холден заставляет мошенника Хопкинса вернуть деньги потерпевшим. Оба преступника в конце концов «убиты при неясных обстоятельствах», а начальство, зная об их прошлом, решает эти обстоятельства не уточнять. Убитый японец, как выясняется, был тираном в своей семье, и вдова очень рада, что освободилась от него. Крупная спекуляция мылом и сигаретами, оказывается, произведена американцами в пользу вдовы и ребенка убитого — добродетель кругом торжествует.

Мешает всеобщему благоденствию подпольная военная организация «Ронин», состоящая из офицеров бывшей японской армии. «Ронин» подсылает к капитану Холдену шпионов: красавицу Харуко и переводчика Ноги. Сразу же догадавшийся об их миссии, Холден подсовывает им подходящие, с его точки зрения, документы. Само собой понятно, что Харуко влюбляется в бравого капитана, а Ноги проникается к нему безграничным уважением. Накануне намеченного выступления подпольщиков Ноги выдает их местонахождение. Он убивает главу организации генерала Танака, после чего большинство участников заговора переходит на сторону американцев и только несколько престарелых фанатиков — для сохранения экзотического колорита — совершают харакири. Местное население отказалось поддержать террористов, ибо — разъясняет Келли — убедилось в том, что американцы «будут защищать их от русских»...

Антисоветские выпады Келли вполне согласуются со всей реакционно-апологетической задачей книги. «Американская демократия», по Келли, становится идеалом японцев.

К великому сожалению обеих сторон, часть Холдена отправляют домой. На железнодорожной станции американских солдат ожидает сделанная из снега статуя Свободы и упомянутая выше благодарственная надпись.

Предвидя, что читатели просто посмеются над такими россказнями, автор предупреждает, что в Обихиро направлена другая часть, и кто знает, будет ли она столь же «тактичной» и дружественной по отношению к японцам. Но, конечно, именно капитана Холдена и его подчиненных делает Келли символом «американцев в Японии».

Фальшь этой книжки превосходит, казалось бы, все возможности воображения. Но таких книг в США выходит множество. Цель у них одна — отравлять сознание читателей.

М. ГОРДЫШЕВСКАЯ

Из месяца в месяц

АНГЛИЯ

НОВЫЙ «ЗОЛОТОЙ ВЕК» ПОЭЗИИ?

В английской столице недавно прошла конференция поэтов, созванная обществом «Поэтри сосайети». Поводом к созыву этого поэтического форума, в котором приняли участие 80 человек, послужило то, что пресса называет «взрывом интереса» к поэзии.

Совсем еще недавно издательства отказывались печатать стихотворные сборники, считавшиеся «невыгодными», и лишь маститые и хорошо обеспеченные поэты изредка выпускали тоненькие тетрадочки ничтожными тиражами. В редакциях с большой неохотой принимали стихи, ссылаясь на слабый интерес к ним читателей, а поэтические организации существовали на доброхотные даяния немногих энтузиастов и тщетно добивались финансовой поддержки правительственного Совета по делам искусства.

Но, видимо, редакционные работники недооценивали интерес читателей к поэзии, который существовал всегда, и потому, пытаясь оправдаться, пишут о «взрыве интереса» к поэзии, о неожиданном приходе «золотого века» поэзии и т. д.

Особым успехом у широкой публики пользуются творческие вечера: читатели не только требуют книг, они хотят слышать и живое слово. Поэты — нарасхват: их приглашают читать с эстрады во многие города, что дало повод поэту Стюарту Монтгомери воскликнуть: «Впервые за многие века поэты действительно снова стали профессиональными бродячими певцами, трубадурами!»

В этой обстановке в Лондоне и собралась конференция поэтов, участники которой решили, в частности, привлечь внимание к положению поэта в обществе. Выступавшие говорили о материальных трудностях, которые неизбежно испытывает каждый, кто пытается жить исключительно литературным трудом. Жаловались, что очень плохо обстоит дело с распространением изданий: даже в Лондоне нет книжной лавки поэзии. На конференции было решено создать новую организацию поэтов, которая должна защищать их интересы, обеспечивать материальную помощь, чтобы они «имели возможность и время творить, экспериментировать и совершенствовать уже написанные произведения».

Там же была избрана комиссия по финансовому надзору за оплатой издательских договоров, что вызвало раздражение издательств: они не скрывают недовольства, называют поэтов «непризнанными законодателями» и предрекают крах всем начинаниям новой писательской организации.

«Поэтри сосайети» продолжает свою инициативу: организован Национальный поэтический центр, который призван заниматься распространением литературы. Сейчас оттуда можно почтой получить любую книгу, журнал, фильм или диапозитивы, посвященные поэзии. Но нужно еще создать библиотеку и иметь штат для обслуживания поэтов и читателей. Для этого необходимы средства, а их пока что приходится просить у меценатов.

«ИСТОРИЯ В ФОКУСЕ»

В лондонском кинотеатре «Нэшнл филм тиэтр» анонсирована программа исторических фильмов, посвященных различным этапам развития международного революционного и рабочего движения. Этот цикл под названием «История в фокусе», рассчитанный на год и предназначенный в первую очередь для историков, педагогов и студентов высших учебных заведений, по словам рецензента газеты «Морнинг стар» Нины Хиббин, «вызывает большой интерес среди широкой общественности».

Программа включает киноматериалы о демонстрациях, митингах, конгрессах, политических выступлениях трудящихся, снятые непосредственными участниками

этих выступлений, членами коммунистических и рабочих партий. Особое место в общей программе занимает раздел «Искусство и революция», куда входят первые советские фильмы. Здесь широко представлено творчество Эйзенштейна, Пудовкина, Довженко.

«Английскому зрителю,— пишет Нина Хиббин,— предоставляется редкая возможность увидеть такие выдающиеся ленты, как «Человек с киноаппаратом» Дзиги Вертова, фильм Льва Кулешова «По закону» (экранизация рассказа Джека Лондона), «Аэлита» Якова Протазанова — одно из самых ранних достижений советского кино, и, наконец, захватывающий рассказ Виктора Турина о строительстве Туркестано-Сибирской железной дороги — «Турксиб».

В заключение Н. Хиббин подчеркивает, что «ленты, уже показанные в рамках программы, с интересом встречены зрителями, а для молодой части аудитории они явились буквально откровением».

В лондонском Национальном театре осуществлена новая постановка пьесы Э. Ростана «Сирано де Бержерак»; режиссер — Патрик Гарланд. На снимке: Сирано (Эдвард Вудворт) и Роксана (Энн Картарет).

(Журнал «Плейз энд плейерз»)

ПОЧЕМ НЫНЧЕ ВЕЛАСКЕС?

Недавно еще один шедевр искусства отправился с Британских островов за океан. На лондонском аукционе Кристи нью-йоркский делец Вилденштейн за 2 310 000 фунтов стерлингов купил картину Диего де Сильва Веласкеса, на которой изображен его слуга Хуан де Пареха. Это полотно Веласкеса считается лучшей из его работ, находящихся в частном владении. По оценкам печати, в Англии осталось всего десять произведений художника, из которых шесть выставлены в Национальной галерее.

Некогда обладателем данного полотна Веласкеса был посол Великобритании в Неаполе лорд Уильям Гамильтон. Он продал его в Лондоне в 1801 году за 41 фунт стерлингов. Десять лет спустя картину приобрел за 152 фунта стерлингов предок здравствующего ныне графа Рэднора. В течение полутора веков она хранилась в фамильном замке Рэдноров в Лонгфорде, пока их потомок не решил поправить свои дела за счет продажи этого шедевра.

Английскую общественность тревожит то, что выдающиеся произведения искусства продолжают покидать Британские острова, поэтому вопрос о картине был даже поднят в английском парламенте, где несколько депутатов потребовали ликвидации сделки. Однако министр просвещения и науки заявил, что правительство не намерено вмешиваться в это дело.

Как стало известно из сообщений прессы, полотно Веласкеса куплено дельцами в целях наживы. Президент фирмы «Вилденштейн» Голденберг откровенно заявил: «Само собой разумеется, мы купили картину, чтобы продать ее и заработать деньги».

БЕРЕГ СЛОНОВОЙ КОСТИ

КОМЕДИЯ БЕРНАРА ДАДЬЕ

В издательстве «Презанс африкен», как сообщает журнал «Африк контампорен», вышла новая пьеса известного поэта и писателя Бернара Дадье «Господин Того-нини». Бернар Дадье— лауреат Большой литературной премии Черной Африки — считается сегодня лучшим драматургом африканского театра. По отзыву рецензента журнала «Африк контампорен», пьеса «Господин Того-нини»—лучшая современная комедия Берега Слоновой Кости. Ее постановка получила признание не только у зрителей столицы — Абиджана, но и на Всеафриканском фестивале в Алжире.

ВЕНГРИЯ

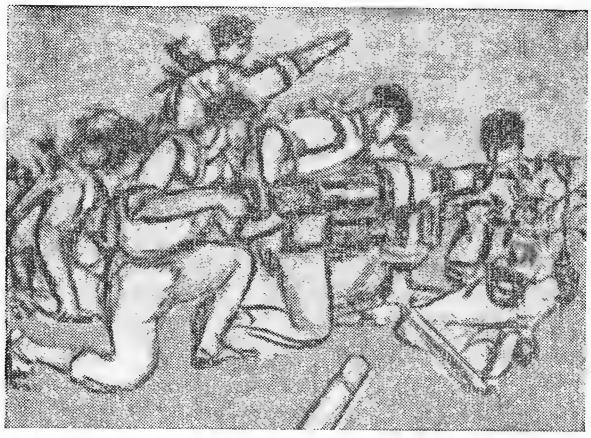
В ТЕАТРЕ «МИКРОСКОП»

Будапештский сатирический театр миниатюры «Микроскоп» — самый маленький, но весьма популярный в столице Венгрии. Обывательщина, мещанство, чуждые взгляды предстают перед зрителем как бы под увеличением, на предметном стекле микроскопа, подвергаясь активному публичному осмеянию.

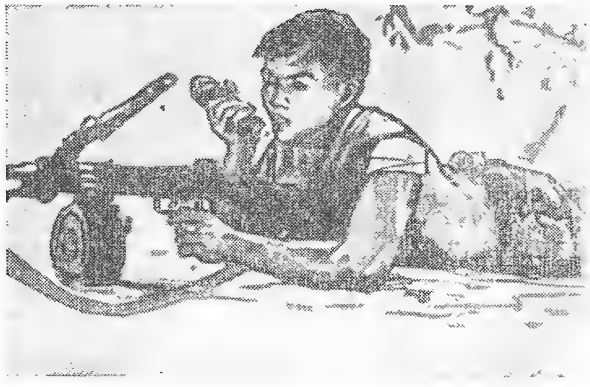
До недавнего времени программа этого театра включала исключительно пьесы о сегодняшнем дне. Ныне «Микроскоп» расширяет свой жанровый и тематический диапазон и обращается к документальным политическим пьесам, адресованным главным образом молодежи. Одна из таких пьес — документальная драма Д. Аля «Правду! Ничего, кроме правды», рассказывающая о том, как в 1919 году сенат США инсценировал позорное судилище против Страны Советов, обернувшееся против самих его организаторов.

Как рассказал на пресс-конференции директор театра Янош Комлош, репертуар документальных политических пьес будет расширяться — в соответствии с пожеланиями рабочей, студенческой и школьной молодежи, с которой работники театра встречаются систематически.

ЮЖНЫЙ ВЬЕТНАМ



Рисунки южновьетнамских патриотов — участников национально-освободительной борьбы, опубликованные еженедельником «Курьер дю Вьетнам»: «Артиллеристы» (Хинь Фуонг Донг) и «Драться до последнего» (Лонг Шо).



ГДР

ПРЕМЬЕРА ПЬЕСЫ ЭРИКА НЕЙЧА

В конце прошлого года в журнале «Нейе дейче литератур» был опубликован текст пьесы Эрика Нейча «Шкура и рубашка». Это первое драматургическое произведение писателя, широко известного своими романами, повестями и рассказами.

Недавно премьера пьесы с успехом прошла в «Ландестеатер» города Галле. За несколько дней до премьеры корреспондент газеты «Нейес Дейчланд» взял интервью у писателя. Нейч сказал, что главный герой пьесы — математик Михаэль Берг, ведущий инженер вычислительного центра крупного угольного района, человек, девиз которого: «Все для будущего».

«Я давно хотел написать о таком человеке, как Берг,—сказал далее Нейч.— Люди, подобные ему, стремятся внести в жизнь новое и сталкиваются при этом с большими трудностями. Это и есть настоящие герои нашей современности. Для того чтобы писать о таких людях, я два года находился среди них. Я изучал экономические проблемы, наблюдал жизнь рабочих. Там и родилась идея написать пьесу «Шкура и рубашка».

На вопрос, почему он на этот раз обратился к драматургии, писатель ответил: «Я глубоко уверен, что писатель должен использовать разные жанры. Кроме того, я считал, что форма драмы больше всего соответствует тем конфликтам и проблемам, которые меня заинтересовали. Мне было очень интересно работать с режиссером Ульрихом Тейном и коллективом театра. Когда пишешь прозаические произведения, имеешь дело с самим собой и со своим письменным столом. А здесь я все время работал с людьми, это было трудно, но очень увлекло меня. Я хотел бы продолжить работу в области драматургии...»

«ФИЛЬМ О МОЛОДЕЖИ И ДЛЯ МОЛОДЕЖИ»

Так назвал рецензент газеты «Берлинер цейтунг» новый фильм студии ДЕФА «Знаете ли вы Урбана?»

...В больнице случайно знакомятся два молодых человека — инженер-топограф Урбан и сбившийся с пути, связавшийся с дурной компанией и уже успевший отсидеть свой срок в тюрьме Хоффи. Романтическая профессия Урбана, его твердые взгляды и ясные цели, которые он ставит себе в жизни, постепенно начинают импонировать ни во что не верящему, живущему без идеалов и стремлений Хоффи. Расставшись с Урбаном, Хоффи затем решает найти его во что бы то ни стало и вместе со своим братом отправляется в один из северных городов ГДР, где живет и работает его новый знакомый. Братья встречают людей, похожих на Урбана, многое видят, многое узнают.

Путешествие затягивается — этот прием дает воз-

Кадр из фильма «Знаете ли вы Урбана?»

(Газета «Нейес Дейчланд»)

можность авторам показать жизнь современной молодежи, рассказать о ее достижениях, а также конфликтах, трудностях и проблемах.

«Для меня главным в этом фильме было показать, как наше общество приходит на помощь молодым, как оно помогает им разрешать сложные вопросы и находить выход из трудных ситуаций»,— сказала режиссер фильма Ингрид Решке.

Пресса ГДР отмечает, что вместе с автором сценария Ульрихом Пленцдорфом и молодыми, талантливыми артистами режиссеру удалось создать «веселый, современный фильм, в котором, несмотря на его воспитательное значение, почти нет нравоучительных сентенций». Газеты поместили также письма читателей, которые тепло встретили фильм и живо на него откликнулись.

ФРГ

ЧТО ПОЯВИТСЯ НА КНИЖНОМ РЫНКЕ В 1971 ГОДУ

Литературный обозреватель журнала «Шпигель» информирует читателей о том, какие новинки появятся вскоре на книжном рынке.

Генрих Бёль представил кёльнскому издательству «Кипенхойер унд Вич» рукопись своего нового романа. Франкфуртское издательство «Зуркамп» наряду с новыми произведениями Рора Вольфа «Очко — это очко!» и Герберта Ахтернбуша «Битва Александра» выпускает первый роман известной австрийской поэтессы Ингеборг Бахман «Малина». «Ровольт-ферлаг» (Гамбург) анонсировало новый роман Губерта Фихте.

По словам обозревателя, успехом пользуется недавно вышедший первый роман молодого автора Рюдигера Кремера «Описание одного преследования».

«Бухер-ферлаг» издало большими тиражами два итальянских бестселлера 1970 г.: роман Гвидо Пьовене «Холодные звезды» и роман Марио Солдати «Актер».

Гамбургское издательство «Гофман унд Кампе» рассчитывает на успех у читателя, выпуская нашумевший роман американского автора Эриха Сегала «История любви» — «бестселлер № 1» в США за последнее десятилетие (книга разошлась тиражом 5 млн. экз. в течение года).

Засорение и отравление окружающей природы человеком — одна из злободневных тем многих изданий. «Мусорная планета Земля» — книга доцента Ганноверского университета Ганса Реймера (издательство «Гофман унд Кампе»); издательство «Говертс» выпускает книгу американского автора Дона Вайденера «Для человека нет места» с подзаголовком «Программированное самоубийство»; в издательстве «Фишер» выходит книга английского автора Гордона Р. Тейлора «Общество самоубийства» с подзаголовком «Биологическая адская машина»...

В области литературы о мире труда ожидается переводная книга «Шведская модель эксплуатации» с предисловием хорошо известного советскому читателю западногерманского журналиста Гюнтера Вальрафа. Издательство «Гофман унд Кампе» переиздает бестселлер на экономическую тему «Богачи и супербогачи в Западной Германии» Михаэля Юнгблюта.

Своего рода «гербовым животным» в научной и научно-популярной литературе нынешнего сезона стала... обезьяна. «Обезьяна встает на ноги» («Ровольт-ферлаг»), «Наши предки — обезьяны» («Гофман унд Кампе»), «Мои соседи обезьяны» («Пипер-ферлаг»), «Неправильно развившаяся обезьяна» («Бертельсман-ферлаг») — таковы названия некоторых книг.

ПИСАТЕЛИ О СВОИХ УЧИТЕЛЯХ

Мюнхенское издательство «Киндлер-ферлаг» выпустило антологию под названием «Не говори, что у учителей нет сердца». Составитель ее — Ганс Экерт Рюбезамен — собрал самое примечательное из того, что виднейшие немецкие поэты и прозаики, от Гете до Зигфрида Ленца, написали о своих школьных учителях.

«Живой образ школьного учителя,— пишет рецензент «Вельт дер литератур»,— встает перед взором читателя через эпохи и культуры таким, каким его запечатлело перо Гете и Гриммельсгаузена, Келлера и Готтельфа, Раабе и Фонтане, Генриха Манна и Эриха Кестнера, Бёля, Грасса, Зигфрида Ленца, Валентина и Шнурре».

ГРЕЦИЯ

1970 — «УБИЙСТВЕННЫЙ» ГОД В КИНЕМАТОГРАФЕ

Автор фильма «Воспроизведение», удостоенного первой премии кинофестиваля в Салониках, молодой греческий режиссер Теодорос Ангелопулос (см. сообщение в «Иностранной литературе» № 2, 1971) дал интервью кипрской газете «Харавги». Он рассказал о трудностях, с которыми сталкиваются греческие кинематографисты, стремящиеся к созданию правдивых произведений о современной жизни на их родине, а также об общем состоянии кинематографии Греции.

«Думаю, у нас нет оснований для оптимизма,— заявил Ангелопулос.— Итог деятельности греческой кинематографии за 1970 год является, по существу, убийственным. Нам едва ли удастся найти один-два фильма, которые на общем низком уровне нынешней греческой кинематографии выделялись бы высоким мастерством или значительностью проблематики. Для большинства фильмов характерны лжепатриотизм, фальсификация истории, грубый юмор...»

ИНДИЯ

ТЕАТР ДВУХ АКТЕРОВ

В индийской столице создан первый постоянный профессиональный театр — Камерный. Пока что в театральной труппе всего два актера — Гопал Шарман и его жена Джалабала Ваидья, которые выступают в делийском отеле «Ашока» с программой «Полный круг», составленной из коротких рассказов и стихов самого Г. Шармана, написанных в 1963—1967 гг. Они готовят также к постановке пьесу Шармана «Шри Рама».

Прежде чем начать выступать с этой программой в Дели, Гопал и Джалабала с успехом показали ее в ФРГ, Бельгии, Югославии, Италии, Англии.

В свое время бывший президент Индии С. Радхакришнан — писатель и философ — обратил внимание на стихи некоего Вачикетаса, в которых, по его словам, сочетались «традиция и современность», и оказал ему поддержку. Под этим псевдонимом скрывался молодой Гопал Шарман.

НАМДЕВ — ГОД РОЖДЕНИЯ 1270

Общественность страны широко отметила семисотлетие со дня рождения Намдева — выдающегося литератора, писавшего на хинди, мыслителя, основоположника поэзии и движения «бхакти» в Махараштре (религиозно-реформаторское народное движение, оказавшее огромное влияние на развитие и характер общественного сознания страны).

Намдев был родом из Махараштры, но посещал также Гуджарат, Пенджаб и другие области Северной Индии. О популярности Намдева в Пенджабе говорят многие его стихи, включенные в священную книгу стихов «Гуру грантх сахаб». Будучи представителем народа, Намдев своими песнями утверждал равенство всех людей, независимо от кастовой принадлежности.

Намдев считается в Индии родоначальником «киртан-пратха» — исполнения перед многочисленной аудиторией песен, посвященных выступавшему в образе пастуха божеству Кришне и его возлюбленной Радхе. Такого рода «киртан» позволял поэту привлечь обширнейшее количество слушателей. Эта форма общения поэта с народом повсеместно применяется и в современной Индии.

По сообщениям газет, Национальный юбилейный комитет, в состав которого входили многие выдающиеся деятели культуры страны, провел в Дели двухдневные торжества, посвященные Намдеву. Выступавший на одном из митингов министр центрального правительства Индии Сатьянараян Синха отметил значение творчества Намдева для индийского народа. Он подчеркнул, что произведения поэта и поныне зовут народ «к преодолению трудностей и препятствий, стоящих на его пути».

Творчеству Намдева было посвящено также несколько передач всеиндийского радио. Среди них была радиопостановка «Намдев», автором которой явилась маратхская писательница Шакта Шелке. Издательский отдел министерства информации и радиовещания выпустил в свет на языках хинди и маратхи две книги, посвященные юбилею поэта.

Гопал Шарман и Джалабала Ваидья.
(Газета «Таймс оф Индиа»)

ИТАЛИЯ

ЖУРНАЛ, КОТОРОГО БОЯЛИСЬ БОГАЧИ И ФАШИСТЫ

Издательство Фельтринелли выпустило сборник, привлекший внимание читателей и критики: в него включены наиболее значительные и характерные статьи и карикатуры из сатирического журнала «Азино» («Осел»), который выходил в Риме в течение более тридцати лет — с 1892 по 1925 год.

Эмблема журнала «Азино». *(Газета «Унита»)*

Составители сборника — Джорджо Канделоро и Эдио Валлини. Авторы рецензий отмечают, что выход этого сборника не случаен: ныне в Италии, особенно среди молодежи, наблюдается растущий интерес к политической сатире и карикатуре. Редакторами журнала были журналист-сатирик Подрекка — автор многих самых острых статей и знаменитый карикатурист Раталанга, пользовавшийся известностью далеко за пределами Италии и сотрудничавший во многих европейских юмористических изданиях.

«Азино» превратился в самый популярный сатирический и юмористический журнал Италии до прихода фашистов к власти. Смело, хотя и не всегда последовательно он ставил самые злободневные темы: отсталость и нищета Юга Италии, отношения между государством и церковью, произвол власть предержащих, проблема развода... Журнал достиг неслыханно высокого по тем временам тиража — 10 тысяч экземпляров в неделю. Своей популярностью он был обязан в первую очередь остроумным карикатурам Раталанги. От старого гарибальдийского антиклерикализма, характерного для эпохи Рисорджименто, он постепенно перешел к проблемам экономического положения трудящихся масс, выработал свою острую и доходчивую манеру, превратив зыбкую линию графики «модерна» начала нашего века в энергичный и четкий рисунок, не боящийся сильной, порой гротескной деформации.

Свое существование журнал прекратил после того, как у власти укрепились фашисты — в 1925 году. Последний период деятельности журнала носил явно выраженный антифашистский характер. Раталанге принадлежит и карикатурное изображение лица Муссолини, которое потом легло в основу международной антифашистской карикатуры — и в газетах, и на плакатах. Предисловие к сборнику и комментарии помогают читателю разобраться в ныне далеких событиях и фактах. Выход сборника материалов журнала, отражавшего в течение более тридцати лет народные настроения в Италии, тем более интересен и полезен, что в Италии почти не существует работ по истории итальянской сатиры и карикатуры.

ПОСТАВЛЕНО НА ИТАЛЬЯНСКИХ СЦЕНАХ

Постановки пьес Чехова — одна из добрых традиций итальянских драматических театров. Однако последняя постановка чеховского «Дяди Вани» труппой театра «Стабиле» города Триеста, недавно гастролировавшего в Риме, вызвала разочарование у критики и публики, которые имели возможность сравнить ее с постановкой, осуществленной пятнадцать лет назад в римском театре «Элизео» режиссером Лукино Висконти. Виновников неудачи нынешней постановки два: это, как указывают рецензенты, прежде всего автор нового перевода чеховской пьесы славист Анджело Мария Рипеллино, выступающий также в роли «интерпретатора» пьесы. Рипеллино всячески пытался «осовременить» пьесу, придать всем ее героям черты персонажей абсурдистского театра, наподобие пьесы Беккета «В ожидании Годо». Об этом он сам недвусмысленно написал в обширной вступительной статье к своему переводу «Дяди Вани», изданному Эйнауди. По этому же пути пошел и режиссер спектакля Джулио Бозетти, в результате чего чеховская пьеса превратилась, как пишет критик Аджео Савиоли, в «балет клоунов-призраков».

«Тартюф, или Жизнь, любовь, самоцензура и смерть на сцене господина Мольера, нашего современника» — таково несколько длинное и претенциозное название, под которым поставил пьесу Михаила Булгакова «Мольер», соединив ее в свободной композиции с «Тартюфом», известный режиссер и драматург Луиджи Скуарцина, знакомый советским зрителям как автор «Романьолы» и как постановщик. Некоторые сцены композиции написаны самим Скуарциной. Этот весьма спорный, но, по отзывам критики, интересный спектакль поставлен на сцене драматического театра «Стабиле» в Генуе.

На сцене туринского оперного театра состоялась премьера оперы Дмитрия Шостаковича «Катерина Измайлова». Рецензии на новый оперный спектакль публикуют не только туринские, но и столичные газеты. Большую статью критика Рубенса Тедески «Катерина» не устарела» поместила газета «Унита».

СНИМАЮТСЯ ФИЛЬМЫ

Начались съемки давно объявленного фильма «Сезон в аду» — название это повторяет заглавие одной из поэм французского поэта Артюра Рембо. Фильм о жизни Рембо ставит поэт Нело Ризи, уже много лет успешно работающий в кино.

Поэта-режиссера привлекла необычная судьба Рембо, который посвятил поэзии всего лишь короткий период своей юности — с 17 до 21 года, а затем отправился на поиски приключений в дальние страны, пока не осел в Африке, в Хараре, где занялся торговлей оружием,

Флоринда Болкан в фильме «Сезон в аду».

(Газета «Унита»)

кофе и другими товарами. Образ поэта воплотит на экране актер Теренс Стэмп. Другого большого поэта — Верлена, друга Рембо, играет в фильме актер Клод Бриали. В роли молодой женщины-эфиопки, оказавшей большое влияние на судьбу поэта, выступает популярная в Италии актриса латиноамериканского происхождения Флоринда Болкан.

Съемки фильма ведутся в Италии, Франции и Эфиопии.

Режиссер Дамиано Дамиани работает над фильмом с условным названием «Доклад комиссара полиции прокурору республики». Картина снимается в Палермо и других городах Сицилии; в основу сценария, написанного режиссером совместно с писателями Джиккапалли и Лаурани, легли подлинные события.

...Комиссар полиции, много лет работающий на Сицилии, расследует дело о преступлений, совершенном в конторе одной из строительных фирм в Палермо. Прослеживая цепь событий, приведших к преступлению, комиссар приходит к выводу, что его первопричиной было столкновение интересов двух банд мафии, не поделивших заказы на строительные подряды. Комиссар устанавливает, как и с чьей помощью «мафиози» превратились в «боссов» строительного дела. Назревает крупный скандал, который угрожает карьере самых высокопоставленных чинов официальной администрации. Однако когда комиссар приходит с докладом к прокурору, тот предлагает ему замять дело во избежание «опасных осложнений»...

«Сицилийская мафия постоянно расширяет сферу своей преступной деятельности»,— сказал журналистам режиссер Дамиано Дамиани, автор острых разоблачительных фильмов «День совы» и «Самая красивая жена», которые прошли с большим успехом. Новый фильм, заявил режиссер, расскажет общественности, кто ответствен за то, что мафия не только не прекращает, но и активизирует свою преступную деятельность.

ПОСТРАДАЛИ РАБОТЫ ДЖ. МАНЦУ

Газеты сообщили о трагическом происшествии в галерее крупнейшего итальянского скульптора, лауреата Международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами» Джакомо Манцу: галерея, где собраны лучшие его работы, пострадала от наводнения. Погибло или сильно повреждено не менее 250 рисунков, набросков, литографий, акварелей и других творений скульптора.

Галерея Дж. Манцу, как сообщает печать, расположена в загородной местности, примерно в 40 километрах к югу от Рима. От сильных ливней резко поднялась вода в протекающих по соседству ручьях. Грязные потоки залили нижнее, полуподвальное помещение здания, где скульптор хранил свои рисунки, книги, художественные издания, каталоги выставок. Все это превратилось в одно сплошное, покрытое грязью месиво.

К счастью, вода не достигла основных залов галереи, где находятся известные всему миру скульптуры Дж. Манцу.

«В архивах галереи хранилось двести оригинальных рисунков, пятьдесят акварелей и литографий Манцу, шесть тысяч каталогов выставок, где экспонировались его работы, коллекция из трех тысяч афиш, несколько тысяч книг,— рассказала жена скульптора представителям печати.— Почти все это погибло. Материальный ущерб огромен, но ведь дело не только в этом. Это настоящая катастрофа, и наше горе понятно».

МАРОККО

РАССКАЗЫ ИЗВЕСТНОГО ПОЭТА

Как сообщает рецензент ливанского журнала «Аль-Адаб», в Рабате вышел первый сборник рассказов известного марокканского поэта Мухаммеда ас-Саббага.

Сборник под названием «Параграф устава» содержит семнадцать коротких рассказов, которые публиковались автором в газете «Аль-Алям» («Знамя»).

По словам рецензента, все рассказы сборника объединяет тема жизни сегодняшнего Марокко с его богатыми традициями и своеобразными обычаями. При этом, однако, автор не оставляет без внимания недостатки, присущие современному марокканскому обществу, связанные с пережитками колониализма и эксплуатацией.

КНИГА О НАРОДНОЙ ПОЭЗИИ МАРОККО

По сообщению журнала «Аль-Адиб», в Марокко вышла книга под названием «Аль-Касыда», представляющая собой подробное исследование жанров марокканской народной поэзии, их возникновения и этапов их развития.

Большое место в книге уделено «зеджелю» — виду строфической народной поэзии, связанному со средневековой лирикой мавритан-

ской Испании. Автор исследования — доктор Аббес Лахрари.

МОНГОЛИЯ

ФИЛЬМЫ О РЕВОЛЮЦИИ

Революционная борьба аратов, созидательный труд народа, совершившего исторический скачок от феодализма к социализму, братская монголо-советская дружба — таковы темы фильмов, которые готовят кинематографисты страны к 50-летию Народной революции в Монголии.

Р. Доржпалам — опытный режиссер, он же — художественный руководитель студии «Монголкино» — работает над второй серией фильма «Прозрачный Тамир» по одноименному роману Ч. Лодойдамбы. Эта кинолента, первая серия которой с интересом была принята зрителями, воссоздает широкую картину жизни народа в канун и в первые годы революции. Несмотря на молодость, Р. Доржпалам создал уже 11 фильмов. Некоторые из них с успехом демонстрировались на зарубежных экранах, а фильмы «Коня бы мне» и «Ох, уж эти девушки» были отмечены на международных кинофестивалях.

Среди наиболее значительных новых работ — фильм «Красный флажок», рассказывающий об участии молодежи в революционной борьбе. Заслуженный деятель искусств МНР, лауреат Государственной премии Д. Жигжид готовит фильм «Зять». Он посвящается одной из важнейших страниц истории монгольского народа — кооперированию аратских хозяйств.

Режиссер Ж. Бунтар заканчивает полнометражный документальный фильм об основателе МНРП и руководителе монгольской революции Сухэ-Баторе. О трех поколениях советских врачей, трудившихся в Монголии, расскажет полнометражный документальный фильм.

В содружестве с «Мосфильмом» снимается художественный фильм о событиях у Халхин-Гола. Создается и совместный документальный фильм «Моя Монголия».

НОРВЕГИЯ

БЕСТСЕЛЛЕРЫ И УСЛОВИЯ «ПИСАТЕЛЬСКОГО СУЩЕСТВОВАНИЯ»

Минувший год норвежская печать называет рекордным по тиражам выпущенных книг. В число бестселлеров попали информационный ежегодник-справочник «Кто, что, где?», первый том мемуаров бывшего премьер-министра Норвегии Э. Герхардсена «Содружество в войне и мире» (около 100 тысяч экземпляров), выпущенные издательством «Тиден»; книга Р. Геррманна, посвященная истории резиденции английского премьер-министра на Даунинг-стрит (издательство «Каппелен»); иллюстрированный справочник по истории современной культуры «Наша цивилизация» (издательство «Грендальс») и, наконец, путевые записки Тура Хейердала «Ра», выпущенные тиражом 35 тысяч экземпляров издательством «Гюльдендаль».

В списки бестселлеров, таким образом, не попало ни одно художественное произведение. По мнению писателя С. Хёльмебакка, которое он высказал на страницах газеты «Арбейдербладет», «непопулярность» художественной литературы в Норвегии может быть объяснена тем, что издательское дело в стране давно уже превратилось в чистую коммерцию. Система распространения книг построена так, что владельцы книжных магазинов зарабатывают на разрекламированных бестселлерах намного больше, чем на талантливых романах. По свидетельству Хёльмебакка, издание художественной литературы в стране искусственно ограничивается.

Норвежский писатель, по словам Хёльмебакка, «может обращаться, добиваться, умолять, но у него нет никаких прав. Общество может использовать его произведения, не давая ему за это должного вознаграждения. А что касается продажи своей продукции — романов, стихов, рассказов, то писатель находится в таком же беспомощном положении, в каком был рыбак прошлого века, когда он привозил свой улов к причалу рыбопромышленника-купца. Издатель определяет, какими должны быть дивиденды. Подавляющее большинство норвежских писателей знает, что шансы на то, что их книги будут проданы, малы. Пусть писатель создал хорошую книгу, получил самые блестящие отзывы критики, все это неважно, ибо издательство заранее решает, какие книги пустить в продажу. Все направлено к тому, чтобы увеличить тираж намеченных бестселлеров и тем самым приумножить прибыли издательства».

Одно из крупнейших издательств «Гюльдендаль», пишет далее Хёльмебакк, за последние десять лет удвоило выпуск книг, однако это ничего не дало норвежским писателям. Гонорары писателей по-прежнему составляют 6—12 тысяч крон за книгу, что в два-три раза ниже годовой зарплаты рабочего средней квалификации. «Напротив, условия, в которых работают писатели и в которых существует в Норвегии художественная литература, сейчас стали еще более тяжелыми, чем десять лет назад».

ОАР

СТИХИ ОБ АСУАНЕ

В Каире вышел сборник стихов под названием «Стая цапель улетает на Север». В нем собраны стихотворения поэтов-нубийцев, живущих в ОАР. Нубийцы — небольшая народность (около 1,5 млн. человек), составляющая коренное население африканской исторической области Нубия, которая занимает территорию вдоль

реки Нил, от города Асуан на юге ОАР до третьего нильского порога в Судане.

С началом строительства с помощью Советского Союза высотной Асуанской плотины нубийцы, жившие к югу от Асуана, были переселены в расположенный севернее район «Новая Нубия», где для них были специально построены деревни.

Нынешние нубийцы — мусульмане. Большинство их сохраняет в быту свой язык, который отличается мелодичностью и напевностью. Для письма нубийцы, как и все другие народности ОАР и Судана, пользуются, как правило, арабским языком, хотя некоторые нубийские поэты, как, например, Абдаллах Махмуд Башир, Хусейн Рум, Махмуд Шенди, пишут свои стихи на нубийских диалектах, применяя арабский алфавит. (Старый нубийский алфавит был окончательно забыт после того, как ислам вытеснил в Нубии христианство.)

В сборнике «Стая цапель улетает на Север» рассказывается как о старой, так и о новой жизни небольшого нубийского народа. Современная нубийская поэзия представлена в сборнике шестью именами. Это — Заки Мурад, Мухаммед Халиль Касем, Абд ад-Даим Таха, Ибрахим Шаарави, Махмуд Шенди и Абдаллах Башир. Сборник содержит также несколько нубийских народных песен (в переводе на арабский Махмуда Шенди).

Лейтмотив большинства стихотворений сборника — любовь к своему народу, к иссушенной солнцем скалистой нубийской земле, с которой связаны самые дорогие воспоминания и которую предстоит покинуть ради блага «большой родины» — Египта, ради новой, счастливой жизни всех его сынов. Для нубийских поэтов символ этой новой жизни — Великая плотина, над возведением которой самоотверженно трудились вместе с коренными египтянами нубийцы, беджа и представители других народностей ОАР.

Рецензент журнала «Аль-Адаб», сообщивший о выходе сборника, выражает благодарность каирскому издательству «Дар аль-Кятиб аль-Араби», выпустившему «этот поэтический букет, являющийся искренним выражением чувств, которые вызвало в широких слоях египетского народа создание Великой высотной плотины».

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЕГИПЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ ЗА РУБЕЖОМ

Как сообщает газета «Аль-Иттихад», в Румынии осуществлен перевод с арабского повести «Дни» Таха Хусейна и романа «Переулок аль-Мидакк» Нагиба Махфуза.

На японский язык переведен другой роман Н. Махфуза — «Перепела и осень», а также два произведения писателя и драматурга Тауфика аль-Хакима «Жители пещеры» и «Шахразада».

В Норвегии вышли избранные рассказы Нагиба Махфуза.

ПАКИСТАН

«ПОЭЗИЯ НА УРДУ В СИНДЕ»

Ученые страны ведут работу по изучению истории возникновения и источников литературного языка урду. Недавно в Пакистане вышел в свет труд известного писателя, преподавателя Синдского университета (гор. Хайдарабад) Наби Бакша Хана Балоча «Поэзия на урду в Синде», в которой он вслед за Саедом Сулейманом Надви и известным европейским востоковедом Нольдке утверждает роль Синда как колыбели языка урду.

Балоч ссылается на творчество более чем шестидесяти синдских поэтов, стоявших, по его словам, «у истоков рождения урду задолго до времени его официального появления в XVIII веке». В частности, он упоминает средневекового поэта Муллу Абдулла Хакима Ата Таттави, жившего и творившего на урду еще при великом моголе Аурангзебе, то есть триста лет тому назад.

Дальнейшее развитие урду (известный тогда под названием хиндви) получил в Татте — столице Синда — в конце XVII века в период правления Наваба Музаффар Хана. Балоч пишет, что «еще до того как Агра, Дели и Лакнау стали центрами развития языка урду, такую роль уже играла Татта, в которой поэтов урду жило больше, чем в любом другом городе севернее тропика Рака».

По мнению писателя, нет ничего удивительного в том, что урду начал зарождаться в Синде: ведь именно здесь происходило смешение североиндийских диалектов с арабским, персидским и турецким языками. Общностью исторического и географического развития объясняется и грамматическая, и отчасти лексическая общность в настоящее время урду и синдхи.

Рецензент газеты «Доон» пишет, что «работа Балоча доказывает, что урду и синдхи — не соперники, а, напротив, дополняют друг друга. В день, когда будет совершена несправедливость в отношении одного из них, будет подрезан сук, на котором мы сидим».

ПОЛЬША

ИЗДАЕТ ПИВ

Одно из крупнейших варшавских издательств — ПИВ — выпускает в нынешнем году большое количество художественной литературы как польских, так и зарубежных авторов, сообщает корреспондент газеты «Жице Варшавы». Отечественная литература представлена произведениями Боя-Желенского, Ивашкевича, Дыгата, Парандовского, Боровского, Бялошевского, Харасымовича, Иллакевичувны и других. Среди зарубежных авторов — Хемингуэй, Болдуин, Арагон, Цвейг, Брехт, Камю, Кафка и другие.

Русские и советские писатели в планах ПИВ (Государственный издательский институт) представлены

«Преступлением и наказанием» Достоевского, сборником произведений Горького, «Родственниками» Бондарева, сборником Трифонова, в который входит повесть «Обмен», а также исследованием Кондратова «Исчезнувшие цивилизации».

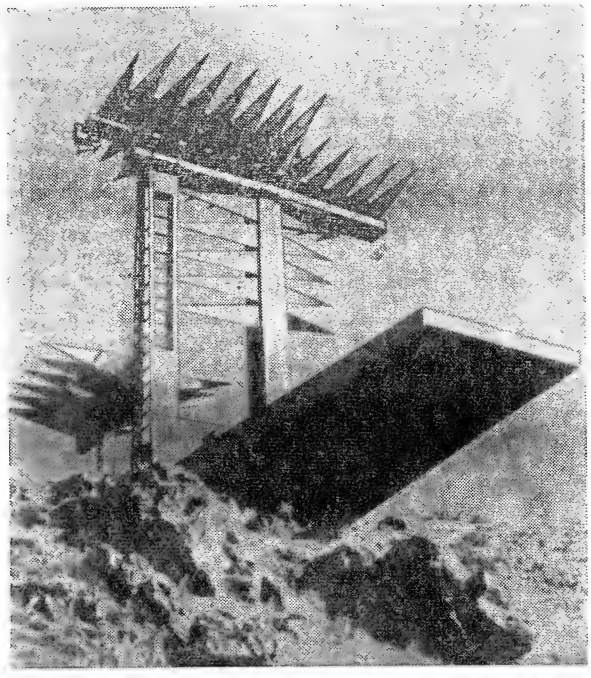
Как сообщает корреспондент газеты «Трибуна люду», ПИВ недавно завершило выпуск монументального издания — «Хроники» Болеслава Пруса, которые создавались писателем в течение тридцати лет.

ПОИСКИ И НАХОДКИ ВЛАДИСЛАВА ГАСЁРА

Многие произведения скульптора Владислава Гасёра (род. в 1928 г.) посвящены темам войны и страданий, разрушений и гибели, боли и страха. Гасёру близки патриотические темы, он стремится почтить память мучеников, безымянных героев. Об этом свидетельствуют уже сами названия памятников, законченных или существующих пока еще только в набросках: «Заложники», «Расстрелянные профессора», «Тем, кто в море», «Горноспасатели», «Повстанцы».

По мнению скульптора, для того, чтобы говорить о таких серьезных вещах, как жизнь и смерть, и о таких темных, противоестественных сторонах человеческого существования, как мучения, война и массовое уничтожение, художнику приходится создавать уже «не произведение искусства, а своеобразное новое явление природы».

В работах Гасёра тяжелый бетон и металл приобретают удивительную легкость. Таков, к примеру, проект памятника победоносной Советской Армии (1967) — устремленное ввысь, словно парящее в воздухе, скульптурное изображение Нике, установленное на изящной, тонкой конструкции, вписывающейся в окружающий пейзаж. Этот замысел парящих скульптур нашел воплощение в серии проектов «стеклянных памятников», которыми скульптор увлекался еще в 1965 году.



Памятник работы В. Гасёра «Тем, что погибли в борьбе за становление народной власти», воздвигнутый в окрестностях городка Кросценко в Подгалье.

(Фото ЦАФ)

В своей работе Гасёр использует любой материал, все богатство творческой фантазии. Порой это может быть огонь, горящая нефть, которая как бы оживляет «мертвую скульптуру», придает ей новый смысл благодаря поразительной игре света и тени, а иной раз дым, который, к примеру, будет одним из элементов «Памятника расстрелянным» — в память о казненных гитлеровцами заложниках в его родном городе Новы Сонч. В ином случае это может быть звонок, как в памятнике «Тем, что погибли в борьбе за становление народной власти» (воспроизводится здесь). Памятник высится на взгорье, в элементы скульптуры вкомпонованы звоночки и свистки, которые при дуновении ветра издают мелодичные звуки, как бы оплакивая погибших.

В 1969 году Владислав Гасёр был приглашен на международные состязания ваятелей в столицу Уругвая — Монтевидео. Там он создал первый проект памятника замученным во время оккупации жителям Новы Сонча: этот памятник стоит сейчас в Центральном парке Монтевидео рядом с 15 работами выдающихся скульпторов всего мира.

«Мы — наследники окаменевшей профессии,— говорит Гасёр.— Все скульптуры мира окружены, словно мифами, бесконечными теориями, которые не допускают мысли, что их творцы руководствовались столь естественными для человека побуждениями, как желание написать искреннее и пылкое любовное послание. Потому-то эти «толпы мраморных людей» ничему не учат, не дают ответа на вопрос: как скульптурой пробить небо? Нет на него ответа ни в книгах, ни среди людей — быть может, он кроется в нерассеченной стали, а мо-

жет, в свете и тени. Ибо поток освещенной воды, ветер и голос, стекло и волосы, камень и время, дым и ток, одним словом, любая материя, которая дает тень и огонь, может быть использована в искусстве, при условии, что ее выберет, соединит, расчленит или сожжет буйная и дерзкая фантазия».

Владислав Гасёр участвовал уже в 11 персональных и коллективных выставках в Польше и за рубежом. Персональные выставки его работ состоялись в Стокгольме, Амстердаме, Венеции и в Норвегии.

ИССЛЕДОВАНИЕ ПО НОВЕЙШЕЙ ПОЛЬСКОЙ ИСТОРИИ

«Новая книга Ч. Мадайчика — это прежде всего самое значительное исследование, которое когда-либо, где-либо и кем-либо было написано о польском народе в годы немецкой оккупации»,— так критик Еугениуш Дурачинский оценивает в журнале «Перспективы» книгу Чеслава Мадайчика «Политика третьего рейха в оккупированной Польше».

49-летний профессор Института истории Польской Академии наук, автор книг «Генеральная губерния в гитлеровских планах», «Гитлеровский террор в польской деревне», Мадайчик несколько лет посвятил изучению отечественных и зарубежных архивов, где тщательно оценивал и отбирал материалы для своего нового труда.

В книге приведено огромное количество фактов, высказываний, названо множество имен. По словам рецензента, это исследование — как бы итог всех достижений польской историографии периода оккупации Польши, оно имеет огромное значение для понимания факторов, способствовавших формированию современного польского общества. Автор тщательно прослеживает все социальные изменения, происходящие в его структуре в годы второй мировой войны, так как без точного знания этих изменений было бы почти невозможно изучать общественную и политическую структуру польского подполья в годы оккупации, а следовательно, и становление народной власти в 1944—1945 гг.

Мадайчик показывает, как в чрезвычайно сложной обстановке оккупационных лет, при наличии разных партий и различных влияний, Польская рабочая партия все больше завоевывала доверие народа. «Если, несмотря на неблагоприятные обстоятельства,— пишет Мадайчик,— период войны и оккупации послужил причиной возникновения новой коммунистической программы, если Польская рабочая партия сумела в подполье не только укрепиться, но и найти соответствующие формы работы, которые позволили ей завоевать доверие общественности, если она сумела найти пути решения польского вопроса, если рабочее движение в ходе войны стало основополагающим в народе,— то все это свидетельствует об огромных силах, заключающихся в рабочем классе».

Глубокий анализ событий самого трудного в новейшей истории Польши периода, по словам Е. Дурачинского, делает книгу Мадайчика неоценимым вкладом не только в изучение истории Польской Народной Республики, но и в развитие польской общественной мысли в целом.

РУМЫНИЯ

В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ РКП

50-летие Румынской коммунистической партии отмечается по всей стране. В эти дни румынские писатели встречаются с читателями на фабриках и заводах, выезжают в села, проводят вечера поэзии и читательские конференции.

Газета «Скынтейя» поместила интервью с известным драматургом Паулем Эвераком (он был недавно удостоен премии Комитета по делам культуры и искусства за спектакль «Соседняя комната», признанный лучшим в 1970 году).

«Благородная программа партии по воспитанию многогранной человеческой личности является и моей писательской программой»,— заявил драматург. Пауль Эверак рассказал о двух новых пьесах, над которыми он сейчас работает, — «Праздничный стол», а также «Воды и зеркала». Драматург затрагивает в них проблемы развития человеческого общества, создает образ коммуниста наших дней.

«Главный герой пьесы «Воды и зеркала» Тимотей — самый любимый из всех моих героев-коммунистов»,— отметил П. Эверак.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРЕМИИ — РУМЫНСКИМ ЛИТЕРАТОРАМ

Известные румынские писатели Захария Станку и Эуджен Жебеляну удостоены международных литературных премий.

Председателю Союза писателей СРР прозаику Захарии Станку, известному советскому читателю по романам «Босой» и «Безумный лес», а также по недавно опубликованному на страницах «Иностранной литературы» роману-исповеди о матери «Как я тебя любил» (№№ 1—2, 1971), присуждена премия Венского университета имени Гердера. Писатель удостоен премии за один из своих ранних романов — «Босой».

Поэт Эуджен Жебеляну награжден международной поэтической премией итальянского города Таормина, присужденной ему жюри во главе с Мигелем Анхелем Астуриасом за поэму «Улыбка Хиросимы». Советскому читателю имя этого румынского поэта знакомо по публикациям в литературной прессе и по вышедшему на русском языке сборнику его стихов «На горе ветров».

США

ДИСКУССИЯ: ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ РАССКАЗА

В Нью-Йорке состоялась дискуссия по проблемам рассказа, в которой приняли

участие известные американские писатели, критики, представители крупнейших издательств и журналов. Дискуссия была приурочена к выходу в свет двухтомника «50 лет американского рассказа» (под редакцией Уильяма Абрахамса, издательство «Даблдей»). Диапазон обсуждавшихся вопросов, констатирует обозреватель еженедельника «Паблишерз уикли», был довольно широк — от целесообразности (или нецелесообразности) возвращения к старой, то есть устной, форме рассказа до сомнительной эффективности обучения писательскому искусству. Открывая дискуссию, писатель Уоллес Стегнер дал характеристику тем изменениям, которые претерпел американский рассказ за последние десятилетия. Если во времена О'Генри, сказал он, рассказ отличался четкой фабулой и захватывающим содержанием, то сегодня для этого жанра художественной прозы характерны «расплывчатость формы и отсутствие содержания».

Редактор ежемесячника «Атлантик» У. Абрахамс заявил: если бы не существовало журналов, публикующих рассказы, то никогда не возникло бы рассказа в его нынешней форме; однако сегодня наиболее популярные журналы все больше и больше отдают предпочтение нехудожественным материалам, в результате чего «писатели, работающие в жанре короткого рассказа, особенно молодые писатели, теряют возможности печататься». Говоря о молодых авторах, редактор журнала «Эпок» (издается Корнельским университетом) Бакстер Хэтэуэй заметил, что в настоящее время все больше молодых прозаиков переключается на поэзию.

Уильям Сароян сказал в своем выступлении: «Жанр короткого рассказа никогда не был и не будет в опасности. Рассказ — самая притягательная и естественная форма писательского творчества».

Как бы развивая эту мысль, Питер Тэйлор подчеркнул: «Я заметил, что всякий раз, когда какой-нибудь писатель говорит, что рассказ, как таковой, умер, это обычно означает, что данный писатель не может больше творить».

КНИГА О МЕТОДАХ АМЕРИКАНСКОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ

Книга прогрессивного американского публициста Джеймса Аронсона «Пресса и «холодная война» вышла в Нью-Йорке. Примечательно, что буржуазная пресса не обмолвилась по этому поводу ни словом. И не удивительно, как замечает рецензент газеты американских коммунистов «Дейли уорлд» С. Герсон, ибо в своей книге Дж. Аронсон осуществил «безжалостное рентгеновское просвечивание журналистского бизнеса Америки», выявив прямое или косвенное соучастие капиталистической прессы США в «холодной войне» против коммунизма.

Обращаясь к событиям прошлого, Дж. Аронсон делает вывод, что «холодная война» против «красных» началась даже не с пресловутой речи Черчилля, произнесенной им в Фултоне в марте 1946 года, а после 3 марта 1918 года, когда молодая Советская республика решила выйти из первой мировой войны, подписав Брест-Литовский мирный договор с Германией. Именно с того времени, заявляет Аронсон, американская журналистика включилась в «холодную войну» против коммунистической идеологии. Свой довод автор «Прессы и «холодной войны» подкрепляет пространными цитатами из «почти забытой брошюры» Уолтера Липпмана и Чарлза Мерца «Испытание для новостей», которая была опубликована в виде приложения к журналу «Нью рипаблик» 4 августа 1920 года. В ней анализировались статьи о «русской революции», напечатанные в газете «Нью-Йорк таймс» с марта 1917 по март 1920 года. Авторы брошюры пришли к выводу, что эти статьи были совершенно необъективными, ибо они написаны в духе официальной политики Вашингтона — политики «интервенции и блокады».

Переходя к событиям современности, Дж. Аронсон пишет о том, как ныне в прессе США освещаются события вьетнамской войны военными корреспондентами, чьи имена известны миллионам людей. Лишь немногие из них, такие как Дэвид Халберстэм, Чарлз Мор, Нейл Шихан, дают правдивое отображение событий; при этом они неизбежно наталкиваются на недовольство Пентагона и Белого дома. Однако, указывает Дж. Аронсон, и они грешат неизбежной узостью взглядов. Эти журналисты, пишет он, «подвергли сомнению методы официальных властей США, но не их цели... Именно их политические и социальные предрассудки, недостаточная политическая грамотность и осведомленность в международных вопросах помешали им дать более глубокий анализ событий и усомниться в законности самого присутствия американских войск во Вьетнаме».

В целом, заключает рецензент, Джеймс Аронсон в этой книге еще более «расширил и углубил наше понимание методов прессы современной империалистической Америки».

ТУРЦИЯ

РУССКИЕ КЛАССИЧЕСКИЕ И СОВЕТСКИЕ ПЬЕСЫ НА ТУРЕЦКОЙ СЦЕНЕ

В последнее время турецкие театры познакомили зрителей с произведениями Н. В. Гоголя, А. Н. Островского, Л. Н. Толстого. С успехом прошли в Турции спектакли «Мещане» А. М. Горького и «День отдыха» В. Катаева.

А недавно популярный стамбульский театр «Кент», готовясь отметить свое десятилетие, поставил «одну из самых трудных психологических пьес», как называет «Трех сестер» А. П. Чехова театральный обозреватель газеты «Джумхуриет» Селми Андак. Роли сестер исполняют талантливые актрисы Йылдыз Кен-

тер, Мерал Тайгун и Джандан Исен.

Обозреватель отмечает, что пьеса «Три сестры» впервые была поставлена в Стамбуле еще в 1944 году известным турецким режиссером Мухсином Эртугрулом на сцене Городского театра.

Новая постановка, по словам С. Андака, осуществленная молодым режиссером Али Тайгуном, выгодно отличается от предыдущей удачными сценическими находками, что сделало ее понятнее и доступнее для турецких зрителей.

Новая постановка молодого театра пользуется большим успехом у турецких зрителей.

ФРАНЦИЯ

«ГАТТИ СЕГОДНЯ»

«Арман Гатти — один из тех современных французских драматургов, которые произвели переворот в театре»,— пишет рецензент еженедельника «Юманите-диманш» в связи с выходом в свет книги Г. Гозлана и Ж.-Д. Пея «Гатти сегодня» (издательство Сёй).

Страстное и лирическое, искусство А. Гатти тесно связано с актуальными социальными и политическими событиями и проблемами Европы, США, Латинской Америки, Азии, отмечает рецензент. Всегда новаторская структура его пьес преображает традиционные представления о времени и пространстве в театре; в них объединяются прошлое, настоящее и будущее, действительное и воображаемое.

«Театр должен дать наиболее обездоленным классам возможность осознать свои силы»,— говорит А. Гатти. «Его пьесы адресованы тем, кто, испытывая гнет эксплуатации, борется с ней»,— пишет рецензент.

«Гатти сегодня» — первое исследование, посвященное жизни и творчеству известного французского драматурга, киносценариста, режиссера — постановщика и журналиста.

СОЗДАН МУЗЕЙ ЛЕ КОРБЮЗЬЕ

Творческая деятельность знаменитого французского архитектора Ле Корбюзье в Париже была тесно связана с районом Пасси. Здесь в 1923 году на одной из крошечных площадей Ле Корбюзье возвел два здания, которые и поныне соперничают с самыми современными постройками. Дом Ларош, например, считается одним из лучших произведений архитектора. Построенный по заказу коллекционера картин Ларош, он должен был стать одновременно жилым зданием и музеем, способным вместить одно из богатейших собраний современной живописи.

Дом Ларош и соседняя с ним вилла, где жил брат архитектора, удивительны по легкости и простоте форм; в них нашли отражение основные художественные принципы мастера: свободный фасад, крыши-террасы, сплошные окна. Внутри стены окрашены в разные, мягко сочетающиеся тона, много света и свободного пространства.

Недавно оба дома были реставрированы. В них разместился институт-музей Ле Корбюзье, который будет знакомить посетителей с творчеством выдающегося архитектора, изучать его богатое наследие.

ЭКРАНИЗАЦИЯ СКАЗКИ ПЕРРО

Цветной фильм «Ослиная шкура» по сказке Шарля Перро поставлен французским режиссером Жаком Деми. «Режиссер великолепно воплотил юмор Шарля Перро средствами киноискусства,— пишет рецензент еженедельника «Юманите-диманш».— В сказочные чудеса, которые совершаются среди декораций в стиле барокко, вкраплены такие детали, как телефон, по которому фея переговаривается с потусторонними силами, или вертолет, с успехом заменяющий ей для дальних перелетов неудобную метлу».

По мнению рецензента, режиссер слишком увлекся фееричностью фильма, причудливостью костюмов и декораций, и это привело к тому, что барокко незаметно перешло в рококо, а волшебная сказка, где в центре была драма старого короля, влюбленного в свою дочь, превратилась в парад киноэффектов. Но фильм спасают отличная игра актеров и чувство юмора, пишет в заключение рецензент. В главной роли фильма снималась Катрин Денёв, в роли старого короля, ее отца — Жан Марэ.

Кадр из фильма «Ослиная шкура».
(Еженедельник «Юманите-диманш»)

Авторы этого номера

ВАСИЛИС ВАСИЛИКОС (род. в 1933 г.).

Известный греческий писатель, лауреат литературной премии Греции — «Премии двенадцати». В настоящее время живет в изгнании в Париже — его имя стоит одним из первых в «черном списке» фашистской хунты. В. Василикос окончил юридический факультет Салоникского университета. Его первая книга «История Ясона» появилась в 1953 году, затем вышла повесть «Жертвы мира» (1956). Известность и признание принесла писателю трилогия, состоящая из повестей «Растение», «Колодец» и «Ангелос Ангелидис», вышедшая в шестидесятые годы. Большой успех во многих странах мира имел также его документальный политический роман «Z», основой которому послужило дело об убийстве Григориса Ламбракиса, левого депутата и выдающегося деятеля международного движения в защиту мира. Недавно роман вышел в свет на русском языке. Перу В. Василикоса принадлежат сборники рассказов «Фотографии» и «Вне стен», путевые заметки и наблюдения над американским образом жизни «Мифология Америки», сборник стихов «Лака Сули» и другие произведения.

В этом номере мы предлагаем вниманию читателей повесть «Растение».

■

ЗИГФРИД ЛЕНЦ—SIEGFRIED LENZ (род. в 1926 г.).

Немецкий писатель, один из видных прозаиков Западной Германии — романист, новеллист и драматург. С 1945 г. в Гамбурге изучал философию и историю литературы, в пятидесятые годы работал в газете «Вельт». Его первый роман «Коршуны в небе» («Es waren Habichte in der Luft») вышел в 1951 г. и был отмечен литературной премией. Ныне З. Ленц — автор нескольких романов, сборников рассказов, радиопьес и литературно-критических работ. Из них наиболее известны роман «Городские толки» («Stadtgespräch», 1963), сборники рассказов «Нежная Зюлейка» («So zärtlich war Suleyken», 1955), «Испортил игру» («Der Spielverderber», 1965), юмористические «Рассказы Лемана» — устные рассказы, которые автор читал по радио и которые затем были изданы отдельным сборником («Lehmanns Erzählungen oder: So schön war mein Markt», 1964), радиопьесы «Время виновных и время невиновных» («Zeit der Schuldlosen—Zeit der Schuldigen», 1960—1961), «Обыск» («Haussuchung», 1967).

Художественным произведениям и публицистическим выступлениям Зигфрида Ленца присуща направленность против реваншистских и неофашистских тенденций в Западной Германии.

Широкую известность принес автору роман «Урок немецкого» («Deutschstunde»), вышедший в 1968 году, который мы начинаем печатать в этом номере с небольшими сокращениями.

■

ДОЛГОРЫН НЯМАА (род. в 1940 г.).

Монгольский поэт. Окончил Литературный институт имени Горького в Москве. Автор сборников стихов «Камень» (1960), «Горизонт» (1965) и др. В 1969 г. награжден почетной грамотой Союза писателей СССР за популяризацию в Монголии русской и советской литературы.

Публикуемые стихи войдут в новый сборник поэта «Запах солнца».

■

КАМЕН КАЛЧЕВ (род. в 1914 г.).

Болгарский писатель, лауреат Димитровской премии, Заслуженный деятель культуры, главный редактор журнала «Септем-

врн». С юношеских лет участвовал в революционном движении. Печататься начал в 1935 году. Произведения Камена Калчева неоднократно переводились на русский язык. Советские читатели знают его по романам «Семья ткачей», «Двое в новом городе», «Отважный капитан», повести «Сын рабочего класса», посвященной Георгию Димитрову, рассказам и статьям, публиковавшимся в периодической печати.

В этом номере мы знакомим читателей с новой книгой Камена Калчева «В поисках будущего» («Как търсих бъдещето си», 1970), которую печатаем в журнальном, сокращенном варианте.

СТЕФАНОС ЗИМБУЛАКИС (род. в 1941 г.).

Молодой кипрский поэт. Окончил Высшее коммерческое училище гор. Фамагусты, затем учился в кипрском филиале Афинской консерватории по классу скрипки. Работает в муниципальной библиотеке гор. Фамагусты. Стихи С. Зимбулакиса публикуются в литературных журналах и газетах Кипра.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Н. Т. ФЕДОРЕНКО

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
О. С. ВАСИЛЬЕВ (первый зам. главного редактора), **С. А. ГЕРАСИМОВ, Л. П. ГРАЧЕВ, Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, В. Д. ЗОЛОТАВКИН** (отв. секретарь), **Е. Ф. КНИПОВИЧ, Т. А. КУДРЯВЦЕВА, Т. Л. МОТЫЛЕВА, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, М. И. РУДОМИНО, А. Н. СЛОВЕСНЫЙ, Б. Л. СУЧКОВ, П. М. ТОПЕР, С. П. ЧЕРНИКОВА, К. А. ЧУГУНОВ** (зам. главного редактора), **М. А. ШОЛОХОВ.**

Художественный редактор **С. И. Мухин.** Технический редактор **Л. Д. Фарафонтова**
Адрес редакции: Москва, Пятницкая ул., д. 41. Телефон 233-51-47

А 04950. Сдано в производство 9/III-71 г. Подписано к печати 12/IV-71 г.
Бумага 70×108 1/16=9 бум. л.=18 п. л. (25,2)+2 вкл. Уч.-изд. листов 31,87. Зак. 918.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И Скворцова-Степанова, Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 80 коп. ИНДЕКС 70394

К нашим читателям

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 1971 ГОДА РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА» ПРЕДПОЛАГАЕТ ОПУБЛИКОВАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ:

ЗОЛТАН ГАЛАБАРДИ (Венгрия)
Так устроен мир (повесть).

АНДРЕЙ ПЛАВКА (Чехословакия)
Роман моей жизни.

АЛЬБЕРТО МОРАВИА (Италия)
Рассказы.

ФРАНСУАЗА САГАН (Франция)
Немного солнца в холодной воде (роман).

АРТУР ХЕЙЛИ (США)
Аэропорт (роман).

ФИЛИП РОТ (США)
Она была такая хорошая (роман).

КАРЛОС ФУЭНТЕС (Мексика).
Все кошки серы (пьеса).

КЭНДЗАБУРО ОЭ (Япония)
Футбол 1860 года (роман).